This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

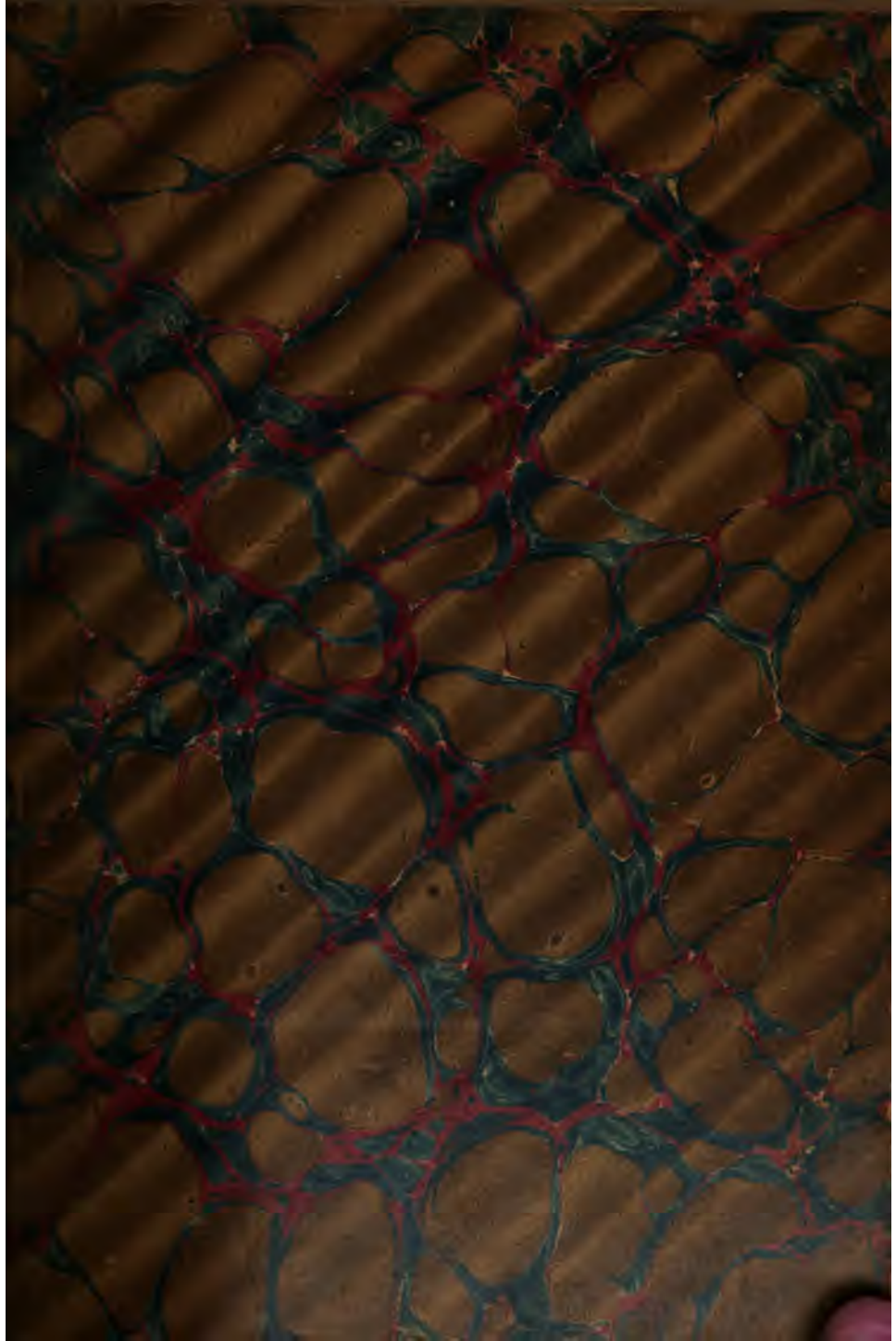
Slav 4338.3.3

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830–1842



СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

ИЗДАНІЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,

ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.

Slav 4338.3.3

HARVARD COLLEGE
JAN 3 1918
LIBRARY

Ware fund

Типографія А. Ф. Марисъ, Измайл. пр., № 29.

СОЖЖЕННАЯ МОСКВА.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

НАШЕСТВІЕ НАПОЛЕОНА I.

«—Вотъ башни полудикія Москвы,
Передъ тобой, въ вѣнцахъ изъ злата,—
Горятъ на солнцѣ... Но, увы...
То—солнце твоего заката!»

Байронъ *(Бронзовый вѣкъ).*

I.

Никогда въ Москвѣ и въ ея окрестностяхъ такъ не веселились, какъ передъ грознымъ и мрачнымъ двѣнадцатымъ годомъ.

Балы въ городѣ и въ подмосковныхъ помѣстьяхъ смѣнялись балами, катаньями, концертами и маскарадами. Надъ Москвой, этой пристанью и затишьемъ для многихъ, потерпѣвшихъ крушеніе, именитыхъ пловцовъ, какими были Орловы, Зубовы и другіе, въ то время носилось какъ бы вѣяніе крылатаго Амура. Немало любовныхъ приключеній, съ увозами, бѣгствомъ изъ родительскихъ домовъ и дуэлями, разыгралось въ высшемъ и среднемъ обществѣ, гдѣ блистало въ тѣ годы столько замѣчательныхъ, прославленныхъ поэтами красавицъ. Москвичи восторгались ими на четвергахъ у Разумовскихъ, на вторникахъ у Нелединскихъ-Мелецкихъ и въ благородномъ дворянскомъ собраніи, по воскресеньямъ—у Архаровыхъ, въ остальные дни—у Апраксиныхъ, Бутурлиныхъ и другихъ.

Былъ конецъ мая 1812 года.

Несмотря на недавнюю комету и на тревожные и настойчивые слухи о вѣроятіи разрыва съ Наполеономъ и о возможности скорой войны,—этой войны не ожидали, и въ обществѣ никто о ней особенно не помышлялъ.

Въ богатомъ московскомъ домѣ шестидесятилѣтней бригадирши, княгини Анны Аркадьевны Шелешпанской, у Патріаршихъ прудовъ, былъ многолюдный съѣздъ столичныхъ и окрестныхъ гостей. Праздновались крестины перваго правнука Шелешпанской. Прабабку и родителей новорожденнаго привѣтствовали обильными здравицами и пожеланіями всякихъ благъ.

За годъ передъ тѣмъ, въ такой же свѣтлый день апрѣля, въ селѣ Любановѣ, подмосковной княгини, состоялась свадьба ея старшей внучки, веселой и живой Ксеніи Валерьяновны Крамалиной, съ секретаремъ московскаго сената, служившимъ и при дирекціи театровъ, Ильей Борисовичемъ Тропининымъ. Торжественно празднуя крестины правнука, княгиня имѣла и другую причину радости и веселью: ея вторая внучка, степенная и гордая Аврора Крамалина, также, повидимому, наконецъ вняла голосу сердца. Въ домѣ княгини со дня на день ожидали ея помолвки съ гостившимъ въ отпуску въ Москвѣ «колонновожатымъ» (т.-е. свитскимъ) Васильемъ Алексѣевичемъ Перовскимъ, который сильно ухаживалъ за Авророй и былъ угоденъ княгинѣ. Базиль Перовскій былъ представленъ Авророѣ,—на послѣднемъ изъ зимнихъ московскихъ баловъ у Нелединскихъ,—мужемъ ея сестры, Ильей Тропининымъ, своимъ давнимъ пріятелемъ, товарищемъ по пансіону и университету.

Гости княгини начали разъѣзжаться. Уѣхалъ шестерикомъ, цугомъ, старецъ Мордвиновъ, съ распущенными по плечамъ пушистыми сѣдинами; уѣхалъ въ желтой вѣнской коляскѣ веселый князь Долгорукій, «prince Calembour», какъ его звали; въ англійскомъ тильбюри, въ шорахъ—виновникъ встрѣчи жениха и невѣсты, Нелединскій-Мелецкій; на скромныхъ городскихъ дрожкахъ — издатель *Русскаго Вѣстника*, Сергѣй Глинка, и другіе. Пріемныя и обширный, обсаженный липами дворъ княгини опустѣли. Остались ея родные и нѣсколько близкихъ знакомыхъ, въ томъ числѣ почтившій княгиню заѣздомъ и особымъ вниманіемъ старинный пріятель ея покойнаго мужа, новый московскій

главнокомандующій, графъ Растопчинъ. Это былъ высокій ростомъ, еще крѣпкій на видъ мужчина лѣтъ пятидесяти, съ оживленными, умными черными глазами, узенькими бакенбардами, большимъ, открытымъ лбомъ и громкою, подчасъ крикливою, рѣчью. Онъ ранѣе другихъ гостей узналъ отъ княгини, что поклонникъ ея второй внучки — тайный сынъ украинскаго магната, тогдашняго министра просвѣщенія. Другимъ княгиня до времени объ этомъ умалчивала.

Прощаясь съ хозяйкой, Растопчинъ съ улыбкой указалъ ей на Перовскаго, въ новенькомъ стянутомъ мундирѣ почтительно стоявшаго въ сторонѣ, и вполголоса замѣтилъ:

— Напрасно, однако, княгиня, ваша внучка медлитъ; женишокъ хоть куда: кончили бы, да тогда ему, съ Богомъ, хоть и къ мѣсту служенія.

— Что вы, графъ! Изъ-за чего же торопиться? — отвѣтила княгиня:—Auroge такъ еще молода; вѣдь ей невступно восемнадцать: не перестарокъ еще, въ дѣвкахъ не засидится... Все, мой хорошій, въ рукахъ Божіихъ. Да надняхъ ужъ и постъ, и отпускъ этого молодца на исходѣ... Обѣщаетъ снова пріѣхать послѣ Успенья, въ концѣ августа, коли будемъ живы... Тогда сватовство; тогда, если суждено, сыграемъ и свадьбу.

— Зовите, княгиня, мы—ваши гости! — сказалъ Растопчинъ: — только не затянулось бы дѣло для счастливцевъ... Слышали, чай, толки о войнѣ?

— Э, батюшка графъ, гдѣ еще тотъ Наполеонъ!—отвѣтила княгиня:—до насъ ему далеко... надѣемся же мы больше на московскихъ чудотворцевъ, да на ваше искусство, графъ.

Растопчинъ озабоченно оглянулся на присутствующихъ, надѣлъ перчатки и уже хотѣлъ откланяться, но, нахмурясь, опять сѣлъ возлѣ княгини.

— Развѣ что̀ знаешь новаго?—тихо спросила Анна Аркадьевна.

Растопчинъ молча кивнулъ ей головой.

Княгиня обмерла.

— Да говори же, дорогой, говори! — прошептала она, растерянно ища въ ридикюлѣ флаконъ со спиртомъ и поднося его къ своему носу.

— Здѣсь не мѣсто,—отвѣтилъ ей графъ:—заѣду завтра.

— Нѣтъ, родной, сегодня вечеромъ; не мори ты меня, дуру попову; вѣдь знаешь,—я трусиха.

— Но у васъ гости, навѣрное будетъ бостонъ, а я, вы знаете, до картъ не охотникъ.

— Ахъ, не нападай ты на карты, говорю тебѣ; помни слова Талейрана: кто не привыкъ играть въ карты въ молодости, готовитъ себѣ печальную старость. Итакъ, до вечера; приму тебя одна.

— Постараюсь.

II.

Графъ Растопчинъ сдержалъ слово. Въ тотъ же вечеръ княгиня приняла его въ своей молельнѣ. Эта комната, какъ зналъ графъ отъ другихъ, служила ей запасною спальней и, вмѣстѣ, убѣжищемъ во время лѣтнихъ грозъ. Растопчинъ съ любопытствомъ окинулъ взглядомъ убранство этой комнаты. Оконныя занавѣски въ ней, обивка мебели, пологъ, одѣяло, подушки и простыня на кровати были изъ шелковой ткани, а кровать—стеклянная и на стеклянныхъ ножкахъ. Даже вывезенный княгинею изъ Парижа и здѣсь висѣвшій портретъ Наполеона былъ вытканъ въ Ліонѣ на шелковомъ платкѣ. Растопчинъ засталъ княгиню на кровати. Двѣ горничныя держали передъ нею собачку Тутика, на котораго третья примѣряла вышитую гарусомъ попонку. Взявъ Тутика и опустивъ горничныхъ, Шелешпанская указала графу кресло.

Высокая, въ пудренныхъ букляхъ и бѣлая, точно выточенная изъ слоновой кости, княгиня Анна Аркадьевна была представительницей стариннаго, угасавшаго въ то время княжескаго рода, въ которомъ не она одна славилась смѣлымъ умомъ и властною красотой. Матери, указывая на нее дочерямъ на балахъ, обыкновенно говорили: «Замѣтила ты, ma chère, эту высокую, худую старуху? Она недавно изъ Парижа. Будешь идти мимо, присядь, а не то и ручку поцѣлуй. Пригодится».

Растопчинъ въ молодости видѣлъ и на опытѣ узналъ обольстительное владычество знатныхъ барынь XVIII вѣка, въ томъ числѣ и княгини, за которою на его глазахъ такъ всѣ ухаживали. Его тогда не удивляло общее сознательное и благоговѣйное покорство этимъ законодательницамъ моды. Теперь онъ надъ ними, въ томъ числѣ и надъ княгинею Шелешпанскою, въ душѣ посмѣивался. Онъ трунилъ надъ тѣмъ, что княгиня, жившая долго въ Парижѣ, донынѣ пудрилась «à la neige», причесывалась «à trois marteaux»

и носила платья модныхъ цвѣтовъ — «couleur saumon» и «hanneton». Графъ по поводу нѣкогда пылкой, но стойкой и чопорной княгини даже выразился однажды, что у Данте въ его «Аду» забыто одно важное отдѣленіе, гдѣ свѣтскія грѣшницы ежечастно мучатся не сознаніемъ своихъ грѣховъ, а воспоминаніемъ того, какъ въ жизни не разъ онѣ могли негласно и незамѣтно согрѣшить, и не согрѣшили — изъ трусости, гордости или простоты.

Нѣкогда поклонница Вольтера, Дидро и мадамъ Роланъ, княгиня теперь, на старости лѣтъ, заслышавъ надъ домомъ даже слабый ударъ грома, безъ памяти спѣшила въ свою молельню, зажигала у образовъ лампады и свѣчи, наскоро надѣвала на себя все шелковое и ложилась подъ шелковое одѣяло, на шелковую постель. Не помня себя отъ ужаса, она кричала на главную свою экономку, горничныхъ и приживалокъ, чтобъ запирали всѣ ставни и двери, приказывала имъ опускать на окна шелковыя гардины и, лежа съ закрытыми глазами, то и дѣло вздрагивая, повторяла: «Святъ, святъ! Осанна въ вышнихъ!»—пока кончались послѣдніе раскаты грозы.

«Любитъ, старая, жизнь, — подумалъ, усѣвшись противъ княгини, Растопчинъ: — да какъ ее и не любить! пожила когда-то; теперь она одна, состоянія много... А тутъ надвигается гроза! Нѣтъ, матушка, не спасутъ, видно, никакія стеклянныя кровати и никакіе шелки».

— Что же, дорогой графъ?—держа на колѣняхъ собачку, встревоженно, по-французски, обратилась къ гостю Шелешпанская:—неужели правда, быть войнѣ?

По-русски княгиня, какъ и все тогдашнее общество, только молилась, шутила, либо бранилась съ прислугой.

— Мы съ вами, Анна Аркадьевна, наединѣ, — началъ графъ:—какъ старый пріятель вашего мужа и вашъ, смѣю повторить, всегдашній поклонникъ, скажу вамъ откровенно, дѣла наши не хороши... Бонапартъ покинулъ Сенъ-Клу и прибылъ по сосѣдству къ намъ, въ Дрезденъ; его, какъ удостовѣряетъ «Гамбургскій Курьеръ», окружаютъ герцоги, короли и несмѣтное войско.

— Да вѣдь онъ только и дѣлаетъ, что воюетъ; въ томъ его забава!—возразила княгиня:—можетъ-быть, это еще и не противъ насъ...

— Увы! государь Александръ Павловичъ также оставилъ

Петербургъ и поспѣшилъ въ Вильну. Глаза и помыслы всѣхъ теперь на берегахъ Двины...

— Но это, графъ, можетъ-быть, диверсія противъ нашихъ сосѣдей? Все не вѣрится.

— Такихъ силъ Бонапартъ не собралъ бы противъ другихъ. У него подъ рукой, — газеты все уже высчитали, — свыше полумилліона войска и болѣе тысячи двухсотъ пушекъ; одинъ обозъ въ шесть тысячъ подводъ.

Княгиня понюхала изъ флакона и переложила на колѣняхъ спавшую собачку.

— И вы думаете, графъ?—спросила она со вздохомъ.

Графъ Ѳедоръ Васильевичъ скрестилъ руки на груди и приготовился сказать то, о чемъ онъ давно думалъ.

— Огненный метеоръ промчался по Европѣ,—произнесъ онъ:—долетитъ и въ Россію. Я не разъ предсказывалъ... Мало останавливали вѣчнаго раба, когда онъ, безъ объявленія войны, бралъ другія государства и столицы; увидимъ его и мы, русскіе, если не вблизи, то на западной границѣ навѣрное.

— Кто же виноватъ?

Растопчинъ промолчалъ.

— Но наше войско, — сказала княгиня: — однихъ казаковъ сколько!

— Благочестивая-то, не «брѣемая» рать, бородачи? — произнесъ Растопчинъ по-русски: — полноте, матушка-княгиня, не вамъ это говорить; вы такъ долго жили въ Европѣ, столько видѣли и слышали.

Польщенная княгиня забыла страхъ. Ей вспомнился Парижъ, тамошнія знаменитости, запросто бывавшія у нея.

— Моя парижская знакомая, мадамъ де-Сталь, представьте, графъ,—произнесла она:—увѣряетъ, будто Бонапартъ—полный невѣжда, грубіянъ и отъявленный лжецъ. Не черезчуръ ли это? я не такъ начитана, какъ вы; что вы на это скажете?

— Сущая правда,—отвѣтилъ, склонясь, Растопчинъ:—Наполеонъ и Меттерниха считаетъ великимъ государственнымъ человѣкомъ только потому, что тотъ лжетъ ловко и хорошо. Я давно твержу, но со мной не соглашаются, — Бонапартъ—низменная, завистливая душонка, ни тѣни величія. По воспитанію—капралъ; настоящее образованіе почти не коснулось его. Онъ ругается, какъ площадная торговка, какъ солдатъ; ничего дѣльнаго и изящнаго не читалъ и даже не любитъ читать.

— Но мадамъ Ремюза, я у нея видѣла его... она хоть пренапыщенная, а умница и въ восторгѣ отъ него...

— Еще бы, дочь его министра! О, это — новый Тамерланъ... Ему чужды высокія движенія сердца и узы крови, а вѣчная привычка притворствовать и рисоваться вытравила въ немъ и остатки правды. Да что? По его собственному признанію, обычная мораль и всѣми принятыя приличія—не для него! А недавно онъ выразился, что онъ—олицетвореніе французской революціи, что онъ носитъ ее въ себѣ и воспроизводитъ; что счастливъ тотъ, кто прячется отъ него въ глуши, и что, когда онъ умретъ, вселенная радостно скажетъ: уфъ!

— Но за что же, за что онъ противъ насъ? — спросила встревоженно княгиня.

— Ужъ сильно его баловали въ послѣднее время, а потомъ отказали въ сватовствѣ съ великой княжной Екатериной Павловной: вотъ за что. А вѣдь онъ—геній, по приговору газетчиковъ и стихоплетовъ, неизбѣжная судьба услужливой Европы... Какъ можно было такъ поступить съ геніемъ? Вотъ, онъ теперь и твердитъ передъ громадой Европы: Россія зазналась; отброшу ее въ глубь Азіи, дамъ ей пережить участь Польши. По совѣсти, впрочемъ, сказать, я убѣжденъ: мы не погибнемъ.

— Неужели? — обрадованно спросила княгиня: — утѣшь меня!

— Вотъ что, матушка Анна Аркадьевна, скажу я вамъ,— произнесъ опять по-русски Растопчинъ: — наша Россія — тотъ же желудокъ покойнаго Потемкина: она, въ концѣ концовъ, попомните меня, переваритъ все, даже и Наполеона...

— Что же, графъ, дѣлать намъ теперь?

— Что дѣлать?—произнесъ Растопчинъ:—никому я этого, княгиня, еще не говорилъ и не скажу, а вамъ, извольте, открою: скорѣе и безъ замедленія уѣзжайте изъ Москвы. Сюда французамъ не дойти, а все-таки...

— Куда же ѣхать?

— А хоть бы въ вашу коломенскую, или, еще лучше, подалѣе, въ тамбовскую вотчину. Повторяю, французамъ не дадутъ, можетъ-быть, перейти и границу, но здѣсь, княгиня, будетъ неспокойно, — вполголоса заключилъ Растопчинъ: — не въ ваши лѣта это переносить. Начнутся вооруженія, сборъ войскъ, суета...

Княгиня молитвенно взглянула на бѣлый, мраморный,

итальянской работы, бюстъ Спасителя, стоявшій въ молельнѣ, среди ея семейныхъ, старыхъ потемнѣвшихъ образовъ.

— Не понимаю! — сказала она, разведя руками: — неужели же въ первопрестольной столицѣ, среди угодниковъ и чудотворцевъ Божьихъ и подъ вашимъ начальствомъ, графъ, мы не будемъ въ безопасности?

«Ишь, храбрая! — подумалъ Растопчинъ: — грозы боится, а Бонапарта не труситъ, даже его шелковый портретъ привѣсила у себя!»

— Какъ знаете, княгиня, — отвѣтилъ графъ, вставая и откланиваясь: — мое дѣло было васъ предупредить. Я вамъ повѣдалъ по секрету мое личное мнѣніе. Дождались наши вольнодумцы съ величаніемъ Бонапарта!.. Злость беретъ, какъ подумаешь. На западѣ вольнодумствуютъ сапожники, стремясь стать богачами, а у насъ баре колобродятъ и мутятъ, чтобы, во что бы то ни стало, стать сапожниками... И все это—ихъ вожакъ Сперанскій.

— Ну, вы все противъ Сперанскаго. Что онъ вамъ? — спросила княгиня.

— Что онъ мнѣ? а вотъ что... Его хвалили, но это — чиновникъ огромнаго размѣра, не болѣе, творецъ всесильной кабинетной редакціи. Канцелярія—его форумъ, тысячи бумагъ — и превредныхъ — его трубы и литавры. И хорошо, что его упрятали и что онъ самъ теперь сталъ сданною въ архивъ бумагою, за номеромъ... Ну, да вы несогласны со мной, прощайте.

Растопчинъ поцѣловалъ руку княгини и направился къ двери.

— Да,—сказалъ онъ, остановясь:—еще слово... Мое утреннее предсказаніе о господинѣ Перовскомъ, искателѣ руки вашей внучки, сбылось, къ сожалѣнію, ранѣе, чѣмъ я ожидалъ.

— Боже мой, что такое?

— Я засталъ дома указъ—всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ, гдѣ бы они и при чемъ бы ни были, безъ малѣйшаго замедленія отправиться къ своимъ полкамъ. Вызываю его на-завтра, да пораньше. Могу ему дать, если попроситъ, два-три дня для сборовъ, не болѣе.

Княгиня протянула руку къ звонку и, растерявшись, не могла его найти.

III.

Утромъ слѣдующаго дня Перовскій узналъ о вызовѣ всѣхъ офицеровъ къ полкамъ.

Не столько разнились между собой оживленная и полная, въ веснушкахъ, съ золотистыми локонами и голубыми глазами Ксенія и задумчивая, черноволосая и сухощавая Аврора, сколько были неєхожи видомъ и нравомъ близкіе другъ другу съ дѣтства Илья Тропининъ и Базиль Перовскій.

Въ ранніе годы Базиль былъ увезенъ изъ Почепа, украинскаго помѣстья своего отца, въ Москву, гдѣ, подъ надзоромъ гувернеровъ и дядьки-малоросса, сперва былъ помѣщенъ въ пансіонъ, потомъ въ московскій университетъ, и кончивъ здѣсь ученье, уѣхалъ въ Петербургъ на службу, которой ревностно и отдался. Хорошо начитанный, онъ зналъ въ совершенствѣ французскій и нѣмецкій языки и любилъ музыку. Будучи смѣлъ и честолюбивъ и увлекаясь возвышенными военными идеалами, онъ питалъ, какъ и многіе его сослуживцы, тайное благоговѣніе къ общему тогдашнему кумиру, укротителю террора и якобинцевъ, цезарю-плебею Наполеону, котораго въ то время многіе прозорливые люди начинали уже осуждать и бранить.

Въ числѣ другихъ, истыхъ петербургскихъ «европейцевъ», Базиль мысленно, а иногда съ оглядкой и вслухъ, искренно осуждалъ непринятіе нашимъ дворомъ сватовства Наполеона, незадолго передъ тѣмъ искавшаго руки великой княжны Екатерины Павловны, сестры государя Александра Павловича. Отвергнутый русскою императорскою семьей, Бонапартъ, по мнѣнію Базиля, рано или поздно долженъ былъ подумать о возмездіи и такъ или иначе отплатить грубой, какъ выражались тогда въ Петербургѣ, коснѣвшей въ предразсудкахъ Россіи за эту несмываемую, тяжелую обиду.

Высокаго роста, темноволосый, широкоплечій и съ тонкимъ, стройнымъ военнымъ перехватомъ, Базиль былъ всегда заботливо выбритъ, надушенъ и щегольски одѣтъ. Съ отмѣнно-вѣжливыми, усвоенными въ столичной средѣ движеніями и рѣчью, онъ всѣхъ привлекалъ умнымъ взглядомъ большихъ, карихъ, мечтательно-задумчивыхъ глазъ, ласковою улыбкой и веселою, своеобразною, остроумною рѣчью. Среди товарищей Перовскій слылъ душой-весельчакомъ, среди женщинъ — нѣсколько загадочнымъ, у начальства — подающимъ надежды молодымъ офицеромъ. Страстно любя пѣніе и музыку, онъ, будучи еще студентомъ, самоучкою сталъ разбирать ноты и недурно игралъ на клавикордахъ и пѣлъ не только въ кругу товарищей, но и въ обществѣ, на неболь-

шихъ вечерахъ. Нѣкоторое время, состоя съ другими колонновожатыми въ какой-то масонской ложѣ, онъ съ ними затѣялъ-было даже переселиться на дальній японскій островъ Соку, какъ тогда звали Сахалинъ, и основать тамъ нѣкую особую республику. Эта мысль вскорѣ, впрочемъ, была брошена, за недостаткомъ денегъ для такого дальняго вояжа.

Что же до сердечныхъ увлеченій Перовскаго, то никто о нихъ въ Петербургѣ не слышалъ. Онъ самъ даже посмѣивался надъ волокитствомъ столичныхъ фатовъ. И потому всѣ были крайне удивлены, когда прошла нежданная вѣсть, что этотъ юный и, повидимому, вовсе еще не думавшій о прочной любви и о женитьбѣ, красивый и всегда безпечновеселый гвардеецъ, такъ же лихо гарцовавшій на петербургскихъ маневрахъ и смотрахъ, какъ и ловко скользившій на столичныхъ паркетахъ,—влюбился и готовился посвататься. О происхожденіи Перовскаго въ его служебной средѣ и въ обществѣ еще мало кто зналъ. Его звали просто: «нашъ красавецъ-малороссъ».

Базиль живо представлялъ себѣ послѣдній, памятный, вторничный вечеръ у Нелединскихъ-Мелецкихъ, въ ихъ домѣ на Мясницкой, куда его привезъ университетскій его товарищъ, Илья Тропининъ. Здѣсь было такъ весело и шумно. Старики въ кабинетѣ и въ цвѣточной сидѣли за картами; молодежь въ гостиной играла въ фанты и въ буриме́, а въ залѣ шли танцы. На этомъ вечерѣ блистало столько роскошныхъ, выписанныхъ изъ Парижа нарядовъ и чуть охваченныхъ краемъ платьевъ, обнаженныхъ дамскихъ и дѣвичьихъ шей и плечъ. Шелъ безконечный котильонъ, о которомъ тогда выражались поэты:

«Cette image mobile
«De l'immobile éternité»

(этотъ подвижной образъ неподвижной вѣчности).

Базиль, съ другими, танцовалъ до упаду. Здѣсь-то, среди цвѣтущихъ лилій и розъ, подъ громъ оркестра Са̀нти, онъ впервые увидѣлъ сухощавую и стройную, незнакомую ему брюнетку, сидѣвшую въ сторонѣ отъ танцующихъ. Возлѣ нея стоялъ, пожирая ее глазами и тщетно стараясь ее занять, извѣстный москвичамъ любитель пѣнія и живописи, длинный и мрачный эмигрантъ Жера́мбъ, всѣхъ увѣрявшій, что онъ—офицеръ тогда возникавшаго таинственнаго легіона «hussards de la mort» («гусаровъ смерти»), почему онъ но-

силъ черный доломанъ, съ изображеніями на серебряныхъ пуговицахъ мертвой головы, такъ шедшей къ его исхудалому и желтому лицу. При взглядѣ на незнакомку, въ мысляхъ Перовскаго мелькнуло: «такъ себѣ, какая-то худашка». Но когда онъ ближе разглядѣлъ ея черные, спокойно на всѣхъ смотрѣвшіе глаза, нѣсколько смуглое лицо, пышную косу, небрежнымъ жгутомъ положенную на головѣ, и ея скромное бѣлое платье, съ пучкомъ алаго мака у корсажа,— онъ почувствовалъ, что эта дѣвушка властительно войдетъ въ его душу и останется въ ней навсегда. Его поражала ея строгая, суровая и какъ бы скучающая красота. Она почти не улыбалась, а когда ей было весело, это показывали только ея глаза, да носъ, слегка морщившійся и поднимавшій ея верхнюю, смѣющуюся губу.

Въ то время за Авророй, кромѣ гусара смерти Жераѝмба, тщетно ухаживали еще нѣсколько свѣтскихъ жениховъ: Митя Усовъ, двое Голицыныхъ и другіе. Въ числѣ послѣднихъ былъ, между прочимъ, извѣстный богатствомъ, высокій, пожилой и умный красавецъ-вдовецъ, нѣкогда раненый турками въ глазъ, еще при Суворовѣ, премьеръ-майоръ Усланов. Онъ вездѣ, на балахъ и гуляньяхъ, подобно влюбленному Жераѝмбу, молча преслѣдовалъ недоступную красавицу. Остряки такъ и звали ихъ: «нимфа Галатея и циклопъ Полифемъ».

Всѣ поклонники новой Галатеи, однако, остались за флагомъ. Побѣдителя предвидѣли: то былъ Перовскій. Дальнѣйшее знакомство, черезъ Тропинина, сблизило его съ домомъ княгини. Онъ даже чуть было не посватался. Это случилось послѣ пасхальной обѣдни, которую княгиня слушала въ церкви Ермолая. Аврора приняла его въ пальмовой гостиной бабки, присѣла съ нимъ у клавикордовъ, и онъ, подъ вальсъ Ромберга, уже готовился-было сдѣлать ей предложеніе. Но Аврора играла съ такимъ увлеченіемъ, а онъ такъ робѣлъ передъ этою гордою, строгою красавицей, что слова не срывались съ его языка, и онъ уѣхалъ молчаливый, растерянный.

Илья Борисовичъ Тропининъ давно угадывалъ настроеніе своего друга. Неразговорчивый, близорукій и длинный, съ сѣрыми, добрыми, постоянно восторженными глазами, Илья Тропининъ былъ родомъ изъ старинной служилой семьи небогатыхъ дворянъ-москвичей. Сирота съ отроческихъ лѣтъ, онъ, какъ и Базиль, былъ рано увезенъ изъ родного дома.

Помѣщенный опекуномъ въ пансіонъ, онъ здѣсь, а потомъ въ московскомъ университетѣ близко сошелся съ Перовскимъ, какъ по сходству юношески-мечтательнаго нрава, такъ и потому, что охотнѣе другихъ товарищей внимательно выслушивалъ пылкія грёзы Базиля о ихъ собственной военной славѣ, которая, почемъ знать, могла сравняться со славою божества тогдашней молодежи, Бонапарта. Тулонъ, пирамиды и Марѐнго не покидали мыслей и разговоровъ молодыхъ друзей.

Они зачитывались любимыми современными писателями, причемъ, однако, Базиль отдавалъ предпочтеніе свободномыслящимъ французскимъ романистамъ, а Илья, хотя также жадно-мечтательно упивался ихъ страстными образами, подчасъ по уши краснѣлъ отъ ихъ смѣлыхъ, грубообольстительныхъ подробностей и, впадая потомъ въ раскаяніе, налагалъ на себя даже особую эпитемью. Базиль нерѣдко, послѣ такого чтенія, подъ подушкой Тропинина находилъ либо тетрадь старинной печати, церковныхъ проповѣдей, или полупонятныя, отвлеченныя размышленія отечественныхъ мистиковъ. Въ свободные часы Тропининъ занимался рисованіемъ. Онъ очень живо схватывалъ и набрасывалъ на бумагу портреты и чертилъ забавныя каррикатуры знакомыхъ, въ особенности театраловъ.

— Нѣтъ, боюсь женщинъ!—смущенно говорилъ въ такія мгновенія Илья, мучительно ероша свои русые волосы, въ безпорядкѣ падавшіе на глаза: — такъ, голубчикъ Вася, боюсь, что, по всей вѣроятности, никогда не рѣшусь жениться, пойду въ монастырь.

Когда друзья были еще въ пансіонѣ, Тропинина тамъ называли «схимникомъ», увѣряя, что въ его классномъ ящикѣ устроено изъ образковъ подобіе иконостаса, передъ которымъ онъ будто бы, прикрываясь крышкой, изрѣдка даже служилъ молебны.

Университетъ еще болѣе сблизилъ Перовскаго и Тропинина. Они восторгались патріотическими лекціями профессоровъ и пользовались особымъ расположеніемъ ректора Антона Антоновича Прокоповича-Антонскаго, о которомъ шутники ихъ товарищи сложили куплетъ:

«Тремя помноженный Антонъ,
«А на придачу Прокоповичъ...»

Ректоръ, любившій поболтать съ молодежью, разставаясь съ Перовскимъ и Тропининымъ, сказалъ первому: «Ты бу-

дешь фельдмаршаломъ!»—а второму: «ты же—счастливымъ отцомъ многочисленной семьи!» Не разъ впослѣдствіи, подъ иными впечатлѣніями, пріятели вспоминали эти предсказанія. По выходѣ изъ университета, Перовскій изрѣдка изъ Петербурга переписывался съ Тропининымъ, который тѣмъ временемъ поступилъ на службу въ московскій сенатъ. Они снова увидѣлись зимой 1812 года, когда Базиль и также служившій въ колонновожатыхъ въ Петербургѣ двоюродный братъ Тропинина по матери, Митя Усовъ, получили изъ своего штаба командировку въ Москву, для снятія копій съ военныхъ плановъ, хранившихся въ московскомъ архивѣ. Базиль, чтобы не развлекаться свѣтскими удовольствіями, получивъ планы, уговорилъ Митю уѣхать съ нимъ въ можайскую деревушку Усовыхъ, Новоселовку, гдѣ оба они и просидѣли надъ работою около мѣсяца, а на масляной, окончивъ ее, явились ликующіе въ Москву и со всѣмъ увлеченіемъ молодости окунулись въ ея шумныя веселости.

Илья Тропининъ въ это время, вопреки своимъ юношескимъ увѣреніямъ, былъ уже не только женатъ и безпредѣльно счастливъ, но и крайне расположенъ сосватать и женить самого Перовскаго. Встрѣча Базиля съ свояченицей Тропинина, Авророй Крамалиной, помогла Ильѣ ранѣе, чѣмъ и самъ онъ того ожидалъ. Перовскій на Пасху сталъ то и дѣло заговаривать объ Авророѣ, а въ маѣ, какъ замѣчалъ Илья, онъ былъ уже отъ нея безъ ума, хотя все еще не рѣшался съ нею объясниться.

IV.

Вѣсть о призывѣ офицеровъ къ арміи сильно смутила Перовскаго. Онъ объяснился съ главнокомандующимъ и, для устройства своихъ дѣлъ, выпросилъ у него на нѣсколько дней отсрочку. За недѣлю передъ тѣмъ, онъ заѣхалъ на Никитскій бульваръ, къ Тропинину. Пріятели, посидѣвъ въ комнатѣ, вышли на бульваръ. Между ними тогда произошелъ слѣдующій разговоръ.

— Итакъ, Наполеонъ противъ насъ?—спросилъ Тропининъ.

— Да, другъ мой; но надѣюсь, войны, все-таки, не будетъ,—отвѣтилъ нѣсколько нерѣшительно Перовскій.

— Какъ такъ?

— Очень просто. О ней болтаютъ только наши вѣчные шаркуны, эти «неглижé съ отвагой», какъ ихъ зоветъ здѣш-

ній главнокомандующій. Но не пройдетъ и мѣсяца, всѣ эти слухи, увидишь, замолкнутъ.

— Изъ-за чего, однако, эта тревога, сборъ у границы такой массы войскъ?

— Мѣры предосторожности, вотъ и все.

— Нѣтъ, милый! — возразилъ Тропининъ: — твой кумиръ разгаданъ, наконецъ; его, очевидно, ждутъ у насъ... Поневолѣ вспомнишь о немъ стихъ Дмитріева: «Но какъ ни разсуждай, а Миловзоръ ужъ тамъ!» Сегодня въ Дрезденѣ, завтра, того и гляди, очутится на Нѣманѣ или Двинѣ, а то и ближе...

— Не вѣрю я этому, воля твоя, — возразилъ Перовскій, ходя съ пріятелемъ по бульвару: — Наполеонъ — не предатель. Не надо было его дразнить и посылать къ нему въ наши представители такихъ пошлыхъ, а подчасъ и тупыхъ людей. Ну, можно ли? Выбрали въ послы подозрительнаго, желчнаго Куракина! А главное, эти мелкіе уколы, постоянные вызовы, это заигрыванье съ его врагомъ, Англіей... Дошли, наконецъ, до того, что удалили отъ трона и сослали, какъ преступника, какъ измѣнника, единственнаго государственнаго человѣка, Сперанскаго, а за что? За его открытое предпочтеніе судебникамъ Ярослава и царя Алексѣя геніальнаго кодекса того, кто разогналъ кровавый конвентъ и далъ Европѣ истинную свободу и мудрый новый строй.

— Старая пѣсня! Хороша свобода! убійство, безъ суда, своего соперника, Ангіенскаго герцога! — возразилъ Тропининъ:—ты дождешься съ своимъ божествомъ того, что оно, побывавъ вездѣ, кромѣ насъ, и въ Римѣ, и въ Вѣнѣ, и въ Берлинѣ, явится, наконецъ, и въ наши столицы и отдастъ на поруганіе своимъ солдатамъ мою жену, твою невѣсту,— если бы такая была у тебя,—нашихъ сестеръ...

— Послушай, Илья,—вспыхнувъ, рѣзко перебилъ Перовскій:—все простительно дамской болтовнѣ и трусости; но ты, извини меня,—умный, образованный и слѣдящій за жизнью человѣкъ. Какъ не стыдно тебѣ? Ну, зачѣмъ Наполеону нужны мы, мы—дикая и—увы!—полускиѳская орда?

— Однакоже, дружище, въ этой ордѣ твое міровое свѣтило усиленно искало чести быть родичемъ царей.

— Да послушай, наконецъ, обсуди! — спокойнѣе, точно прощая другу и какъ бы у него же прося помощи въ сомнѣніяхъ, продолжалъ Базиль:—дѣло ясное, какъ день. Ве-

ликій человѣкъ ходилъ къ пирамидамъ и іероглифамъ Египта, къ мраморамъ и Рафаэлямъ Италіи, это совершенно понятно... А у насъ? чего ему нужно?.. Вяземскихъ пряниковъ, что ли, смоленской морошки, да ярославскихъ лыкъ? или нашихъ балетчицъ? Нѣтъ, Илья, можешь быть вполнѣ спокоенъ за твоихъ танцовщицъ. Не намъ жалкою рогатиною грозить архистратигу королей и вождю народовъ половины Европы. Недаромъ онъ предлагалъ Александру раздѣлить съ нимъ міръ пополамъ! И онъ, геній-творецъ, скажу открыто, имѣлъ на это право...

— О, да! И не одного Александра онъ этимъ манилъ,— возразилъ Тропининъ: — онъ тоже великодушно уступалъ и Богу, въ надписи на предположенной медали: «le ciel à toi, la terre à moi» (небо для тебя, земля — моя). Стыдись, стыдись?..

Перовскій колебался, нить возраженій ускользала отъ него.

— Ты повторяешь о немъ басни наемныхъ нѣмецкихъ памфлетистовъ,—сказалъ онъ, замедлясь на бульварной дорожкѣ, залитой полнымъ мѣсяцемъ: — Наполеонъ... да ты знаешь ли? — пройдутъ вѣка, тысячелѣтія, его слава не умретъ. Это — олицетвореніе чести, правды и добра. Его сердце—сердце ребенка. Виноватъ ли онъ, что его толкаютъ на битвы, въ адъ сраженій? Онъ—поклонникъ тишины, сумерекъ, такихъ же лунныхъ ночей, какъ вотъ эта; любитъ поэмы Оссіана, меланхолическую музыку Паэзіелло, съ ея медлительными, сладкими, таинственными звуками. Знаешь ли,—и я не разъ тебѣ это говорилъ, — онъ въ школѣ еще забивался въ углы, читалъ тайкомъ рыцарскіе романы, плакалъ надъ «Матильдой» крестовыхъ походовъ и мечталъ о дарованіи міру вѣчнаго покоя и тишины.

— Такъ что же твой кумиръ мечется съ тѣхъ поръ, какъ онъ у власти? — спросилъ Тропининъ: — обѣщалъ французамъ счастье за Альпами, новую какую-то вѣру и чуть не земной рай на пути къ пирамидамъ, потомъ въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ, — и всего ему мало; онъ, какъ жадный, слѣпой безумецъ, все стремится впередъ и впередъ... Нѣтъ, я съ тобой не согласенъ.

— Ты хочешь знать, почему Наполеонъ не успокоился и все еще полонъ такой лихорадочной дѣятельности?—спросилъ, онять останавливаясь, Перовскій:—неужели не понимаешь?

— Объясни.

— Потому, что это—избранникъ Провидѣнія, а не простой смертный.

Тропининъ пожалъ плечами.

— Пустая отговорка,—сказалъ онъ: — громкая газетная фраза, не болѣе! Этимъ можно объяснить и извинить всякое насиліе и неправду.

— Нѣтъ, ты послушай,—вскрикнулъ, опять напирая на друга, Базиль:—надо быть на его мѣстѣ, чтобы все это понять. Давъ постоянный покой и порядокъ такому подвижному и пылкому народу, какъ французы, онъ отнялъ бы у страны всякую энергію, огонь предпріятій, великихъ замысловъ. У царей и королей—тысячелѣтнее прошлое, блескъ родовыхъ воспоминаній и заслугъ; его же начало, его династія—онъ самъ.

— Спасибо за такое оправданіе звѣрскихъ насилій новѣйшаго Аттилы,—возразилъ Тропининъ:—я же тебѣ вотъ что скажу: восхваляй его какъ хочешь, а если онъ дерзнетъ явиться въ Россію, тутъ, братецъ, твою философію оставятъ, а вздуютъ его, какъ всякаго простого разбойника и грабителя, въ родѣ хоть бы тушинскаго вора и другихъ самозванцевъ.

— Полно такъ выражаться... Воевалъ онъ съ нами и прежде, и воромъ его не звали. Въ Россію онъ къ намъ не явится, повторяю тебѣ, незачѣмъ!— отвѣтилъ, тише и тише идя по бульвару, Перовскій: — онъ воевать съ нами не будетъ.

— Ну, твоими бы устами медъ пить! посмотримъ, — заключилъ Тропининъ:—а если явится, я первый, предупреждаю тебя, возьму жалкую рогатину и, вслѣдъ за другими, пойду на этого архистратига вождей и королей. И мы его поколотимъ, предсказываю тебѣ, потому что, въ концѣ концовъ, Наполеонъ все-таки — одинъ человѣкъ, одно лицо, а Россія—цѣлый народъ...

Вспоминая теперь этотъ разговоръ, Перовскій краснѣлъ за свои заблужденія.

V.

Новые настойчивые слухи окончательно поколебали Перовскаго относительно его кумира. Онъ за достовѣрное узналъ, что Наполеонъ предательски захватилъ владѣнія великаго герцога Ольденбургскаго, родственника русскаго

императора, и собирался выгнать остальныхъ государевыхъ родныхъ изъ другихъ нѣмецкихъ владѣній. Вѣроломное скопленіе французовъ у Нѣмана тоже стало всѣмъ извѣстно. Смущенный Перовскій сталъ непохожъ на себя.

Вечеромъ слѣдующаго дня устроилась прогулка верхами за городъ. Въ кавалькадѣ участвовали Ксенія съ мужемъ и Аврора съ Перовскимъ и Митей Усовымъ. Лошади для мужчинъ были взяты изъ мамоновскаго манежа. Выѣхали черезъ Поклонную гору въ поле. За нѣсколько часовъ передъ этою поѣздкой прошелъ сильный съ грозою дождь.

Вечеръ красиво рдѣлъ надъ Москвой и окрестными пологими холмами. Душистые зеленые перелѣски оглашались соловьями, долины—звонкими пѣснями жаворонковъ. Аврора ѣздила лихо. Ея собственный, красивый караковый въ «маслѣ» меринъ, Барсъ, пѣня удила, натянутыя ея твердою рукой, забиралъ болѣе и болѣе хода, мчась по мягкой, росистой дорогѣ проселка. Сѣрый жеребецъ Перовскаго, не отставая, точно плылъ и стлался возлѣ Барса. Ускакавъ съ Перовскимъ впередъ отъ прочихъ всадниковъ, Аврора задержала коня.

— Вы скоро ѣдете?—спросила она.

— На нѣсколько дней получилъ отсрочку.

— Что же, полагаю, вамъ тяжело идти на прославленнаго всѣми генія? — спросила Аврора, перелетая въ брызгахъ и всплескахъ черезъ встрѣчныя дождевыя озерца:— оставляете столько близкихъ...

Проскакавъ нѣсколько шаговъ, она поѣхала медленнѣе.

— Близкіе будутъ утѣшены,—отвѣтилъ Базиль:—добрые изъ нихъ станутъ молиться.

— О чемъ?

— Объ отсутствующихъ, путешествующихъ, — отвѣтилъ Перовскій:—такъ сказано въ Писаніи.

— А о болящихъ, дома страждущихъ, помолятся ли о нихъ?—спросила Аврора, опять уносясь въ сумракъ дороги, чуть видная, въ волнистой черной амазонкѣ и въ шляпкѣ Сандрильоны, съ краснымъ перомъ.

— Будутъ ли страдать дома, не знаю,—отвѣтилъ, догнавъ ее, Базиль: — говорятъ же: горе отсутствующимъ.

— Горе, полагаю, тѣмъ и другимъ!—сказала, сдерживая коня, Аврора:—война—великая тайна.

Сзади по дорогѣ послышался топотъ. Аврору и Перовскаго

настигли и бѣшенно обогнали два другіе всадника. То были Ксенія и Митя Усовъ.

— А каковы, Аврора Валерьяновна, аргамачки?—весело крикнулъ Митя, задыхаясь отъ скачки и обдавъ Перовскаго комками земли:—мнѣ это, Базиль, по знакомству далъ главный мамоновскій жокей Ракитка...

Ксенія, въ красной амазонкѣ и вьющейся за плечами вуали, мелькнула такъ быстро, что сестра не успѣла ее окликнуть. Тропининъ мѣрнымъ галопомъ ѣхалъ сзади всѣхъ на грузномъ и длинномъ англійскомъ скакунѣ съ короткимъ хвостомъ.

— Что за милый этотъ Митя! — сказала Аврора, когда Перовскій опять поровнялся съ нею:—ждетъ—не дождется войны, сраженій...

— И золотое сердце! — прибавилъ Перовскій: — сегодня онъ писалъ такое теплое письмо къ своему главному командиру, моля имѣть его въ виду для перваго опаснаго порученія въ бою. И что забавно — убѣжденъ, что въ походѣ непремѣнно влюбится и осенью обвѣнчается.

Всадники еще проскакали съ версту, между кудрявыми кустарниками и пригорками, и поѣхали шагомъ.

— Какъ красивъ закатъ!—сказалъ, оглядываясь, Перовскій:—Москва какъ въ пожарѣ... кресты и колокольни надъ нею—точно мачты пылающихъ кораблей...

Аврора долго смотрѣла въ ту сторону, гдѣ была Москва.

— Вы исполните мою просьбу?—спросила она.

— Даю слово,—отвѣтилъ Перовскій.

— Скажите прямо и откровенно, какъ вы смотрите теперь на Наполеона?

— Я... заблуждался и никогда себѣ этого не прощу.

Глаза Авроры сверкнули удивленіемъ и радостью.

— Да, — сказала она, помолчавъ: — надвигаются такіе ужасы... этотъ неразгаданный сфинксъ, Наполеонъ...

— Предатель и нашъ врагъ; жизнь и все, что дороже мнѣ жизни, я брошу и пойду, куда прикажутъ, на этого врага.

Аврора восторженно взглянула на Перовскаго: — «Я не ошиблась!—подумала она,—у насъ одни идеалы, одна мысль!»

— Вы правы, правы... и вотъ что...

Аврора вспыхнула, хотѣла еще что-то сказать и замолчала. Хлестнувъ лошадь, она быстро перескочила черезъ

дорожную канаву и понеслась полемъ, въ перерѣзъ обогнавшимъ ее всадникамъ. Всѣ съѣхались у стемнѣвшей рощи. Возвращались въ Москву общею группою, при мѣсяцѣ. Подъ Новинскимъ Базиль увидѣлъ, въ глубинѣ знакомаго двора, окна своей квартиры, гдѣ онъ въ послѣднее время пережилъ столько сомнѣній и страданій, и, указавъ Аврорѣ этотъ домъ, сталъ-было у воротъ прощаться съ нею и съ остальными, но его упросили, и онъ поѣхалъ далѣе. Княгиня ждала возвращенія катающихся и, подъ ихъ оживленный говоръ, просидѣла съ ними до ужина.

— Вы не договорили, хотѣли еще что-то мнѣ сказать?— спросилъ послѣ ужина Перовскій Аврору.

Она молча присѣла къ клавикордамъ. Въ полуосвѣщенной залѣ раздались плѣнительные звуки ея сильнаго, грудного, бархатнаго контральто. Аврора пѣла любимый, сердечный романсъ стараго пріятеля бабки, Нелединскаго-Мелецкаго:

«Свидѣтели тоски моей,
Лѣса безмолвью посвящённы»...

— Дорогой Василій Алексѣевичъ,—обратилась Ксенія къ Перовскому:—спойте тотъ... ну, мой любимый!

Перовскій разстегнулъ воротникъ мундира, подошелъ къ клавикордамъ, оперся руками о спинку стула Авроры и, подъ ея игру, запѣлъ романсъ того же автора:

«Прости мнѣ дерзкое роптанье,
Владычица души моей».

Всѣ были растроганы. Базиль отъ сердечнаго волненья, глядя на склонившіяся къ нотамъ шею и плечи Авроры, блаженствуя, смолкъ. Тропининъ отиралъ слезы.

— Ахъ, какъ ты, Вася, поешь!—проговорилъ онъ:—какъ поешь! Ну, можно ли съ такой душой защищать Наполеона?..

Аврора глазами дѣлала знаки Ильѣ Борисовичу. Ея носикъ весело сморщился, поднявъ надъ зубами смѣющуюся губу. Илья этихъ знаковъ не видѣлъ.

Перовскій и Тропининъ уѣхали. Ксенія осталась ночевать съ сестрой. Проводивъ мужчинъ и простясь съ бабкой, сестры ушли изъ залы въ темную угловую молельню и молча сѣли тамъ. Вдругъ Аврора встала, возвратилась въ залу и со словами: «Нѣтъ, не могу!»—опять сѣла за клавикорды. Плавные звуки ея любимой шестнадцатой сонаты Бетховена огласили стихшія комнаты. Сыгравъ сонату, она задумалась.

— О чемъ ты думаешь?—спросила, обнимая сестру, Ксенія.

Аврора, не отвѣчая, стала опять играть.

— Ты о немъ?—спросила Ксенія.

— Да, онъ уѣдетъ, и я предчувствую... болѣе мы не увидимся.

— Но почему же, почему?—спросила Ксенія, осыпая поцѣлуями плакавшую сестру:—онъ вернется; отъ тебя зависитъ подать ему надежду.

Аврора не отвѣчала.

«И зачѣмъ я узнала его, зачѣмъ полюбила?—мыслила она, склоняясь къ клавишамъ и, въ слезахъ, продолжая играть:—лучше бы не родиться, не жить!»

VI.

Уйдя къ себѣ наверхъ, Аврора отпустила горничную и стала раздѣваться. Не зажигая свѣчи, она сняла съ себя платье и шнуровку, накинула на плечи ночную кофту и присѣла на первый попавшійся стулъ. Мѣсяцъ свѣтилъ въ окна бельведера. Аврора, распустивъ косу, то заплетала ее, то опять расплетала, глядя въ пустое пространство, изъ котораго точно смотрѣли на нее задумчиво-ласковые глаза Перовскаго.

— Ахъ, эти глаза, глаза!—прошептала Аврора.

Краснаго дерева, съ бронзой, мебель этой комнаты напомнила ей нѣчто далекое, дорогое. Эта мебель ея покойной матери напомнила ей улицу глухого городишки, домъ ея отца и ея первые дѣтскіе годы при жизни матери.

Мать Авроры, дочь Анны Аркадьевны, когда-то страстно влюбилась въ красиваго и добраго, небогатаго пѣхотнаго офицера и, получивъ отказъ княгини, бѣжала изъ ея дома и безъ ея согласія обвѣнчалась съ любимымъ человѣкомъ. Это былъ Валерьянъ Андреевичъ Крамалинъ. Чувствительная и нѣжная сердцемъ бѣглянка дала своимъ дочерямъ романтическія имена Авроры и Ксеніи. Аврора не помнила военной, скитальческой и полной всякихъ лишеній жизни своихъ родителей. Зато она помнила, какъ ее и ея сестру любила мать, и живо представляла себѣ то время, когда ея отецъ, выйдя въ отставку, служилъ по дворянскимъ выборамъ. У него въ уѣздномъ городѣ былъ надъ обрывомъ рѣки собственный небольшой деревянный домикъ съ мезониномъ, огородомъ и чистенькимъ уютнымъ садикомъ, гдѣ

Крамалины, по переѣздѣ въ городъ, развели такіе цвѣтники, что ими любовались всѣ сосѣди.

Аврорѣ были памятны всѣ уголки этого тѣнистаго сада; полянка, гдѣ сестры играли въ куклы, клумба цвѣтущихъ сиреней и жимолости, гдѣ она впервые увидѣла и поймала необычайной красоты золотистую, съ голубымъ отливомъ бабочку; горка, съ которой былъ видъ на городъ, и обширныя окрестныя поля, и старая береза, подъ которой Аврора съ сестрой, уѣзжая впослѣдствіи изъ этого дома, со слезами зарыли въ ящикѣ лучшихъ своихъ куколъ. Дѣвочки знали, что у нихъ есть богатая и знатная бабка-княгиня, что эта бабка безвыѣздно живетъ гдѣ-то далеко, въ чужихъ краяхъ, и что она почему-то ими недовольна, такъ какъ рѣдко пишетъ къ ихъ мамѣ. Памятна была Аврорѣ одна безснѣжная, гнилая зима. Въ городкѣ открылись повальныя болѣзни. Аврорѣ былъ десятый годъ.

Однажды дѣвочки пошли пожелать добраго утра матери. Ихъ не пустили къ ней, сказавъ, что у ихъ мамы опасная болѣзнь. Аврора помнила наставшую въ домѣ мрачную тишину, опечаленныя, красныя отъ слезъ лица отца и прислуги, торопливый пріѣздъ и отъѣздъ городскихъ врачей и то полное ужаса утро, когда дѣти, выйдя въ залу, увидѣли на столѣ что-то страшно-неподвижное, въ бѣломъ платьѣ и съ бѣлой кисеей на лицѣ. Имъ кто-то шопотомъ сказалъ, что это бѣлое и неподвижное — была ихъ умершая мать. Дѣвочки вскрикнули: «мама, мама! проснись!» и не вѣрили, что ихъ матери уже болѣе нѣтъ на свѣтѣ. Вспомнились Аврорѣ вопли отца на городскомъ кладбищѣ, гдѣ онъ билъ себя въ грудь и рвалъ на себѣ волосы. Живо представился ея мыслямъ его отъѣздъ съ ними, въ метель, въ недальнюю деревушку Дѣдиново, къ его двоюродному брату, Петру Андреевичу Крамалину, у котораго доктора совѣтывали ему на время оставить дѣтей. Вспомнилась ей и новая весна въ этой деревушкѣ, съ новыми цвѣтущими сиренями и бабочками, которыя ее тогда уже не восхищали. Дѣти пробыли у дяди цѣлое лѣто; отецъ ихъ часто навѣщалъ.

Вдовый старикъ-дядя былъ страстный охотникъ. Несмотря на свои годы, онъ постоянно охотился то съ борзыми и гончими, то съ ружьемъ. За дѣтьми присматривала его пожилая экономка, Ильинишна. Онъ бралъ съ собою на охоту и племянницъ и однажды, собираясь въ поле, не утерпѣвъ,

далъ имъ поѣздить по двору верхомъ. Ксенія струсила; Аврора же, усѣвшись на дамскомъ сѣдлѣ покойной дочери дяди, смѣло прокатилась и съ той поры только и думала о верховой ѣздѣ. Бѣлый, какъ сметана, верховой конь дяди Петра, Кокò, былъ чуть не ровесникъ своего владѣльца, но ходилъ плавно, не спотыкался, слушался повода и еще лихо скакалъ.

— Дядечка Петя, — просила иногда Аврора: — позвольте мнѣ покататься съ кучеромъ.

Кокò торжественно сѣдлали и подводили къ крыльцу. Черноглазая, худенькая дѣвочка подносила къ его тёплымъ губамъ кусокъ чернаго хлѣба съ солью и, покормивъ его, проворно взбиралась со ступеней на сѣдло.

— Ты—не дѣвочка, мальчикъ-пострѣленокъ! — твердила Ильинишна, глядя на нее и качая головой.

— Барышня, барышня! — кричалъ нерѣдко кучеръ, не поспѣвая за Авророй, носившейся по полямъ и кустамъ.

— Ахъ, дядечка, — сказала разъ Аврора дядѣ: — исполните мою просьбу?

— Ну, говори!

— Дайте мнѣ выстрѣлить изъ ружья.

Дядя Петя подумалъ, походилъ по комнатѣ и взялъ со стѣны ружье. Онъ самъ зарядилъ ей свой «ланкàстеръ», научилъ, какъ держать его и цѣлиться, и далъ ей выстрѣлить въ саду въ цѣль. Стрѣльба повторялась при немъ и впослѣдствіи. А разъ вечеромъ, осенью, когда дядя былъ въ лѣсу, на охотѣ на вальдшнеповъ, вдругъ въ домѣ какъ бы самъ собой, раздался оглушительный выстрѣлъ. Ильинишна и прочая прислуга въ ужасѣ бросились и нашли Аврору въ барскомъ кабинетѣ, въ дыму. Оказалось, что она увидѣла въ окно псарей, гнавшихся за чужою собакой и кричавшихъ: «бѣшеная, бѣшеная». Аврора, игравшая здѣсь съ Ксеніей, недолго думая, схватила со стѣны заряженное ружье и, какъ ни останавливала ее сестра, прицѣлилась и спустила курокъ. Раненая собака упала и была добита гонцами. Дѣвочку застали блѣдною, дрожащею и въ слезахъ. Она отъ перепуга долго не могла понять, гдѣ она и что съ нею случилось.

— Да какъ же ты, бѣдовая, рѣшилась?—спрашивалъ ее потомъ дядя.

— Вижу, бѣгутъ, кричатъ: «бѣшеная!»—я и схватила...

— А какъ попала бы не въ собаку, а въ людей?

Аврора горько плакала и не отвѣчала. Это событіе стало

предметомъ общихъ толковъ. Пріѣхавшій отецъ горячо было поспорилъ съ Петромъ Андреевичемъ, но потомъ успокоился и отпустилъ къ нему дочерей и на другое лѣто. Тогда уже дядя Петя сталъ брать Аврору на охоту съ собой, въ качествѣ подручнаго стрѣлка. Ея восторгу не было границъ. Кокò и ружье видѣлись ей даже во снѣ. Но наступила нежданная разлука.

VII.

Однажды Валерьянъ Андреевичъ Крамалинъ пріѣхалъ въ Дѣдиново къ брату и радостно прочелъ ему при дѣтяхъ письмо, полученное имъ отъ княгини Шелешпанской, изъ Парижа. Годъ назадъ, Анна Аркадьевна, извѣщенная о кончинѣ своей дочери, искренно оплакавъ ее, писала, что сама сильно недомогаетъ и, вѣроятно, недолго проживетъ. Теперь же извѣщала, что ея здоровье поправилось, что она готова замѣнить сиротамъ мать, и предлагала ихъ отцу располагать для того ею самою и всѣми ея средствами. Къ письму былъ приложенъ приказъ въ одну изъ ея вотчинныхъ конторъ — выдать ея зятю значительную сумму денегъ. Начались совѣщанія и даже споры мѣжду отцомъ и дядей дѣвочекъ, что̀ съ ними предпринять. Въ концѣ новой осени, Валерьянъ Андреевичъ взялъ Аврору и Ксенію отъ дяди Пети и отвезъ ихъ въ московскій Екатерининскій институтъ.

Началась непосредственная переписка дѣвочекъ съ бабкой. Въ концѣ слѣдующаго года онѣ увѣдомили княгиню, что ихъ отецъ простудился въ какой-то поѣздкѣ и, какъ пишетъ дядя, опасно занемогъ. Прошла зима, наступило лѣто. Крамалины написали бабкѣ отчаянное письмо, что ихъ дорогой папа также умеръ, что онѣ въ траурѣ и что всѣ институтки разъѣзжаются на каникулы, а ихъ, круглыхъ сиротъ, некому взять, такъ какъ и дядя Петя, по слухамъ, оставилъ Дѣдиново и уѣхалъ куда-то на воды. Бабушка отвѣтила, что надо молиться о родителяхъ и терпѣть, и прислала имъ какое-то назидательное французское сочиненіе о нравственномъ долгѣ. Прошло нѣсколько лѣтъ горькаго сиротства дѣвочекъ. Незадолго до ихъ выпуска изъ института, ихъ вызвали въ неурочный часъ къ директрисѣ. Войдя въ высокія, парадныя комнаты суровой начальницы, онѣ сдѣлали формальный книксенъ и, рядомъ съ нею, увидѣли высокую, въ напудренныхъ локонахъ и въ черной шали, красиво закинутой черезъ плечо, представительную и чопорную

старуху, которая внимательно и молча оглядѣла ихъ въ золотой лорнетъ, хотѣла, обернувшись къ директрисѣ, сказать что-то важное, но тутъ же залилась слезами и, безъ всякой чопорности и важности, бросилась ихъ цѣловать. То была княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, рѣшившая, изъ сочувствія къ внучкамъ, покинуть Парижъ и переѣхать на постоянное жительство въ Москву.

Старуха, узнавъ лично сиротъ, искренно и горячо полюбила ихъ, ласкала, баловала и чуть не каждый день ѣздила къ нимъ. У Авроры были способности къ музыкѣ, Ксенія предпочитала танцы. Для нихъ были наняты лучшіе по этой части особые учителя. По выходѣ внучекъ изъ института, княгиня открыла свой давно пустѣвшій домъ, у Патріаршихъ прудовъ, отдѣлала его за-ново и сама стала вывозить внучекъ въ свѣтъ. Куда на это время дѣлись слабость ея здоровья и жалобы на преклонныя лѣта! Всѣ заговорили о ея гостиной, гдѣ пальмовая мебель была обита черною тисненою кожей, съ золочеными гвоздиками, о двухъ цугахъ ея лошадей, шестернѣ вороныхъ и четверкѣ чалыхъ, о ея балахъ и вечерахъ. Послѣ свадьбы Ксеніи, она формальнымъ духовнымъ завѣщаніемъ отказала свое можайское помѣстье Любаново Аврорѣ, а коломенскую деревню Ярцево—Ксеніи. Выдавъ годъ назадъ замужъ веселую и добродушную Ксенію, княгиня съ тревогой стала поглядывать на свою вторую внучку, которая, казалось, вовсе не думала о замужествѣ и нѣсколькимъ выгоднымъ искателямъ ея руки, подъ разными предлогами, отказала.

— Не разстанусь я, дорогая, съ вами!—говорила задумчивая и сосредоточенная Аврора, ухаживая за бабкой: — что мнѣ? Я довольна, счастлива; право, счастлива! Изрѣдка выѣзжаю къ знакомымъ... катаюсь верхомъ... у меня чудный Барсъ... беру уроки пѣнія и на клавикордахъ у первыхъ знаменитостей; читаю... у васъ же такая чудная библіотека! Ахъ, не говорите мнѣ, бабушка, о бракѣ... дайте подолѣе пожить съ вами, возлѣ васъ.

Старуха, отирая слезы и радостно любуясь строгою красотой Авроры, думала:

«А и въ самомъ дѣлѣ! пусть поживетъ у меня... Господь въ ней неисповѣдимыми путями, очевидно, искупаетъ увлеченіе, ошибку ихъ бѣдной матери, когда-то такъ легкомысленно бросившей меня».

Княгиня, въ старческомъ себялюбіи, продолжала считать ошибкою бракъ покойной дочери, забывая, что эта дочь, когда между ними произошло охлажденіе, относилась къ ней, какъ и прежде, почтительно-нѣжно и, горячо любя мужа и будучи взаимно имъ любима, жила съ нимъ до кончины вполнѣ счастливо.

Катанья на Барсѣ Аврора забывала только ради музыки и книгъ.

Библіотека, о которой она говорила бабкѣ, состояла изъ полки русскихъ и нѣсколькихъ шкаповъ иностранныхъ изданій. Русскія книги были собраны покойнымъ мужемъ княгини, ведшимъ дружбу съ Новиковымъ и другими московскими мартинистами; иностранныя же—въ большинствѣ вывезла сама Анна Аркадьевна изъ Парижа, гдѣ въ ея салонѣ собирались нѣкоторыя изъ свѣтилъ современной французской литературы. Выйдя изъ института, Аврора, между изученіемъ сольфеджій, каденцъ и руладъ Фелисъ-Андріё и выѣздами на концерты и балы, по совѣту институтскаго учителя русской словесности, прочла и нѣкоторыя изъ тогдашнихъ немногихъ русскихъ книгъ. Княжнина, Державина и Дмитріева она едва одолѣвала. Зато съ жадностью прочла повѣсти и письма изъ чужихъ краевъ Карамзина, уже входившія въ моду басни Крылова и стихотворенія Жуковскаго, и всецѣло обратилась къ корифеямъ иностранныхъ литературъ. Между послѣдними она обратила особое вниманіе на прежнихъ и новыхъ французскихъ моралистовъ и съ жадностью набросилась на нихъ. Жанъ-Жакъ Руссо, Даламберъ, Де-Местръ и Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеръ надолго стали любимцами Авроры. Она съ ними мечтала о возможности пересозданія обществъ на новыхъ, мирно-идеальныхъ началахъ. Но всѣ заговорили о Бонапартѣ, о войнѣ.

Наполеонъ сильно занялъ Аврору и сталъ ея мыслямъ представляться сказочнымъ исполиномъ, неземнымъ героемъ. Сперва она съ наслажденіемъ воображала его себѣ въ видѣ генія-благодѣтеля, нежданно и таинственно сошедшаго въ міръ и проливающаго на человѣчество, вмѣстѣ съ своею ослѣпительною славой, потоки мирнаго, невѣдомаго, дотолѣ блаженства. Но когда, однажды, бабкѣ принесли съ почты пачку новыхъ французскихъ, изданныхъ въ Бельгіи и въ Англіи, памфлетовъ о Наполеонѣ и она одинъ изъ нихъ, написанный мадамъ де-Сталь, по желанію княгини, прочла

ей вслухъ, ея взглядъ на Наполеона началъ быстро измѣняться. Вѣроломная же казнь герцога Ангіенскаго повергла ее просто въ отчаяніе. Узнавъ, какъ неповинный ни въ чемъ герцогъ былъ схваченъ, поставленъ во рву Венсенской крѣпости и, безъ сожалѣнія, разстрѣлянъ Наполеономъ, Аврора разрыдалась, повторяя: «бѣдный, бѣдный! и за что? гдѣ наказаніе его убійцамъ?» Нѣсколько успокоясь, она заперлась у себя въ комнатѣ, наверху, прочла всѣ вновь полученныя и вывезенныя бабкой брошюры о Бонапартѣ, на которыя она прежде не обращала особаго вниманія, и Наполеонъ, съ его блескомъ, громкими войнами и разрушеніемъ старыхъ городовъ и царствъ Европы, вмѣсто идеальнаго героя, началъ ей представляться ненавистнымъ, эгоистическимъ и звѣроподобнымъ чудовищемъ. Она даже сѣтовала въ мечтахъ, почему не родилась мужчиной, иначе она была бы въ рядахъ смѣлыхъ бойцовъ, сражающихся съ этимъ новымъ Чингисъ-ханомъ.

Познакомясь съ Перовскимъ, Аврора вначалѣ съ пренебреженіемъ и насмѣшкой, потомъ внимательнѣе вслушивалась въ его дифирамбы Наполеону и, подъ его вліяніемъ, на нѣкоторое время не то чтобы смягчила свой взглядъ на загадочнаго героя, а этотъ герой переставъ ее волновать и раздражать. Но когда разнеслась и стала подтверждаться молва о близости войны, и когда, благодаря этому Бонапарту, котораго отчасти еще защищали Перовскій и княгиня и открыто бранили Растопчинъ и Тропининъ, Аврора должна была проститься съ человѣкомъ, котораго въ душѣ предпочитала другимъ, — въ ней снова поднялась вражда къ «корсиканскому чудовищу», грозившему Россіи бѣдствіями войны. Аврора старалась въ душѣ примириться съ отъѣздомъ искателя ея руки.

«Недалеко,—думала она,—два-три мѣсяца пролетятъ незамѣтно!.. Онъ возвратится и, несомнѣнно, выскажется»...

Когда же Перовскій, съ прочими отпускными офицерами, былъ нежданно потребованъ къ Растопчину и ему объявили приказъ о немедленномъ выѣздѣ въ армію, Аврора не помнила себя отъ горя.

«Вернется ли онъ и дѣйствительно ли можно еще избѣжать войны?—мыслила она,—и зачѣмъ эта война, эти ужасы? И для чего, наконецъ, идетъ олицетвореніе всѣхъ ужасовъ, насилій и потоковъ крови—этотъ Наполеонъ? Его предше-

ственникъ, Маратъ, вызвалъ нѣкогда месть смѣлой патріотки, — думала, содрогаясь, Аврора: — Господи! отомсти, порази Своимъ гнѣвомъ этого насильника!»

VIII.

Наканунѣ своего отъѣзда изъ Москвы, Перовскій обѣдалъ въ домѣ Анны Аркадьевны и заѣхалъ къ ней опять вечеромъ. Въ это время у нея собрались нѣкоторые изъ близкихъ знакомыхъ, въ томъ числѣ двѣ-три институтскія подруги Авроры и Ксеніи, съ братьями. Молодые люди были веселы, играли въ шарады, буримé и secrétaire, оживленно разсказывали о балахъ послѣднихъ дней, о сватовствѣ и близкихъ свадьбахъ въ семьяхъ нѣкоторыхъ москвичей. Кто-то передалъ, что свадьба одной изъ ихъ знакомыхъ, пожалуй, разстроится, такъ какъ ея жениха прежній ея обожатель вызвалъ на дуэль. Аврора взглянула на Перовскаго. Тому этотъ взглядъ показался упрекомъ. Онъ терялся въ его значеніи. Княгиня, въ скромномъ, фіолетово-дофиновомъ платьѣ и въ темной шали, съ грустью поглядывала на Перовскаго и Аврору, молча раскладывала въ гостиной пасьянсъ. Передъ чаемъ Ксенія открыла клавикорды и пригласила одну изъ подругъ спѣть. Нѣкоторые въ это время гуляли въ саду; между ними была и Аврора. Заслушавшись издали пѣнія, она замѣтила, что садъ опустѣлъ. Она направилась къ дому. Вдругъ она вздрогнула. Навстрѣчу къ ней изъ-за деревьевъ шелъ Перовскій.

Ярко свѣтилъ мѣсяцъ. Влажный воздухъ сада былъ напоенъ запахомъ листвы и цвѣтовъ. Прямая, широкая липовая аллея вела отъ ограды двора къ пруду, окаймленному зеленою поляною, съ сюрпризами, гротами, фонтанами и грядками высаженныхъ изъ теплицъ цвѣтущихъ нарциссовъ, жонкилей и барской спѣси. Сквозь ограду виднѣлись освѣщенныя и открытыя окна дома, откуда доносились звуки пѣнія. Въ саду было тихо. Каждая дорожка, каждое дерево и кустъ вѣяли таинственнымъ сумракомъ и благоуханіемъ.

Увидя Перовскаго, Аврора хотѣла-было идти къ воротамъ. Онъ ее остановилъ.

— Вы здѣсь?—сказалъ Базиль, восторженно глядя на нее.

Аврора, казалось, подбирала слова. — Вотъ что, — проговорила она: — о войнѣ и ея виновникѣ... они у всѣхъ теперь въ мысляхъ... давно я собиралась вамъ это передать...

Прошлымъ лѣтомъ съ Архаровыми я ѣздила въ ихъ подмосковную. Тамъ собраніе картинъ, и я, помню, въ особенности засмотрѣлась на одну. На ней изображена охота въ окрестностяхъ Парижа, въ паркѣ, на оленей. Превосходная копія съ работы какого-то знаменитаго французскаго живописца. Ахъ, что за картина! ну, живые люди; а скалы, ручей, деревья...

— У Архаровыхъ, дѣйствительно, отличная картинная галлерея.

— Нѣтъ, послушайте: справа на поляну за оленемъ стая озлобленныхъ гончихъ. Онъ изнемогаетъ, напрягъ послѣднія силы и спасся бы... но—на перерѣзъ ему... бѣда слѣва, въ ожиданіи оленя, стоитъ спрятанный за деревьями стрѣлокъ. Его окружаютъ верхами пышные, въ золотѣ, придворные и, въ открытыхъ коляскахъ, подъ зонтиками, красивыя, нарядныя дамы. Стрѣлокъ—Наполеонъ... Онъ въ синемъ мундирѣ, бѣломъ камзолѣ и въ треуголкѣ, какъ теперь его вижу: толстый, круглый, счастливый и крѣпкій, точно каменный.

— Именно, каменный,—сказалъ, вздохнувъ, Перовскій.

— Его полное, смуглое лицо самодовольно,—продолжала Аврора: — онъ спокойно прицѣлился и чуть не въ упоръ стрѣляетъ въ бѣдное, съ высунутымъ языкомъ и блуждающими глазами, животное... Фу! я видѣла не разъ, бывала на охотѣ; но тогда же я сказала Элизъ Архаровой: какой дурной и жестокій этотъ всѣми прославленный человѣкъ! Ну, можно ли такъ равнодушно-спокойно и такъ безжалостно убивать слабое, изнемогающее въ побѣгѣ, живое существо?! Онъ такъ же разстрѣлялъ и герцога Ангіенскаго...

Аврора въ волненіи смолкла.

— Вы правы... клянусь, это—жестокій человѣкъ!—сказалъ Перовскій:—мы ему отплатимъ за всѣ его вѣроломства. Ему вспомнятся лживыя завѣренія Тильзита и Эрфурта. Я заблуждался, былъ слѣпъ... говорю это теперь не съ чужого голоса и не стыжусь за то, что говорю; я ѣду съ твердымъ убѣжденіемъ, что наши жертвы, наши усилія сломятъ врага... Одно горе...

Перовскій смѣшался и замолчалъ. Аврора съ трепетомъ ожидала чего-то необычайнаго, страшнаго.

— Вы меня простите, — проговорилъ вдругъ упавшимъ голосомъ Перовскій:—я ѣду и, можетъ-быть, навсегда... но это выше моихъ силъ...

Аврора съ замираніемъ вслушивалась въ его слова. Ея сердце билось шибко.

— Я не могу, я долженъ сказать,—продолжалъ Базиль:— я васъ люблю, и потому...

Аврора молчала. Свѣтъ померкъ въ ея глазахъ. Послѣ минутной борьбы, она робко протянула руку Перовскому. Тотъ въ безумномъ восторгѣ осыпалъ эту руку поцѣлуями.

— Какъ? вы согласны? вы...

— Да, я ваша... твоя,—прошептала, склонясь, Аврора.

Они снова углубились въ садъ. Перовскій говорилъ Аврорѣ о своихъ чувствахъ, о томъ, какъ онъ съ перваго знакомства горячо ее полюбилъ и не рѣшался объясниться.

— Все ли ты обо мнѣ знаешь?—спросилъ Базиль:—я — Перовскій, но мой отецъ носилъ другое имя.

Онъ передалъ Аврорѣ о своемъ прошломъ. Она, идя рядомъ съ нимъ, молча слушала его признанія.

— Зачѣмъ ты мнѣ это сказалъ? — спросила она, когда онъ кончилъ исповѣдь.

— Чтобы ты знала все, что̀ касается меня. Это—тайна не моя, моего отца, и я долженъ былъ ее хранить отъ всѣхъ, но не отъ тебя...

Аврора съ чувствомъ пожала руку Перовскаго.

— Такъ ты—сынъ министра?—сказала она, подумавъ:— что же? Я рада за твоего отца; но, прости, не за тебя... Почему твой отецъ дѣлаетъ изъ этого тайну?

Перовскій сослался на обычаи свѣта, на положеніе отца.

— Ты любишь свою мать?—спросила Аврора.

— Еще бы!.. всѣмъ сердцемъ, горячо.

— И она—хорошая мать, добра, заботилась о тебѣ?

Базиль разсказалъ о своихъ дѣтскихъ годахъ въ Малороссіи, о свиданіи въ деревнѣ съ отцомъ, передъ отъѣздомъ въ ученье, о пребываніи въ университетѣ и о поступленіи на службу въ Петербургъ.

— И ты, съ отъѣзда изъ деревни, не видѣлъ отца?

— Видѣлъ въ Петербургѣ.

— И онъ не оставилъ тебя при себѣ?

Базиль молчалъ.

— Я такъ же горячо, какъ и ты, полюблю твою матушку,—сказала Аврора:—но тебя узнаетъ и, нѣтъ сомнѣнія, ближе оцѣнитъ и твой отецъ; не можетъ быть, чтобы онъ тобою не гордился, тобою не жилъ.

Изъ-за ограды раздался голосъ слуги княгини, Власа:

— Барышня, бабушка васъ зовутъ... Мелецкіе уѣзжаютъ...

— Постой, еще слово, — проговорилъ Перовскій, не выпуская руки Авроры:—подари мнѣ на память какую-нибудь бездѣлицу... ну, хоть этотъ цвѣтокъ.

Аврора вырвала изъ пучка сирени, приколотаго къ ея груди, цвѣтущую вѣтку и подала ее Перовскому.

— Есть у тебя твой портретъ?—спросила она.

— Есть миніатюрный, работа Ильи... я хотѣлъ завтра его послать матери въ Почепъ, но для тебя...

— Отлично. Илья Борисовичъ сниметъ мнѣ копію.

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскрикнулъ Перовскій:—возьми этотъ! онъ готовъ... со мной! вотъ онъ... я сегодня утромъ получилъ его изъ отдѣлки.

Онъ подалъ Аврорѣ медальонъ съ крошечнымъ своимъ акварельнымъ портретомъ. Она взглянула на портретъ и прижала его къ груди.

— Барышня, да гдѣ же вы? — раздался отъ воротъ голосъ экономки Маремьяши.

Аврора спрятала медальонъ подъ корсажъ платья и, отирая слезы, направилась изъ сада. Она объ руку съ Перовскимъ возвратилась въ домъ, откуда уже начали разъѣзжаться.

— Ну, теперь иди къ бабушкѣ,—сказала она, сморщивъ носикъ: — и дѣлай формальное предложеніе: иначе нельзя... какъ можно, обидится, еще откажетъ.

Базиль было направился въ гостиную. Аврора остановила его.

— Нѣтъ,—объявила она, выпрямляясь:—пойдемъ вмѣстѣ.

Сильно поблѣднѣвъ и ни на кого не глядя, она твердо прошла черезъ рядъ комнатъ, подвела Перовскаго къ бабкѣ, окруженной у двери въ молельню прощавшимися гостями, и, держа его за руку, тихо проговорила:

— Дорогая бабушка, вотъ мой женихъ.

Княгиня обомлѣла.

— Да какъ же это, не спросясь? Да что же и ты, какъ смѣлъ?—обратилась-было княгиня къ Перовскому, но тутъ же, едва сдерживая слезы, она обняла его, обняла и упавшую передъ нею на колѣни Аврору, крестила ихъ и цѣловала:— въ мать! въ мать! смѣла и мила!—твердила она, смѣясь и плача. — Охъ, родные мои, любите другъ друга и будьте счастливы!

Разъѣздъ гостей пріостановился. Всѣ радовались счастливой развязкѣ романа Авроры. Потребовали шампанскаго, и помолвка сговоренныхъ была полита обильными тостами.

— Но неужели это послѣднее прости, и мы болѣе уже не увидимся?—спросилъ Перовскій Аврору, когда пришелъ чередъ ихъ прощанью: — вѣдь я завтра, что̀ ни дѣлай, утромъ ѣду.

Въ голосѣ Базиля дрожали слезы. Глаза всѣхъ были обращены на него.

— До свиданія... осенью,—отвѣтила, стараясь улыбнуться и крѣпко пожавъ ему руку, Аврора.

— До свиданія, до свиданія!—твердили прочіе.

Перовскій простился со всѣми и уѣхалъ. Аврора бросилась къ себѣ на антресоли и разрыдалась. Она ходила по комнатѣ, ломала свои руки и повторяла: «нѣтъ, нѣтъ! такъ невозможно... но неужели? о, Господи! вразуми, подкрѣпи, охрани меня»...

На квартирѣ Базиль разбудилъ хозяйскаго слугу, зажегъ свѣчу и, вздыхая, написалъ и послалъ записку къ Митѣ Усову, жившему неподалеку, въ гостиницѣ Лондонъ. Въ запискѣ онъ извѣщалъ, чтобы Митя завтра явился пораньше, такъ какъ почтовыя лошади будутъ готовы къ семи часамъ утра. Перовскому приходилось ѣхать до Можайска съ Митей, и онъ съ нимъ условился завернуть тамъ, по близости, въ усовскую деревушку Новоселовку, гдѣ у Мити, по желанію отца, шли поправки въ домѣ и гдѣ онъ надѣялся получить съ крестьянъ оброкъ, чтобы возвратить Перовскому деньги, занятыя у послѣдняго въ Москвѣ. Послалъ записку, Базиль уложилъ въ чемоданъ послѣднія вещи и взглянулъ на часы. Былъ второй часъ ночи.

«Недалеко до утра, — подумалъ онъ, — гдѣ тутъ спать? Ночь чудная, лунная... скоро разсвѣтъ... пойду, прогуляюсь... а утромъ, по пути, еще разъ заѣду проститься съ Авророй».

Базиль раскрылъ окно, выходившее въ сосѣдній садъ, и задумался.

«Нѣтъ,—сказалъ онъ себѣ:—врядъ ли удастся такъ рано увидѣть Аврору... Напишу ей лучше теперь и самъ завезу къ ней записку; вызову ее какъ-нибудь, хоть на мгновеніе, на Патріаршіе пруды... Она могла бы выйти съ Маремьяшей или съ Власомъ... Не удалось намъ и наговориться... а столько хотѣлось бы высказать, передать»...

Базиль сѣлъ къ столу и началъ писать. Прошло нѣсколько минутъ. За дверью послышался шорохъ.

«Это слуга возвратился отъ Мити,—подумалъ Базиль:—ищетъ впотьмахъ дверного замка».

Онъ продолжалъ писать. Дверь скрипнула. Перовскій обернулся.

У порога стояла женская фигура, въ черномъ, подъ густою, темною вуалью.

— Кто это?—спросилъ Базиль, вскакивая.

Фигура неподвижно и молча стояла у порога. Перовскій шагнулъ къ ней ближе. Онъ узналъ Аврору.

— Ты? ты здѣсь? — вскрикнулъ онъ, притягивая ее къ себѣ и осыпая безумными, страстными поцѣлуями ея похолодѣвшія руки, лицо, волосы:—какъ ты рѣшилась, дорогая, какъ нашла?

— Я хотѣла еще разъ видѣть тебя, поговорить.

Базиль не помнилъ себя отъ счастья.

— Вѣдь и я, вообрази, думалъ къ тебѣ сейчасъ,—произнесъ онъ, усаживая Аврору и садясь противъ нея: — вотъ, смотри, даже писалъ къ тебѣ, хотѣлъ вызвать.

Аврора откинула за плечи вуаль, пристально взглянула на него и съ мыслью: «Что будетъ далѣе — не знаю, теперь же ты со мной!» страстно обхватила его голову.

— Какая пытка! — шептала она въ слезахъ:—и зачѣмъ мы встрѣтились, сошлись? Я боялась, боролась: что, если кто встрѣтитъ? Но видишь, я здѣсь. Неужели разлука навѣкъ?

— О, я вѣрю въ нашу звѣзду; мы, дастъ Богъ, снова увидимся,—сказалъ Базиль.

— Да! разумѣется! Что же это я, безумная?.. Увидимся непремѣнно.

Аврора отерла слезы, помахала себѣ въ лицо платкомъ.

— Ты на прогулкѣ тогда,—сказала она:—упомянулъ, но какъ-то легко, какъ бы въ шутку, о молитвѣ... Вы, мужчины, прости, маловѣры... а тебѣ предстоитъ такое важное, тяжелое дѣло... Ты не разсердишься?

— Говори, говори.

— Покойница мать учила меня и сестру прибѣгать, въ дни горя и скорби, къ Покрову Божіей Матери. Дай слово, что ты искренно будешь молиться этому образу.

— Клянусь, исполню твой завѣтъ.

Аврора вынула изъ кармана иконку и надѣла ее на шею Базиля. Слезы стояли въ ея глазахъ.

— Ну, теперь я все сказала, прощай,—произнесла она, отирая лицо.

— Какъ? разставанье? — вскрикнулъ Перовскій: — но гдѣ же Божья правда? Мигъ встрѣчи — и мѣсяцы разлуки! Я все брошу, все... останусь съ тобой, не уходи... слушай, я попрошусь въ переводъ, въ здѣшніе полки.

— Не дѣлай этого! Мужайся, Базиль: тебя зоветъ долгъ службы, спасеніе родины; честно ей послужи. Я люблю тебя, и, вѣрь, другого не полюблю. Буду счастлива при мысли, что ты исполнилъ свое призваніе, какъ истинный, честный патріотъ. Такъ жалки другіе, бѣжавшіе по деревнямъ, мужья, братья, женихи... о, ты выше ихъ!

— Но, ради Бога, помедли, не уходи, — молилъ Перовскій:—еще слово...

За дверью послышались шаги. Аврора накинула на лицо вуаль. У порога показался слуга.

— Такъ до свиданія, — сказала Аврора: — мужайся, увидимся.

— Я тебя провожу,—отвѣтилъ Базиль.

Онъ подалъ ей руку, и они направились къ Бронной. Начинался блѣдный разсвѣтъ. Улицы были еще пусты. У Ермолая Базиля и Аврору обогналъ кто-то на дрожкахъ. Имъ было не до него.

Утромъ ямская тройка лихо мчала Перовскаго и Митю по дорогѣ къ Можайску. Базиль покрывалъ поцѣлуями платокъ, оброненный Авророй у него въ комнатѣ.

Въ Новоселовкѣ путники пробыли около сутокъ. Завѣдывавшій здѣшнимъ хозяйствомъ Усовыхъ, староста Климъ, жалуясь, по обычаю, на неурожай и на тяжелыя времена, кое-какъ, съ недочетами, собралъ и снесъ молодому барину съ крестьянъ не разъ отсрочиваемый оброкъ. Няня, Арина Ефимовна, успѣла напечь Митѣ и его гостю пирожковъ, лепешекъ и прочаго съѣстного, каждому на дорогу особо, такъ какъ пріятели далѣе ѣхали по разнымъ путямъ. Чемоданы были окончательно уложены, все увязано и вынесено въ переднюю. Илья Тропининъ просилъ Перовскаго наблюсти за послѣдними сборами и отъѣздомъ Мити изъ деревни, которую послѣдній особенно любилъ.

— А ужъ ты, батюшка, Митенька, воля твоя,—говорила Ефимовна, суетясь на разставаньѣ и со слезами ходя изъ комнаты въ комнату, со связкой ключей у пояса:—не безпокойся; мы и родительскій твой домишко, и весь вашъ хозяйскій скарбъ, какъ мебель и вещи въ домѣ, такъ и всякіе припасы въ кладовыхъ—сбережемъ и сохранимъ въ цѣлости нерушимо. А окромѣ братца, Ильи Борисовича, и будущая хозяйка вотъ ихъ милости, Василія Алексѣевича,—ни вѣсть что за даль любановская усадьба, — авось навѣдается сюда, дастъ намъ порядокъ. И княгиня-матушка на крестинахъ правнука увидѣла меня въ экономкиной свѣтелкѣ и говоритъ: «Ты у меня, Ефимовна, тоже смотри; я и изъ Москвы глазастая; чтобы все господское у тебя было въ порядкѣ; старый твой хозяинъ нынѣ живетъ за Волгой, а его сынъ ѣдетъ въ походъ, ему не до того, и Богъ вѣсть еще, когда сядетъ у васъ на хозяйство,—смотри!»

— Будь спокойна, Ефимовна,—отвѣтилъ Митя:—за тобою мы всѣ ни о чемъ и не думаемъ.

Арина утерла слезы и гордо обдернула на груди концы платка.

— И я тебѣ, голубушка няня, скажу,—прибавилъ Митя:—вернусь изъ похода, вотъ онъ женится, всѣ они пріѣдутъ въ Любаново,—въ Ярцевѣ у нихъ домъ меньше и не такъ устроенъ; и я тоже женюсь, вслѣдъ за Базилемъ, — найду невѣсту непремѣнно,—и поселюсь здѣсь... Вотъ въ этой залѣ отпируемъ и свадебный пиръ.

— Ну, тебѣ бы, Митенька, еще и рано, послужи!—всхлипывала Ефимовна.

Сборы были кончены къ вечеру. Кибитки Мити и его гостя стояли нагруженныя у крыльца. Выбившаяся изъ силъ Арина, плача, клала туда послѣдніе узелочки и узлы.

— Да чего ты, Ефимовна, плачешь? — спросилъ Перовскій, стараясь быть бодрымъ и веселымъ, при проводахъ порученнаго ему товарища:—вотъ, оглянись, Дмитрій,—обратился онъ къ бѣлокурому, кудрявому юношѣ, уже сидѣвшему въ телѣгѣ, на горѣ узловъ:—взгляни еще разъ, какъ обновленъ и прибранъ вашъ родовой уголъ; и все это твоя няня, все она. Я радъ, что вы съ нею снова наладили дѣдовское гнѣздо; точно заботливыя тѣни бабки и дѣда еще витаютъ здѣсь, въ ихъ любимой когда-то Новоселовкѣ.

— Ахъ, я такъ счастливъ, счастливъ!—произнесъ Митя:—затратилъ на поправки, зато надолго, до собственныхъ моихъ внуковъ, опять наладилъ! А какъ мы здѣсь зимою чертили планы? вотъ было весело!

— Запомни же все! — продолжалъ Базиль:—я самъ, нѣкогда уѣзжая изъ родного гнѣзда, старался подолѣе глядѣть вокругъ, чтобы запомнить малѣйшія черты дорогихъ мѣстъ. Я убѣжденъ, что если не нынче же лѣтомъ, то уже осенью, въ августѣ или сентябрѣ, этотъ уголъ, дастъ Богъ, непремѣнно встрѣтитъ здѣсь насъ обоихъ такимъ же уютнымъ и гостепріимнымъ, какимъ онъ, вѣроятно, встрѣчалъ когда-то и твоихъ родителей. Едва объявится миръ, возьмемъ отпускъ, а не то и выйдемъ въ отставку и заживемъ. Любаново—рукою подать, будемъ видѣться... Помни же, осенью, не далѣе сентября.

— Да отдай, няня, починить мое охотничье ружье,—оно въ шкапу, знаешь, тамъ, гдѣ мои тетради, книги и удочки!—крикнулъ Митя, смигивая слезы и стараясь тоже говорить весело и держаться молодцомъ:—и лазариновскіе дѣдушкины пистолеты въ чехлахъ; тамъ тоже уздечки, знаешь? Ну, мнѣ налѣво, тебѣ направо... прощай голубчикъ Базиль, до осени... оба женимся непремѣнно и заживемъ!..

Няня, утираясь, только махала рукой. Митя уѣхалъ. Онъ улыбался, издали крестя пріятеля и Арину и не спуская глазъ съ родного, обитаго новымъ тесомъ, домишка, стоявшаго среди березъ на холмѣ, съ зеленаго сада и крылатой мельницы, съ тучею голубей, вившихся надъ ними. Все это понемногу скрылось за другими холмами. По совѣту друга, Митя усиливался до послѣдняго мгновенія, до поворота за ближній лѣсъ, запомнить въ душѣ всѣ эти дорогія мѣста, гдѣ онъ родился и гдѣ, подъ наблюденіемъ Ефимовны, подросъ, пока, по просьбѣ его отца, Илья Тропининъ пристроилъ его въ ученье, а потомъ на службу въ Петербургъ.

IX.

Проводивъ Митю, Перовскій позвалъ старосту Клима, бѣлолицаго, благообразнаго и расторопнаго мужика, съ добрыми и умными глазами. Смеркалось. Базиль разспросилъ Клима о ближайшемъ проѣздѣ на смоленскую дорогу, и на усовской тройкѣ, а далѣе на почтовыхъ, выѣхалъ мимо тонувшихъ въ ночной полумглѣ, на холмахъ и въ долинахъ, окрестныхъ деревушекъ и сслъ.

Невдали отъ Новоселовки, при переѣздѣ черезъ какой-то мостъ, онъ спросилъ возницу, что за зданія виднѣются въ темнотѣ.

— Бородино,—отвѣтилъ возница.

— Большое село?

— Да, сударь. Оттелева Митрій Миколаичъ добылъ прошлый годъ голубей... у отца Павла повсегда важнѣющіе...

Памятно впослѣдствіи стало это село Перовскому и всей Россіи.

Лошади мчались.

«А она-то, моя владычица, мой рай! что съ нею? — думалъ Базиль, погруженный въ мечты о послѣднемъ свиданіи съ Авророй:—да, наше счастье прочно, ненарушимо... Какъ она любитъ, какъ предана мнѣ!»

Грезы смѣнялись грезами. Перовскій перебиралъ въ умѣ свое прошлое. Ему съ живостью представилось его дѣтство, богатое черниговское помѣстье Почепъ, огромный, выстроенный знаменитымъ Растрелли домъ, возлѣ дома — спадавшій къ рѣкѣ обширный садъ и самъ онъ, ребенкомъ, бѣгающій по этому саду въ рубашечкѣ. Онъ вспоминалъ свою мать, Анну Михайловну, высокую, румяную, съ черною косой, чернобровую красавицу, изъ должностныхъ хозяина помѣстья. Онъ съ нею и съ братьями жилъ въ отдѣльномъ флигелѣ, невдали отъ большого дома. Здѣсь его учили грамотѣ.

Въ отроческіе годы Базиля, графъ, владѣлецъ Почепа, лишь изрѣдка жилъ въ большомъ домѣ. Дѣти Анны Михайловны въ то время видѣли его только въ церкви или изъ оконъ флигеля, когда онъ съ пышностью, провожаемый слугами, выѣзжалъ по хозяйству или къ сосѣдямъ. Тѣнистыя дороги сада, красивыя бесѣдки, клумбы цвѣтовъ и лабиринтъ изъ пирамидальныхъ тополей, гдѣ мальчики, въ отсутствіе графа, прятались, играя съ дѣтьми другихъ должностныхъ графа, — все это въ воспоминаніяхъ Базиля невольно сливалось со слезами матери. Анна Михайловна нерѣдко, безмолвно поглядывая изъ окна флигеля на большой, то пустынный, то съ пріѣздомъ графа ярко освѣщенный домъ, обнимала дѣтей и со вздохомъ говорила: «Соколы мои, соколы! что-то съ вами будетъ?»

Въ памяти Перовскаго особенно сохранилось одно событіе. То была поѣздка его матери въ какой-то отдаленный монастырь. Графъ долго не пріѣзжалъ изъ Петербурга, гдѣ,

какъ всѣ говорили, онъ занималъ важное мѣсто. Анна Михайловна снарядилась, взяла съ собой Васю и его старшаго брата Льва и съ ними въ бричкѣ, на долгихъ, выѣхала на богомолье. Раскачиванье уложенной перинами и подушками, просторной брички, мѣрный бѣгъ тройки сытыхъ, весело фыркающихъ саврасокъ, раздольныя поля, полныя запахомъ цвѣтущихъ травъ, пѣсни жаворонковъ, ночлеги въ хуторахъ, дремучій монастырскій лѣсъ, оглашаемый у рѣки соловьиными свистами, и долгое моленіе въ старомъ, окуренномъ ладаномъ храмѣ, гдѣ усталый Вася, прикорнувшись за колонной, заснулъ, — все это ему вспоминалось живо, какъ и радость матери по ихъ возвращеніи домой.

Вскорѣ послѣ ихъ пріѣзда, въ Почепъ прибылъ на лѣтній отдыхъ и графъ. На другой день по его водвореніи въ Почепѣ, Анну Михайловну и ея сыновей позвали къ нему въ домъ. Мальчиковъ принарядили и ввели въ графскій кабинетъ. Графъ сидѣлъ въ лиловомъ бархатномъ халатѣ, напудренный, красивый и величавый. Секретарь кончилъ докладъ и уносилъ бумаги.

— Молодцы! — сказалъ графъ, посмотрѣвъ на черноглазыхъ мальчугановъ, бойко прочитавшихъ ему наизусть оду Державина, и расцѣловалъ ихъ.

Оправивъ на себѣ кружевной шарфъ и манжеты, онъ далъ дѣтямъ по кошельку съ дукатами и сказалъ:

— Это вамъ на орѣхи, въ память вашего покойнаго отца; онъ былъ мнѣ вѣрнымъ другомъ и слугою. Я далъ ему слово заботиться о васъ, сиротахъ. Надо учиться болѣе; поѣдете въ Москву.

Дѣти весело разглядывали кабинетъ, убранный рѣдкими картинами, охотничьими приборами, чучелами птицъ, вазами и статуями. Стоявшая у порога ихъ мать отирала радостныя слезы. Старшаго изъ сыновей Анны Михайловны увезли ранѣе, Васю—нѣсколько позже. Къ нему приставили выписаннаго изъ чужихъ краевъ гувернера и съ нимъ отправили его въ Москву, гдѣ сперва помѣстили въ частномъ пансіонѣ, потомъ опредѣлили въ университетъ.

Вася, еще по девятому году, въ Почепѣ, отъ какого-то пьянчужки, сельскаго писаря изъ семинаристовъ, узналъ, что графъ — его отецъ, но этого не признаетъ, такъ какъ очень знатенъ, живетъ возлѣ царя въ Петербургѣ и занимаетъ тамъ мѣсто министра.

— Но развѣ министрамъ запрещено имѣть дѣтей?— спросилъ писаря удивленный Вася.

— Дубина ты, стультусъ, и больше ничего; значитъ, что нельзя!—отвѣтилъ сельскій грамотѣй.

Проболтавшись объ этомъ разговорѣ матери, Вася отъ нея услышалъ, что графъ будетъ очень гнѣваться и лишитъ ихъ всѣхъ своихъ милостей, если они станутъ разсказывать о родствѣ съ нимъ. Съ той поры, на вопросы товарищей и знакомыхъ, кто его отецъ, Перовскій отвѣчалъ:

— Я — сирота съ дѣтства; мой отецъ, украинскій хуторянинъ, служилъ въ Малороссіи управляющимъ одного графа и давно умеръ...

Выдержавъ послѣдній экзаменъ въ университетѣ, Вася написалъ о томъ радостное письмо матери и съ нетерпѣніемъ собирался ѣхать къ ней на родину, гдѣ не былъ около семи лѣтъ. Ему рисовался Почепъ, тѣнистый садъ, дорогой флигель, свобода. Но къ нему на квартиру, гдѣ онъ жилъ съ Ильей Тропининымъ, явился незнакомый старичокъ-чиновникъ, въ сѣромъ фракѣ, съ сахарною улыбочкой и хохолкомъ на головѣ, и, поздравивъ его отъ имени графа, объявилъ, что онъ, Перовскій, милостью высокаго покровителя, уже опредѣленъ на службу въ колонновожатые, то-есть въ свитскіе, и что, въ виду этого, графъ совѣтуетъ ему, дабы не потерять мѣста, безъ замедленія ѣхать въ Петербургъ. Чиновникъ вручилъ ему при этомъ нужную сумму на обмундированіе и на отъѣздъ къ мѣсту служенія и, откланиваясь, спросилъ, когда же Василій Алексѣевичъ располагаетъ ѣхать, такъ какъ о томъ должно дать знать его сіятельству. Базиль подумалъ и отвѣтилъ:

— Черезъ недѣлю.

Какъ ни уговаривалъ его Илья Тропининъ обождать, еще повеселиться, гдѣ-то охотиться и, притомъ, въ компаніи другихъ, кончившихъ ученье студентовъ, варить жжёнку, Базиль въ назначенное время оставилъ Москву. Онъ сгоралъ нетерпѣніемъ увидать Петербургъ и отца.

«Теперь графъ, навѣрное, признаетъ меня! — въ трепетномъ восторгѣ мыслилъ Базиль:—я уже болѣе не почепскій хуторянинъ, а получившій высшее образованіе офицеръ! Отецъ съ гордостью,—если не дастъ еще мнѣ своего имени и графскаго титула, о чемъ я, разумѣется, и не мечтаю,— назоветъ меня, хоть наединѣ, хотя глазъ-на-глазъ, своимъ

сыномъ... и у меня будетъ отецъ... да какой еще отецъ! Какъ всѣ хвалятъ высокія его дарованія, любовь къ наукамъ и искусствамъ, честь и умъ! Онъ сниметъ съ меня запретъ— хоть для нашихъ личныхъ сношеній... Я поселюсь у него, буду близко ежедневно видѣть замѣчательнаго государственнаго дѣятеля; я брошусь къ нему, онъ прижметъ меня къ своей груди!»

Ожиданія Базиля сбылись. Но графъ-отецъ, вѣроятно, избѣгая до времени превратной огласки и пересудовъ, не нашелъ еще возможнымъ поселить у себя сына въ Петербургѣ. Къ Базилю въ гостиницу, послѣ перваго радостнаго его свиданія съ отцомъ, когда онъ, весь возбужденный, былъ наверху блаженства, явился тотъ же бывшій въ Москвѣ старичокъ-чиновникъ, оказавшійся однимъ изъ служащихъ въ домовой канцеляріи графа, ласково разспросилъ его, гдѣ онъ думаетъ найти квартиру, доволенъ ли службой и начальствомъ и не нуждается ли еще въ чемъ-либо приватномъ. Но тутъ же далъ Базилю понять, что недалекое, болѣе утѣшительное будущее вполнѣ зависитъ отъ двухъ предметовъ: отъ его скромности вообще и отъ умолчанія, въ особенности, насчетъ какихъ-либо его отношеній къ графу-министру. Базиль, съ болью въ сердцѣ, объявилъ, что безпрекословно преклоняется передъ волею графа-отца.

Его, по письму Ильи Тропинина, отыскалъ въ Петербургѣ незадолго передъ тѣмъ выпущенный изъ московскихъ кадетъ, также въ колонновожатые, двоюродный братъ Ильи, Дмитрій Николаевичъ Усовъ, котораго онъ изрѣдка видѣлъ еще въ Москвѣ. Базиль сошелся съ нимъ, полюбилъ его, какъ и его родича Тропинина, и почти съ нимъ не разставался. Когда минувшею весной Перовскій въ Москвѣ, на балу у Нелединскихъ, увидѣлъ Аврору и первому Митѣ высказалъ наполнившее его чувство къ ней, Митя поблѣднѣлъ, потомъ вспыхнулъ и крѣпко пожалъ ему руку.

— Слушай, Перовскій! — сказалъ онъ ему: — это такая дѣвушка, такая... если бы братъ Ильюша не былъ женатъ на ея родной сестрѣ, понимаешь ли?.. она была бы... я все отдалъ бы, все... Отецъ Ильи крестилъ меня, мы—братья и по кресту... Еще на его свадьбѣ, годъ назадъ, я сообразилъ и все терзался... А теперь охотно уступаю этотъ кладъ, это сокровище тебѣ... Илья тоже тебѣ поможетъ!

— Да съ чего же ты взялъ, что это серьезно?—удивился,

также краснѣя, Базиль: — и что такое бальная встрѣча? Мало ли кого мы встрѣчаемъ...

— А вотъ, увидишь, — произнесъ Митя: — я убѣжденъ, попомни мое слово, Аврора будетъ твоя.

Предсказаніе Мити сбылось. Базиль ѣхалъ въ армію счастливымъ женихомъ Авроры.

Изъ Можайска Базиль долженъ былъ взять почтовыхъ и оттуда ѣхать въ главную квартиру первой арміи, въ Вильну. Разсчитывая время, онъ боялся, что Барклай-де-Толли могъ уже оттуда двинуться къ западной границѣ.

Онъ вошелъ на станцію, отыскалъ комнату смотрителя и, вручивъ послѣднему свою курьерскую подорожную, потребовалъ лошадей. Смотритель вышелъ и опять возвратился.

— Лошади будутъ сейчасъ готовы,—сказалъ онъ какъ-то смущенно: — только васъ здѣсь спрашиваютъ какіе-то господа... они тоже только что пріѣхали.

— Кто? гдѣ они?

Смотритель указалъ на общую станціонную комнату. Базиль вошелъ туда. Освѣщенный тусклымъ огаркомъ, съ дивана всталъ высокій, тощій и желтолицый господинъ, въ черной венгеркѣ, съ серебряными пуговицами. Базиль отступилъ: передъ нимъ стоялъ «гусаръ смерти», эмигрантъ Жерамбъ. Сзади его виднѣлись двое незнакомыхъ штатскихъ: юноша—въ модномъ рединготѣ и пожилой—во фракѣ.

— Вы удивлены?—произнесъ по-французски Жерамбъ:— я самъ крайне смущенъ этою неожиданною встрѣчей... ѣхалъ, вотъ съ этими господами, въ помѣстье одного изъ нихъ, но узналъ, что вы здѣсь... и потому...

— Что же вамъ нужно?—сухо спросилъ Базиль.

— Господинъ Перовскій, вы понимаете,—продолжалъ съ дрожью въ голосѣ Жерамбъ:—мы шли по одной дорогѣ къ честной, надѣюсь, цѣли...

— О чести на этотъ счетъ предоставьте судить мнѣ.

— Согласенъ... вы имѣли болѣе успѣха, я преклонился, былъ готовъ отступить, даже отступилъ...

— Далѣе, далѣе!—вскрикнулъ, теряя терпѣніе, Базиль.

Жерамбъ на мигъ остановился. Его впалые глаза сверкали, нижняя челюсть вздрагивала, руки судорожно сжимались. Штатскіе молча поглядывали на него.

— Вы понимаете, господинъ Перовскій, — произнесъ

онъ: — два дня назадъ, я васъ видѣлъ рано утромъ съ одною дамой... она еще не ваша, но вы ее преслѣдуете, ходите съ нею наединѣ...

— Я не подозрѣвалъ, что у нея такіе добровольные, непрошенные соглядатаи.

— Что вы этимъ хотите сказать? Я... требую...

Базиль смѣрилъ Жерамба глазами.

— Удовлетворенія?—спросилъ онъ:—дуэль?

— Именно... вы, понимаете, между честными людьми...

— Гдѣ, здѣсь?

— Теперь же безъ отлагательства.

— Но вы, полагаю, поймете: теперь война; притомъ, у меня здѣсь нѣтъ секундантовъ.

— Одинъ изъ этихъ господъ,—Жерамбъ указалъ на юношу:—можетъ быть въ этомъ случаѣ въ вашемъ распоряженіи.

— Къ незнакомымъ не обращаются съ такими предложеніями, — отвѣтилъ Базиль: — наконецъ, знайте: то — моя невѣста.

Жерамбъ захохоталъ. Базиль бросился къ нему. Дверь отворилась.

Въ комнату вошли двое другихъ проѣзжихъ: пожилой пѣхотный офицеръ и, среднихъ лѣтъ, военный докторъ Миртовъ, знавшій Базиля по Петербургу. Они также ѣхали въ первую армію. Предупрежденные смотрителемъ, они вмѣшались въ ссору и прекратили ее. Базиль повторилъ Жерамбу, что онъ къ его услугамъ. Давъ ему свой адресъ, онъ уплатилъ смотрителю прогоны, поклонился и вышелъ на крыльцо. Красивый, полный и всегда веселый докторъ Миртовъ, уладивъ столкновеніе, старался успокоить взволнованнаго Перовскаго.

— Охота вамъ расходовать силы и храбрость на этого воплощеннаго мертвеца! — сказалъ онъ: — впереди у насъ столько живыхъ враговъ.

Базиль, пожавъ ему руки, сѣлъ въ телѣжку.

— Не забудьте же, послѣ войны! — крикнулъ ему съ крыльца все еще кипятившійся Жерамбъ.

— Къ вашимъ услугамъ, — отвѣтилъ, кланяясь ему и Миртову, Перовскій.

Телѣга помчалась. Прислушиваясь къ колокольчику, Базиль съ замираніемъ сердца вспоминалъ свой отъѣздъ изъ Москвы и прощаніе съ Авророй.

«А этотъ, этотъ? — не унимался онъ: — вздумалъ напугать, отнять ее у меня! Нѣтъ, никто теперь насъ не разлучитъ, никто».

X.

Прибывъ въ штабъ первой арміи, Перовскій увѣдомилъ невѣсту, что доѣхалъ благополучно, что всѣ говорятъ о неизбѣжной войнѣ, — войска въ движеніи, — но что еще ничего вѣрнаго неизвѣстно.

Москва, между тѣмъ, начинала сильно смущаться. Газеты, въ особенности «Устья Эльбы» и «Гамбургскій Курьеръ», приносили тревожныя извѣстія. Война становилась очевидною и близкою. Всѣ знали, что государь Александръ Павловичъ, быстро покинувъ Петербургъ, болѣе мѣсяца уже находился при первой арміи Барклая-де-Толли въ Вильнѣ. Но всѣ эти толки были еще шатки, неопредѣленны.

Вдругъ прошла потрясающая молва. Стало извѣстно, что, послѣ майскаго призыва къ полкамъ всѣхъ отпускныхъ офицеровъ, изъ Вильны къ графу Растопчину примчался съ важными депешами фельдъегерь. Сперва по секрету, потомъ громко, наконецъ, заговорили, что Наполеонъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, безъ объявленія войны, съ громадными полчищами нежданно вторгся въ предѣлы Россіи и уже безъ боя занялъ Вильну. Шестого іюля, съ новымъ государевымъ посланцемъ, Растопчину было доставлено воззваніе императора къ Москвѣ и манифестъ объ ополченіи, причемъ сталъ извѣстенъ обѣтъ государя «не вкладывать меча въ ножны, пока хоть единый непріятельскій воинъ будетъ на Русской землѣ». Вспоминали при этомъ слова императора, сказанныя по-французски за годъ передъ тѣмъ о Наполеонѣ: «Il n'y a pas de place pour nous deux en Europe; tôt ou tard, l'un ou l'autre doit se retirer!» («Нѣтъ мѣста для насъ обоихъ въ Европѣ; рано или поздно, одинъ изъ насъ долженъ будетъ удалиться»). Шестнадцатаго іюля и самъ государь Александръ Павловичъ явился, наконецъ, среди встревоженной и восторженно-встрѣчавшей его Москвы. Государь, принявъ дворянство и купечество, оставался здѣсь не болѣе двухъ дней и поспѣшилъ обратно въ Петербургъ, откуда, по слухамъ, уже снаряжали къ вывозу въ Ярославль и въ Кострому главныя цѣнности и архивы.

Москва заволновалась, какъ старый улей пчелъ, по которому ударили обухомъ. Чернь толпилась на базарахъ и у

кабаковъ. Москвичи заговорили о народной самооборонѣ. Началось формированіе ополченій. Первые московскіе баре и богачи, графы Мамоновъ и Салтыковъ, объявили о снаряженіи на свой счетъ двухъ полковъ. Тверской, Никитскій и другіе бульвары по вечерамъ наполнялись толпами любопытныхъ. Здѣсь оживленно передавались новости изъ Петербурга и съ театра войны. Дамы и дѣвицы привѣтливо оглядывали красивые и новенькіе наряды мамоновскихъ казаковъ. Побѣда у Клястицъ охранителя путей къ Петербургу, графа Витгенштейна, въ концѣ іюля, вызвала взрывъ общихъ, шумныхъ ликованій. Бѣлые и черные султаны наѣзжавшихъ съ депешами недавнихъ московскихъ танцоровъ, гвардейскихъ и армейскихъ офицеровъ, чаще мелькали по улицамъ. Въ греческихъ и швейцарскихъ кондитерскихъ передавались шопотомъ вѣсти изъ проникавшихъ въ Москву иностранныхъ газетъ. Всѣ ждали рѣшительной побѣды.

Но прошло еще время, и двѣнадцатаго августа москвичи съ ужасомъ узнали объ оставленіи русскими арміями Смоленска. Путь французовъ къ Москвѣ становился облегченнымъ. Толковали о возникшей съ начала похода неурядицѣ въ русскомъ войскѣ, о раздорѣ между главными русскими вождями, Багратіономъ и Барклаемъ-де-Толли. Этому раздору молва приписывала и постоянное отступленіе русскихъ войскъ передъ натискомъ наполеоновыхъ полчищъ. Свѣтскіе остряки распѣвали сатирическій куплетъ, сложенный на этотъ счетъ поклонниками недавнихъ кумировъ, которыхъ теперь всѣ проклинали:

«Vive l'état militaire,
Qui promet á nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix!»

(«Да здравствуютъ военные, которые обѣщаютъ намъ отступленія во время войны и парады во время мира!»)

Осторожнаго и медлительнаго Барклая-де-Толли, своими отступленіями завлекавшаго Наполеона въ глубь раздраженной страны, считали измѣнникомъ. Нѣкоторые презрительно переиначивали его имя: «Болтай да и только». Пѣли въ дружеской бесѣдѣ сатиру на него:

«Les ennemis s'avancent à grands pas,
Adieu, Smolensk et la Russie...
Barclay toujours évite les combats!»

(«Враги быстро близятся; прощай, Смоленскъ и Россія! Барклай постоянно уклоняется отъ сраженій!»)

Въ имени соперника Барклая, Багратіона, искали видѣть настоящаго вождя и спасителя родины: «Богъ-рати-онъ». Но послѣдовало назначеніе главнокомандующимъ всѣхъ армій опытнаго старца, недавняго побѣдителя турокъ, князя Кутузова. Эта мѣра вызвала общее одобреніе. Знающіе, впрочемъ, утверждали, что государь, не любившій Кутузова, сказалъ по этому поводу: «Le public a voulu sa nomination; je l'ai nommé... quant á moi, je m'en lave les mains» («Общество желало его назначенія, я его назначилъ; что до меня, я въ этомъ умываю руки»). Когда имя Наполеона стали, по Апокалипсису, объяснять именемъ Аполліона, кто-то подыскалъ въ томъ же Апокалипсисѣ, будто антихристу предрекалось погибнуть отъ руки Михаила. Кутузовъ былъ также Михаилъ. Всѣ ждали скораго и полнаго разгрома Бонапарта.

Москва въ это время, встрѣчая раненыхъ, привозимыхъ изъ Смоленска, болѣе и болѣе пустѣла. Барыни, для которыхъ, по выраженію Растопчина, «отечествомъ былъ Кузнецкій Мостъ, а царствомъ небеснымъ — Парижъ», въ патріотическомъ увлеченіи спрашивали военныхъ: «скоро ли генеральное сраженіе?» — и, путая хронологію и событія, восклицали: «Выгнали же когда-то поляковъ Мининъ, Пожарскій и Дмитрій Донской». — «Сто лѣтъ вражья сила не была на Русской землѣ, и вдругъ!» — негодовали коренные москвичи-старики. — «И какая неожиданность: въ половинѣ іюня еще рѣдко кто и подозрѣвалъ войну, а въ началѣ іюля уже и вторженіе». Часть свѣтской публики, впрочемъ, еще продолжала ѣздить въ балетъ и французскій театръ. Другіе усердно посѣщали церкви и монастыри. Пѣвца Тарквиніо и недавнихъ дамскихъ идоловъ, скрипача Роде и красавца піаниста Мартини стали понемногу забывать, среди толковъ объ убитыхъ и раненыхъ, въ заботахъ объ изготовленіи бинтовъ и корпіи, а главное — о мѣрахъ къ оставленію Москвы. Величіемъ Наполеона уже не восторгались. Декламировали стихи французскихъ роялистовъ: «O, roi, tu cherches justice!» (государь, ты ищешь правосудія!) и русскіе патріотическіе ямбы: «О, дерзкій Каленкуръ, рабъ корсиканца злого!..» Государя Александра Павловича, послѣ его рѣшимости не оставлять оружія и не подписывать мира,

пока хоть единый французскій солдатъ будетъ на Русской землѣ, перестали считать только идеалистомъ и добрякомъ.

— Увидите,—радостно говорилъ о немъ Растопчинъ, какъ всѣ знали, бывшій въ личной, непосредственной перепискѣ съ государемъ: — среди этой безтолочи и общаго упадка страны, идеальная повязка спадетъ съ его добрыхъ глазъ. Онъ началъ Лагарпомъ, а, попомните, кончитъ Аракчеевымъ; подберетъ вожжи распущенной родной таратайки...

Переписывалась чья-то сатира на порабощенную Европу, гдѣ говорилось:

«А тамъ на карточныхъ престолахъ,
Сидятъ картонные цари!»

Прошло около двухъ мѣсяцевъ. Аврора усердно переписывалась съ женихомъ. Перовскій извѣщалъ ее о мѣстахъ, которыя проходила первая, западная армія Барклая, гдѣ онъ, въ числѣ другихъ свитскихъ, состоялъ въ распоряженіи командира второго корпуса, генерала Багговута. Онъ, среди восторженныхъ обращеній къ невѣстѣ, подробно описалъ ей картину удачнаго соединенія обѣихъ русскихъ армій и славный, хотя неудачный бой подъ Смоленскомъ. Остальное Аврора узнавала отъ сестрина мужа, Ильи. Тропининъ, благодаря связямъ старой княгини, имѣлъ возможность чуть не ежедневно навѣщать «клубъ московскаго главнокомандующаго», какъ звали москвичи тогдашніе любопытные утренніе съѣзды у графа Растопчина, гдѣ стекалось столько городского, жаднаго до новостей люда. Отсюда Тропининъ всякій разъ привозилъ въ домъ княгини цѣлый ворохъ свѣжихъ вѣстей. Одно смущало Илью и семью княгини: они не имѣли дальнѣйшихъ свѣдѣній о Митѣ Усовѣ. Было только извѣстно, что онъ встрѣтилъ авангардъ арміи Багратіона гдѣ-то за Витебскомъ и что впослѣдствіи, при какомъ-то отрядѣ, участвовалъ въ боѣ подъ Салтановомъ. Но Митя ли лѣнился писать, или въ походной суетѣ терялись его письма, ничего болѣе о немъ не было извѣстно.

— И впрямь, влюбился на походѣ въ какую-нибудь полячку, ну, и завертѣлся!—утѣшала княгиня Илью и своихъ внучекъ.

Время шло. Аврора чуть не ежедневно и до мелочей описывала жениху московскія событія: общее смущеніе, первыя приготовленія горожанъ къ нашествію враговъ, арестъ и

высылку начальствомъ подозрительныхъ лицъ, въ особенности иностранцевъ, растопчинскія афиши, вывозъ церковной святыни, архивовъ и питомицъ женскихъ институтовъ. Она сообщала, наконецъ, и о состоявшемся выѣздѣ изъ Москвы въ дальнія помѣстья и города первыхъ, болѣе прозорливыхъ изъ общихъ знакомыхъ. Другіе, по словамъ Авроры, еще медлили, вѣря слѣпо Растопчину, который трунилъ надъ бѣглецами и открыто клялся, что злодѣю въ Москвѣ не бывать. Народъ, тѣмъ не менѣе, чуялъ бѣду и волновался. Старый лакей княгини, Власъ Сысоичъ, и экономка Маремьяша твердили давно: «Надѣлаетъ наша старая того, что нагрянетъ тотъ извергъ и накроетъ насъ здѣсь, какъ сѣткою воробьевъ».

Благодаря связямъ и подвижности зятя, Аврорѣ удавалось большинство своихъ писемъ пересылать жениху черезъ курьеровъ, являвшихся въ Москву изъ армій, ближе и ближе подходившихъ отъ Смоленска.

XI.

Въ половинѣ августа Аврора написала Базилю письмо, которое тотъ получилъ во время приближенія русскихъ отрядовъ къ Вязьмѣ.

«Вотъ уже нѣсколько дней, ненаглядный, дорогой мой, я не могла взяться за перо,—писала Аврора: — великая новость! Бабушка, наконецъ, рѣшилась укладываться. Суета въ домѣ, флигеляхъ, подвалахъ и кладовыхъ была невообразимая. Сегодня, однако, вдругъ стало что-то тише. Безъ тебя, безъ моей жизни, клянусь, только и утѣшала музыка. Я наверху у себя играла и пѣла, знаешь, въ той комнаткѣ, что окнами въ садъ. Разучила и вытвердила данную тобой увертюру изъ «Діанина древа», арію изъ «Jeune Troubadour» и романсъ Буальдьё: «S'il est vrai, que d'être heureux». Теперь же, очевидно, уже не до того. Прощайте, аріи, восхитительные романсы и дуэты, которые мы съ тобою распѣвали. Скоро прощусь и съ любимою моею комнатой, гдѣ переживалось о себѣ столько мыслей. О, моя комнатка, мой рай! На-дняхъ я говѣла въ церкви Ермолая; ахъ, какъ я молилась о тебѣ и обо всѣхъ васъ, да пошлетъ вамъ Господь силу и одолѣніе на враговъ. Къ Растопчину являлся нѣкій смѣльчакъ Фигнеръ, великій ненавистникъ Наполеона, съ какимъ-то проектомъ—разомъ, въ одинъ день, кончить войну. Графъ совѣтовалъ ему обратиться къ воен-

нымъ властямъ. Вокругъ нашего дома грузятся наемныя и свои подводы,—всѣ уѣзжаютъ; чисто египетское бѣгство. Прежде другихъ скрылись наши неслужащіе, свѣтскіе петиметры. По полторы тысячи и болѣе переполненныхъ каретъ и колясокъ въ сутки, по счету на гауптвахтахъ, покидаютъ Москву. Наемныя подводы сильно вздорожали. Нашъ сосѣдъ Тутолминъ за ямскую тройку заплатилъ на-дняхъ триста рублей, всего за пятьдесятъ верстъ. Архаровы уѣхали въ Тамбовскую, Апраксины въ Орловскую губерніи, Толстые въ Симбирскъ, а бѣдненькихъ институтокъ вывезли на перекладныхъ въ Казань. По слухамъ, Ярославль и Тамбовъ такъ ужъ переполнены нашими бѣглецами, что скоро, говорятъ, не хватитъ и квартиръ. Уѣхали, знаешь, тѣ—«князь-мощи» и «князь-моська»,—словомъ, почти всѣ. Я уже тебѣ писала, что Ксаню съ ребенкомъ, въ началѣ Успенскаго поста, Илья отослалъ въ бабушкину тамбовскую деревню, Паншино. Самъ же онъ еще остался здѣсь, на службѣ, какъ и всѣ прочіе сенатскіе. Имъ почему-то еще нѣтъ разрѣшенія ѣхать. Но и въ деревняхъ, особенно ближнихъ къ Москвѣ, говорятъ, не безопасно. Крестьяне волнуются и, вмѣсто охраны покинутаго господскаго имущества, дѣлятъ его между собой и разбѣгаются въ лѣса. На-дняхъ пьяные мужики встрѣтили, при выѣздѣ изъ Москвы, Фанни Стрѣшневу, съ кучей ея крошекъ, — помнишь, еще такія хорошенькія, ты ими любовался на бульварѣ,—окружили карету и кричали съ угрозами: «Куда, бояре, съ холопами? Или невзгода и на васъ? Москва, что ли, не мила? Ну-ка, вылѣзайте, станете и вы лапотниками!»—Ужасы! Если бы не денщики одного раненаго полковника, которые, по приказу его, вмѣшались и разогнали дикій сбродъ, неизвѣстно, чѣмъ кончилось бы дѣло. Я тогда же это осторожно передала бабушкѣ. Она сильно испугалась и уже было велѣла готовить дормёзъ и позвать священника, чтобы служить напутственный молебенъ, но раздумала, отправила черезъ Ярцево въ Паншино только часть подводъ съ главными вещами, а сама ѣхать отсрочила. Все убѣждена, что слухи о нашествіи на Москву невѣрны, и, повторяя чью-то фразу объ отступленіи нашихъ армій: «nous reculons, pour mieux sauter!» («мы отступаемъ, чтобы лучше броситься»),—не измѣняетъ образа своей жизни. Я ей вслухъ прочла новый, здѣсь полученный памфлетъ мадамъ де-Сталь, которая, кстати,

нежданно появилась въ Москвѣ и на-дняхъ, удостоивъ бабушку заѣздомъ, цѣлый вечеръ у насъ проговорила, и такъ умно, что, хотя у меня отъ ея оживленныхъ рѣчей разболѣлась голова, я не могла отъ нея оторваться ни на минуту. Она въ восторгѣ отъ Россіи и уподобляетъ насъ произведеніямъ Шекспира, въ которыхъ все, что̀ не ошибка, возвышенно, и все, что̀ не возвышенно, ошибка. Бульвары пустѣютъ. Полны только трактиры. На прошлой недѣлѣ въ рестораціи Тардини, а потомъ въ трактирѣ Френзеля, посѣтителями-купцами были избиты какіе-то штатскіе за то, что одинъ изъ нихъ вслухъ заговорилъ съ товарищемъ по-французски, а другой, очевидно, въ нетрезвомъ видѣ, намекая на высылку Растопчинымъ почтъ-директора Ключарева, выразился: «вотъ такъ дѣла! генералъ генерала въ ссылку упряталъ!» Бабушка, узнавъ объ этомъ, слегла тогда въ своей молельнѣ и весь день принимала капли; когда же я ей намекнула, что, благодаря извергу Наполеону, далѣе у насъ можетъ быть еще хуже, она возразила: «Слушай же, Aurore! Я знаю Бонапарта; не разъ видѣла его у дочки его министра Ремюза и даже съ нимъ разговаривала лично. Это, повторяю, человѣкъ судьбы! вотъ его истинное опредѣленіе! Онъ истинный геній и никогда низкимъ грабителемъ и разбойникомъ не былъ, какъ его изображаетъ твой идолъ, эта трещотка, госпожа Сталь, и грубыя растопчинскія афиши, хотя оба — и мадамъ де-Сталь, и графъ, не спорю, даровиты и остры. Не для того же, въ самомъ дѣлѣ, послушай, Наполеонъ, на верху славы, ведетъ сюда громаду Европы, чтобы обидѣть здѣсь, въ моемъ московскомъ домѣ, меня, беззащитную старуху, да, притомъ, еще свою добрую знакомую! И Кутузовъ не допуститъ... Я нездорова,—прибавила мнѣ бабушка:—развѣ не видишь? Карлъ Иванычъ далъ новое лѣкарство... надо же посмотрѣть, какъ подѣйствуетъ; а въ деревнѣ, въ глуши, кто поможетъ? И не доѣду я живою въ такую даль!»—Словомъ, дорогой, мы донынѣ не двигаемся, молимся, готовимъ корпію и мысленно слѣдимъ за вами. Еще слово. Илья Борисовичъ, по совѣту нашего можайскаго предводителя, Астафьева, собирается на-дняхъ въ Любаново, чтобы отправить и оттуда кое-что, болѣе цѣнное, въ Тамбовскій или Коломенскій уѣзды, и полагаетъ, съ тою же цѣлью, проѣхать и въ Новоселовку. Всѣ утверждаютъ, что эти деревни на пути враговъ къ Москвѣ. Но

какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобы бабушка отпустила съ нимъ въ Любаново и меня! Въ два дня на подставныхъ можно легко возвратиться. Зато, если тамъ услышу, что и твой отрядъ близится къ Москвѣ, кажется, не утерплю и безъ спроса, хоть верхомъ, брошусь встрѣтить тебя и, если суждено, умереть за родину вмѣстѣ съ тобой. Голубчикъ Барсъ, отчего ты не въ Любановѣ? Ну, прощай, прощай... О, когда же, наконецъ, настанетъ часъ нашего свиданія? Когда увижу тебя, мой дорогой, милый воинъ, когда налюбуюсь тобой? Береги себя для отечества и для любящей тебя— Авроры».

Наканунѣ Успеньева дня, вечеромъ, въ глубинѣ двора княгини Шелещпанской, экономка Маремьяша разговорилась съ старымъ камердинеромъ Власомъ. Они стояли у двери каменной кладовой, отдѣлявшей часть сада отъ двора.

— Дожили мы до предѣловъ Божьяго гнѣва!—произнесъ Власъ Сысоичъ, заглядывая въ дверь, которую почему-то придерживала экономка,—служи, а тутъ и твоя худобишка въ прахъ пропадаетъ.

— А ты гдѣ былъ?

— Извѣстно гдѣ, безотлучно-съ въ передней! Не уложилъ ни алой позументной ливреи, ни выѣздной шубы... ничего...

— Тебѣ бы, аспидъ, только лежать, да нюхать свой табачище; мы же вонъ сбились съ ногъ... Задѣлывай, Ванюша!—крикнула кому-то экономка въ дверь:—вотъ, скажу княгинѣ, что лѣзешь; сниметъ она съ ножки башмачекъ и отшлепаетъ тебя... незнакомо, что ли?

Въ сараѣ, съ минувшаго дня, укрывались отъ посторонникъ два нанятые каменщика. Они, тайно отъ посторонникъ, подъ надзоромъ дворника Карпа, вывели поперекъ кладовой, отъ пола до крыши, новую глухую кирпичную перегородку. За эту перегородку Маремьяша съ надежными изъ дворни успѣла, съ разрѣшенія княгини, спрятать изъ болѣе дорогой и громоздкой рухляди то, чего не увезли первыя подводы.

— Маремьяна Дмитревна, ужъ уважьте!—не переставалъ упрашивать Власъ, повертывая въ рукахъ объемистый узелъ.

— Что тебѣ? говори...

— На смерть себѣ готовилъ... демикатоновый рединготъ,

опять же новые салоги, камзолъ, ну... и, какъ слѣдуетъ, чистую пару бѣлья.

— Такъ, вотъ, твои холопскія лохмотья и буду класть поверхъ барышнинаго приданаго! На то, видно, его кошли и хранили.

— Растащутъ изверги, какъ придутъ; дайте по-христіански помереть. Княгиня не вѣрила, все толковала: болтовня! А я сколько уговаривалъ, да и вы тоже.

— Уговаривалъ! Всѣ вы теперь такіе. А по-моему, не спряталъ, не спасъ, лучше сжечь, чѣмъ имъ, проклятымъ, доставаться. Ну, старый сластунъ, давай...

Экономка небрежно бросила каменщикамъ узелъ Власа.

— И наше, Маремьянушка, свѣтикъ! — прошамкалъ у двери восьмидесятилѣтній, слѣпой гуслистъ Ермилъ, жившій здѣсь при дворнѣ и давно уже не сходившій съ печи.

— И наше! и мы!—отозвались голоса подоспѣвшихъ къ кладовой главныхъ горничныхъ, Дуняши, Стеши и Луши, и состоявшаго въ штатѣ княгини, крещенаго арапченка Варлашки.

— Экъ ихъ! Ну, куда мнѣ съ вами теперь? Еще кто? Давайте! — съ досадою крикнула Маремьяша, успѣвшая, между тѣмъ, ранѣе другихъ припрятать всѣ свои нужныя вещи:—сами кладите, да скорѣе. А вы, ребятушки,—обратилась она къ каменщикамъ: — такъ замуруйте, чтобъ и виду не было свѣжей кладки. Спереди навалимъ мѣшковъ съ мукою и овсомъ; сѣна и соломы, коли надо! А стѣнку ведите до крыши, подъ самый конекъ.

Маремьяша не удовольствовалась тайникомъ въ кладовой. Длинный и сгорбленный, вѣчно кашлявшій дворникъ Карпъ, съ блѣднымъ, покрытымъ пѣгими пятнами лицомъ и съ такими же пѣгими руками, слѣдующею ночью, по ея указанію, вырылъ съ садовникомъ еще огромную яму въ саду, за овощнымъ погребомъ, между липъ, натаскалъ туда новые вороха барскаго и людского добра, застлалъ яму досками и прикрылъ ее сверху землей и дерномъ. Садовнику было велѣно ежедневно, во время поливки цвѣтовъ, поливать и этотъ дернъ, чтобы трава не завяла и не выдала ямы, устроенной подъ нею.

Послѣднее изъ писемъ Перовскаго къ Аврорѣ, отъ 20 августа, съ бивака у Колоцкаго монастыря, доставилъ адъ-

ютантъ Кутузова, пріѣзжавшій въ Москву за скорѣйшею присылкою врачей. Базиль извѣщалъ невѣсту, что арміи приказано, наконецъ, становиться на позицію передъ Можайскомъ, и что всѣ этому сильно рады, такъ какъ теперь уже несомнѣнно ждутъ генеральной баталіи. — «Но приготовься,—писалъ Базиль:—услышать горестную вѣсть, которая меня какъ громомъ сразила. Бѣдный Митя Усовъ, какъ я сейчасъ узналъ, опасно раненъ осколкомъ бомбы въ ногу, въ дѣлѣ на рѣкѣ Осмѣ. По слухамъ, его отправили съ фельдшеромъ, въ коляскѣ раненаго князя Тенишева, въ Москву. Сообщи это скорѣе Ильѣ; встрѣтьте бѣднаго, пригласите заранѣе Карла Иваныча, если и его съ другими врачами не взяли у васъ изъ Москвы. Другъ души моей! отрада моей жизни! Увидимся ли мы съ тобою, увидимся ли съ нимъ еще на этомъ свѣтѣ? Нашъ Митя Усовъ раненъ! Этотъ румяный, кудрявый мальчикъ! Не вѣрится... Вотъ оно, начинается!.. Спаси тебя, его и всѣхъ васъ Господь! Твой В. Перовскій».

Это письмо уже не застало Авроры въ Москвѣ. Она за сутки передъ тѣмъ уѣхала съ Тропининымъ въ Любаново.

Арапченокъ Варлашка подалъ княгинѣ на подносѣ письмо Перовскаго.

— Мать Пресвятая Богородица! Французы у Можайска!— вскрикнула Анна Аркадьевна, пробѣжавъ письмо и роняя его съ очками на полъ:—а она, безумица, по близости къ врагамъ, въ Любановѣ... Раненъ Митенька! Маремьяша, Власъ! гдѣ мои очки? Кучеровъ сюда! спѣшите!.. спасайте! барышню въ полонъ возьмутъ!

XII.

Черезъ недѣлю послѣ Успенія, няня Арина съ внучкой Оеней поздно вечеромъ сидѣла на крылечкѣ новоселовскаго дома Усовыхъ. Староста Климъ и кое-кто изъ стариковъ и молодыхъ парней мелкопомѣстной деревушки сидѣли тутъ же, на ступенькахъ. Убирая свой и господскій хлѣбъ, крестьяне замѣшкалась и, въ виду противорѣчивыхъ слуховъ, не рѣшались уходить вслѣдъ за другими. Сидя здѣсь, они толковали, что вѣсти идутъ нехорошія, что битвы, по молвѣ, происходятъ гдѣ-то уже недалеко и какъ бы враги въ скорости не нагрянули и въ Новоселовку. Кто-то, проѣзжавшій въ тотъ день изъ окрестностей Вязьмы, сообщилъ, что тамъ недавно уже услышали громкую, хотя еще отдаленную пушечную пальбу.

— Вѣдь вотъ, барина стараго нѣтъ, онъ за Волгой. Что̀ дѣлать? — толковали крестьяне: — приказу отъ начальства уходить тоже нѣту; какъ тутъ беречь господское и свое добро?

— Да и куда, и съ чѣмъ уходить? — сказалъ кто-то:— татариновцы двинулись, а ихъ свои же въ лѣсу, за Можайскомъ, и ограбили.

— Надо ждать, охъ Господи!—объявилъ Климъ: — безъ начальства и уряда не будетъ; объявятся, подождемъ.

Въ тотъ день Арина, что̀ поцѣннѣе, перенесла въ амбары и въ кладовыя. Часть вещей, которыхъ она пока не успѣла спрятать, лежала у ближней кладовой, на травѣ.

Давно стемнѣло. Мѣсяцъ еще не всходилъ.

— А что, бабушка Ефимовна, скажу я тебѣ слово!— прокашливаясь, отозвался съ нижней ступеньки подвижной и еще не старый, хотя совершенно лысый мужичонко Корнѣй, ходившій по оброку не только въ Москву, но и въ Казань, и даже въ Петербургъ:—не обидитесь?

— Говори, коли не глупо и къ мѣсту,—съ достоинствомъ отвѣтила Арина.

— Слыхать, бабушка,—началъ Корнѣй:—быдто Бонапартъ такъ только Бонапартомъ прозывается, а что онъ — потайной сынъ покойной царицы Екатерины; ему матерью было отказано полцарства и онъ это пришелъ нынѣ судить за своего брата Павла, цареваго отца.

— Толкуй, дурачина, пока не урѣзали языкъ,—притворно зѣвнувъ, возразилъ староста Климъ: — статочное ли дѣло? Эка, брешутъ собачьи сыны!

— Право слово, дяденька... и быдто того Бонапарта бояре, до случно̀го часа, прятали, держали въ чужихъ земляхъ, а нонѣ и выпустили... онъ всему свѣту и объявился... идетъ за брата судить.

— Эй, не ври! — важно поглаживая бороду и взглянувъ на Арину, сурово перебилъ Климъ:—кругомъ такая смута, врага ждутъ, а они...

— На что̀ же его выпустили? — съ нѣкоторою тревогой спросила Ефимовна.

— Отдай, молъ, мою половину царства,—продолжалъ разсказчикъ:—а тебѣ будетъ другая; и я, молъ, въ своей освобожу мужиковъ... отдамъ имъ всю землю и всѣ, какъ есть, вотчины... и быдто станемъ мы не царскими слугами, а Бонапартовыми... вотъ убей, толкуютъ!

— Ну, вдѣпитъ тебѣ, Корнюшка, исправникъ, какъ наѣдетъ, и я скажу!—произнесла, вставая и оправляя на себѣ платокъ, Арина:—вотъ такъ-то, прослышавъ, наспѣетъ, невзначай, да и гаркнетъ: а гдѣ тутъ Бонапартовы подданные? давай ихъ сюда! Ну, тебя перваго подъ отвѣтъ и возьметъ.

Мужики, почесываясь, замолчали. Слышались только вздохи да движеніе на ступеняхъ стоптанныхъ лаптей.

— А постой, дяденька, постой,—отозвался кто-то: — изъза мельницы, бабушка, быдто колеса... чуть не на лесорахъ...

Всѣ замерли, вглядываясь въ темноту. Стали дѣйствительно слышны звуки колесъ, медленно подъѣзжавшихъ къ двору.

— Ѳеня, свѣчку!—вскрикнула Арина, бросаясь въ домъ:— Климъ Потапычъ, отворяй ворота... такъ и есть, нашъ исправникъ... не то телѣга, не то, кажись, его бричка...

Когда Ефимовна и Ѳеня со свѣчами въ рукахъ снова явились на порогѣ, у крыльца стояла сильно запыленная крытая телѣга. Мужики, въ почтительномъ молчаніи, безъ шапокъ, окружали кого-то блѣднаго, неподвижно лежавшаго на соломѣ, въ телѣгѣ. Климъ, жалобно всхлипывая, цѣловалъ чью-то исхудалую руку, упавшую съ соломы. Арина поднесла свѣчу къ лицу подъѣхавшаго и, ахнувъ, чуть не упала.

— Митенька, родной ты мой!—вскрикнула она, глядя на лежавшаго въ телѣгѣ.

— Узнала, голубушка,—раздался чуть слышный, дѣтскикроткій голосъ:—ну, вотъ и довезли... Слава Богу, дома! А ужъ я просилъ, боялся, не доѣду... Воды бы, чайку!.. Жажда томитъ...

Въ телѣгѣ былъ раненый Митя Усовъ. Мужики, пошептавшись съ Климомъ, бережно внесли его въ комнаты. Болѣе же всѣхъ суетился и старался, неся молодого барина, говорившій о Бонапартѣ лысый Корнѣй.

— Такъ это — Митрій Миколаичъ? Бѣдный! Ну, точно съ креста снятый! — говорилъ онъ, выйдя въ дѣвичью и утирая слезы.

— Мы двухъ везли,—толковалъ здѣсь Климу фельдшеръ, умываясь: — подполковника тоже, князя Тенишева; сперва ѣхали въ князевой коляскѣ...

— Гдѣ же князь-то?—спросилъ Климъ.

— Сложили въ Гжатскѣ, померъ... вашъ про то не

знаетъ; думаетъ, что того велѣно сдать въ госпиталь... коляска же обломалась, насилу нанялъ мужичка довезти.

— А нашъ ангелъ будетъ ли живъ? — несмѣло спросила Ефимовна: — молодой такой, красавчикъ, мой выходимецъ! Вотъ нежданное горе, вотъ бѣда! И за что погубили дитё?

— Будетъ живъ, — отвѣтилъ фельдшеръ, какъ-то смущенно глянувъ въ сторону красными отъ безсонницы и пыли глазами:—рана тяжела, ну, да Господь поможетъ... добраться бы только до Москвы: тамъ больницы, лѣкаря.

Арина, глянувъ на образъ, перекрестилась, крикнула еще кое-кого изъ дворовыхъ бабъ и съ засученными рукавами принялась за дѣло. Комнаты были освѣщены. На столѣ въ залѣ запыхтѣлъ самоваръ. Наумовна достала изъ кладовой и взбила на кровати покойной барыни пуховикъ и гору подушекъ, велѣла внести кровать въ гостиную, накрыла постель бѣлою простыней и тонкимъ марселевымъ одѣяломъ, освѣжила комнату и покурила въ ней смолкой. Сюда она, съ помощницами, перенесла и уложила Митю. Фельдшеръ обмылъ его страшную, зіяющую рану, сдѣлалъ перевязку и надѣлъ на больного чистое, вынутое няней и пахнувшее калуферомъ и мятой бѣлье.

Митя все время, пока готовили ему комнату и дѣлали перевязку, былъ въ лихорадочномъ полузабытьѣ и слегка бредилъ. Но, когда онъ выпилъ стаканъ горячаго, душистаго чаю и жадно потребовалъ другой съ «кисленькимъ» и когда раскраснѣвшаяся, сѣдая и полная Ефимовна принесла и подала ему къ чаю его любимаго барбарисоваго варенья, глаза Мити засвѣтились улыбкой безконечнаго блаженства.

Онъ далъ знакъ рукой, чтобъ остальные, кромѣ няни, вышли.

— Голубушка моя, нянечка! — произнесъ онъ, хватая и цѣлуя ея загорѣлую, черствую руку:—смолка, калуферъ!.. и барбарисъ!.. я опять въ родномъ гнѣздѣ... Боже! какъ я боялся и какъ счастливъ... удостоился! Теперь буду жить, непремѣнно буду... Гдѣ онъ? Гдѣ, скажи, Вася Перовскій?

— Извѣстно гдѣ: въ походѣ, родимый, тамъ же, гдѣ былъ и ты,—отвѣтила, вглядываясь въ своего питомца, Арина:—какъ уѣхалъ съ тобой, два мѣсяца о васъ слуху не было, спаси васъ Матерь Божія!

— Два мѣсяца!—удивленно воскликнулъ Митя:—кажется, было вчера.

Онъ закрылъ глаза и помолчалъ.

— Еще, няня, чайку... Вотъ, думали мы съ Перовскимъ поживемъ здѣсь осенью, — произнесъ Митя, окидывая глазами окружающее: — ахъ, это—кровать мамы!.. Хорошо ты придумала, нянечка... Гдѣ батюшка? Ужъ видно не видаться мнѣ съ нимъ... Гдѣ Ильюша и что Аврора Валерьяновна, невѣста Перовскаго?

— Батюшка въ саратовской губерніи, у родныхъ, а Илья Борисовичъ, слышно, въ Москвѣ. Изъ Любанова же сказали, что онъ эти дни собирался туда—распорядиться тамошнимъ добромъ. Вѣдь, тамотка какая усадьба — дворецъ, а всякаго устройства, припасовъ и вещей сколько! Да слышно, что и барышня Аврора Валерьяновна собиралась съ нимъ же туда. А Ксенія Валерьяновна съ дитёй въ Паншинѣ.

— Ахъ, няня, голубушка, пошли, — заговорилъ Митя: — въ ночь сегодня... недалеко вѣдь; повидать бы... Видишь ли, отца нѣту, я попросилъ бы у нея благословенія... Вѣдь это помогаетъ... она же такая богомольная, добрая... а я, няня, надо тебѣ сказать... то-есть признаться... вѣдь, еще ранѣе Перовскаго, ее такъ полюбилъ...

— Что ты, что ты, голубчикъ! Господь тебя спаси! вотъ дѣла! — воскликнула, крестясь, Арина. — А въ Любаново, отчего-жъ, можно послать, съ охотой...

Арина, отирая слезы, вышла. Послали за сыномъ ключницы, Фролкой. Тотъ вскочилъ на водовозку.

— Да смотри, пучеглазый, на овраги-то!—наставлялъ его Корнѣй:—барскій, вѣдь, конь, а темень какая!

Митя, напившись чаю, тихо и сладко заснулъ. Ефимовна погасила свѣчу и при свѣтѣ лампадки, не смыкая глазъ, просидѣла у его изголовья всю ночь. Передъ разсвѣтомъ раненый сталъ метаться.

— Что тебѣ, Митечка? воды? неловко лежать?

— На батарею!.. Цѣлься прямо... идутъ!—говорилъ Митя въ бреду:—вонъ съ конскими хвостами на каскахъ...

Няня перекрестила его и тронула за голову и руки. Больной былъ въ сильномъ жару. Послѣ боя и выстрѣловъ ему пригрезился весенній вечеръ въ полѣ. Онъ съ Авророй мчался куда-то на лихомъ аргамакѣ и все стремился ее обнять. Она ускользала. Онъ шепталъ: «Аврора, Аврора, это я, посмотри!» Ефимовна, видя метаніе больного, разбудила фельдшера, спавшаго на стульяхъ за дверью.

— Что̀ съ нимъ?—спросила она шопотомъ, глядя на осунувшіяся, покрытыя багровыми пятнами, щеки Мити.

Фельдшеръ, подойдя къ больному на цыпочкахъ, посмотрѣлъ на него и молча махнулъ рукой, какъ бы говоря: «ничего, оставьте его; все идетъ, какъ слѣдуетъ; я тутъ останусь и досмотрю».

Успокоенная Ефимовна перекрестила Митю и вышла.

Близился разсвѣтъ. Фролка возвратился изъ Любанова. Илью Борисовича и барышню Аврору Валерьяновну тамъ ждали на другой день къ вечеру.

Арина рѣшилась обрадовать этимъ Митю, когда наступитъ утро.

«Пусть спитъ, сердечный, во снѣ полегчаетъ, дастъ Богъ! — думала она, — наѣдется опять утромъ чаю, покушаетъ, а тамъ подъѣдутъ и изъ Любанова».

Натоптавшись съ вечера и ночью въ кладовыхъ, въ погребѣ и въ амбарѣ, Ефимовна прикорнула гдѣ-то въ сѣняхъ и уснула. На зарѣ она вошла въ домъ. Въ комнатахъ было тихо. Старуху удивило, что фельдшеръ, вопреки его словамъ, находился не въ спальнѣ при больномъ, а въ дѣвичьей. Въ окно брезжилъ разсвѣтъ. Приготовленные къ перевязкѣ бинты и корпія лежали здѣсь нетронутые. Фельдшеръ, бокомъ прислонясь къ окну, какъ бы что-то разсматривалъ въ просвѣтлѣвшемъ дворѣ.

«Вотъ странно! — тревожно подумала Арина, замѣтивъ, что плечи фельдшера вздрагивали,—не то онъ плачетъ, не то... неужто спозаранку выпилъ?» Она даже покосилась на шкапъ съ бутылками настоекъ и наливокъ; дверки шкапа были заперты.

Няня, въ раздумьѣ, направилась въ комнату Мити.

— Не ходите!—какъ-то странно шепнулъ сзади ея фельдшеръ:—или нѣтъ, все равно, идите...

Арина съ необъяснимымъ страхомъ вошла въ гостиную.

Митя тихо лежалъ здѣсь, закинувъ руку за красивую, въ свѣтло-русыхъ кудряхъ, голову. Его странно-заострившееся, миловидное лицо, съ чуть видными усиками и пробивающеюся бородкой, точно улыбалось, а полуоткрытые голубые глаза пристально и строго глядѣли куда-то далеко-далеко, гдѣ, очевидно, было столько нездѣшняго, чуждаго людямъ счастья.

XIII.

Комнаты огласились плачемъ. Митя Усовъ скончался.

Въ залѣ, на томъ же столѣ, гдѣ съ вечера гостепріимно пыхтѣлъ самоваръ и пахло калуферомъ и смолкой, лежалъ въ мундирѣ покойникъ. Плотники въ сараѣ ладили гробъ. Ожидали изъ Бородина старика-священника, который крестилъ Митю и подарилъ ему голубей. Покойника уложили въ гробъ; въ головахъ зажгли свѣчи. Ефимовна, впереди крестьянъ, съ горькимъ плачемъ молилась, простираясь передъ гробомъ. Заходившее солнце косыми лучами свѣтило въ окна залы. Русыя и черныя головы бородатыхъ и безбородыхъ крестьянъ усердно кланялись въ молитвѣ.

«Соколикъ ты мой, не пожилъ,—думала Арина:—и ружье по твоему заказу наладили, и пистолеты... Вырыли яму тебѣ въ саду, гдѣ ты ребенкомъ бѣгалъ, тутъ же, невдали отъ дома, на холму... далеко съ него будетъ видна твоя могилка»...

Нанятый фельдшеромъ до Москвы, возница во дворѣ ладилъ обратно свою телѣгу. Фельдшеръ разсчитывалъ добраться къ ночи до Колоцкаго монастыря, чтобы оттуда возвратиться къ наступавшей арміи. Подъѣхалъ священникъ. Начали служить панихиду.

За деревьями, у мельницы, въ это время показались какіе-то всадники. Мелькали лошади, пики, кивера.

— Батюшки-свѣты,—французы!—крикнулъ кто-то во весь голосъ у сарая.

Поднялась суета. Дали знать въ домъ. Крестьяне, выбѣжавшіе оттуда на крыльцо, увидѣли во дворѣ кучку военныхъ. То были казаки. Впереди ихъ ѣхалъ усатый, сѣдой и плотный, съ черными бровями саперный офицеръ.

— Кто здѣсь хозяева?—окликнулъ офицеръ мужиковъ:—доложите господамъ.

— Старикъ хозяинъ, ваша милость, за Волгой, а молодого привезли раненаго изъ арміи... утречкомъ кончился здѣсь!—отвѣтилъ Климъ съ поклономъ:—это служимъ панихиду...

Офицеръ набожно перекрестился.

— Ишь, крестится!—шептали мужики:—не французъ, нашей вѣры...

Офицеръ слѣзъ съ коня и съ казачьимъ урядникомъ вошелъ въ домъ.

По окончаніи панихиды, онъ отозвалъ Клима въ сторону.

— Ты староста?

— Такъ точно-съ,—отвѣтилъ, гордо выпрямляясь, Климъ.

— Ну, вотъ тебѣ, староста, приказаніе, — негромко объявилъ офицеръ:—скоро, можетъ-быть, даже завтра... здѣсь въ окрестностяхъ явится вся наша армія... будетъ большое сраженіе...

Климъ поблѣднѣлъ и понурилъ голову.

— Усадьба вашихъ господъ не на мѣстѣ, — продолжалъ офицеръ:—ее велѣно снести... Да ты слушай и сообрази,— велѣно немедленно... сегодня же... На томъ вонъ холмѣ, у Горокъ, поставятся пушки, будетъ батарея, можетъ, и большой редутъ... а домъ и усадьба вашихъ господъ—подъ выстрѣлами, будутъ мѣшать... понялъ?

— Не на мѣстѣ! подъ выстрѣлами!— удивленно, топчась ногами, проговорилъ сильно озадаченный Климъ: — но куда же снести, и легкое ли это дѣло?

— А вотъ, увидишь,— строго проговорилъ саперъ, сдвигая черныя, кустоватыя брови.

— Наши же хибарочки, избы? всего семь дворовъ... куда ихъ? Экій разоръ!

— Ваши внизу, подъ горой; посмотримъ, можетъ, еще и останутся.

— А покойникъ?—спросилъ, озираясь, Климъ.

— Отпѣть, да съ Богомъ и хоронить. Только живѣе! смеркаетъ!—торопливо заключилъ, не глядя на него, офицеръ:— прежде же всего удали бабъ... этого вою чтобъ поменьше...

Климъ объявилъ приказъ Аринѣ. Убитая горемъ, растерянная старуха остолбенѣла.

— Батюшка, ваше благородіе, — вскрикнула она, падая въ ноги офицеру: — не разоряй! Мнѣ заказанъ господскій домъ; можетъ, они, лиходѣи, и такъ еще уйдутъ... Куда вынести, гдѣ спрятать экое господское добро? Сколько накоплено, нажито! Отцы ихніе, матери хлопотали...

Офицеръ, съ досадой подергивая усы, отозвалъ въ конецъ залы священника и фельдшера. Размахивая руками и сердито смотря куда-то въ сторону, какъ бы грозя тамъ кому-то, онъ переговорилъ съ ними и вышелъ. Священникъ велѣлъ дьячку опять зажечь свѣчи и облачился. Началось отпѣваніе. Покойника наскоро вынесли и опустили въ могилу. Пока его зарывали, велѣли запрячь старую господскую бричку, одѣли обезпамятѣвшую Арину въ шубейку, посадили ее въ бричку съ Ѳеней и съ фельдшеромъ и отправили въ Любаново. Близился вечеръ.

— Тамъ тебѣ, бабушка, будетъ спокойнѣе,— утѣшалъ ее фельдшеръ: — съ Богомъ! я васъ туда провожу... господа сберегутъ васъ, а то село, слышно, въ сторонѣ, не подъ пушками...

— Жгите, голубчики, жгите, коли на то воля Господня!— причитывала, уѣзжая, Арина:—не одинъ усовскій домъ погибнетъ; всѣмъ намъ гибель и смерть...

Бричка и телѣга спустились въ околицу.

— Ну, а теперь ты, староста, и вы, ребята, слушать!— обратился офицеръ еще строже къ Климу и мужикамъ:—за работу, да живѣе... выносите, прячьте, куда знаете, добро вашего господина, да и ваше... сроку вамъ часъ, много два... а тамъ соломы, огня!

— Родимые, да что же это!—заголосилъ кто-то изъ толпы мужиковъ:—толковали о врагахъ, а тутъ свои..,

— Бунтовать? — крикнулъ офицеръ: — противъ воли начальства? А висѣлица? Ларіоновъ, вяжи его...

Казаки и саперы разсыпались по двору. Мужики бѣгали, не помня себя отъ страха, и выносили разную кладь. Сверкнулъ огонь. Кто-то съ пучкомъ пылающей соломы побѣжалъ въ сѣнникъ. Загорѣлся скотный дворъ. Дымъ укрылъ взгорье. Бабы и дѣти неистово голосили.

Становилось темно. Отъ Любанова лѣсистымъ косогоромъ къ Новоселовкѣ, въ это время, мчалась на ямскихъ небольшая городская карета. Въ ней сидѣли Илья Тропининъ и Аврора. Дорогу и ближайшія окрестности еще было видно. Оба путника молчали. Имъ попадались навстрѣчу одинокіе и кучками казаки, осматривавшіе окрестность. До Новоселовки оставалось версты три. Еще ея не было видно за густымъ лѣсомъ. Илья, не обращая вниманія на казаковъ, думалъ о раненомъ Митѣ. Аврора спрашивала себя:

«Если Митя такъ опасно раненъ, что съ Базилемъ? Онъ такъ стремился; уже начались сраженія»...

— Что это, будто зарево впереди? — вдругъ спросила Аврора.

Илья выглянулъ изъ кареты.

— Такъ и есть! Ямщикъ,—крикнулъ онъ въ окно:—гдѣ это горитъ? Не въ сторонѣ ли Новоселовки?

— Должно, тамъ... захотѣлось, видно, бабамъ свѣжаго хлѣбушка, ну, овинъ... и не уберегли.

Лошади пробѣжали еще нѣсколько минутъ. Лѣсъ кончился. За нимъ открылась зеленая, пересѣченная холмами, долина; за долиною синѣли новые лѣса и холмы. На одномъ изъ пригорковъ широкимъ пламенемъ, далеко распростирая зарево, пылало нѣсколько зданій. Крылатая мельница, еще не вполнѣ охваченная пламенемъ, чернѣла среди клубовъ дыма и огненныхъ полосъ. Надъ нею въ искрахъ метались и вились тучи голубей.

Снизу изъ долины послышался стукъ колесъ; на дорогѣ между кустовъ показался экипажъ.

— Охъ, охъ! соколики! — жалобно причитывалъ женскій голосъ:—родимые! рѣшилися!.. конецъ свѣту...

То были Ефимовна и Ѳеня съ фельдшеромъ. Ихъ остановили, осыпали распросами. Илья былъ пораженъ, едва стоялъ на ногахъ. Учившійся подъ его наблюденіемъ, его любимый крестный братъ и другъ такъ нежданно скончался. Слезы катились изъ его глазъ. Онъ то крестился, то извергалъ проклятія на французовъ.

— Вотъ она, вотъ... я всегда предрекалъ, роковая необходимость!—проговорилъ онъ, сжимая кулаки:—цивилизованные варвары, узаконенный разбой!

Аврора усадила Арину съ собой, Ѳеню на козлы съ кучеромъ, а фельдшера на запятки, и еще разъ взглянула на пылавшую новоселовскую усадьбу.

«Необходимость!—мыслила она, содрогаясь:—уставы, законы войны... Но кому было нужно, и чѣмъ вознаградятъ, искупятъ смерть этого молодого, прекраснаго, надъ кѣмъ теперь это зарево? Проклятія злодѣю, измыслившему эту войну! И неужели на него, какъ на его предшественника Марата, не найдется новой, смѣлой Немезиды, новой Шарлотты Кордѣ?»

Карета помчалась обратно по полю, къ которому въ наступившую ночь, по обѣимъ сторонамъ старой смоленской дороги, уже надвигалась и становилась на позиціи вся русская армія.

Платя безъ счета вольнымъ и почтовымъ ямщикамъ, Тропининъ къ обѣду слѣдующаго дня добрался съ Авророй, Ефимовной, Ѳеней и фельдшеромъ до Москвы. Едва войдя къ княгинѣ, онъ объявилъ, что долѣе медлить невозможно. Подъѣзжая къ Москвѣ, онъ и Аврора, со стороны Можайска,

уже слышали за собой раскаты сильной пушечной пальбы. Анна Аркадьевна, выслушавъ разсказъ Мавры, стала-было опять подъ разными предлогами медлить.

— Ну, что же, французовъ разобьютъ, прогонятъ!—говорила она.

Илья вышелъ изъ себя.

— Это безразсудно! — вскрикнулъ онъ: — умоляю васъ, grand'maman, немедленно уѣзжайте: иначе будетъ поздно, васъ прямо захватятъ въ плѣнъ, ограбятъ, напугаютъ, убьютъ.

— Ахъ, mon cher,—отвѣтила съ недовольствомъ княгиня Шелешпанская:—ужъ и въ плѣнъ! Меня-то, старуху? Впрочемъ, хорошій мой, зови священника, будемъ служить молебенъ... Только нельзя же такъ прямо, безъ совѣта съ врачомъ... Пошли за Карломъ Иванычемъ... Все можетъ статься въ пути, ну, хоть бы гроза...

— Но какая же, бабушка, гроза осенью, въ концѣ августа?—отозвалась Аврора.

— Не твое дѣло... бываютъ случаи и въ сентябрѣ... Ты же, Ильюша, поѣзжай къ графу Растопчину и спроси его, дозволены ли подобныя дѣла, какъ съ Новоселовкой, хоть бы и на войнѣ? Я напишу къ государю; онъ зналъ и помнитъ моего мужа... Кутузовъ отвѣтитъ за все.

XIV.

Вечеромъ 25 августа, наканунѣ бородинскаго боя, главная квартира князя Кутузова находилась на Михайловской мызѣ, при деревушкѣ Астафьевыхъ, Татариновой, въ четырехъ верстахъ отъ Бородина. Здѣсь подъ ночлегъ стараго фельдмаршала былъ отведенъ брошенный хозяевами небольшой, въ одинъ этажъ, но весьма удобный господскій домъ.

Ручей Стопецъ, впадающій въ рѣку Колочу, у Бородина, отдѣлялъ Татариново и Михайловскую мызу отъ лѣсистыхъ высотъ, на которыхъ командиръ праваго крыла арміи, Милорадовичъ, расположилъ для предстоящей битвы свои отряды. Отсюда въ сумеркахъ, влѣво за ручьемъ, у деревни Горокъ виднѣлись на холмахъ огражденныя завалами батареи, а невдали отъ нихъ бѣлѣли палатки пѣхоты, егерей и артиллеріи Багговута. Далѣе, вправо, изъ-за березоваго лѣса, поднимались дымки съ костровъ драгуновъ, гусаровъ и улановъ Уварова, спрятанныхъ въ запасѣ, у склоновъ къ сосѣдней Москвѣ-рѣкѣ. Прямо противъ Татаринова и Михай-

ловскои мызы, въ полуверстѣ за ручьемъ, на пригоркѣ, среди просѣки, виднѣлись коновязи и слышался говоръ казачьихъ полковъ Платова.

Была тихая, нѣсколько сырая и холодная погода. Солнце зашло, но сумерки еще не сгустились.

Перовскій, состоявшій, съ его прибытія въ армію Барклая, въ колонновожатыхъ праваго крыла этой арміи, при отрядѣ генерала Багговута, только-что подъѣхалъ съ бивака второго пѣхотнаго корпуса, у Колочи, въ деревню Горки, гдѣ съ двумя другими свитскими офицерами и штабнымъ докторомъ прохаживался по выгону, у небольшой крайней избы. Въ этой избѣ была квартира командира праваго крыла, Милорадовича, который теперь совѣщался съ приглашенными къ нему Уваровымъ и Багговутомъ. Казаки поодаль держали подъ уздцы осѣдланныхъ, генеральскихъ и свитскихъ лошадей. Офицеры, прохаживаясь, не спускали глазъ съ оконъ и двери избы. Перовскій въ небольшую зрительную трубку посматривалъ на́ голубоватыя очертанія возвышенностей за Колочей.

— Итакъ, мы стали, наконецъ, стоимъ и, кажется, твердо!—сказалъ, пожимая плечами, худой, высокій и пожилой офицеръ, въ старомъ мѣшковатомъ мундирѣ:—конецъ отступленіямъ.

— Ну, конецъ ли еще, Богъ вѣсть, — возразилъ другой офицеръ, помоложе.

— Разумѣется,—продолжалъ первый:—князь, вы слышали, безповоротно рѣшилъ завтра принять генеральную баталію...

— Что же?—произнесъ второй офицеръ, недавно переведенный въ штабъ:—какъ вы къ этому относитесь?

— Исполнимъ велѣнія долга, — отвѣтилъ первый, сосредоточенно-важно глядя передъ собой: — мнѣ что? Была забота о семьѣ... а теперь жена успокоилась; представьте, пишетъ изъ Твери, что какіе-то странники напророчили заключеніе мира ко дню Михаила, къ князевымъ именинамъ.

— Такъ-то такъ,—проговорилъ пріятнымъ, мягкимъ голосомъ докторъ, полный, румяный и красивый мужчина среднихъ лѣтъ, въ опрятномъ мундирѣ и треуголкѣ:—миръ миромъ, когда-нибудь придетъ, а завтра не досчитаемся многихъ.

— На то воля Божья,—тихо сказалъ пожилой офицеръ:—вѣетъ крыло смерти, какъ говоритъ, Фингалъ, но не всѣхъ оно задѣваетъ.

— И что̀ непріятно, — продолжалъ докторъ: — во всемъ ненорядокъ; загремятъ сотни пушекъ, а у насъ, — не говорю уже о недостаткѣ кирокъ для батарей, даже лопатъ,— ополченцы на половину безъ работы, — въ госпиталяхъ ни носилокъ, ни корпіи, ни бинтовъ... Палатки въ дырьяхъ. Каково больнымъ спать на сырой землѣ и въ болотахъ? а ночью холодъ. Хочу вотъ опять все передать генералу.

Пожилой офицеръ досадливо покачалъ головой. Онъ, начитанный, любившій поэзію и скромный, все это отлично зналъ и терпѣливо сносилъ; но также зналъ онъ и то, что нѣженка и любитель всего прекраснаго и пріятнаго, докторъ Миртовъ умудрился въ походѣ не только возить съ собой на вьюкѣ небольшую, отлично приспособленную для себя палатку, но при ней даже удобную постель, съ мягкою периной и теплымъ, стеганымъ на ватѣ, одѣяломъ.

— Что вы это все смотрите за рѣку? — спросилъ пожилой офицеръ Перовскаго:—не двигаются ли французы?

— Нѣтъ, тамъ спокойно,—отвѣтилъ Базиль:—но вправо отъ Бородина, я помню, была одна усадьба... Три мѣсяца назадъ я изъ нея уѣхалъ въ армію. И странно: внизу, у рѣки, вонъ, виденъ поселокъ, а выше его на горѣ, стоялъ еще домъ, были разныя службы и мельница. Теперь смотрю— и ихъ не вижу.

— Вѣроятно, ихъ снесли,—сказалъ пожилой офицеръ:— эта гора — подъ выстрѣлами нашихъ батарей; часть Семеновки, сзади насъ, слышно, тоже для чего-то сломали. Возьмите мою трубку,—прибавилъ офицеръ, снимая съ перевязи длинную, раздвижную трубку:—моя изъ Вѣны, отъ Корта... все увидите, какъ на ладони.

Перовскій навелъ поданную трубку за рѣку, отыскивая взгорье, на которомъ, какъ онъ помнилъ, стояла новоселовская усадьба Усовыхъ. Передъ его глазами, въ туманнсй полумглѣ, мелькали неопредѣленные очерки овраговъ, лѣсныхъ порослей и холмовъ. Знакомой усадьбы онъ не находилъ.

Дверь избы въ эту минуту отворилась. На ея порогѣ показались стройный Уваровъ и рыжій, въ веснушкахъ и бакенбардахъ, Багговутъ. Докторъ подошелъ къ послѣднему, рапортуя о недостаткѣ лѣчебныхъ припасовъ. Багговутъ выслушалъ его и сказалъ по-французски Уварову.

— Вотъ, какъ видите, одна и та же пѣсня, и ничего не подѣлаешь.

Онъ набросалъ нѣсколько строкъ на клочкѣ бумаги, вырванномъ изъ записной книжки, свернулъ этотъ клочокъ и усталыми глазами посмотрѣлъ на стоявшихъ передъ нимъ колоновожатыхъ.

— Синтянинъ,—обратился онъ къ пожилому офицеру:— доставьте это графу Бенигсену; если не будетъ письменнаго, привезите словесный отвѣтъ.

Синтянинъ взялъ обратно отъ Перовскаго зрительную трубку, бережно вложилъ ее въ замшевый на перевязи чехолъ, сѣлъ на лошадь и, сгорбившись, направился большою дорогой за Стонецъ. Уваровъ и Багговутъ поѣхали обратно къ своимъ бивакамъ. Перовскій и докторъ Миртовъ сопровождали Багговута.

Становилось темно. Узкая дорожка съ холма отъ Горокъ спускалась въ мелкій березнякъ; далѣе она опять шла по взгорью и невдали отъ лагеря упиралась въ довольно крутой, безлѣсный оврагъ. Всадники шагомъ миновали березнякъ и, подъѣхавъ къ оврагу, увидѣли за нимъ огни своихъ биваковъ. Перовскій думалъ о тяжкой ранѣ Мити Усова, о ихъ недавнихъ обоюдныхъ мечтахъ жениться въ этомъ августѣ и о предстоявшемъ на-завтра сраженіи.

— Скажите, вы боитесь смерти? думаете о ней?—спросилъ Миртовъ Перовскаго, когда они стали выбираться изъ оврага.

— Бояться не боюсь,—отвѣтилъ Базиль:—а думаю иногда, особенно, признаться, теперь.

— Еще бы, вы такъ смѣло тогда, на станціи въ Можайскѣ, приняли вызовъ на дуэль этого француза. Я же разсуждаю такъ,—произнесъ пѣвучимъ, спокойнымъ голосомъ докторъ:—смерть это, во всякомъ случаѣ, непріятная неожиданность; но если она придетъ мгновенно, отъ паралича или, положимъ, отъ тяжкой раны въ сердце, или въ голову, какъ это бываетъ въ сраженіи, чего тутъ бояться? Пуля или ядро свиснетъ — и баста, не опомнишься. Ѣлъ, пилъ, спалъ, курилъ и мечталъ; нежданная раздѣлка — и конецъ. Былъ Миртовъ—и нѣтъ Миртова...

Докторъ тихо засмѣялся.

— Узнайте,—продолжалъ онъ:—тяжела и противна смерть не отъ пули или ядра, а отъ скверной, безсильной старости, или когда, положимъ, подцѣпитъ гнилая горячка; дома ли, въ походѣ ли, въ госпиталѣ, тутъ одно только му-

ченіе — безсонница, бредъ и ужасъ, ужасъ ожиданій, особенно нашему брату-врачу, все это отлично понимающему, какъ свои пять пальцевъ... вотъ что гадко и тяжело...

Всадники приблизились къ опушкѣ лѣса, за которою разстилался лагерь.

— Не мѣсто, разумѣется, въ ожиданіи боя, думать о другомъ,— сказалъ Базиль, нагинаясь въ темнотѣ отъ вѣтвей березы, мимо которой они ѣхали: — но не могу не замѣтить: громадное большинство умираетъ именно, какъ вы говорите, мучась медленно и съ сознаніемъ, отъ разныхъ болѣзней, старости, нищеты и другихъ золъ.

— Что до меня, — сказалъ докторъ: — странное у меня предчувствіе... Представьте, мнѣ почему-то все кажется, что я умру не иначе, какъ еще черезъ двадцать лѣтъ, и непремѣнно почему-то въ Москвѣ и въ англійскомъ клубѣ... Да, — прибавилъ онъ, смѣясь: — въ клубѣ, послѣ вкуснаго обѣда... Грѣшный человѣкъ, люблю поѣсть... Такъ вотъ, именно послѣ обѣда и отъ паралича... Трахъ—и кончено... Сверкнутъ въ глазахъ, знаете, такія вотъ звѣздочки, потомъ пріятный туманъ... что это? а ничего... былъ Миртовъ — и нѣтъ Миртова... Не хотите ли, кстати, въ мою палатку? Раздѣнетесь, протянитесь и выспитесь; у меня походный чайничекъ и ромъ, угощу пуншикомъ. Не мѣшаетъ передъ битвой.

— Нѣтъ, благодарю, — отвѣтилъ Перовскій: — надо къ генералу; врядъ ли скоро отпуститъ.

— Еще слово. Видѣли вы давеча майора Синтянина?— спросилъ докторъ:—угадайте, какая меня преслѣдуетъ мысль?

— Не знаю.

— Вы, разумѣется, обратили вниманіе, какой онъ задумчивый и скучный. Ну-съ, мнѣ, представьте, все кажется, что онъ завтра опередитъ всѣхъ насъ... трахъ — и нѣтъ его,—шутилъ на разставаньѣ докторъ.

Добравшись за полночь до общей штабной палатки, Базиль нашелъ своего денщика, велѣлъ ему пораньше навьючить коня, улегся, не раздѣваясь, на клочкѣ сѣна, въ своемъ углу, и долго не могъ заснуть. Лагерь также еще бодрствовалъ. Солдаты, осмотрѣвъ и почистивъ съ вечера оружіе, аммуницію и лошадей, молились, укладывали свои узлы или сидѣли кучками у потухавшихъ костровъ, изрѣдка перекидываясь словомъ и поглядывая на небо, скоро ли разсвѣтъ.

Изъ-подъ откинутой части палатки Перовскому виднѣлся край хмураго, беззвѣзднаго неба, а вдали, за рѣкой, непріятельскій лагерь, на нѣсколько верстъ обозначенный линіей непрерывныхъ бивачныхъ огней. Базиль думалъ объ этой роковой холмистой долинѣ, на которой теперь, въ ожиданіи близкаго утра, стояла стотысячная русская армія, въ двухъ-трехъ верстахъ противъ такой же стотысячной французской арміи. Тысяча орудій готовились съ той и съ другой стороны осыпать ядрами и картечью эту равнину и этихъ, стоявшихъ другъ передъ другомъ, людей. Базиль усиливался рѣшить, кто же былъ виновникомъ всего этого, кто вызвалъ и привелъ сюда эти арміи? Мучительно напрягая мысли, онъ, наконецъ, забылся крѣпкимъ, предразсвѣтнымъ сномъ.

Было шесть часовъ утра. Гулко грохнула въ туманномъ воздухѣ, противъ русскаго лѣваго крыла, первая французская пушка. На ея звукъ раздался условный выстрѣлъ противъ праваго русскаго крыла—и разомъ загремѣли сотни пушекъ съ обѣихъ сторонъ. Перовскій вскочилъ, выбѣжалъ изъ палатки и нѣсколько секундъ не могъ понять развернувшейся передъ нимъ картины. Вдали и вблизи бухали съ позицій орудія. Солдаты корпуса Багговута строились; между ихъ рядовъ куда-то скакали адъютанты. Сѣвъ на подведеннаго коня, Базиль поспѣшилъ за ними.

Слѣва на низменности, у Бородина, трещала ружейная перестрѣлка. Туда, къ мосту, бѣжала пѣхотная колонна. Черезъ нее, съ нашей небольшой батареи у Горокъ, стрѣляли въ кого-то по ту сторону Колочи. Багговутъ, на сѣромъ, красивомъ и росломъ конѣ, стоялъ, сумрачный и подтянутый, впереди своего корпуса, глядя за рѣку въ зрительную трубку. Отъ Михайловской мызы къ Горкамъ, на гнѣдомъ, горбоносомъ, невысокомъ конѣ, несся въ облакѣ пыли, окруженный своею свитой, Кутузовъ.

Прошла всѣмъ извѣстная первая половина грознаго бородинскаго боя. Издавъ наканунѣ воззваніе къ своимъ «королямъ, генераламъ и солдатамъ», Наполеонъ съ утра до полудня всѣми силами обрушился на центръ и на лѣвое крыло русскихъ. Онъ тѣснилъ и поражалъ отряды Барклая и Багратіона. На смѣну гибнувшихъ русскихъ полковъ

выдвигались новые русскіе полки. Даву, Ней и Мюратъ атаковали Багратіоновы флѐши и Семеновскія высоты. Онѣ переходили изъ рукъ въ руки. Флѐши и Семеновское были взяты. Вице-король повелъ войска на курганную батарею Раевскаго. Послѣ кровопролитныхъ схватокъ, батарея была взята. На ней, къ ужасу русскихъ, взвился французскій флагъ. Наша линія была прорвана. Кутузовъ узналъ объ этомъ, стоя съ Бенигсеномъ на бугрѣ, въ Горкахъ, невдали отъ той самой избы, гдѣ наканунѣ у Милорадовича было совѣщаніе. Князь послалъ къ кургану начальника штаба первой арміи, генерала Ермолова. Ермоловъ спасъ батарею. Въ это же время Багговуту, къ счастью его отряда, было велѣно сдѣлать фланговое движеніе, въ подкрѣпленіе нашего лѣваго крыла. Багговутъ повелъ свои колонны проселочною дорогой, вдоль Хорóмовскаго ручья, между Князьковымъ и Михайловскою мызой. Французскія ядра перелетали черезъ головы этого отряда, попадая въ лѣсъ за Князьковымъ. Багговутъ, подозвавъ Перовскаго, приказалъ ему отправиться къ этому лѣсу и вывести изъ него расположенные тамъ перевязочные пункты—далѣе къ Михайловской мызѣ и къ Татаринову.

Перовскій поднялся отъ Хорóмовской ложбины и открытымъ косогоромъ поскакалъ къ лѣсу. Грохотъ адской пальбы стоялъ въ его ушахъ. Нѣсколько разъ слыша надъ собою полетъ ядеръ, онъ ожидалъ мгновенія, когда одно изъ нихъ настигнетъ его и убьетъ наповалъ. «Былъ Перовскій — и нѣтъ Перовскаго», — мыслилъ онъ. Шпоря съ нервнымъ трепетомъ коня, Базиль домчался къ опушкѣ лѣса, гдѣ увидѣлъ ближній перевязочный пунктъ. Отдавъ приказаніе сниматься, онъ было направился далѣе, но на нѣсколько мгновеній замедлилъ. Передъ нимъ были двѣ тропинки, налѣво и направо, и онъ искалъ глазами кого-нибудь, чтобы спросить, какъ ближе проѣхать къ перевязочному пункту доктора Гиршфельдта.

У входа въ одну изъ операціонныхъ палатокъ онъ узналъ стоявшаго передъ нею, въ окровавленномъ фартукѣ, Миртова. Усталый и потный, съ растрепанными волосами, но, какъ всегда, веселый и въ духѣ, докторъ, очевидно, только-что кончилъ трудную операцію и вышелъ на мгновеніе покурить и подышать свѣжимъ воздухомъ.

— Вамъ къ Гиршфельдту? — спросилъ Миртовъ, увидя Перовскаго.

— Да-съ, къ нему, — отвѣтилъ, подбирая поводъ, Базиль: — какъ туда проѣхать?

Докторъ, продолжая курить, подошелъ къ чьей-то рослой и красивой гнѣдой лошади, стоявшей въ сѣдлѣ, невдали отъ палатки, погладилъ ее красною отъ крови рукой и этою же испачканною рукою указалъ Перовскому направо.

— Счастливаго пути! — сказалъ онъ: — что же до насъ, будьте спокойны, мигомъ снимемся и всѣ перейдемъ... Видите, уже вьючатъ фуры. А эта, — указалъ онъ Базилю на лошадь: — потеряла, голубушка, хозяина; сейчасъ вынули у него осколокъ гранаты изъ спины; врядъ ли останется живъ. Еще, извините, слово... Ѳедору Богдановичу скажите, чтобы воротилъ мой запасный инструментъ — оказывается нуженъ. А мы съ вами, не забудьте, черезъ двадцать лѣтъ, въ московскомъ клубѣ, если васъ не подцѣпитъ пуля того вашего француза, Жерамба...

«Удивительное спокойствіе! Шутитъ среди такого ада!» — подумалъ Перовскій, отъѣзжая подъ гулъ и грохотъ выстрѣловъ, несшихся теперь черезъ отбитую нами курганную батарею. Перевязочный пунктъ снимался. Солдаты и фельдшера вьючили телѣги, двигались фуры съ перевязанными ранеными. Вдругъ надъ опушкой что-то зазвенѣло, гулко и грозно сверля воздухъ. Перовскій невольно вздрогнулъ и склонился, ухватясь за шею коня. Въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ, сзади его, раздался страшный трескъ и взрывъ. Послышались крики ужаса. Базиль оглянулся. Густой столбъ дыма и песку поднимался надъ мѣстомъ, гдѣ онъ за мгновеніе назадъ стоялъ. Операціонная палатка Миртова была разметана въ клочки. Ее смѣнила какая-то безобразно-желтая, дымившаяся яма. Рослый, гнѣдой конь, стоявшій у палатки, былъ опрокинутъ и судорожно бился, дергая въ воздухѣ ногами. А подъ нимъ громко стонало, придавленное имъ къ землѣ, что-то жалкое и безпомощное. Нѣсколько обожженныхъ взрывомъ и осыпанныхъ пескомъ солдатъ испуганно усиливались приподнять лошадь, чтобъ освободить изъ-подъ нея придавленнаго человѣка. Базиль подъѣхалъ ближе и увидѣлъ разорванную одежду и бѣлое, торчавшее изъ-за солдатскихъ спинъ колѣно, изъ котораго фонтаномъ била кровь. Онъ бросился на помощь солдатамъ. Тѣ въ это время придерживали верхнюю часть туловища раненаго, вытащеннаго ими изъ-подъ лошади. Перовскій узналъ Миртова.

— Голубчики, голубчики,—путавшимся языкомъ твердилъ мертвенно-блѣдный докторъ, съ ужасомъ глядя красивыми потухавшими глазами на окровавленныя клочья, бывшія на мѣстѣ его ногъ:—бинтовъ... Егоровъ... перевязку...

Миртовъ, не договоривъ, впалъ въ обморокъ.

Подбѣжавшій фельдшеръ Егоровъ, присѣвъ къ землѣ, перевязывалъ ему, дрожащими руками, вскрытыя артеріи.

— Кончился? — спросилъ вполголоса Перовскій, нагнувшись къ нему.

— Какое, промучится еще, сердечный... а ужъ гдѣ жить! Носилки!—обратился фельдшеръ къ солдатамъ.

Перовскій поскакалъ къ другому перевязочному пункту.

Была снова атакована батарея Раевскаго. Наполеонъ двинулъ на нее молодую гвардію и резервы. Нападеніе Уварова на лѣвое крыло французовъ остановило-было эти атаки. Но къ французамъ подходили новыя и новыя подкрѣпленія. Курганная батарея была опять занята французами.—«Смотрите, смотрите,—сказалъ кто-то возлѣ Перовскаго, указывая съ высоты, гдѣ стояли колонны Багговута,—это Наполеонъ!»—Базиль направилъ туда подзорную трубу и впервые въ жизни увидѣлъ Наполеона, скакавшаго, съ огромною свитой, на бѣломъ конѣ, отъ Семеновскаго къ занятому французами редуту Раевскаго. Всѣ ждали грознаго наступленія старой французской гвардіи. Наполеонъ на это не рѣшился.

Къ шести часамъ вечера бой сталъ затихать на всѣхъ позиціяхъ и кончился. Къ свѣтлѣйшему въ Горки, гдѣ онъ былъ во время боя, прискакалъ, какъ узнали въ войскахъ, флигель-адъютантъ Вольцогенъ, съ донесеніемъ, что непріятель занялъ всѣ главные пункты нашей позиціи и что наши войска въ совершенномъ разстройствѣ.

— Это неправда! — громко, при всѣхъ, возразилъ ему свѣтлѣйшій:—ходъ сраженія извѣстенъ мнѣ одному въ точности. Непріятель отраженъ на всѣхъ пунктахъ, и завтра мы его погонимъ обратно изъ священной Русской земли.

Стемнѣло. Кутузовъ къ ночи переѣхалъ въ домъ Михайловской мызы. Окна этого дома были снова ярко освѣщены. Въ нихъ виднѣлись денщики, разносившіе чай, и лица адъютантовъ. Въ полночь къ князю собрались оставшіеся въ живыхъ командиры частей, расположившихся невдали

отъ мызы. Здѣсь былъ, съ двумя-тремя изъ своихъ штабныхъ, и генералъ Багговутъ. Взводъ кавалергардовъ охранялъ дворъ и усадьбу. Адъютанты и ординарцы фельдмаршала, бесѣдуя съ подъѣзжавшими офицерами, толпились у крыльца. Разложенный на площадкѣ передъ домомъ костеръ освѣщалъ старыя липы и березы вокругъ двора, ягодный садъ, прудъ невдали отъ дома, готовую фельдъегерскую тройку за дворомъ и невысокое крылечко съ входившими и сходившими по немъ. Стоя съ другими у этого крыльца, Перовскій видѣлъ блѣдное и хмурое лицо графа Толя, медленно, нервною поступью поднявшагося по крыльцу, послѣ вечерняго объѣзда нашихъ линій. Онъ разглядѣлъ и черную, курчавую голову героя дня, Ермолова, который, послѣ доклада Толя, съ досадою крикнулъ въ окно: «фельдъегеря!» Тройка подъѣхала. Изъ сѣней, съ сумкой черезъ плечо, вышелъ сгорбленный, пожилой офицеръ. Базиль обрадовался, увидя его: то былъ Синтянинъ.

— Куда, куда?—заговорили офицеры.

— Въ Петербургъ,—отвѣтилъ, крестясь, Синтянинъ:—съ донесеніемъ.

Тогда же всѣ узнали, что князь Кутузовъ, выслушавъ графа Толя, далъ предписаніе русской арміи отступать за Можайскъ, къ Москвѣ. На-утро Перовскій получилъ приказаніе состоять при Милорадовичѣ.

XV.

Было тридцать-первое августа. Въ этотъ день, съ утра, у княгини Анны Аркадьевны все, наконецъ, было готово къ отъѣзду въ тамбовское помѣстье Паншино.

Во дворѣ, у флигеля, стояло нѣсколько послѣднихъ нагруженныхъ подводъ, которыя было рѣшено, съ необходимою прислугой, отослать впередъ. На возахъ—съ кадками, птичьими клѣтками, сундуками, посудой и перинами — сидѣли въ дорожныхъ платкахъ, кофтахъ и кацавейкахъ, щелкая орѣхи и посмѣиваясь, красавицы Луша, Дуняша, Стеша и семь прочихъ подручныхъ горничныхъ княгини, прачки, кружевницы и судомойки. Поваръ и поварченки посадили туда же и слѣпого гусляста Ермила, а сами, за недостаткомъ мѣста, собирались при подводахъ идти пѣшкомъ. Въ особой открытой линейкѣ, впередъ выѣхали главный дворецкій, буфетчикъ, кондитеръ и парикмахеръ княгини.

Къ одной изъ телѣгъ, съ запасомъ сѣна и овса, былъ

привязанъ верховой конь Авроры, Барсъ, къ другой—княгинина любимая холмогорская корова, Молодка, и бодавшій прохожихъ, старый конюшенный козелъ, Васька. Экономка Маремьяша предназначила себѣ и привезеннымъ изъ Новоселовки Ефимовнѣ и Ѳенѣ особую, крытую кожей и запряженную тройкой пѣго-чалыхъ, бричку. Туда, на предварительно втиснутую и прикрытую коврикомъ перину, одѣтый въ синюю куртку и алую феску арапченокъ Варлашка бережно поставилъ клѣтку съ попугаемъ и въ корзинкѣ, съ пуховою подушечкой, двухъ комнатныхъ болонокъ княгини, Лимку и Тимку.

Сама Маремьяша давно все уладила; но, простясь съ княгиней, еще ходила изъ комнаты въ комнату, охая, всѣхъ торопя и не рѣшаясь выйти. Наконецъ, и она, въ дорожномъ чепцѣ, съ Ефимовной и внучкой послѣдней, держа какіе-то узлы и горшечки съ жасминомъ и геранью, показалась на дѣвичьемъ крыльцѣ. Всѣ стали креститься. Обозъ, къ которому присоединили еще на особой подводѣ походную палатку, окончательно двинулся въ полдень.

Аврора утромъ того дня съѣздила въ Никитскій монастырь, гдѣ отслужила панихиду по Митѣ. Она была въ черномъ шерстяномъ платьѣ и въ бѣлой косыночкѣ на головѣ. Войдя съ заплаканными глазами въ опустѣлый домъ бабки и узнавъ, что у княгини сидитъ докторъ, она прошла наверхъ, въ свою любимую комнату, и принялась укладывать послѣднія вещи, еще во множествѣ разбросанныя по стульямъ, окнамъ и столамъ.

Что было нужно въ дорогѣ, она успѣла сдать на подводы; остальное заперла въ ящики шкаповъ и комодовъ, положила ключи на столъ и задумалась.

«Брать ли ключи съ собой? Какая я смѣшная: не все ли равно?—мыслила она, поглядывая на бумажки и сѣно, валявшіяся по комнатѣ: — если непріятелю суждено быть въ Москвѣ, всѣ эти шкапы, комоды и столы будутъ разбиты, и грубыя вражескія руки коснутся этихъ вещей».

На окнѣ валялись театральныя афиши. Аврора безсознательно взяла ихъ, стала просматривать и бросила на полъ. Афиши гласили, что въ московскомъ театрѣ, нѣсколько дней назадъ, былъ исполненъ анакреонтическій балетъ «Бракъ Зефира», а чуть не наканунѣ того дня шла драма «Наталья, боярская дочь» и послѣ спектакля былъ «маскарадъ».

Эти же афиши спокойно объявляли открытіе абонемента, на двѣсти новыхъ спектаклей, съ наступавшаго сентября.

«Театръ, веселости! — съ горькимъ вздохомъ подумала Аврора,—въ такое время! Гдѣ совѣсть, гдѣ сердце у этихъ людей?»

Она замѣтила на небольшомъ, съ бронзовою отдѣлкой, столикѣ, у изголовья ея кровати, забытую ею тетрадь любимыхъ нотъ въ красномъ сафьянномъ переплетѣ. Аврора раскрыла ноты и со слезами упала на нихъ головой.

«Видишь ли ты меня, мой далекій?—думала она, рыдая,— гдѣ, въ эти мгновенія, ты и что съ тобой?»

Ей вспомнилась поѣздка съ женихомъ на Поклонную гору, послѣднее свиданіе съ Базилемъ, видъ пылавшей Новоселовки и пушечная пальба подъ Можайскомъ.

«Чѣмъ кончилась грозная битва?—думала она,—кто побѣдилъ и кто живъ?»

— Барышня, ея сіятельство готовы, ждутъ васъ! — раздался въ комнатѣ голосъ.

Аврора оглянулась. У дверей, въ смятой, давно не надѣванной дорожной ливреѣ съ гербовыми бронзовыми пуговицами и множествомъ воротниковъ, стоялъ выбритый, раскраснѣвшійся и недовольный сборами слуга княгини Власъ. Его сѣдыя брови были важно подняты.

— Иди, голубчикъ, я тоже готова, сію минуту!—отвѣтила Аврора, закрывая ноты.

Она схватила клочокъ бумаги, набросала на немъ нѣсколько строкъ и, сложивъ написанное, подумала:

«Отдамъ дворнику. Базиль, если Господь его спасъ, — о, я надѣюсь на это:—вступивъ съ отрядомъ въ Москву, поспѣшитъ сюда, получитъ записку отъ дворника и будетъ утѣшенъ хоть этими строками».

На клочкѣ бумаги было написано:

«31 августа 1812 года.—Мы ѣдемъ, дорогой, сейчасъ въ Паншино. До свиданія. О смерти Мити ты, вѣрно, знаешь. Я сегодня молилась о немъ и поклялась... Если буду жива, если потребуются жертвы, ты увидишь, русская женщина, русская патріотка сумѣетъ исполнить свой долгъ. Не забывай любящей тебя—Авроры».

Надѣвъ соломенную шляпу и мантилью, Аврора спустилась съ лѣстницы, заглянула въ молельню бабки, взяла забытый здѣсь кружевной чепецъ княгини, съ зелеными лен-

тами, приготовленный Маремьяшей барынѣ на дорогу, и медленно, черезъ пальмовую гостиную, такъ памятною Авророѣ по первымъ, робкимъ бесѣдамъ съ Базилемъ, вышла въ залу, въ послѣдній разъ оглядывая покидаемый домъ. Въ залѣ, среди всякаго сора, стояла сдвинутая съ мѣста мебель, и стѣны были обнажены отъ зеркалъ и картинъ. Куранты столовыхъ часовъ, не снятыхъ въ суетѣ со стѣны, какъ и многое другое въ домѣ, въ это время, тихо позванивая, играли пѣсню того же друга ихъ дома, Нелидинскаго: «Выйду я на рѣченьку, погляжу на быструю... Унеси ты мое горе...» Аврора, прислонясь головой къ стѣнѣ, опять не удержалась отъ слезъ. На крыльцѣ она увидѣла московскаго полицей-мейстера. Несмотря на хлопоты, онъ заѣхалъ проводить княгиню.

Тропининъ, рѣшившій остаться въ Москвѣ до выѣзда сената и послѣднихъ чиновъ театральной дирекціи, свелъ плачущую Аврору съ крыльца и усадилъ ее въ дормезъ, противъ сидѣвшей уже здѣсь и въ концѣ разстроенной княгини. Аврора передала записку дворнику. Анна Аркадьевна, простясь съ полицеймейстеромъ и двумя, также провожавшими ее, богомолками, никакъ не могла удобно помѣстить у своихъ ногъ, среди разныхъ связокъ и укладокъ, поданную ей Власомъ ея третью, самую любимую собачку, крохотнаго рыженькаго шпица, Тутика, съ которымъ княгиня никогда не разставалась. Тутикъ былъ въ зеленомъ шелковомъ одѣяльцѣ и съ розовымъ бантикомъ на мохнатомъ затылкѣ.

— Да и надоѣлъ же ты мнѣ, съ твоимъ неумѣньемъ, старый чурбанъ!—сердито крикнула своему любимому слугѣ княгиня Шелешпанская:—мечешься, суешься, какъ угорѣлый, а все безъ толку.

— А если бы вы, ваше сіятельство, знали, какъ вы-то мнѣ надоѣли! — не стерпѣвъ и мрачно захлопывая дверцы, отвѣтилъ Власъ.

— Какъ видишь!—съ горечью, по-французски, произнесла княгиня, укоризненно указывая на грубіяна Авророѣ, точно та была виной его дерзкой выходки: — вотъ нынѣ судьба князей Шелешпанскихъ! Они меня въ гробъ уложатъ... Гдѣ мои капли?..

— Пошелъ! — крикнулъ кучеру Власъ, важно усѣвшись на козлы и съ суровымъ упрекомъ поглядывая на але-

бастровыхъ львовъ, украшавшихъ высокія ворота княгинина дома.

Свѣжій осенній вѣтеръ весело игралъ ливрейными воротниками на плотной и красной отъ досады шеѣ Власа.

— Уѣхали ангелы, — обратилась къ дворнику Карпу, стоявшему у воротъ, одна изъ богомолокъ, кланяясь вслѣдъ уѣзжавшей княгинѣ и пряча полученную отъ нея подачку:— а намъ, бѣднымъ, одна Царица Небесная въ защиту. Гонитъ лютый врагъ... Воздушнымъ плетнемъ обнесемся, небомъ въ пустынѣ прикроемся.

Блѣднолицый, съ пѣгимъ лицомъ, Карпъ, мрачно взглянувъ на спины уходившихъ богомолокъ, злобнымъ размахомъ заперъ ворота.

Зеленая крыша дома княгини, съ бельведеромъ поверхъ ея и со львами на воротахъ, скрылась за сосѣдними опустѣлыми домами. Тяжелый вѣнскій дормѣзъ, съ форейторомъ, шестерикомъ вороныхъ, медленно выѣхалъ, погромыхивая, изъ Бронной на Тверской, также опустѣвшій, бульваръ, къ Кремлю и далѣе въ Рогожскую заставу. Тропининъ, съ утра въ вицъ-мундирѣ подъ плащемъ и въ форменной треуголкѣ, проводилъ путницъ на наемныхъ дрожкахъ до заставы. Улицы за Яузой были переполнены отъѣзжавшими и уходившими. Городъ, узнавъ въ тотъ день потрясающія подробности о бородинской битвѣ, окончательно опустѣлъ.

XVI.

Настало второе сентября.

Въ Москву, днемъ и ночью, подходили подводы, наполненныя тысячами раненыхъ. «Кровавое Бородино» вдвигалось въ московскія улицы со Смоленской дороги, въ то время, какъ по Владимірской, Рязанской и Тульской уѣзжали, тѣсня другъ друга, разновидныя кареты, коляски, брички и телѣги, съ послѣдними убѣгающими москвичами. Разнеслась вѣсть, что русская армія, послѣ бородинскаго боя, отступаетъ къ древней столицѣ. Всѣ ждали новой и окончательной битвы у воротъ Москвы. Близъ Воробьевыхъ горъ Перовскому и другимъ колонновожатымъ велѣли произвести съемку мѣстности, и здѣсь, дѣйствительно, начали было даже возводить земляныя укрѣпленія для редутовъ. Но послѣ совѣта, происходившаго наканунѣ въ подмосковной деревушкѣ Филяхъ, Кутузовъ рѣшилъ для спасенія Россіи сдать Москву безъ боя.

Русскія войска, направлялись со Смоленской дороги на Рязанскую, стали проходить черезъ Москву. Непріятельская армія слѣдомъ за ними приближалась къ Дорогомиловской заставѣ. Подъ городомъ слышалась перестрѣлка передовой французской цѣпи съ казаками и уланами русскаго арріергарда.

Лихой и храбрый начальникъ этого арріергарда, «крылатый», какъ его звали, Милорадовичъ, съ цѣлью облегчить отступленіе русскимъ отрядамъ и дать выйти изъ города послѣднимъ жителямъ и обозамъ, объявилъ столь же лихому и отважному вождю французскаго авангарда, итальянскому королю Мюрату, что если французы на время не пріостановятся, ихъ встрѣтитъ бой на штыкахъ и ножахъ въ каждой улицѣ и въ каждомъ домѣ Москвы. Мюратъ заключилъ съ Милорадовичемъ словесное, до ночи, перемиріе.

Перестрѣлка на время прекратилась. Французскіе полки, въ виду уже развернувшейся передъ ними Москвы, замедлили наступленіе.

Вышедшій благополучно изъ бородинскаго боя, Перовскій сумрачно ѣхалъ верхомъ сзади Милорадовича, съ другимъ офицеромъ, черноволосымъ и съ ямочками на румяныхъ щекахъ, Квашнинымъ. Онъ сгоралъ нетерпѣніемъ скорѣе достичь города и узнать, гдѣ его невѣста и что сталось съ Митей Усовымъ, отправленнымъ съ боя подъ Осмой въ Москву. Въ ожиданіи радостнаго свиданія съ Авророй,— почемъ знать, можетъ-быть, она еще въ Москвѣ?—Базиль, при помощи денщика, успѣлъ на послѣднемъ ночлегѣ въ Филяхъ достать изъ вьюка и надѣть уцѣлѣвшее чистое бѣлье, тонкую рубашку, съ кружевными манжетами, и бѣлый пикейный камзолъ, умылся и даже побрился. Его донской сѣрый конь былъ также въ порядкѣ и не заморенъ. Но какое-то необъяснимое, гнетущее чувство волновало и раздражало Базиля. Ему показалось, что его денщикъ, въѣхавшій въ Москву ранѣе съ его вьюками, былъ подъ хмелькомъ, и онъ сообразилъ, не обронилъ бы онъ вьюка съ походною шкатулкой, гдѣ хранились дорогіе ему сувениры.

Квашнинъ, товарищъ по ученію и ровесникъ Мити Усова, былъ въ лучшемъ настроеніи духа. Добрый, привлекательнаго нрава товарищъ и словоохотливый собесѣдникъ, Квашнинъ, такъ же какъ и Перовскій, былъ наканунѣ съ Милора-

довичемъ въ Филяхъ, гдѣ происходилъ важный военный совѣтъ и гдѣ у квартиры свѣтлѣйшаго онъ удостоился не только видѣть всѣхъ главныхъ генераловъ арміи и штаба главнокомандующаго, но и наслышаться любопытнѣйшихъ, военныхъ и политическихъ, сужденій и вѣстей, которыя впослѣдствіи стали достояніемъ исторіи.

— Битва гигантовъ! такъ, а не иначе, отнынѣ будутъ называть Бородино!—сказалъ Квашнинъ, краснѣя отъ собственнаго выспренняго выраженія и поглаживая короткими, пухлыми пальцами усталаго и взмыленнаго своего коня: — а я, Василій Алексѣевичъ, прибавлю: битва шести Михаиловъ...

— Это почему?—спросилъ разсѣянно Перовскій, вглядываясь сквозь шеренги драгуновъ, въ очертанія недалекой Поклонной горы и стараясь угадать то поле, гдѣ онъ, такъ еще недавно, скакалъ на прогулкѣ съ Авророй, ея сестрой и Митей Усовымъ.

— А какъ же-съ! Неужели не знаете? — воскликнулъ Квашнинъ въ нервномъ возбужденіи, радуясь, что могъ объявить все, что онъ слышалъ, такому дѣльному и понимающему товарищу: — Михаилъ Кутузовъ, Михаилъ Барклай, нашъ Милорадовичъ, Воронцовъ и Бороздинъ... Ней у французовъ — тоже Михаилъ.

— Да, это стоитъ апокалипсическаго Аполліона! — сухо отвѣтилъ Базиль.

— А слышали вы, Василій Алексѣевичъ, — спросилъ Квашнинъ, стороня лошадь отъ обломившейся фуры, которую усталые и потные солдаты, копошась, ладили на пути:— знаете ли, сколько выбыло у насъ изъ строя подъ Бородинымъ?

— Было море крови, одно скажу! — вспоминая картины Бородина, со вздохомъ отвѣтилъ Базиль:—мы съ вами зато уцѣлѣли, даже и не ранены...

— Ну, что-же, нашъ чередъ еще впереди... Да нѣтъ, вы послушайте, это что-то, клянусь, сказочное и небывалое! — продолжалъ оживленно Квашнинъ: — адъютантъ Ермолова, Тюнтинъ, передавалъ... очевидно, подсчитали въ главномъ штабѣ... бой длился всего десять часовъ, и въ это время, представьте, — продолжалъ, оставивъ поводъ, Квашнинъ: — у насъ выбыло изъ рядовъ, убитыми и ранеными, до пятидесяти тысячъ человѣкъ; у французовъ, говорятъ, столько же—

а на сто тысячъ всѣхъ, выбывшихъ изъ строя, кладутъ до сорока тысячъ убитыхъ... Вѣдь, это ужасъ! И ужъ не знаю, вѣрно ли, но увѣряютъ, что у насъ и у нихъ при этомъ убито и ранено болѣе пятидесяти генераловъ, выпущено приблизительно до шестидесяти тысячъ пушечныхъ снарядовъ, а ружейныхъ что-то болѣе полутора милліарда. Это,— какъ вы думаете? — по разсчету, выходитъ на каждую минуту боя болѣе двухъ тысячъ выстрѣловъ, причемъ, на каждые тридцать выстрѣловъ одинъ смертельный... А, каково? Не ужасъ ли? Гдѣ и въ какія времена столько проливали крови и убивали?

Базиль съ содроганіемъ слушалъ эти вычисленія. Ему вспомнилось, какъ онъ до войны боготворилъ Наполеона и какъ, изъ подражанія этому, по его тогдашнему мѣнію, мечтательно-нѣжному генію, онъ, Базиль, досталъ, уѣзжая изъ Москвы, у Кольчугина, Костровскій переводъ Оссіана и, въ видѣ отдыха, на первыхъ походныхъ бивакахъ читалъ поэмы послѣдняго. Перовскому вспомнилось и его прощаніе съ Митей Усовымъ, когда тотъ, уже сидя въ кибиткѣ, сквозь слезы глядѣлъ на родную усадьбу и, уѣзжая и издали крестя его и няню Арину, повторялъ: «Такъ, до осени... смотри же, оба женимся и заживемъ!»

Квашнинъ говорилъ еще что-то.

— Не забудьте, впрочемъ, въ утѣшеніе, мой дорогой, одного, — рѣзко обратился къ нему, какъ бы оправдываясь отъ какихъ-либо нападеній, Базиль:—мы потеряли, но зато чуть не вдвое потеряли и наши враги! Недаромъ Наполеонъ, какъ передавалъ вчера въ штабѣ одинъ плѣнный, такъ злился послѣ даннаго ему отпора, что мы не уступили ему ни пяди, грозно провели ночь на мѣстѣ сраженія и скрылись отъ него, хоть не нападая, но и не прося пощады. Онъ сказалъ Нею: la fortune est une franche courtisane... Да, посмотримъ еще, къ кому повернетъ свое личико эта, ласкавшая его донынѣ, распутница фортуна...

Квашнинъ смолкъ, стараясь дословно запомнить услышанное изреченіе Наполеона, чтобы сообщить его, при первомъ свиданіи, матери, которая, какъ онъ зналъ изъ ея писемъ, уже благополучно выѣхала изъ Москвы въ Ярославль.

— Въ штабѣ радуются, увѣряютъ,— продолжалъ раздражительно Базиль:—что французы, занявъ уступленную имъ безъ боя Москву, примутъ первыя, предложенныя имъ, условія

мира. Утверждаютъ, что они отпразднуютъ этотъ миръ шумно и торжественно и, удовлетворивъ свою спѣсь, безъ замедленія уйдутъ въ Польшу... Этого, надо думать, не случится; мы не можемъ, не должны заключать постыднаго мира!—договорилъ, подбирая поводья и догоняя Милорадовича, Базиль:—Москва—конецъ Наполеону, могила его счастья и славы. Я этому вѣрю, объ этомъ молюсь... Иначе не можетъ и быть!

Улицы, по которымъ сталъ двигаться русскій арріергардъ, были загромождены послѣдними уходившими обозами и экипажами. — «Идутъ, идутъ! Французы на Воробьевыхъ горахъ!» — кричали метавшіеся между подводами пѣшеходы. Изъ опустѣлыхъ переулковъ доносились дикіе крики пьяной черни, разбивавшей брошенныя лавки, съ красными и бакалейными товарами, и кабаки. Испуганные, не успѣвшіе уйти горожане прятались въ подвалы и погреба, либо, выходя изъ воротъ съ иконами въ рукахъ, кланялись, спрашивая встрѣчныхъ, наши ли побѣдили, или мы отступаемъ. Цѣлые ряды домовъ по бульварамъ и вдоль болотистой рѣчки Неглинной, у Кремля, стояли мрачно-безмолвные, съ заколоченными ставнями и дверьми.

Милорадовичъ, достигнувъ Устинскаго моста черезъ Яузу, сталъ пропускать мимо себя свои колонны. Къ нему подскакалъ съ донесеніемъ казачій офицеръ.

— Поручикъ Перовскій и прапорщикъ Квашнинъ!—крикнулъ Милорадовичъ.

Оба офицера подъѣхали къ нему.

— Вы—москвичи; знаете мѣстность?—спросилъ онъ.

— Знаемъ.

— Скачите... вы, Перовскій, къ Лефортовской, а вы, Квашнинъ, къ Бутырской заставамъ... Торопите запоздалыхъ... Сбился генералъ Сикорскій, отстали казаки... Перемиріе врядъ ли продлится... Непріятель обходитъ насъ, въ перерѣзъ изъ Сокольниковъ, на Лефортово. Если что нужно, дайте знать... Привалъ за Рогожскою заставой...

XVII.

Офицеры, съ вѣстовыми казаками, помчались за мостъ. Нѣкоторое время, Солянкою, они ѣхали вмѣстѣ. Квашнинъ, на своемъ приморенномъ рыжемъ, не отставалъ. — «Не судьба, — думалъ Базиль, — если бы въ Бутырки послали меня, а не его, я успѣлъ бы оттуда, по пути, завернуть съ Тверской къ Патріаршимъ прудамъ... Что, если, какъ извѣ-

щала Аврора, княгиня и въ самомъ дѣлѣ донынѣ осталась въ Москвѣ? Мало ли что могло случиться, — болѣзнь, особенно эти странныя, торжественныя увѣренія Растопчина... Подскакалъ бы къ воротамъ; можетъ-быть, увидѣлъ бы ее въ окнѣ или на балконѣ, хоть крикнулъ бы пару словъ, чтобы спасались. Теперь же... въ другой конецъ города... Развѣ помѣняться?»

— Итакъ, товарищъ, до свиданья! — сказалъ Квашнинъ, сдерживая коня:—мнѣ—налѣво, вамъ—направо, Покровкою и, далѣе, Гороховымъ полемъ... А мнѣ-то всѣ эти мѣста знакомыя... Тамъ невдали, куда ѣдете, мой дядя; у него заводъ въ Нѣмецкой слободѣ...

— Извините, — произнесъ въ сильномъ волненіи Перовскій:—минуты дороги... одно слово... У меня въ Москвѣ невѣста—въ Бронной, у Патріаршихъ прудовъ... Вамъ, хоть обратно, будетъ по пути—съ Дмитровки или съ Тверской... Тамъ не далеко... домъ съ бельведеромъ, зеленою крышей и львами на воротахъ.

— Приказывайте, — произнесъ, вспыхнувъ и поглядывая на своего вѣстового, Квашнинъ:—чей домъ?

Перовскій назвалъ фамилію княгини.

— Болѣе ничего,— сказалъ онъ, помолчавъ:—прошу объ одномъ только—предупредите; если же хозяйки уже выѣхали, тамъ дворникъ Карпъ или кто-нибудь, — узнайте, куда, и все ли благополучно?.. У васъ, кажется, вы говорили, матушка была тоже въ Москвѣ; не по пути ли мнѣ? былъ бы счастливъ...

— Помилуйте,—восторженно воскликнулъ Квашнинъ, пожимая съ сѣдла влажною, мягкою рукой руку Базиля: — да я готовъ, вашъ слуга... Матушка-жъ моя жила на Пятницкой, у Климента,— знаете, папы римскаго?—на углу Климентовскаго переулка, домъ съ красною крышей, и вверху хоть не бельведеръ, какъ у княгини, но тоже антресоли... Она уже оставила Москву, а не будь этого, мы съ вами сегодня же тамъ пили бы чай и наливку. А какая наливка!.. Ужъ была бы рада моя старушка... До свиданія!

— Счастливаго пути! Если ранѣе меня доберетесь до обоза, найдите моего денщика — не растерялъ бы онъ моихъ вещей.

Квашнину удалось, исполнивъ у Бутырской заставы приказаніе Милорадовича, завернуть въ Бронную, къ Патріар-

шимъ прудамъ. Онъ отыскалъ домъ княгини, узналъ, что всѣ благополучно, за два дня передъ тѣмъ, уѣхали, и узнавъ отъ дворника о запискѣ Авроры на имя Перовскаго, въ волненіи отъ невѣроятной, радостной находки, взялъ эту записку съ собой, для передачи ея Перовскому. Сѣвъ на отдохнувшаго коня, онъ весело поскакалъ къ Рогожской заставѣ, но на Тверской наткнулся на входившихъ уже въ городъ французовъ и попалъ въ плѣнъ, изъ котораго, впрочемъ, въ наступившую ночь счастливо бѣжалъ. Найдя въ обозѣ денщика Перовскаго, онъ узналъ, что вещи послѣдняго были цѣлы, но о судьбѣ самого Перовскаго никто ничего не зналъ.

Разставшись съ Кваппнинымъ, Базиль приказалъ вѣстовому не отставать и поскакалъ Покровкою къ Басманной. У Іоанна Предтечи его задержалъ двигавшійся съ Басманной казачій полкъ. Передавъ командиру полка приказаніе Милорадовича, Базиль никакъ не могъ проѣхать въ Гороховскую улицу. Оттуда шла пѣхота. Тѣснимый рядами молча и сумрачно двигавшихся солдатъ, онъ было своротилъ сквозь ихъ шеренги въ узкій и кривой переулокъ, но запутался здѣсь въ неогороженныхъ пустыряхъ, между огородами, и попалъ къ какой-то рощѣ, у рѣчки Чечёры. Издали была видна знакомая ему колокольня Никиты Мученика. Перовскій сообразилъ, что черезъ Чечёру и далѣе черезъ Яузу онъ могъ въ Лефортово удобно попасть только по Басманной, и направился туда. На Басманной встрѣтился какой-то отсталый обозъ, завязавшій ссору съ егерями Демидова, которые на дюжинѣ фуръ везли мебель и уводили лошадей, борзыхъ и гончихъ собакъ своего хозяина.

Къ Лефортовскому мосту черезъ Яузу Перовскій добрался уже въ пятомъ часу. Здѣсь оказалась новая преграда. Черезъ мостъ, навстрѣчу Базилю, тѣсня и сбивая другъ друга, непрерывно двигались ряды отставшей русской колонны. То были опять казаки и драгуны.

— Вы откуда?—окликнулъ Базиль солдатъ.

— Отъ Сокольниковъ...

— Кто вашъ дивизіонный?

— Генералъ-маіоръ Сикорскій.

— Гдѣ онъ?

Солдаты указали за мостъ, на виднѣвшійся невдали лѣсъ.

— Живѣе, ребята, поздно! — крикнулъ Базиль: — сборъ за Рогожскою заставой; поспѣшайте!

— Рады стараться,—отозвались голоса.

Тысячи стоптанныхъ сапоговъ гулко и бодро стучали по мостовымъ доскамъ. Мостъ опустѣлъ. Перовскій съ вѣстовымъ проѣхалъ за Яузу. Лѣсъ, который онъ видѣлъ съ того берега, оказался далѣе, чѣмъ онъ того ожидалъ. Изрытая, болотистая дорога шла непрерывными огородами; потомъ потянулось поле. Начало смеркаться.

Удивленный, что такъ скоро наступилъ вечеръ, Базиль, отирая потъ, пришпорилъ лошадь къ лѣсу, проѣхалъ еще съ версту и вправо, между деревьями и какимъ-то прудомъ или озеромъ, увидѣлъ въ колоннахъ большой военный отрядъ. Въ сумеркахъ онъ разглядѣлъ, что тутъ, кромѣ русскихъ, были и непріятели. Онъ замялся.

Подъѣхавъ еще ближе, Перовскій увидѣлъ генерала Сикорскаго и, къ своему удивленію, рядомъ съ нимъ начальника французскихъ аванпостовъ. То былъ, какъ онъ потомъ узналъ, генералъ Себастьяни. Базиль велѣлъ вѣстовому подождать себя у лѣса, а самъ, взявъ подъ козырекъ, направился къ Сикорскому и передалъ ему приказъ Милорадовича.

— Да что, батюшка, — съ неудовольствіемъ крикнулъ кругленькій и живой, съ быстрыми движеніями и точно испуганными, раскраснѣвшимися глазами, Сикорскій: — мы, видитъ Богъ, не медлили, во-время узнали о перемиріи и шли, какъ всѣ. Было сказано: черезъ Яузу, — на Яузѣ же не одинъ мостъ, а эти господа (онъ указалъ на сердито-молчавшаго Себастьяни) отрѣзали нашу крайнюю бригаду и вздумали ее не пропускать. Теперь вотъ съ нимъ кое-какъ, впрочемъ, объяснились: несговорчивый, собака, насилу его уломалъ. Такъ передайте его превосходительству; сами видите, безостановочно идемъ вслѣдъ за нимъ...

Раздалась французская команда. Задержанные непріятельскимъ авангардомъ, донской казачій и драгунскій полки прошли въ интервалы, между развернутымъ по полю французскимъ отрядомъ. Перовскій дождался ихъ прохода и поспѣшилъ къ лѣсной опушкѣ, у которой онъ оставилъ вѣстового; но послѣдняго тамъ уже не было. Базиль возвратился на дорогу и сталъ кликать казака; никто не отзывался. Въ темнотѣ только слышался топотъ подходившей къ мосту русской бригады. Базиль поскакалъ туда. Но французы, между

мостомъ и лѣсомъ, уже протянули свою сторожевую ночную цѣпь.

— Qui vive? (кто идетъ?)—раздался окликъ часового.

— Парламентеръ,—отвѣчалъ Перовскій.

Часовой не пропустилъ его. Подъѣхалъ офицеръ, разставлявшій пикеты, и пригласилъ Базиля къ генералу. Себастьяни, видѣвшій, какъ Перовскій, за нѣсколько минутъ, говорилъ съ своимъ дивизіоннымъ, велѣлъ-было пропустить его черезъ цѣпь. Но едва Перовскій отъѣхалъ за пикетъ, онъ послалъ вѣстового возвратить его.

— Здѣсь невдали неаполитанскій король,—сказалъ онъ:—вы говорите по-французски, образованы, — королю будетъ пріятно съ вами поговорить... Вашъ кордонъ за мостомъ, вблизи... еще успѣете... Прошу васъ на минуту повременить...

Перовскій нехотя послѣдовалъ за Себастьяни, окруженнымъ адъютантами. Они ѣхали шагомъ. Лѣсъ кончился, потянулось поле. Вдали виднѣлись огоньки. Переѣхавъ черезъ канаву, всѣ приблизились къ обширной избѣ, стоявшей за лѣсомъ, среди огородовъ. У двери толпились офицеры. Солдаты, съ горѣвшими факелами въ рукахъ, встрѣтили подъѣхавшаго генерала.

XVIII.

Себастьяни спустился съ сѣдла, велѣлъ принять лошадь Перовскаго и предложилъ ему подождать, пока онъ снесется съ Мюратомъ. Базиль вошелъ въ пустую и едва освѣщенную съ надворья избу. За окнами слышался говоръ, шумъ. Подъѣзжали и отъѣзжали верховые. Какой-то высокій, съ конскимъ хвостомъ на каскѣ, французъ, сунулся-было въ избу, торопливо ища на ея полкахъ и въ шкапу, очевидно, чего-либо съѣстного, и съ ругательствомъ удалился. Черезъ полчаса въ избу вошелъ Себастьяни.

— Неаполитанскій король занятъ,—сказалъ онъ:—ранѣе утра онъ не можетъ васъ принять. Переночуйте здѣсь...

— Не могу, — отвѣтилъ, теряя терпѣніе, Базиль:—меня ждутъ; я сюда привезъ приказанія высшаго начальства и обязанъ немедленно возвратиться съ отчетомъ... Не задерживайте меня...

— Понимаю васъ... Только ночью, въ такой темнотѣ и при неясности нашего обоюднаго положенія, врядъ ли вы безопасно попадете къ своимъ.

— Но развѣ я — плѣнный? — спросилъ, поборая досаду;

Базиль:—вы, генералъ, лучше другихъ можете рѣшить; вы видѣли, что я былъ присланъ къ начальнику прошедшей здѣсь бригады.

— Полноте, молодой человѣкъ, успокойтесь!—улыбнулся Себастьяни, садясь на скамью за столъ:—даю вамъ честное слово стараго служаки, что рано утромъ вы увидите короля Мюрата и, вслѣдъ за тѣмъ, васъ бережно проведутъ на ваши аванпосты. А теперь закусимъ и отдохнемъ; мы всѣ, не правда ли, наморились, надо въ томъ сознаться...

Вошедшій адъютантъ внесъ и развязалъ покрытый пылью кожаный чехолъ со съѣстнымъ и флягою вина. Не ѣвшему съ утра, Перовскому предложили бѣлаго хлѣба, ломоть сыру и стаканъ сотерна.

— Москва пуста, Москва оставлена жителями,—произнесъ, закусывая, Себастьяни:—знаете ли вы это?

— Иначе и быть не могло,—отвѣчалъ Базиль.

— Но нашъ императоръ завтра входитъ въ вашъ Кремль, поселяется во дворцѣ царей... этого вы не ждали?

— Наша армія не разбита, цѣла...

— О, если бы вашъ государь протянулъ намъ руку! Онъ и Наполеонъ стали бы владѣтелями міра. Мы доказали бы коварной Англіи, пошли бы на Индію... Впрочемъ, пора спать,— прибавилъ Себастьяни, видя, что Базиль не дотрогивается до ѣды и ему не отвѣчаетъ.

Перовскаго провели, черезъ сѣни, въ другую комнату, уже наполненную лежавшими въ повалку штабными и ординарцами. Онъ разостлалъ свою шинель и, подсунувъ подъ голову шляпу, не снимая шпаги, легъ въ углу. При свѣтѣ факеловъ, еще горѣвшихъ на дворѣ, онъ увидѣлъ въ избѣ, у окна, молодого французскаго офицера замѣчательной красоты. Черноволосый и блѣдный, съ подвязанною рукою и съ головой, обмотанною окровавленнымъ платкомъ, этотъ офицеръ сидѣлъ, согнувшись, на скамьѣ и разговаривалъ съ кѣмъ-то въ разбитое [illegible] Онъ не замѣтилъ, какъ въ потемкахъ вошелъ и легъ Базиль.

— Мнѣ, представьте, однажды удалось видѣть его въ красной, съ золотомъ, бархатной тогѣ консула! — говорилъ по-французски, но съ иностраннымъ акцентомъ, голосъ за окномъ: — какъ онъ былъ хорошъ! Здѣсь онъ, разумѣется, явится въ небываломъ ореолѣ, въ одѣяніи древнихъ царей.

— Но увидимъ ли мы свою родину?—возразилъ тихимъ,

упавшимъ голосомъ раненый офицеръ:— отецъ мнѣ пишетъ изъ Макона,—налоги страшно растутъ, все давятъ; у сестры отняли послѣднюю корову, а у сестры шестеро дѣтей...

— Великій человѣкъ,—продолжалъ голосъ за окномъ: — сказалъ недаромъ, что эта дикая страна увлечена рокомъ. Вспомните мое слово, онъ здѣсь освободитъ рабовъ, возродитъ Польшу, устроитъ герцогства смоленское, виленское и петербургское... Будутъ новые герцоги, вице-короли... Онъ раздастъ здѣшніе удѣлы генераламъ, а Польшу — своему брату Жерому.

— Охъ, но вы—не генералъ: ваши земляки храбры, не спорю, но армія Кутузова еще цѣла, а фортуна слѣпа,— отвѣтилъ раненый, припадая отъ боли плечомъ къ окну.

— Вы намекаете на случайности,— произнесъ голосъ за окномъ: — а забыли изреченіе новаго Цезаря: «le boulet, qui me tuera, n'est pas encore fondu» (бомба, которая меня убьетъ, еще не отлита). Великій человѣкъ долженъ жить и будетъ жить долго, воюя по-рыцарски, за угнетенныхъ... Вѣдь Рига уже взята, Макдональдъ, по слухамъ, въ Петербургѣ... Не вѣрите? Если же и этого будетъ мало, уже выпущено на милліоны фальшивыхъ ассигнацій, найдутъ и выдвинутъ новаго самозванца... народъ и безъ того толкуетъ, что живъ и покойный царь Павелъ...

Раненый болѣе не отвѣчалъ. Въ комнатѣ стихло. Факелы за окномъ погасли.—«Неужели все это правда?—думалъ въ темнотѣ Базиль: — неужели просвѣщенный народъ и этотъ геній, этотъ недавній мой кумиръ, пойдутъ на такія мѣры? Быть не можетъ! Это—выдумки, бредъ раздраженныхъ бородинскою неудачею мечтателей и хвастуновъ».

Перовскій долго не могъ заснуть. Ему пришла-было въ голову мысль—незамѣтно, впотьмахъ, выйти изъ избы, достигнуть лѣса и бѣжать; онъ даже всталъ и началъ пробираться черезъ спавшихъ въ избѣ; но, разслышавъ вблизи оклики часовыхъ, снова легъ на шинель и крѣпко заснулъ.

Загремѣлъ заревой барабанъ. Всѣ проснулись. Начинался разсвѣтъ тихаго и теплаго, чисто-лѣтняго дня. Себастьяни сдержалъ слово и, со своимъ адъютантомъ, послалъ Перовскаго къ Мюрату.

Итальянскій король провелъ ночь уже въ Москвѣ.

Перовскій и его проводникъ, верхомъ, направились въ

Замоскворѣчье, гдѣ, какъ имъ сказали, была квартира Мюрата. На Пятницкой, у церкви Климента, Базиль сталъ искать глазами и узналъ домъ съ зелеными ставнями и съ вышкой, матери Квашнина.

Возлѣ этого дома толпились оборванные французскіе солдаты, таща изъ воротъ мебель и разный хламъ. Въ раскрытыя окна виднѣлись потные и красные, въ каскахъ и разстегнутыхъ мундирахъ, другіе солдаты, расхаживавшіе по комнатамъ и горланившіе изъ оконъ тѣмъ, кто стоялъ на улицѣ.—«Неужели грабежъ?.. Бѣдный Квашнинъ!»—подумалъ съ изумленіемъ Базиль, видя, какъ приземистый и малосильный, съ кривыми ногами и орлинымъ носомъ, французскій пѣхотинецъ, отмахиваясь отъ товарищей, съ налитымъ кровью лицомъ, тащилъ увѣсистый узелъ женскаго платья и бѣлья, приговаривая: «Это для моей красавицы, это въ Парижъ!» («C'est à ma belle, c'est pour Paris!»).

Проѣхавъ далѣе, проводникъ Базиля узналъ отъ встрѣчнаго офицера, что штабъ-квартира Мюрата не въ Замоскворѣчьѣ, а у Новыхъ рядовъ, на Вшивой горкѣ. Перовскій и адъютантъ повернули назадъ и скоро подъѣхали къ обширному двору золотопромышленника и заводчика Баташова. У въѣзда въ ворота стояли конные часовые; въ глубинѣ двора, у параднаго подъѣзда, былъ расположенъ почетный караулъ. На крышѣ двухъ-яруснаго дома развѣвался королевскій, красный съ зеленымъ, штандартъ. Въ саду виднѣлись разбитыя палатки, ружья въ козлахъ и, у кольевъ, неразсѣдланныя лошади, бродившія по травѣ и еще не уничтоженнымъ цвѣтникамъ. На площадкѣ крыльца толпились генералы, чиновники и ординарцы. Всѣ чего-то какъ бы ждали. У нижней ступени, въ замаранномъ синемъ фракѣ, въ бѣломъ жабо и со шляпой въ рукахъ, стоялъ, кланяясь и чуть не плача, сѣдой толстякъ.

— Что онъ тамъ городитъ? (Quest-ce qu'il chaut, voyons?)—крикнулъ съ досадой, не понимая его, дежурный генералъ, къ которому толстякъ, размахивая руками, обращался съ какою-то просьбой?

— Вотъ русскій офицеръ,—поспѣшилъ указать генералу на Перовскаго подъѣхавшій адъютантъ Себастьяни: — онъ присланъ сюда къ его величеству.

— А, тѣмъ лучше!—обратился генералъ къ Перовскому:— не откажите объяснить, о чемъ проситъ этотъ старикъ?

Проситель оказался главнымъ баташовскимъ приказчикомъ и дворецкимъ.

— Что вамъ угодно? — спросилъ его Базиль, не слѣзая съ коня:—говорите, я имъ переведу.

— Батюшка ты нашъ, кормилецъ православный!—вскрикнулъ, крестясь, обрадованный толстякъ:—вы тоже, значитъ, плѣнный, какъ и мы?

— Нѣтъ, не плѣнный,—покраснѣвъ, рѣзко отвѣтилъ Базиль: — видите, я при шпагѣ, слѣдовательно, на свободѣ... Въ чемъ дѣло?

— Да что, сударь, я — здѣшній дворецкій, Максимъ Сковъ... Налетѣли эти, нечистый ихъ возьми, точно звѣри; тридцать однихъ генераловъ, съ ихнимъ этимъ королемъ, и у насъ стали съ вечера, — произнесъ дворецкій, утирая жирное лицо: — видимъ — сила, ничего не подѣлаешь! Ну, приготовили мы имъ сытный ужинъ; всѣ, какъ есть, пекарни и калачни обѣгали, — бѣлаго хлѣба нѣтъ, одинъ черный; самому королю всего чвёртку бѣлой сайки добыли у ребятъ. И озлились они на черный хлѣбъ, и пошло... Всякъ генералъ, какой ни-на-есть, требуетъ себѣ мягкой постели и особую опочивальню. А гдѣ ихъ взять?

Максимъ, съ суровымъ упрекомъ, поглядѣлъ на французовъ.

— Король изволилъ откушать въ гостиной и легъ въ господской спальнѣ, — продолжалъ онъ: — прочихъ мы уложили въ столовой, въ залѣ и въ угольной. И того мало: не хотятъ диванов и кушетокъ, подавай имъ барскія перины и подушки, а нашихъ холопскихъ не хотятъ, швыряютъ... Всю ночь напролетъ горѣли свѣчи въ люстрахъ и въ кенкетахъ... насъ же, сударь, вѣрите ли, какъ кошекъ за хвостъ, тягали туда и сюда... Убытокъ и разоръ! А нынче утромъ, доложу вашей чести, какъ этотъ генералитетъ и вся чиновная арава проснулись разомъ, — въ домѣ, въ музыкантскомъ флигелѣ, въ оранжереяхъ и въ людской, — одинъ требуетъ чаю, другой кричитъ—закуски, водки, бургонскаго, шампанскаго... такъ сбили съ ногъ, хоть въ воду!

Базиль перевелъ жалобы дворецкаго.

— Oui, du champagne! (именно, шампанскаго!)— весело улыбнувшись, подтвердилъ одинъ изъ штабныхъ: — но что же ему нужно?

— Бабъ тоже, ваше благородіе, сильно обижали на кухнѣ

и въ саду, — продолжалъ, еще болѣе укоризненно поглядывая на французовъ, дворецкій:—тѣ подняли крикъ. Сегодня же, смѣю доложить, — и вы имъ, сударь, это безпремѣнно переведите,— ихъ солдаты отняли у стряпухъ не токмо готовый, но даже недопеченный хлѣбъ... Гдѣ это видано? А какой-то ихъ офицеръ, фертикъ такой, чумазенькій, — о, я его узнаю!—пришелъ это, съ ихъ конюхами, прямо отбилъ замокъ у каретника, запрягъ въ господскую вѣнскую коляску нашихъ же сѣрыхъ рысаковъ и поѣхалъ въ ней, не спросясь... Еще и вовсе, пожалуй, стянетъ... Имъ, озорникамъ, что?... У иного всего добра—штопанный мундирчикъ, да рваныя панталошки, а съ меня баринъ спроситъ... скажетъ: такъ-то ты, Сковъ, глядѣлъ?..

Перовскій перевелъ и эти жалобы.

XIX.

Слушатели хохотали, но вдругъ засуетились и стихли. Всѣ бросились къ верхнимъ ступенямъ. На площадкѣ крыльца показался стройный, высокаго роста, съ римскимъ носомъ, привѣтливымъ лицомъ и веселыми, оживленными глазами, еще моложавый генералъ. Темнорусые волосы его на лбу были коротко острижены, а съ боковъ, изъ-подъ расшитой золотомъ треуголки, падали на его плечи длинными, волнистыми локонами. Онъ былъ въ зеленой, шелковой, короткой туникѣ, коричневаго цвѣта рейтузахъ, синихъ чулкахъ и въ желтыхъ польскихъ полусапожкахъ со шпорами. На его груди была толстая цѣпь изъ золотыхъ одноглавыхъ орловъ, изъ-подъ которой виднѣлась красная орденская лента; въ ушахъ—дамскія сережки, у пояса—кривая турецкая сабля, на шляпѣ—алый, съ зеленымъ, плюмажъ; сквозь разстегнутый воротникъ небрежно свѣшивались концы шейнаго кружевного платка.

То былъ неаполитанскій король Мюратъ. Дежурный генералъ доложилъ ему о прибывшемъ русскомъ офицерѣ. Привѣтливые, добрые глаза устремились на Перовскаго.

— Что скажете, капитанъ?—спросилъ король, съ вѣжливо приподнятою шляпой, молодцовато проходя къ подведенному вороному коню, подъ вышитымъ чепракомъ.

— Меня прислалъ генералъ Себастьяни. Вашему величеству было угодно видѣть меня.

— А, да!.. Но простите, мой милый,—произнесъ Мюратъ, натянувъ перчатки и ловко занося въ стремя ногу:— видите,

какая пора. Ѣду на смотръ: возвращусь, тогда выслушаю васъ съ охотой... Позаботьтесь о немъ и о конѣ,—милостиво кивнувъ Базилю, обратился король къ дежурному генералу.

Сопровождаемый нарядною толпой конной свиты, Мюратъ съ театральною щеголеватостью, короткимъ галопомъ выѣхалъ за ворота. Дежурный генералъ передалъ Перовскаго и его лошадь ординарцамъ. Тѣ провели Базиля въ угловатую комнату музыкантскаго флигеля, окнами въ садъ. Долго сюда никто не являлся.

Пройдя по комнатѣ, Базиль отворилъ дверь въ коридоръ,— у выхода въ сѣни виднѣлся часовой; онъ раскрылъ окно и выглянулъ въ садъ, — невдали, подъ липами, у полковой фуры, прохаживался, въ киверѣ и съ ружьемъ, другой часовой. Въ коридорѣ послышались, наконецъ, шаги. Торопливо вошелъ тотъ же дворецкій Максимъ. Слуга внесъ за нимъ на подносѣ закуску.

— Ахъ, дьяволы, прожоры!— сказалъ дворецкій, оглядываясь и бережно вынимая изъ фрачнаго кармана плетеную кубышку:—я, одначе, кое-что припряталъ... Откушайте, сударь, во здравіе... настоящій ямайскій ромъ.

Перовскій выпилъ и плотно закусилъ.

— Петя,—обратился дворецкій къ слугѣ:—тамъ, въ подвалѣ, ветчина и гусиные полотки; вотъ ключъ, не добрались еще, объѣдалы, будь имъ пусто... да свѣжее масло тоже тамъ, въ крыночкѣ, у двери... тащи тихонько сюда...

Слуга вышелъ. Максимъ, утираясь, сѣлъ бочкомъ на стулъ.

— Будетъ имъ, извергамъ, свѣтло жить и еще свѣтлѣе уходить!—сказалъ онъ, помолчавъ.

— Какъ такъ?—спросилъ Базиль.

— Не знаете, сударь? Гляньте въ окно... Москва горитъ...

— Гдѣ, гдѣ?

— Полохнуло сперва, должно, на Покровкѣ; а когда я шелъ къ вамъ, занялось и въ Замоскворѣчьѣ. Всѣ они высыпали изъ дома за ворота; смотрятъ, по ихнему галдятъ.

Базиль подошелъ къ окну. Деревья заслоняли видъ на берегъ рѣки; но надъ ихъ вершинами, къ сторонѣ Донского монастыря, поднимался зловѣщій столбъ густого, чернаго дыма.

— Много навредили изверги, много, слышно, загубили неповинныхъ душъ,—сказалъ дворецкій:—будетъ имъ за то здѣсь послѣдній, страшный судъ.

— Что же. полагаешь, жгутъ наши?

— А то, батюшка, какъ же? — удивленно взглянулъ на него Максимъ: — не спасли своего добра, лучше пропадай все! Вотъ хоть бы и я: вѣкъ хранилъ господское добро, а за ихъ грабительство, кажись вотъ такъ взялъ бы пукъ соломы, да и спалилъ ихъ тутъ, сонныхъ, со всѣми ихъ потрохами и съ ихъ злодѣемъ Бонапартомъ!

«Вотъ онъ, русскій-то народъ! — подумалъ Базиль, — они вѣрнѣе и проще насъ поняли просвѣщенныхъ нашихъ завоевателей».

Вбѣжалъ слуга.

— Дяденька, сундуки отбиваютъ!—сказалъ онъ:— я ужъ и не осмѣлился въ подвалъ.

— Кто отбиваетъ, гдѣ?—вскрикнулъ, вскакивая, Максимъ.

— Въ вашу опочивальню вошли солдаты. Забираютъ платье, посуду, образа... Вашу лисью шубу вынули, тетенькинъ новый шерстяной капотъ...

— Ну, будутъ же насъ помнить!—проговорилъ дворецкій.

Онъ, переваливаясь, безъ памяти бросился въ коридоръ и болѣе не возвращался. Изъ подвальнаго яруса дома послышались неистовые крики. Во дворъ изъ воротъ сада, съ фельдфебелемъ, быстро прошла кучка солдатъ. Грабежъ, очевидно, на время прекратили. Настала тишина. Прошло еще болѣе часа. Мучимый сомнѣніями и тревогой за свою участь, Базиль то лежалъ на кушеткѣ, то ходилъ, стараясь угадать, почему именно его задержали? Ему въ голову опять пришла мысль о побѣгѣ. Но какъ и куда бѣжать? Загремѣли шпоры. Послышались шаги.

Явился штабный чиновникъ. Онъ объявилъ, что неаполитанскій король, задержанный въ Кремлѣ императоромъ Наполеономъ, возвратился и теперь обѣдаетъ, а послѣ стола проситъ его къ себѣ. Перовскаго ввели въ пріемную верхней половины дома. Здѣсь онъ опять долго дожидался, слыша звонъ посуды въ столовой, хлопанье пробокъ шампанскаго и смѣшанные шумные голоса обѣдающихъ. Въ кабинетъ короля онъ попалъ уже при свѣчахъ. Мюратъ, съ пасмурнымъ лицомъ, сидѣлъ у стола, дописывая какую-то бумагу.

— Какой день, капитанъ!—произнесъ онъ:—я васъ долго оставлялъ безъ обѣщанной аудіенціи. Столько неожиданныхъ, непріятныхъ хлопотъ... Садись... Вы—русскій образованный человѣкъ... Намъ непонятно, изъ-за чего насъ такъ испугался здѣшній народъ. Объясните, почему про-

изошло это невѣроятное, поголовное бѣгство мирныхъ жителей изъ Москвы?

— Я затрудняюсь отвѣтить,—сказалъ Базиль: — мое положеніе... я въ непріятельскомъ станѣ...

— Говорите безъ стѣсненій, я слушаю васъ, — покровительственно-ласково продолжалъ Мюратъ, глядя въ лицо плѣннику усталыми, внимательными глазами: — намъ, признаюсь, это совершенно непонятно!

Перовскій вспомнилъ угрозы дворецкаго и пучокъ соломы.

— Москва болѣе двухсотъ лѣтъ не видѣла вторженія иноземцевъ, — отвѣтилъ онъ: — не знаю, какъ еще Россія встрѣтитъ вѣсть, что Москва сдана безъ сопротивленія и что непріятели въ Кремлѣ...

— Но развѣ мы—варвары, скиѳы?—снисходительно улыбаясь, произнесъ Мюратъ:—чѣмъ мы, скажите, грозили имуществу, жизни здѣшнихъ гражданъ? Намъ отдали Москву безъ боя. Подобно морякамъ, завидѣвшимъ землю, наши войска, при видѣ этого величественнаго, древняго города, восклицали: Москва — это миръ, конецъ долгаго, честнаго боя!.. Мы вчера согласились на предложенное перемиріе, дали спокойно пройти вашимъ отрядамъ и ихъ обозамъ черезъ городъ и... вдругъ...

— Наша армія, иначе, была готова драться въ каждомъ переулкѣ, въ каждомъ домѣ, — возразилъ Перовскій: — вы встрѣтили бы не сабли, а ножи.

— Такъ почему же за перемиріе такой пріемъ? Что это, скажите, наконецъ, за пожаръ? Вѣдь это — ловушка, поджогъ! — гнѣвно поднимаясь, произнесъ Мюратъ.

— Я задержанъ со вчерашняго вечера,—отвѣтилъ, опуская глаза, Перовскій:—пожары начались сегодня, безъ меня.

— Это — предательство! — продолжалъ, ходя по комнатѣ, Мюратъ:—удалена полиція, вывезены всѣ пожарныя трубы; очевидно, Растопчинъ далъ сигналъ оставленнымъ сообщникамъ къ общему сожженію Москвы. Но мы ему отплатимъ! Уже опубликованы его примѣты, назначенъ выкупъ за его голову. Живой или мертвый, онъ будетъ въ нашихъ рукахъ. Такъ нельзя относиться къ тѣмъ, кто съ вами былъ заодно въ Тильзитѣ и въ Эрфуртѣ.

— Ваше величество,—сказалъ Перовскій: — я — простой офицеръ; вопросы высшей политики мнѣ чужды. Меня зоветъ служебный долгъ... Если все, что вамъ было угодно

узнать, вы услышали, прошу васъ—прикажите скорѣе отпустить меня въ нашу армію. Я—офицеръ генерала Милорадовича, былъ имъ посланъ въ вашъ отрядъ.

— Какъ, но развѣ вы—не плѣнный?—удивился Мюратъ.

— Не плѣнный, — отвѣтилъ Перовскій: — генералъ Себастьяни задержалъ меня во время вчерашняго перемирія, говоря, чтобы я переночевалъ у него, что вашему величеству желательно видѣть меня. Его адъютантъ, проводившій меня сюда, вамъ это въ точности подтвердитъ.

Мюратъ задумался и позвонилъ. Послали за адъютантомъ. Оказалось, что онъ уже давно уѣхалъ къ своему отряду, въ Сокольники.

— Охотно вамъ вѣрю, — сказалъ, глядя на Перовскаго, Мюратъ: — даже припоминаю, что Себастьяни вчера вечеромъ, дѣйствительно, предлагалъ мнѣ, на походѣ сюда, выслушать русскаго офицера, то-есть, очевидно, васъ. И я, не задумываясь, отправилъ бы васъ обратно къ генералу Милорадовичу, но, въ настоящее время, это уже зависитъ не отъ меня, а отъ начальника главнаго штаба, генерала Бертье. Теперь поздно,—кончилъ, сухо кланяясь, Мюратъ:— въ Кремль, резиденцію императора, пожалуй, уже не пустятъ. Завтра утромъ я васъ охотно отправлю туда.

Перовскаго опять помѣстили въ музыкантскомъ флигелѣ. Проходя туда черезъ дворъ, онъ услышалъ впотьмахъ чей-то возгласъ:

— Но, моя красавица, ручаюсь, что синьора Прасковья будетъ уважаема вездѣ! (Mais, ma belle, je vous garantie, que signora Praskòvia sera respectée partout!).

— Отстань, пучеглазый! — отвѣтилъ на это женскій голосъ:—не уймешься, долбону полѣномъ, либо крикну караулъ.

XX.

Базиль, не раздѣваясь, улегся на кушеткѣ. Ни дворецкій, ни кто изъ слугъ, за толкотней и шумомъ, еще длившимися въ большомъ домѣ, не навѣщали его. Онъ всю ночь не спалъ. Утромъ къ нему явился тотъ же штабный чиновникъ, съ объявленіемъ, что ему велѣно отправить его, съ дежурнымъ офицеромъ, къ Бертье.

Выйдя во дворъ и видя, что назначенный ему въ провожатые офицеръ сидитъ верхомъ на конѣ, Перовскій освѣдомился о своей лошади. Пошли ее искать въ садъ, потомъ въ штабную и королевскую конюшни. Лошадь исчезла; въ

общей суетѣ кто-то ею завладѣлъ и на ней уѣхалъ. Базиль за своимъ провожатымъ долженъ былъ идти въ Кремль пѣшкомъ.

Улицами Солянкою и Варваркою, мимо Воспитательнаго дома и Зарядья, они приблизились къ Гостиному двору. То, что на пути увидѣлъ Базиль, поразило его и взволновало до глубины души.

Несмотря на близость къ главной квартирѣ неаполитанскаго короля, путники уже на Солянкѣ встрѣтили нѣсколько кучекъ безпорядочно шлявшихся, разстегнутыхъ и, повидимому, хмельныхъ солдатъ. Нѣкоторые изъ нихъ несли подъ мышками и на плечахъ узлы и ящики съ награбленными въ домахъ и въ лавкахъ вещами и товарами. Въ раскрытую дверь церкви Варвары Великомученицы Базиль увидѣлъ нѣсколько лошадей, стоявшихъ, подъ попонами, среди храма и въ алтарѣ. На церковныхъ дверяхъ углемъ, большими буквами, было написано: «Ecurie du général Guilleminot» («Конюшня генерала Гильемино»).

Погода измѣнилась. Небо покрылось мрачными облаками. Дулъ рѣзкій сѣверный вѣтеръ. На площади Варварскихъ воротъ горѣлъ костеръ изъ мебели, выброшенной изъ сосѣднихъ домовъ; пылали стулья, ободранные мягкіе диваны, позолоченныя рамы и лаковые столы. Искры отъ костра несло на ветхія кровли близъ-стоявшихъ домовъ. На это никто не обращалъ вниманія. Перовскій оглянулся къ Новымъ рядамъ. Тамъ поднимался густой столбъ дыма. Горѣла Вшивая горка, гдѣ находился только-что имъ оставленный Баташовскій домъ. — «Неужели дворецкій поджогъ? — подумалъ Базиль, приближаясь къ Гостиному двору: — чего добраго, старикъ рѣшительный!.. Вѣрю, жгутъ русскіе!»

Лавки Гостинаго двора были покрыты густыми клубами дыма. Изъ догоравшихъ рядовъ французскіе солдаты разнаго оружія, оборванные и грязные, таскали, роняя по дорогѣ и отнимая другъ у друга, ящики съ чаемъ, изюмомъ и орѣхами, кули съ яблоками, бочонки съ сахаромъ, медомъ и виномъ и связки ситцевъ, суконъ и холстовъ.

У Зарядья толпа пьяныхъ мародеровъ окружила двухъ русскихъ плѣнныхъ. Одинъ изъ нихъ, молодой, былъ въ модномъ штатскомъ голубомъ рединготѣ и въ сѣрой шляпѣ; другой, пожилой, худой и высокій, — въ чужомъ, очевидно, кафтанѣ и высокихъ сапогахъ. Грабители сняли уже съ мо-

лодого сапоги, носки, рединготъ и шляпу, и тотъ въ испугѣ, блѣдный, какъ мѣлъ, растерянно оглядываясь, стоялъ босикомъ на мостовой. Солдаты держали за руки второго, пожилого, и, со смѣхомъ, усаживали его на какой-то ящикъ, съ цѣлью снять сапоги и съ него. — «Боже мой! Жерàмбъ и его тогдашній компаньонъ! — съ удивленіемъ подумалъ, узнавая ихъ, Базиль:—какой пріемъ, и отъ кого же?—отъ побѣдителей-земляковъ!» — Жерàмбъ также узналъ Перовскаго и жалобно смотрѣлъ на него, полагая, что Базиль присланъ въ Москву парламентеромъ, и не рѣшаясь просить его о защитѣ.

— Какое безобразіе! — громко сказалъ Базиль, съ негодованіемъ указывая проводнику на эту сцену:—неужели вы ихъ не остановите? Вѣдь это—насиліе надъ мирными гражданами, дневной грабежъ... Притомъ, этотъ въ кафтанѣ,— я его знаю, — вашъ соотечественникъ, французъ.

— А... ба, французъ! Но онъ — здѣшній житель, не все ли равно?—отвѣтилъ, покачиваясь и отъѣзжая отъ солдатъ, проводникъ:—чего же вы хотите? Ну, ихъ допросятъ, — не виноваты, освободятъ; маленькія непріятности каждой войны, вотъ и все... Вы насъ, гостей, безжалостно обрекли на одиночество и скуку; не только ушли ваши граждане, но и гражданки... Это безчеловѣчно! Où sont vos charmantes barrières et vos demoiselles? (Гдѣ ваши очаровательныя барыни и дѣвицы?)

Базиль пристальнѣе взглянулъ на своего проводника: тотъ былъ пьянъ. Раздался грохотъ барабановъ. Вѣтеръ навстрѣчу путниковъ понесъ тучи пыли, изъ которой слышался топотъ и скрипъ большого обоза. Мимо церкви Василія Блаженнаго, черезъ Спасскія ворота, на подкрѣпленіе караула, въ Кремль входилъ, съ артиллеріей, полкъ конной гвардіи. Въ тылу полкового обоза, съ вещами начальства, везли нѣсколько новенькихъ, еще съ свѣжимъ, не потертымъ лакомъ, колясокъ, каретъ и бричекъ, очевидно, только-что взятыхъ изъ лавокъ расхищеннаго Каретнаго ряда. На ихъ козлахъ, въ ботфортахъ и мѣдныхъ каскахъ, сидѣли, правя лошадьми, загорѣлые и запыленные кавалерійскіе солдаты. Изъ небольшой крытой коляски, посмѣиваясь и грызя орѣхи, выглядывали веселыя, разряженныя плѣнницы изъ подмосковнаго захолустья.

— Что же вы жалуетесь?—сказалъ Базиль проводнику:— вотъ вамъ, новымъ римлянамъ, и плѣнныя сабинянки.

— Не намъ, другимъ!—съ жалобнымъ вздохомъ отвѣтилъ проводникъ, указывая на Кремль: — нашъ императоръ провелъ ночь во дворцѣ царей. Ахъ, какое величіе! Онъ ночью вышелъ на балконъ, любуясь, при лунѣ, этимъ сказочнымъ царствомъ изъ тысячи одной ночи. Утромъ онъ сообщилъ королю, что хочетъ заказать трагедію—«Петръ Великій». Не правда ли, какое совпаденіе? Тотъ шелъ учиться за васъ на Западъ, этотъ самъ идетъ съ Запада васъ учить и обновлять.

Задержанные обозомъ, Перовскій и его провожатый спустились, мимо церкви Василія Блаженнаго, къ покрытой дымомъ рѣкѣ и проникли въ Кремль черезъ открытыя Тайницкія ворота. Здѣсь, подъ горой, Базиль увидѣлъ рядъ наскоро устроенныхъ, пылавшихъ горновъ и печей. Особые пристава бросали въ печные котлы взятые изъ кремлевскихъ соборовъ и окрестныхъ церквей золотые и серебряные сосуды, оклады съ образовъ, кресты и другія вещи, перетапливая ихъ въ слитки.

— Насъ зовутъ варварами,—сказалъ Перовскій, указавъ проводнику на это святотатство: — неужели васъ не возмущаетъ и это?

— Послушайте, — отвѣтилъ проводникъ: — совѣтую вамъ воздерживаться отъ критики... она здѣсь неумѣстна! Мы думаемъ о войнѣ, а не о церковныхъ дѣлахъ. У насъ, — усмѣхнулся онъ:—знаете ли вы это, на полмилліона войска, которое сюда пришло и теперь господствуетъ здѣсь, нѣтъ ни одного духовника... Лучше вы мнѣ, мой милый,—прибавилъ проводникъ:—отвѣтьте, наконецъ: où sont vos barrinnes et vos demoiselles?.. Да, вотъ, мы и у дворца; пожалуйте къ лѣстницѣ.

При входѣ во дворецъ, у Краснаго крыльца, стояли, въ бѣлыхъ шинеляхъ, два конныхъ часовыхъ. Почетный караулъ изъ гренадеровъ старой гвардіи располагался на паперти и внутри Архангельскаго собора, за угломъ котораго, на кострѣ, кипѣлъ котелъ, очевидно, съ солдатскою пищей. Проводникъ, узнавъ въ начальникѣ караула своего знакомаго, сдалъ ему на время Перовскаго, а самъ поднялся во дворецъ. Караульный офицеръ приказалъ плѣнному войти въ соборъ. Здѣсь товарищи офицера осыпали его вопросами, посмѣиваясь на его увѣреніе, будто онъ—не плѣнный.

Въ Архангельскомъ соборѣ Базиль увидѣлъ полное рас-

хищеніе церковнаго имущества. Кромѣ кордегардіи, здѣсь, повидимому, былъ также устроенъ складъ для караульной провизіи, мясная лавка и даже кухня. Снятыя со стѣнъ и положенныя на ящики съ мукой и крупой, иконы служили стульями и скамьями для солдатъ. Въ алтарѣ, у горняго мѣста, виднѣлась койка, прилаженная на снятыхъ боковыхъ дверяхъ; на ея постели, прикрытой лиловою шелковою ризой, сидѣла, чистя морковь, краснощекая и нарядная полковая стряпуха. Престолъ и жертвенникъ были уставлены кухонною посудой. На паникадилѣ висѣли битые гуси и дичина. На гвоздяхъ, вколоченныхъ въ опустошенный иконостасъ, были развѣшаны и прикрыты пеленой съ престола куски свѣжей говядины.

Солдаты, у перевернутыхъ ведеръ и кадокъ, куря трубки, играли въ карты. Воздухъ отъ табачнаго дыма и отъ испареній мяса и овощей былъ удушливый. Офицеры, окруживъ Перовскаго, спрашивали: «Гдѣ теперь русская армія? Гдѣ Кутузовъ, Растопчинъ?» — Жаловались, что ушли всѣ русскіе мастеровые, что нѣтъ ни портного, ни сапожника — починить оборванное платье и обувь; что и за деньги, пожалуй, вскорѣ ничего не достанешь, а тутъ и самый городъ съ утра загорѣлся со всѣхъ сторонъ. Базиль отвѣчалъ, что болѣе, чѣмъ они, терпятъ, по ихъ винѣ, и русскіе. Проводникъ возвратился. Базиль пошелъ за нимъ во дворецъ къ Бертье.

XXI.

Пройдя нѣсколько пріемныхъ, наполненныхъ императорскою свитою и пажами, въ расшитыхъ золотомъ мундирахъ и напудренныхъ парикахъ, Перовскій очутился въ какой-то проходной комнатѣ, окнами на Москву-рѣку. Изъ маленькой, полуотворенной двери направо слышались голоса. Большая, раззолоченная дверь налѣво была затворена. Близъ нея стояли два рослые мамелюка, въ бѣлыхъ тюрбанахъ съ перьями и въ красныхъ курткахъ, и маленькій, напудренный, въ мундирномъ фракѣ и чулкахъ, дежурный пажъ съ записною книгою подъ мышкой. Мамелюки и пажъ не спускали глазъ съ запертой двери. Базиль сталъ поодаль. Онъ взглянулъ въ окно. Его сердце замерло. Картина пылающаго Замоскворѣчья развернулась теперь передъ нимъ во всемъ ужасѣ. То было море сплошного огня и дыма, надъ которымъ лишь кое-гдѣ виднѣлись нетронутыя пожаромъ

кровли домовъ и церквей. Недалекій пожаръ освѣщалъ краснымъ блескомъ комнату и всѣхъ стоявшихъ въ ней. Базиль, глядя за рѣку, вспомнилъ вечернее зарево надъ Москвой, во время его прогулки съ Авророй на Поклонную гору.

«Точно напророчилось тогда!»—подумалъ онъ со вздохомъ.

— Что, любуетесь плодами вашихъ рукъ? — раздался за спиной Базиля рѣзкій голосъ.

Онъ оглянулся. Передъ нимъ, какъ онъ понялъ, въ красноватомъ отблескѣ стоялъ, окруженный адъютантами, начальникъ главнаго штаба французской арміи, Бертье. Это былъ худощавый, узкогрудый, съ острымъ носомъ и, очевидно, больной простудою, старикъ. Его горло было обмотано шарфомъ, щеки покрывалъ лихорадочный румянецъ, глаза сердито сверкали.

— Дѣло возмутительное, во всѣхъ отношеніяхъ преступное, — сказалъ Бертье: — вы... ваши за это поплатятся.

— Не понимаю, генералъ, вашихъ словъ, — вѣжливо отвѣчалъ Базиль: — почему вы укоряете русскихъ?

— О, слышите ли, еще оправданія?!.. Ваши соотечественники, какъ разбойники, жгутъ оставленный прекрасный городъ, жгутъ насъ, — раздражительно кашляя, продолжалъ Бертье:—и васъ не обвинять? Мы узна́емъ; назначена комиссія о поджигательствѣ; откроется все...

— Извините, генералъ,—произнесъ Базиль:—я задержанъ во время перемирія. Пожары начались послѣ того, и я не могу объяснить ихъ причины. Настоятельно прошу васъ дать приказъ объ отпускѣ меня къ нашей арміи. Въ этомъ мнѣ поручился словомъ, честнымъ словомъ французскаго офицера, генералъ Себастьяни.

— Не могу, не въ моей волѣ, — кашляя и сердясь на свой кашель, отвѣтилъ Бертье:—мнѣ доложено, вы провели двое сутокъ среди французскихъ войскъ; васъ содержали не съ достаточною осторожностью, и вы могли видѣть и узнать то, чего вамъ не слѣдовало видѣть и узнать.

— Меня во время перемирія задержали французскіе аванпосты не по моей винѣ. Спросите тѣхъ, кто это сдѣлалъ. Повторяю вамъ, генералъ, и позволяю себѣ протестовать: это—насиліе, я — не плѣнный... Неужели чувство справедливости и чести, слово генерала вашей арміи?..

— Честь, справедливость! — съ презрительной злобой вскрикнулъ Бертье, указывая въ окно:—чѣмъ русскіе иску-

пятъ этотъ вандализмъ? Все, что могу для васъ сдѣлать— это передать вашу просьбу императору. Подождите... Онъ занятъ,—можетъ-быть, лично выслушаетъ васъ, хотя теперь трудно поручиться...

Въ это мгновеніе внизу у дворца послышался шумъ. Раздались крики: «Огонь, горимъ!» Всѣ торопливо бросились къ окнамъ, но отсюда не было видно, гдѣ загорѣлось. Поднялась суета. Бертье разослалъ ординарцевъ узнать причину тревоги, а самъ, отдавая приказанія, направился къ двери, охраняемой мамелюками.

Дверь неожиданно отворилась. На ея порогѣ показался невысокій, плотный человѣкъ, лѣтъ сорока двухъ-трехъ. Онъ, какъ и прочіе, также освѣтился отблескомъ пожара. Всѣ, кто былъ въ пріемной, передъ нимъ съ поклономъ разступились и замерли, какъ истуканы. Онъ никому не поклонился и ни на кого не смотрѣлъ.

Верхняя часть туловища этого человѣка, какъ показалось Перовскому, была длиннѣе его ногъ, затянутыхъ въ бѣлую лосину и обутыхъ въ высокіе, съ кисточками, сапоги. Рѣдкіе, каштановые, припомаженные и тщательно причесанные волосы короткими космами спускались на его сѣро-голубые глаза и недовольное, блѣдное, съ желтымъ оттѣнкомъ, полное лицо. Короткій подбородокъ этого толстяка переходилъ въ круглый кадыкъ, плотно охваченный бѣлымъ шейнымъ платкомъ. Ни на камзолѣ, ни на сѣро-песочномъ длинномъ сюртукѣ, распахнутомъ на груди, не было никакихъ отличій. Въ одной его рукѣ была бумага, въ другой—золотая табакерка. Страдая около недѣли, какъ и Бертье, простудой, онъ, въ облегченіе непріятнаго насморка, изрѣдка окуналъ въ табакерку покраснѣвшій носъ и чихалъ.

Перовскій сразу узналъ Наполеона. Кровь бросилась ему въ голову. Въ его глазахъ потемнѣло.

«Такъ вотъ онъ, герой Маренго и пирамидъ! — думалъ онъ, подъ наитіемъ далекихъ, опять всплывшихъ впечатлѣній, разглядывая Наполеона:—и дѣйствительно ли это онъ, мой былой, всесильный кумиръ, мое божество? Онъ тогда скакалъ къ редуту Раевскаго. Боже мой, теперь я въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него... И неужели же есть что-либо общее въ этомъ геніѣ со всѣми тѣми, кто его окружаетъ и кто его именемъ дѣлаетъ здѣсь и вездѣ столько злого и дур-

ного? Нѣтъ, его ниспослало Провидѣніе, онъ выслушаетъ меня, въ мигъ пойметъ и освободитъ»...

Перовскій сдѣлалъ шагъ въ направленіи къ Наполеону. Двѣ сильныя, костлявыя руки схватили его за локти.

— Коснитесь только его, я васъ убью! (Si vous osez y toucher, je vous tue!)—злобно прошепталъ сзади его голосъ мамелюка, сильно ухватившаго его за руки, за спиной прочей свиты.

Раздались рѣзкія, громкія слова.

«То говоритъ онъ!—съ восторженнымъ трепетомъ помыслилъ Базиль:—я, наконецъ, слышу рѣчь великаго человѣка»...

— Русскіе насъ жгутъ, это доказано! Вы это передадите герцогу Экмюльскому!—произнесъ скороговоркою Наполеонъ, небрежно подавая пакетъ Бертье:—утверждаю! Разстрѣливать десятками, сотнями!.. Но что здѣсь опять за тревога?—спросилъ онъ, осматриваясь, и при этомъ, какъ показалось Перовскому, взглянулъ и на него.

Базиль восторженно замеръ.

— Я послалъ узнать,— склонившись, говорилъ въ это время Бертье:—сегодня поймали и привели новыхъ поджигателей, они, какъ и прочіе, арестованы. Предсѣдатель комиссіи, генералъ Лоэръ, надо надѣяться, раскроетъ все... Да вотъ и посланный...

Наполеонъ, потянувъ носомъ изъ табакерки, устремилъ недовольный, слезящійся взглядъ на вошедшаго ординарца.

— Никакой, ваше величество, опасности! — согнувшись передъ императоромъ, произнесъ посланный:—загорѣлись отъ налетѣвшей искры дрова; но ихъ разбросали и погасили. Все вокругъ, попрежнему, благополучно.

— Смотрителю дворца сказать, что онъ... дуракъ!—произнесъ Наполеонъ:—все благополучно... какое счастье! (quelle chance!..) Скоро, благодаря этимъ ротозѣямъ, насъ подожгутъ и здѣсь. Удвоить, утроить премію за голову Растопчина, а поджигателей—разстрѣливать безъ жалости, безъ суда!..

Сказавъ это, Наполеонъ грубо обернулъ спину къ Бертье и ушелъ, хлопнувъ дверью. Базиль при этомъ еще болѣе замѣтилъ некрасивую несоразмѣрность его длинной таліи и короткихъ ногъ и крайне былъ изумленъ холоднымъ и злымъ выраженіемъ его глазъ и насупленнаго, желтаго лица. Особенно же Базиля поразило то, что, сердясь и выругавъ дворцоваго смотрителя, Наполеонъ вдругъ, какъ бы противъ воли,

заторопясь, началъ выговаривать слова съ итальянскимъ акцентомъ и явственно, вмѣсто слова «chance», произнесъ «sance».

Плотная спина Наполеона, въ мѣшковатомъ сюртукѣ сѣропесочнаго цвѣта, давно исчезла за дверью, передъ которою безмолвными истуканами продолжали стоять мамелюки и остальная свита, а Перовскій все еще не могъ придти въ себя отъ того, что̀ видѣлъ и слышалъ; онъ неожиданно какъ бы упалъ съ какой-то недосягаемой высоты.

«Выкупъ за голову Растопчина! Разстрѣливать сотнями!— мыслилъ Базиль:—но чѣмъ же здѣсь виноватъ вѣрный слуга своего государя? Такъ вотъ онъ каковъ, этотъ коронованный корсиканскій солдатъ, прошедшій сюда, черезъ полсвѣта, съ огнемъ и мечомъ! И онъ былъ моимъ идеаломъ, кумиромъ? О, какъ была права Аврора!.. Скорѣе къ родному отряду... Боже, если бъ вырваться! Мы найдемъ средства съ нимъ разсчитаться и ему отплатить».

— Слѣдуйте за мною!—раздался голосъ ординарца Бертье.

Пріемная на половину опустѣла. Оставшіеся изъ свиты сурово и враждебно смотрѣли на русскаго плѣннаго.

— Куда?—спросилъ Перовскій.

— Вамъ велѣно подождать внѣ дворца, пока о васъ доложатъ императору,—отвѣтилъ ординарецъ.

Базиль вышелъ на площадку параднаго дворцоваго крыльца. Внизу, у ступеней, стоялъ подъ стражей приведенный полицейскій приставъ. Караульный офицеръ дѣлалъ ему допросъ.

— Зачѣмъ вы остались въ Москвѣ?—спросилъ онъ арестанта:—почему не ушли съ прочими полицейскими чинами? Кто и по чьему приказанію поджигаетъ Москву?

Блѣдный, дрожавшій отъ страха, приставъ, не понимая ни слова по-французски, растерянно глядѣлъ на допросчика, молча переступая съ ноги на ногу.

— Наконецъ-то мы, кажется, поймали главу поджигателей! — радостно обратился офицеръ къ ординарцу маршала: — онъ, очевидно, знаетъ все и здѣсь остался, чтобы руководить другими.

Перовскій не стерпѣлъ и вмѣшался въ этотъ разговоръ. Спросивъ арестанта, онъ передалъ офицеру, что приставъ неповиненъ въ томъ, въ чемъ его винятъ, что онъ не выѣхалъ изъ Москвы лишь потому, что, отправляя казенныя тяжести, самъ долго не могъ достать подводы для себя и

для своей больной жены, и былъ застигнутъ ночнымъ дозоромъ у заставы.

— Посмотримъ. Это разберетъ комиссія!—строго сказалъ офицеръ:—запереть его въ подвалѣ, гдѣ и прочіе.

XXII.

Солдаты, схвативъ пристава за руки, повели его къ спуску въ подвалъ. Они скрылись подъ площадкой крыльца.

— Могу васъ увѣрить,—произнесъ Перовскій офицеру:—чины полиціи здѣсь ни въ чемъ не виновны; этотъ же, притомъ, семейный человѣкъ...

— Не наше дѣло!—отвѣтилъ офицеръ:—мы исполнители велѣній свыше.

— Но что же ожидаетъ заключенныхъ въ этомъ подвалѣ?—спросилъ Базиль.

— Простая исторія,— отвѣтилъ офицеръ, собираясь уходить: — ихъ повѣсятъ, а можетъ быть, смилуются и разстрѣляютъ.

Ординарецъ остановилъ офицера и сказалъ ему вполголоса нѣсколько словъ. Тотъ, оглянувшись на Перовскаго, указалъ на ближнюю церковь Спаса на Бору. Ординарецъ предложилъ Базилю слѣдовать за собой. Они, миновавъ дворецъ, подошли къ дверямъ указаннаго храма. Съ церковнаго крыльца опять стали видны зарево и дымъ пылавшаго Замоскворѣчья.

— Зачѣмъ мы сюда пришли?—спросилъ Базиль.

Проводникъ молча отодвинулъ засовъ и отворилъ дверь.

— Васъ не позволено оставлять на свободѣ!—произнесъ онъ, предлагая Перовскому войти въ церковь: — подождите здѣсь; императоръ, вѣроятно, вскорѣ васъ потребуетъ... Онъ теперь завтракаетъ.

— Но зачѣмъ я императору?

— Онъ, можетъ-быть, черезъ васъ найдетъ нужнымъ что-либо сообщить вашему начальству... Мы застали здѣсь тысячи вашихъ раненыхъ... Докторовъ такъ мало, притомъ, эти пожары... Впрочемъ, я излагаю мое личное мнѣніе... До свиданія!

Желѣзная дверь, медленно повернувшись, затворилась. Звякнулъ надвинутый тяжелый засовъ. Перовскій, оставшись одинъ, упалъ въ отчаяніи на полъ. Теперь ему стало ясно: его рѣшили не выпускать. Послѣднія надежды улетѣли. Оставалось утѣшаться хоть тѣмъ, что его не заперли въ подвалъ съ подозрѣваемыми въ поджогѣ. Но что ждало его самого?

Прошелъ часъ, другой, къ плѣнному никто не являлся. О немъ, очевидно, забыли. Пережитыя тревоги истомили его невыразимо. Не ѣвъ и не пивъ со вчерашняго утра, онъ почувствовалъ приступы голода и жажды. Но это длилось не долго. Мучительныя опасенія за свободу, за жизнь овладѣли его мыслями.

«Что, если въ этой суетѣ и впрямь обо мнѣ забыли? — думалъ онъ, — пьяный ординарецъ Мюрата, безъ сомнѣнія, уѣхалъ, какъ и адъютантъ Себастьяни, а караульнаго офицера могутъ смѣнить. Кто вспомнитъ о томъ, что здѣсь, въ этой церкви, запертъ русскій офицеръ? И долго ли мнѣ суждено здѣсь томиться? Могутъ пройти цѣлые дни!» Предположенія, одно мрачнѣе другого, терзали Базиля. Безпомощно приткнувшись головой къ ступенямъ амвона, онъ лежалъ неподвижно. Сильная усталость и нравственныя мученія привели его въ безпамятство. Онъ очнулся уже вечеромъ.

Зловѣщее зарево пожара свѣтило въ окна старинной церкви. Лики святыхъ, лишенные окладовъ, казалось, съ безмолвнымъ состраданіемъ смотрѣли на заключеннаго. Церковь была ограблена, остатки утвари въ безпорядкѣ разбросаны въ разныхъ мѣстахъ. Сквозныя тѣни оконныхъ рѣшетокъ падали на полъ и на освѣщенныя отблескомъ пожара стѣны, обращая церковь въ подобіе огромной желѣзной клѣтки, подъ которою какъ бы пылалъ костеръ.

«Боже и за что такая пытка? — думалъ Перовскій, — за что гибнутъ мои молодыя силы, надежды на счастье?»

Мысли объ иной, недавней жизни проносились въ его головѣ. Онъ мучительно вспоминалъ о своемъ сватовствѣ, представлялъ себѣ Аврору, прощаніе съ нею и съ Тропининымъ.

«Живъ ли Митя? — спрашивалъ онъ себя: — и гдѣ, наконецъ, сама Аврора? Успѣла ли она уѣхать съ бабкой? Что, если не успѣла? Можетъ-быть, онѣ и попытались, какъ тотъ несчастный, опоздавшій приставъ, и даже выѣхали, но и ихъ, какъ и его, могли захватить на дорогѣ. Что съ ними теперь?»

Базиль представлялъ себѣ плѣнъ Авроры, ужасъ безпомощной старухи-княгини, издѣвательства солдатъ надъ его невѣстой. Дрожь охватывала его и терзала. Мучимый голодомъ и жаждой, онъ искалъ на жертвенникѣ и на полу остатковъ просвиръ, подбиралъ и съ жадностью ѣлъ ихъ крошки.

Наступила новая мучительная, долгая ночь. Перовскій за-

крывалъ глаза, стараясь забыться сномъ, и не могъ заснуть. Усилившійся вѣтеръ и оклики часовыхъ поминутно будили его. Онъ въ бреду поднимался, вскакивалъ, прислушивался и опять падалъ на холодный полъ. Никто не подходилъ къ церковной двери. На зарѣ, едва забѣлѣло въ окна, Перовскій услышалъ сперва неясный, потомъ явственный шумъ. У церкви бѣгали; опять и еще громче раздавались крики: «на помощь, воды!» Очевидно, опять вблизи гдѣ-либо загорѣлось. Не горитъ ли сама церковь?

Базиль бросился къ оконной рѣшеткѣ. Окно выходило къ дворцовымъ конюшнямъ. Откуда-то клубился дымъ и сыпались искры. Изъ дворцовыхъ воротъ, подъ падавшими искрами, испуганные рейткнехты наскоро выводили лошадей, запрягали нѣсколько выдвинутыхъ экипажей и грузили походныя фуры. Пробѣжалъ, оглядываясь куда-то вверхъ и путаясь въ висѣвшій у пояса палашъ, пѣшій жандармъ. Сновали адъютанты и пажи. Невдали былъ слышенъ барабанъ. Изъ-за угла явился и выстроился передъ церковью отрядъ конной гвардіи. Войско заслонило дворцовую площадь. Сквозь шумъ вѣтра послышался стукъ отъѣзжавшихъ экипажей.

Впослѣдствіи Базиль узналъ, что загорѣлась крыша сосѣдняго арсенала. Пожаръ былъ потушенъ саперами. Разбуженный новою тревогой, Наполеонъ пришелъ въ окончательное бѣшенство. Онъ толкнулъ ногой въ лицо мамелюка, подававшаго ему лосиные штиблеты, позвалъ Бертье и съ ругательствами объявилъ ему, что покидаетъ Кремль. Черезъ полчаса онъ переѣхалъ въ подмосковный Петровскій дворецъ.

Отрядъ гвардіи ушелъ вслѣдъ за императоромъ. Площадь опустѣла. Сильный вѣтеръ гудѣлъ на крышахъ, крутя по мостовой столбы пыли и клочки выброшенныхъ изъ сената и дворцовыхъ зданій бумагъ. Изъ нависшей темной тучи изрѣдка прорывались капли дождя. Перовскій глядѣлъ и прислушивался. Никто къ нему не шелъ.

— «Боже, — проговорилъ онъ, въ безсильномъ отчаяніи ухватясь за рѣшетку окна: — хоть бы смерть! Разомъ, скорѣе бы умереть, чѣмъ такъ медленно терзаться!»

За церковью послышались сперва отдаленные, потомъ близкіе шаги и голоса. Перовскій кинулся къ двери и замеръ въ ожиданіи: къ нему, или идутъ мимо? Шаги явственно раздались у входа въ церковь. Послышался звукъ отодви-

гаемаго засова. Кто-то неумѣлою рукой долго нажималъ скобу замка. Дверь отворилась. На крыльцѣ стояла кучка гренадеровъ, съ рослымъ фельдфебелемъ. Внизу крыльца двое солдатъ держали на палкѣ котелокъ съ дымившеюся похлебкой.

— Ба, да ужъ эта квартира занята! — весело сказалъ фельдфебель, съ изумленіемъ разглядѣвъ въ церкви плѣннаго: — а мы думали здѣсь позавтракать и уснуть... Капитанъ, — обратился онъ къ кому-то, проходившему внизу, за церковью:—здѣсь запертъ русскій, что̀ съ нимъ дѣлать?

Поравнявшійся съ крыльцомъ, высокій и худой, съ свѣтлыми, вьющимися волосами, капитанъ мелькомъ взглянулъ на плѣннаго и отвернулся. Онъ, очевидно, также не спалъ, и ему было не до того. Его глаза были красны и слипались.

— Ему здѣсь съ нами, полагаю, нельзя, — продолжалъ фельдфебель:—куда прикажете?

— Туда же, въ подвалъ,—отходя далѣе, небрежно проговорилъ капитанъ.

Перовскій обмеръ. Онъ опрометью бросился къ двери, силой растолкалъ солдатъ и выбѣжалъ на крыльцо.

— Съ кѣмъ вы приказываете меня запереть, съ кѣмъ?— въ ужасѣ крикнулъ онъ, подступая къ капитану:—это безбожно! Я знаю, въ чемъ обвиняютъ этихъ заключенныхъ и что̀ ихъ ждетъ.

Озадаченный капитанъ остановился.

— Меня задержали подъ городомъ, во время перемирія,— продолжалъ кричать Базиль:—въ суетѣ забыли обо мнѣ. Я не плѣнный; вы видите, мнѣ оставлено оружіе,—прибавилъ онъ, указывая на свою шпагу:—а вы...

— Простите великодушно,—отвѣтилъ капитанъ, какъ бы очнувшись отъ безобразнаго, тяжелаго сна:—я ошибся...

— Но эта ошибка мнѣ стоила бы жизни.

— О, это было бы большимъ несчастіемъ! — произнесъ капитанъ, съ чувствомъ пожимая руку Перовскаго:—я сейчасъ пойду и узнаю, куда велятъ васъ помѣстить.

Черезъ полчаса капитанъ возвратился.

— Васъ велѣно отвести къ герцогу Экмюльскому,— сказалъ онъ: — вы дойдете туда благополучно, и вамъ будетъ оказано всякое вниманіе. Вотъ вашъ охранитель.

Онъ указалъ на приведеннаго имъ коннаго жандарма.

«Этого еще не доставало!—подумалъ Перовскій,—четвертый арестъ—и куда же?—къ свирѣпому маршалу Даву».

XXIII.

Квартира грознаго герцога Экмюльскаго, маршала Даву, была на Дѣвичьемъ полѣ, у монастыря, въ домѣ фабриканта купца Милюкова. Идя за жандармомъ по обгорѣлымъ и во многихъ мѣстахъ еще сильно пылавшимъ улицамъ, Перовскій не узналъ Москвы. Они шли Волхонкой и Пречистенкой.

Грабежъ продолжался въ безобразныхъ размѣрахъ. Солдаты сквозь дымъ и пламя тащили на себѣ ящики съ винами и разною бакалеей, церковную утварь и тюки съ красными товарами. У воротъ и входовъ немногихъ еще не загорѣвшихся домовъ, толпились испачканные пепломъ и сажей, голодные и оборванные, чины разныхъ оружій, вырывая другъ у друга награбленныя вещи. На площадяхъ въ то же время, вслѣдствіе наступившаго сильнаго холода, горѣли костры изъ выломанныхъ оконныхъ рамъ, дверей и разнаго хлама. Здѣсь толпился всякій сбродъ. У церкви Троицы, въ Зубовѣ, жандармъ-проводникъ, встрѣтивъ знакомаго артиллериста-солдата, остановился, спрашивая его о дальнѣйшемъ пути къ квартирѣ Даву.

Внутри церкви, служившей помѣщеніемъ для командира расположенной здѣсь батареи, виднѣлась красивая гнѣдая лошадь, прикрытая священническою ризой. Она ѣла изъ жестяной церковной купели овесъ, умными глазами бодро посматривая на крыльцо. Отвѣтивъ на вопросъ жандарма, солдатъ-артиллеристъ потрепалъ лошадь по спинѣ и, добродушно чмокая губами, сказалъ:

— Каковъ конь! Не правда ли, не животное—человѣкъ? Смѣтливъ, даже хитеръ, все понимаетъ. И хорошо ему тутъ, тепло: овса вдоволь... Онъ взятъ у одного графа. Въ Парижѣ дадутъ за него тысячи.

На Зубовской площади, невдали отъ сгорѣвшаго каменнаго дома, на которомъ еще виднѣлась уцѣлѣвшая отъ огня, давно знакомая Перовскому вывѣска: «Гремиславъ, портной изъ Парижа», — у обугленной каменной колокольни, стояла толпа полковыхъ маркитантовъ и поваровъ. Внутри этой колокольни была устроена бойня скота, и усатый, рослый гренадеръ, въ лиловой камилавкѣ и въ дьяконскомъ стихарѣ, окровавленными руками весело раздавалъ по очереди куски нарубленнаго свѣжаго мяса. Вдругъ толпа бросилась въ сосѣдній переулокъ, откуда выѣзжали двѣ захваченныя

подъ городомъ телѣги. На телѣгахъ, подъ конвоемъ солдатъ, сидѣли плачущія молодыя женщины, въ крестьянскихъ одеждахъ, окутанныя платками. Всѣ съ жаднымъ любопытствомъ смотрѣли на необыкновенную добычу.

— Что это? откуда?—спросилъ, улыбаясь, гренадеръ конвойнаго фельдфебеля.

— Переодѣтыя балетчицы. Ихъ поймали въ лѣсу. Вотъ и готовый театръ.

Распознавая направленіе сплошь выжженныхъ улицъ по торчавшимъ печамъ, трубамъ и церквамъ, плѣнникъ и его проводникъ около полудня дошли, наконецъ, до Дѣвичьяго поля.

Каменный одноярусный домъ фабриканта Милюкова былъ уже нѣсколько дней занятъ подъ штабъ-квартиру маршала Даву. Этотъ домъ стоялъ у берега Москвы-рѣки, вправо отъ Дѣвичьяго монастыря. Упираясь въ большой, еще покрытый листьями, садъ, онъ занималъ лѣвую сторону обширнаго двора, застроеннаго рабочимъ корпусомъ, жилыми флигелями и сараями Милюковской ситцевой фабрики. Хозяинъ фабрики бѣжалъ, съ рабочими и мастерами, за день до вступленія французовъ въ Москву. У воротъ фабрики стоялъ караулъ. На площади былъ раскинутъ лагерь, помѣщались пороховые ящики, нѣсколько пушекъ и лошадей у коновязей, а среди двора—служившая маршалу въ дорогѣ большая темнозеленая четырехмѣстная карета.

Перовскаго ввели въ пріемную каменнаго дома, гдѣ толпились ординарцы и штабные маршала. Дежурный адъютантъ прошелъ въ кабинетъ Даву. Выйдя оттуда, онъ взялъ у Перовскаго шпагу и предложилъ ему войти къ маршалу.

Кабинетъ Даву былъ окнами на главную аллею сада, въ концѣ которой виднѣлся заливъ Москвы-рѣки. Среднее окно, у котораго стоялъ рабочій столъ маршала, было растворено. Свѣжій воздухъ свободно проникалъ изъ сада въ комнату, осыпая бумаги на столѣ листьями, изрѣдка падавшими сюда съ пожелтѣлыхъ липъ и кленовъ, росшихъ у окна.

При входѣ плѣнника, Даву, спиной къ двери, продолжалъ молча писать у окна. Онъ не обернулся и въ то время, когда Базиль, пройдя нѣсколько шаговъ отъ порога, остановился среди комнаты.

«Неужели это именно тотъ грозный и самый жестокій изъ всѣхъ маршаловъ Бонапарта?»—подумалъ Перовскій, разглядывая сгорбленную, въ полиняломъ синемъ мундирѣ, спину

и совершенно лысую, глянцевитую голову сидѣвшаго передъ нимъ, тощаго и на видъ хилаго старика. Перо у окна продолжало скрипѣть. Даву молчалъ. Прошло еще нѣсколько мгновеній.

— Кто здѣсь? — раздался отъ окна странный, нѣсколько глуховатый голосъ.

Перовскому показалось, будто бы кто-то, совершенно посторонній, заглянулъ въ эту минуту изъ сада въ окно и, подъ шелестъ деревьевъ, сдѣлалъ этотъ вопросъ. Перовскій молчалъ. Раздалось недовольное ворчаніе.

— Кто вы? — повторилъ болѣе грубо тотъ же голосъ: — васъ спрашиваютъ, что же вы, какъ чурбанъ, молчите?

— Русскій офицеръ,—отвѣтилъ Базиль.

— Парламентеръ?

— Нѣтъ.

— Такъ плѣнный?

— Нѣтъ.

Даву обернулся къ вошедшему.

— Кто же вы, наконецъ? — спросилъ онъ, уже совсѣмъ сердито глядя на Перовскаго.

Базиль спокойно и съ достоинствомъ разсказалъ все по порядку, какъ онъ, во время перемирія былъ посланъ генераломъ Милорадовичемъ на аванпосты и какъ и при какихъ обстоятельствахъ его задержали сперва Себастьяни и Мюратъ, потомъ Бертье и, вопреки данному слову и обычаямъ войны, донынѣ ему не возвращаютъ свободы.

— Перемиріе; — проворчалъ Даву:—да что вы тутъ толкуете мнѣ? Какое же это перемиріе, если здѣсь, въ уступленной намъ Москвѣ, по насъ предательски стрѣляли? Вы—плѣнникъ, слышите ли, плѣнникъ, и останетесь здѣсь до тѣхъ поръ... ну, пока намъ это будетъ нужно!

— Извините!—произнесъ Перовскій:—я не отвѣтчикъ за другихъ; здѣсь роковая ошибка.

— Пойте это другимъ! (A d'autres, à d'autres!) — перебилъ его Даву:—меня не проведете!

— Свобода мнѣ обѣщана честнымъ словомъ французскаго генерала...

Даву поднялся съ креселъ.

— Молчать!—запальчиво крикнулъ онъ, сжимая кулаки:— дни ваши сочтены; да я васъ, наконецъ, знаю, узналъ...

Маршалъ, какъ бы внезапно о чемъ-то вспомнивъ, замол-

чалъ. Перовскій съ мучительнымъ ожиданіемъ вглядывался въ его тонкія, блѣдныя губы, огромный лысый лобъ и подозрительно слѣдившіе за нимъ изъ-подъ насупленныхъ бровей, маленькіе и злые глаза.

— Да, я васъ знаю!—повторилъ Даву, съ усиліемъ высвобождая морщинистыя щеки изъ высокаго и узкаго воротника и садясь опять къ столу: — теперь не уйдете... Ваше имя?

Перовскій назвалъ себя. Маршалъ нагнулся къ лежавшему передъ нимъ списку и внесъ въ него сказанное ему имя.

— Простите, генералъ, — сказалъ, стараясь быть покойнымъ, Базиль: — вы совершенно ошибаетесь: я имѣю честь видѣть васъ впервые въ жизни.

Глаза Даву шевельнулись и опять скрылись подъ насупленными бровями.

— Не проведете, не обманете!—объявилъ онъ:—вы были взяты въ плѣнъ подъ Смоленскомъ, освобождены въ этомъ городѣ на честное слово и, все разузнавъ у насъ, бѣжали...

— Клянусь вамъ,—отвѣтилъ Перовскій:—я впервые задержанъ при входѣ вашей арміи въ Москву... Снеситесь съ генералами Милорадовичемъ и Себастьяни.

Даву вскочилъ. Его лицо было искажено гнѣвомъ.

— Бездѣльникъ, лжецъ! — бѣшено крикнулъ онъ, тряся кулаками:—такому негодяю, чортъ бы васъ побралъ,—говорю это прямо,—исходъ одинъ—повязка на глаза и полдюжины пуль!

Маршалъ позвонилъ.

— Вы позовите фельдфебеля и солдатъ!—обратился онъ къ вошедшему ординарцу, откладывая на столѣ какую-то бумагу.

Ординарецъ не уходилъ.

— Но это будетъ вопіющее къ небу насиліе! — проговорилъ Перовскій, видя съ содроганіемъ, какъ рѣшительно и твердо герцогъ Экмюльскій отдавалъ о немъ роковой и, повидимому, безповоротный приказъ:—вы, простите, оскорбляете безоружнаго плѣннаго и къ этому присоединяете убійство, безъ слѣдствія, безъ суда... Вѣдь это, герцогъ, насиліе...

— А, вамъ желается суда? — произнесъ Даву: — берегитесь, судъ будетъ коротокъ. Васъ отлично помнитъ мой старшій адъютантъ, бравшій васъ въ плѣнъ... О, вы его не собьете!

— Позовите вашего адъютанта, пусть онъ меня уличитъ! — сказалъ Перовскій, съ ужасомъ думая въ то же время: «А что, если низкій клевретъ этого палача все перезабылъ и спуталъ въ пережитой ими сумятицѣ и вдругъ, признавъ меня за того бѣглеца, скажетъ: да, это онъ! И какъ на него сѣтовать? Ему такъ можетъ показаться»...

Глаза маршала странно улыбнулись, брови разгладились.

— Такъ вы хотите очной ставки? — спросилъ онъ, стараясь говорить ласковѣе: — извольте, я вамъ ее дамъ... Но помните заранѣе, если мои слова подтвердятся, пощады не будетъ... Позвать Оливье!—сказалъ онъ ординарцу.

XXIV.

Ординарецъ вышелъ. Даву сталъ разбирать и перекладывать лежавшія передъ нимъ бумаги. Базиль, замирая отъ волненія, едва стоялъ на ногахъ.—«Броситься на него сзади, удушить тощаго старика и выскочить въ окно... — вдругъ подумалъ онъ, — здѣсь положительно можно... садомъ добѣжать до рѣки, кинуться вплавь и уйти на противоположный берегъ, въ огородъ и пустыри. Пока найдутъ адъютанта, явятся сюда, все увидятъ и начнутъ погоню, — все можно успѣть». — Руки Перовскаго судорожно сжимались; ознобъ охватывалъ его съ головы до пятъ, зубы постукивали отъ нервной дрожи.

— Вамъ сколько лѣтъ?—спросилъ, не оглядываясь, Даву. Перовскій вздрогнулъ.

— Двадцатый годъ,—отвѣчалъ онъ.

— Молоды... Москву знаете?

— Здѣсь учился въ университетѣ.

Даву обернулся и указалъ Перовскому на стѣнѣ, возлѣ стола, карту Москвы и ея окрестностей.

— Вотъ эти мѣста подожжены русскими, — сказалъ онъ, тыкая сухимъ, крючковатымъ пальцемъ по картѣ:—горятъ сотни, тысячи домовъ... Вы, вѣроятно, также явились сюда поджигать?

Перовскій молчалъ.

— Зачѣмъ вы насъ поджигаете?

— Ваши солдаты, по неосторожности и хмельные, сами жгутъ.

— Вздоръ, клевета! А почему русскіе крестьяне, несмотря на щедрую плату, не подвозятъ припасовъ? — спросилъ Даву:—столько вокругъ селъ—и не является ни одинъ.

— Боятся насилій.

— Вздоръ. Какія насилія у цивилизованной арміи? Говорятъ вамъ, мы щедро платимъ. Это все выдумки людей, подобныхъ вамъ. Гдѣ Кутузовъ? Почему онъ такъ предательски, безъ полиціи и пожарныхъ инструментовъ, оставилъ такой обширный городъ? Гдѣ онъ?

— Я задержанъ вторыя сутки и дальнѣйшихъ распоряженій нашего главнокомандующаго не знаю.

— Вы отъявленный лжецъ, — сказалъ, выпрямляясь въ креслѣ, Даву: — вѣроломный партизанъ, дезертиръ!.. О, вы увидите, какъ мы наказываемъ людей, которые къ измѣнѣ присоединяютъ еще наглую, безстыдную ложь.

Даву опять позвонилъ. Вошелъ ординарецъ.

— Что же Оливье?

— За нимъ пошли.

Даву подумалъ: «что съ нимъ возиться! надоѣли!»—и противъ имени Перовскаго, занесеннаго имъ въ списокъ, написалъ резолюцію.

— Вотъ, — сказалъ онъ, подавая ординарцу со стола пачку бумагъ:—это въ главный штабъ, а этого господина, съ этимъ спискомъ, отведите къ Моллина.

«Моллина, Моллина! — повторялъ въ умѣ Перовскій, идя за ординарцемъ и не понимая, въ чемъ дѣло: — вѣроятно, предсѣдатель какого-нибудь трибунала». — Его привели на площадь, гдѣ былъ расположенъ лагерь пѣхоты, и сдали у крайней палатки толстому, съ короткою шеей и краснымъ лицомъ, сѣдому офицеру.—«Вотъ онъ, Моллина»,—подумалъ Перовскій, глядя въ подслѣповатые и сердитые глаза Моллина. Офицеръ, выслушавъ то, что ему сказалъ герцогскій ординарецъ, кивкомъ головы отпустилъ послѣдняго и, едва взглянувъ въ поданный ему списокъ, сдалъ арестанта караулу, стоявшему невдали отъ палатки. На караулѣ зашевелились. Отъ него отдѣлилось нѣсколько солдатъ съ унтеръ-офицеромъ.—«Слѣдуйте за мною... Вы понимаете ли меня?»—гнѣвно крикнулъ унтеръ-офицеръ, толкнувъ растерявшагося, едва владѣвшаго собой Перовскаго. Три человѣка спокойно и безучастно пошли впереди его, три—назади. Унтеръ-офицеръ шелъ сбоку. Всѣ спокойно поглядывали на Перовскаго, но онъ начиналъ, наконецъ, понимать, въ чемъ дѣло.

Арестанта повели къ огородамъ, бывшимъ у берега Москвы-рѣки, въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ лагеря. Здѣсь, на

просторной, сыроватой площадкѣ между опустѣлыхъ грядъ капусты и бураковъ, виднѣлся столбъ и невдали отъ него нѣсколько свѣже-засыпанныхъ ямъ. — «Могилы разстрѣлянныхъ!—пробѣжало въ умѣ Базиля:—да неужели же эти изверги... неужели конецъ?» — Онъ безсознательно шагалъ за солдатами, увязая въ рыхлой, сырой землѣ. Его мучило безобразіе и безсиліе своего положенія. Онъ видѣлъ надъ собою свѣтлое осеннее небо, кругомъ — пустынные, тихіе огороды, за ними колокольню Дѣвичьяго монастыря, галокъ съ веселымъ карканьемъ перелетавшихъ съ этой колокольни въ монастырскій садъ, и мучительно сознавалъ, что ни онъ, ни окружавшіе его исполнители чужихъ велѣній ничего не могли сдѣлать для его спасенія. Ему вспомнилось Бородино, возгласъ доктора Миртова о свиданіи съ нимъ, черезъ двадцать лѣтъ, въ клубѣ. Голова его кружилась. Тысячи мыслей неслись въ умѣ Перовскаго, съ поражающею, мучительною быстротой.

Назади послышался крикъ. Шедшіе оглянулись. Отъ лагеря кто-то бѣжалъ, маша руками.

— Что еще? — проворчалъ, остановясь, унтеръ-офицеръ.

Прибѣжавшій, въ курткѣ и въ шапочкѣ конскрипта, молодой солдатъ что-то наскоро объяснилъ ему.

— Отсрочка! — сказалъ унтеръ-офицеръ, обращаясь къ Перовскому: — съ нашимъ герцогомъ это бываетъ; видно, завтракомъ забыли предварительно угостить... До свиданія.

Арестанта опять повели къ маршалу.

Даву показался Перовскому еще мрачнѣе и грознѣе.

— Удивляетесь?.. Я пріостановилъ раздѣлку съ вами, — сказалъ Даву, увидѣвъ Перовскаго:—требую отъ васъ окончательно чистосердечнаго и полнаго раскаянія; указаніемъ на своихъ сообщниковъ вы облегчите наши затрудненія и тѣмъ спасете себя.

— Мнѣ каяться не въ чемъ.

— А если васъ уличатъ?

— Я уже просилъ вашу свѣтлость о слѣдствіи и судѣ, — отвѣтилъ Перовскій.

Даву снова порывисто позвонилъ.

— Гдѣ же, наконецъ, Оливье?—спросилъ онъ вошедшаго ординарца:—дождусь ли я его?

— Онъ здѣсь, только-что возвратился отъ герцога Виченцскаго.

— Позвать его!

Дверь сзади Перовскаго затворилась и снова отворилась.

— А, подойдите сюда поближе! — сказалъ кому-то маршалъ: — станьте вотъ здѣсь и уличите этого господина.

Перовскій увидѣлъ смуглаго, востроносаго человѣка, съ чернымъ хохолкомъ, франтовски-причесаннымъ на лбу, въ узкомъ поношенномъ мундирѣ и въ совершенно истоптанныхъ суконныхъ ботинкахъ. Его маленькое, обвѣтренное лицо выражало безмѣрную почтительность къ грозному начальству. Черные глаза смотрѣли внимательно и строго.— «Пропалъ!»—подумалъ, взглянувъ на него, Базиль.

— Ну, Оливье,—обратился Даву къ адъютанту:—приглядитесь получше къ этому человѣку и скажите мнѣ, — вы, какъ никто, должны хорошо все помнить,—не этотъ ли именно господинъ былъ нами взятъ въ плѣнъ подъ Смоленскомъ?— Подумайте хорошенько... Что скажете? Не онъ ли провелъ тамъ у насъ въ городѣ, на свободѣ, цѣлыя сутки и ночью, все разузнавъ и несмотря на данное слово, измѣнически бѣжалъ? Вы должны это въ точности помнить. Ваша память— записная книжка... Ихъ, какъ помните, бѣжало двое: одного мы вскорѣ поймали и тогда же на пути разстрѣляли, а другой скрылся... Не этотъ ли дезертиръ теперь стоитъ передъ вами?

«О, приговоръ мой подписанъ! — въ ужасѣ, замирая, подумалъ Базиль:—этотъ раболѣпный офицеришка непремѣнно поддакнетъ своему начальнику. Иначе не можетъ и быть! Боже, хоть бы мое лицо исказилось судорогой, покрылось язвами проказы, если во мнѣ дѣйствительно есть хоть малѣйшее роковое сходство съ тѣмъ бѣглецомъ».

— Ну, глядите же, Оливье, внимательно, — подсказалъ Даву адъютанту:—я васъ слушаю.

Адъютантъ, переминаясь остатками ботинокъ, едва державшихся на его ногахъ, неслышно подошелъ ближе къ плѣннику и пристально взглянулъ на него.

— Да, помню,—негромко отвѣтилъ онъ:—обстоятельство, о которомъ вы говорите, ваша свѣтлость, дѣйствительно было...

— Вы, Оливье, глупецъ или выпили лишнее! — не стерпѣвъ, раздражительно крикнулъ Даву:—васъ спрашиваютъ не о томъ, былъ ли такой случай, или его не было; это я знаю лучше васъ. Отвѣчайте, приказываю вамъ, на другой вопросъ: этотъ ли именно господинъ бѣжалъ у насъ изъ плѣна въ ту ночь, когда мы заняли Смоленскъ? Поняли?

Перовскій видѣлъ, какъ за секунду угодливые и, повидимому, совершенно покойные глаза адъютанта вдругъ померкли, точно куда-то пропали. Адъютантъ тронулъ себя за хохолокъ, прижалъ руку къ груди и вполголоса, побѣлѣвшими губами, произнесъ что-то, казалось, полное неожиданности и ужаса. Базиль въ точности не слышалъ всѣхъ его словъ, хотя они ударами колокола звонко отдавались въ его ушахъ. Онъ явственно только сознавалъ, какъ, въ наступившей затѣмъ странной тишинѣ, вдругъ жалостно и громко забилось его сердце, и онъ помертвѣлъ. Отъ него что-то уходило, что-то съ нимъ навѣки прощалось, и ему болѣзненно, отъ души, было чего-то жаль. И то, о чёмъ онъ такъ жалѣлъ, была его молодая жизнь, которую у него брали съ такимъ суровымъ, безжалостнымъ хладнокровіемъ.—«Гдѣ же истина, гдѣ божеская справедливость?»—думалъ Перовскій.

— Я васъ не слышу, ближе!—крикнулъ Даву адъютанту:—говорите громче и толковѣе.

— Этотъ господинъ, ваша свѣтлость...—произнесъ Оливье:—я хорошо и отчетливо все помню...

Перовскій, держась за спинку близъ находившагося стула, едва стоялъ на ногахъ, усиливаясь слушать и понять, что именно произносили блѣдныя и, какъ ему казалось, беззвучныя губы адъютанта.

СОЖЖЕННАЯ МОСКВА.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

БѢГСТВО ФРАНЦУЗОВЪ.

«И пріиде на тя пагуба, и не увѣси».
Исаія.

XXV.

Черезъ два дня послѣ проводовъ женіной бабки и Авроры, Илья Борисовичъ Тропининъ, надѣвъ плащъ и шляпу, отправился въ сенатъ, гдѣ, по слухамъ, была получена какая-то бумага изъ Петербурга. Онъ хотѣлъ провѣдать, послѣдовало ли, наконецъ, разрѣшеніе сенатскимъ, а равно и театральнымъ чиновникамъ, также оставить Москву. Въ то утро онъ узналъ отъ бывшаго астраханскаго губернатора, Повалишина, что ихъ общій знакомый, старикъ-купецъ милліонеръ Иванъ Семеновичъ Живдвъ, убѣдившись въ приближеніи французовъ, заперъ въ Гостиномъ дворѣ свой складъ и, перекрестясь, сказалъ приказчику: «Ѣду; чуть они покажутся, слышишь, чтобъ ничего имъ не досталось: зажигай лавку, домъ и все!»—Едва Илья въѣхалъ въ Кремль и вошелъ въ сенатъ, началось вступленіе французовъ въ Москву, былъ ими произведенъ извѣстный выстрѣлъ картечью въ Боровицкія ворота, и французы заняли Кремль.

Тропининъ бросился-было обратно въ Спасскія ворота. Онъ полагалъ спуститься къ Москорѣцкому мосту и уйти съ толпою, бѣжавшею по Замоскворѣчью. — «Скорѣе, скорѣе!»—торопилъ онъ извозчика. У Лобнаго мѣста его окру-

жила и остановила куча французскихъ солдатъ, съ криками, уже грабившая Гостиный дворъ. Посадивъ на тротуаръ этого длиннаго, близорукаго и смѣшного, въ синемъ плащѣ, человѣка, французы со смѣхомъ, прежде всего, стащили съ его ногъ сапоги. Потомъ, весело заглядывая ему въ лицо и какъ бы спрашивая: «что? удивленъ?» — они сняли съ него плащъ и шляпу. Огромнаго роста, въ рыжихъ бакенахъ и веснушкахъ, унтеръ-офицеръ, скаля бѣлые, смѣющіеся зубы, спокойно отстегнулъ съ камзола Ильи золотую цѣпочку съ часами и принялся-было за обручальное кольцо на его пальцѣ. Обезпамятѣвшій Илья очнулся. Онъ бѣшено, съ силой, оттолкнулъ грабителя и, задыхаясь, съ пѣной у рта, крикнулъ нѣсколько отборныхъ французскихъ ругательствъ.

— Каково! онъ говоритъ какъ истый французъ! (Tiens, il parle comme un vrai français)—удивился унтеръ-офицеръ.

Илью окружили и ввели подъ аркады Гостинаго двора, такъ какъ въ близкомъ сосѣдствѣ уже прорывалось пламя пожара надъ москательными лавками. Плѣннику предлагали множество вопросовъ о томъ, гдѣ въ Москвѣ лучшіе магазины и погреба, какъ пройти къ лавкамъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, къ складамъ винъ и къ лучшимъ модным трактирамъ. Пользуясь суетой, Илья въ одномъ изъ темныхъ проходовъ Гостинаго двора бросился въ сторону, выбѣжалъ къ Варваркѣ и скрылся въ подвалѣ какого-то опустѣлаго барскаго дома. Когда стемнѣло, онъ переулками добрался до Тверского бульвара, отыскалъ знакомый ему обширный садъ богача Асташевскаго и здѣсь, въ дальней бесѣдкѣ, рѣшился провести ночь. Забившись въ уголъ бесѣдки, онъ отъ усталости почти мгновенно заснулъ. Его разбудилъ дымъ, валившій клубами, черезъ деревья, изъ загорѣвшагося смежнаго двора. Не сознавая, гдѣ онъ и что съ нимъ, и задыхаясь отъ дыма, онъ выскочилъ изъ бесѣдки.

Начиналось утро. Съ разныхъ сторонъ поднимались густыя облака дыма, съ пламенемъ. Горѣли сосѣдняя Тверская, Никитская и Арбатъ. Тропининъ, вспомнивъ приказъ Живова о сожженіи его собственнаго дома, оглядывался въ ужасѣ. Его томилъ голодъ; разутыя ноги окоченѣли отъ холода. Куда идти? Домъ женіной бабки, гдѣ, какъ онъ зналъ, вчера на рукахъ дворника осталось еще немало невывезенныхъ припасовъ, былъ невдали. Илья, перелѣзая съ за-

бора черезъ заборъ, вышелъ на Бронную. Отсюда было уже близко до Патріаршихъ прудовъ. Полуодѣтый, безъ шляпы и въ однихъ испачканныхъ носкахъ, онъ, быстро шагая длинными ногами, скоро миновалъ смежные, теперь почти пустые переулки. Уже виднѣлась знакомая крыша дома княгини Шелешпанской.

Тропинину преградила дорогу кучка солдатъ, несшая какіе-то кули и тюки. Сопровождавшій ихъ офицеръ остановилъ Илью и приказалъ ему взять на плечи ношу одного изъ солдатъ, котораго тутъ же куда-то услалъ. Ноша была въ нѣсколько пудовъ. Тропининъ молча покорился такому насилію, соображая, что этому будетъ же конецъ. Онъ донесъ кули до Кремля. Оттуда его отправили съ другими солдатами за сѣномъ, а вечеромъ, давъ ему поѣсть, объявили, что онъ будетъ при конюшнѣ главнаго штаба. Въ теченіе пяти дней Илья чистилъ, кормилъ и поилъ порученныхъ ему лошадей, выгребалъ навозъ изъ конюшни и рубилъ для офицерской кухни дрова. Посланный съ товарищемъ въ депо за овсомъ, онъ нагрузилъ подводу, замѣтилъ на обратномъ пути, что пригнѣздившійся на подводѣ усталый товарищъ уснулъ, далъ лошади идти, а самъ безъ оглядки бросился въ смежный переулокъ. Мѣсто его второго побѣга было близъ Садовой. Онъ издали узналъ церковь Ермолая и, опасаясь погони, бросился въ ту сторону.

Мимо дымившихся и пылавшихъ улицъ, Тропининъ снова достигъ Патріаршихъ прудовъ и теперь ихъ не узналъ. Сколько онъ ни отыскивалъ глазами зеленой крыши и бельведера на домѣ княгини, онъ ихъ не видѣлъ. Всѣ окрестные деревянные и каменные дома сгорѣли или догорали. Улицы и переулки, вокругъ занесенныхъ пепломъ и головнями прудовъ, представляли одну сплошную, покрытую дымомъ, площадь, на которой, среди тлѣвшихъ развалинъ, лишь коего-гдѣ еще торчали не упавшія печныя трубы и другія части догоравшихъ зданій. Илья съ ужасомъ убѣдился, что домъ княгини Шелешпанской также сгорѣлъ. — «Боже! неужели это не во снѣ?» — думалъ онъ, оглядываясь. Слезы катились изъ его глазъ.

Безпомощно переходя отъ раскаленныхъ пепелищъ къ пепелищамъ, Тропининъ близорукими, подслѣповатыми глазами усиливался отыскать слѣдъ этого дома и не находилъ. Долго неуклюжею, длинною тѣнью онъ бродилъ здѣсь, при-

слушиваясь къ паденію кровель и стѣнъ и едва дыша отъ дыма и пепла. Въ одномъ мѣстѣ, у церкви Спиридонія, его охватило нахлынувшимъ пламенемъ. Онъ бросился къ какому-то каменному забору и перелѣзъ черезъ него. Соскакивая въ сосѣдній садъ, онъ сильно ушибъ себѣ ногу и сперва не обратилъ на это вниманія. Нога, однако, разболѣлась.—«Что же я теперь, если охромѣю, буду дѣлать?»—думалъ Илья, бродя по саду и разминая ногу. Вдругъ онъ услышалъ, что его назвали по имени. Тропининъ вздрогнулъ. Между липъ полуобгорѣлаго сада, онъ увидѣлъ сѣдую голову, глядѣвшую на него изъ травы, а подойдя ближе, узналъ блѣдное, въ пѣгихъ пятнахъ, лицо княгинина дворника, Карпа. Тотъ выглядывалъ изъ ямы.

— Ты какъ здѣсь?

— Третьи сутки спасаюсь.

— Чье это мѣсто?

— Неужто не узнаете? Наше...

Дворъ былъ въ развалинахъ, деревья обгорѣли. Карпъ помогъ измученному голодомъ и ходьбой Ильѣ спуститься въ яму, вырытую имъ въ саду, принесъ изъ пруда воды, далъ ему умыться, накормилъ его какими-то лепешками и уложилъ отдохнуть.

— Все погорѣло, какъ видите, домъ, людскія и кладовая,—объявилъ всхлипывая, Карпъ:—и тѣ злодѣи до пожара все разграбили, не помогла и стѣнка, дорылись и до ямы; Телешовскій Прошка съ- пьяну навелъ сюда и указалъ; а вы-то, вы... Господи!

Карпъ ушелъ изъ подвала и подъ полой откуда-то притащилъ старенькій, калмыцкій тулупъ, мужичьи сапоги и такую же баранью шапку.

— Одѣньтесь, батюшка, Илья Борисычъ,—сказалъ онъ:—здѣсь въ западнѣ сыро. Какъ васъ нехристи-то обидѣли!.. въ нашемъ холопскомъ нарядѣ они васъ тутъ, хоть и увидятъ, скорѣе не тронутъ. А что же это, и нога у васъ болитъ?

Тропининъ сообщилъ о своемъ ушибѣ.

— Перебудьте, сударь, здѣсь; авось наша-то армія вернется и выгонитъ злодѣевъ. На ночь мы прикроемъ подвалъ досками; я на нихъ и землицы присыплю. Наказалъ насъ Господь... конецъ свѣту!

Илья одѣлся въ принесенные тулупъ и шапку, свернулся

на соломѣ, въ углу подвала, и подъ причитанія Карпа заснулъ. Утромъ слѣдующаго дня Карпъ объявилъ ему, что наканунѣ приходили какіе-то солдаты, шныряли тутъ, переворачивая тлѣвшія бревна и тесаками чего-то все искали, а въ садъ и къ пруду все еще не подходили.

Илья не покидалъ подвала двое сутокъ. Онъ оттуда, сквозь обгорѣлыя деревья, видѣлъ, какъ пожаръ въ ближнихъ дворахъ мало-по-малу угасалъ. Изрѣдка, за сосѣдними заборами, показывались непріятельскіе отряды, слышались французскіе и нѣмецкіе оклики. Дозорныя команды, преслѣдуя чужихъ и своихъ поджигателей и грабителей, захватывали подозрительныхъ прохожихъ. Въ одну изъ ночей, въ ближнемъ закоулкѣ произошла даже вооруженная стычка. Тропининъ изъ подвала явственно слышалъ, какъ начальникъ дозора командовалъ солдатамъ: «En avant, mes enfants! ferme, feu de peloton! visez bien!» (впередъ, ребята, пали! цѣльтесь лучше!) Раздался залпъ преслѣдующихъ; изъ-за печей и трубъ затрещали отвѣтные выстрѣлы. Нѣсколько вооруженныхъ солдатъ, ругаясь по-нѣмецки и роняя по пути добычу, перелѣзли черезъ заборъ и пробѣжали въ пяти шагахъ отъ ямы, гдѣ скрывался Илья. Слышались возгласы: «Du lieber Gott! Schwernots Kerl von Bonapart!» Карпъ подобралъ нѣсколько хлѣбовъ, липовку съ медомъ и узелъ съ женскими нарядами. Хлѣбъ и медъ были очень кстати, такъ какъ съѣстные припасы въ подвалѣ подходили уже къ концу.

Черезъ недѣлю Карпъ объявилъ, что всѣ припасы вышли и что онъ рѣшился пойти къ церкви св. Ермолая, провѣдать, не уцѣлѣло ли тамъ, въ церковномъ дворѣ, чего съѣстного и что дѣлается въ другихъ мѣстахъ Москвы. Онъ возвратился измученный, недовольный.

— Врагъ-то... выбралъ начальство надъ городомъ изъ нашихъ же!—сказалъ онъ, спускаясь въ подвалъ.

— Кого выбралъ?

— Ермолаевскій дьякъ сказывалъ... онъ тоже въ погребу тамъ подъ церковью сидитъ и знаетъ вашу милость; при нашемъ вѣнцѣ въ церкви служилъ.

— Что же онъ говорилъ?

— Нашимъ прѣсненскимъ приставомъ злодѣи поставили магазинщика, съ Кузнецкаго моста, Марка, городскимъ головою — купца первой гильдіи Находкина, а подпомощни-

комъ ему — его же сына, Павлушку. На Покровкѣ ихъ расправа... Служатъ, безстыжіе, антихристу! креста на нихъ нѣтъ...

Тропининъ вспомнилъ, что онъ кое-гдѣ встрѣчался съ кутилою и вѣчнымъ посѣтителемъ цыганокъ и игорныхъ домовъ, Павломъ Находкинымъ, и что однажды онъ даже выручилъ его изъ какой-то исторіи, на гуляньѣ подъ Новинскимъ.

Илья въ раздумьѣ покачалъ головой.

— Да что, сударь,—произнесъ Карпъ:—то бы еще ничего; кощунство какое! Не токма въ церквахъ, въ соборахъ треклятые міродеры завели нечисть и всякій срамъ. Выкинули на полъ мощи святителей Алексѣя и Филиппа. Въ Архангельскомъ наставили себѣ кроватей, а въ Чудовомъ, надъ святою гробницей, приладили столярный верстакъ. Ходятъ въ ризахъ, антиминсами подпоясываются. Еще дьячекъ сказывалъ, что видѣлъ самого Наполеона. Намедни онъ тутъ по Садовой, мимо ихъ, злодѣй, проѣхалъ; сѣрый на немъ балахончикъ, треуголочка такая,— самъ жирный да простолицый, изъ себя смуглый; то, сказываютъ, и есть самъ Бонапартій.

Илья вспомнилъ, какъ Наполеона еще недавно обожалъ Перовскій.

— Чего же Бонапартъ забрался въ Садовую? — спросилъ онъ.

— Ушелъ за городъ; его, слышно, подожгли въ Кремлѣ. Да и бьютъ же ихъ, озорниковъ, а то втихомолку и просто топятъ.

— Какъ такъ?

— Нонѣ, сударь, слышно, изъ каждаго пруда вытянешь либо карася, либо молодца. А Кольникуръ ихній ничего— добрый... Намедни тоже мимо Ермолая ѣхалъ, сынка тамошней просвирни подозвалъ и далъ ему бѣлый крендѣль. Вотъ и я вамъ, батюшка, картошекъ оттуда принесъ... черноваты только, простите, въ золѣ печены и безъ соли.

Илья съ удовольствіемъ утолилъ голодъ обугленными картошками.

XXVI.

Еще прошло нѣсколько дней. Припасы окончательно истощились. Карпъ пошелъ опять на развѣдки. Тропининъ тоже подъ вечеръ вышелъ изъ подвала — прогуляться между пустырей. Онъ замѣтилъ въ чьемъ-то недальнемъ огородѣ,

у колодца, яблоню, на которой виднѣлись полуиспеченныя отъ сосѣдняго пожара яблоки. Сорвавъ ихъ нѣсколько штукъ, онъ началъ жадно ихъ ѣсть. Его грубо окрикнулъ проходившій мимо пьяный французскій солдатъ. Подойдя молча къ Ильѣ, солдатъ установился въ него, взялъ съ его ладони яблоко, пожевалъ его и, съ ругательствомъ, бросилъ остатки Ильѣ въ лицо. Илья вспыхнулъ. Въ его глазахъ все закружилось. Онъ съ бѣшенствомъ ухватилъ обидчика за шею. Началась борьба. Хмельной солдатъ ловко наносилъ кулаками удары Тропинину и чуть не сбилъ его съ ногъ. Илья устоялъ, обхватилъ солдата и, протащивъ его подъ деревьями, швырнулъ въ колодецъ. Не помня себя и задыхаясь отъ волненія, онъ едва дошелъ обратно до подвала. Искаженное страхомъ лицо и взмахнувшіе по воздуху башмачёнки француза, брошеннаго имъ въ колодецъ, не выходили у него изъ головы. Карпъ возвратился съ пустыми руками. Опасаясь возмездія со стороны непріятелей, Илья объявилъ ему, что ихъ мѣсто не безопасно, что надо бросить его, и рѣшилъ съ нимъ на утро отправиться къ новому городскому головѣ. Ночь Тропининъ провелъ въ безсонницѣ и въ лихорадочномъ бреду. Ему грезились въ сосѣднемъ огородѣ обгорѣлыя яблони и между ними черный, покрытый плѣсенью, срубъ заброшеннаго колодца. Ночь онъ видѣлъ иную, теплую; странный, багровый мѣсяцъ освѣщалъ вершины обгорѣлыхъ липъ и березъ, между которыми шла съ лукошкомъ, полнымъ спѣлыхъ яблокъ, Ксенія. Коля, уже мальчикъ лѣтъ пяти, бѣжалъ по травѣ впереди нея. Вдругъ изъ глубины колодца поднялся и, хватаясь за срубъ руками, сталъ вылѣзать блѣдный, покрытый зеленою тиной, утопленникъ. Не успѣлъ Илья броситься на помощь женѣ, какъ утопленникъ, шлепая мокрыми ногами, добѣжалъ и впился зубами въ обезпамятѣвшаго Колю. Тропининъ въ ужасѣ проснулся... Крышка надъ подваломъ была приподнята. Кто-то вылѣзалъ изъ ямы. Илья узналъ Карпа.—«Куда это онъ!»—подумалъ Илья и также поднялся наверхъ. Карпъ пробирался къ ближнему двору, уцѣлѣвшему отъ пожара. Изъ-за липъ, отъ подвала было видно, какъ онъ бережно подкрался къ крайнему флигелю, стоявшему среди сараевъ, и присѣлъ. — «Что онъ тамъ дѣлаетъ?»— мыслилъ Илья. У флигеля сверкнули искры. Карпъ, очевидно, кресалъ огонь. Еще прошла минута, уголъ ветхой

крыши ближняго сарая освѣтился. Послышались опять шаги. Карпъ проворно бѣжалъ оттуда; подожженное зданіе вспыхнуло. — «И этотъ, какъ купецъ Живовъ, — подумалъ Илья, торопясь спуститься въ подвалъ, чтобы его не увидѣлъ Карпъ,—знаю теперь, кто поджигаетъ Москву». — Онъ радовался и вмѣстѣ боялся смутить поджигателя тѣмъ, что видѣлъ его тайный подвигъ.

Тропининъ съ Карпомъ утромъ отправился въ домъ новаго городского головы. На стѣнѣ дома была надпись: «Secours aux indigents» («помощь нуждающимся»). На фронтонѣ подъѣзда красовалась новая, лоснившаяся вывѣска: «Городской голова». Доложивъ о себѣ Находкину-сыну, Илья поднялся въ верхній этажъ; Карпъ остался у подъѣзда.

Павелъ Находкинъ, въ модномъ сѣромъ фракѣ, съ бѣлымъ шарфомъ черезъ плечо, сидѣлъ за столомъ въ пріемной, опрашивая какихъ-то бродягъ, приведенныхъ сюда, для справокъ, отъ завѣдывавшаго французскими лазутчиками, генерала Сокольницкаго. Мужицкій нарядъ и небритое, обраставшее бородою лицо Тропинина не дали Находкину возможности сразу его узнать. Илья назвалъ себя. Краска залила моложавое лицо и толстый затылокъ Находкина. Онъ, водя перомъ по бумагѣ, подождалъ, пока жандармы увели арестантовъ, оправилъ на себѣ шарфъ и всталъ.

— Тэкъ-съ, — сказалъ онъ, не глядя на Тропинина:— что же-съ... узнаёмъ-съ... Что угодно? и какъ изволили, въ такое время, остаться въ здѣшнихъ мѣстахъ?

Илья передалъ ему о своемъ плѣнѣ и ушибѣ ноги и просилъ содѣйствія къ разрѣшенію ему и дворнику княгини оставить Москву.

Находкинъ не поднималъ глазъ.

— Но какъ же? какимъ, то-есть, манеромъ? — произнесъ онъ:—мы вамъ, съ тятенькой, сказать, оченно благодарны-съ... тогда на гуляньѣ гусары... и вы вступились... Но теперь тутъ совсѣмъ иные, иноземные порядки, не наши-съ... притомъ мы не одни...

Павелъ подумалъ.

— Развѣ вотъ что-съ,—сказалъ онъ:—начальникъ ихнихъ шпіоновъ, генералъ Сокольницкій, опять же и главный ихъ интендантъ, генералъ Лесепсъ, нуждаются въ знающихъ господахъ... Не окажете ли, сударь, сперва услуги нашимъ побѣдителямъ? Было бы кстати-съ...

— Какой услуги?

— Вы при кіятрѣ служили и, кажись, надзирали за размалевкою декорацій... сами рисуете.

— Такъ что же?

— Его величество, значитъ, ихній, — произнесъ Находкинъ:—а пока, такъ сказать, по здѣшнимъ мѣстамъ, и нашъ анпираторъ Наполеонъ затѣялъ, видите ли, для ради своей, то-есть, публики, кіятеръ, на Никитской. Изволите знать домъ, Познякова? Еще возлѣ, тамъ, Марья Львовна жила...

— Какая Марья Львовна?

— Ну, Машенька-актриса,—продолжалъ Павелъ:—ужели не помните? дѣло прошлое... Такъ вотъ-съ, возлѣ ея фатеры, этотъ самый кіятеръ и устраиваютъ... Тамъ давно и прежде шли представленія; большущій залъ, съ ложами, при немъ зимній садъ. Обгорѣла только сцена, декораціи и занавѣсы.

— Гдѣ же вы возьмете новыя?—спросилъ Илья:—нашъ казенный театръ, слышно, совсѣмъ сгорѣлъ...

— Отыскались на это у нихъ мастера; занавѣсъ будетъ вовсе новый, парчевый, изъ ризъ, а замѣсто люстры — паникадило.

Тропининъ ушамъ своимъ не вѣрилъ. — «Что̀ онъ? раскольникъ? что ли?—подумалъ онъ,—да нѣтъ, тѣ еще болѣе почтительны къ вѣрѣ».

— И вы, какъ рисовальщикъ,—продолжалъ Находкинъ:—притомъ же, зная ихъ языкъ, могли бы имъ помочь. Васъ, въ такомъ разѣ, одѣнутъ, накормятъ; ну, смилуются, а то и вовсе выпустятъ. Мы же съ тятенькой тоже постараемся, и завсегда.

Тропининъ, поборая въ себѣ злобу и негодованіе, молча мыслилъ: «Неужели же этотъ муниципалъ и въ самомъ дѣлѣ поможетъ мнѣ освободиться?»

— Согласны, баринъ?—спросилъ Находкинъ.

— На что̀?

— Помочь въ декораціяхъ и въ прочемъ.

— Согласенъ,—отвѣтилъ со вздохомъ Илья.

— И дѣло-съ. Оченно радъ! А таперича, значитъ, по порядку, мы васъ отправимъ къ Григорію Никитичу.

— Кто это?

— На Мясницкой, книгопродавецъ Кольчугинъ. Онъ нынѣ, по милости анпиратора Бонапарта, покровителя, такъ сказать, наукъ-съ. тутъ назначенъ главнымъ квартерми-

стромъ, для призрѣнія неимущихъ и плѣнныхъ. Тамъ и Сокольни́цкій... Тятенька, вы здѣсь?—крикнулъ Павелъ въ сосѣднюю комнату.

— Здѣсь, что-те?—отозвался оттуда голосъ.

Павелъ скрылся за дверью и, минуты черезъ двѣ, вышелъ оттуда съ отцомъ. Петръ Ивановичъ Находкинъ, невысокій, рябой и лысый старикъ, съ узкою, клиномъ, бородою, былъ въ купеческомъ кафтанѣ до пятъ, въ высокихъ, бутылками, сапогахъ и также съ бѣлымъ шарфомъ черезъ плечо.

— Поступаете?—спросилъ онъ, взглядывая на Илью маленькими, зоркими глазами.

— Вашъ сынъ предлагаетъ.

— Павелъ говоритъ дѣло,—произнесъ старикъ:—всѣ мы подъ Богомъ; не знаемъ, какъ и что. Въ этотъ кіятеръ уже поступили, изъ нашихъ арестованныхъ, скрипачъ Поляковъ и вилончелистъ Татариновъ. Не опасайтесь, не останетесь... а мы добро помнимъ-съ...

Тропининъ и Карпъ, съ запиской сына Находкина и съ жандармомъ, были отведены на Мясницкую. Здѣсь, у подъѣзда длиннаго каменнаго дома, гдѣ помѣщался завѣдывавшій частью секретныхъ свѣдѣній — генералъ Сокольни́цкій, стоялъ караулъ изъ конныхъ латниковъ. Илью и его спутника ввели въ большую присутственную комнату. Нѣсколько военныхъ и штатскихъ писцовъ сидѣли здѣсь надъ бумагами у столовъ. За перегородкой у двери, переминаясь и охая, стояла кучка просителей — бабы, нищіе, пропойцы и калѣки. Илья сквозь рѣшетку узналъ Кольчугина, у котораго не разъ, еще будучи студентомъ, онъ покупалъ книги. Онъ ему протянулъ письмо Находкина. Стриженый въ скобку и безъ бороды, Григорій Никитичъ, заложивъ руки за спину, стоялъ невдали отъ перегородки, у стола, за которымъ горбоносый, блѣдный и густо-напомаженный французскій офицеръ, съ досадой тыкая пальцемъ по плану города, спрашивалъ его, черезъ переводчика, о нѣкоторыхъ домахъ и мѣстностяхъ Москвы. Учитель математики—переводчикъ, плохо понимавшій и еще хуже говорившій по-французски, выводилъ офицера изъ терпѣнія. На Илью долго никто не обращалъ вниманія. У него отъ ходьбы разболѣлась нога, и онъ съ трудомъ могъ стоять. Кольчугинъ, наконецъ, взялъ у него письмо.

— Вы знаете по-ихнему?—радостно спросилъ онъ, прочтя письмо: — и отлично-съ; сами объясните имъ свое дѣло, а пока вотъ помогите, — этому офицеру нужно указать на картѣ, гдѣ домъ Пашкова. Главный изъ нихъ сгорѣлъ, а въ боковыхъ они хотятъ ладить новый госпиталь и богадѣльню... Удивляетесь, что я при ихъ службѣ?—заключилъ, оглядываясь, Кольчугинъ: — что, сударь, дѣлать? Крестъ несемъ... силкомъ запрягли.

XXVII.

Тропининъ, войдя за перегородку, далъ нужныя объясненія офицеру и затѣмъ сообщилъ ему о предложеніи Находкина. Сперва офицеръ слушалъ его сухо; но едва узналъ, что Илья владѣетъ кистью, мгновенно измѣнился.

— Вы хотя и въ грубой одеждѣ, — сказалъ онъ, не скрывая своего удовольствія: — видно, что образованный, высшаго общества человѣкъ. Садитесь. Не думайте, чтобы мы были только завоевателями. Вы увидите, какъ мы оживимъ и воскресимъ вашу страну. О! театръ!—лучшая пища для души... Я самъ, по призванію, что хотите, — пѣвецъ, стихотворецъ, актеръ,—словомъ, артистъ.

На Илью были устремлены ласковые черные глаза; печальная улыбка не сходила съ блѣднаго лица офицера.

— Да, — продолжалъ послѣдній: — я въ молодости, въ нашей collége, въ Бордо, игралъ не только Мольера, но и Расина... Далекія, счастливыя времена! Но и здѣсь, между вашими актерами, увѣряю васъ, есть истинные таланты; не всѣ бѣжали. О! мы уже пригласили изрядныхъ комиковъ.

Офицеръ назвалъ имена нѣсколькихъ магазинщиковъ, аптекаря и двухъ парикмахеровъ съ Кузнецкаго моста.

— А вашъ балетмейстеръ Ламираль, вотъ дарованіе! Онъ вызвался быть у насъ режиссеромъ и ставить даже танцы... Потомъ, какъ его, какъ? очень милый господинъ... мы съ нимъ обѣдали на-дняхъ въ его премилой семьѣ... Онъ взялъ подрядъ поставить театральную утварь... вспомнилъ! — торговецъ сукнами Данквартъ... еще у него на вывѣскѣ гербъ императора Александра.

— Все ваши соотечественники, французы,—сказалъ Илья.

— Вы этимъ хотите сказать,—произнесъ офицеръ:—что вамъ, какъ русскому, хотя такъ превосходно говорящему по-французски, неприлично участвовать въ нашихъ удовольствіяхъ? Не такъ ли?

— Да,—отвѣтилъ Илья.

— Полноте, помогите намъ.

— Но чѣмъ же?

— Вы рисуете красками?

— Да...

— Это все, что намъ нужно. И если вы согласны, скажите, чѣмъ, въ свой чередъ, и я могу вамъ служить? Шарль Дрозъ — къ вашимъ услугамъ, — заключилъ, вѣжливо кланяясь, офицеръ:—капитанъ семнадцатаго полка и адъютантъ штаба... а въ свободные часы — любитель всего изящнаго и въ особенности театра.

— Я голоденъ, мосье Дрозъ!—мрачно произнесъ Илья:—со вчерашняго дня ничего не ѣлъ.

— Боже мой, а я-то, извините... прошу васъ ко мнѣ!—сказалъ, вставая, капитанъ:—мы оба—артисты... Что дѣлать? жребій войны... Я здѣсь недалеко, тутъ же во дворѣ; только кончу дѣло... А вы, мосье Никичь,—обратился онъ, черезъ переводчика, къ Кольчугину:—снабдите господина... господина Тропинъ... не такъ ли? приличною одеждой и обувью изъ нашего склада... я самъ о томъ доложу генералу...

Тропинина провели въ какую-то каморку, полную разнаго хлама, одѣли во французскую военную шинель и фуражку и въ новые, еще ненадёванные сапоги, повидимому, добытые въ какой-либо ограбленной лавкѣ обуви. Выйдя изъ каморки, онъ встрѣтилъ Карпа.

— А меня-то, батюшка Илья Борисовичъ, отпустите?—спросилъ тотъ, едва узнавъ Илью въ новомъ нарядѣ.

— Куда ты?

— Землячка тутъ нашелъ, пойдемъ—бураки и картошку копать.

— Гдѣ копать? знаю я, куда ты и зачѣмъ... смотри, не попадись...

— Убей Богъ, въ казенныхъ огородахъ, возлѣ казармъ. Накопаемъ имъ, аспидамъ, да авось и уйдемъ.

Освободившись отъ занятій, капитанъ Дрозъ провелъ Илью внутренними комнатами въ обширный, барскій, почти нетронутый огнемъ, дворъ, въ заднихъ флигеляхъ котораго размѣщались адъютанты начальника розыскной полиціи, чины его канцеляріи и конные и пѣшіе разсыльные. Въ помѣщеніи капитана, въ проходной тѣсной комнаткѣ, у

окна, съ пером въ рукѣ и въ большихъ очкахъ на носу, сидѣлъ сѣденькій, въ военной курткѣ, писецъ.

— Пора, Пьеръ, кончать, темно! — портишь глаза!—ласково сказалъ Дрозъ писцу, идя съ Ильей мимо него.

— Нельзя, капитанъ,—отвѣтилъ, не отрываясь отъ бумаги, писецъ:—машина станетъ! списки герцога Экмюльскаго... только что принесли...

— О, въ такомъ случаѣ кончай,—объявилъ Дрозъ.

— Въ чемъ эта работа, осмѣливаюсь узнать?—спросилъ Илья, когда капитанъ потребовалъ ему отъ своего денщика закусить и усадилъ его за блюдо холодной телятины.

— Да, mon bon monsieur, горька доля воюющихъ!—со вздохомъ отвѣтилъ капитанъ:—часто я проклиналъ судьбу, что изъ артиста сталъ солдатомъ... а теперь меня наряжаютъ для разныхъ слѣдствій... въ эти же списки вносятся имена плѣнныхъ маршала Даву.

Дрозъ досталъ изъ шкапа бутылку и налилъ гостю стаканъ вина.

— Что же дѣлаютъ потомъ съ этими списками? — спросилъ Илья.

— Ихъ пересылаютъ, къ свѣдѣнію, въ главный штабъ и сюда.

— И только?

— Нѣтъ, канцелярія маршала дѣлитъ вносимыхъ въ эти списки на двѣ части. Въ одну вносятся менѣе опасныя, заурядныя лица; въ другую—особенно подозрительныя.

— Что же ожидаетъ первыхъ и вторыхъ?

— Противъ имени первыхъ канцелярія обыкновенно дѣлаетъ отмѣтки: подъ арестъ, или на работы; противъ вторыхъ же самъ маршалъ ставитъ собственноручныя резолюціи: къ повѣшенію или къ разстрѣлянію... Печальныя бываютъ развязки. Война не шутитъ. У меня на этотъ предметъ есть стихи. Не хотите ли, я вамъ ихъ прочту?—спросилъ онъ, покраснѣвъ:—мои собственные стихи о войнѣ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Дрозъ всталъ, протянулъ руку и, съ грустью глядя на гостя, какъ бы призывая его въ судьи своей тоски и одиночества, нѣжнымъ, пѣвучимъ теноромъ продекламировалъ элегію о разорённомъ гнѣздѣ малиновки и о коршунѣ, похитившемъ ея птенцовъ. Онъ самъ съ напомаженнымъ хохолкомъ напоминалъ малиновку.

Голосъ и стихи Дроза тронули Илью. Его щеки отъ этого чтенія и вкусной ѣды, запитой виномъ, раскраснѣлись. Красивый, съ горбомъ, носъ капитана, между тѣмъ, сталъ еще блѣднѣе, а глаза печальнѣе. Онъ, въ раздумьѣ, молча глядѣлъ въ пространство. Въ это время старичекъ-писецъ принесъ переписанныя бумаги. Капитанъ повертѣлъ ихъ въ рукахъ и вздохнулъ.

— Да,—сказалъ онъ: — отличный почеркъ, но на какое дѣло! Есть ли у васъ, въ Россіи, такіе искусники?

Онъ показалъ гостю копіи, бережно положилъ ихъ на окно и объявилъ, что самъ отнесетъ ихъ къ генералу, а подлинники велѣлъ отправить въ канцелярію главнаго штаба, въ Кремль.

— Стаканчикъ! знаешь, той? — обратился онъ къ писцу, добродушно подмигивая ему на кубышку перцовки въ шкапу: — такимъ почеркомъ переписывать только Шеньѐ, Бомаршѐ...

Дрозъ налилъ изъ кубышки, которую онъ называлъ «bouche de fer»—«огненнымъ ртомъ».

— Капитанъ! — восторженно произнесъ писецъ, отставя руку и глядя на поданный ему стаканъ перцовки: — вѣкъ не забуду вашихъ ласкъ и доброты!

Онъ медленно выпилъ стаканъ, отеръ рукавомъ усы и крякнулъ.

— Это напитокъ боговъ! Исполненіе желаній вашихъ, господа, и дорогихъ вашему сердцу!—сказалъ онъ, уходя:— хотя послѣднія теперь, очевидно, далеко.

Капитанъ, уныло сгорбившись, молчалъ.

— Дорогія нашему сердцу!—произнесъ онъ, отгоняя тяжелыя мысли:—моя семья далеко; ваша же, собратъ по музамъ? вы женаты?.. гдѣ ваша семья?

— Ничего не знаю,—отвѣтилъ Тропининъ: — я женатъ, но моя жена бѣжала отсюда, за два дня до моего плѣна... и что съ нею, жива ли она, убита ли, Господь вѣдаетъ...

— Бѣжала и она! но зачѣмъ же? — искренно удивился капитанъ.

— А эти ваши списки?—произнесъ Илья, указывая на принесенныя писцомъ бумаги:—что, если бы она попала въ эти красиво переписанныя бумаги, да еще въ первый разрядъ? вѣдь вашъ грозный маршалъ, сами вы говорите, не любитъ шутить: а онъ и женщину могъ бы счесть за опасную...

Капитанъ покраснѣлъ до ушей.

— Что за мысль! полноте!—возразилъ онъ:—мы не индѣйцы и не жители Огненной земли; можете быть спокойны, женщины у насъ неприкосновенны. И ни одной, ручаюсь въ томъ, вы не найдете въ этихъ спискахъ. Да, мое поприще—искусство, пластика. Даже самъ я и мои формы, не правда ли, пластичны?—произнесъ капитанъ, вставая и передъ зеркаломъ протягивая свои руки и выпячивая грудь и плечи:—это не мускулы, мраморъ, не правда ли, и сталь? Итакъ, завтра я вамъ дамъ письмо къ Ламиралю, и вы украсите вашею кистью нашъ театръ. Артистовъ у насъ, повторяю, довольно. Кромѣ найденныхъ здѣсь, прелестной Луизы Фюзи, Бюрсѐ и замѣчательнаго комика Санвѐ, явились и другіе охотники. Сверхъ того, какъ, вѣроятно, и вы уже знаете, захваченъ цѣлый балетъ танцовщицъ одного вашего графа... comte Cheremétе... А теперь, полагаю, и на покой!.. Вотъ вамъ кровать, я улягусь на этомъ сундукѣ.

— Очень вамъ благодаренъ, — отвѣтилъ Илья: — но это уже черезчуръ, съ какой же стати?

— Безъ возраженій, коллега; мы оба—слуги музъ, и вы мой гость... Устраивайтесь, а мнѣ надо нести бумаги къ генералу,—но прежде я загляну въ канцелярію; знаете, народъ нынче ненадежный, особенно здѣсь, — чрезъ мѣру поживились военною добычею и не совсѣмъ исправно себя ведутъ.

XXVIII.

Офицеръ вышелъ. Илья прислушался у двери къ его шагамъ и бросился къ бумагамъ, лежавшимъ на окнѣ.—«Имѣю ли я право прочесть?—подумалъ онъ,—вѣдь это—вѣроломство, нарушеніе правъ гостепріимства. А они? а эта война?»—Тропининъ поднесъ бумаги къ свѣчѣ, пробѣжалъ заголовки и началъ наскоро просматривать списки. Были короткіе и длинные. Одинъ изъ списковъ, набросанный нѣсколько дней назадъ, особенно занялъ его. Въ немъ было занесено много арестованныхъ, съ отмѣтками: «поджигатель», «грабитель», «шпіонъ». Тропининъ просмотрѣлъ первую страницу, перевернулъ листъ, прочелъ еще столбецъ именъ и обмеръ. Протеревъ глаза, онъ снова заглянулъ въ прочитанное. Въ перечнѣ именъ «особенно-подозрительныхъ» («très suspects») онъ прочелъ явственно написанное: «lieutenant Perosski». Рядомъ съ этимъ именемъ стояла отмѣтка:

«le déserteur de Smolensk», а сбоку, разомъ очеркивая нѣсколько именъ, было, очевидно, старческою рукою маршала Даву приписано: «разстрѣлять» («fusiller»).

Кровь бросилась въ голову Тропинина. Онъ выронилъ бумаги на окно и нѣсколько мгновеній не могъ опомниться. Комната съ горѣвшею свѣчей, столъ съ неубранными тарелками, сундукъ и предложенная ему кровать капитана вертѣлись передъ нимъ, и самъ онъ едва стоялъ на ногахъ.—«Перовскій, очевидно—онъ, Базиль Перовскій!—въ ужасѣ думалъ Илья:—но какимъ образомъ онъ могъ быть схваченъ въ Смоленскѣ и стать дезертиромъ, когда писалъ намъ уже послѣ Вязьмы и ни единымъ словомъ не намекнулъ на подобный случай? очевидно, роковая, вопіющая ошибка!» — Илья ломалъ себѣ руки, не зная, на что рѣшиться и что предпринять. Сказать капитану, что онъ просматривалъ его секретныя бумаги? Но тогда тотъ справедливо можетъ обидѣться, а то и еще хуже—донесетъ на него.

Дрозъ возвратился.

— А вы еще не спите?—спросилъ онъ:—ложитесь, иначе вы меня обидите...

Не подозрѣвая особой причины смущенія Ильи, онъ настоялъ, чтобы тотъ легъ на его кровать, а самъ, раздѣвшись и подмостивъ себѣ подъ голову шинель, улегся на сундукѣ и погасилъ свѣчу.

Прошло съ полчаса. Пріятный запахъ розовой помады разносился по комнатѣ.

— Скажите, капитанъ,—обратился къ нему Илья, видя, что офицеръ еще не спитъ:—случается ли, чтобы страшныя резолюціи маршала иногда отмѣнялись или почему-либо не приводились въ исполненіе?

Капитанъ, медленно повернувшись къ стѣнѣ, тяжело вздохнулъ.

— Увы!—отвѣтилъ онъ, помолчавъ:—у герцога Экмюльскаго этого не можетъ быть; рѣшенія при допросахъ онъ пишетъ самъ, а кто ослушается его приказаній? Вы, хотя и русскій, я полагаю, знаете, да это и не тайна,—прибавилъ вполголоса Дрозъ:—Даву не человѣкъ, а, между нами сказать, тигръ...

— Но не всѣ же, наконецъ, рѣшенія вашего герцога-тигра исполняются мгновенно, безъ провѣрки и суда?—произнесъ Илья, хватаясь за тѣнь надежды: — рѣшено, поло-

жимъ, утромъ; неужели же не откладываютъ, для справокъ, хотя бы до вечера?

— Въ чемъ дѣло? не понимаю васъ, — спросилъ Дрозъ.

— Вотъ въ чемъ,—проговорилъ Илья:—здѣсь въ Москвѣ, какъ я узналъ, былъ схваченъ и заподозрѣнъ въ побѣгѣ одинъ мой соотечественникъ. Онъ, клянусь вамъ, невиновенъ въ томъ, въ чемъ его подозрѣваютъ.

— Когда онъ схваченъ и въ чемъ обвиняется?

Илья подумалъ.

— Времени его ареста не знаю, — отвѣтилъ онъ:—а по слухамъ, винятъ его въ томъ, будто онъ — дезертиръ... ну, какъ вамъ объяснить? что будучи взятъ въ плѣнъ подъ Смоленскомъ, оттуда бѣжалъ... Это—клевета. Я въ точности знаю, что онъ вплоть до Бородина нигдѣ не былъ въ плѣну. Ради Бога, молю васъ, это — мой товарищъ и другъ; если онъ живъ еще, попросите за него.

— Но кого просить?

— Герцога, самого императора.

— Мало же вы знаете герцога и нашего императора!— сказалъ, обернувшись отъ стѣны, капитанъ:—ирибѣгать съ такою просьбою къ герцогу—все равно, что молить у гіены пощады животному, которое она держитъ въ окровавленныхъ зубахъ... а императоръ... да знаете ли вы его?—прошепталъ капитанъ, даже привставъ впотьмахъ и садясь на сундукѣ:—насъ тутъ не слышатъ, вы понимаете, и я, между нами, могу это сказать... Недавно онъ, при докладѣ Бертье о нуждахъ солдатъ, выразился: лучше, князь, вмѣсто солдатъ, поговоримъ о ихъ лошадяхъ! Станетъ онъ думать объ экзекуціяхъ Даву... У него на умѣ другое...

Капитанъ замолчалъ.

— А жаль!—проговорилъ онъ черезъ минуту:—не ему ли было бы лучше остаться во Франціи, покровительствовать искусствамъ, литературѣ? Боязнь покоя, критики, вотъ что увлекаетъ его въ новыя и новыя предпріятія... Впрочемъ, не намъ, мелкимъ, судить великаго человѣка. А пока онъ успокоится, мы сами, дорогой собратъ, не правда ли, займемся театромъ! Итакъ, до завтра! — заключилъ, опять ложась, капитанъ:—дадимъ великой арміи отдохнуть и вспонить, хотя здѣсь, въ вашей Скиѳіи, наши былыя, лучшія, тихія времена.

— Но я бы васъ, все-таки, просилъ,—сказалъ Илья:—

если будетъ случай и это васъ не затруднитъ, справьтесь о моемъ другѣ, чѣмъ кончилась его судьба?

— Какъ его имя?

Тропининъ назвалъ.

— Попытаюсь, мой дорогой, — произнесъ капитанъ:— только, знаете, въ эти смутные дни въ нашихъ штабахъ столько возни и хлопотъ. Не обо всемъ оставляютъ слѣдъ въ бумагахъ.

Сказавъ это, Дрозъ окончательно смолкъ. Въ комнатѣ раздался его сперва тихій, потомъ громкій и, повидимому, совершенно счастливый храпъ. Онъ видѣлъ во снѣ Францію, маленькій провинціальный театръ, гдѣ онъ игралъ на сценѣ и мечталъ о будущности Тальма, не подозрѣвая, что, благодаря конскрипціи Наполеона, изъ актера онъ станетъ воиномъ, а затѣмъ попадетъ въ штабъ «завѣдывающаго секретными свѣдѣніями».

«Несчастный Базиль!—мыслилъ тѣмъ временемъ Тропининъ:—дѣло, очевидно, кончено! Вотъ чѣмъ отплатилъ тебѣ твой любимый идолъ, герой! Сынъ магната, министра... Погибнуть въ числѣ подозрѣваемыхъ въ поджогахъ и грабежахъ! И никто объ этомъ не знаетъ, никто не защититъ... Бѣдная Аврора... предчувствуетъ ли она, что постигло ея жениха?..»

Ильѣ вспомнилась его жена, недавній тихій семейный кругъ. Слезы подступали къ его горлу, и онъ ломалъ голову, какъ ему самому уйти изъ плѣна и избѣгнуть участи, постигшей его друга.

Проснувшись утромъ, онъ увидѣлъ, что капитанъ уже всталъ и что-то пишетъ.

— Вотъ вамъ письмо,—сказалъ озабоченно Дрозъ:—отнесите его къ Ламира́лю, и желаю вамъ всякаго успѣха и благополучія. Меня же, къ сожалѣнію, сейчасъ вызывали къ генералу; онъ посылаетъ меня на слѣдствіе въ другое мѣсто. До свиданія.

— А узнали вы что-нибудь о моемъ товарищѣ Перовскомъ?—спросилъ Илья.

— Справлялся,—отвѣтилъ сухо Дрозъ:—по бумагамъ ничего не видно, хотя я рылся немало; дѣлъ теперь столько, столько...

Капитанъ ушелъ; Тропининъ, при помощи его денщика, умылся, побрился и пошелъ на Никитскую, въ домъ Позднякова.

Бывшій навеселѣ съ утра, режиссеръ Ламира́ль не долго съ нимъ говорилъ. Онъ провелъ Илью за кулисы и безъ дальнихъ словъ предложилъ ему заняться изображеніемъ декораціи какой-то итальянской виллы. Краски въ горшкахъ и огромныя кисти были готовы. Илья надѣлъ фартукъ, растянулъ на полу холсты и принялся за работу. Онъ трудился, не разгибая спины, весь день. Вечеромъ его позвали обѣдать въ сосѣдній домъ, гдѣ помѣщались, изучали роли и продовольствовались набранные для театра актеры и актрисы. Такъ прошло нѣсколько дней. Илья пытался въ это время заговорить со своими новыми сожителями объ участи плѣнныхъ вообще и тѣхъ, которые попадали на Дѣвичье поле, къ маршалу Даву. Веселые и беззаботные артисты, при такихъ вопросахъ, вмигъ смолкали и, поднимая глаза къ небу, смущенно говорили:

— Ужасъ! Разстрѣливаютъ и вѣшаютъ ежедневно, безъ суда.

Дрозъ раза два еще навѣщалъ работы Ильи и сильно его хвалилъ, потомъ окончательно исчезъ. Его надолго прикомандировали къ какой-то комиссіи, въ другой части города, у Сухаревой башни. Холсты для декорацій, между тѣмъ, были почти готовы. Ламира́ль готовилъ веселыя и, какъ говорили, любимыя Наполеономъ пастушескія оперетки, съ переодѣваньями, въ которыхъ остановка была только за декораціями. То были пьесы: *Martin et Frontin, Les folies amoureuses* и *Guerre ouverte*. Онъ съ важностью объявилъ Ильѣ, что весьма доволенъ его работою. За опереттой Ламира́ль затѣялъ даже поставить нѣчто въ родѣ небольшого балета. Потребовались новыя декораціи, за которыми Илья просидѣлъ опять довольно долго. Подъ видомъ наблюденія за театромъ, сюда, полюбезничать съ плѣнными танцовщицами, заѣзжали разныя французскія власти, въ томъ числѣ и самъ король Мюратъ. Къ Ильѣ привыкли и ему довѣряли. Онъ рѣшилъ этимъ воспользоваться и однажды отпросился у режиссера—провѣдать Дроза. Ламира́ль къ послѣднему имѣлъ, кстати, одно неоконченное дѣло по театру. Онъ далъ Ильѣ къ нему письмо, а для свободнаго прохода къ Сухаревой башнѣ досталъ ему отъ коменданта охранный листъ. Это было вечеромъ, въ концѣ сентября. Въ этотъ день артистовъ снова навѣстилъ Мюратъ, и Илья былъ личнымъ свидѣтелемъ его ухаживанья за черноглазою, статною танцовщицей Лизой. На всѣ любезности вѣнчан-

наго селадона неуступчивая плясунья, бѣшено сжимая кулаки и плача, отвѣчала:

— Сгинь ты, тьфу, чортъ пучеглазый! пусти душеньку на покаяніе!

Король, не понимая ея, милостиво улыбался.

Погода стояла прохладная. Тропининъ невдали отъ Сухаревой башни, на Садовой, обогналъ французскаго молодого рекрута изъ эльзасцевъ. Нѣмецъ-солдатикъ шелъ, съ сумкой и съ ружьемъ на плечѣ, устало посматривая по сторонамъ и какъ бы ища дороги. Илья заговорилъ съ нимъ и узналъ, что рекрутъ былъ посланъ изъ Кремля, съ бумагами въ Лефортово, гдѣ во дворцѣ былъ устроенъ главный французскій госпиталь.

— А вы куда? — спросилъ Илью румяный, съ ямочками на щекахъ, бѣлокурый эльзасецъ.

— И мнѣ туда же,—подумавъ, объявилъ Тропининъ.

— Отлично, господинъ, веселѣе будетъ, идемъ... А я, какъ видите, сбился въ сторону и таки порядочно притомился... Не совсѣмъ ладно; лошади дохнутъ, какъ мухи осенью, и теперь все приходится пѣшкомъ... Вы, не правда ли, штабный?

— Да, разсыльный, какъ и вы.

— Но у васъ сапоги будутъ поновѣе.

— Дали въ награду.

— Отлично, и мы заслужимъ, вмѣсто этого тряпья, — произнесъ солдатъ, поглядывая на свои худые, обвязанные веревочками, сапожонки.

Новые знакомцы, бесѣдуя, миновали Басманную и, черезъ Нѣмецкую улицу, вышли за Яузу. Окончательно стемнѣло. Тропининъ въ сумракѣ указалъ спутнику на освѣщенныя окна лефортовскихъ зданій. За дворцовымъ садомъ и церковью Петра и Павла, у ручья Синички, какъ онъ зналъ, было загородное введенское кладбище. Илья помнилъ эти мѣста, такъ какъ, во время студенчества, не разъ навѣщалъ въ этихъ мѣстахъ одного товарища.

— Что, другъ, не зайдете ли и вы со мной въ госпиталь? — спросилъ, отирая лицо, солдатъ: — тамъ обѣщали меня угостить бульономъ выздоравливающихъ и ихъ ви номъ... говорятъ, прелесть, особенно уставши...

— Нѣтъ, лучше вы меня проводите вонъ до той церкви,— сказалъ, осматриваясь, Илья:—поздновато, я хоть и штаб

пый, но безъ оружія; съ вами будетъ спокойнѣе!.. здѣсь, слышно, пошаливаютъ мародёры...

— Охотно. Но странно, — замѣтилъ солдатъ: — я уже однажды былъ здѣсь и даже вотъ у этой церкви; тамъ еще стояла на-дняхъ артиллерія. Теперь же кругомъ такъ тихо, точно иду здѣсь впервые; спасибо, что вы провели, я, знаете ли, близорукъ и плохо помню мѣста.

— Мнѣ къ командиру этой артиллеріи, — спокойно сказалъ Илья.

— Отлично, пойдемъ.

Солдатъ и Илья направились къ церкви Петра и Павла. Невдали отъ нея, ихъ окликнулъ часовой ночной цѣпи. Путники отвѣтили, что идутъ по службѣ.

— Куда?

— Въ церковный домъ,—отвѣтилъ Илья.

— Кой чортъ, въ такую пору!—проворчалъ конный гренадеръ, наскакивая на нихъ впотьмахъ и приглядываясь къ нимъ съ сѣдла:—куда лѣзете? въ этой глуши шныряютъ казаки; еще отнимутъ ружье и ограбятъ васъ, если не будетъ и хуже того.

— Будь спокоенъ, другъ, насъ двое!—смѣло проговорилъ Илья, шлепая далѣе по липкому и скользкому переулку, у сада:—не на такихъ нападутъ.

— Помните, тамъ уже конецъ ведётовъ.

XXIX.

Миновавъ госпиталь и часть поля, путники дошли до церковной ограды. Кругомъ было мертвенно-пустынно. Вѣтеръ шумѣлъ въ вершинахъ березъ, окружавшихъ ограду.

— Ну, дорогой мой, идите обратно, я васъ догоню или найду въ госпиталѣ, — сказалъ Илья солдату, между тѣмъ мысля: — «Не вырвать ли у него ружье и не приколоть ли его здѣсь, наединѣ, чтобъ убѣжать успѣшнѣе?»

— Да къ кому же это вы?—спросилъ Илью солдатъ, съ удивленіемъ убѣдившись, что ни возлѣ церкви, ни за нею не было признаковъ артиллеріи, стоявшей здѣсь на-дняхъ:—или,—засмѣялся онъ:—ваше порученіе къ покойникамъ?

«Приколоть?..—опять пробѣжало въ мысляхъ Ильи,—что какъ онъ догадался и дастъ знать часовымъ цѣпи?»

Солдатъ въ это время положилъ ружье и оправлялъ на ногахъ веревочки. Илья помедлилъ.

«Нѣтъ,—рѣшилъ онъ,—иди себѣ съ миромъ, добрый, бѣ-

локурый нѣмчикъ; ты противъ воли попалъ въ полчище этого злодѣя; Богъ съ тобой!»

— Неужели вы не видите? — спокойно сказалъ онъ: — вонъ домишко между деревьями; огни погашены; командиръ, очевидно, спитъ, не спятъ часовые; ихъ отсюда не видно... Я разбужу, кого мнѣ надо, отдамъ бумаги и васъ еще догоню.

— До свиданія; и то правда! я такъ близорукъ, что иной разъ думаю: ну, зачѣмъ взяли въ рекруты такую слѣпую курицу? Кстати, разузнайте у вашихъ артиллеристовъ, скоро ли, наконецъ, отпустятъ насъ съ вами домой? Можетъ-быть, они знаютъ; да берегитесь, не подстрѣлилъ бы васъ какой часовой.

— Спрошу непремѣнно и буду беречься.

Солдатъ пошелъ обратно. Илья прислушался къ его шагамъ, бережно миновалъ церковь, прилегъ за оградой и снова сталъ слушать. Вѣтеръ то затихалъ, то опять шумѣлъ, качая верхи деревьевъ. Вправо и влѣво отсюда раздавались оклики сторожевой цѣпи, вплоть до берега Синички. Сзади, надъ городомъ, стояло зарево. Широкимъ пламенемъ загорѣлась мѣстность, къ сторонѣ Басманной, гдѣ онъ такъ недавно прошелъ.

«Неужели я проскользну за вражескую черту?—съ лихорадочною дрожью подумалъ Илья, — и въ самомъ ли дѣлѣ мнѣ удастся это затѣянное безумное бѣгство? Нѣтъ, солдата могутъ остановить и спросить, куда дѣлся его недавній спутникъ; часовые поймутъ, что ихъ обманули, и бросятся меня искать... Скорѣе, скорѣе далѣе...»

Тропининъ вскочилъ на ноги. Онъ, нагнувшись, поползъ, потомъ побѣжалъ, самъ не зная, куда. Спотыкаясь впотьмахъ о рытвины и попадая въ лужи, онъ опомнился, когда увязъ по колѣно въ какихъ-то кочкахъ. То былъ берегъ Синички. Илья заползъ въ высокую траву, выбралъ болѣе сухое мѣсто и рѣшился здѣсь ждать утра. Его нога опять разболѣлась.

«Да, не уйти мнѣ, — мыслилъ онъ, — напрасная мечта! поймаютъ, захватятъ и отведутъ обратно; а тамъ, можетъ-быть, откроется и дѣло о колодцѣ... Боже! дай силы, дай мнѣ жить, на счастье осиротѣлой семьи, въ прославленіе Твое!»

Прошло болѣе часа. Ночь, въ отблескѣ дальнихъ пожарищъ, казалась еще мрачнѣе. Тропининъ забылся въ ли-

хорадочной дремотѣ. Вправо за кустами какъ бы что-то побѣлѣло.

«Неужели разсвѣтъ?» — подумалъ онъ, приподнимаясь въ травѣ.

Кругомъ было еще темно, только плёсо ручья и часть ближней рощи были освѣщены вышедшимъ изъ-за облаковъ мѣсяцемъ. Илья зналъ, что къ рощѣ, за ручьемъ, примыкало введенское кладбище, а далѣе шли овраги, сплошной лѣсъ и поля.

«Пора, пора!»—сказалъ онъ себѣ, раздѣлся, придерживая надъ головой одежду и обувь, вошелъ въ воду и, медленно ощупывая ногами болотное дно, направился къ другому берегу. Онъ нѣсколько разъ скользилъ, оступался и чуть не выронилъ платья. На серединѣ ручья холодная, какъ ледъ, вода была ему по горло. Ручей сталъ мельче. Илья еще подался и, дрожа всѣмъ тѣломъ, вышелъ на ту сторону. Обтершись кое-какъ травой, онъ одѣлся, обулся и ползкомъ направился къ кладбищу. Мѣсяцъ скрылся. Долго пробирался Илья; наконецъ, невдали онъ примѣтилъ деревья и кресты кладбища. Запыхавшись и согрѣвшись отъ движенія, онъ забрался между могилъ и сталъ обдумывать, что̀ ему дѣлать далѣе? Такъ лежалъ онъ долго. Окликовъ часовыхъ здѣсь уже не было слышно. Снова стало виднѣе.

— Нѣтъ, надо уйти до разсвѣта,—сказалъ себѣ Илья:— заберусь хоть въ ближній лѣсъ.

Онъ всталъ и бережно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ. Вправо, между могилъ послышался шорохъ. Илья вздрогнулъ и въ ужасѣ сталъ присматриваться.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, полуосвѣщенный мѣсяцемъ, образовался высокій, бородатый, въ истрепанномъ подрясникѣ, человѣкъ. Незнакомецъ былъ, очевидно, также смущенъ. При видѣ французской военной шинели и такой же фуражки Ильи, онъ долго не могъ выговорить ни слова.

— Врагъ ты, или другъ? (Utrum hostis, an amicus es)? — проговорилъ по-латыни густымъ, дрожащимъ басомъ незнакомецъ:—взгляни и пощади! (respice et parce!)—жалобно прибавилъ онъ, указывая на ребенка, лежавшаго у его ногъ, въ травѣ.

«Вѣроятно, кладбищенскій священникъ!—радостно подумалъ Илья,—принимаетъ меня за француза».

— Успокойтесь, батюшка, я самъ русскій, — отвѣтилъ

Илья:—и такой же несчастный, какъ, очевидно, и вы! мое имя—Илья Тропининъ.

— Я же дьяконъ, Савва Скворцовъ, изъ Кудрина, а это мой племяшёкъ! — сказалъ незнакомецъ: — что̀ испыталъ, страшно и передать. Грабители, охъ, Господи, сожгли домъ! — это бы еще ничего; отняли все имущество — и это преходящее дѣло; нагъ родился, нагъ и остался. Но они, въ мое отсутствіе, увели мою жену... По̀ля, По̀личка, гдѣ ты?—тихо проговорилъ, всхлипывая, дьяконъ.

Онъ, ухватясь за голову, опустился на могильную плиту. Его плечи вздрагивали. Проснувшійся племянникъ испуганно глядѣлъ на дядю и стоявшаго передъ нимъ Илью.

— Какъ завидѣлъ васъ, — проговорилъ дьяконъ: — ну, думаю, поискъ, ихній патруль, опять въ ихъ рукахъ, кончено... а тутъ вы встали, да прямо на меня... Душа подчасъ, какъ видите, бренна, хоть тѣломъ я и Самсонъ... и за всѣ ихъ злодѣйства, вотъ такъ бы, хоть и слуга алтаря, съ ножемъ пошелъ бы на нихъ.

Тропининъ разсказалъ о своемъ плѣнѣ.

— Не подобаетъ мнѣ клястись, ваше благородіе, — произнесъ дьяконъ Савва: — самъ вижу! только я поклялся... Искалъ я жену вездѣ въ ихъ вертепахъ, ходилъ, подавалъ просьбы ихъ начальству и маршаламъ, — еще и смѣются. Взялъ я тогда этого препорученнаго мнѣ сироту, вышелъ сегодня огородами, думалъ на Андроніевъ монастырь, да заблудился,—попалъ сюда. Дай Господи дотянуть до своихъ, сдать племянника. Попомнятъ, изверги, Савву.

— Вамъ, отецъ дьяконъ, куда?

— На Коломну.

— И мнѣ туда же, на Рязань; моя семья въ моршанскомъ уѣздѣ.

— Не будемъ же, сударь, терять времени, — сказалъ дьяконъ: — коли угодно, вмѣстѣ двинемся съ Богомъ въ путь; кажись, разсвѣтаетъ.

Путники миновали поляну и вошли въ лѣсъ. Долго они пробирались чащей деревъ и кустами. Утро ихъ застало у прогалины, на которой стояла пустая лѣсная сторожка. Они ее обошли и рѣшили отдохнуть у озерка, въ гущинѣ лѣса. У дьякона оказалось нѣсколько сухарей. Они закусили, напились и, остерегаясь встрѣчи съ врагами, просидѣли здѣсь до заката солнца. Савва разсказалъ Ильѣ, что

онъ кончилъ ученіе въ семинаріи, былъ нѣсколько лѣтъ пѣвчимъ въ Чудовѣ, женился только весною и, въ ожиданіи священническаго мѣста, пока былъ поставленъ въ дьяконы. Его горю, при воспоминаніи о женѣ, не было границъ. Онъ твердилъ, что, едва сдастъ роднымъ племянника, готовъ взять оружіе и идти на враговъ; авось примутъ въ ополченіе. Вечеромъ путники двинулись снова въ дорогу, шли всю ночь и, утромъ слѣдующаго дня, радостно заслышали собачій лай. Невдали передъ ними, за лѣсомъ, сталъ виденъ поселокъ. Кто въ немъ? Свои или чужіе? Они вышли на владимірскую дорогу.

XXX.

Стоя на грозномъ допросѣ передъ маршаломъ Давў, Перовскій, наконецъ, разобралъ и понялъ то важное и роковое, что̀ о немъ говорилъ адъютантъ герцога, Оливьѐ.

— Этотъ господинъ, — почтительно сказалъ Оливьѐ: — я отчетливо и хорошо это помню, — моложе и ниже ростомъ того плѣннаго, о которомъ ваша свѣтлость спрашиваете.

Точно снопъ солнечныхъ лучей блеснулъ въ глаза Перовскому; полное ужаса, гнетущее бремя скатилось съ его груди. Онъ съ усиліемъ перевелъ дыханіе, стараясь не проронить ни слова изъ того, что̀ далѣе говорилъ передъ нимъ его нежданный защитникъ.

Лицо маршала, къ удивленію Базиля, также прояснѣло. Въ немъ явилось нѣчто, менѣе угрюмое и жесткое.

— Но вы опять мямлите, — сказалъ адъютанту герцогъ, будто не желая поддаться осѣнившему его доброму впечатлѣнію: — у васъ вѣчно, чортъ возьми, точно недоѣденная каша во рту...

— Тотъ плѣнный, ваша свѣтлость, — также почтительно и мягко проговорилъ Оливьѐ: — былъ головою выше этого господина... я какъ теперь его вижу... Онъ былъ въ морщинахъ и съ родимымъ пятномъ на щекѣ... ходилъ переваливаясь. И если бы вамъ, — продолжалъ дрогнувшимъ голосомъ и поблѣднѣвъ Оливьѐ: — не угодно было мнѣ повѣрить, я готовъ раздѣлить съ этимъ плѣннымъ ожидающую его судьбу.

— Довольно!..—рѣзко перебилъ Давў:—въ вашемъ великодушіи не нуждаются; а вы,—обратился онъ къ Перовскому:—какъ видите, спасены по милости этого моего подчиненнаго... Можете теперь идти къ прочимъ вашимъ товарищамъ.

Перовскій неподвижно стоялъ нѣсколько мгновеній, вглядываясь въ Давý, который, очевидно, былъ доволенъ и своимъ рѣшеніемъ и растерянностью своего плѣннаго. Не кланяясь и не произнося ни слова, Базиль обернулся и, пошатываясь, направился къ двери. Какъ его затѣмъ провели на крыльцо, указали ему калитку въ садъ и сдали на руки стражи, оберегавшей жилище плѣнныхъ, онъ едва сознавалъ.

Арестанты маршала помѣщались въ недостроенномъ деревянномъ флигелѣ, покрытомъ черепицей, но бывшемъ еще безъ половъ и печей.

Не доходя до этого зданія, Базиль услышалъ пѣніе и гулъ голосовъ тѣхъ, кто въ немъ помѣщался. Здѣсь были захваченные на улицахъ и при выходѣ изъ Москвы торговцы, господскіе слуги, подозрѣваемые въ грабежѣ и въ поджогахъ чернорабочіе, два-три чиновника и нѣсколько военныхъ и духовныхъ лицъ. Между послѣдними Перовскій разглядѣлъ и толстяка, баташовскаго дворецкаго, Максима; тотъ, увидя его, заплакалъ. Люди изъ простонародья коротали свои досуги мелкими работами на французовъ и добываніемъ для себя харчей, а выпросивъ у французовъ водки и подвыпивъ, — заунывными пѣснями. Дворянскій, духовный и купеческій отдѣлъ флигеля былъ благообразнѣе и тише. Большинство здѣсь заключенныхъ сидѣли молча и мрачно, понурившись или вполголоса бесѣдуя о томъ, скоро ли конецъ войны и ихъ плѣна. Здѣсь Базиль узналъ, что Наполеонъ, съ цѣлью поднятія раскольниковъ, посѣтилъ преображенскій скитъ, а на-дняхъ призвалъ къ себѣ во дворецъ продавщицу дамскихъ нарядовъ съ Дмитровки, Оберъ-Шальмé, и что эта «оберъ-шéльма», какъ ее звали москвичи, толковала съ нимъ объ объявленіи воли крестьянамъ.

Перовскій увидѣлъ, что во флигелѣ, въ отведенномъ ему углу, ему приходилось спать на голой землѣ. Тутъ къ нему съ услугами обратился румяный, рослый и постоянно веселый малый, котораго звали Сенька Кудинычъ. Съ рыжеватыми, кудрявыми волосами, сѣрыми, смѣющимися глазами, этотъ, какъ узналъ Базиль, лакей какой-то графини, обиталъ на половинѣ чернорабочихъ, гдѣ особенно голосисто запѣвалъ хоровыя пѣсни. Онъ, добродушно поглядывая на Базиля, безъ его просьбы наносилъ ему изъ сада сухихъ

листьевъ, нарвалъ травы и живо изъ этихъ припасовъ устроилъ ему постель. Скаля бѣлые, точно выточенные изъ слоновой кости, зубы и приговаривая: «вотъ такъ будоваръ! только шлафрока да туфельковъ нѣту; заснете, ваша милость, какъ на пуховичкѣ!»—онъ даже подмелъ вокругъ этой постели и посыпалъ пескомъ. Разговаривая съ нимъ, Базиль узналъ, что у Кудиныча была зазноба, горничная его графини, Глаша, и, по его просьбѣ, написалъ ей, отъ его имени, письмо.— «Но какъ же ты ей пришлешь письмо?» — спросилъ онъ его. Сенька отвѣтилъ: «не вѣкъ тутъ будемъ сидѣть; уловъ не уловъ, а обрыбиться надо!» — и спряталъ письмо за голенище.

Въ первые дни своего пребыванія въ садовомъ флигелѣ, Перовскій, какъ и прочіе плѣнные, ходилъ, въ сопровожденіи конвоя, въ окрестные огороды и сады, на Москвѣ-рѣкѣ, собирать картофель, капусту и другіе, тогда еще не расхищенные овощи. Плѣнныхъ отпускали также въ мясное депо, т.-е. на бойню, устроенную невдали, въ переулкѣ, на Прѣснѣ, гдѣ они помогали французамъ въ убиваніи и свѣжеваніи приводимыхъ фуражирами великой арміи коровъ, быковъ и негодныхъ для службы лошадей, причемъ на долю плѣнныхъ доставались разные мясные отбросы и требуха. Кудинычъ въ такія командировки особенно всѣхъ потѣшалъ своими пѣснями и шутовскими выходками. Вскорѣ, однако, эта фуражировка прекратилась. Припасы у французовъ сильно истощились. Плѣнныхъ стали кормить только сухарями и крупой.

Однажды,—это было недѣли черезъ двѣ послѣ водворенія въ садовомъ флигелѣ милюковской фабрики,—Перовскій замѣтилъ особое оживленіе и суету у квартиры Даву. Онъ понялъ, что у французовъ готовилось нѣчто особенное. Изъ сада было видно, какъ у дома, занимаемаго маршаломъ, сновали адъютанты, по двору бѣгали ординарцы и куда-то скакали верховые.— «Походъ, походъ! — радостно говорили другъ другу арестованные:—насъ, очевидно, рѣшили размѣнять и отправить на аванпосты».

Было утро 17-го сентября. Русскихъ плѣнныхъ вывели изъ ихъ жилья, сдѣлали имъ перекличку и повели, но не въ Рогожскую, или Серпуховскую заставу, а въ Дорогомиловскую. Здѣсь они увидѣли еще нѣсколько сотъ другихъ плѣнныхъ, содержавшихся до тѣхъ поръ въ иныхъ мѣстахъ Москвы.—«Васъ куда?»—спрашивали товарищей плѣнные

герцога Давў. — «Не знаемъ...» — Подъѣхалъ верхомъ толстый, озабоченный генералъ. Онъ бѣгло осмотрѣлъ плѣнныхъ и далъ знакъ. Прогремѣлъ барабанъ, часть конвоя стала впереди отряда; другая—сзади его. Раздалась команда, и всѣ двинулись по пути къ старой смоленской дорогѣ. — «Да, вѣдь, это опять къ Можайску,—толковали плѣнные:— неужели французы отступаютъ?» — Одни радовались, другіе молча вздыхали.

Отрядъ прошелъ верстъ десять. Перовскій разглядывалъ пеструю, двигавшуюся рядомъ съ нимъ и впереди его толпу. Двое изъ плѣнныхъ русскихъ офицеровъ, въ этомъ отрядѣ, еще ѣхали въ собственной коляскѣ одного изъ нихъ, приглашая въ нее отставшихъ на пути товарищей. При этомъ нѣсколько переходовъ и Базилю довелось проѣхаться съ ними. Онъ радовался и удивлялся этой льготѣ, видя, что и другіе плѣнные, слуги и торговцы, которыхъ по бородѣ считали за переодѣтыхъ казаковъ, были также не лишены разныхъ снисхожденій отъ своихъ надсмотрщиковъ. У купцовъ оказалась запасная провизія и даже чайникъ для сбитня. Дворовые же разныхъ баръ, въ томъ числѣ баташовскій Максимъ и Сенька Кудѣнычъ, шли еще въ собственныхъ фракахъ, ливреяхъ, ботфортахъ и даже въ шляпахъ съ галуномъ и плюмажами. Льготы вскорѣ, однако, прекратились. Передъ однимъ изъ приваловъ, высокій, рябой и плоскогрудый, съ женскою мантильей на плечахъ, начальникъ конвоя, подойдя къ офицерамъ, ѣхавшимъ въ коляскѣ, молча взялъ одного изъ нихъ за руку, вывелъ его въ дверцы, потомъ другого и, спокойно помѣстившись со своимъ помощникомъ въ экипажѣ, болѣе туда уже не допускалъ его хозяевъ.

Прошли еще нѣсколько верстъ. Къ ночи пошелъ дождь и подулъ рѣзкій, студеный вѣтеръ. На привалѣ всѣ сильно продрогли. Разбуженный на зарѣ, Базиль увидѣлъ, какъ медленно, въ туманномъ разсвѣтѣ, поднимался и строился къ дальнѣйшему походу отрядъ. Ливрей и шляпъ на плѣнныхъ лакеяхъ уже не было, и они, въ большинствѣ, поплелись по грязи полураздѣтые и босикомъ. Мелкій, холодный дождь не прекращался. Базиль прозябъ, хотя надѣялся отъ движенія согрѣться. Но, едва отрядъ двинулся къ какому-то мосту, конвойный фельдфебель остановилъ Базиля у входа на этотъ мостъ и, предложивъ ему сѣсть у дороги, вѣжливо снялъ съ него крѣпкіе его сапоги и, похлопывая по нимъ

рукою и похваливая ихъ, бережно надѣлъ на себя, а ему далъ свои опорки. Базиль, опасаясь болѣе наглыхъ насилій, рѣшилъ до времени это снести. Онъ пошелъ далѣе, обернувъ полученные опорки какими-то тряпками. Баташовскій дворецкій, въ первый день плѣна такъ радушно угощавшій Базиля, шелъ также въ однѣхъ портянкахъ.

— И съ тебя сняли сапоги?—спросилъ его Перовскій.

— Сняли,—безучастно отвѣтилъ Максимъ.

— А скажи, такъ, откровенно, между нами: ты тогда, помнишь, какъ стоялъ Мюратъ, поджёгъ вашъ дворъ?

Дворецкій оглянулся и подумалъ.

— Я,—отвѣтилъ онъ, вздохнувъ.

— Кто же тебя надоумилъ?

Максимъ поднялъ руку.

— Вотъ кто,—сказалъ онъ, указывая на небо:—да графъ Ѳедоръ Васильевичъ Растопчинъ; онъ призывалъ кое-кого изъ насъ и по тайности сказалъ: какъ войдутъ злодѣи, понимаете, ребята? начинайте съ моего собственнаго дома на Лубянкѣ. Мы и жгли...

Дождь вскорѣ смѣнился морозомъ. Дорога покрылась глыбами оледенѣлой грязи. Изнеможенные, голодные, съ израненными, босыми ногами, плѣнные стали отставать и падать по дорогѣ. Ихъ поднимали прикладами. Привалы замедлялись. Конвойные офицеры выходили изъ себя. Тогда начались извѣстныя безобразныя сцены молчаливаго пристрѣливанія французами больныхъ и отсталыхъ русскихъ. Это, какъ замѣтилъ Перовскій, начали совершать, большею частью, при подъемѣ отряда съ ночлега, впотьмахъ. Впервые заслыша рѣзкіе, одиночные выстрѣлы сзади поднятаго и снова двигавшагося отряда, Перовскій спросилъ одного изъ шедшихъ близъ него конвойныхъ, что это такое? Солдатъ, мрачно хмурясь и пожимая плечами, отвѣтилъ: «Ночная похлебка вашихъ собратій!» («Soupe de minuit de vos confrères»).

Содрогаясь при повтореніи этихъ звуковъ, Перовскій со страхомъ сталъ поглядывать на свои босыя, обернутыя тряпьемъ ступни.—«Боже!—думалъ онъ,—долго ли разболѣться и моимъ бѣднымъ, усталымъ ногамъ? эта участь, эта ночная похлебка ждетъ и меня!»—Онъ, въ такія мгновенія, вынималъ съ груди образокъ, данный Авророй, и горячо на него молился.

На одномъ изъ приваловъ Базиль, увидѣвъ вспыхнувшіе

въ темнотѣ одиночные огни и услышавъ эти знакомые, роковые выстрѣлы, не утерпѣлъ и съ укоризной обратился къ начальнику конвоя.

— Какъ можете вы, капитанъ, допускать такое безчеловѣчіе?—сказалъ онъ:—у моихъ товарищей отняли экипажъ, у меня сняли сапоги; это еще понятно,— право сильнаго... но неужели вамъ предписаны эти убійства?

— Воля императора,—сурово отвѣтилъ конвойный офицеръ.

— Но чѣмъ можетъ быть оправдано такое звѣрство? и чѣмъ, извините, это лучше возмездія индѣйскихъ каннибаловъ, съѣдающихъ своихъ беззащитныхъ плѣнныхъ?

Офицеръ, оправляя на себѣ воротникъ, жавшій ему щеки, покосился на жалкую обувь Перовскаго.

— Послушайте! вы неповолительно рѣзко выражаетесь,— строго отвѣтилъ онъ:—берегитесь! тѣмъ болѣе, что всякъ изъ васъ, въ томъ числѣ и ты, можете подвергнуться тому же.

Онъ помолчалъ.

— Вы насъ укоряете, наконецъ, въ насиліяхъ,— заключилъ онъ:—но сами же вы во всемъ виноваты; вы безразсудно сожгли собственныя села и города; госпиталей и аптекъ у васъ нѣтъ. Куда же, скажите, дѣвать намъ вашихъ же немощныхъ и больныхъ? сдавать вашимъ партизанамъ? слуга покорный! Вы отлично поймете, что отсталые и больные оправятся, а оправясь, нанесутъ намъ неисчислимый вредъ. Необходимость каждой войны... а вы—ея зачинщики...

Лежа въ бурю и стужу на мерзлой землѣ и чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще слыша ужасные, каждый день повторявшіеся выстрѣлы, Перовскій съ ужасомъ увидѣлъ, что его ноги разболѣлись и стали пухнуть. Онъ опасался заснуть, чтобы во снѣ не отморозить ногъ. Забываясь краткою, тревожною дремотой, онъ вскакивалъ въ испугѣ и начиналъ ходить, стараясь себя размять и отогрѣть.

Отрядъ съ плѣнными миновалъ Можайскъ и подошелъ къ Бородину. Здѣсь, пятьдесятъ два дня назадъ, въ присутствіи Перовскаго, гремѣло столько орудій и пало столько мертвыхъ и раненыхъ. Невдали же отсюда, изъ Новоселовки, три съ половиною мѣсяца назадъ, Базиль уѣзжалъ въ армію, такой счастливый и съ такими свѣтлыми надеждами. Стало таять.

Былъ вѣтренный, холодный вечеръ. Начиналъ опять накрапывать дождь. Окоченѣлые отъ стужи плѣнные и ихъ

провожатые обрадовались привалу, прилегли въ обгорѣлыхъ остаткахъ какой-то деревушки, невдали отъ обширнаго холма, по бокамъ и у подошвы котораго во множествѣ еще валялись неубранныя тѣла людей и лошадей. — «Боже мой! — сказалъ плѣнный русскій офицеръ, у котораго отняли коляску:—смотрите, я узналъ... вѣдь это—курганная батарея Раевскаго!»—Базиль вспомнилъ Наполеона, скакавшаго сюда со свитой на бѣломъ конѣ.

Едва плѣнные прилегли, между ними неожиданно раздалась залихватская плясовая пѣсня. Иные встрѣтили ее дружнымъ хохотомъ. Пѣлъ веселый верзила Сенька Кудинычъ. Онъ, вскидывая руки вверхъ и глядя на свои ноги, плясалъ и приговаривалъ:

Сидитъ сова на печи,
Крылышками треплючи;
Ноженьками топъ, топъ,
Очеиьками лопъ, лопъ.

Сенька, очевидно, продѣлывалъ ногами и глазами то, о чемъ пѣлъ, такъ какъ смѣхъ слушателей не прекращался.

Перовскій съ содроганіемъ слушалъ это лакейское шутовство. Онъ размоталъ тряпки на своихъ ступняхъ, приподнялъ ихъ и увидѣлъ, что его ноги, отъ колѣнъ до подошвъ, были покрыты ссадинами, а кое-гдѣ даже и ранами. Въ тотъ день онъ былъ очень голоденъ и сильно обрадовался полугнилой луковицѣ, найденной въ сору деревушки, гдѣ остановили плѣнныхъ.—«Погибъ я, погибъ!»—думалъ онъ, безучастно глядя на французскихъ солдатъ, которые, тѣмъ временемъ, пустились рыться въ пеплѣ и сорѣ деревушки, также отыскивая тамъ жалкіе остатки съѣдомаго. Рослый фельдфебель, снявшій съ Базиля сапоги и въ послѣднее время ходившій въ заячьей женской душегрѣйкѣ и въ бѣлой, гдѣ-то добытой шелковой муфтѣ, взялъ часть конвойныхъ и съ топоромъ повелъ ихъ къ редуту.

Въ сумеркахъ вечера оттуда послышались странные звуки, точно тамъ, на безлѣсномъ холмѣ, рубили дрова.

— Рубятъ ноги мертвецамъ!—усмѣхнулся, подсаживаясь къ Перовскому, Кудинычъ:—сапоги сымаютъ.

— Ну, такъ что же,—отвѣтилъ, заплетая себѣ ноги, Базиль:—мертвому все равно...

— А какъ ѣнъ еще живъ?

— Кто?—удивился Базиль.

Куди́нычъ опять оскалилъ зубы.

— Да мертвецъ-то,—сказалъ онъ.

— Полно, Семенъ, почти два мѣсяца прошли.

— Не вѣрите, баринъ? Давеча Прошка, Архаровыхъ буфетчикъ, набрелъ въ партіи, у Татаринова, что ли, на одного такого же убитаго, ткнулъ его, этакъ-то на ходу, ступней, а ёнъ и охнулъ... живъ! Мы къ нему: чѣмъ ты, сердечный, жилъ столько дёнъ? Я, говоритъ, ребятушки, лазилъ ночью, вынималъ изъ сумокъ у настоящихъ мертвыхъ сухари и ѣлъ.

— Куда же вы его?—спросилъ Базиль.

— Кого?

— Да этого-то живого?

— А куда же!—отвѣтилъ Куди́нычъ:—ёнъ все просилъ,—прекратите вы меня, ради Христа; выходитъ,—добейте; ну, куда? не всѣ наши разбѣжались, авось его найдутъ и сберегутъ.

XXXI.

Отрядъ плѣнныхъ достигъ Краснаго. Невдали отъ него, Перовскій убѣдился, что силы окончательно ему измѣняютъ. Онъ уже едва тащился, не помня и не сознавая, какъ и гдѣ онъ шелъ. То онъ видѣлъ себя впереди отряда, то чуть не сзади всѣхъ. Его била лихорадка, попеременно бросая его въ холодъ и жаръ. Онъ пришелъ къ ясному и безповоротному убѣжденію, что его конецъ близокъ. Въ тотъ день французы пристрѣлили еще нѣсколько отсталыхъ. Смеркалось.

Перовскій, въ бреду, въ полузабытьѣ, шагалъ изъ послѣднихъ силъ. Онъ, замирая, вглядывался въ придорожныя, безлистыя вербы, къ которымъ приблизился отрядъ, и съ болѣзненнымъ трепетомъ соображалъ, у какой же именно изъ этихъ вербъ онъ окончательно пристанетъ, упадетъ, и его безжалостно пристрѣлятъ?

— Баринъ, — раздался возлѣ него знакомый голосъ Куди́ныча.

Перовскій испуганно обернулся.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ.

— Тише, баринъ,—проговорилъ вполголоса Куди́нычъ:—вижу, вы измаялись; моченьки нѣту и моей... замыслилъ я, сударь, бѣжать; такъ мнѣ все теперь равно, возьмите мои лапти.

— Какъ лапти? а тебѣ?—возразилъ, не останавливаясь, Перовскій: —опомнись, гдѣ тутъ думать о побѣгѣ? поймаютъ, убьютъ...

— Одна, ваше благородіе, смерть!—отвѣтилъ Кудѝнычъ:— впередъ ея наживайся, — придетъ, не посторонишься; сподобитъ Господь, уйду и въ подвёрткахъ! а это — снаружи только лапти, а снутри валенки... оченно удобно! Вотъ и привалъ...

Отрядъ въ это время подошелъ къ опушкѣ лѣса и остановился. Кудѝнычъ проворно сѣлъ на землю и снялъ съ себя валенки.

— Извольте принять Сенькину память,—сказалъ онъ.

— Одумайся, Семенъ,—отвѣтилъ Базиль:—у тебя, навѣрное, есть мать, отецъ; когда-нибудь да увидѣлся бы съ ними, а такъ...

— Голякъ я, сударь, и сирота, какъ есть... а что затѣялъ—исполню.

— Одумайся, говорю тебѣ, слѣдятъ за нами въ столько глазъ; поймаютъ...

— Оно точно, налетаетъ топоръ и на сукъ; только увидите,—отвѣтилъ, загадочно куда-то посматривая, Кудѝнычъ:— валенки же, сударь, мнѣ Глаша про запасъ къ осени поднесла, какъ уѣзжала изъ Москвы съ господами; сапоги отняли французы, а въ этихъ дошелъ,—дойдете и вы.

Перовскій не возражалъ. Сенька помогъ ему переобуться. Ощущая невыразимую отраду отъ надѣтыхъ, просторныхъ, теплыхъ и оплетенныхъ сверху лыками валенокъ, Базиль даже не пошелъ къ общему котлу, а прилегъ въ затишьѣ оврага, куда отъ вѣтра попрятались болѣе изморенные плѣнные, и крѣпко заснулъ.—«И у Сеньки своя зазноба!»—думалъ, засыпая, Базиль. Хмурый вечеръ, редутъ съ мертвыми тѣлами, конвойные и оврагъ — все исчезло. Передъ нимъ снова было лѣтнее небо, а на небѣ ни тучки. Базилю представилось, что онъ съ Авророй шелъ по какой-то зеленой, чудно-пахучей полянѣ. Голубые и розовые цвѣты сплошь застилали травяной коверъ. Съ небесной синевы неслись пѣсни жаворонковъ. Надъ поляной порхали бабочки, роились мухи и жучки.—«А молишься ли ты Покрову Божьей Матери?» — спросила Перовскаго Аврора. Онъ разстегнулъ мундиръ, сталъ искать иконку, которою, какъ онъ помнилъ, она благословила его на прощаньѣ, и не находилъ. Его пальцы судорожно бѣгали по груди, опускались въ карманы жилета и истрепанной, порванной его шинели. Онъ, смѣшавшись и не глядя на Аврору, думалъ: «Боже мой! да

гдѣ же образокъ? неужели я его потерялъ?.. и гдѣ, гдѣ?»— Аврора, пристально глядя на него, ожидала.

Кто-то сильно толкнулъ Перовскаго. Надъ его ухомъ раздался громкій, суровый окликъ. Онъ открылъ глаза. Надъ нимъ стоялъ, въ женской мѣховой кофтѣ и съ бѣлою шелковою муфтой на перевязи, фельдфебель. Начинался разсвѣтъ. Кругомъ опять моросилъ дождь.

— Въ дорогу, пора! экой соня! — твердилъ, теребя Перовскаго, фельдфебель.

Базиль быстро всталъ, оглянулся. Отрядъ уже былъ выстроенъ надъ окраиной оврага и готовился выступить. Но едва передовая часть плѣнныхъ двинулась и, волнуясь, вошла въ опушку лѣса, раздался выстрѣлъ, потомъ еще нѣсколько. Базиль вздрогнулъ, удивляясь, что знакомые ему выстрѣлы необычно послышались впереди, а не сзади отряда. Въ блѣдныхъ сумеркахъ утра, передъ опушкой лѣса, что-то суетилось. Базиль, пройдя еще нѣсколько шаговъ, разглядѣлъ, что часть конвоя, отдѣлясь отъ отряда, гналась за кѣмъ-то по лѣсу. Другіе осматривали что-то неподвижное и темное, лежавшее навзничь у дорожной канавы. Раздавались тревожные крики. Отрядъ скучился, остановился. Пошли толки. Всѣ спрашивали, и никто не могъ дать точнаго отвѣта.

Вскорѣ оказалось, что одинъ изъ плѣнныхъ,—именно Кудинычъ,—при входѣ въ лѣсъ, нежданно выхватилъ у ближайшаго конвойнаго ружье и, отмахиваясь его прикладомъ, бросился въ кусты. Будившій Перовскаго длинный фельдфебель, въ кофтѣ и съ бѣлою муфтой, первый опомнился и скомандовалъ стрѣлять по бѣглецу, достигшему уже чащи деревъ. Выстрѣлы затрещали. Сенька обернулся, прицѣлился изъ-за вѣтвистаго дерева и уложилъ фельдфебеля на мѣстѣ. Пока остальные спохватились и, со штыками на перевѣсъ, по вязкой, желтой грязи, погнались за нимъ,— этотъ сильный, рослый человѣкъ, мелькая обернутыми въ тряпки ногами, какъ легкій степной заяцъ перемахнулъ черезъ ближніе кусты и поляну, бросился въ гущину, достигъ небольшого ручья, кинулся въ воду, переплылъ на другой берегъ и скрылся въ темной чащѣ безъ слѣда. Погоня снова стрѣляла по немъ, уже наугадъ, потомъ оставила его, рѣшивъ, что однимъ изъ выстрѣловъ бѣглецъ, перебѣгая поляну, былъ раненъ и, по всей вѣроятности, опасно. Это было передъ Вязьмой.

Все уменьшаясь въ количествѣ, отрядъ плѣнныхъ дошелъ до Смоленска и направился къ Витебску. Выпалъ снѣгъ. Путь становился непроходимъ. Вынося тяжкія, нечеловѣческія страданія, первые отряды плѣнныхъ миновали русскую границу въ страшную метель и при двадцати-градусномъ морозѣ.

Перовскій, благодаря валенкамъ Сеньки, болѣе терпѣливо перенесъ тягости пути.—«Кудинычъ, Кудинычъ! — мыслилъ онъ, вспоминая его,—ты спасъ меня, добрая, русская душа; но живъ ли, уцѣлѣлъ ли ты самъ? И если дѣйствительно, какъ увѣряютъ, ты раненъ погоней, спаси тебя Богъ и вознагради за то, что ты мнѣ, молодому, жаждущему жизни, далъ средство еще пожить, далъ возможность бороться, страдать и надѣяться. Не вѣчно же надъ нами будетъ длиться эта пытка цивилизованныхъ палачей. Рано ли, поздно ли, авось возвратится то, что было мнѣ такъ близко и что я, повидимому, навсегда потерялъ».

Въ Польшѣ плѣнныхъ взяли на подводы. Пруссію они миновали, хотя сильно голодая, въ крытыхъ экипажахъ. Перовскій въ Пруссіи заболѣлъ; лихорадка смѣнилась горячкой, и онъ пролежалъ болѣе двухъ мѣсяцевъ въ госпиталѣ. Здоровье Базиля возвратилось съ весной. Сердобольная жена и дочь лѣчившаго его врача, когда онъ сталъ оправляться, принесли ему букетъ весеннихъ цвѣтовъ. Увидѣвъ цвѣты, онъ разрыдался.—«Аврора, Аврора!—мысленно повторялъ онъ, глядя на солнце и цвѣты, — гдѣ ты? увидимся ли съ тобой?»

XXXII.

Княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, оставивъ Москву за два дня до вступленія туда французовъ, изнемогла дорогою отъ огорченій и суеты и, съ остановками, то разбивая палатку у дороги, то заѣзжая на постоялые дворы, успѣла добраться только до своего коломенскаго помѣстья, сельца Ярцева, черезъ которое обыкновенно лежалъ ея дальнѣйшій путь въ ея тамбовскую вотчину, село Паншино. При малѣйшемъ оврагѣ или холмѣ, княгиня кричала: — «стой, стой, не могу!»—и выходила изъ экипажа. Въ Паншинѣ. издавна была болѣе устроенная усадьба, и теперь, съ начала августа, тамъ, въ ожиданіи бабки и сестры, проживала съ сыномъ Ксенія Валерьяновна Тропинина. Ярцево было въ сторонѣ отъ большой дороги, верстахъ въ девяносто отъ Москвы и около двадцати верстъ не доѣзжая Коломны.

На второй день пути, поздно вечеромъ, уже въ виду Ярцева, странники примѣтили за собою сильное зарево.

— Ахъ, бабушка, вѣдь это горитъ Москва! — первая вскрикнула ѣхавшая въ каретѣ съ бабкой Аврора.

Экипажъ остановился. Кучеръ и слуги, разглядывая зарево, дѣлали разныя предположенія. Сомнѣнія не было: французы заняли и зажгли Москву. Отъ такой новости княгиня еще болѣе смутилась и расхворалась. Съ трудомъ доѣхавъ до Ярцева, она объявила, что далѣе двинуться не въ силахъ и должна нѣкоторое время перебыть здѣсь. Кстати въ Ярцевѣ она застала свой московскій обозъ, съ Маремьяшей, новоселовскою Ефимовной и прочею прислугою.

— Французы воротились отъ Бронницъ, — говорила княгиня: — я теперь покойна; до нихъ отсюда далеко, да ихъ и сторожитъ Кутузовъ.

Съ помощью Авроры и Маремьяши, ярцевскій домъ былъ наскоро приведенъ въ порядокъ, и все въ обиходѣ княгини, по возможности, было налажено. Въ полуопустѣлой Коломинѣ накупили провизіи, нашли и договорили врача,—навѣщать больную,—а въ запущенномъ флигелѣ и дворовыхъ избахъ кое-какъ размѣстили прибывшую съ княгиней и при обозѣ ея многочисленную московскую дворню, слугъ, буфетчиковъ, поваровъ, парикмахеровъ и горничныхъ. Разобравъ сундуки и ящики, Аврора нашла даже кровать княгини на стеклянныхъ ножкахъ, съ шелковыми подушками и одѣяломъ, и, въ видахъ спасенія отъ грозы, какъ въ Москвѣ, снабдила ими спальню бабки. Княгиня, завидѣвъ при этомъ шелковый портретъ Наполеона, вышла изъ себя и велѣла привѣсить его въ залѣ, съ надписью: «Assassin et scélérat»— («убійца и злодѣй»).

Въ Ярцевѣ кое-какъ устроилась жизнь, похожая на ту, которую Анна Аркадьевна обыкновенно вела въ Москвѣ. Утро проходило въ одѣваньѣ княгини и въ ея жалобахъ на здоровье и въ кормленіи собачекъ Лимки, Тимки и Тутика; потомъ Аврора, въ ея спальнѣ или въ гостиной, если туда выходила княгиня, читала ей что-нибудь вслухъ. Княгиню обрадовалъ урожай плодовъ въ ярцевскомъ саду; ей на блюдѣ были принесены ея любимыя яблоки—звонокъ и мордочка. Вечеромъ, у чайнаго стола, либо опять было чтеніе, либо Маремьяша и Ефимовна поочередно, съ мулками въ рукахъ, разсказывали о томъ, что слышали въ тотъ

день отъ старосты и дворовыхъ о мѣстныхъ и иныхъ новостяхъ, а княгиня подъ ихъ толки раскладывала пасьянсъ. Лакеи играли въ передней въ носки. Горничныя хоромъ въ дѣвичьей пѣли пѣсни, причемъ имъ подтягивали густымъ басомъ Власъ и нѣжнымъ баритономъ арапчёнокъ Варлашка. Ложились спать послѣ ранняго ужина.

Въ этомъ селѣ и въ его окрестностяхъ было, впрочемъ, полное отсутствіе новостей съ недалекаго театра войны. И если бы не уѣздный врачъ и коломенскій предводитель дворянства, изрѣдка заѣзжавшіе къ княгинѣ съ отсталыми газетными и словесными слухами о русской арміи, оставившей Москву, можно было бы, глядя на эти мирныя поля и обычно-копошившихся по нимъ крестьянъ, предполагать, что грозная, упавшая на Россію война происходила гдѣ-либо, не въ восьмидесяти верстахъ оттуда, а за тридевять земель и въ иномъ, тридесятомъ государствѣ. Это возмущало и выводило изъ себя Аврору столько же, какъ и балетъ, и опера, шедшіе въ Москвѣ чуть не въ самый день вступленія туда французовъ.

Погода съ половины и до конца сентября стояла теплая, свѣтлая и сухая. Листья на деревьяхъ, въ саду и въ окольныхъ березовыхъ лѣсахъ еще были свѣжи и почти не осыпались. Ихъ зелень только кое-гдѣ была живописно тронута золотомъ, лиловыми и красными тѣнями. Сельскія работы шли своимъ чередомъ. Ярцевскіе и сосѣдніе мужики, посѣявъ рожь, пахали, двоили пахоть подъ яровые хлѣба, убирали огороды, чинили свои избы и дворы и ѣздили на ярмарки и въ лѣса. Старики и бабы, по вечерамъ и въ праздники, являлись къ давно невиданной ими княгинѣ, поднося ей куръ, яйца и грибы и обращаясь къ ней съ разными нуждами и просьбами.

Свои и чужіе мужики просили старую барыню о дозволеніи нарубить хворосту въ заповѣдной господской рощѣ, занять въ барскомъ амбарѣ овсеца или крупъ, либо предлагали княгинѣ купить у нихъ собственнаго издѣлія суконъ и холста. Были и такіе, что просили Анну Аркадьевну разобрать ссору, изъ-за гусей или поросенка, какой-нибудь бабушки Маланьи съ падчерицей, либо тетки Устиньи съ деверемъ. Аврора смотрѣла на эту муравьиную копотню, слушала просьбы, приносимыя княгинѣ, и удивлялась, какъ могутъ кого-либо теперь занимать такіе пустяки? Мучимая

сомнѣніями объ исходѣ войны и объ участи жениха, Аврора искала отдыха въ уединеніи. Она была рада, что въ Ярцево, съ обозомъ, привели ея верхового коня. Садясь на Барса, она вечеромъ уѣзжала въ окрестные поля и лѣса и носилась тамъ до поздней ночи.

Вѣсти о дѣйствіяхъ русской арміи, о Бородинѣ, о ранѣ и смерти Багратіона и о другихъ тяжкихъ событіяхъ, къ изумленію Авроры, не производили особаго смущенія въ Ярцевѣ и ближнихъ деревняхъ. Газетныя вѣсти опаздывали невѣроятно. «Московскія Вѣдомости» прекратились 31 августа и снова начали выходить уже гораздо позже, — только 23 ноября. Прибавленія къ «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» и къ «Сѣверной Почтѣ», помѣщавшія донесенія Кутузова черезъ двѣ и три недѣли по ихъ отправленіи, получались въ зарайскомъ уѣздѣ черезъ недѣлю и болѣе по ихъ выходѣ въ Петербургѣ.

Одно, что̀ непрестанно напоминало о войнѣ, было страшное, не потухавшее зарево день и ночь горѣвшей Москвы. Аврора, съ содроганіемъ, проводя ночи безъ сна, разглядывала изъ своей комнаты это зарево, думая о томъ, что̀ выражало оно и сколько страданій, сколько гибели скрывалось за нимъ. Но и ужасающія подробности пожара и гибели Москвы, донесясь сюда съ послѣдними московскими бѣглецами, не особенно и не надолго заняли досуги мѣстныхъ жителей. Ихъ вскорѣ смѣнили толки о другихъ событіяхъ.

Ярцевскій староста сперва Маремьяшѣ, потомъ Аврорѣ сообщилъ, что крестьяне окольныхъ и болѣе дальнихъ деревень, прослышавъ о какихъ-то французскихъ печатныхъ листахъ, стали сперва втихомолку, потомъ громко увѣрять, будто скоро всѣмъ откуда-то объявится полная воля, что государя Александра Павловича ждутъ во Владиміръ, а за тѣмъ почему-то и въ самую Коломну, и что однихъ изъ господъ государь ушлетъ куда-то на Кавказъ, другихъ, по руссимъ городамъ—«писать бумаги», — а господскія земли, лѣса, усадьбы и прочія угодья раздастъ крестьянамъ. Мужики, вслѣдствіе этихъ слуховъ, начали грубить приказчикамъ и старостамъ и отказываться отъ обычныхъ работъ на барщинѣ, а иные, и вовсе, наконецъ, выйдя изъ повиновенія властямъ, стали грабить имущество владѣльцевъ и уходить за Волгу и въ сосѣдніе лѣса. Кое-гдѣ начались и

поджоги помѣщичьихъ усадебъ. — «Я поговорю съ крестьянами, зови ихъ,—смѣло объявила Аврора: — они не понимаютъ, ихъ, очевидно, мутятъ злые люди». — «Что вы, что вы, барышня, — отвѣтилъ староста: — наши покойны; еще наведете ихъ на какое баловство и грѣхъ; оставьте ихъ, набрешутся и перестануть».

Аврора нашла нужнымъ предупредить о томъ бабку. Недомогавшая княгиня еще болѣе разстроилась и, уже начавъ-было оправляться, вовсе слегла въ постель. Аврора послала нарочнаго гонца въ Паншино къ сестрѣ.—«Навѣрное, и Илья Борисовичъ уже тамъ, — мыслила она, — онъ пріѣдетъ и всему дастъ настоящій толкъ и ладъ».—Но изъ Паншина пріѣхала одна Ксенія съ ребенкомъ. Она была не похожа на себя и, вмѣсто утѣшенія, привезла въ Ярцево новое горе: о ея мужѣ также не было никакихъ извѣстій. Онъ, очевидно, не успѣлъ выѣхать изъ Москвы и попалъ въ плѣнъ. Сестры обмѣнялись мыслями, наплакались и общими силами рѣшили успокоить бабку. Княгиня была безутѣшна.

— Боже, и за что я такая несчастная! — говорила она, вздыхая:—только бремя для себя и всѣхъ васъ! Вонъ опять и кашель, и такія все мысли... Скорѣе бы въ Паншино, подалѣе отъ этихъ мѣстъ...

— И не думайте, бабушка,—возражала Ксенія: — да вы и понятія не имѣете... тамъ еще хуже; я измучилась... Здѣсь хоть поблизости городъ, доктора, все-таки кое-что къ намъ доходитъ и о недалекой Москвѣ... Тамъ же дичь и глушь и также волнуются мужики; но какая разница? здѣсь невдали войско, цѣлая армія, а тамъ кто защититъ? солдатъ вывели, и во всемъ уѣздѣ одинъ съ инвалидами исправникъ!

Аврора поддержала сестру. Княгиня покорилась ихъ совѣту. Терпѣливо раскладывая пасьянсъ, она думала: «Не можетъ же дѣло долго длиться; на-дняхъ, безъ сомнѣнія, будетъ новое генеральное сраженіе,—кто кого побьетъ, неизвѣстно,—но затѣмъ, разумѣется, вскорѣ объявится миръ, и мы вернемся въ Москву. Ну, кое-что тамъ и ограбили, да мы все почти главное вывезли, а домъ, навѣрное, цѣлъ». Такъ прошло нѣсколько дней. Но какъ-то вечеромъ Аврору вызвали на крыльцо. Тамъ стояла въ слезахъ Ефимовна. Она, всхлипывая, объявила, что пришелъ новоселовскій староста Климъ.

— Откуда онъ? — спросила Аврора, вспомнивъ, что Новоселовка сгорѣла.

— Его и другихъ нашихъ мужиковъ,—отвѣтила Арина:— французы гоняли въ Москву возить своихъ раненыхъ; онъ только-что оттуда убѣжалъ.

— Зови, няня, зови его!—сказала Аврора.

— Да вотъ онъ,—отвѣтила Арина, указывая съ крыльца.

Изъ темноты выдвинулся оборванный, босой и съ подвязанною головой, староста. За нимъ стояла, тоже плачущая, Маремьяша.

— Долго ты былъ въ Москвѣ?—спросила Аврора.

— Все это время, барышня, почитай, мѣсяцъ! запрягли насъ, ироды, въ работу; мы на себѣ таскали имъ всякую всячину, рубили дрова, копали картошку, носили воду и мололи ручными жерновами муку.

— Бонапартовы зато подданные стали!—замѣтила, злобно плюнувъ, Ефимовна.

— А про Василія Алексѣевича... Перовскаго... что-нибудь слышалъ?—спросила Аврора.

— Гдѣ, матушка-барышня, было слышать! Надругался надъ нами врагъ, истомилъ, истиранилъ, а кого и прямо за ослушаніе извелъ. Мнѣ привелось уйти...

— Былъ же ты, Климушка, на Патріаршихъ прудахъ?—спросила Аврора:—видѣлъ нашъ домъ?

— Посылали насъ злодѣи въ Разумовское и на Прѣсню, проходили мы и въ тѣхъ мѣстахъ; только ни Бронной, ни возлѣ прудовъ, ни Микитской и Арбата, какъ есть, уже не нашли... все погорѣло,—все Господь прибралъ.

Аврора взглянула на Маремьяшу; та утирала слезы.

— А бабушкинъ домъ?—спросила Аврора.

— Все стало пусто, одинъ пепелъ,—отвѣтилъ Климъ: — тутъ мы съ ребятами и рѣшили на утекъ.

— Ушли благополучно?

— Какое! сцапали насъ на Орловомъ лугу эти французы, — отвѣтилъ Климъ: — и стали уже держать взаперти; посылали на работу не иначе, какъ съ конвоемъ. Да и тутъ намъ помогъ Господь. Пошли мы разъ, съ заступами и ведрами, къ графскому чьему-то колодцу; вода тамъ преотличная. Велѣно было набрать воды и окопать колодецъ. Ужъ больно тамъ намѣсили грязи, не подойти. Конвойныхъ было четверо, а насъ, плѣнныхъ, съ десятокъ, и всѣ-то мы

хворые, голоднетеньки, едва ноги волочимъ. Солнце сѣло, мѣсто было глухое, а французы такіе веселые, передъ тѣмъ гдѣ-то, видно, выпили. Мы и сговорились, — первый надоумилъ Корнюшка, что̀ терпѣть?—переглянулись у колодца, кинулись разомъ, да всѣхъ, какъ есть, французовъ, съ ихъ ружьями, и побросали въ глубь; засыпали ихъ тутъ же землей и ушли огородами въ лѣсъ, а ночью и далѣе.

— Живыхъ засыпали?—съ ужасомъ спросила Аврора.

— А то какъ же?—отвѣтилъ Климъ: — они талалàкали, талалàкали по-своему, пока ребята заступами кидали на нихъ землю, а тамъ и стихли. Господь ихъ простилъ!—заключилъ Климъ, взглянувъ на небо и набожно крестясь:— и такіе всѣ были красивые... а одинъ унтеръ, должно-быть, изъ дворянъ, нарядный да бѣлолицый такой, въ сторонкѣ держался, да все весело что-то напѣвалъ.

XXXIII.

Сестры не рѣшились сообщить бабкѣ тяжелую вѣсть о сожженіи ея московскаго дома. Онѣ отправили Клима въ Паншино. — «Пусть бабушка надѣется, что ея домъ уцѣлѣлъ!—думали онѣ,—а тѣмъ временемъ какъ-нибудь ее подготовимъ». — Онѣ день и ночь горячо молились, прося у Бога—одна мужу, другая жениху—здоровья и силъ, для перенесенія тяжкихъ испытаній, посланныхъ имъ Провидѣніемъ. Но живы ли они? объ этомъ онѣ страшились и думать. Разъ только Аврора, какъ бы нечаянно, сказала: «А если Базиля нѣтъ болѣе на свѣтѣ»... Она хотѣла продолжать и не могла.—«О, если это такъ,—съ ужасомъ досказала она себѣ:—тогда все кончено... я знаю, что̀ мнѣ тогда остается предпринять.

Однажды, въ праздникъ, Аврора съ Ксеніей поѣхали въ сосѣднее село Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Чеплыгино, въ церковь, и во время обѣдни выслушали полученное здѣсь, запоздавшее воззваніе Св. Сунода о защитѣ отечества и православной вѣры отъ нашествія новаго Малекіила, Бонапарта. Старикъ священникъ съ чувствомъ прочелъ это воззваніе. Въ немъ русскій народъ побуждался къ непримиримой борьбѣ съ галлами, причемъ Россія уподоблялась богобоязненному и смиренному Давиду, а Наполеонъ — дерзкому и безбожному Голіаду.

«Гдѣ же, въ сущности, этотъ избавитель Давидъ?—спрашивала себя въ слезахъ Аврора, поглядывая въ церкви на

понурившихся и молча вздыхавшихъ крестьянъ, которые на ея глазахъ такъ мало принимали къ сердцу общее всѣмъ горе войны, а напротивъ, какъ она узнала, толковали объ этой войнѣ, какъ о чемъ-то, что, по ихъ мнѣнію, должно было имъ принести новое и невиданное счастье на землѣ.— «Давидъ и пастухомъ былъ въ душѣ поэтъ, — мыслила Аврора: — только возвышенной, одаренной благами просвѣщенія, природѣ доступны высокіе, сознательные порывы любви къ родинѣ и отмщенія за ея честь. Базиль въ плѣну, быть-можетъ, погибъ, какъ гибнутъ тысячи другихъ, истинныхъ героевъ. Кто же за нихъ призоветъ утѣснителя къ суду? Кто отомститъ за ихъ страданія, ихъ гибель и смерть?»

Священникъ, прочтя воззваніе, сказалъ простую и трогательную проповѣдь, на слова пророка Исаіи: «И пріиде на тя пагуба, и не увѣси» — а послѣ службы, за отсутствіемъ помѣщиковъ своего села, подойдя въ церкви къ плакавшимъ Аврорѣ и Ксеніи, пригласилъ ихъ къ себѣ на чай. Съ его женой, навѣщавшей княгиню, онѣ познакомились ранѣе и охотно пошли въ его домъ. За чаемъ разговорились. Священникъ старался успокоить сестеръ. Онъ имъ передалъ слухъ, что Бонапартъ, по всей вѣроятности, вскорѣ попроситъ мира, а при этомъ несомнѣнно произойдетъ и размѣнъ плѣнныхъ.

— Гдѣ же теперь Бонапартъ?—спросила Ксенія.

— Пагуба придетъ равно и на него,—отвѣтилъ священникъ:—онъ это чуетъ и, аки левъ, ходитъ взадъ и впередъ по своей клѣткѣ. Не дождались грабители выгодъ. Наше войско цѣло и у себя дома, а ихъ армія, аки воскъ предъ лицомъ огня, таетъ и убываетъ съ каждымъ днемъ.

Сестры съ жадностью слушали эти радостныя слова.

— А сколько горя и убытковъ! — сказала старуха попадья: — одни Разумовскіе, да графъ Бутурлинъ, слышно, отъ пожара понесли убытку по милліону. Плѣнныхъ мучатъ работами, истязаютъ...

— Ну, не всѣхъ обижаютъ и тѣснятъ, — перебилъ священникъ, знаками останавливая жену: — многіе спаслись. Зарайскій мельникъ намедни передавалъ, что князь Дмитрій Голицынъ, можно сказать, на собственныхъ рукахъ вынесъ ночью изъ Москвы больного Соковнина, когда въ городъ уже вступили французы. Негдѣ было достать лошадей; спасавшіеся сначала шли пѣшкомъ, а у заставы князь прямо

поднялъ себѣ на плечи друга, истомленнаго хворобой и ходьбой, да и пронесъ его пустыремъ къ нашему аррьергарду. Много было истинно-славныхъ подвиговъ. Растопчинъ лично поджегъ въ Вороновѣ свой домъ и на его воротахъ прибилъ бумагу: «Жгу, чтобъ ни единый французъ не переступилъ моего порога».

— Вѣдь это — сосѣдъ нашего дяди Петра, — обратилась Ксенія къ сестрѣ.

— Такъ у васъ есть дядюшка? — спросилъ священникъ.

— Петръ Андреевичъ Крамалѝнъ, мы по отцу Крамалины.

— Что же вамъ пишетъ дядюшка? Отъ Серпухова вѣдь вблизи вся наша армія.

— Онъ часто хвораетъ, — отвѣтила Ксенія: — и рѣдко пишетъ. Послѣднее письмо писалъ намъ въ Паншино.

«Да,—разсуждала Аврора, слушая этотъ разговоръ:—изъ Москвы могли спастись тѣ, кто туда дошелъ или захваченъ тамъ... а Базиль? Остался ли онъ живъ послѣ Бородина? И найдется ли для него, какъ для Соковнина, спаситель-другъ?»

Въ душѣ Авроры, несмотря на ея сомнѣнія, тепдилась какая-то смутная, ей самой непонятная надежда касательно судьбы жениха. — «Онъ спасенъ, — думала она, — и я его когда-нибудь, можетъ-быть, даже скоро увижу! Не можетъ погибнуть такая молодая жизнь!»

Простясь съ священникомъ, сестры собрались обратно домой. Ксенія, любуясь погодой и желая развлечь опять загрустившую Аврору, предложила ей пройтись нѣсколько пѣшкомъ. Попадья проводила ихъ за околицу Чеплыгина. Отсюда до Ярцева было версты четыре, не болѣе. Дорога шла, вперемежку, холмами, лѣсомъ и полями. Сестры, распустивъ зонтики, пошли кратчайшимъ проселкомъ. Сперва ихъ сопровождала коляска. Но, чтобъ остаться вполнѣ наединѣ, онѣ, простясь съ попадьей и пройдя версты двѣ, велѣли кучеру ѣхать впередъ, а сами пошли еще прямѣе, боковою межой.

День былъ превосходный. Въ прозрачной и свѣтлой синевѣ неба кучились кудрявые барашки легкихъ, бѣлыхъ облаковъ. Вороны и галки, лѣниво каркая, перелетали съ одной лѣсной заросли на другую. Аврора и Ксенія, спустясь въ лощину и опять поднявшись на косогоръ, зеленѣвшій всходами молодой ржи, толковали о посланномъ въ Коломну за покупками нарочномъ, который къ ночи долженъ былъ

привезти давно ожидаемую, новую почту. Кругомъ была полная тишина. Въ безвѣтренномъ, тепломъ и пахучемъ отъ сосѣдняго лѣса воздухѣ тянулись нити бродячей паутины.

Уже виднѣлась старая ярцевская роща и слышался лай собакъ скрытой за рощею деревни. Аврора увидѣла, что изъ рощи показалась какая-то дѣвочка, бѣжавшая въ кустахъ, вдоль опушки.

— Смотри,—сказала она, хватая за руку сестру.

— Ну, что жъ,—отвѣтила Ксенія, сама вспыхнувъ отъ непонятной тревоги:—дѣвочка... рвала въ рощѣ ягоды или грибы, увидѣла лѣсника и прячется въ кусты...

— Нѣтъ, нѣтъ, Ксаня! да смотри же, вонъ!—продолжала, остановившись, Аврора:—она полемъ, сюда... прямо къ намъ... неужели не видишь?

— Какая ты, право, смѣшная,—отвѣтила Ксенія, продолжая идти и усиливаясь казаться спокойною:—во всемъ ты видишь необычное.

— Стой! она машетъ!—проговорила Аврора.

Ксенія также остановилась. Дѣвочка, маша руками, дѣйствительно бѣжала отъ рощи къ косогору, по которому шли сестры. Спустясь въ ложбинку, гдѣ, среди конопляниковъ, былъ мостикъ черезъ ручей, она снова показалась на пригоркѣ. Скоро на межникѣ, между ближнихъ зеленей, послышался бѣгъ проворныхъ, босыхъ ножекъ дѣвочки.

— Да это Ѳеня, племянница Ефимовны!—радостно сказала Ксенія:—навѣрное что-нибудь важное.

Аврора, блѣдная, какъ мѣлъ, молча впивалась глазами въ подбѣгавшую дѣвочку.

— Это ко мнѣ! — не вытерпѣвъ, вскрикнула она и, путаясь ногами въ платьѣ, бѣгомъ бросилась навстрѣчу Ѳенѣ.

«Но почему же именно къ ней?—съ завистью подумала, идя поспѣшно за нею, Ксенія:—неужели ей, счастливицѣ, удастся ранѣе меня? Нѣтъ, какая же я завистница! Богъ съ ней...»

— Дьяконъ, дьяконъ!—радостно крикнула Аврора подходившей и растерянно на нее смотрѣвшей сестрѣ.

— Какой дьяконъ!—спросила, запыхавшись, Ксенія.

— Изъ Москвы бѣжалъ!.. вдвоемъ, вдвоемъ!—какъ безумная, кричала Аврора, то обнимая сестру, то тормоша и цѣлуя растрепанную, покраснѣвшую отъ бѣга Ѳеню.

— Гдѣ дьяконъ и съ кѣмъ бѣжалъ?—спросила, едва помня себя, Ксенія?

— У насъ въ Ярцевѣ!—отвѣтила, ломая руки, смѣясь и плача, Аврора: — его подвезли съ поля мужики; Ефимовна первая догадалась къ намъ Ѳеню... а тотъ еще въ городѣ...

— Да кто въ городѣ, кто? — обратилась Ксенія къ дѣвочкѣ.

— Баринъ.

— Какой?

— Не знаю...

XXXIV.

Сестры безъ памяти бросились домой, миновали рощу, деревню и, едва переводя дыханіе, прошли чернымъ ходомъ въ домъ.

— Гдѣ онъ? гдѣ дьяконъ?—спросила Ксенія, бурей пробѣгая черезъ дѣвичью.

— Тамотко,—отвѣтила сіяющая Ефимовна, указывая на спальню княгини.

Ксенія, ухватясь за сердце, остановилась у двери, сзади Авроры. Силы ей измѣняли, кровь стыла въ жилахъ. Она была готова упасть.

«Кто же этотъ дьяконъ? — мыслила Аврора, съ тревогой берясь за скобку двери:—ужели, и впрямь, Господь помогъ, и съ дьякономъ возвратился Базиль?»

Дверь отворилась. Аврора вошла и остолбенѣла. У кровати княгини рядомъ съ человѣкомъ въ рясѣ, сидѣлъ кто-то, обросшій бородою, въ дублёнкѣ и высокихъ сапогахъ. Аврора сперва не узнала его. Въ комнатѣ, гдѣ такъ скоро еще не ждали сестеръ, вдругъ какъ-то странно стихло.—«Что же они всѣ молчатъ и смотрятъ на меня?—подумала, цѣпенѣя, Ксенія: — очевидно, привезена страшная вѣсть, и они собираются меня къ ней приготовить... Ильюша убитъ, его нѣтъ болѣе на свѣтѣ!»—Мгновенно вспомнилось ей тайное рѣшеніе, принятое ею на-дняхъ: если ея мужъ убитъ, броситься въ омутъ за садомъ. Ея мыслямъ представилась знакомая дорожка въ саду, крутизна и подъ нею рѣка, съ шумомъ бѣгущая къ мельницѣ.—«И что же иное мнѣ остается безъ него?»—рѣшительно подумала она.

Вдругъ кто-то тронулъ Ксенію за плечо. Она вздрогнула, подняла голову и замерла.

Передъ нею, съ ребенкомъ на рукахъ, стояла кормилица. Только-что проснувшійся Коля, въ чепчикѣ, сбившемся съ лысой головы на румяное заспанное лицо, съ миловидною ро-

динкой, протягивалъ къ ней сжатые, пухлые кулачки. Но всѣ смотрятъ не на Колю. За нимъ виднѣлось чье-то другое, полузнакомое и какъ бы гдѣ-то Ксеніей видѣнное лицо, съ добрыми и счастливо улыбавшимися глазами.—«Да что же это, что?»—подумала Ксенія, радостно и безпомощно простирая передъ собою руки.

— Онъ!.. Ильюша! — въ безумномъ восторгѣ вскрикнула она, бросаясь въ объятія мужа и цѣлуя его блѣдное, бородатое лицо.

Всѣ радостно плакали.

— Ахъ, Ксанечка, Ксаня! — твердила, отирая слезы, Аврора:—счастливица ты и достойна своего счастья.

Тропининъ, какъ показалось Аврорѣ, съ грустью смотрѣлъ на нее.—«Онъ что-то знаетъ тяжелое, роковое!—подумала она,—и очевидно таитъ отъ меня, не рѣшается сказать».

Общая бесѣда въ спальнѣ княгини, съ безконечными разспросами, воспоминаніями и предположеніями, длилась до поздней ночи. Здѣсь странниковъ накормили обѣдомъ, здѣсь они пили чай. Княгиня вспомнила о банѣ и велѣла ее готовить гостямъ. Илья въ баню ушелъ съ Власомъ. Дьяконъ отказался.

— Гдѣ думать о скудельной плоти,—сказалъ онъ:—когда душа ноетъ и разрывается.

Онъ, по желанію княгини, подробнѣе передалъ о своемъ горѣ и о бѣгствѣ изъ Москвы.

Странники пѣшкомъ и на ямскихъ добрались въ Паншино и, узнавъ отъ Клима, что семья княгини въ Ярцевѣ, направились сюда. Тарантасъ, въ которомъ они ѣхали, обломался въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Ярцева, и они сюда были подвезены сосѣдними мужиками. Аврора подсѣла къ дьякону.

— Гдѣ же спасенный вами, вашъ племянникъ? — спросила она.

— Оставилъ въ Коломнѣ; тамъ въ пѣвчихъ его крёстный.

— Вы тоже оттуда родомъ?

— Нѣтъ, я изъ Серпухова; отецъ и мать давно померли; по тамъ, въ подгородномъ селѣ, братъ моей жены держитъ постоялый, и я до времени ѣду къ нему. Это—не доѣзжая Серпухова, за Каширой.

— Ну, пора странникамъ и на покой,—сказала княгиня, когда возвратился Илья.

Всѣ стали расходиться. Аврора, выйдя въ залу, обратилась къ свояку.

— А Базиль? что же вы ничего не говорите о немъ? — спросила она:—быть не можетъ, вы что-нибудь знаете.

— Гдѣ же, сестра, мнѣ знать?—отвѣтилъ Илья:—я былъ схваченъ въ самомъ началѣ, а плѣнныхъ держать не въ одномъ мѣстѣ. Успокойтесь; я убѣжденъ, что Базиль спасенъ и что вы его скоро увидите.

XXXV.

«Нѣтъ, онъ навѣрное что-нибудь знаетъ и держитъ въ тайнѣ отъ меня и отъ всѣхъ!—шепталъ Аврорѣ внутренній голосъ:—сестрѣ возвращенъ любимый человѣкъ, а ихъ ребенку отецъ. Они вмѣстѣ, и я не смѣю имъ завидовать. Но я-то, я? что будетъ со мной?»—Сонъ бѣжалъ отъ Авроры. Мысли одна мрачнѣе другой роились въ ея головѣ. Простясь со всѣми, она вошла въ свою комнату, сѣла къ окну и задумалась. Въ домѣ, послѣ необычной суеты, все наконецъ затихло. Въ окно глядѣла теплая, безлунная, но свѣтлая ночь. Звѣзды ярко мерцали на небѣ.

Аврора набросила на голову платокъ и вышла въ садъ. Ее мучило сознаніе, что она точно лишняя на свѣтѣ, что все идетъ мимо ея и что она ни въ чемъ, что совершается вокругъ, не принимаетъ и не можетъ принять близкаго участія. Три обстоятельства, бывшія особенно для нея важными въ жизни, пришли ей въ голову: смерть матери, разлука съ отцовскимъ домомъ и отъѣздъ жениха въ армію. И противъ всего этого, упавшаго на нее такъ нежданно и негаданно, она казалась безпомощною.—«Да иначе и быть не могло! — разсуждала Аврора, бродя по саду: — я, нѣтъ сомнѣнія, обречена на одни страданія; такъ мнѣ опредѣлено скупою и злою судьбой!»—Ей вспомнился ея дѣтскій ужасъ и слезы у гроба матери, ея крики:—«мама, встань, оживи!» Она представляла себѣ отца, когда онъ везъ ее и Ксенію въ институтъ, и она, какъ теперь помнила, почему-то тогда предчувствовала, что разстается съ нимъ навсегда. Ей вспоминалась до мелочей минувшая весна, знакомство съ Перовскимъ, ея помолвка, послѣднія съ нимъ свиданія и его отъѣздъ изъ Москвы. — «Сколько съ тѣхъ поръ событій! сколько новаго горя!—сказала она себѣ, глядя съ верхней садовой поляны за рѣку, надъ которою все еще свѣтился отблескъ московскаго зарева: — онъ тогда, на прогулкѣ, —

мыслила она:—сравнилъ вечерній видъ Москвы съ моремъ огня, а церкви и колокольни съ мачтами пылающихъ кораблей... Его сравненіе пророчески сбылось...»

Аврора спустилась въ нижній садъ. Нагибаясь въ темнотѣ отъ нависшихъ, знакомыхъ вѣтвей, она шла береговою дорожкой. Вверху послышалось ржаніе лошади.—«Барсъ!—подумала Аврора,—это отзывается онъ: я сегодня въ суетѣ не покормила его, и онъ окликаетъ меня».—Ей вспомнился дядя Петръ, его деревенька, верховой конь Кокò и поѣздки съ дядей на охоту. О, какъ бы она теперь желала видѣть дядю! Снизу, сквозь деревья, проглянулъ на пригоркѣ очеркъ дома. Въ одномъ изъ его оконъ мерцалъ слабый свѣтъ.—«Лампадка въ дѣтской, надъ изголовьемъ Коли,—сказала себѣ Аврора:—всѣ спятъ, пора и мнѣ». Но ей не хотѣлось еще уходить. Ночь была такъ обаятельно тиха. За рѣкою паслось «въ ночномъ» крестьянское стадо. Оттуда, при всякомъ шорохѣ на лугу, доносилось блеяніе овецъ и лай собакъ. Вспомнивъ о скамьѣ подъ липами, у рѣки, гдѣ въ послѣднее время она такъ часто сидѣла, глядя къ сторонѣ Москвы, Аврора направилась туда.—«Посижу, еще притомлюсь,—рѣшила она:—сонъ придетъ скорѣе...»

Аврора подошла къ липамъ. За ними она услышала голоса.—«Кто бы это?»—подумала она, замедливъ шаги.

За деревьями разговаривали двое. Аврора узнала ихъ. То были Ксенія и ея мужъ.

— Вотъ безуміе,—говорилъ Тропининъ:—и неужели ты, такая христіанка и нѣжная, любящая мать, рѣшилась бы?

— Это мнѣ пришло въ голову вдругъ и неожиданно для меня самой,—отвѣтила Ксенія:—и если бы ты не возвратился, если бы тебя не стало на свѣтѣ, клянусь, я бросилась бы съ этой крутизны, и новымъ покойникомъ въ нашей семьѣ было бы болѣе...

Лай за рѣкой заглушилъ слова Ксеніи.—«Новый покойникъ въ семьѣ!—вздрогнувъ, подумала Аврора,—умеръ Митя Усовъ; теперь же это о комъ?»

Она, напрягая слухъ, стояла неподвижно, чувствуя, какъ холодъ бѣжалъ по ней, охватывая ея члены.

— Онъ не былъ еще женатъ,—проговорилъ Тропининъ:—но какая роковая, потрясающая драма, я всегда говорилъ...

Дружное блеяніе испугавшихся чего-то овецъ помѣшало Аврорѣ слышать далѣе.

— И это ты навѣрное знаешь?—донеслись до нея опять слова Ксенiи.

— Видѣлъ списки, а чѣмъ завершилось—не могъ узнать. Конецъ, впрочемъ, обычный...

— Но неужели этотъ маршалъ... безъ справокъ, безъ суда?

Далѣе, хотя все стихло за рѣкой, Аврора ничего не слышала. Ухватясь за сердце, она медленно отошла, поднялась въ верхнiй садъ и безъ памяти бросилась къ дому. Пройдя ощупью въ свою комнату, она упала лицомъ въ подушку, и долго въ темной комнатѣ раздавались ея заглушенныя, отчаянныя рыданiя.—«И что я? куда теперь?—мыслила она:—ужели обычная колея,—трауръ? явится новый женихъ, добрый, обыкновенный человѣкъ, и я, кисейная, скромная барышня, выйду за него?.. Прощайте, несбыточныя грезы и чувства, прощай, мой завѣтный, дорогой!»

Давно разсвѣло. Настало утро. Домъ пробудился. Готовили чай. Комната Авроры не растворялась. Горничная Стеша въ щелку двери видѣла, что барышня еще не встаетъ, и полагая, что она съ ночи, по обычаю, долго читала, не рѣшалась ее будить.

— Пусть ее поспитъ,—сказала Ксенiя, выйдя съ мужемъ къ чаю:—тяжело ей, бѣдной...

Къ чаю въ залу вышла и княгиня. — «Ильюша возвратился, возвратится и женихъ Авроры»,—мыслила она и была въ духѣ. Тропининъ прочелъ вслухъ изъ полученныхъ съ почты писемъ и газетъ послѣднiя извѣстiя объ армiи. Аврора явилась въ концѣ чтенiя. Ея лицо было блѣднѣе обыкновеннаго, губы сжаты, глаза свѣтились рѣшимостью. Это былъ уже другой человѣкъ. Она слушала, спрашивала, говорила; но ея глаза были устремлены куда-то вдаль, и она точно не видѣла и не слышала окружающихъ ее.

Дьяконъ разсказалъ княгинѣ, что Троице-Сергiевскую лавру отстоялъ Господь. Французы трижды туда подходили, съ цѣлью ограбить святыню, и трижды ее заслонялъ густой туманъ.

— Наши охраняютъ путь къ Калугѣ?—спросила Аврора Илью, когда онъ, послѣ разсказа дьякона, прочелъ вслухъ какое-то письмо.

— Да,—отвѣтилъ Тропининъ: — Наполеонъ изъ Москвы посылалъ къ свѣтлѣйшему,—съ переговорами о мирѣ; князь,

сказывают, прикинулся дряхлым, немощным, плакалъ и говорилъ: «видите мои слезы? вся надежда моя на Наполеона!»—а въ концѣ прибавилъ: «впрочемъ, нечего думать о мирѣ, война только начинается».

Аврора заботливо помогла сестрѣ убрать чашки. Когда же Ксенія съ мужемъ удалилась на свою половину, а дьяконъ пошелъ готовиться въ дальнѣйшій путь, она предложила княгинѣ дочитать вслухъ начатый романъ *Адель и Теодоръ* и до вечера, какъ и весь слѣдующій день, казалась совершенно спокойною.

— Удивительная Аврора!—сказала Ксенія мужу:—сколько въ ней нравственной силы, какъ переносить горе! Но что, если бы она все узнала?

Утромъ слѣдующаго дня дьяконъ Савва пришелъ поблагодарить княгиню за гостепріимство. Его щедро снабдили деньгами и провизіей и дали ему лошадей до Каширы. Оттуда въ Серпуховъ онъ разсчитывалъ добраться съ какимъ-либо попутчикомъ. Когда его кибитка уже стояла у крыльца, Аврора, черезъ Ефимовну, позвала его въ свою комнату.

— Вы, отецъ дьяконъ, будете въ Каширѣ?—спросила она.

— Какъ же, сударыня,—не миновать.

— Сдайте тамъ на почту эти два письма.

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Савва, просматривая надписи на пакетахъ:—одно вашему дядюшкѣ, а это... министру? вотъ къ какой особѣ!

— Мой женихъ, Перовскій, — сказала Аврора: — питомецъ этого министра; Илья Борисовичъ вамъ, безъ сомнѣнія, о немъ говорилъ. Графъ, пожалуй, не знаетъ о его судьбѣ, а могъ бы оказать помощь своимъ вліяніемъ и связями... притомъ же...

Хлынувшія слезы помѣшали Аврорѣ договорить.

— Успокойтесь, сударыня, — произнесъ Савва: — я бережно сдамъ на почту оба письма.

— Не все, не все еще, — проговорила Аврора, отирая слезы:—какъ честный человѣкъ, скажете ли мнѣ истину на мой вопросъ?

— По всей моей совѣсти.

— Вы обо многомъ говорили по пути съ моимъ зятемъ; скажите, живъ ли Перовскій?

Савва смущенно молчалъ.

— Я вамъ облегчу вопросъ, — произнесла Аврора: — Не-

ровскій попалъ въ плѣнъ и внесенъ въ списокъ приговоренныхъ къ смерти. Все это я знаю... Отвѣтьте одно: живъ ли онъ, или погибъ?

— Если вамъ, сударыня, все извѣстно, — отвѣтилъ дьяконъ: — что же я, малый, скудоумный, могу прибавить къ тому? Богомъ Вседержителемъ клянусь, ничего болѣе не знаю.

Аврора сидѣла неподвижно. Слезы бѣжали по ея лицу.

— Погибъ, погибъ! — сказала она, поднявъ глаза на образъ: — все кончено... остается одно... Дядя невдали отъ Серпухова, заѣзжайте къ нему, вручите письмо лично.

— Будьте спокойны.

— Да отвѣтъ... попросите дядю скорѣе отвѣтить.

Прошло около недѣли. Былъ конецъ сентября. Княгиня оправилась и однажды утромъ, кликнувъ Маремьяну, объявила ей, что теперь, когда возвратился Илья Борисовичъ и пока еще стоитъ такая хорошая погода, ничто болѣе не удержитъ ее отъ отъѣзда въ Паншино. Аврорѣ и Ксеніи она прибавила, что французы, двинувшись отъ Москвы, могутъ, пожалуй, снова направиться въ эту сторону, а потому медлить было нечего. Сестры не возражали, тѣмъ болѣе, что рѣшенія княгини обыкновенно были безповоротны. Начались сборы въ путь. Ксенія съ прислугой принялась за уборку и укладку вещей. Аврора также усердно помогала всѣмъ въ общихъ хлопотахъ, возилась съ ящиками, узлами и чемоданами и была, повидимому, совершенно покойна.

Она зашла какъ-то въ комнату сестры. Былъ вечеръ. Ксенія, въ кофтѣ и юбкѣ, засучивъ рукава, мыла на лежанкѣ, въ корытцѣ Колю. Аврора, присѣвъ возлѣ, съ любовью смотрѣла, какъ раскраснѣвшаяся, счастливая сестра мылила и терла мочалкой розовую спинку и смѣющееся личико Коли. Обнаженная, нѣжная шея сестры, съ золотистыми завитками волосъ у подобранной на гребень густой косы, точно дымилась отъ пара, поднимавшагося съ корытца, гдѣ весело плескался ея ребенокъ.

— Вотъ удивительно,—сказала Ксенія:—мужъ говоритъ, что Коля болѣе похожъ на тебя, чѣмъ на меня: такой же черноглазый, красавчикъ и ласковый. Теперь чередъ за тобой...

Аврора подняла на сестру глаза.

— Не понимаешь? — улыбнулась Ксенія: — надо, чтобъ твой будущій сынъ походилъ не на тебя, а на меня.

— Ахъ, Ксаня! за что такая жестокость?

— Но почему же, почему?

Аврора встала, закрыла рукой глаза и молча вышла изъ комнаты сестры.

Въ тотъ же вечеръ она встрѣтилась съ сестрой въ полутемномъ коридорѣ. Ксенія несла связку какихъ-то вещей.

— Послушай, Ксаня,—сказала, остановивъ ее, Аврора:—странные вы люди; скрываете, а я все знаю...

— Что же ты знаешь? — смущенно спросила Ксенія.

— Ну, да ужъ Богъ съ вами!

Сказавъ это, Аврора прошла далѣе въ гостиную.

— Дьяконъ проговорился! — рѣшилъ Тропининъ, когда ему, послѣ ужина, объ этомъ сказала жена: — вотъ я его!

— Нѣтъ, Ильюша,—отвѣтила Ксенія:—сегодня съ почты привезли Аврорѣ какое-то письмо, и она долго надъ нимъ у себя сидѣла.

XXXVI.

Наканунѣ отъѣзда княгини, Тропининъ навѣстилъ сосѣда—предводителя. Онъ ѣздилъ къ нему съ цѣлью поблагодарить его за вниманіе къ княгинѣ и просить о защитѣ покидаемаго ею имѣнія. Аврора также выразила желаніе проститься съ женою чеплыгинскаго священника. Чтобы не томить упряжныхъ лошадей, она поѣхала верхомъ на Барсѣ. Наступилъ вечеръ. За чаемъ сказали, что Аврора обратно прислала коня и передала черезъ его провожатаго, что къ попадьѣ пріѣхали коломенскіе знакомые и она осталась, чтобъ дослушать привезенные ими разсказы, а возвратится позднѣе, на лошадяхъ священника. День кончился въ суетѣ послѣдней укладки. Истомленная прислуга едва двигалась. Подали ужинъ. Аврора не возвращалась.

— Экая темень! тучи нашли, не быть бы завтра дождю!—замѣтила Ксенія, глянувъ въ окно:—Аврору, вѣрно, не пустили, оставили тамъ переночевать.

— И хорошо сдѣлали, — сказала княгиня: — послать бы къ ней Маремьяшу или Ефимовну.

— Арина Ефимовна тоже тамъ-съ,—объявилъ Власъ, все время въ Ярцевѣ бывшій какъ-то въ тѣни, а теперь, въ ожиданіи новой дороги, опять принявшій важный и внушительный видъ.

— Зачѣмъ Арина въ Чеплыгинѣ?

— Барышня Аврора Валерьяновна приказали накидку теплую доставить, а тамъ всенощная, завтра канунъ. По-

крова Богородицы, и Арину Ефимовну наши ярцевскіе мужики туда подвезли.

Настало утро. Главныя дорожныя вещи были окончательно укупорены и уложены въ экипажи. Дормезъ, коляска и двѣ троечныя кибитки стояли запряженныя у конюшни. Но туда, то и дѣло, еще носили разные ящики, корзины и узлы. Не видя Авроры, Тропининъ позвалъ Власа и велѣлъ ему ѣхать за нею въ колескѣ. Тѣмъ временемъ, въ залѣ готовили дорожный завтракъ. Отдавая послѣднія приказанія наблюдавшему за сборами приказчику, Илья вышелъ на крыльцо и увидѣлъ, наконецъ, коляску, въѣзжавшую въ ворота. Она внутри была пуста.

— А барышня?—спросилъ Илья Власа, когда тотъ подъѣхалъ къ крыльцу и, мрачно насупивъ сѣдыя брови, слѣзъ съ козелъ.

Власъ вынулъ изъ-за пазухи письмо и молча подалъ его Тропинину.

— Отъ кого это?

— Отъ барышни Авроры Валерьяновны.

— Да гдѣ же она? что все это значитъ?

— Барышня съ вечера написали и приказали вамъ это передать, когда опять за ними пришлютъ.

Тропининъ вскрылъ пакетъ.

«Не ищите меня,— писала зятю Аврора: — и не старайтесь догнать меня и остановить. Я, по долгомъ обсужденіи, окончательно рѣшилась и ѣду къ дядѣ Петру Андреевичу. Онъ нездоровъ и на мою просьбу прислалъ за мною экипажъ и лошадей. Въ Каширѣ пробуду не болѣе двухъ-трехъ часовъ. Навѣщу дядю и, при его содѣйствіи и совѣтахъ, проберусь далѣе въ штабъ арміи. Не пугайтесь, квартира Кутузова недалеко отъ Серпухова. Я располагаю явиться лично къ свѣтлѣйшему и просить его о справкахъ. Силъ моихъ нѣтъ, я истомилась. Авось что-либо вѣрное узнаю о судьбѣ Базиля. Прошу дорогую бабушку меня простить за этотъ самовольный отъѣздъ и не безпокоиться; я ѣду съ Ефимовной, а всѣхъ, и тебя, милая Ксаня, прошу—не поминайте меня лихомъ. Мое предпріятіе, можетъ-быть, неосуществимо, безумно; но я не отступлю. Вскорѣ узнаете все. Постараюсь подробнѣе написать изъ Серпухова, и изъ другихъ мѣстъ, куда меня занесетъ судьба. Прощайте, дорогіе, до свиданія, если буду жива. Но если намъ, въ это страшное время, не

суждено болѣе видѣться, помолитесь, прошу, за всѣхъ тѣхъ истинныхъ патріотовъ, кто искренно любитъ и чтитъ нашу, поруганную теперь, родину, за которую столько пролито крови. Другого выхода нѣтъ, я не въ силахъ долѣе бороться съ собой. Ваша—Аврора».

Тропининъ прочелъ это письмо, еще разъ пробѣжалъ его и разспросилъ Власа, когда, какъ и въ чемъ уѣхала барышня. Власъ отвѣтилъ, что была прислана бричка отъ Петра Андреевича Крамалина, что священникъ и Ефимовна останавливали барышню, но та отвѣтила, что отлучится не надолго, догонитъ бабушку, и уѣхала. Тропининъ бросился къ женѣ.—«Вотъ онѣ, женщины! — думалъ онъ, — средины нѣтъ; либо кроткій ангелъ, либо демонъ скрытыхъ и сильныхъ страстей».

Илья и Ксенія долго не рѣшались передать этой вѣсти княгинѣ; наконецъ, кое-какъ, при помощи Маремьяши, они приготовили Анну Аркадьевну и все ей сообщили. Княгиня сперва всполошилась, крикнула приказчика, людей, и велѣла скакать въ погоню за Авророй. Илья ее остановилъ. Время было упущено и Аврора, уѣхавшая въ ночь на тройкѣ дяди, въ Каширѣ могла взять свѣжихъ ямскихъ и теперь, по всей вѣроятности, уже подъѣзжала къ дядѣ, который, безъ сомнѣнія, ей дастъ совѣтъ—скорѣе возвратиться домой.

Княгиня раскрыла ридикюль, вынула и понюхала спирту и спросила, который часъ? Тропининъ отвѣтилъ что скоро полдень.

— Прикажи, Ильюша, подавать завтракъ, и ѣдемъ,— сказала Анна Аркадьевна:—коляску же, мой хорошій, оставь, и едва Аврора возвратится, вели приказчику лично проводить ее въ Паншино... Такова непосѣда была и ея мать: все дѣлала по-своему и не спросясь... Впрочемъ, Арина—баба разумная, сбережетъ ее... А этому старому сумасброду, Петру Андреевичу, я, какъ пріѣдемъ, сама напишу. Вѣкъ чуфáрился и насъ обходилъ, пренапыщенный. И гдѣ ему давать совѣты о штабѣ? Это не гонянье съ борзыми! Оба они, съ покойнымъ братомъ, только умѣли заглядывать въ чужіе цвѣтники, а теперь, видно застрялъ въ своей трущобѣ и труситъ выглянуть, какъ мышь.

Аврора съ Ефимовной благополучно прибыли въ Дѣдиново, имѣніе дяди. Старикъ Петръ Андреевичъ, разбитый параличемъ, былъ неузнаваемъ. Онъ, сильно обрадовавшись

Аврорѣ, плакалъ, какъ дитя, осыпалъ ее ласками, разспрашивалъ о ней и о ея горѣ, жаловался, что крестьяне его не слушаютъ и почти бросили. Безпомощный, сѣдой и исхудалый, онъ теперь особенно напоминалъ Аврорѣ ея покойнаго отца.—«Тѣ же добрые, внимательные глаза и тотъ же ласковый голосъ»,—думала она, глядя на него.

— Эхъ, не будь я прикованъ, да будь помоложе! — сказалъ старикъ: — сѣлъ бы на чубараго и тебѣ нашелъ бы скакуна, и полетѣли бы мы съ тобою въ штабъ свѣтлѣйшаго—искать твоего сокола-молодца!

Пробывъ съ дядей дня три, Аврора, съ его денежною помощью и благословеніемъ, отправилась въ Серпуховъ.

По мѣрѣ удаленія отъ Дѣдинова и съ приближеніемъ къ Серпухову, странницы встрѣчали болѣе и болѣе общей растерянности и суеты. Нѣкоторыя селенія на пути были уже совершенно безлюдны, такъ что на Арину напалъ сильный страхъ и она все охала. Покормить лошадей было негдѣ, и Аврора всю дорогу ѣхала на притомленной тройкѣ дяди, не кормя. Въ Серпуховъ она пріѣхала днемъ. Онъ поразилъ ее своею пустынностью. Половина его жителей, особенно позажиточнѣе, давно бѣжала въ Тулу, Орелъ и Черниговъ. По городу виднѣлись только военные, двигались полковыя фуры, пушки и обозы съ продовольствіемъ для арміи. Аврора остановилась въ лучшемъ заѣзжемъ трактирѣ и послала отыскивать дьякона.

— На что онъ тебѣ?—спросила Ефимовна:—что еще затѣяла? и гдѣ его тутъ найти?

— Нуженъ онъ мнѣ, знаетъ эти мѣста; его родичъ здѣсь ездъ городомъ держитъ постоялый.

— Ну, справляйся, матушка, въ своихъ дѣлахъ, да и домой!.. Эка въ какую даль заѣхали; все военные да пушки... Ужъ достанется намъ отъ бабушки!

— Она добрая, проститъ,—отвѣтила Аврора: — а я поговорю съ дьякономъ, завтра повидаюсь съ городничимъ и съ военнымъ начальствомъ и—даю тебѣ слово—немедленно домой.

Отца Савву разыскали. Крайне удивленный появленіемъ Авроры, онъ радостно поспѣшилъ къ ней. Она ему сообщила, что намѣрена ѣхать въ Леташёвку, гдѣ была квартира главнокомандующаго, и просила его разыскать для нея лошадей и подводу, чтобъ пробраться туда. Дьяконъ ушелъ

и возвратился только вечеромъ. Онъ былъ сильно не въ духѣ. Оставшіеся въ городѣ вольные ямщики заломили непомѣрную цѣну: сто рублей за два перегона.

— Давайте имъ, что потребуютъ,—сказала Аврора.

— Но какъ же вы поѣдете туда? Ужели одни?

— Возьму няню, хотя не желала бы подвергать ее опасностямъ.

Дьяконъ задумался. Онъ, повидавшись съ шуриномъ, въ тайнѣ рѣшилъ: снять рясу и поступить въ ополченіе.— «Отплачу врагамъ за жену,—мыслилъ онъ,—не одного злодѣя положу за нее!»—Теперь былъ случай и ему ѣхать до Леташёвки, и онъ думалъ предложить себя въ провожатые Аврорѣ, но не рѣшался.

Ефимовна внесла самоваръ и стала готовить чай. Изъ общей залы трактира давно несся шумъ голосовъ и звонъ посуды. Тамъ пировали какіе-то военные.—«Экіе озорники!— подумалъ Савва, — такъ поздно; не сообразятъ, что здѣсь дѣвица!» — Онъ вышелъ, поговорилъ съ половымъ и навѣдался въ залу; веселые крики въ послѣдней нѣсколько стихли.

— Кто тамъ?—спросила Аврора, когда онъ возвратился.

— Проѣзжіе гусары и между ними партизанъ, подполковникъ Сеславинъ,—отвѣтилъ дьяконъ:—лихой, да ласковый такой, меня угостилъ ромомъ.

— Что это за партизаны? — спросила Аврора, наливая дьякону чай.

— Охотники проявились за эти дни. Они составляютъ доброхотные отряды, слѣдятъ за врагомъ и бросаются кучей и въ одиночку въ самыя опасныя мѣста. Ихъ немало теперь,—Сеславинъ, князь Кудашевъ, и о нихъ много говорятъ.

— Что же о нихъ говорятъ?

— Не только офицеры, мужики съ дрекольемъ идутъ на злодѣевъ, стерегутъ ихъ, поднимаютъ на вилы, топятъ въ колодцахъ и прудахъ. Прошка Зернинъ подъ Вязьмой, сотскій Ключкинъ... а старостиха Василиса въ Сычёвкахъ? Чѣмъ не героиня? Сущая, можно сказать, Марѳа Посадница, а по храбрости — амазонка, или даже, по своему подвигу, библейская Юдиѳь...

— Какой подвигъ?—съ жаднымъ любопытствомъ спросила Аврора, кутая въ мантилью дрожавшія отъ волненія плечи.

— А какъ-же-съ. Эта старостиха собрала сычёвскихъ мужиковъ съ косами, топорами и съ чѣмъ попало, сѣла верхомъ на лошадь и во главѣ ихъ пошла...

— Баба-то? — не стерпѣвъ, отозвалась отъ двери Ефимовна: — и охота тебѣ, отче дьяконъ, молоть такое несуразное.

— Право слово, бабушка, вотъ-те Христосъ.

— Куда же она пошла?—спросила Аврора.

— На французовъ... наскочила на нихъ врасплохъ, убила косою по головѣ ихъ офицера, а мужики уложили съ десятокъ солдатъ, и вся ихъ партія была разбита и бѣжала. Потомъ, слышно, Василиса пошла лѣсомъ къ ихъ лагерю.

— Боже Господи!—воскликнула, крестясь, Ефимовна:—и страха на нихъ нѣтъ! Зачѣмъ же къ лагерю-то?.. Вѣдь тамъ, чай, ихъ стража, часовые, туда не проберешься.

— Вездѣ, бабушка, коли захочешь, пройдешь.

— Да зачѣмъ же такъ-то прямо, на смерть?

— Сказываютъ, видѣла сонъ въ ночи и рѣшила, подкравшись изъ-за дерева, убить какого-нибудь важнаго генерала, не то и повыше. И какъ не идти? злодѣи насильничаютъ надъ всѣми; у помѣщика Волкова подъ Смоленскомъ двухъ красавицъ дочекъ силою увезли. Я самъ недоумѣваю, охъ, не идти ли въ охотники?

Разсказъ дьякона о партизанахъ поразилъ Аврору. Она молча соображала то, что онъ ей говорилъ. Савва сталъ прощаться.

— Такъ постарайтесь же, отецъ дьяконъ, — сказала Аврора:—что ни потребуютъ, давайте, лишь бы завтра, съ утра, я могла уѣхать.

Дьяконъ ушелъ. Утромъ Аврора написала нѣсколько писемъ и вынула съ груди ладонку, въ которой былъ вложенъ пукъ крупныхъ ассигнацій. То былъ подарокъ, полученный ею на разставаніи отъ дяди. Она отложила и подала Ефимовнѣ одну изъ ассигнацій.

— Вотъ, няня, — сказала она: — пока я схожу здѣсь по дѣламъ, ты все уложи и приготовься.

— Да зачѣмъ же мнѣ деньги-то?—удивилась Арина.

— Сама же ты говорила, что мелкихъ нѣту: размѣняй, понадобятся; купи провизію намъ и для кучера дяди, также овса лошадямъ. Возвращусь, сейчасъ уѣдемъ.

Едва Ефимовна ушла, Аврора упала на колѣни передъ

образомъ, помолилась, пріодѣлась и, позвавъ трактирнаго слугу, послала его къ подполковнику Сеславину — спросить его, не навѣститъ ли онъ, по нужному дѣлу, постоялицу, дѣвицу Крамалину? Къ ней, черезъ четверть часа, охорашиваясь, вошелъ невысокій, черноволосый и курчавый партизанъ Сеславинъ.

Когда Ефимовна съ узломъ провизіи, запыхавшись, возвратилась въ трактиръ, ее встрѣтилъ смущенный Савва.

— Я добылъ, матушка, крытую кибитку и добрыхъ коней,—сказалъ онъ:—но нашей барышни, о Господи, и слѣдъ простылъ.

— Гдѣ же она?—спросила, всплеснувъ руками, Ефимовна.

— Оставила вотъ эти письма роднымъ, а сама укатила съ гусарами.

Арина остолбенѣла. Она, не помня себя, бросилась въ комнату Авроры. Комната была пуста.

XXXVII.

Въ началѣ октября, незадолго до битвы подъ Тарутинымъ, главныя русскія силы, при которыхъ находился Кутузовъ, стояли въ окрестностяхъ села Леташёвки.

Съ утра шелъ мелкій, непрерывный дождь. По небу неслись клочковатыя, мутно-сѣрыя облака. Къ вечеру дождь, разогнанный налетѣвшимъ вѣтромъ, на нѣкоторое время прекратился. Грязь по улицамъ Леташёвки стояла невылазная. Квартира свѣтлѣйшаго находилась вблизи Тарутина, на окраинѣ села Леташёвки, у церкви, въ болѣе чистой и помѣстительной избѣ священника. Начальникъ главнаго штаба, генералъ Ермоловъ, съ адъютантами, квартировалъ на другомъ концѣ деревни, въ служительской избѣ брошенной помѣщичьей мызы.

Былъ одиннадцатый часъ ночи. Ермоловъ, кончивъ обычный вечерній докладъ свѣтлѣйшему, возвратился домой пѣшкомъ, чуть не по колѣни увязая въ жидкой и скользской грязи, сопровождаемый вѣстовымъ, который несъ передъ нимъ фонарь. Въ непроглядной тьмѣ, отъ надвигавшагося свѣта фонаря, направо и налѣво по улицѣ выдѣлялись то полусломанные плетни и сарайчики дворовъ, то почернѣлыя отъ дождя соломенныя крыши избъ, съ которыхъ еще струилась вода.

Сердитый, въ намокшей шинели и въ сплюснутой фуражкѣ, едва прикрывавшей копну отросшихъ за войну, ку-

дрявыхъ и взъерошенныхъ волосъ, Алексѣй Петровичъ Ермоловъ сильнымъ взмахомъ ноги ступилъ на мокрое крыльцо и оттуда въ сѣни своей избы. У дверей передъ нимъ, въ темнотѣ, посторонился ожидавшій его адъютантъ, бывшій съ кѣмъ-то другимъ, какъ бы постороннимъ.

— Кто это еще съ вами?—недовольно спросилъ Ермоловъ, войдя въ освѣщенную комнату, куда денщикъ уже вносилъ приготовленный для генерала ужинъ.

— Не говоритъ своего имени; въ простомъ, мѣщанскомъ нарядѣ, но повидимому свѣтскій и образованный человѣкъ.

— Что же ему?

— Имѣетъ весьма спѣшное и важное дѣло къ свѣтлѣйшему.

— Какъ? къ князю? и въ эту пору?—изумился Ермоловъ, сердито вытряхивая объ полъ мокрую фуражку.

— Говоритъ, что дѣло первой государственной важности и безъ отлагательства.

— Ну, у нихъ все государственныя дѣла,—съ досадою произнесъ Ермоловъ, искоса глянувъ на столъ, отъ котораго уже доносился пріятный запахъ чего-то, жаренаго въ маслѣ съ лукомъ, и гдѣ стояла бутылка шабли, присланная въ тотъ день Алексѣю Петровичу въ презентъ отъ штабнаго маркитанта, общаго любимца и мага по добыванію тонкихъ питій.

Надо было опять возиться съ нежданнымъ дѣломъ. Хрипъ невольной досады послышался изъ широкой, богатырской груди Ермолова.

— Гдѣ этотъ непрошенный гость? зовите его!—сказалъ онъ адъютанту, садясь на скамью.

Изъ сѣней вошелъ мѣшковатый, высокаго роста, человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, круглолицый, съ приплюснутымъ носомъ и большими, на выкатъ, сѣрыми глазами. Въ его лицѣ было что-то бабье; рыжеватые волосы спадали на лобъ и на уши, какъ у чухонцевъ, прямыми космами; широкоразошедшіяся брови и крупныя, сжатыя губы придавали этому лицу выраженіе недовольства и какъ бы испуга.—«Баба!» подумалъ бы всякій, впервые взглянувъ на него, если бы не жиденькіе бакенбарды, шедшіе по этому лицу отъ ушей до подбородка. Незнакомецъ былъ одѣтъ въ бараній, крытый сѣрымъ сукномъ, тулупчикъ и въ высокіе мѣщанскіе сапоги; въ рукахъ онъ держалъ мѣховой, съ козырькомъ, картузъ.

— Кто вы?—спросилъ Ермоловъ.

Вошедшій молча оглянулся на адъютанта. Тотъ, по знаку Ермолова, вышелъ.

— Имя ваше, званіе?—спросилъ Ермоловъ.

— Отставной штабсъ-капитанъ артиллеріи, Александръ Самойловъ Фигнеръ,—негромко произнесъ незнакомецъ.

— Что же вамъ нужно?—спросилъ Алексѣй Петровичъ, досадливо сопя носомъ и своими сокольими карими глазами вглядываясь въ сѣрые, вяло на него смотрѣвшіе глаза гостя, имя котораго онъ уже встрѣчалъ въ реляціяхъ.

— Могу увѣрить, иначе бы не посмѣлъ,—дѣло первой важности и экстреннее!—не торопясь и старательно выговаривая слова, отвѣтилъ Фигнеръ: — и обратите вниманіе, генералъ,—то, что нынѣ еще возможно и доступно, при медленности можетъ стать недоступнымъ и невозможнымъ. Кромѣ вашего превосходительства, да свѣтлѣйшаго, объ этомъ пока никто не долженъ знать.

— Безъ предисловій, излагайте скорѣе,—произнесъ Ермоловъ, сѣвъ на скамью и, съ понуренной головой, приготовясь слушать:—мы здѣсь одни,—въ чемъ ваше дѣло?

— Я служилъ въ третьей легкой ротѣ одиннадцатой артиллерійской бригады, а въ послѣднее время состоялъ въ тамбовской губерніи городничимъ,—началъ Фигнеръ:—движимый чувствомъ патріотизма и удручаемый всѣмъ, что случилось, я бросилъ службу и семью, обращался въ августѣ къ графу Растопчину и къ другимъ, а этими днями снова проникалъ, переряженный, въ Москву...

— Вы были въ Москвѣ?—спросилъ Ермоловъ.

— Такъ точно-съ... блуждалъ, то въ мундирѣ французскаго или итальянскаго офицера, то въ крестьянской одеждѣ, по пожарищу, пробирался и въ дома, занятые врагами, все высмотрѣлъ и нашелъ, что легко и возможно разомъ положить человѣческій предѣлъ не только занятію первопрестольной, но можно сказать, и самой войнѣ, всѣмъ бѣдствіямъ Россіи и человѣчества.

— Вотъ какъ!—сказалъ Ермоловъ:—кончить войну?

— Да-съ, войну—отвѣтилъ Фигнеръ:—и это моя тайна...

«Что онъ, этотъ чухонецъ или жидъ, нелегкая побрала бы его, сумасшедшій? или нахалъ и себѣ на умѣ; дерзкій хвастунъ?—подумалъ Ермоловъ, гнѣвно глядя на стоявшаго передъ нимъ незнакомца, — ужъ не новый ли воздушный

шаръ Лепиха придумалъ, или что-нибудь въ родѣ этой галиматьи? возись еще съ этимъ штафиркою!»

— Вы произнесли такія слова, — сказалъ онъ: — легкое ли дѣло, разомъ кончить громадную войну? Тутъ ухищренія стратегіи, великихъ, сложныхъ силъ... а у васъ... Впрочемъ, въ чемъ же эта ваша, столь заманчивая, великая панацея?

Молча слушавшій насмѣшливыя возраженія Ермолова, Фигнеръ ступилъ ближе къ нему.

— Рѣшаясь на самоотверженное и, смѣю выразиться,— проговорилъ онъ: — безпримѣрное по отвагѣ дѣло, я все обдумалъ строго и со всѣхъ сторонъ... Но мой планъ, какъ и всякое человѣческое предпріятіе, можетъ не удаться... Могу ли, поэтому, знать напередъ, смѣю ли питать надежду, что въ случаѣ неудачи этого плана, а вслѣдствіе того и неизбѣжной моей гибели, царь и отечество не оставятъ безъ призрѣнія моей осиротѣлой семьи? Я человѣкъ недостаточный... мнѣ довольно одного вашего слова...

— Что же вамъ нужно, прежде всего, для исполненія вашего предпріятія?—спросилъ нетепѣрливо Ермоловъ.

— Мой тёзка, Александръ Никитичъ Сеславинъ, предложилъ мнѣ вступить въ его отрядъ; онъ ждетъ отвѣта; но я надумалъ другое. На основаніи общаго устава о партизанскихъ отрядахъ, я попросилъ бы дозволить мнѣ дѣйствовать самостоятельно, а именно, предоставить въ мое распоряженіе и по моему личному выбору хотя бы человѣкъ семьвосемь казаковъ.

— Ваша семья будетъ обезпечена, — сказалъ, подумавъ, Ермоловъ: — теперь говорите, для чего вамъ казаки и въ чемъ вашъ планъ?

Сѣрые, круглые глаза Фигнера зажглись страннымъ блескомъ, и онъ самъ оживленно вытянулся и точно выросъ. Его лицо поблѣднѣло, нижняя челюсть слегка затряслась.

— Мой планъ очень простъ и несложенъ, — произнесъ онъ, судорожно подергивая рукой:— вотъ этотъ планъ... Я— кровный врагъ идеологовъ. О, сколько они нанесли вреда! ихъ глава и вождь...

Онъ остановился, пристально глядя на Ермолова, и, казалось, не находилъ нужныхъ словъ.

— Я задумалъ, — проговорилъ онъ, помолчавъ: — и моя мысль безповоротна... я рѣшился истребить главную и един-

ственную причину всего, что дѣлается... а именно убить Наполеона...

— Что вы сказали?—спросилъ, привставъ, Ермоловъ.

— Убить вождя французовъ...

«Да, онъ не въ здравомъ умѣ! — подумалъ, разглядывая Фигнера, Ермоловъ, — а впрочемъ, почему же не въ здравомъ? Не отчаянный ли скорѣе фанатикъ, гонимый непреоборимою душевною потребностью? Да и не онъ одинъ. Лунинъ тоже предлагалъ отправить его парламентеромъ къ Наполеону и вызывался, подавая ему бумагу, заколоть его кинжаломъ».

Ермоловъ поднялся со скамьи.

— Такъ вы, дѣйствительно, на это рѣшились?—спросилъ онъ, все еще недоумѣвая, что за человѣкъ стоялъ передъ нимъ въ эту минуту.

— Рѣшился и не отступлю,—отвѣтилъ Фигнеръ.

— Какъ же вы полагаете исполнить ваше намѣреніе? Одно дѣло—задумать, а другое—исполнить задуманное.

— Что Богъ дастъ: либо выручитъ, либо выучитъ! Я снова переодѣнусь, смотря по надобности, нищимъ или мужикомъ, проберусь въ Кремль, или въ другое мѣсто, гдѣ будетъ злодѣй, и глазъ-на-глазъ лично нанесу ему ударъ. Пособники мнѣ будутъ нужны только для предварительныхъ развѣдокъ и приготовленій.

— Вы говорите, у васъ семья?—спросилъ Ермоловъ.

— Жена и пятеро дѣтей, малъ-мала меньше.

— Гдѣ они?

— Рѣшась проникнуть въ Москву, оставилъ ихъ въ Моршанскѣ.

— Какъ вы проникли въ Москву?

— Съ французскимъ паспортомъ; они сами мнѣ его дали, назвавъ меня, cultivateur, помѣщикомъ.

— Что вы дѣлали тамъ?

— Слѣдилъ за выходомъ оттуда непріятельскихъ фуражировъ, разбивалъ ихъ подъ Москвой, съ охотниками, и отнималъ ихъ подводы... въ дѣлахъ штаба должны быть обо мнѣ упоминанія.

— Да, о васъ доносили. И вы готовы на такой шагъ, не боитесь?

— На всякую бѣду страха не напасешься—Богъ не выдастъ, боровъ не съѣстъ!—отвѣтилъ Фигнеръ:—Брутъ убилъ

своего друга Цезаря, мнѣ же корсиканскій кровопійца не другъ... Я день и ночь молился, клялся.

«Рисуется нѣмчура́, — подумалъ Ермоловъ, — а впрочемъ, посмотримъ».

— Что́ же вы желаете получить, въ случаѣ удачи? — спросилъ онъ:—говорите прямо.

Фигнеръ слегка покраснѣлъ. Его глаза глядѣли холодно и спокойно.

— Ничего,— отвѣчалъ онъ:—я приношу себя въ жертву отечеству. Россія вскормила меня; душою я русскій.

— А родомъ?

— Остзеецъ.

— Есть съ вами бумаги?

— Вотъ онѣ...

XXXVIII.

«Чудеса!—раздумывалъ, просмотрѣвъ бумаги, Ермоловъ,— ферфлюхтеръ, а говоритъ съ пафосомъ и русскими пословицами, даже слова какъ-то особенно старательно отчеканиваетъ».

Онъ задалъ еще нѣсколько вопросовъ Фигнеру. Тотъ на все отвѣчалъ здраво и обдуманно.—«Какъ быть?—терялся въ догадкахъ Ермоловъ,—умолчать объ этомъ гусѣ передъ свѣтлѣйшимъ невозможно... Что́ бы ни вышло, впослѣдствіи; отвѣтственность падаетъ на меня перваго... ну, да его съ этою затѣей, вѣроятно, безъ уваженія сплавитъ самъ князь».

Ермоловъ кликнулъ адъютанта, сдалъ ему на руки Фигнера и, снова надѣвъ мокрую фуражку, пошелъ по лужамъ и скользкой грязи къ главнокомандующему. Адъютантъ было предложилъ осѣдлать для него коня; Ермоловъ, съ досадой махнувъ рукой, отправился опять пѣшкомъ.

У воротъ квартиры Кутузова провожатый вѣстовой наткнулся на княжескаго денщика, шедшаго притворять ставни.

— Всѣ спятъ-съ! — сказалъ денщикъ, разглядѣвъ при свѣтѣ фонаря фигуру Ермолова, вынырнувшаго изъ темноты.

— А самъ свѣтлѣйшій?—спросилъ Ермоловъ.

— Тоже въ постели, хотя свѣчи у нихъ еще горятъ.

— Доложи.

Денщикъ черезъ сѣни вошелъ въ темную пріемную, оттуда въ спальню Кутузова. Ермоловъ былъ приглашенъ въ комнату, изъ которой вышелъ всего полчаса назадъ.

Кутузовъ, въ одной рубахѣ, сидѣлъ на постели, спустивъ

на коврикъ босыя ноги, прикрытыя бухарскимъ халатомъ. Передъ нимъ на кругломъ столикѣ лежала карта Россіи, утыканная булавками, съ головками изъ краснаго и чернаго сургуча, изображавшими русскія и французскія войска. Онъ передъ приходомъ Ермолова разсматривалъ эту карту. Комната, по обычаю стараго князя, любившаго теплоту, была жарко натоплена.

— Что, голубчикъ?—спросилъ онъ, устремивъ навстрѣчу входившему Ермолову не совсѣмъ довольный, утомленный взглядъ:—все ли у васъ благополучно?

— Слава Богу, ничего новаго; но вотъ что случилось...

Ермоловъ неторопливо и въ подробностяхъ передалъ свѣтлѣйшему о прибытіи и предложеніи Фигнера.

— Я счелъ священнымъ долгомъ,—заключилъ онъ:—не мѣшкая, обо всемъ доложить... Что прикажете? Фигнеръ у меня, ждетъ рѣшенія.

— Такъ вотъ что,—произнесъ Кутузовъ, натягивая себѣ на плечи сползавшій съ него халатъ: — штука казусная... все ли ты терпѣливо выслушалъ и разспросилъ?

— До точности, ваша свѣтлость.

— А какъ полагаешь, онъ не насчетъ перпетуумъ-мобиле, не изъ желтаго дома? примѣтилъ ты, въ порядкѣ ли его мозги?

— Мнѣ этотъ вопросъ прежде всего пришелъ въ голову,— отвѣтилъ Ермоловъ: — я его такъ и этакъ, на всѣ стороны допрашивалъ; говоритъ толково, въ глазахъ змѣйки не бѣгаютъ, нѣтъ ничего подозрительнаго... Осуществимо ли его предпріятіе, — дѣло другое. Отваженъ же онъ и смѣлъ, кажется, дѣйствительно безъ мѣры, и его рѣшимость, повидимому, искренняя и прямая.

Старчески-обрюзглое лицо Кутузова поникло. Онъ задумался. На гладко-выбритомъ, жирномъ и бѣломъ его подбородкѣ, отъ тепла комнаты или отъ душевнаго волненія, выступила испарина. Онъ нервнымъ движеніемъ пухлой руки тронулъ себя за подбородокъ и, задумавшись, устремилъ свой единственный зрячій глазъ куда-то въ сторону мимо этой комнаты и Ермолова, мимо этой ночи и всего того, что ей предшествовало и такъ донынѣ подавлял дряхлаго тѣломъ, но бодраго духомъ, стараго вождя.

— Вѣдь, вотъ шельма придумалъ! — разведя руками опять хватаясь за увлаженное лицо, сказалъ князь:—а дѣло

надо признаться, изъ ряда вонъ и, во всякомъ случаѣ, необычное. Но на чемъ основаться?

Князь медленно повернулся на подостланной подъ него перинѣ.

— Разумѣется, бывали примѣры въ древности, и именно въ Римѣ, во время войны Пирра и Фабриція,—продолжалъ онъ: — только тамъ, сколько припомню, разыгралось все иначе. Ну, какъ это было? пришли и говорятъ Фабрицію, что нѣкій врачъ изъ грековъ, — это въ Римѣ было то же, что въ Россіи наши нѣмцы,—съ цѣлью разомъ прекратить войну, вызвался, безъ колебанія, отравить Пирра. Ну, Фабрицій, какъ помнишь, выслушалъ, какъ и ты, этого нѣмца, да и отослалъ врага-предателя въ распоряженіе самого Пирра. Остроумнаго лѣкаришку Пирръ, разумѣется, вздернулъ на первую осину, или тамъ, по-ихнему, смоковницу, что ли... тѣмъ дѣло и кончилось... Ты что на это скажешь?

Ермоловъ, нахмурясь, молчалъ. Догоравшія свѣчи уныло мигали на столѣ. Кутузовъ взглянулъ въ ближайшее къ кровати окно, изъ котораго въ эту ночь опять виднѣлось зарево надъ Москвою.

— Мое мнѣніе, — произнесъ онъ: — убей этотъ чухонецъ, и въ самомъ дѣлѣ, Бонапарта, всѣ скажутъ, не онъ, а я, да ты, Алексѣй Петровичъ, предательски его ухлопали. Вѣдь правда?

— Положимъ, ваша свѣтлость, то было давно и въ Римѣ,—отвѣтилъ Ермоловъ, еще не угадывавшій, куда клонилъ князь: — и прошлое не всегда урокъ для настоящаго. Но я позволю себѣ, однако, только спросить, чѣмъ этотъ новый, вторгшійся къ намъ Атилла лучше какого-нибудь Стеньки Разина или Пугачова? Тѣ изверги шли изъ-за Волги, этотъ изъ Парижа, — въ томъ вся и разница; сходства же въ разрушителяхъ много... Владѣть отуманенною ими, раболѣпною толпой, двигать, при всяческихъ обманахъ, полчищами жадныхъ до наживы, одичалыхъ бандитовъ, вторгаться, для удовлетворенія собственнаго самолюбія, въ мирную страну, предавая въ ней все грабежу, огню и мечу... Чѣмъ же это не отверженецъ людского общества, чѣмъ не Разинъ или не Пугачовъ?

Кутузовъ отодвинулъ столъ, нашелъ босыми ногами и надѣлъ туфли, медленно поднялся съ постели и, оставя халатъ,

въ одномъ бѣльѣ началъ, заложа руки за спину, въ перевалку, прохаживаться по комнатѣ.

— Именно, отверженецъ новаго сорта! — сказалъ онъ, помолчавъ:—ты выразился вѣрно!.. Но какъ разрѣшить вопросъ? подумай... Если бы я и ты, лично напавъ на Наполеона, начали съ нимъ драться явно, , одинъ на одинъ... дѣло другое... А тутъ выходитъ, точно камнемъ изъ-за угла.

— Какъ угодно вашей свѣтлости,—почтительно-сухо проговорилъ Ермоловъ, какъ бы собираясь уйти.

— Да нѣтъ, погоди!—остановилъ его Кутузовъ:—мы съ тобою—полководцы девятнадцатаго вѣка,—вотъ что я хочу сказать. А наши противники достойны ли этого имени? Я предсказывалъ, что они будутъ ѣсть конину — ѣдятъ... говорилъ, что Москва для ихъ идола и ихъ арміи станетъ могилой,—стала... ихъ силы съ каждымъ днемъ таютъ...—Князь опять прошелся по комнатѣ.—Прогонимъ ихъ, увидишь, — сказалъ онъ: — я не доживу, ты дождешься... Тѣ же французы свергнутъ своего кумира и такъ же бѣшено и легкомысленно проклянутъ его и весь его родъ, какъ свергли, казнили и прокляли своего истиннаго короля... Жалкая нація...

Кутузовъ, опершись руками о подоконникъ, глядѣлъ на небо, окрашенное заревомъ.

— Опять огонь... догораетъ, страдалица! Вспомнятъ они этотъ пожаръ,—сказалъ онъ:—поплатятся за эту сожженную Москву!

— Такъ что же прикажете, ваша свѣтлость, относительно предложенія Фигнера?—спросилъ Ермоловъ:—всякіе шатаются теперь, и чистые, и темные люди.

Кутузовъ обернулся къ нему и развелъ руками.

— Дѣло, не подходящее ни подъ какіе артикулы,—сказалъ онъ:—а впрочемъ, Христосъ съ нимъ! Знаешь поговорку: смѣлаго ищи въ тюрьмѣ, труса въ попахъ... Дай ему, голубчикъ, по положенію о партизанахъ, восемь казаковъ, Богъ съ нимъ. Гласъ народа — гласъ Божій; пусть творитъ, что хочетъ, если на то воля свыше, а приказа убивать... я ему не даю!

Партизаны Сеславинъ и Фигнеръ, по условію, съѣхались у деревни князя Вяземскаго, Астафьева. Фигнеръ объявилъ, что ему на время разрѣшено дѣйствовать самостоятельно,

и просилъ наставленій и совѣтовъ у болѣе опытнаго товарища. Сеславинъ уступилъ ему изъ своего отряда двухъ кавалеристовъ, въ томъ числѣ молоденькаго юнкера, который особенно просился къ Фигнеру. Невысокій, черноволосый и сухощавый, этотъ юнкеръ, въ казачьей одеждѣ, казался робкимъ мальчикомъ, но лихо ѣздилъ верхомъ. Купленный имъ у казаковъ донской конь Зорька былъ сильно худъ, но не зналъ усталости. Фигнеръ въ ту же ночь съ этимъ юнкеромъ ускакалъ по направленію къ Москвѣ.

XXXIX.

Французы окончательно покинули Москву 11 октября. Извѣстіе объ этомъ, напечатанное лишь черезъ девять дней въ Петербургѣ, въ «Сѣверной Почтѣ», отъ 19 октября, достигло Паншина, гдѣ въ это время проживала съ семьей княгиня, лишь въ концѣ октября. Газетныя реляціи, впрочемъ, были уже предупреждены словесною молвой. Всѣ терялись въ догадкахъ, куда скрылась Аврора. Извѣстій отъ нея, послѣ письма изъ Серпухова, не приходило. Княгиня была въ неописанномъ горѣ. Ксенія и ея мужъ не знали, какъ ее утѣшить.

Прогремѣли сраженія подъ Тарутинымъ, гдѣ былъ убитъ ядромъ Багговутъ, подъ Малоярославцемъ и Краснымъ, гдѣ французы потеряли почти всѣхъ своихъ, шедшихъ съ ними, плѣнныхъ. Недопущенный русскими въ Калугѣ, Наполеонъ по неволѣ бросился на опустошенную имъ самимъ дорогу къ Смоленску.

Французская армія, гонимая отдохнувшими и окрѣпшими русскими войсками, шедшими за нею по пятамъ, вдвинулась въ пространство между верховьями Днѣпра и Двины. Озлобленный неудачами, Наполеонъ повелъ эту армію къ Березинѣ, теряя отъ трехъ, открытыхъ имъ въ Россіи, стихійныхъ силъ—невылазной грязи, страшнаго мороза и казаковъ — тысячи солдатъ и лошадей. Не менѣе того, на этомъ пути вредили непріятелю и отважные партизаны.

Пронеслись вѣсти о подвигахъ полковника-поэта Давыдова, Орлова-Денисова, князей Кудашева и Вадбольскаго, Сеславина, Фигнера и другихъ отчаянныхъ смѣльчаковъ. Называли и другія, менѣе извѣстныя имена, въ томъ числѣ дьякона Савву Скворцова, мстившаго за похищенную у него жену. Онъ въ какой-то вылазкѣ, подкравшись изъ лѣса, размозжилъ дубиною голову французскому артиллеристу, гото-

вившемуся выпалить картечь въ русскій отрядъ, и небольшая французская батарея стала добычею русскихъ безъ боя. О партизанахъ разсказывали цѣлыя легенды. Фигнеръ, по слухамъ, не застанъ Наполеона въ Москвѣ, усилилъ свой отрядъ новыми охотниками и бросился по можайской дорогѣ. Здѣсь онъ отбилъ обширный непріятельскій обозъ, захватилъ болѣе сотни плѣнныхъ и, на глазахъ французскаго арріергарда, взорвалъ цѣлый вражескій артиллерійскій паркъ. Въ толкахъ о партизанахъ стали упоминаться и женскія имена. Въ обществѣ говорили объ отвагѣ и храбрости дѣвицы Дуровой, принявшей имя кавалериста Александрова, и о другихъ двухъ героиняхъ, не оставившихъ потомству своихъ именъ.

Предводительствуя небольшими летучими отрядами изъ гусаровъ, казаковъ и доброхотныхъ разночинцевъ, смѣлые партизаны неожиданно появлялись то здѣсь, то тамъ, и день, и ночь тревожили остатки великой французской арміи, отбивая у нея подводы съ припасами и московскою добычей, артиллерію и цѣлые транспорты больныхъ и отсталыхъ. При обозахъ отбивали и отряды плѣнныхъ, которыхъ враги гнали съ собою въ качествѣ носильщиковъ и прислуги.

Побѣды русскихъ подъ Краснымъ окончательно разстроили французскую армію. Въ этихъ сраженіяхъ, съ 3 по 6 ноября, французы потеряли болѣе двадцати-шести тысячъ плѣнными, въ томъ числѣ семь генераловъ, триста офицеровъ и болѣе двухъ сотъ орудій. Началось сплошное бѣгство разбитыхъ и изнуренныхъ бездорожьемъ, голодомъ и болѣзнями остатковъ Наполеоновскихъ полчищъ.

Поля давно покрылись снѣгомъ. Начались сильные морозы, сопровождаемые вѣтромъ и метелями. Но вдругъ снова потеплѣло. Стужа смѣнилась туманами. Начало таять. По дорогамъ образовались выбоины и невылазная грязь. Кутузовъ, сопровождая свои ободренные побѣдой отряды, ѣхалъ то въ крытыхъ саняхъ, то въ коляскѣ и даже, смотря по пути, на дрожкахъ.

На дневкѣ, шестого ноября, князь, осматривая верхомъ биваки, часу въ пятомъ дня, приблизился къ лагерю гвардейскаго семеновскаго полка. Его сопровождали нѣсколько генераловъ и адъютантовъ. Всѣ были въ духѣ, оживленно и весело толковали объ окончательномъ пораженіи корпуса

Нея, причемъ въ одномъ изъ захваченныхъ русскими обозовъ былъ даже взятъ маршальскій жезлъ грознаго герцога Даву.

Вечерѣло. Густой туманъ съ утра плавалъ надъ полями; среди него кое-гдѣ, какъ острова, виднѣлись опустѣлыя деревеньки и чернѣли вершины лѣса. Свѣтлѣйшій подъѣхалъ къ палаткѣ командира гвардейцевъ, генерала Лаврова, невдали отъ которой молоденькій офицеръ, въ артиллерійской формѣ, снималъ карандашомъ портретъ съ тяжело-раненаго, тутъ же сидѣвшаго своего товарища. Князь и его свита сошли съ лошадей. Князю у палатки поставили скамью, на которую онъ, крехтя и разминая усталые члены, опустился съ удовольствіемъ, поглядывая на смѣшавшагося рисовальщика.

— Какъ ваша фамилія?—спросилъ Кутузовъ, подозвавъ его къ себѣ.

— Квашнинъ, ваша свѣтлость,—отвѣтилъ, краснѣя, офицеръ:—я это такъ-съ, карандашомъ для его отца.

— Что же, и отлично. Я васъ гдѣ-то видѣлъ?

— Послѣ моего плѣна въ Москвѣ, и ваша свѣтлость еще тогда удивлялись, какъ я вынесъ,—заторопился, еще болѣе краснѣя, офицеръ: — я былъ тогда ординарцемъ Михаила Андреича...

— А съ кого рисовали?

— Тюнтинъ, товарищъ... оба мы подъ Краснымъ...

Кутузовъ болѣе не слушалъ офицера. Сопровождавшіе князя гвардейскіе солдаты-кирасиры, сойдя въ это время съ лошадей, стали вокругъ него, съ отбитыми непріятельскими знаменами, составивъ изъ нихъ, для защиты отъ вѣтра, нѣчто въ родѣ шатра. Кутузовъ смотрѣлъ на эти знамена. Туманъ вправо надъ полемъ разошелся, и заходящее солнце изъ-за холма ярко освѣтило ряды палатокъ, пушки, ружья въ козлахъ и оживленныя кучки солдатъ, бродившихъ по лагерю и сидѣвшихъ у разведенныхъ костровъ. Денщики полкового командира разносили чай. Кто-то сталъ читать вслухъ надписи надъ знаменами.

— Что тамъ?—спросилъ, опять глянувъ на эти знамена, Кутузовъ:—написано Австерлицъ? да, правда, жарко было подъ Австерлицомъ; но теперь мы отомщены. Укоряютъ, что я за Бородино выпросилъ гвардейскимъ капитанамъ брильянтовые кресты... какіе же навѣсить теперь за Крас-

ное? Да осыпь я, не только офицеровъ, каждаго солдата алмазами, все будетъ мало.

Князь помолчалъ. Онъ улыбался. Всѣ въ тихомъ удовольствіи смотрѣли на стараго князя, который теперь былъ въ духѣ, а за послѣдніе дни даже будто помолодѣлъ.

— Помню я, господа, лучшую мою награду, — сказалъ Кутузовъ:—награду за Мачинъ; я получилъ тогда георгіевскую звѣзду. Въ то время эта звѣзда была въ особой чести; я же былъ помоложе и полонъ надеждъ... Есть ли еще здѣсь кто-нибудь, между вами, кто бы помнилъ тогдашняго молодого Кутузова? нѣтъ? еще бы... ну, да все равно... Вотъ и получилъ я завѣтную звѣзду. Матушка же царица, блаженной памяти Екатерина, потребовала меня въ Царское Село. Ѣду я; пріѣхалъ. Вижу, пріемъ заготовленъ парадный. Вхожу въ раззолоченныя залы, полныя пышными, раззолоченными сановниками и придворными. Всѣ съ уваженіемъ, какъ и подобало, смотрятъ на храбраго и статнаго измаильскаго героя, скажу даже красавца, да, именно красавца! потому что я тогда, въ сорокъ-шесть лѣтъ, еще не былъ, какъ теперь, старою вороной, я же... ни на кого! Иду и думаю объ одномъ,—у меня на груди преславная георгіевская звѣзда! Дошелъ до кабинета, смѣло отворяю дверь... Что же со мной и гдѣ я?—вдругъ спросилъ я себя.—Забылъ я, господа, и Георгія, и Измаилъ, и то, что я Кутузовъ. И ничего, какъ есть, передъ собою не взвидѣлъ, кромѣ небесныхъ, голубыхъ глазъ, кромѣ величаваго, царскаго взора Екатерины... Да, вотъ была награда!

Кутузовъ съ трудомъ досталъ изъ кармана платокъ, отеръ имъ глаза и лицо и задумался. Всѣ почтительно молчали.

— А гдѣ-то онъ, собачій сынъ, сегодня ночуетъ?—вдругъ сказалъ князь, громко засмѣявшись: — гдѣ-то нашъ Бонапартъ? пошелъ по шерсть, самъ стриженный воротился! не везетъ ему, особенно на ночлегахъ. Сеславинъ сегодня обѣщалъ не давать ему ни на волосъ передышки. А ужъ Александръ Никитичъ постоитъ за себя. Молодцы партизаны,—спасибо имъ!.. Бѣжитъ отъ насъ теперь пресловутый побѣдитель, какъ школьникъ отъ березовой каши.

Дружный хохотъ присутствовавшихъ покрылъ слова князя.

Всѣ заговорили о партизанахъ. Одни хвалили Сеславина и Вадбольскаго, другіе Давыдова, Чернозубова и Фигнера. Кто-то замѣтилъ, что въ партіи Сеславина снова отличилась

кавалеристъ-дѣвица Дурова. На это краснѣвшій при каждомъ словѣ Квашнинъ замѣтилъ, что и въ отрядѣ Фигнера, какъ онъ навѣрное слышалъ, въ одеждѣ казака, скрывается другая таинственная героиня. Квашнина стали разспрашивать, что̀ это за особа.

Онъ, робко взглядывая то на князя, то на хмурыя лица огромныхъ кирасирскихъ солдатъ, сталъ по-французски объяснять, что, по слухамъ, это—какая-то московская барышня, которой, впрочемъ, ему не удалось еще видѣть.

— Кто, кто?—спросилъ разсказчика свѣтлѣйшій, прихлебывая изъ поданнаго ему стакана горячій чай:—еще амазонка?

— Такъ точно-съ, ваша свѣтлость! — отвѣтилъ совсѣмъ ставшій багровымъ Квашнинъ:—московская дѣвица Крамалина. Она, какъ говорятъ, являлась еще въ Леташёвкѣ; ее привезъ изъ Серпухова Александръ Никитичъ Сеславинъ.

— Зачѣмъ пріѣзжала?

— Кого-то разыскивала въ приказахъ и въ реляціяхъ... я тогда только-что вырвался изъ плѣна и не былъ еще...

— Ну, и что же она? нашла?—спросилъ князь, отдавая денщику стаканъ.

— Никакъ нѣтъ-съ; а не найдя, упросилась къ Фигнеру и съ той поры состоитъ неотлучно при немъ. Изумительная рѣшимость: служитъ, какъ простой солдатъ... вынослива, покорна... и подаетъ примѣръ... потому что...

Окончательно смѣшавшійся Квашнинъ не договорилъ.

— Вчера, господа, этотъ Фигнеръ,—перебилъ его, обращаясь къ офицерамъ, генералъ Лавровъ:—чуть не нарѣзался на самого Наполеона; прямо было изъ-за холма налетѣлъ на его стоянку, но, къ сожалѣнію, спутали проводники... ужъ вотъ была бы штука... поймали бы краснаго звѣря...

— Да, именно красный, матерой!—пріятно проговорилъ, разминаясь на скамьѣ, Кутузовъ:—сегодня, кстати, въ числѣ разныхъ и въ прозѣ и піитическихъ, незаслуженныхъ мною посланій я получилъ изъ Петербурга отъ нашего уважаемаго писателя, Ивана Андревича Крылова, его новую, собственноручную басню: «Волкъ на псарнѣ». Вотъ такъ подарокъ.

Кутузовъ, заложа руку за спину, вынулъ изъ мундирнаго кармана скомканный листъ синеватой почтовой бумаги, расправилъ его и, будучи съ молодыхъ лѣтъ отличнымъ чтецомъ

и даже, какъ говорили о немъ, хорошимъ актеромъ, отчетливо и нѣсколько нараспѣвъ началъ:

Волкъ, ночью, думая попасть въ овчарню,
Попалъ на псарню...

Онъ съ одушевленіемъ, то понижая, то повышая голосъ, картинно прочелъ, какъ, «чуя сѣраго, псы залились въ хлѣвахъ, вся псарня стала адомъ», и какъ волкъ, забившись въ уголъ, сталъ всѣхъ увѣрять, что онъ—«старинный сватъ и кумъ» и пришелъ не биться, а мириться,—словомъ, «уставить общій ладъ»...

При словахъ басни:

Тутъ ловчій перервалъ въ отвѣтъ:
«Ты сѣръ, а я, пріятель, сѣдъ!»

Кутузовъ приподнялъ бѣлую, съ краснымъ околышемъ, гвардейскую фуражку и, указавъ на свою сѣдую, съ рѣдкими, зачесанными назадъ волосами голову, громко и съ чувствомъ продекламировалъ заключительныя слова ловчаго:

«А потому обычай мой,—
Съ волками иначе не дѣлать мировой,
Какъ сняши шкуру съ нихъ долой...»
И тутъ же выпустилъ на волка гончихъ стаю!

Окружавшіе князя восторженно крикнули ура, подхваченное всѣмъ лагеремъ.

— Ура, спасителю отечества! — крикнулъ, отирая слезы и съ восторгомъ смотря на князя, Квашнинъ.

— Не мнѣ, русскому солдату — честь! — закричалъ Кутузовъ, взобравшись, при помощи подскочившихъ офицеровъ, на лавку и размахивая фуражкой:—онъ, онъ сломилъ и гонитъ теперь подстрѣленнаго на смерть, голоднаго звѣря...

XI.

Снова настала стужа, подулъ вѣтеръ и затрещалъ сильный морозъ.

Голодный, раненый звѣрь, роняя клочками вырываемую шерсть и истекая кровью, скакалъ, между тѣмъ, по снова замерзшей грязи, по сугробамъ и занесеннымъ вьюгою пустыннымъ равнинамъ и лѣсамъ. Онъ добѣжалъ до Березины, остановился, замеръ въ виду настигавшихъ его озлобленныхъ гонцовъ, готовыхъ добить его и растерзать, отчаяннымъ взмахомъ ослабѣвшихъ ногъ бросилъ по снѣгу, для отвода глазъ, двѣ-три хитрыхъ, слѣдовыхъ петли, сбилъ гонцовъ съ пути и, напрягая послѣднія усилія, переплылъ

за Березину. Что ему было до его гибнувшихъ сподвижниковъ, которыхъ, догоняя, враги рубили и топили въ обледенѣлой рѣкѣ? Онъ убѣжалъ самъ; ему было довольно и этого.

Французы, теряя свои послѣдніе обозы, переправились по наскоро устроеннымъ, ломавшимся мостамъ черезъ Березину, у Студянки, 14 ноября. Озадаченные ихъ нежданною переправою и уходомъ, русскіе вожди растерялись, и, взваливая другъ на друга вину этого промаха, съ новою силой бросились по пятамъ вражескихъ легіоновъ, бѣжавшихъ обратно за русскую границу. Партизаны и казаки, обгоняя бѣглецовъ по литовскимъ болотамъ и лѣсамъ, преслѣдовали ихъ, по выраженію Наполеона, какъ орды новыхъ аравитянъ. Сеславинъ гнался за французами слѣва, Фигнеръ справа. Оба втайнѣ стремились исправить ошибку Березины, схватить въ плѣнъ самого Наполеона. Сеславину едва не удалось достигнуть этого у села Лядъ. Онъ подкрался ночью, проникъ въ село и даже перерѣзалъ пикетъ, охранявшій путь императора. Но вспыхнувшій пожаръ предупредилъ Наполеона, и онъ со свитой объѣхалъ Ляды сбоку. Фигнеръ съ своимъ отрядомъ бросился окольными лѣсами, въ перерѣзъ французамъ, на городокъ Ошмяны. Туда же, съ другой стороны, направился и Сеславинъ. Каждый изъ нихъ составилъ свой собственный планъ и мечталъ о его успѣшномъ исполненіи.

Измученный и возмущенный рядомъ неудачъ, Наполеонъ въ мѣстечкѣ Сморгони нежданно призвалъ Мюрата и другихъ, бывшихъ съ нимъ, маршаловъ и объявилъ имъ, что пожаръ Москвы, стужа и ошибки его подчиненныхъ заставляютъ его сдать войско Мюрату, и что онъ ѣдетъ обратно въ Парижъ—готовить къ веснѣ новую, трехсотъ-тысячную армію и новый походъ противъ Россіи.

Изъ Вильны, къ которой направлялся Наполеонъ, была заранѣе, съ фельдъегеремъ, тайно вытребована, для охраны его пути, цѣлая кавалерійская дивизія Луазона. Этотъ отрядъ, не зная цѣли новаго движенія, спѣшилъ навстрѣчу бѣгущему императору, занимая по пути занесенныя снѣгомъ деревни, мызы и постоялые дворы. Слухъ о причинѣ похода изъ Вильны дошелъ, наконецъ, до передового полка этой дивизіи, на половину состоявшаго изъ итальянцевъ и саксенъ-веймарцевъ. Южные солдаты, невольные соратники великой

арміи, съ отмороженными лицами, руками и ногами, въ сырыхъ и дымныхъ литовскихъ лачугахъ, чуть не вслухъ роптали за скудною овсяною похлебкой, проклиная главнаго виновника ихъ бѣдствій.

— Онъ снова позорно бѣжитъ, предавая насъ гибели, какъ бѣжалъ изъ Египта! — толковали солдаты и офицеры этого отряда:—не достаетъ, чтобы казаки схватили и посадили его, какъ рѣдкаго звѣря, въ желѣзную клѣтку.'

Было 23 ноября.

Послѣ двухдневной, непрерывной бури и метели, настала тихая, ясная погода. День стоялъ солнечный; морозъ былъ свыше двадцати градусовъ. По бѣлому, ярко-блестящему полю, столбовою, обставленною вербами дорогой, несся на полозьяхъ, съ обитыми потертымъ волчьимъ мѣхомъ стеклами, жидовско-шляхетскій возокъ, въ какомъ тогда ѣздили зажиточные поссессоры, арендаторы и помѣщики средней руки. За нимъ слѣдовала рогожаная кибитка, съ полостью, въ видѣ зонтика. Оба экипажа охраняло конное прикрытіе изъ нѣсколькихъ сотъ, смѣнявшихся по пути, польскихъ улановъ. Снѣгъ визжалъ подъ полозьями. Красивые султаны, мелькавшіе на шапкахъ прикрытія, издали казались цвѣтками мака на снѣжной равнинѣ.

Въ возкѣ, въ медвѣжьей шубѣ и въ такой же шапкѣ, сидѣлъ Наполеонъ. Съ нимъ рядомъ, въ лисьемъ тулупѣ, — Коленкуръ; напротивъ нихъ, въ буркѣ, — генералъ Рапъ. На козлахъ, въ мужичьихъ, бараньихъ шубахъ, обмотавъ, чѣмъ попало, головы, сидѣли мамелюкъ Рустанъ и, въ качествѣ переводчика, польскій шляхтичъ Вонсовичъ. Въ кибиткѣ слѣдовали оберъ-гофмаршалъ Дюрокъ и генералъ-адъютантъ Мутонъ. Наполеонъ ѣхалъ подъ именемъ «герцога Виченцскаго», то-есть Коленкура.

— Да гдѣ же ихъ проклятыя сёла, города? — твердилъ Наполеонъ, то и дѣло высовывая изъ медвѣжьяго мѣха иззябшій, покраснѣвшій носъ и съ нетерпѣніемъ приглядываясь въ оледенѣлое окно: — пустыня, снѣгъ и снѣгъ... ни человѣческой души! Скоро ли стоянка, перемѣна лошадей?

Рапъ вынулъ изъ-подъ бурки серебряную луковицу часовъ и, едва держа ихъ въ окостенѣлой рукѣ, взглянулъ на нихъ.

— Перемѣна, ваше величество, скоро, — сказалъ онъ:— а стоянка, по росписанію, еще за Ошмянами, не ближе, какъ черезъ четыре часа.

— Есть съ нами провизія?—спросилъ Наполеонъ.

— Утромъ, ваше величество, за завтракомъ,—отозвался Коленкуръ: — вы все изволили кончить, фаршированную индѣйку и страсбургскій пирогъ.

— А ветчина?

— Остались кости, вы велѣли отдать проводнику.

— Сыръ?

— Есть кусокъ стараго.

— Благодарю; горькій и сухой, какъ щепка. Ну, хоть бѣлый хлѣбъ?

— Ни куска; Рустанъ подалъ за десертомъ послѣдній ломоть.

Верстъ черезъ пять, путники на бѣлой полянѣ завидѣли новый, конный пикетъ, грѣвшійся у костра, близъ пустой, раскрытой корчмы, и новую ожидавшую ихъ смѣну лошадей. Наполеонъ, сердито поглядывая на перепряжку, не выходилъ изъ экипажа. Возокъ и кибитка помчались далѣе. Наполеонъ дремалъ, но на толчкахъ просыпался и заговаривалъ съ своими спутниками.

— Да, господа, — сказалъ онъ, какъ бы отвѣчая на занимавшія его мысли:—ко всѣмъ нашимъ бѣдствіямъ, здѣсь еще и явственная измѣна. Шварценбергъ, вопреки условію, отклонился отъ пути дѣйствій великой арміи; мы брошены на произволъ собственной участи... И какъ сражаться при такихъ условіяхъ?

Возокъ въѣхалъ на сугробъ и быстро съ него скатился.

— А стужа? а эти казаки, партизаны? — продолжалъ Наполеонъ:—они въ конецъ добиваютъ наши обезсиленные, разрозненные легіоны. Подумаешь, эта дикая, негодная конница, способная производить только нестройный шумъ и гамъ... она безсильна противъ горсти мѣткихъ стрѣлковъ,—а стала грозною въ этой непонятной, безсмысленной странѣ... Наша превосходная кавалерія истреблена безкормицей; пѣхоту интендантство оставило безъ шубъ и безъ сапогъ... всѣ, наконецъ, голодаютъ.

На лицѣ новаго цезаря его спутники въ эту минуту прочли, что голодъ — дѣйствительно скверная вещь. Проѣхали еще съ десятокъ верстъ. Вечерѣло. Наполеонъ, чувствуя, какъ мучительно ноютъ иззябшіе пальцы его ногъ, опять задремалъ.

— Нѣтъ, не въ силахъ, не могу! — рѣшительно сказалъ

онъ, хватаясь за кисть окна: — у перваго жилья мы остановимся. Найдемъ же тамъ хоть кусокъ мяса или тарелку горячаго.

— Но, ваше величество,—сказалъ Рапп:—не безпокойтесь; до назначенной по маршруту стоянки не болѣе двухъ часовъ. Это замокъ богатаго и преданнаго вамъ здѣшняго помѣщика... Вонсовичъ ручается, что все у него найдемъ...

— Чортъ съ вашимъ маршрутомъ и замкомъ; я голоденъ, шутка ли, еще два часа! не могу...

—Но намъ до ночи надо проѣхать Ошмяны...

Наполеонъ не вытерпѣлъ. Онъ съ сердцемъ дернулъ кисть, опустилъ стекло и высунулся изъ окна. Верстахъ въ трехъ впереди, вправо отъ дороги, виднѣлось какое-то жилье.

— Мыза!—сказалъ императоръ:—очевидно, зажиточный домъ и церковь. Мы здѣсь остановимся.

— Простите, ваше величество,—произнесъ Коленкуръ:—это противъ росписанія, и васъ здѣсь не ожидаютъ...

— При этомъ, возможно и нападеніе, засада, — прибавилъ Рапп.

— Что вы толкуете! поселокъ среди открытой, ровной поляны,—сказалъ Наполеонъ:—ни лѣса, ни холма! а нашъ эскортъ? Велите, герцогъ, заѣхать.

Коленкуръ остановилъ поѣздъ и для развѣдки послалъ впередъ часть конвоя. Возвратившіеся уланы сообщили, что на мызѣ, повидимому, все спокойно и благополучно. Возокъ и кибитка направились въ сторону, къ небольшому, подъ черепицей, домику, рядомъ съ которымъ были конюшня, амбаръ и людская изба. За домомъ, въ занесенномъ снѣгомъ саду, виднѣлась деревянная церковь, за церковью—небольшой, пустой поселокъ.

Обогнувъ домъ, возокъ подкатилъ къ крыльцу. Во дворѣ и возлѣ него не было видно никого. Стоявшая на привязи, у амбара, лошадь въ санкахъ показывала, однако, что мыза не совсѣмъ пуста.

XLI.

Въ сѣняхъ дома путниковъ встрѣтилъ толстый и лысый, невысокаго роста, ксендзъ. За нимъ у стѣны жался какой-то подростокъ. Одежда, видъ и конвой путниковъ смутили ксендза. Онъ, блѣдный, растерянно послѣдовалъ за ними. Войдя въ комнату, Наполеонъ сбросилъ на поставленныя руки Рустана и Вонсовича шубу и шапку и, оставшись

въ бархатной, на ватѣ, зеленой куртк̀ѣ, надѣтой сверхъ синяго егерскаго мундира, присѣлъ на стулъ и строго взглянулъ на Вонсовича.

— Кушать государю!—почтительно согнувшись, шепнулъ Вонсовичъ священнику.

Пораженный вѣстью, что передъ нимъ императоръ французовъ, ксендзъ въ молчаливомъ изумленіи глядѣлъ на Наполеона, съ котораго Рустанъ стягивалъ высокіе, на волчьемъ мѣху, сапоги.

— Чего-нибудь, — продолжалъ Вонсовичъ: — ну, супу, борщу, стаканъ грѣтаго молока. Только скорѣй...

— Нѣтъ ничего! — жалостно проговорилъ ксендзъ, сложивъ на груди крестомъ руки.

— Такъ бѣлаго хлѣба, сметаны, творогу.

— Ничего, ничего!—въ отчаяніи твердилъ помертвѣлыми губами священникъ:—гдѣ же я возьму? все ограбили сегодня прохожіе солдаты.

— Что онъ говоритъ?—спросилъ Наполеонъ.

Вонсовичъ перевелъ слова священника.

— Они отбили кладовую,—продолжалъ ксендзъ:—угнали послѣднюю мою корову и порѣзали всѣхъ птицъ... я остался, какъ видите, въ одной рясѣ и самъ съ утра ничего не ѣлъ.

— Но можно послать на фольваркъ,—замѣтилъ Вонсовичъ.

— О, панъ капитанъ, всѣ крестьяне и мои домочадцы разбѣжались, и если бы не мой племянникъ, только-что подъѣхавшій за мной изъ мѣстечка, я, вѣроятно, погибъ бы съ голоду, хотя не ропщу... О, его цезарское величество, я въ томъ убѣжденъ, современемъ, все вознаградитъ...

Вонсовичъ перевелъ отвѣтъ и заключеніе ксендза. Наполеонъ при словахъ о грабежѣ и о томъ, что нечего ѣсть, нахмурился. Но онъ сообразилъ, что дѣлать нечего и что таковы слѣдствія войны для всѣхъ, въ томъ числѣ и для него, и рѣшилъ показать себя великодушнымъ и выше встрѣченныхъ невзгодъ. Милостиво потрепавъ ксендза по плечу, онъ сказалъ ему, черезъ переводчика, что радъ случаю видѣть его, такъ какъ въ жизни встрѣчаетъ перваго священника, который такъ покоренъ обстоятельствамъ и некорыстолюбивъ.

— Да,—вдругъ обратился онъ по-латыни непосредственно къ ксендзу:—у насъ есть общій намъ, родственный языкъ; будемъ говорить по-католически, по-римски.

Священникъ въ восхищеніи преклонился.

— Я никогда не разставался съ Салюстіемъ, — сказалъ Наполеонъ: — носилъ его въ карманѣ и съ удовольствіемъ прочитывалъ войну противъ Югорты. А Цезарь? его гальская война? мы тоже, святой отецъ, воюемъ съ новѣйшими дикими варварами, съ галлами востока... Но надо покоряться лишеніямъ.

Говоря это, Наполеонъ прохаживался по комнатѣ. Радостно-изумленный ксендзъ и свита благоговѣйно внимали бойкимъ, хотя и не вполнѣ правильнымъ римскимъ цитатамъ новаго Цезаря. Въ уютной комнатѣ кстати было такъ тепло. Вечернее же солнце такъ домовито и весело освѣщало скромную мебель въ бѣлыхъ чехлахъ, гравюры по стѣнамъ и уцѣлѣвшіе отъ грабителей горшки цвѣтовъ на окнахъ, что всѣмъ было пріятно.

Наполеонъ еще что-то говорилъ. Вдругъ онъ, нагнувшись къ окну, остановился. Онъ увидѣлъ на дворѣ нѣчто, удивившее и обрадовавшее его. Въ слуховое окно конюшни выглянула пестрая, хохлатая курица. Уйдя днемъ отъ грабителей на сѣнникъ, она озадаченно теперь оттуда посматривала на новыхъ, нахлынувшихъ посѣтителей и, очевидно, не рѣшалась, въ обычный часъ, пробраться въ разоренный птичникъ, на свой насестъ, какъ бы раздумывая: а что, какъ поймаютъ здѣсь и зарѣжутъ?

— Reverendissime, ecce pulla! (почтеннѣйшій, вотъ курица!)—сказалъ Наполеонъ, обращаясь къ священнику.

Ксендзъ и прочіе бросились къ окну. Они, дѣйствительно, увидѣли курицу и выбѣжали во дворъ. Уланы справа и слѣва оцѣпили конюшню и полѣзли на сѣнникъ. Курица съ крикомъ вылетѣла оттуда черезъ ихъ головы въ садъ. Офицеры, мамелюкъ Рустанъ и Мутонъ пустились ее догонять. Имъ помогалъ, командуя и разставляя полы шубы, даже важный и толстый Дюрокъ. Наполеонъ съ улыбкой слѣдилъ изъ окна за этою охотой. Курица была поймана и торжественно внесена въ домъ.

— Si item... если ты такой же умѣлый поваръ,—сказалъ Наполеонъ ксендзу: — какъ священникъ, сдѣлай мнѣ хорошую похлебку.

— Съ великимъ удовольствіемъ, государь! (Magna cum voluptate, Caesar!) — нерѣшительно отвѣтилъ ксендзъ:— боюсь только, можетъ не удасться.

Подростокъ-племянникъ священника растопилъ въ кухнѣ печь. Рустанъ иззябшими руками ощипалъ и выпотрошилъ зарѣзанную хохлатку.

— Но, ваше величество, — замѣтилъ, взглянувъ на свою луковицу, Рапп:—мы опоздаемъ; какую тревогу забьютъ въ замкѣ того помѣщика, гдѣ ожидаютъ васъ, и въ Ошмянахъ!

— А вотъ, погоди, уже пахнетъ оттуда! — отвѣтилъ Наполеонъ, обращая носъ къ кухнѣ: — успѣемъ, еще свѣтло... разставлена ли цѣпь?

— Разставлена...

Похлебку приготовили. Къ дивану, на которомъ сидѣлъ Наполеонъ, придвинули столъ. Въ виду того, что вся посуда у ксендза была ограблена, кушанье принесли въ простомъ глиняномъ горшкѣ; у солдатъ достали походную деревянную ложку.

— Дивно, прелесть! (Optime, superrime!)—твердилъ Наполеонъ, жадно глотая и смакуя жирный, душистый наваръ.

Мамелюкъ прислуживалъ. Онъ вынулъ куриное мясо, разрѣзалъ его на части своимъ складнымъ ножомъ и подалъ на опрокинутой крышкѣ горшка часть грудинки, съ крыломъ. Наполеонъ потянулъ къ себѣ всю курицу, кончилъ ее и, весь въ поту отъ вкусной ѣды, оглянулся на руки Рустана, державшаго походную флягу, съ остаткомъ бордо.

— Да это, друзья мои, не бивачная закуска, а цѣлый пиръ! — восторженно сказалъ Наполеонъ, допивъ въ нѣсколько пріемовъ флягу:—я такъ не ѣлъ и въ Тюльери.

— Пора, ваше величество, осмѣлюсь сказать,—произнесъ Коленкуръ:—смеркается, мы здѣсь цѣлый часъ.

Наполеонъ улыбнулся счастливою, блаженною улыбкой, протянулъ ноги на подставленный ему стулъ, безнадежно махнулъ рукой и, какъ сидѣлъ на диванѣ, оперся головой о стѣну, закрылъ глаза и, въ теплой, уютной, полуосвѣщенной комнатѣ, почти мгновенно заснулъ. Лица свиты вытянулись. Коленкуръ дѣлалъ нетерпѣливые знаки Раппу, Раппъ — Дюроку; но всѣ раболѣпно-почтительно замерли, и, не смѣя пикнуть, молча ожидали пробужденія усталаго цезаря.

Въ тотъ же день, передъ вечеромъ, верстахъ въ пяти отъ большой виленской дороги, въ густомъ лѣсу, подходившемъ къ городку Ошмянамъ, показался отрядъ всадниковъ.

То была партія Фигнера. Усиленно проскакавъ сплошными трущобами и болотами, она стала бивакомъ въ лѣсной чащѣ и, не разводя огней, рѣшила до ночи собрать свѣдѣнія, кто и въ какомъ количествѣ занимаетъ Ошмяны.

Въ городѣ, въ крестьянскомъ зипунишкѣ и войлочной капелюхѣ, на дровняхъ лѣсника, прежде всѣхъ побывалъ самъ Фигнеръ. Онъ, къ изумленію, узналъ, что здѣсь стоитъ пришедшій наканунѣ изъ Вильны отрядъ французской кавалеріи. Ломая голову, зачѣмъ сюда пришли французы, онъ поспѣшилъ обратно къ бивуаку, гдѣ, посовѣтовавшись съ офицерами, раздѣлилъ свою партію на-двое и одну ея часть послалъ, также стороной и лѣсомъ, далѣе къ селенію Мѣдянкѣ, а другой велѣлъ остаться при себѣ на мѣстѣ. Въ Ошмяны же, для развѣдки, какъ великъ французскій отрядъ, онъ разрѣшилъ послать собственнаго ординарца Крама и стоявшаго долгое время въ Литвѣ, а потому знающаго мѣстный языкъ, стараго казацкаго урядника Мосеича.

Путники, уже въ сумерки, вслѣдъ за какимъ-то обозомъ, на тѣхъ же дровняхъ, въѣхали въ городъ. Улицы были почти пусты, лавки и кабаки закрыты. Изрѣдка только встрѣчались прохожіе и проѣзжіе. Окна свѣтились лишь въ немногихъ домахъ.

У крайняго, съ клѣтушами и длинными сараями, постоялаго двора, при въѣздѣ въ городъ, оказался большой конный французскій пикетъ. Солдаты, какъ бы отдыхая, полулежали у забора, держа подъ уздцы на-готовѣ лошадей. Они разговаривали и, очевидно, чего-то ожидали. Завидѣвъ ихъ еще издали и плетясь пѣшкомъ у санокъ, одѣтый дровосѣкомъ, урядникъ Мосеичъ шепнулъ ординарцу, лежавшему въ саняхъ на кучѣ дровъ:

— Ваше благородіе, видите, сколько, ихъ? не вернуться ли?

— Ступай, — отвѣтилъ также шопотомъ ординарецъ: — авось пропустятъ... зайду на постоялый дворъ, еще коечто узнаемъ.

— Да мнѣ не велѣно васъ бросать.

— Ну, какъ знаешь, заѣзжай и самъ; только не разомъ, попозже.

Ординарецъ, миновавъ стражу, всталъ и направился на постоялый дворъ, къ смежной, съ чистыми свѣтлицами, рабочей избѣ. Урядникъ, для отвода глазъ, направился съ дровами окольными улицами, на базарную площадь, а оттуда

къ мосту и, вываливъ тамъ дрова, также потомъ завернулъ съ санями въ ворота постоялаго двора. Не распрягая лошади, онъ поставилъ ее къ яслямъ, подъ навѣсъ, взялъ у дворника сѣна и овса, всыпалъ овесъ въ торбу, а самъ прилегъ въ сани, прислушиваясь къ вознѣ и говору на замолкавшемъ дворѣ. Окончательно стемнѣло.

XLII.

Одѣтый мелкимъ хуторяниномъ, въ бешметѣ на заячьемъ мѣху и въ черной барашковой литовской шапкѣ, ординарецъ Фигнера былъ—Аврора Крамалина.

Сперва скитаніе въ оставленной французами Москвѣ потомъ почти четырехнедѣльное пребываніе въ партизанскомъ отрядѣ сильно измѣнили Аврору. Съ коротко-остриженными волосами и обвѣтреннымъ лицомъ, въ казацкомъ чекменѣ или въ артиллерійскомъ шпенцерѣ, съ пистолетомъ за поясомъ и въ высокихъ сапогахъ, она походила на молоденькаго, только что выпущеннаго въ армію кадета Фигнеръ, щадя и оберегая ввѣренную ему Сеславинымъ Аврору, тщательно скрывалъ ея, извѣстные ему, происхожденіе и полъ и, ссылаясь на молодость и слабыя силы принятаго имъ юнкера, почти не отпускалъ ее отъ себя. Офицеры сперва звали новобранца — Крамалинъ, а потомъ, со словъ казаковъ, просто — Крамъ. Иные изъ нихъ, въ началѣ знакомства, стали-было трунить надъ новымъ товарищемъ, говоря о немъ: «Какой это воинъ? красная дѣвочка!»—Но Фигнеръ, намекнувъ на высокое родство и связи новобранца, такъ осадилъ насмѣшниковъ, что всѣ ихъ остроты прекратились, и на юнкера никто уже не обращалъ особаго вниманія.

Состоя въ ординарцахъ у Фигнера, Аврора почти не сходила съ коня. Всѣ удивлялись ея неутомимому усердію въ службѣ. Голодная, иззябшая, являясь съ развѣдками и почти не отдохнувъ, она въ постоянномъ, непонятномъ ей самой, лихорадочномъ возбужденіи, всегда была готова скакать съ новымъ порученіемъ. Одно ее смущало: холодная, почти звѣрская жестокость ея командира съ попавшими ему въ руки плѣнными. Тихій съ виду и, казалось, добрый Фигнеръ, на ея глазахъ, любезно-мягко шутя и даже угощая голодныхъ, достававшихся ему въ добычу плѣнныхъ, внимательно разспрашивалъ ихъ о томъ, что ему было нужно, пересыпая шутками, записывалъ ихъ показанія и затѣмъ

безпощадно ихъ разстрѣливалъ. Однажды,—Аврора въ особенности не могла этого забыть, — онъ, собственноручно, послѣ такого допроса, пристрѣлилъ изъ пистолета одного за другимъ пятерыхъ молившихъ его о пощадѣ плѣнныхъ.

— Зачѣмъ такая жестокость?—рѣшилась тогда, не стерпѣвъ, спросить своего командира Аврора.

— Слушайте, Крамъ,—отвѣтилъ онъ, ероша космы своихъ волосъ:—зачѣмъ же я буду ихъ оставлять? ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга! все равно перемерзли бы... не таскать же за собой...

Авроръ у ошмянскаго постоялаго двора, при видѣ жалобно жавшихся другъ къ другу, съ обернутыми тряпьемъ лицами и ногами, итальянскихъ солдатъ, вспомнилась другая сцена. За два дня передъ тѣмъ, Фигнеръ, съ частью своей партіи, также отлучился для особой развѣдки къ мѣстечку Сморгони. Возвратясь къ остальнымъ, онъ разсказалъ, что и какъ имъ сдѣлано.

— Представь,—обратился онъ къ гусарскому ротмистру, бывшему въ его отрядѣ:—только-что мы выглянули изъ-за кустовъ, видимъ, у мельницы, французская подвода съ больными и ранеными,—очевидно, обламалась, отстала отъ своего обоза, и при ней такой солидный и важный, въ густыхъ эполетахъ, французскій штабъ-офицеръ. Мы вторыя сутки брели лѣсомъ, безъ дорогъ, измучились, проголодались и вдругъ—что же увидѣли? — собачьи дѣти преспокойно развели костеръ и варятъ рисовую кашу. Ну, я ихъ, разумѣется, и потревожилъ; смялъ съ налета, всѣхъ перевязалъ и началъ укорять: такіе вы, сякіе, говорю, пришли къ намъ и еще хвалитесь просвѣщеніемъ, такъ такіе, молъ, у васъ писатели — Бомаршѐ, Вольтеръ... а сами что надѣлали у насъ? Ихъ командиръ, въ эполетахъ, вмѣшался и такъ заносчиво и гордо сталъ возражать. Ну, я не вытерпѣлъ и былъ принужденъ, разложивъ на снѣгу попонку, предварительно предать его тѣлесному наказанію,

— Предварительно?—спросилъ ротмистръ:—а послѣ? что ты съ ними сдѣлалъ и куда ихъ сбылъ?

Фигнеръ на это молча сдѣлалъ рукою такой знакъ, что Аврора вздрогнула и тогда же рѣшила, при первомъ удобномъ случаѣ, опять проситься обратно къ Сеславину. Какъ она ни была возбуждена и, вслѣдствіе того, постоянно точно

приподнята надъ всѣмъ, что̀ видѣла и слышала, она не могла вынести жестокихъ выходокъ Фигнера.

Болѣе же всего Аврорѣ остался памятенъ одинъ случай въ окрестностяхъ Рославля. Фигнеру отъ начальства было приказано, въ виду начавшейся тогда оттепели, собрать и сжечь валявшіеся у этого города трупы лошадей и убитыхъ и замерзшихъ французовъ. Онъ, давъ отдыхъ своей командѣ, поручилъ это дѣло находившимся въ его отрядѣ калмыкамъ и киргизамъ. Тѣ стащили трупы въ кучи, переложили ихъ соломой и стали поджигать. Рядъ страшныхъ костровъ задымился и запылалъ по сторонамъ дороги. Въ это время изъ деревушки, близъ Рославля, ѣхала въ Смоленскъ провѣдать о своемъ томившемся тамъ въ плѣну мужѣ помѣщица Микѣшина. Ея возокъ поровнялся съ одною изъ приготовленныхъ кучъ. Калмыки уже поджигали солому. Путница видѣла, какъ огонь быстро побѣжалъ кверху по соломѣ. Вдругъ послышался голосъ кучера: «Матушка, Анна Дмитріевна! гляньте... жгутъ живыхъ людей!»—Микѣшина выглянула изъ возка и увидѣла, что солома наверху кучи приподнялась и сквозь неё сперва просунулась, судорожно двигаясь, живая рука, потомъ обезумѣвшее отъ ужаса, живое лицо. Подозвавъ калмыковъ, поджигавшихъ кучи, Микѣшина со слезами стала молить ихъ—спасти несчастнаго француза, и за червонецъ купила его у нихъ. Они вытащили несчастнаго изъ кучи и положили къ ней въ ноги. Возокъ поѣхалъ обратно, въ деревушку Микѣшиныхъ, Платоново. Фигнеръ узналъ о сердолюбіи калмыковъ. Онъ подозвалъ своего ординарца.

— Скачите, Крамъ, за возкомъ,—сказалъ онъ Аврорѣ:— остановите его и предложите этой почтенной госпожѣ возвратить спасеннаго ею мертвеца.

— Но, господинъ штабъ-ротмистръ,—отвѣтила Аврора:— этотъ мертвый ожилъ.

— Не разсуждайте юнкеръ!—строго объявилъ Фигнеръ:— великодушіе хорошо, но не здѣсь; я вамъ приказываю.

Аврора видѣла, какимъ блескомъ сверкнули сѣрые глаза Фигнера, и болѣе не возражала. — «Я его брошу, брошу этого жестокосердаго», — думала она, догоняя возокъ. Настигнувъ его, она окликнула кучера. Возокъ остановился.

— Сударыня, — сказала Аврора, нагнувшись къ окну

возка:—начальникъ здѣшнихъ партизановъ, Фигнеръ, проситъ васъ возвратить взятаго вами плѣннаго.

Изъ-подъ полости, со дна возка, приподнялась страшно исхудалая, съ отмороженнымъ лицомъ, жалкая фигура. Мертвенно-тусклые, впалые глаза съ мольбой устремились на Аврору.

— О, господинъ, господинъ... во имя Бога, пощадите!— прохрипѣлъ французъ:—мнѣ не жить... но не мучьте, дайте мнѣ умереть спокойно, дайте молиться за русскихъ, моихъ спасителей.

Эти глаза и этотъ голосъ поразили Аврору. Она едва усидѣла на конѣ. Плѣнный не узналъ ее. Она его узнала: то былъ ея недавній поклонникъ, взятый соотечественниками въ плѣнъ, эмигрантъ Жерамбъ. Аврора молча повернула коня, хлестнула его и поскакала обратно къ биваку.—«Ну, что же? гдѣ выкупленный мертвецъ?» — спросилъ ее, улыбаясь, Фигнеръ. — «Онъ вторично умеръ», — отвѣтила, не глядя на него, Аврора.

Объ этомъ Аврора вспомнила, пробираясь, подъ лай цѣпнаго пса, къ рабочей избѣ постоялаго двора. Она остановилась подъ сараемъ, въ глубинѣ двора. Здѣсь, впотьмахъ, она услышала разговоръ двухъ французскихъ офицеровъ кавалерійскаго пикета, наблюдавшихъ за своими солдатами, которые среди двора поили у колодца лошадей.

— Ну, страна, отверженная Богомъ,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—не вѣрилось прежде; Россія—это нечеловѣческій холодъ, бури и всякое горе... И несчастные зовутъ еще это отечествомъ!.. (Et les malheureux appellent cela une patrie!).

— Терпѣніе, терпѣніе, — отвѣтилъ другой, съ итальянскимъ акцентомъ.

Къ нимъ подошелъ третій французскій офицеръ. Солдаты въ это время повели лошадей за ворота. Свѣтъ фонаря отъ крыльца избы освѣтилъ лицо подошедшаго.

— Это вы, Лапи?—спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Да, это я,—отвѣтилъ подошедшій.

То былъ статный, смуглый и рослый уроженецъ Марсели, майоръ Лапи. Онъ, какъ о немъ впослѣдствіи говорили, стоялъ во главѣ недовольныхъ сто-тринадцатаго полка и давно тайно предлагалъ расправиться съ обманувшимъ ихъ вождемъ французовъ.

— Что вы скажете? Вѣдь онъ дѣйствительно бросилъ

армію и скачетъ... припоздалъ, по пути, въ замкѣ здѣшняго магната: ему тепло и сыто, а намъ...

— Я скажу, что теперь настало время!.. Мы бросимся, переколемъ прикрытіе...

Аврора далѣе не слышала. Сторожевой песъ, рвавшійся съ цѣпи на Мосеича и другихъ двухъ путниковъ, которые въ это время въѣхали во дворъ, заглушилъ голосъ майора. Аврора, сказавъ нѣсколько словъ уряднику, пробралась въ черную избу. Полуосвѣщенныя ночникомъ нары, лавки и печь были наполнены спящими рабочими и путниками. Снявъ шапку и въ недоумѣніи озираясь по избѣ, Аврора думала: «Отъ кого довѣдаться и кого разспросить? неужели ждутъ Наполеона? Боже! что я дала бы за часъ сна въ этомъ тихомъ, тепломъ углу!»

— Обогрѣться, панночку, соснуть? — отозвался выглянувшій съ печи бородатый, лѣтъ пятидесяти, но еще крѣпкій бѣлоруссъ-мужикъ.

— Да,—отвѣтила Аврора: — мнѣ бы до зари, пока разсвѣтётъ.

— Съ фольварка?

— Да...

— Можа, за рыбкой, альбо—мучицы?

— За рыбой...

— Ложись тута... тѣсно, а мѣсто есть!—сказалъ, отодвигаясь отъ стѣны, мужикъ.

Онъ съ печи протянулъ Аврорѣ мозолистую, жесткую руку. Она влѣзла на нары, оттуда на верхнюю лежанку и протянулась рядомъ съ мужикомъ, отъ зипуна котораго пріятно пахло льняною куделью и сѣнною трухой.

— Мы мельники, а тоже и куделью торгуемъ,—сказалъ, зѣвая мужикъ.

Примостивъ голову на свою барашковую шапку и прислушиваясь, всѣ ли остальные спятъ, Аврора молчала; смолкъ и, какъ ей показалось, тутъ же заснулъ и мужикъ. Въ избѣ настала полная тишина. Только внизу, подъ лавками, гдѣ-то звенѣлъ сверчокъ, да тараканы, тихо шурша, ползали вверхъ и внизъ по стѣнамъ и печкѣ. Долго такъ лежала Аврора, поджидая условнаго зова Мосеича, чтобы, до начала зари, выбраться изъ города. Она забылась и также задремала. Очнувшись отъ нервнаго сотрясенія, она долго не могла понять, что съ нею и гдѣ она? Понемногу

она разглядѣла на лавкѣ, у стола, худого и блѣднаго итальянскаго солдата, которому другой солдатъ перевязывалъ посинѣвшую, отмороженную ногу. Они тихо разговаривали. Раненый, слушая товарища, злобно повторялъ: «diavolo... vieni». Въ дверь вошелъ рослый, бородатый рабочій. Онъ растолкалъ спавшихъ на нарахъ и на печи другихъ рабочихъ. Всѣ встали, крестясь и поглядывая на солдатъ, обулись и вышли. Итальянцы также оставили избу. Изъ сѣней пахнуло свѣжимъ холодомъ. За окномъ заскрипѣлъ ночевавшій во дворѣ, съ какой-то кладью, обозъ.

— Усё имъ, поганцамъ, по наряду вязуцъ! — тихо проговорилъ, точно про себя, лежавшій возлѣ Авроры мужикъ.

— Откуда везутъ?

— Зъ Вильны.

— Куда?

— На сустрѣчь ихъ войску. Кажуть,—продолжалъ, оглядываясь, мужикъ:—ихняго Бонапарта доканали, и онъ чуть пятки унесъ, увъ свои земли удравъ.

— Не убѣжалъ еще,—произнесла Аврора:—его слѣдятъ.

— Убяжитъ! яны, ироды, уси струсили; якъ огня, боятся казаковъ, а особь Сеславина, да есть еще такой Фигнеръ. Принесъ бы ихъ Господь!

— А ты, дѣдушка, за русскихъ?

— Мы, панночку, изстари русскіе, православные тутъ; мельники, куделью торгуемъ.

Мужикъ опять замолчалъ. Еще какіе-то мужикъ и баба встали, крестясь, изъ угла и, подобравъ на спину котомки, вышли. Въ избѣ остались только Аврора, спавшее на печи чье-то дитя и мельникъ-мужикъ. Прошло болѣе часа.

Аврора не спала. Рой мыслей, одна тяжелѣе другой, преслѣдовалъ и томилъ ее. Она перебирала въ умѣ свой первый, неудачный шагъ въ партизанскомъ отрядѣ Фигнера, когда она поступила къ нему въ Астафьевѣ и, въ крестьянской одеждѣ, проникла въ Москву. Фигнеръ былъ полонъ надеждою—пробраться въ Кремль и убить Наполеона. Она надѣялась получить аудіенцію у Даву и, если Перовскій еще живъ, вымолить у грознаго маршала помилованіе ему, а себѣ дозволеніе—раздѣлить съ нимъ бѣдствія плѣна. Аврорѣ живо припомнилась ночь, когда она и Фигнеръ, съ телѣгою, какъ бы для продажи, нагруженною мукой, пробрались, черезъ Крымскій бродъ и Орловъ лугъ, въ Москву

и до утра скрывались въ ея развалинахъ. Съ разсвѣтомъ ихъ поразила мертвая пустынность сгорѣвшихъ улицъ. Они съ телѣгой направились въ провіантское депо, къ Кремлю. На Каменномъ мосту, какъ она помнила, ихъ оглушилъ нежданный, громовой взрывъ; за нимъ раздались другой и третій. Громадные столбы дыма и всякихъ осколковъ поднялись надъ кремлевскими стѣнами, осыпавъ мостъ пылью и пескомъ. По набережной, выплевывая изо рта мусоръ, въ ужасѣ бѣжали немногіе изъ обитателей уцѣлѣвшихъ окрестныхъ домовъ. Отъ нихъ странники узнали, что Наполеонъ, съ главными французскими силами, въ то утро оставилъ Москву, уводя съ собою громадный обозъ и плѣнныхъ и приказавъ оставшемуся отряду взорвать Кремль.

XLIII.

Аврора посѣтила въ погорѣлой Бронной пепелище бабки, была и на Дѣвичьемъ полѣ. Монахини Новодѣвичьяго монастыря показали ей опустѣлую квартиру Давў и близъ огородовъ,—у берега Москвы-рѣки, — мѣсто его страшныхъ казней. Здѣсь-то, въ слезахъ и отчаяніи, Аврора поклялась— до послѣдней капли крови преслѣдовать изверговъ, отнявшихъ и убившихъ ея жениха. Она было оставила Фигнера и, пріютившись у знакомой, пощаженной французами, старушки—кастеляншн Воспитательнаго дома, около двухъ недѣль оставалась въ Москвѣ, разыскивая Перовскаго между русскими и французскими больными и плѣнными. Не найдя его, она рѣшила, что онъ погибъ, опять пробралась въ отрядъ Фигнера, рыскавшаго въ то время у путей отступленія французовъ къ Смоленску, и уже не покидала его.

«Но, можетъ-быть, онъ живъ?—думалось иногда Аврорѣ о Перовскомъ,—что, если въ послѣднюю минуту его пощадили, и теперь, измученнаго, по этой стужѣ, голоднаго и безъ теплой одежды, ведутъ, какъ тысячи другихъ плѣнныхъ?»—Аврора на походѣ съ трепетомъ прислушивалась къ извѣстіямъ изъ другихъ отрядовъ, и едва до нея доносился слухъ объ отбитіи у непріятеля русскихъ плѣнныхъ, спѣшила искать среди нихъ вѣстей о Перовскомъ. Никто изъ тѣхъ, кого она спрашивала, не слышалъ о немъ и не видѣлъ его, ни въ Москвѣ, ни на пути.

Исполняя порученія неутомимаго и почти не спавшаго Фигнера, Аврора часто не понимала, зачѣмъ именно она здѣсь, среди этихъ лишеній и въ этой обстановкѣ, если ея

жениха нѣтъ болѣе на свѣтѣ? Для чего, бросивъ теплый родной кровъ и любящихъ ее бабку и сестру и забывъ свой полъ и свое, не особенно сильное, здоровье, она сегодня весь день не сходитъ съ Зорьки, завтра мерзнетъ въ ночной засадѣ, среди болотъ или въ лѣсной глуши? На походѣ, у переправъ черезъ рѣки и ручьи, въ дождь и холодъ, у костра, и въ безсонныя ночи, гдѣ-нибудь въ овинѣ, или въ полуобгорѣлой, раскрытой избѣ, ее преслѣдовала одна завѣтная мечта—отплаты за любимаго человѣка... Въ минуты такого раздумья, тайкомъ отъ другихъ, Аврора вынимала съ груди крошечный медальонъ съ акварельнымъ, на слоновой кости, портретомъ Перовскаго и, покрывая его поцѣлуями, долго вглядывалась въ него. — «Милый, милый, гдѣ ты?—шептала она:—видишь ли ты свою, любящую тебя, Аврору?»—Въ эти мгновенія, ея облегченнымъ думамъ становилось понятно и ясно, зачѣмъ она здѣсь, въ лѣсу, или на распутьѣ заметенныхъ снѣгомъ дорогъ Литвы, а не у бабки въ Ярцевѣ или въ Паншинѣ, и зачѣмъ на ней грубый казацкій чекмень, или бараній полушубокъ, а не шелковое, убранное кружевами и лентами, платье.

Картины недавняго, прошлаго счастія дразнили и мучили Аврору. Мысленно видя ихъ и наслаждаясь ими, она не могла понять, что же именно ей, наконецъ, нужно и чего ей недостаетъ? Мучительнымъ сравненіямъ и сопоставленіямъ не было конца.—«Какъ мнѣ ни тяжело,—разсуждала она: — но все же у меня есть и защищающая меня отъ стужи одежда, и сносная пища, и свобода... А онъ, онъ, если и вправду живъ, ежечасно мучится... Боже! каждый мигъ ждать гибели отъ разбитаго, озлобленнаго, бѣгущаго врага!..»

Аврора дремала на печи. Вдругъ ей показалось, что ее зовутъ. Она приподняла голову, стала слушать.

— Это я,—раздался у ея изголовья тихій голосъ мужика, лежавшаго на печи.

Въ избѣ нѣсколько какъ бы посвѣтлѣло. У плеча Авроры яснѣе обрисовалась широкая, окладистая борода бѣлорусса, его худое, благообразное лицо и добрые глаза, ласково смотрѣвшіе на нее. Постороннихъ, кромѣ ребенка, спавшаго на печи, не было въ избѣ.

— Панóчку, а панóчку!—обратился къ Аврорѣ, опершись на локоть, мужикъ:—а что я тебѣ скажу?

Аврора, присѣвъ, приготовилась его слушать.

— Отвѣть ты мнѣ,—спросилъ мужикъ:—грѣшно убивать?

— Кого?

— Человѣка... ёнъ вѣдь, хоть и врагъ, тоже чувствуетъ, съ душой.

— Во время войны, въ бою, не грѣшно,—отвѣтила Аврора, вспоминая церковную службу въ Чеплыгинѣ и воззваніе Св. Сѵнода:—надо защищать родину, ея вѣру и честь.

— Убиваютъ же и не въ бою, — со вздохомъ проговорилъ мужикъ.

— Какъ?—спросила Аврора.

— А вотъ какъ. Мы изстари мельники,—произнесъ мужикъ:—перешли сюда изъ Сѣбежа, — землица тамъ скудна. Жили здѣсь тихо; только усё ртняли эти ироды—хлѣбушко, усякую живность, свою и чужую муку; оставили, въ чемъ были. Одной кудели, оголтѣлые, не тронули, имъ на что? не слопаешь! И какъ прожили мы это, съ Успенья, не сказать... Отпустили они насъ маленько, а тутъ съ Кузьмы и Демьяна опять и пошли; видимо-невидимо, это якъ бросили Москву. Есть у насъ тоже мельникъ и мнѣ сватъ, Пётра. Добылъ онъ дѣтямъ у сосѣда-жидка дойную козу: пусть, молъ, хоть молочка попьютъ; и поѣхалъ это на-дняхъ сюда въ городъ, къ куму, за мучицей. Возвращается, полна хата гостей... Французы сидятъ округъ стола; въ печи огонь, а на столѣ горшки, съ усякимъ варевомъ. Жена, сама не своя, мечется, служитъ имъ. Ну, — думаетъ Пётра,—порѣшили козу. А они завидѣли его, смѣются и его же давай угощать; сами, примѣчаетъ, пьянёшеньки... Что же тутъ дѣлать? а у него никакого оружія.

Аврора при этомъ вспомнила о своемъ пистолетѣ и ощупала его на поясѣ подъ бешметомъ.

— Посидѣлъ онъ съ ними,—продолжалъ мужикъ:—и вызвалъ хозяйку въ сѣни. Спрашиваетъ, — коза? Она такъ и залилась слезами. А дѣти?—спрашиваетъ, и самъ плачетъ. Она указала на кудель въ сѣняхъ и говоритъ: я тута ихъ спрятала. Вытащилъ онъ ребятъ изъ-подъ кудели, посадилъ ихъ и жену въ санки, а самъ приперъ полѣномъ дверь, говоритъ хозяйкѣ—погоняй къ куму, да тутъ же запалилъ кудель и сталъ съ дубиной у окна. Полохнули сѣни, повалилъ дымъ. Французы загалдѣли, ломятся въ дверь, да не одолѣютъ, и полѣзли въ окна. Какой просунетъ голову,

Пётра его и долбанётъ... И недолго возились... Это вдругъ все затрещало, и сталъ, о, Господи, одинъ, какъ есть, огненный столбъ... Это, скажи, грѣшно? накажутъ Пётру на томъ свѣтѣ?

— Богъ его, дѣдушка, видно, проститъ,—отвѣтила Аврора.

Опять настало молчаніе. Сверчокъ подъ лавкой также затихъ. Не было слышно ни собачьяго лая на дворѣ, ни шуршанья и возни таракановъ. Аврора прилегла и, закрывъ глаза, думала, скоро ли козоветъ Мосенчъ.

— Панòчку, а панòчку! — вдругъ опять послышался голосъ:—что я тебѣ скажу?

— Говори, дѣдушка.

— За насильниковъ Богъ, може, проститъ; а какъ онъ тебя не трогалъ?

Аврора слушала.

— Было, охъ, и со мною,—продолжалъ мужикъ:—встрѣлъ я нонѣ, идучи сюда, глазъ-на-глазъ, одного ихняго окаянника-солдата; шелъ онъ полемъ, пѣшъ; вижу, отсталъ отъ своихъ, ну, и хромалъ; мы пошли съ нимъ рядомъ. Онъ все что-то лопòче по-своему и показывае на ротъ, голодный—молъ; а при боку сабля и въ рукахъ мушкетъ. Думаю, сколько ты, скурвинъ сынъ, загубилъ душъ!

Мужикъ замолчалъ.

— Сѣли мы, — продолжалъ онъ: — я ему далъ сухарь, смотрю на него, а онъ ѣстъ. И надумалъ я, — вырвалъ у него, будто въ шутку, мушкетъ; вижу, помертвѣлъ, а самъ смѣется... хочетъ смѣхомъ разжалобить... Ну, думаю, Богъ тебѣ судья! показалъ ему этакъ-то рукою въ поле, будто кто идетъ; онъ обернулся, а я ему тутъ, о, Господи! въ спину и стрѣльнулъ...

Мужикъ смолкъ. Молчала и Аврора.

— Грѣшно это?—спросилъ мужикъ.

Аврора не отвѣчала. Ей вспомнилось пепелище Москвы, Дѣвичье поле и мѣсто казней Давý. — «И что ему нужно отъ меня?—думала она,— не все ли равно? теперь все погибло и все кончено... пусть же гибнутъ и они».—Въ избѣ стало еще свѣтлѣе; за окнами во дворѣ слышался говоръ и двигались люди.

— А я, панòкъ, потому въ Ошмяны, — началъ-было, не слыша Авроры, мужикъ: — сюда, сказываютъ, идетъ генералъ Платовъ съ казаками... и я...

Онъ не договорилъ. Дверь изъ сѣней отворилась. Въ избу вошелъ Мосеичъ. Осмотрѣвшись и разглядѣвъ Аврору, а возлѣ нея мужика, онъ остановился.

— Не бойся, это нашъ, — сказала Аврора, спустясь съ печи и идя за Мосеичемъ въ сѣни:—что̀ новаго?

— Ѣдемъ; они ждутъ своего Бонапарта.

— Гдѣ?

— Здѣсь.

— Ты почемъ знаешь?

— Все толкуютъ «анперёръ!» и указываютъ на дорогу...

— Вывози санки; еще успѣемъ доскакать къ нашимъ.

Мосеичъ пошелъ за лошадью. Аврора вышла за ворота. Блѣдное утро едва начиналось; улица у постоялаго двора была уже, однако, полна народа. Всѣ, въ нѣкоторомъ смущеніи, ждали Наполеона, опоздавшаго, по росписанію, болѣе, чѣмъ на три часа.

XLIV.

Бургомистръ и другіе, назначенные отъ французовъ, начальники города стояли впереди и, не спуская глазъ съ дороги на городскомъ выгонѣ, сдержанно разговаривали. Народъ, евреи и уличные мальчишки напирали сзади или, взобравшись на заборы и крыши сосѣднихъ дворовъ, глядѣли оттуда на выстроившійся конный отрядъ.

«Да, теперь уже несомнѣнно, ждутъ самого Наполеона,— подумала Аврора,—гонятъ его наши!»

Ей вспомнился этотъ Наполеонъ, на картинкѣ, убивающій оленя.

Она, пробравшись ближе къ конвою, узнала по голосу сидѣвшаго впереди другихъ, на сѣрой лошади, итальянскаго майора, котораго вечеромъ близъ нея называли Лапи́ и который, какъ она убѣдилась изъ его словъ, былъ готовъ посягнуть на жизнь Наполеона. Статный и смуглый, съ густыми черными бакенами, майоръ мрачно съ сѣдла смотрѣлъ въ ту сторону, куда были направлены взоры остальныхъ. Его глаза, какъ ей показалось, горѣли ненавистью и злобой; нижняя часть лица, стянутаго перевязью каски, судорожно вздрагивала.

— Такъ это — герцогъ Виченцскій, а не императоръ?— спросилъ его стоявшій съ нимъ рядомъ другой французскій офицеръ.

— Терпѣніе! можетъ-быть, и онъ,—сухо отвѣтилъ Лапи́.

«О, если бы это былъ Наполеонъ! — подумала Аврора, отыскивая глазами Мосеича, — не струсь этотъ офицеръ, бросься онъ въ это мгновеніе на ожидаемаго злодѣя, и общимъ бѣдствіямъ конецъ, міръ былъ бы спасенъ»...

Толпа, стоявшая у постоялаго двора, мѣшала Мосеичу выѣхать изъ воротъ. Онъ, показывая это знаками Авроръ, выжидалъ, пока народъ отодвинется. Аврора протиснулась еще далѣе и впереди кавалеристовъ увидѣла заготовленныя для ожидаемыхъ путниковъ двѣ четверни лошадей, съ разряженными въ перья и въ ленты почтарями.

— Я узналъ, это не императоръ, а Коленкуръ, онъ ѣдетъ курьеромъ въ Парижъ!—сказалъ кто-то изъ конвоя вблизи Авроры:—стоило изъ-за того мерзнуть!

Вдругъ толпа заволновалась и двинулась впередъ. Тѣснимая напиравшими отъ забора, Аврора оглянулась на Мосеича. Того уже не было у воротъ. Съ мыслью: «гдѣ же онъ? надо ѣхать, дать знать нашимъ!» — Аврора взглянула вдоль улицы. Въ красноватомъ отблескѣ зари, на бѣлой, снѣговой полянѣ выгона показались двѣ черныя двигавшіяся точки. Ближе и ближе. Впереди скакалъ верховой. Сталъ виденъ нырявшій по ухабамъ, круглый, со стеклами, возокъ, за нимъ — крытыя сани. Форейторы, прилегая къ шеямъ измучившихся, взмыленныхъ лошадей, махали бичами. Послышалась труба скакавшаго впереди вѣстового.

Тысячи мыслей съ неимовѣрною быстротою пролетали въ головѣ Авроры. Ей припомнились слова старосты Клима о французахъ, засыпанныхъ въ колодцѣ, признанія мужика-бѣлорусса о подожженной избѣ и убитомъ голодномъ французскомъ солдатѣ. Авроръ казалось, что она сама, въ эти мгновенія, вынуждена и должна что-то сдѣлать, немедленно и безповоротно предпринять, а что именно — она не могла дать себѣ отчета. — «Насильникъ, насильникъ, — шептала она: — надругался надъ всѣмъ, что дорого и свято намъ... отвѣтишь!»—Чувствуя непонятную, ужасающую торжественность минуты, она видѣла, какъ въ толпѣ народа, еще недавно встрѣчавшаго Наполеона восторженными криками, всѣ смотрѣли на него молча, съ испуганно-смущенными лицами. При этомъ она съ удивленіемъ примѣтила, что и статный, за мгновеніе мрачный и грозный, майоръ вдругъ какъ-то преобразился и, вытянувшись съ почтительною преданностью на лицѣ, салютовалъ шпагою подъѣзжавшему

возку.—«Струсилъ!»—подумала съ горькою усмѣшкой Аврора. Она разглядѣла въ толпѣ благообразное и печально-недоумѣвающее лицо мужика, говорившаго ей за нѣсколько минутъ на печи: «панóчку, а панóчку, а что̀ я тебѣ скажу?»

Посеребренный инеемъ, съ потертымъ волчьимъ мѣхомъ на окнахъ, возокъ въ этотъ мигъ подкатилъ къ постоялому двору и остановился у заготовленной смѣны лошадей.—«Герцогъ Виченцскій, или самъ императоръ?»—съ дрожью вглядываясь въ возокъ, подумала Аврора. Прямо передъ нею, въ окно возка, обрисовалось оливковое, съ покраснѣвшимъ лицомъ и гнѣвными, красивыми глазами, лицо Наполеона. Аврора тотчасъ узнала его.—«Такъ вотъ онъ, плебей-цезарь, коронованный солдатъ!»—сказала она себѣ, видя, какъ важный и толстый, съ шарфомъ черезъ плечо и съ совершенно растерянными глазами, бургомистръ, подойдя къ каретѣ, сталъ, съ низкими поклонами, ломаннымъ французскимъ языкомъ говорить что-то просительное и жалобное, а ближайшіе къ нему горожане даже опустились рядомъ съ нимъ на колѣни. Почтари иззябшими, дрожащими руками наскоро отпрягли прежнихъ и впрягли новыхъ лошадей. Новый конвой, съ майоромъ Лапѝ во главѣ, молодецки строился впереди и сзади экипажа.

— Eh bien, pourquoi ne partons nous pas?—(что же мы не ѣдемъ?)—громко спросилъ Наполеонъ, съ досадой высунувшись изъ колымажки и не обращая вниманія ни на бургомистра, ни на его рѣчь. Толпа, разглядѣвъ ближе императора, стояла въ томъ же мрачномъ безмолвіи. Офицеры метались, почтари торопливо садились на козлы и на лошадей.

Аврорѣ мгновенно вспомнилось ея дѣтство, деревня дяди, бѣгущая собака и крики—«бѣшеная, спасите!»—«Да, вотъ что̀ мнѣ нужно! вотъ гдѣ выходъ!—съ непонятною для себя и радостною рѣшимостью, вдругъ сказала себѣ Аврора:—и неужели не казнятъ злодѣя?.. Базиль! храни тебя Господь... а я...»

Она, перекрестясь, опустила руку подъ бешметъ, рванулась изъ-за тѣхъ, кто тѣснился къ экипажамъ, выхватила изъ-подъ полы пистолетъ и взвела курокъ. Бургомистръ въ это мгновеніе крикнулъ—виватъ! Толпа, кинувшись за отъѣзжавшимъ возкомъ, также закричала. Наполеонъ небрежно-разсѣянно посмотрѣлъ къ сторонѣ толпы. Его попрежнему недовольные глаза на мгновеніе встрѣтились съ глазами

Авроры.—«А! видишь меня? Знай же»... — подумала она и выстрѣлила. Клубъ дыма поднялся передъ нею и мѣшалъ ей видѣть, удаченъ ли былъ ея выстрѣлъ. Она судорожно бросилась впередъ, обгоняя толпу. Ей мучительно хотѣлось узнать, чѣмъ кончилось дѣло. Но отъѣзжавшій конвой, по командѣ майора, полуоборотясь, направилъ дула карабиновъ въ ту сторону, гдѣ, заглушенный криками толпы, послышался пистолетный выстрѣлъ и гдѣ бѣжалъ въ бешметѣ невысокій и худенькій шляхтичъ. Раздался громкій залпъ другихъ выстрѣловъ. Въ толпѣ повалилось нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ выстрѣлившій въ императора шляхтичъ. Онъ, точно споткнувшись о что-нибудь и распластавъ руки, упалъ ничкомъ и не двигался.

— Фанатикъ? — спросилъ, зѣвнувъ, Наполеонъ, усаживаясь глубже въ подушки возка.

— Какой-нибудь сумасшедшій! — отвѣтилъ Коленкуръ, поднимая окно возка.

Толпа, увидѣвъ трупы, въ безумномъ страхѣ бросилась по улицамъ. Одни запирались въ своихъ домахъ; другіе спѣшили уйти изъ города. Урядникъ Мосеичъ, оттертый толпой, успѣлъ въ общемъ переполохѣ доѣхать переулкомъ до выгона, подождалъ юнкера, подумалъ, что тотъ, по неосторожности, попалъ въ плѣнъ, и, прячась за мельницами и огородами, поскакалъ къ лѣсу.

Оставшійся за смѣною итальянскій конвой оцѣпилъ постоялый дворъ и улицу. Изъ толпы было схвачено нѣсколько человѣкъ; арестовали и хозяина постоялаго двора. Имъ стали дѣлать допросъ. Тѣла убитыхъ внесли подъ навѣсъ сарая. Между ними былъ и мельникъ-литвинъ. Полуоборотясь къ мертвой Аврорѣ, онъ лежалъ съ открытыми глазами и, какъ недавно, будто шепталъ ей:

— Панòчку, а панòчку!.. что я тебѣ скажу?

Мосеичъ достигъ лѣса, куда незадолго передъ тѣмъ явился съ своимъ отрядомъ и Сеславинъ. Оба партизана бросились съ двухъ сторонъ на Ошмяны. Итальянскій конвой былъ захваченъ. Фигнеръ узналъ о смерти Крама. Ругаясь, кусая себѣ руки и проклиная неудачу, онъ рѣшилъ тутъ же перестрѣлять арестованныхъ. Сеславинъ воспротивился, говоря, что выгоднѣе всѣхъ взять въ плѣнъ и отъ нихъ довѣдаться о дальнѣйшихъ намѣреніяхъ непріятеля.

— Ну, и возись съ ними, пока на тебя же не наскочатъ другіе!—сказалъ Фигнеръ:—охъ, ужъ эти нѣженки, идеологи.

— Да чѣмъ же идеологи?— спросилъ, вспыхнувъ, Сеславинъ:—вамъ бы все крови.

— А вамъ сидѣть бы только въ кабинетѣ, да составлять сладкіе и чувствительные законы, — кричалъ Фигнеръ: — а эти законы первый ловкій разбойникъ броситъ послѣ васъ въ печь.

Сеславинъ сталъ-было снова возражать. Но раздосадованный Фигнеръ, не слушая его, крикнулъ своей командѣ строиться, сѣлъ на-коня и поскакалъ за городъ, въ перерѣзъ, по виленской дорогѣ.

Сеславинъ освободилъ корчмаря, разыскалъ помощника бургомистра и, пока его команда, развьючивъ лошадей, кормила ихъ и наскоро сама закусывала, распорядился похоронами убитыхъ.

— Слышалъ? — спросилъ адъютанта Сеславина пожилой, съ сѣдыми усами, гусарскій ротмистръ, выйдя изъ постоялаго, гдѣ закусывали остальные офицеры.

— Что такое?

— Убитый-то ординарецъ Фигнера, ну, этотъ юнкеръ Крамъ, какъ его звали, вѣдь оказался женщиной!

— Что ты?—удивился адъютантъ.

— Ей-Богу. Синтянину первому сказали, а онъ — Александру Никитичу.

Адъютантъ Сеславина, Квашнинъ, мѣсяцъ тому назадъ, подъ Краснымъ, поступившій въ партизаны, обомлѣлъ при этихъ словахъ.

«Крамъ, Крамалина! Ясно какъ день! — сказалъ себѣ Квашнинъ:—и я не догадался ранѣе!»

Ему вспомнилось, какъ онъ, въ вечеръ вступленія французовъ въ Москву, обѣщалъ Перовскому отыскать домъ его невѣсты, Крамалиной, какъ онъ его нашелъ и получилъ отъ дворника записку этой дѣвушки и, съ цѣлью отдать ее при первой встрѣчѣ Перовскому, не разставался съ нею. Пораженный услышанною вѣстью, онъ безъ памяти бросился въ избу, куда, между тѣмъ, въ ожиданіи погребенія, перенесли убитыхъ.

— Да-съ, господа, женщина и притомъ такая героиня!— произнесъ, стоя у тѣла Авроры, Сеславинъ: — теперь она покойница, тайны нѣтъ. Ея жизнь, какъ говорятъ, романъ...

когда-нибудь онъ раскроется. А пока на ней найденъ вотъ этотъ, съ портретомъ, медальонъ... Вѣроятно, изображеніе ея милаго.

Офицеры стали разсматривать портретъ.

— Боже! такъ и есть... это—Василій Перовскій!—вскрикнулъ, вглядываясь въ портретъ, Квашнинъ.

— Какой Перовскій? — спросилъ Сеславинъ.

— Бывшій, какъ и я въ началѣ, адъютантъ Милорадовича; мы съ нимъ отъ Бородина шли вплоть до Москвы... онъ на прощаньѣ повѣдалъ мнѣ о своей страсти.

— Такъ вы его знаете?

— Какъ не знать!

— Гдѣ же онъ?

— Попалъ, очевидно, какъ и я, въ то время, въ плѣнъ, а живъ ли и гдѣ именно,—неизвѣстно.

— Ну, такъ какъ вы его знаете,—сказалъ Сеславинъ:— вотъ вамъ этотъ медальонъ — сохраните его. Если Перовскій живъ и вы когда-нибудь увидите его, отдайте ему... А теперь, господа, на коней и въ путь.

Партизанскій отрядъ Сеславина двинулся также по виленской дорогѣ. Квашнинъ при отъѣздѣ отрѣзалъ у Авроры прядь волосъ и, отирая слезы, спряталъ ихъ съ медальономъ за лацканъ мундира.

«Какое совпаденіе! Такъ вотъ гдѣ ей пришлось кончить жизнь!—мыслилъ онъ, миновавъ Ошмяны и снова съ отрядомъ въѣзжая въ придорожный лѣсъ: — думалъ ли Перовскій, думалъ ли я, что его невѣстѣ, этой московской милой барышнѣ, танцовавшей прошлою весною на тамошнихъ балахъ, любимицѣ семьи, придется погибнуть въ литовской трущобѣ?.. Никто ее здѣсь не знаетъ, никто не пожалѣетъ, и родная рука не броситъ ей на безвѣстную могилу и горсти мерзлой земли».

Слезы катились изъ глазъ Квашнина, и онъ не помнилъ, какъ сидѣлъ на конѣ и какъ двигался, среди товарищей, по безконечному, дремучему лѣсу, охватившему его со всѣхъ сторонъ. Всадники ѣхали молча. Косматыя ели и сосны, усыпанныя снѣгомъ, казались Квашнину мрачными факельщиками, а партизанскій отрядъ, съ каркающими и перелетающими надъ нимъ воронами,—безъ конца двигающеюся траурною процессіей.

XLV.

Наполеонъ проѣхалъ Вильну въ Екатеринин день, 24 ноября, а русскую границу — 26 ноября, въ день св. Георгія. Эту границу императоръ французовъ проѣхалъ въ томъ же жидовско-шляхетскомъ возкѣ, въ которомъ по немъ былъ сдѣланъ неудачный выстрѣлъ въ Ошмянахъ.

Подпрыгивая на ухабахъ въ этомъ возкѣ, Наполеонъ съ досадой вспоминалъ торжественную прокламацію, изданную имъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, при вступленіи въ невѣдомую для него въ то время Россію.

«Мои народы, мои союзники, мои друзья!—вѣщалъ тогда міру новый могучій Цезарь:—Россія увлечена рокомъ. Потомки Чингисъ-хана зовутъ насъ на бой, — тѣмъ лучше; развѣ мы уже не воины Аустерлица? Впередъ! покажемъ силу Франціи, перейдемъ Нѣманъ, внесемъ оружіе въ предѣлы Россіи; отбросимъ эту новую, дикую орду въ прежнее ея отечество, въ Азію».

Теперь Наполеонъ, вспоминая эти выраженія, только подергивалъ плечами и молча хмурился. Его мыслей не покидалъ образъ сожжённой Москвы и его вынужденный, позорный выходъ изъ ея грозныхъ развалинъ.

«Зато будетъ меня помнить этотъ дикій, надолго истребленный городъ! — разсуждалъ Наполеонъ, убѣждая себя, что онъ и никто другой — сжегъ Москву».

Его путь у границы лежалъ по кочковатому, замерзшему болоту. На одномъ изъ толчковъ возокъ вдругъ такъ подбросило, что императоръ стукнулся шапкой о верхъ кузова и, если бы не ухватился за сидѣвшаго рядомъ съ нимъ Коленкура, его выбросило бы въ распахнувшуюся дверку.

— Отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ!—съ горькою улыбкой сказалъ при этомъ Наполеонъ слова, повторенныя имъ потомъ въ Варшавѣ и ставшія съ тѣхъ поръ историческими: — знаете, Коленкуръ, что мы такое теперь?

— Вы — тотъ же великій императоръ, а я — вашъ вѣрный министръ, — поспѣшилъ отвѣтить ловкій придворный.

— Нѣтъ, мой другъ, мы въ эту минуту — жалкіе, вытолкнутые за порогъ фортуной, проигравшіеся до новаго счастья, авантюристы!

А въ то время какъ, не поспѣвая за убѣгавшимъ Наполеономъ и падая отъ голода и страшной стужи, шли остатки

его еще недавно бодрыхъ и грозныхъ легіоновъ, въ русскихъ отрядахъ, которые безъ устали преслѣдовали ихъ и добивали, все ликовало и радовалось.

Въ пограничныхъ городахъ и мѣстечкахъ, куда, по пятамъ французовъ, вступали русскіе полки и батареи, шло непрерывное веселье и кутежи. Полковые хоры пѣли: «Громъ побѣды раздавайся!» Жиды-факторы, еще на-дняхъ увѣрявшіе французовъ, что всѣ предметы продовольствія у нихъ истощены, доставляли къ услугамъ тѣхъ, кто теперь оказывался побѣдителемъ, все, что̀ угодно. Точно изъ-подъ земли, въ городскихъ трактирахъ, кавярняхъ и даже въ мѣстечковыхъ корчмахъ появлялись въ изобиліи не только всякіе съѣстные припасы, но даже рѣдкія и тонкія вина. Стали хлопать пробки Кликò; полился гдѣ-то добытый и родной «шипунѣцъ» — донское-цымлянское. Офицеры-стихотворцы, вспоминая петербургскія пирушки въ ресторацiи Тардива, слагали распѣваемые потомъ во всѣхъ полкахъ и ротахъ сатирическіе куплеты на французовъ:

Пускай Тардивъ
Въ компотъ изъ сливъ
Мадеру подливаетъ;
А Бонапартъ,
Съ колодой картъ,
Одинъ въ пассьянсъ играетъ...

Ободренные удачей, солдаты не отставали въ дѣлѣ сочинительства отъ начальниковъ. — «Всѣ кузни исходилъ, не кованъ воротился!» — трунили пѣхотинцы надъ гибнущими французами. — «Ай, донцы-молодцы!» — гремѣли на походѣ пляшущіе, съ бубнами и тарелками, солдатскіе хоры. У границы вся русская армія весело пѣла на морозѣ общую, гдѣ-то и кѣмъ-то сложенную, пѣсню:

За горами, за долами,
Бонапарте, съ плясунами,
Вздумалъ равенъ стать...

Сожжённая въ нашествіе французовъ Москва стала понемногу оживать.

Первый ударъ колокола, послѣ пятинедѣльнаго молчанія, вслѣдъ за выходомъ французовъ изъ города, раздался на церкви Петра и Павла, въ Замоскворѣчьѣ. Его сперва робкій, потомъ торжественно-громкій звонъ услышали другія, уцѣлѣвшія, ближнія и дальнія колокольни и стали ему вто-

рить. Народъ, съ радостнымъ умиленіемъ, бросился въ церкви. Преосвященный Августинъ, войдя въ очищенный отъ вражескаго святотатства Архангельскій соборъ, воскликнулъ: «Да воскреснетъ Богъ» и запѣлъ съ причтомъ: «Христосъ воскресе!»

Молва объ освобожденіи Москвы быстро облетѣла окрестности. Въ городъ хлынули всякаго рода рабочіе, плотники, каменщики, столяры, штукатуры и маляры; за ними явились мелкіе, а потомъ и крупные торговцы. Толковали, что въ первую недѣлю пожаровъ въ Москвѣ сгорѣло, по счету полиціи, до восьми тысячъ домовъ; всего же, за пять недѣль, сгорѣло около тридцати тысячъ зданій и осталось въ цѣлости не болѣе тысячи домовъ. Изъ подгородныхъ деревень стали подвозить лѣсъ для построекъ, припрятанные съѣстные припасы и всякій, изъ Москвы же увезенный, товаръ. Хозяева сожженныхъ, разрушенныхъ и ограбленныхъ домовъ занялись возобновленіемъ и поправкой истребленныхъ и попорченныхъ зданій. Застучалъ, среди пустынныхъ еще улицъ, топоръ, зазвенѣла пила. Цѣны на вновь подвезенные жизненные припасы сильно вздорожали.

— За этотъ-то хлѣбушко, — и полтину? — шамкая, говорила продавцу столько времени голодавшая, въ какомъ-то подвалѣ, старушенка: — да гдѣ же это видано? христопродавцы вы, что ли?

— А тебя за языкъ нешто канатомъ тянутъ? — презрительно отвѣчалъ, постукивая на холодѣ ногой о ногу, кулакъ-продавецъ:—хочь—бери, хочь — нѣтъ... не придушили французы, и за то, бабушка, Богу благодарствуй!

Княгиня Шелешпанская съ правнукомъ на зиму осталась въ Паншинѣ. Ксенію съ мужемъ она отпустила въ Москву, поручивъ имъ осмотрѣть ея пепелище, у Патріаршихъ прудовъ, и озаботиться возведеніемъ на немъ новаго дома. Снабженные деньгами изъ доходовъ княгини, Тропинины прибыли въ Москву въ концѣ декабря и съ трудомъ добыли себѣ помѣщеніе, изъ двухъ комнатъ, у кого-то изъ знакомыхъ, въ уцѣлѣвшемъ отъ пожара домишкѣ, на Плющихѣ. Илья Борисовичъ вскорѣ нашелъ подрядчиковъ, заключилъ съ ними условіе и, хотя деньги сильно упали въ цѣнѣ,—рубль ходилъ за четвертакъ, — занялся постройкой. Служба въ сенатѣ еще не начиналась. Съѣхавшіеся чиновники приводили въ порядокъ дѣла, выброшенныя францу-

зами изъ сенатскихъ зданій и уцѣлѣвшія отъ костровъ. Стали снова выходить въ свѣтъ возстановленныя изъ-подъ пепла *Московскія Вѣдомости*; возвратились въ Москву графъ Растопчинъ и патріотъ-журналистъ Сергѣй Глинка, и снова появились среди москвичей разные жуйры, карточные игроки, аферисты, трактирные кутилы и покровители клубовъ и цыганокъ.

На письма Тропининыхъ къ знакомымъ, и служившимъ въ арміи и въ штабѣ Кутузова, благополучна ли и гдѣ находится Аврора, отвѣтовъ не получалось, такъ какъ русскія войска вскорѣ миновали границу и, вслѣдъ за французами, вступили въ Германію. Государь, по слухамъ, выѣхалъ въ Вильну, день въ день, черезъ полгода послѣ своего выѣзда изъ нея, при занятіи ея французами.

О Перовскомъ долго не было никакихъ положительныхъ свѣдѣній. Возвратившійся Растопчинъ утѣшилъ, наконецъ, Илью извѣстіемъ, что министръ народнаго просвѣщенія, графъ Алексѣй Кириловичъ Разумовскій, какимъ-то путемъ, черезъ Англію, вошелъ въ переписку съ Талейраномъ и надѣялся вскорѣ получить точныя справки о задержанномъ въ плѣну адъютантѣ Милорадовича, Василіи Перовскомъ. Растопчинъ отрекался тогда, въ виду свѣжаго пепелища, отъ сожженія Москвы, затѣвая статью: «*Правда о московскомъ пожарѣ*», которую остряки назвали потомъ «*Неправдою*», и пр.

Въ началѣ весны 1813 года, Тропининъ получилъ отъ одного изъ смоленскихъ знакомыхъ письмо, въ которомъ тотъ извѣщалъ его, что недавно былъ въ Рославлѣ и узналъ, что въ окрестностяхъ этого города, у помѣщицы Микѣшиной, проживаетъ, спасенный ею отъ партизанскаго костра, плѣнный Шарль Богёзъ, извѣстный москвичамъ подъ фамиліей эмигранта Жерàмба. Въ благодарность своей спасительницѣ, онъ, когда-то учившійся въ Италіи живописи, хотя и съ отмороженными ногами и въ чахоткѣ, нарисовалъ масляными красками портретъ ея мужа, бѣжавшаго изъ плѣна въ Смоленскѣ, незадолго до вторичнаго вступленія туда Наполеона. По словамъ Жерàмба, онъ видѣлъ Перовскаго въ Москвѣ, въ день вступленія туда французовъ, но о дальнѣйшей его судьбѣ ничего не зналъ.

Тропининъ, въ три мѣсяца, на обгорѣломъ каменномъ фундаментѣ успѣлъ выстроить новый деревянный, помѣстительный домъ и хлопоталъ о возведеніи къ веснѣ времен-

ныхъ службъ. Ѣздя ежедневно на постройку, съ Плющихи на Патріаршіе пруды, онъ направлялся напрямикъ, снѣговыми дорожками, черезъ сожжённые и еще неогороженные дворы Бронной и другихъ смежныхъ улицъ, стараясь угадать и представить себѣ очертанія недавно еще стоявшихъ тутъ и безслѣдно исчезнувшихъ зданій. Извозчичьи санки мчались теперь въ сумерки по мѣстамъ, гдѣ какихъ-нибудь полгода назадъ, въ стоявшихъ здѣсь уютныхъ и красивыхъ домахъ, въ званые вечера, весело гремѣла музыка, пары танцующихъ носились въ вальсѣ и котильонѣ и гдѣ все жило безпечно и мирно. Теперь тутъ на обнаженныхъ, покрытыхъ снѣжными сугробами пустыряхъ, раздавался у церквей и лавокъ лишь стукъ ночныхъ сторожей, да бѣгали стаями и выли голодныя бродячія собаки.

Разоренное семисотлѣтнее гнѣздо, мало-по-малу, собирая своихъ разлетѣвшихся обитателей, опять ладилось, чистилось, прибиралось и оживало къ новой долголѣтней, безпечной, мирной жизни. И стали здѣсь опять щеголихи рядиться и выѣзжать; мужчины посѣщать обновленный клубъ и цыганокъ; молодежь влюбляться и свататься; дѣвицы выходить замужъ. Лѣкаря, купцы, модистки и акушерки стали опять зарабатывать, какъ и прежде.

Наступилъ 1814 годъ.

Отторгнутый такъ долго отъ родины и близкихъ, Базиль Перовскій все еще находился въ числѣ плѣнныхъ, уведенныхъ французами изъ Россіи и Германіи. Плѣнныхъ, и въ первое время, содержали очень строго. Когда же пронеслась вѣсть о наступленіи на Францію шедшихъ за русской арміей съ криками à Paris! à Paris! союзниковъ императора Александра Павловича, ихъ подвергали всяческимъ лишеніямъ и, въ предупрежденіе сношеній съ иностранцами, постоянно переводили съ мѣста на мѣсто.

Было начало февраля. Отрядъ плѣнныхъ, въ которомъ находился Базиль, вышелъ, подъ охраной мѣстнаго гарнизона, изъ Орлеана въ Блуа и далѣе въ Туръ. Плѣнныхъ вели на западъ отъ Парижа, къ которому стремительно близились союзники.

Отрядъ шелъ берегомъ Луары. Погода стояла теплая и тихая. Солнце свѣтило привѣтливо. На южныхъ береговыхъ откосахъ пробивалась молодая трава. Съ разлившихся озеръ

и заводей Луары взлетали стаи утокъ и кулико̀въ. Берега рѣки начинали пестрѣть первыми вешними цвѣтами. Кудрявыя, бѣлыя облачка весело бѣжали по празднично-синему небу.

Плѣнные подошли къ городку Божанси. Здѣсь стало вдругъ извѣстно, что близъ Орлеана, который они только-что оставили и отъ котораго отошли не болѣе двухъ переходовъ, показались русскіе, что Орлеанъ въ тотъ же день заняли казаки и что русскихъ вскорѣ ждутъ и въ Божанси. Перовскій пришелъ въ неописанное волненіе. Плѣнныхъ торопливо повели далѣе. По выходѣ изъ Божанси, Базиль открылъ свои мысли другому русскому плѣнному, добродушному и болѣзненному штабсъ-ротмистру Сомову, все тосковавшему о двухлѣтней почти разлукѣ съ женой и дѣтьми. Послѣ долгихъ переговоровъ, онъ условился съ нимъ, выждалъ, пока отрядъ на первомъ вечернемъ привалѣ заснулъ, и оба они бѣжали обратно въ Орлеанъ.

Бѣглецы по пути встрѣтили подростка-пастуха и, увѣривъ его, что они — отсталые изъ партіи новобранцевъ, упросили его быть ихъ проводникомъ до города. Наполеоновскихъ конскриптовъ всѣ тогда жалѣли.—«Отсталые, или бѣглые? какъ имъ не помочь?»—подумалъ подростокъ и повелъ ихъ виноградниками и лѣсами. Голодные, измученные бѣглецы, къ разсвѣту слѣдующаго дня, снова приблизились къ Орлеану и въ утреннихъ сумеркахъ, съ холма, радостно увидѣли городскіе фонари, догоравшіе на каменномъ мосту черезъ Луару.

— А далѣе, видите? — указалъ имъ за городъ проводникъ:—то биваки русскихъ! остерегайтесь!

Едва плѣнники двинулись, ихъ примѣтилъ стоявшій по сю сторону города французскій пикетъ. Они бросились въ рѣку, переплыли ее и скрылись въ смежномъ лѣсу. Стража, для очищенія совѣсти, дала по нимъ, въ полумглѣ, залпъ изъ ружей.

Императоръ Александръ Павловичъ достигъ завѣтной цѣли. Онъ съ своими союзниками, пруссаками и австрійцами, разбивъ у воротъ Парижа послѣднихъ защитниковъ Наполеона, вступилъ въ сдавшуюся ему на капитуляцію столицу Франціи. Непрошенный визитъ Наполеона въ Москву былъ отплаченъ визитомъ Александра въ Парижъ.

Русскій императаръ, 19 марта 1814 года, въѣхалъ въ Парижъ черезъ пантѣнскія ворота и сенжермѣнское предмѣстье, верхомъ на свѣтло-сѣромъ конѣ, по имени Эклипсъ. Этотъ конь былъ ему подаренъ Коленкуромъ, въ бытность послѣдняго посломъ въ Петербургѣ. Александръ, въ противоположность Наполеону, несъ съ собою миръ.

Французы восторженно сыпали бѣлыя розы и лиліи подъ ноги русскаго царя, ѣхавшаго по бульварамъ, въ сопровожденіи прусскаго короля и пышной, дотолѣ здѣсь невиданной свиты изъ тысячи офицеровъ и генераловъ разныхъ чиновъ и народностей. Зрители махали платками и кричали:

— Vive Alexandre, vivent les Russes!

«Да неужели же это тѣ самые дикари, потомки полчищъ Чингисъ-хана, о которыхъ намъ твердили такіе ужасы?— удивленно спрашивали себя парижане и парижанки, разглядывая нарядные и молодцоватые русскіе полки, шедшіе по бульварамъ къ Елисейскимъ полямъ:—нѣтъ! это не татары пустыни! это наши спасители! vivent les Russes! vive Alexandre! à bas le tyran!»

Весело зажили русскіе въ Парижѣ. Начальство и офицеры посѣщали театры, кофейни, клубы и танцовальные вечера. У дома Талейрана, гдѣ помѣстился императоръ Александръ, по цѣлымъ днямъ стояли толпы народа, встрѣчавшія и провожавшія русскаго царя радостными восклицаніями. У подъѣзда этого дома и на Елисейскихъ поляхъ, гдѣ расположилась бивакомъ русская гвардія, по ночамъ раздавались русскіе и нѣмецкіе оклики: «кто идетъ?» и «wer da?» Въ нѣмецкомъ лагерѣ, опорожняя бочками плохое парижское пиво, восторженно кричали:—«Vater Blücher, lebe!» (Да здравствуетъ отецъ Блюхеръ!).

Французы изумлялись великодушію своихъ побѣдителей. Въ оперномъ театрѣ готовили аллегорическую пьесу: *Торжество Траяна*. Русскому губернатору Парижа, генералу Сакену, на каждомъ шагу дѣлали шумныя овацiи. Сенатъ голосовалъ лишеніе престола Наполеона и его династіи. Все русское входило въ большую моду.

XLVI.

Стоялъ теплый, ясный вечеръ. Въ небольшомъ парижскомъ ресторанѣ, въ улицѣ Сентъ-Оноре, послѣ дружескаго, съ возліяніемъ, обѣда, засидѣлись вокругъ стола нѣсколько русскихъ офицеровъ. Всѣ были довольны хорошими винами,

вкуснымъ обѣдомъ и собственнымъ отличнымъ настроеніемъ духа. Говорили, не переставая, объ испытанныхъ треволненіяхъ похода, о сраженіяхъ въ Германіи и Франціи и о предстоявшемъ окончаніи войны. Собесѣдники угощали товарища, которому хотѣли этимъ оказать особенное вниманіе. Это былъ очень худой, курчавый и сильно загорѣлый, среднихъ лѣтъ полковникъ, въ казацкомъ кафтанѣ, съ трубкою въ рукѣ, нагайкою черезъ плечо и въ гусарской фуражкѣ.

Особаго хмеля въ присутствовавшихъ не замѣчалось. Они были просто счастливы и веселы. Между ними болѣе другихъ говорилъ и, размахивая руками, то и дѣло смѣялся черноволосый, молодой офицеръ въ адъютантской формѣ. Заговорили о женщинахъ и о любви. Черноволосый офицеръ сталъ излагать свое мнѣніе и доказывалъ, что любовь — единственное, истинное и прочное блаженство на землѣ.

— А знаете, Квашнинъ, — обратился къ нему человѣкъ съ нагайкой, котораго присутствовавшіе угощали: — я васъ давно слушаю... Вы такъ милы, но, извините,—увлекаетесь. По-моему, на свѣтѣ нѣтъ ничего прочно-существеннаго и положительнаго.

— Какъ такъ?—удивился, разрумянившійся и взъерошенный отъ волненія и собственныхъ рѣчей, Квашнинъ: — я отъ души скажу,—вы замѣчательный и храбрый офицеръ... кто теперь не знаетъ знаменитаго партизана Сеславина?— но вы ужъ очень мрачно смотрите на жизнь, а женщинъ, извините и меня, вы совсѣмъ, повидимому, не знаете...

Сеславинъ улыбнулся.

— Ничуть, — сказалъ онъ: — все въ мірѣ—однѣ грёзы... По искреннему моему убѣжденію, — и это подтверждаютъ многіе умные люди, — все на свѣтѣ, — какъ бы это яснѣе выразить?—есть собственно... ничто.

«Гм!—подумалъ на это Квашнинъ,—твоему другу Фигнеру не удалось убить Наполеона, а тебѣ взять этого Наполеона въ плѣнъ живьёмъ, вотъ ты и злобствуешь, хандришь».

— Позвольте, однако, а герой нашихъ дней?—произнесъ онъ, подливая себѣ и товарищамъ вина:—я говорю о созданномъ могучею здѣшнею революціей, величайшемъ, хотя теперь и несчастномъ, военномъ геніи... И онъ тоже мечта? Этотъ человѣкъ былъ причиной бородинской битвы, боя гигантовъ, а Бородино вызвало появленіе русскихъ съ Дона, Оки и Невы—гдѣ же?—въ столицѣ міра, въ Парижѣ...

— Эхъ вы, юноша, юноша!—сказалъ Сеславинъ:—вы съ похвалой упомянули о здѣшней революціи. А знаете ли, что она такое?

Сказавъ это, Сеславинъ, какъ бы раздумавъ продолжать, молча сталъ набивать табакомъ свою пожелтѣлую, прокуренную пѣнковую трубку, которую онъ, въ честь прославленнаго прусскаго генерала, назвалъ Блюхеромъ.

— Говорите, говорите!—воскликнули прочіе собесѣдники, сдвигаясь ближе къ Сеславину.

— Ничего въ жизни я такъ не презиралъ и ненавидѣлъ, какъ спекулянтовъ на счетъ человѣческаго блага,—произнесъ Сеславинъ: — а главные спекулянты пока на этотъ счетъ — французы... Не прыгайте и не машите руками, Квашнинъ; не стыжусь я этого мнѣнія, какъ и того, что обо мнѣ и о покойномъ Фигнерѣ плели столько небылицъ.

— Ахъ, Боже мой, что вы! — отвѣтилъ Квашнинъ: — я ничего ни о васъ, ни о немъ и не говорилъ дурного.

— Разберите здѣшнихъ, излюбленныхъ мудрецовъ,—продолжалъ Сеславинъ, потягивая дымъ изъ своего Блюхера:— сентиментальные съ виду сегодня, хотя вчера кровожадные въ душѣ, какъ тигры, эти прославленные герои революціи, съ мадригалами на устахъ, съ посошкомъ въ рукѣ и съ полевыми ландышами на шляпѣ, недавно еще звали своихъ соотечественниковъ, а за ними и весь міръ, — то-есть и васъ, Квашнинъ, да и меня, — въ новую Аркадію, — пасти овечекъ и мирно наслаждаться сельскимъ воздухомъ, у ручейка, питаясь медомъ и молокомъ. А чѣмъ тогда же кончили? Маратомъ и Робеспьеромъ, всеобщею гильотиной, казнью родного короля и коронованіемъ ловкаго и грубаго, разгадавшаго ихъ, солдата, да притомъ еще и не француза, а корсиканца.

— Въ чемъ же, по вашему, истинное счастье на землѣ?— спросилъ пожилой и высокій подполковникъ, изъ штабныхъ, Синтянинъ, о которомъ товарищи говорили, что онъ, во время войны, почувствовалъ призваніе къ поэзіи и сталъ, какъ партизанъ Давыдовъ, писать стихи: — въ чемъ прочныя радости на землѣ?

— Въ любви!—не выдержавъ, опять вскрикнулъ Квашнинъ:—что можетъ быть выше истинной, чистой страсти?..

— Счастья нѣтъ на свѣтѣ,—повторилъ Сеславинъ:—вы лучше спросите меня, въ чемъ главныя муки въ жизни?

— Говорите, мы слушаемъ,—отозвались голоса.

— Я объясню примѣромъ,—сказалъ Сеславинъ:—графъ Растопчинъ зналъ въ молодости одну, нынѣ уже старую и, вѣроятно, покойную, московскую барыню. Онъ однажды, при мнѣ, о ней выразился, что Данте, въ своемъ *Адѣ*, забылъ отвести для подобныхъ лицъ особое, весьма важное отдѣленіе.

Сеславинъ разсказалъ уже извѣстную остроту графа о грѣшницахъ, которыя мучатся сознаніемъ того, что пропустили въ жизни случай безнаказанно согрѣшить, по оплошности, трусости или простотѣ.

Дружный хохотъ слушателей покрылъ слова разсказчика.

— Не смѣйтесь, однако, господа,—заключилъ Сеславинъ:—боль тайныхъ душевныхъ мукъ ближе всего понятна тому, кто испыталъ особенно жестокую насмѣшку судьбы... кто, какъ бѣдный, утонувшій въ Эльбѣ, нашъ товарищъ Фигнеръ, вызывался лично, глазъ-на-глазъ, избавить міръ отъ всесвѣтнаго изверга, имѣлъ къ тому случай и этого не достигъ...

Сеславинъ смолкъ. Замолчали и остальные собесѣдники.

— А могу ли я, Александръ Никитичъ, узнать, кто это растопчинская барыня? — спросилъ, подмигивая другимъ, Квашнинъ.

— Дѣло было давно,—отвѣтилъ Сеславинъ:—когда я, въ одинъ изъ отпусковъ, гостилъ въ Москвѣ, у родныхъ, гдѣ бывалъ Растопчинъ... Повторяю, этой особы, повидимому, уже нѣтъ на свѣтѣ, и ее здѣсь, вѣроятно, не знаютъ. Это—княгиня Шелешпанская.

— Какъ? она? — удивился Квашнинъ: — да вѣдь это — бабка покойнаго партизана вашего отряда, дѣвицы Крамалинòй. Въ ея домѣ, у Патріаршихъ прудовъ, я былъ въ день занятія французами Москвы; помните, когда я было попалъ въ плѣнъ? А Крамалинà, господа, вы, разумѣется, слышали, неудачно стрѣляла по Наполеону въ Ошмянахъ и при этомъ убита.

Тѣмъ, кто не зналъ подробностей объ этомъ событіи, Квашнинъ разсказалъ объ Аврорѣ и о Перовскомъ.

— Перовскій? — спросилъ, въ свой чередъ, подполковникъ Синтянинъ: — постойте, да вѣдь онъ живъ!.. именно живъ!

— Живъ Василій Перовскій? — вскрикнулъ, блѣднѣя, Квашнинъ.

— Да, я видѣлъ нашего Сомова,—отвѣтилъ Синтянинъ:— онъ съ нимъ, здѣсь уже, бѣжалъ изъ Орлеана, и оба вчера явились въ Парижъ, измученные, полуживые.

— Вы не ошибаетесь?—спросилъ, не вѣря своимъ ушамъ, Квашнинъ.

— Нисколько... Да вотъ что... вы знаете, гдѣ бивакъ нашего полка?

— Знаю, знаю.

— Ну, и отлично... спросите тамъ штабсъ-ротмистра Сомова; онъ тоже, повторяю, былъ въ плѣну, и его теперь у насъ пріютили... онъ васъ проведетъ къ Перовскому. Какъ же, и я знаю этого Перовскаго; мнѣ и ему нашъ докторъ Миртовъ, наканунѣ бородинскаго боя, какъ теперь помню, доказывалъ, что лучше умереть сразу, въ битвѣ, чѣмъ мучиться и потомъ умереть въ госпиталѣ.

— А самъ Миртовъ, кстати, живъ?—спросилъ кто-то.

— Живъ, но полтора года валялся въ разныхъ больницахъ; все просилъ отрѣзать ему ноги, однако выздоровѣлъ, догналъ армію уже на Рейнѣ, и опять у него своя отличная палатка съ походною перинкой, чайникъ и къ услугамъ всѣхъ пуншъ... Одно горе: такой красавецъ, жуиръ, а ходитъ на костыляхъ.

Квашнинъ, дослушавъ Синтянина, бросился въ слезахъ ему на шею, на радости обнялъ и прочихъ, въ томъ числѣ и Сеславина, смотрѣвшаго на него теперь съ ласковою, снисходительною улыбкой, выскочилъ на улицу и стремглавъ пустился къ биваку русской гвардіи, на Елисейскія поля.

«Боже мой,—думалъ онъ:—я увижу, наконецъ, его... Но какъ ему сообщить печальную, тяжкую вѣсть? какъ передать? У меня, неразлучно на груди, ея записочка, волосы и портретъ ея жениха... Бѣдный! А сколько времени онъ ожидалъ этой свободы и своего возврата, мечталъ увидѣть ее, обнять! Говорить ли? убить ли страшною истиной человѣка, который теперь счастливъ своею любовью и надеждами, счастливъ всѣмъ тѣмъ, чему, какъ сейчасъ безпощадно увѣряли меня, имя—ничто? Нѣтъ, пусть онъ узнаетъ! Пусть образъ погибшей, любимой и его любившей женщины свѣтитъ ему, въ остальной жизни, тихою, хотя и недосягаемою, путеводною звѣздой».

Квашнинъ отыскалъ Сомова и, по его указанію, отправился въ переулокъ, у Елисейскихъ полей. Здѣсь онъ во-

шелъ въ небольшой дворъ, окруженный развѣсистыми каштанами. Сквозь деревья виднѣлся невысокій, подъ черепицей, уютный павильонъ, гдѣ было отведено помѣщеніе тремъ больнымъ русскимъ офицерамъ. Двое изъ нихъ, по словамъ привратника, ушли передъ вечеромъ прогуляться въ городъ, третій особенно, повидимому, недомогавшій, былъ дома.

Квашнинъ, мимо хозяйскихъ покоевъ, робко приблизился къ двери изъ сѣней налѣво и постучалъ. Ему отвѣтили: «entrez, — войдите». Онъ отворилъ дверь въ небольшую, опрятно-прибранную комнату.

Заходившее солнце привѣтливо освѣщало въ этой комнатѣ столъ съ разбросанными газетами, два простыхъ стула и кровать подъ бѣлымъ, чистымъ одѣяломъ. На кровати виднѣлся, въ штатскомъ платьѣ, очевидно, съ чужого плеча, худой и блѣдный, съ густо-отросшею черною бородою, незнакомый человѣкъ. Онъ полулежалъ, опершись на подушки и глядя въ раскрытую передъ нимъ газету. Увидѣвъ гостя, незнакомецъ медленно поднялся, шагнулъ къ двери и замеръ. Въ его строгихъ, сухо-удивленныхъ глазахъ, Квашнину вдругъ блеснуло нѣчто близкое, гдѣ-то и когда-то имъ видѣнное.

— Неужели Квашнинъ?—тихо спросилъ, боясь обознаться и внутренно радуясь, незнакомецъ.

— А вы... неужели Перовскій? — спросилъ, едва помня себя, Квашнинъ.

Гость и хозяинъ бросились въ объятія другъ-друга.

— Голубчикъ, ахъ, голубчикъ! — твердилъ, глотая слезы и удивляя ими растерянаго Перовскаго, Квашнинъ: — не вѣрьте! жизнь — радость! Она выше всего, выше всякаго горя!

Онъ передалъ Перовскому о судьбѣ Авроры.

. . . . . .

XLVII.

Прошло много времени, прошло сорокъ лѣтъ.

Былъ 1853 годъ.

Русскій отрядъ направлялся въ третій, со времени Петра Великаго, рѣшительный походъ въ Среднюю Азію. Во главѣ отряда шелъ военный генералъ-губернаторъ оренбургскаго края, шестидесятилѣтній, еще бодрый на видъ, но уже съ слабымъ здоровьемъ, страдавшій одышкой, генералъ-адъютантъ, вскорѣ затѣмъ графъ, Василій Алексѣевичъ Перов-

скій. Въ его отрядѣ находился молоденькій, бѣлокурый и еще безусый офицеръ, въ адъютантской формѣ, какъ говорили, крестникъ генералъ-губернатора. Послѣдній, довѣряя ему часть своей переписки, оказывалъ ему особое расположеніе. Это былъ внукъ Ксеніи, Павелъ Николаевичъ Тропининъ. Недавно изъ кадетскаго корпуса, онъ былъ тайно влюбленъ гдѣ-то въ Москвѣ и, состоя при начальникѣ отряда, съ нетерпѣніемъ ждалъ конца экспедиціи, чтобы ѣхать и жениться на любимой дѣвушкѣ.

Среди невзгодъ и тягостей похода, командиръ отряда, покончивъ съ текущими пріемами и распоряженіями, любилъ бесѣдовать съ юношей-крестникомъ о судьбахъ дикой пустыни, по которой они въ это время шли и въ глубинѣ которой, сто двадцать пять лѣтъ назадъ, разбитымъ и покореннымъ хивинскимъ ханомъ былъ такъ предательски перерѣзанъ весь русскій отрядъ князя Бековича-Черкасскаго.

Подъ войлочной кибиткой, у спасительнаго самовара, старымъ командиромъ отряда нерѣдко дѣлались поминки о болѣе близкой порѣ,—великой эпопеѣ двѣнадцатаго года, когда разказчику пришлось вынести тяжелый плѣнъ. Въ сѣдоусомъ, суровомъ, а иногда даже деспотически-желчномъ генералъ-адъютантѣ, всегда сосредоточенномъ, сдержанномъ и, большею частью, молчаливомъ,—въ эти мгновенія, пробуждался образъ всѣми забытаго, нѣкогда молодого, говорливаго и юношески-откровеннаго Базиля Перовскаго. Оставшійся по смерть холостымъ, онъ любилъ вспоминать немногихъ, уцѣлѣвшихъ своихъ сослуживцевъ и пріятелей двѣнадцатаго года, и диктовалъ крестнику задушевныя письма къ нимъ въ Россію.

— Неисчерпаемая, великая эпопея!—говорилъ, вспоминая двѣнадцатый годъ, Перовскій: — станетъ на много лѣтъ и на много разсказовъ. И, какъ подумаешь, голубчикъ Павликъ, все это нѣкогда было и жило; весь этотъ міръ двигался, радовался, любилъ, наслаждался, пѣлъ, танцовалъ и плакалъ. Всѣ эти, незнакомые новому времени, но когда-то близкіе намъ весельчаки и печальники, счастливые и несчастные, имѣли свое утро, свой полдень и вечеръ. Теперь они, въ большинствѣ, поглощены смертью... И намъ, старымъ караульщикамъ, отрадно заглянуть въ эту ночь и помянуть добрымъ словомъ почившихъ подъ ея завѣсой... Дорогіе, далекіе покойники!

Но не всѣхъ былыхъ пріятелей одинаково поминалъ въ душѣ Перовскій. Никому незримая и невѣдомая, глубокая сердечная рана жгла его и сушила вѣчною, несмолкаемою болью. Эту рану и эти страданія знали только немногіе, ближайшіе его друзья, въ томъ числѣ старый его сослуживецъ, «пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» — Жуковскій. Послѣдній посвятилъ когда-то Василію Алексѣевичу Перовскому трогательное посланіе:

«Я вижу—холодость твоя
Въ прекрасномъ цвѣтѣ умираетъ,
И страсть, убійца бытія,
Тебя безмолвно убиваетъ...

«Я часто на лицѣ твоемъ
Ловлю души твоей движенья;
Болѣзнь любви—безъ утоленья—
Изображается на немъ».

Перовскій часто вспоминалъ ту, которую онъ полюбилъ въ лучшіе жизненные годы и которая, изъ-за любви къ нему, погибла. Укоры совѣсти онъ нерѣдко срывалъ на крутомъ, а подчасъ и жестокомъ исполненіи долга: былъ безпощаденъ къ измѣнѣ и разстрѣливалъ предателей такъ же спокойно, какъ когда-то его самого хотѣлъ разстрѣлять Давыдъ.

28 іюля 1853 года, послѣ неимовѣрныхъ усилій, была взята штурмомъ кокандская крѣпость Акмечеть, названная впослѣдствіи фортомъ — *Перовскій*. Путь въ Туркестанъ, Хиву, Бухару и позже къ Мерву былъ проложенъ.

Однажды вечеромъ, Павелъ Тропининъ, въ кибиткѣ главнокомандующаго, передъ этою крѣпостью, сказалъ своему крёстному, что въ минувшую зиму, ѣдучи на курьерскихъ, по его вызову, оренбургскою степью, онъ едва не замерзъ и спасся отъ смерти только благодаря сибирскому оленьему тулупу и русскимъ валенкамъ.

— Валенкамъ? — спросилъ Перовскій: — дѣло знакомое... И меня, въ двѣнадцатомъ году, также спасли валенки... И представь мою радость, — товарищъ по плѣну, великодушно ссудившій меня этою обувью, живъ и здравствуетъ донынѣ.

— Кто же это?—спросилъ Павликъ.

— Бывшій крѣпостной одной графини. Онъ тогда, ранѣе меня, бѣжалъ изъ плѣна и прямо на Волгу, въ плавни; назвался другимъ именемъ, остался тамъ и торгуетъ рыбой въ Самарѣ.

— Въ Самарѣ?—вотъ бы повидать, какъ поѣду назадъ.

— Что же, отыщи его. Имя ему Семенъ Никодимычъ. Годъ назадъ онъ узналъ о моемъ назначеніи въ Оренбургъ и являлся, съ предложеніемъ подряда. Сѣдая бородища — по поясъ, женатъ, имѣетъ внуковъ, сталъ раскольникомъ, начётчикъ и усердный богомолецъ, но подчасъ тотъ же, какимъ я его зналъ, живой, подвижной Сенька Кудинычъ, и даже не забылъ одной своей пѣсни, про сову, которою потѣшалъ измученныхъ французами плѣнныхъ. Онъ тогда былъ сосватанъ и, съ горя, смѣло-отчаянно бѣжалъ къ невѣстѣ.

— Сосватанъ? — спросилъ, залившись румянцемъ и мѣняясь въ лицѣ, Павликъ.

— Да, а что, развѣ?

Павликъ собрался съ духомъ. Заикаясь, онъ объявилъ графу, что и онъ женихъ, и просилъ у него благословенія и отпуска.

Перовскій откинулся на спинку складного стула, на которомъ сидѣлъ, и долго, ласково смотрѣлъ на юношу.

— Что же, Павлуша, съ Богомъ! — проговорилъ онъ: — хотя я остался всю жизнь холостымъ, понимаю тебя... съ Богомъ! завтра же можешь ѣхать. А благословеніе я тебѣ дамъ особое!

Онъ обнялъ крестника.

— Ты не помнишь, разумѣется, своей бабки, Ксеніи Валерьяновны?—сказалъ онъ.

— Она умерла, когда мой отецъ еще не былъ женатъ,— отвѣтилъ Павлуша.

— Была еще у тебя прабабка, княгиня Шелешпанская; все боялась грозы, а умерла мирно, незамѣтно уснувъ въ креслѣ, за пассьянсомъ, въ своей деревнѣ, когда наши входили въ Парижъ.

— О ней что-то разсказывали.

— Ну, да... а слышалъ ты, что у нея была еще другая, незамужняя внучка... красавица Аврора? Знаешь ли? твой отецъ былъ похожъ на нее, и ты ее слегка напоминаешь.

— Что-то, помнится, говорили и о ней, — отвѣтилъ Павлуша: — кажется, она была въ партизанахъ... и чѣмъ-то отличилась...

«Кажется! — подумалъ со вздохомъ Перовскій: — вотъ они, наши преданія и наша исторія...»

— Иди же, голубчикъ, съ Богомъ!—произнесъ онъ:—готовься, уѣдешь, а я кое-что тебѣ поищу...

Отпустивъ крестника, Перовскій на-глухо запахнулъ полы своей кибитки, зажегъ свѣчу, досталъ изъ чемодана небольшую, окованную серебромъ, походную шкатулку, раскрылъ ее и задумался. Въ отдѣльномъ, потайномъ ящичкѣ шкатулки, между особенно дорогими для него вещами, было нѣсколько засохшихъ цвѣтковъ сирени, пожелтѣвшихъ писемъ, въ бумажкѣ—прядь черныхъ женскихъ волосъ, образокъ въ серебрѣ и оброненный на послѣднемъ свиданіи платокъ Авроры. Перовскому, какъ живая, вспомнилась Аврора, Москва, домъ и садъ у Патріаршихъ прудовъ и послѣдняя встрѣча съ невѣстой. Онъ долго сидѣлъ надъ раскрытою шкатулкой, роняя на эти цвѣты, волосы и письма горячія и искреннія слезы. — «Владычица моя, владычица!» — шепталъ онъ, покрывая поцѣлуями бренные остатки дорогой старины. Взявъ образокъ, онъ заперъ шкатулку и, оправясь, вышелъ изъ кибитки. Павликъ, дремля на циновкѣ, полулежалъ у входа.

— Ты еще здѣсь?—сказалъ, увидя его, Перовскій:—пойдемъ, прогуляемся.

Они миновали охранный пикетъ и мимо лагеря, вдоль сѣрыхъ, глиняныхъ стѣнъ только-что разгромленной крѣпости, направились по плоскому берегу Сыръ-Дарьи.

Душный, знойный вечеръ тяжело висѣлъ надъ пустынною равниной. Въ сумеркахъ кое-гдѣ желтѣли намёты бродячаго песку. Вокругъ зеленоватыхъ, отражавшихъ звѣзды, горькосоленыхъ лужъ, какъ воспаленныя глазныя вѣки, краснѣли болотные лишаи, тощій камышъ и полынь. Высоко въ воздухѣ что-то шуршало и двигалось. То, шелестя сухими крыльями, неслись на жалкіе остатки травъ и камышей безчисленныя, прожорливыя полчища саранчи. Перовскому припомнилось нашествіе Наполеона.

— Вотъ тебѣ мое благословеніе, — сказалъ онъ, надѣвая на шею крестника образокъ Покрова Божіей Матери: — я этому образу усердно когда-то молился въ походѣ... молись и ты.

Перовскій и Павелъ Тропининъ прошли еще нѣсколько шаговъ. Цѣлый міръ мучительныхъ и сладкихъ воспоминаній наполнялъ мысли Василія Алексѣевича.

— Ты счастливъ, ты спѣшишь къ невѣстѣ,—сказалъ Пе-

ровскій, снова остановясь и слушая надъ головою пролётъ шуршавшихъ крыльями, воздушныхъ армій:—а мнѣ, по поводу твоего счастья, припомнилось одно сердечное горе; нѣкоторыхъ изъ прикосновенныхъ къ нему лицъ давно уже нѣтъ на свѣтѣ, но мнѣ эта исторія особенно памятна и близка...

И Перовскій, бродя по песку, не называя именъ, разсказалъ крестнику повѣсть любви своей и Авроры.

1885 г.

Оглавленіе.

XIII ТОМА.

Сожженная Москва. Историческій романъ.

	стр.
Часть первая. **Нашествіе Наполеона I.**	3
Часть вторая. **Бѣгство французовъ.**	115

СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ИЗДАНІЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,

ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ВОСЕМЬСОТЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ.

(1821—1825)

(ОТРЫВКИ ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА)

М. И. Анненковой.

КАМЕНКА.

I.

Михаилъ Павловичъ Бестужевъ-Рюминъ посѣтилъ Каменку впервые, осенью въ 1821 году, послѣ своего нежданнаго перевода въ южную армію, въ полтавскій полкъ, изъ распущеннаго, за неповиновеніе, семеновскаго гвардейскаго полка.

Никогда потомъ, въ немногіе годы молодой и бурной, рано погибшей жизни, Бестужевъ не могъ забыть ни своего заѣзда въ этотъ красивый уголокъ кіевской Украйны, ни его радушныхъ обитателей.

Это было въ концѣ ноября.

Его однополчанинъ по гвардіи и теперь ротный командиръ по полтавскому полку, Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ, собирался тогда въ свое родовое, миргородское помѣстье, село Хомутецъ.

— Хочешь, Миша,—сказалъ онъ ему:—я по пути заѣду на именины въ Каменку... тамъ, въ екатерининъ день, весело,—барышни, танцы... а главное, увидишь общество замѣчательныхъ, истинно умныхъ русскихъ людей.

Ротный любилъ Мишеля, покровительствовалъ ему и былъ радъ доставить ему развлеченіе. Они поѣхали.

Дорога въ этой части чигиринскаго уѣзда шла извили-

стыми, лѣсистыми холмами. Погода была мглистая, съ небольшимъ морозомъ. Дубовыя, липовыя и грабовыя рощи, захваченныя раннимъ снѣгомъ, еще не потерявъ всѣхъ листьевъ, стояли то темными, то багрово-золотистыми островами, среди опустѣлыхъ, бѣлыхъ полянъ. Рѣдкіе села и хуторы, съ историческими именами: Субботово, Смѣла, Мотронинъ и Лебединскій монастыри, напоминали гетманщину и недавніе, послѣдніе дни Запорожья.

Верстахъ въ сорока отъ Чигирина, извилистый проселокъ сталъ круто спускаться въ долину. Подъ пригоркомъ, пересѣкая Каменку на двѣ части, текла еще незамерзшая рѣка Тясминъ. Сквозь морозную мглу блеснули маковки двухъ церквей, обозначились новые, вдаль уходящіе холмы и обширное, въ нѣсколько сотъ дворовъ, населенное малороссами и евреями, мѣстечко. На возвышенномъ взгорьѣ сталъ виденъ большой, двухъ-этажный, помѣщичій домъ, съ пристройками, — за нимъ старый садъ, красивыми уступами спускавшійся къ рѣкѣ. Барскій дворъ былъ уставленъ возками, санями. Кучера водили упаренныхъ лошадей. Прислуга суетилась межъ домовъ и дворовыми постройками.

— А знаешь ли, кого еще мы можемъ здѣсь встрѣтить?— сказалъ спутникъ Мишелю, при спускѣ въ улицу, называя ему обычныхъ каменскихъ гостей; сюда эти дни ждали гостя изъ Кишинева... онъ уже навѣщалъ Каменку минувшею весной...

— Кто такой?

— Пушкинъ...

— Можетъ ли быть?

— Увидишь.

Любопытство Мишеля было сильно возбуждено, и онъ не помнилъ, какъ въѣхалъ въ ворота и какъ ступилъ на крыльцо.

Восемнадцатилѣтній, темнорусый, голубоглазый и средняго роста юноша, Мишель въ это время съ виду былъ еще почти ребенокъ. Сильно впечатлительный, добраго и нѣжнаго сердца, онъ, подъ надзоромъ страстно его любившей матери, сперва воспитывался въ Москвѣ, потомъ въ Петербургѣ, въ пансіонѣ какого-то парижскаго эмигранта-аббата. Образованіе ему было дано въ духѣ того времени, чисто французское, такъ что, до поступленія въ гвардію, онъ даже съ трудомъ говорилъ по-русски.

Опредѣлясь въ полкъ, изящный, чувствительный и нѣж-

ный воинъ не могъ равнодушно видѣть мученій мухи, комара. Полковая учебная стрѣльба бросала его въ краску и приводила въ дрожь. Затянутый въ узкій офицерскій мундиръ, съ высокимъ, жесткимъ воротникомъ и острыми длинными фалдочками, онъ, когда былъ веселъ, своимъ звонкимъ, задорнымъ смѣхомъ и рѣзвостью, а когда скучалъ, — томностью робкихъ, разсѣянныхъ глазъ, красиво-вьющимися кудрями и вздохами, напоминалъ скорѣе дикую, несложившуюся дѣвочку, чѣмъ сына Марса. Не желая, впрочемъ, отстать отъ товарищей, онъ любилъ себя показать лихачемъ, гарцовалъ по Невскому на красивомъ скакунѣ, участвовалъ въ дружескихъ попойкахъ, въ карточной игрѣ и прочихъ холостыхъ кутежахъ. Но его любимымъ занятіемъ было чтеніе.

Западные и преимущественно французскіе историки, философы, романисты, поэты и экономисты были Мишелемъ съ жадностью прочитаны въ богатыхъ библіотекахъ его московской и петербургской родни. Съ книгой Беккарія о преступленіяхъ и наказаніяхъ, съ разсужденіемъ о законахъ Монтескье, съ Вольтеромъ и Дидеро онъ ознакомился съ такимъ же наслажденіемъ, какъ и съ Плутархомъ, Гельвеціемъ, Кондильякомъ, Гольбахомъ, Вателемъ и Руссо. Изъ русскихъ писателей онъ увлекся фантастическими балладами Жуковскаго и плакалъ надъ «Лизой» Карамзина. Но его идеаломъ былъ Пушкинъ... Мишель зналъ наизусть почти всѣ его стихи, въ томъ числѣ его неизданныя, смѣлыя и пламенныя сатиры, ходившія въ то время въ безчисленныхъ спискахъ и читавшіяся на расхватъ: Лицинію, Деревня, Кинжалъ, Чаадаеву, на Аракчеева, Голицына и другія.

И вдругъ, этотъ Пушкинъ, этотъ идолъ молодежи, полубогъ, могъ быть дѣйствительно здѣсь же, въ Каменкѣ. Не шутитъ ли товарищъ? не издѣвается ли безъ жалости надъ юнымъ поклонникомъ любимца парнасскихъ боговъ?

Виновница именинnаго съѣзда, еще сохранившая слѣды былой, замѣчательной красоты, величественная и любезная семидесятилѣтняя старушка, Екатерина Николаевна Давыдова была урожденная графиня Самойлова, сестра извѣстнаго канцлера и племянница свѣтлѣйшаго князя Потемкина. Отъ перваго брака у нея былъ сынъ,—извѣстный защитникъ Смоленска и герой Бородина и высотъ Парижа, гене-

раль Николай Раевскій, два сына котораго, ея внуки, были друзьями Пушкина. Ея сыновья отъ второго мужа, Давыдова, старшій—Александръ и младшій—Василій Львовичи, жили съ матерью. Высокій, тучный, свѣтлорусый и величавый, отъ природы неподвижный, лѣнивый и всегда полудремлющій Александръ Львовичъ, какъ и его мать, весьма схожій съ дѣдомъ Потемкинымъ, былъ женатъ на красавицѣ-француженкѣ, графинѣ Граммонъ. Василій Львовичъ, совершенная противоположность брату Александру, впослѣдствіи женатый на миловидной и доброй, дальней родственницѣ, Александрѣ Ивановнѣ, былъ съ виду въ покойнаго своего отца, — роста ниже средняго, съ курчавыми, темными волосами, веселый, со всѣми общительный, говорливый и живой.

Оба брата воспитывались въ петербургскомъ пансіонѣ аббата Николь, служили, какъ всѣ тогда, въ военной службѣ, одинъ въ кавалергардахъ, другой адъютантомъ князя Багратіона — въ гусарахъ, отличились въ двѣнадцатомъ году и теперь находились въ отставкѣ, старшій — генераломъ, младшій — полковникомъ. Александръ Львовичъ съ семьей жилъ въ нижней, лѣвой части каменнаго дома; Василій— въ особой пристройкѣ, въ правой. Средину нижняго этажа, съ своими домочадцами, занимала старушка-мать. Она вставала рано, обходила въ пристройкахъ разныя рукодѣлья, кружевницъ, ковершицъ и швей, навѣщала оранжереи, цвѣтники и свѣряла свой брегетъ по солнечнымъ часамъ, устроеннымъ на садовой полянѣ,-передъ домомъ. Всѣ обѣдали, пили чай и ужинали внизу у старушки, бесѣдуя въ общей, огромной, увѣшанной фамильными портретами, нижней гостиной. Верхній этажъ и одинъ изъ флигелей служили для пріѣзда гостей.

Къ Каменкѣ принадлежали семнадцать тысячъ десятинъ земли, унаслѣдованной ея владѣлицей, благодаря дядѣ, свѣтлѣйшему Потемкину, то-есть чуть не половина Чигиринскаго уѣзда, и Екатерина Николаевна заранѣе рѣшала почти всѣ уѣздные выборы, говоря одному—ты, батюшка, будешь предводителемъ, другому—тебѣ быть исправникомъ, или судьей.

Въ семейные праздники въ Каменку съѣзжались, кромѣ другихъ сосѣдей, Лопухиныхъ, Орловыхъ, родные хозяевъ, изъ Кіева Александръ и Николай Раевскіе, Поджіо и др. А теперь здѣсь былъ и недавно женатый на сестрѣ Раев-

скихъ, служившій въ Кишиневѣ, генералъ Михаилъ Орловъ, съ своимъ адъютантомъ, Охотниковымъ, генералъ князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій и московскій гость, также бывшій семеновецъ, капитанъ Иванъ Дмитріевичъ Якушкинъ.

Мишель съ товарищемъ подъѣхали къ началу молебна. Всѣ гости были въ сборѣ, отслушали исполненное пѣвчими многолѣтіе, поздравили именинницу и въ ожиданіи пирога, размѣстились вкругъ хозяйки въ гостиной и частью въ залѣ. Слуги разносили чай. Степенный и важный дворецкій, Левъ Самойлычъ, съ порога поглядывалъ, все ли въ порядкѣ въ залѣ и въ столовой.

Прерванный молебномъ разговоръ оживленно продолжался. Мишель разсѣянно прислушивался къ толкамъ лицъ, которымъ передъ тѣмъ былъ представленъ. Съ нимъ заговорилъ младшій Раевскій. Но онъ и его едва слушалъ, оглядываясь и ища кого-то счастливыми, смущенными глазами.

Французскій говоръ здѣсь преобладалъ, какъ и во всемъ тогдашнемъ обществѣ. До слуха Мишеля долетали слова:— «кортесы рѣшили» — «Меттернихъ опять» — «силы якобинцевъ» — «Аракчеевъ» — «карбонары»... Кто-то передавалъ подробности о недавнемъ, неудачномъ, хотя столько пророчившемъ вторженіи въ Турцію изъ Кишинева грека-патріота, русскаго флигель-адъютанта, князя Ипсиланти.

— Это сильно озадачило, смѣшало нашъ кабинетъ,—произнесъ въ гостиной молодой женскій голосъ: — добрая попытка не умретъ...

— Да, но бѣдная родина Гомера и Ѳемистокла!—возразилъ другой голосъ, и въ немъ Мишель узналъ своего ротнаго: — ждите... не скоро вернется законное наслѣдіе четырехвѣковой жертвѣ турецкихъ кинжаловъ и цѣпей...

— Австрійцы вторглись въ Неаполь и мы же, имъ въ помощь, стянули войско къ границѣ,—толковали въ залѣ.

— И все Меттернихъ, Аракчеевъ.

— Но у насъ Сперанскій, Мордвиновъ...

— Придетъ пора!

— Два года назадъ, Зандъ расправился съ предателемъ Коцебу...

— А вы знаете новую сатиру Пушкина на Аракчеева?— спросилъ кто-то Раевскаго, въ двухъ шагахъ отъ Мишеля.

— Какъ не знать!.. «Достоинъ лавровъ Герострата?»— отозвался тотъ.

— Нѣтъ, а эти:

«Безъ ума, безъ чувствъ, безъ чести,
Кто-жъ онъ, преданный безъ лести?»

— «Просто фронтовой солдатъ!»... еще бы!—да гдѣ же онъ самъ? ужли еще спитъ?—произнесъ Раевскій и, обратясь къ Мишелю, сказалъ: — вы желали съ нимъ познакомиться... хотите на верхъ?

— Постой, постой,—крикнулъ Раевскому младшій Давыдовъ, держа листокъ бумаги:—Омелько пошелъ будить Пушкина, а онъ ему сказалъ и записалъ въ постели вотъ этотъ экспромтъ...

Давыдовъ прочелъ стихи: «Мальчикъ, солнце встрѣтить должно».

— Мило! прелесть!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

Мишель пошелъ за Василіемъ Львовичемъ.

Поднявшись изъ сѣней, по внутренней, круглой, полутемной лѣстницѣ, Мишель и его провожатый остановились вверху, у небольшой двери. Мишель почему-то предполагалъ увидѣть Пушкина не иначе, какъ демонически-растрепаннаго, въ странномъ и фантастическомъ нарядѣ, въ красной фескѣ и въ пестромъ, цыганскомъ плащѣ. Раевскій постучалъ въ дверь.

— Entrez! — раздался за порогомъ негромкій, пріятный голосъ.

Къ удивленію Мишеля, Пушкинъ оказался въ щегольски сшитомъ черномъ сюртукѣ и въ бѣлыхъ воротничкахъ. Его непокорныя, вьющіяся кудри были тщательно причесаны. Онъ сидѣлъ у стола. Свѣтлая, уютная комната, окнами въ садъ, на Тясминъ и зарѣчные холмы, была чисто прибрана. Ни безпорядка, ни сора, ни слѣдовъ воспѣваемаго похмелья.

— Бессарабскій... онъ же и бѣсъ арабскій!—сказалъ съ улыбкой Раевскій, представляя Мишелю пріятеля.

— Что, пора?.. развѣ пора?—торопливо спросилъ Пушкинъ, впопыхахъ подбирая на столѣ клочки исписанныхъ бумагъ, комкая ихъ и пряча въ карманы и столъ.

Мишель съ трепетомъ вглядывался въ эти клочки, въ этотъ столъ и въ знакомыя по наслышкѣ, выразительныя черты любимаго, дорогого писателя.

— Пирогъ простынетъ,—съ укоромъ сказалъ Раевскій.

— Ну, вотъ! — поморщился Пушкинъ, оглядываясь на дверь:—душенька, какъ бы безъ меня?

— Безъ тебя! да что ты? развѣ забылъ:

«Тебя, Раевскихъ и Орлова
И память Каменки любя...»

— Оставь, голубушка! ужъ лучше и впрямь о пирогѣ,— уныло отвѣтилъ Пушкинъ, посматривая, все ли спряталъ со стола.

— Нѣтъ, — вдругъ перебилъ, заикаясь, краснѣя и самъ себѣ удивляясь, Мишель: — нѣтъ, это неподражаемо, восторгъ... «Недвижный стражъ дремалъ»... я все знаю... или это:

«И неподкупный голосъ мой
Былъ эхомъ русскаго народа...»

Пушкинъ, надѣвая перчатки, радостно и ласково глядѣлъ на худенькаго и голубоглазаго офицерика, въ стянутомъ воротникѣ и со вздёрнутыми, въ видѣ крылышекъ, эполетами, неловко и съ нерусскимъ выговоромъ произнесшаго передъ нимъ его стихи.

— А это? — почти вскрикнулъ взволнованнымъ, дѣтски-сорвавшимся голосомъ Мишель:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный,
И рабство, падшее по манію царя?»

Пушкинъ помолчалъ, взялъ шляпу.

— Не увидишь, милый, не увидишь, славный! — сказалъ онъ съ горечью и, обратясь къ Раевскому, прибавилъ:— объясни ему это, Николай.

— Да почему же? — спросилъ, замедлясь у двери, Раевскій:—развѣ тотъ, въ Грузинѣ, не допуститъ?..

— Малюта Скуратовъ! врагъ честныхъ Адашевыхъ!— проговорилъ Мишель.

— Да онъ съ искоркой! — вполголоса сказалъ пріятелю Пушкинъ, спускаясь по лѣстницѣ.

Мишель разслышалъ эти слова и былъ внѣ себя, на седьмомъ небѣ.

Въ теченіе всего того дня, за завтракомъ, обѣдомъ и чаемъ, Мишель не спускалъ глазъ съ дорогого гостя. Онъ любовался его шутками, остротами и шаловливымъ ухаживаньемъ за двѣнадцатилѣтнею, быстроглазою и хорошенькою Адель, дочерью старшаго Давыдова, которой Пушкинъ, какъ узналъ Мишель, передъ тѣмъ написалъ извѣстные стихи: «Играй, Адель».

Вечеромъ молодежь танцовала. Сосѣднія дамы и дѣвицы пѣли итальянскія аріи и французскіе романсы. Въ карты

никто не игралъ, да и некогда было. Общая, дружеская и разнообразная бесѣда длилась далеко за полночь.

Лежа въ постели, въ комнатѣ, также отведенной наверху и случайно по сосѣдству съ Пушкинымъ, Мишель долго не могъ заснуть.

— «Какая разница!» — разсуждалъ онъ: — «этотъ домъ, это общество и тѣ, гдѣ я прежде бывалъ! Правду сказалъ товарищъ: вотъ истинно-умные русскіе люди... И какъ здѣсь все просто, безъ чопорности и праздныхъ затѣй... Ни лишней, толкущейся, напыщенной челяди, ни всѣхъ обычаевъ стараго барства... А разговоры? Давно ли, въ видныхъ, даже гвардейскихъ семьяхъ, какъ о чемъ-то обычномъ, шли пренія о томъ, какъ полезнѣе наказывать солдатъ? часто ли и понемногу, или рѣдко, но мѣтко? Давно ли, не на моихъ ли глазахъ, нечистые на руку офицеры жаловались начальству, что товарищъ этого назвалъ негодяемъ, тому нанесъ ударъ по лицу? А здѣсь — два генерала, Волконскій и Орловъ, у нихъ въ полкахъ, какъ говоритъ Сергѣй Ивановичъ, отмѣнены палки, солдатское хозяйство отдано самимъ солдатамъ, заведены батальонныя школы, библіотеки. И все у нихъ тихо, солдаты отъ нихъ безъ ума. Что это значитъ? и почему во главѣ правленія стоитъ ненавистный всѣмъ Аракчеевъ, а не Мордвиновъ и не Сперанскій, которыхъ всѣ такъ любятъ и отъ которыхъ такъ много ждутъ? Боже, смилуйся надъ родиной. Вѣдь я такъ ее сильно, такъ горячо люблю. Ты—высшая правда, наше спасеніе и любовь!» Мишель заснулъ, вспоминая книгу Эккартсгаузена, которою нѣкогда такъ зачитывался: «Dieu est l'amour le plus pur».

На другой день, когда часть гостей разъѣхалась и, кромѣ двухъ-трехъ постороннихъ, остались близкіе друзья хозяевъ, Пушкинъ, исполняя желаніе дамъ, прочелъ вслухъ конченнаго весной въ Каменкѣ «Кавказскаго плѣнника» и наброски новой поэмы «Братья разбойники». Восторгъ слушателей, особенно Мишеля, былъ неописанный. «Мнѣ душно здѣсь, я въ лѣсъ хочу!» шепталъ Мишель, забывая окружающихъ и мысленно слѣдя за узниками, разбивающими цѣпи. Онъ сильно обрадовался, когда узналъ, что его полковой товарищъ, по просьбѣ хозяевъ, рѣшилъ еще погостить въ Каменкѣ.

Тѣсный кругъ собесѣдниковъ, по вечерамъ, собирался на половинѣ младшаго Давыдова. Разговоръ сталъ еще увле-

кательнѣе, живѣе. Толковали о недавнихъ столичныхъ новостяхъ: объ удаленіи, по доносу Фотія, министра Голицына, о запрещеніи книги преосвященнаго Филарета и «естественнаго права» профессора Куницына, о голодѣ въ смоленской губерніи, откуда пріѣхалъ Якушкинъ, о пророческихъ радѣніяхъ модной сектантки Татариновой и о новыхъ движеніяхъ въ Испаніи и Пьемонтѣ. Кто-то сказалъ, что готовится распоряженіе о закрытіи всѣхъ масонскихъ и другихъ, тайныхъ и явныхъ, благотворительныхъ обществъ въ Россіи. Послѣдняя новость вызвала большіе споры.

Болѣе другихъ, горячо и съ сердцемъ объ этомъ говорили младшій хозяинъ, Василій Львовичъ, и его товарищъ по петербургскому пансіону аббата Николь, князь Волконскій. Старшій Давыдовъ, Александръ, слушалъ общіе толки нехотя и разсѣянно, то морщась, то снисходительно улыбаясь, куря сигару и лишь изрѣдка, хриплымъ, лѣнивымъ басомъ, вставляя свое слово.

II.

Въ памяти Мишеля особенно врѣзался послѣдній изъ тогдашнихъ вечеровъ въ Каменкѣ.

Мужчины, какъ всегда, пообѣдавъ, собрались покурить въ большомъ, съ мягкою мебелью, кабинетѣ Василія Львовича. Орловъ переглянулся съ Волконскимъ и, сказавъ что-то Якушкину, сѣлъ въ общій кругъ, къ столу, поглядывая на Пушкина. Они втроемъ какъ бы о чемъ-то между собою условились.

— Господа,—сказалъ Орловъ, какъ всегда, по-французски:— у меня къ вамъ просьба; мы каждый день толкуемъ, споримъ, и все, кажется, безъ толку. Говорятся умныя вещи, а не сходимся ни въ чемъ, и неизвѣстно, на чьей сторонѣ правда. Попробуемъ вести разговоръ по-парламентски.

— Это какъ?—спросилъ ничего не подозрѣвавшій младшій Раевскій.

— Выберемъ предсѣдателя... вотъ, кстати, на столѣ и колокольчикъ,—улыбнулся черноглазый и статный красавецъ Орловъ.

— Браво! — подхватилъ Пушкинъ, садясь съ ногами на диванъ:—будетъ старое вѣче...

— Республики въ Новгородѣ и Псковѣ процвѣтали семь вѣковъ!—не громко, но рѣшительно, проговорилъ Мишель.

— Искорка!—разсмѣялся Пушкинъ:—но кого же въ предсѣдатели?

— Вамъ, Николай Николаевичъ! васъ выбираемъ!—обратился Якушкинъ, очевидно по условію съ другими, къ младшему Раевскому.

— Тебѣ, тебѣ! — крикнулъ Пушкинъ, аплодируя другу.

— Избираемъ, просимъ!—подхватили остальные.

Всѣ тѣснѣе сдвинулись, съ трубками и сигарами, вкругъ большого, укрытаго ковромъ, стола. Тяжело изъ угла, съ своей гаванной, подвинулся въ креслѣ и старшій, какъ всегда, плотно поѣвшій, Давыдовъ.

— О чемъ же пренія?—полушутя и полуважно спросилъ, берясь за колокольчикъ, Раевскій.

— Да вотъ, — началъ Якушкинъ: — чего ни коснешься, рѣчь невольно заходитъ о томъ же незримомъ, безъ видимой должности и власти, человѣкѣ, который, между тѣмъ, теперь вся сила и власть... Вы, разумѣется, понимаете, о комъ говорю?

— Еще бы,—отозвался Василій Львовичъ.

— Протей-министръ,—произнесъ Волконскій.

— Діонисіево ухо, — сказалъ, поджимая подъ себя ноги, Пушкинъ.

— Онъ лазутчески, подъ личиной скромности, — продолжалъ Якушкинъ: — какъ змѣй, какъ тать вползаетъ всюду, все порочитъ и хулитъ, ловко сѣя недовѣріе въ монархѣ къ лучшимъ силамъ страны.

— Къ нему, въ Грузино, — подхватилъ Василій Давыдовъ: — уже ѣздятъ не только члены государственнаго совѣта, даже министры...

— А ты, Базиль, хотѣлъ бы, — хрипло прокашлявшись, перебилъ брата старшій Давыдовъ: — чтобъ всѣ ѣздили къ твоему краснобаю, Мордвинову, или къ этой раскаявшейся, семинарской Магдалинѣ,—къ Сперанскому?

— Не перебивать, не перебивать! къ порядку! — послышались голоса.

Раевскій позвонилъ. Александръ Львовичъ, брезгливо пыхтя, опустилъ спину въ кресло, а подбородокъ въ жабо.

— Такъ вотъ господа,—продолжалъ Якушкинъ:—слыша это, всѣ мы, между прочимъ, знаемъ, кто въ настоящее время противится и лучшимъ мыслямъ государя... въ томъ числѣ предположенію о волѣ крестьянъ... Поставимъ вопросъ: возможна ли, желанна ли эта воля?

— Еще бы,—живо отвѣтилъ Волконскій:—дарована сво-

бода, завоеваннымъ, прибалтійскимъ эстамъ и латышамъ... а сильная, древняя Россія...

— Побѣжденные ликуютъ, побѣдители порабощены! — произнесъ съ чувствомъ Орловъ.

— Гоняемся за славой освободителей и повелителей всей Европы, — проговорилъ младшій Давыдовъ:—а дома—военныя поселенія, Татаринова, Фотій и Магницкій.

— Такъ тебѣ, Вася, хотѣлось бы освободить своихъ крѣпостныхъ?—спросилъ Александръ Львовичъ.

— Да, да, и тысячу разъ да!—съ жаромъ и твердо отвѣтилъ младшій братъ.

Александръ Львовичъ грузно повернулся лѣнивымъ, тучнымъ тѣломъ, попробовалъ опять прокашляться и привстать.

— А кто будетъ, Базиль, тебѣ дѣлать фрикандо, супъ а-ла тортю и прочее,—спросилъ онъ:—если дадутъ вольную Митькѣ? и что скажетъ Левъ Самойлычъ?

— Всѣхъ освобожу, и теперь Митѣ и Самойлычу я плачу жалованье! — отвѣтилъ Василій Львовичъ: — спроси, вонъ, Якушкина; ему графъ Каменскій давалъ четыре тысячи за двухъ крѣпостныхъ музыкантовъ его отца... а Иванъ Дмитріевичъ графу отвѣтилъ выдачей имъ обоимъ вольныхъ.

— Рисуетесь!—брезгливо прохрипѣлъ Александръ Львовичъ, сося полупогасшую сигару:—въ якобинцевъ играете... мода, жалкое подражаніе чужимъ образцамъ.

— Какъ мода? извините!—обратился къ спорщику Волконскій:—это постоянная мысль лучшихъ нашихъ умовъ.

— Гдѣ они? — кисло улыбнулся и зѣвнулъ Александръ Львовичъ.

— Екатерина думала, — отвѣтилъ Волконскій: — графъ Стенбокъ, двадцать лѣтъ назадъ, подавалъ мнѣніе о вольныхъ фермерахъ... Малиновскій совѣтовалъ объявить волю всѣхъ крестьянскихъ дѣтей, родившихся послѣ изгнанія Наполеона.

— Мордвиновъ предлагалъ планъ,—подхватилъ Орловъ:—чтобы каждый, кто внесъ за себя въ казну извѣстную сумму, по таксѣ, или пойдетъ охотой въ солдаты, былъ свободенъ.

— Опять Мордвиновъ! но вѣдь это все галиматья! — нетерпѣливо проговорилъ Александръ Львовичъ:—quelle idée! воля безъ земли, безъ права на свой уголъ, пашню, домъ... вѣдь фермеры...

— Отсталъ, отсталъ!—живо крикнули Давыдову Орловъ,

младшій братъ и Волконскій: — съ землею! рѣшаютъ дать землю!

— Кто рѣшаетъ? — удивленно спросилъ и даже приподнялся Александръ Львовичъ, глядя на собесѣдниковъ.

Тѣ странно замолчали.

— Охъ вы, кроители законовъ и жизни!.. скучно!.. Партіи! но вѣдь и Аракчеевъ партія... потягайся съ нимъ!

— Такъ по-твоему все хорошо? и военныя поселенія?— спросилъ брата младшій Давыдовъ.

— Нѣтъ, этого не хвалю.

— Наконецъ-то! но почему?

— Да какъ тебѣ это сказать? ну, просто нелѣпо и глупо устроено! ну, совсѣмъ глупо! — убѣжденно отвѣтилъ Александръ Львовичъ:—всѣ эти посе́ляне, во-первыхъ, никуда негодные солдаты, а во-вторыхъ, внѣ фронта, постоянно недовольные крестьяне... оттого и бунты...

Проговоривъ это, Александръ Львовичъ, сопя и сердито бурча себѣ подъ носъ, пересѣлъ въ глубь комнаты, на другой диванъ и, какъ бы рѣшивъ болѣе не спорить, закрылъ глаза.

Шли пренія о новомъ предметѣ. Сильно горячился Орловъ. Ему возражалъ Якушкинъ.

— Такъ какъ, по слухамъ, предполагаютъ закрыть масонскія и другія тайныя, благотворительныя общества,— сказалъ Орловъ:—я прошу слова и предлагаю вопросъ: насколько умѣстна и нужна эта мѣра? и можетъ ли самый способный, благомыслящій чиновникъ замѣнить, въ смыслѣ общей пользы, частнаго, свободнаго дѣятеля?

— Парадоксъ!—произнесъ, очевидно условно, Якушкинъ.

— Далеко не парадоксъ, — возразилъ Муравьевъ: — понятія народа грубы; насилія всякаго рода, продажность судей, воровство и грабительство снизу до верху и общая нравственная тьма, развѣ это не возмутительно?

— У насъ, кто смѣлъ—грабитъ, кто не смѣлъ—крадетъ,— сказалъ Василій Львовичъ.

— Отслужили когда-то честную службу масоны,—произнесъ Волконскій:—но ихъ ученіе перешло въ нѣчто—низшее нашего вѣка, въ мистицизмъ. Волтерьянство предковъ замѣнилось исканіемъ всемірной, слѣдовательно, опять не нашей, не насущной истины. А время не ждетъ.

— Именно такъ,—сказалъ Василій Львовичъ:—намъ надо отплатить низшимъ, страждущимъ слоямъ за все, что̀ мы

черезъ нихъ имѣемъ, за наше богатство, почести, образованіе, за превосходство во всемъ...

— Такъ, такъ! — отозвались голоса.

— Поэтому-то и въ виду нашихъ просвѣщенныхъ сосѣдей—нѣмцевъ,—произнесъ Орловъ: — цѣня усилія и труды высоко-рыцарскаго общества Тугендбундъ, этого борца за права человѣчества, я, господа, предлагаю вопросъ: насколько было бы полезно и у насъ учрежденіе подобнаго... тайнаго общества?

Всѣ на мгновеніе замолчали. Старшій Давыдовъ раскрылъ глаза. Пушкинъ сидѣлъ блѣдный, взволнованный. Мишель отиралъ смущенное, раскраснѣвшееся лицо.

— Какія цѣли этого общества?—спросилъ, взглянувъ на Волконскаго, Якушкинъ.

— Благотворительность въ самыхъ широкихъ размѣрахъ,—отвѣтилъ Орловъ:—ну, просвѣщеніе ближнихъ, облагороженіе службы на всѣхъ жизненныхъ ступеняхъ.

— Разумѣется, такое общество полезно!—сказалъ Василій Львовичъ.

Его поддержалъ Охотниковъ.

— О, еще бы! и скорѣе, господа!—съ жаромъ отозвался Пушкинъ:—не откладывайте! при избыткѣ силъ, при глухой и ничтожной нашей обстановкѣ... да это будетъ кладъ...

— Патріоты, члены такого общества,—прибавилъ младшій Давыдовъ:—обновятъ заглохшую жизнь, укрѣпятъ, зажгутъ любовь къ родинѣ у всѣхъ...

— Я противъ тайныхъ обществъ, — сказалъ, какъ бы дождавшись своей очереди, Якушкинъ.

— Почему?—удивились нѣкоторые.

— Да очень просто, — продолжалъ Якушкинъ:—буду говорить откровенно... Всѣ тайныя общества у насъ вскорѣ будутъ запрещены, а это, по существу своихъ цѣлей, высокихъ и сокровенныхъ, не можетъ быть явнымъ... И потому, вы меня поймете, учреждать такое общество,—значитъ прямо идти подъ грозный отвѣтъ Аракчееву...

— Не боюсь я вашего сатрапа! — запальчиво крикнулъ Пушкинъ:—ученикъ Лагарпа, ставъ императоромъ Европы, не переставалъ быть нашимъ царемъ... Онъ выслушаетъ насъ, пойметъ...

— А если графъ къ нему не допуститъ?—сказалъ, улыбаясь, Орловъ.

— Допуститъ!—произнесъ Пушкинъ, сверкнувъ глазами.

— Понимаю рѣшимость Курція и Винкельрида!—проговорилъ, охваченный дрожью, Мишель.

— Enfants perdus,—досадливо пробасилъ съ дивана Александръ Львовичъ.

— Такъ ты и въ этомъ противъ насъ? говори, противъ?—обратился къ нему младшій братъ.

— Еще бы... все фарсы! пересадка то нѣмцевъ, то Франціи...

— Какая?

— Да эти-то подземные рыцари... все игра въ конституцію, въ партіи... и все для успѣха толпы...

— Но эта толпа—родное общество,—убѣжденно сказалъ Орловъ:—мы же его ближайшіе, кровные вожди...

— А я не согласенъ,—подзадоривалъ Якушкинъ.

— Пора достроить старое, великое зданіе, — произнесъ Волконскій.

— Рано, князинька, захотѣли быть на виду, карнизомъ!—возразилъ старшій Давыдовъ:—не только наши стѣны, фундаментъ ползетъ по швамъ.

— Стыдно, слушай! Ужли не понимаешь?—обратился къ брату Василій Львовичъ:—вѣдь одно спасеніе въ такомъ обществѣ.

— Vous périrez, cher frère...

— Mais en honnête homme... voilà.

— Et moi, moi,—заговорилъ, горячась и сверхъ обычая сильно волнуясь, старшій братъ:—je vous dis... vous fairez bien du mal à la Russie,—съ этимъ вашимъ тайнымъ обществомъ!.. вы насъ отодвинете на пятьдесятъ лѣтъ назадъ...

Прошло нѣсколько мгновеній общаго молчанія.

— Такъ какъ же? поставимъ прямо вопросъ: полезно ли учрежденіе такого общества?—спросилъ Орловъ:—рѣшайте!

Стали собирать голоса. Большинство, въ томъ числѣ самъ предсѣдатель, отвѣтили утвердительно.

— Мнѣ же не трудно доказать противное, а именно, что вы всѣ здѣсь шутите,—вдругъ сказалъ Якушкинъ:—и первый намъ это докажетъ нашъ предсѣдатель.

— Какъ такъ?—спросилъ, краснѣя, Раевскій.

— Дѣло просто,—продолжалъ Якушкинъ:—ну, положимъ, мы васъ обманывали... или нѣтъ, иначе говоря... ну, представьте, что союзъ, или тамъ тайное политическое общество, о которомъ сейчасъ шла рѣчь... уже теперь существуетъ и что вы среди его членовъ...

— Ну, и что же? — спросилъ не совсѣмъ рѣшительно Раевскій.

Пушкинъ, Мишель и другіе впились глазами въ Якушкина.

— Такъ вотъ я къ вамъ, Николай Николаевичъ, обращаюсь, — проговорилъ Раевскому Якушкинъ: — если такое общество существуетъ, вы навѣрное отказались бы вступить въ его члены?

— Напротивъ, изъ первыхъ бы къ нимъ присоединился, — отвѣтилъ Раевскій.

— Ой ли? въ такомъ случаѣ, — торжественно произнесъ Якушкинъ:—знайте, общество существуетъ... вашу руку...

— Вотъ она!—нѣсколько подумавъ, сказалъ Раевскій.

— И моя!—съ жаромъ вскрикнулъ Пушкинъ.

— И моя!—радостно присоединился Мишель.

Волконскій тревожно, изъ-за спины Орлова, дѣлалъ, незамѣтные другимъ, знаки Якушкину. Послѣдній опомнился.

— Я пошутилъ,—сказалъ, смѣясь, Якушкинъ:—мы условились съ Орловымъ: неужели можно было принять это за правду? тайнаго общества въ Россіи нѣтъ и быть не можетъ.

Орловъ, Василій Давыдовъ и Волконскій также смѣялись.

— Ну, и браво!—проговорилъ весело, поворачиваясь въ креслѣ, Александръ Львовичъ:—а то вы, господа, совсѣмъ было меня напугали... глупая мода — эти общества! пустая и опасная...

Пушкинъ всталъ.

— Какъ? такъ это и впрямь была только шутка?—вскрикнулъ онъ взволнованнымъ, обрывавшимся голосомъ: — вы издѣвались надъ нами? шутили!

Всѣхъ поразилъ видъ Пушкина. Въ его гнѣвно пылавшихъ глазахъ дрожали слезы. На блѣдномъ лицѣ выступили красныя пятна. Весь онъ былъ взбѣшенъ и раздраженъ.

— Я никогда... о, никогда,—произнесъ онъ съ чувствомъ и сбиваясь на каждомъ словѣ: — въ жизни я ни разу не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь...

Всѣ слушали молча...

— Я вѣрилъ,—продолжалъ Пушкинъ:—говорю среди честныхъ людей... я замѣчалъ, почти былъ убѣжденъ, что тайный союзъ патріотовъ уже учрежденъ, или здѣсь же, среди насъ, получитъ свое начало... Я видѣлъ высокую цѣль, видѣлъ жизнь мою облагороженною, нужною и полезною для другихъ...

— Александръ Сергѣичъ! Саша! полно, успокойся! — перебилъ его Раевскій:—да твоя слава, жизнь...

— И все это была только шутка! или я не стою такой чести? — вскрикнулъ, дрожа и глотая слезы обиды, Пушкинъ:—идеалъ мой разбитъ! спасибо! зло шутите, господа...

Сказавъ это, онъ бросился изъ комнаты, надѣлъ въ передней шубу и шапку и вышелъ въ садъ. Видя его настроеніе, никто изъ друзей не рѣшился его остановить или слѣдовать за нимъ. Сдѣлалъ-было движеніе Волконскій. Князю было жаль Пушкина, хотѣлось ему что-то сообщить, чѣмъ-то его утѣшить. Но и онъ остановился подъ вліяніемъ тайнаго, грустнаго раздумья и почти священнаго благоговѣнія къ общему, пылкому другу.

Погода, попрежнему, была тихая, съ легкимъ морозомъ. Туманъ поднялся. Звѣздная ночь искрилась на оледенѣлыхъ деревьяхъ и кустахъ, на крышѣ дома и садовыхъ полянахъ. Окрестность молчала. Изрѣдка только снизу, черезъ садъ, доносился шумъ колесъ водяной, на Тясминѣ, мельницы, работавшей на всѣ камни, благодаря недавнему половодью пруда и рѣки.

Пушкинъ шагалъ сквозь кусты, по полянѣ, на шумъ мельницы.

Его ноги легко скользили по хрупкому, снѣжному насту. Не замѣчая бившихъ его вѣтвей и падавшихъ на него клочьевъ инея, онъ думалъ горькія и вмѣстѣ отрадныя думы. Въ его мысляхъ носился сѣверъ—шумъ и блескъ имъ оставленнаго столичнаго міра, и его молодые, праздно улетающіе годы. Слезы кипѣли въ его душѣ. Онъ чувствовалъ, какъ онѣ текли по его лицу, и не видѣлъ, что невдали отъ него, по темной, скрытой въ деревьяхъ, дорожкѣ, шелъ другой человѣкъ.

То былъ Мишель.

Самъ не сознавая, зачѣмъ онъ, безъ шинели и фуражки, также вышелъ изъ сада, Мишель, съ замираніемъ сердца, слѣдилъ дорогую тѣнь и думалъ: «Тайные союзы, общества!.. члены клянутся на шпагахъ, на ядѣ... и все для ближнихъ, для блага страждущаго человѣчества! Боже, какъ это страшно и вмѣстѣ какъ возвышенно! И какъ бы я былъ счастливъ, если бы удостоился этого выбора! Они смѣются... Нѣтъ, всякій обязанъ выполнить долгъ къ родинѣ, къ низшимъ, угнетеннымъ слоямъ. Опасность, гибель?.. Но, если я и безъ

того военный, а слѣдовательно, всегда готовый на смерть? И не все ли равно, какая и гдѣ смерть за другихъ? А это... о! подобный подвигъ — выше всѣхъ подвиговъ Наполеона...»

III.

Безумныя мечты Мишеля сбылись.

Черезъ четыре года онъ снова и не разъ навѣстилъ Каменку. Но подъ какими впечатлѣніями? Объ этомъ онъ не могъ думать безъ сладкаго и радостнаго трепета.

Это было въ 1825 году.

Мишель въ то время уже состоялъ членомъ тайнаго «Союза благоденствія», замѣнившаго прежній «Союзъ спасенія или истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества». Болѣе того: онъ въ этомъ тогда уже прошелъ всѣ степени — братій, мужей и даже бояръ, имѣющихъ право принятія другихъ членовъ. Его бывшій ротный командиръ и покровитель, Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ, получилъ батальонъ черниговскаго полка, въ то время состоялъ предсѣдателемъ одной изъ южныхъ управъ союза, именно Васильковской, гдѣ Мишель также состоялъ чѣмъ-то въ родѣ товарища блюстителя. Предсѣдателями другой управы, собиравшейся въ Каменкѣ, были Василій Давыдовъ и, въ томъ году женившійся на другой сестрѣ Раевскихъ, князь Волконскій. Мишель зналъ теперь, что четыре года назадъ Волконскому, въ Каменкѣ, было поручено принять Пушкина въ члены тайнаго общества. Онъ вспоминалъ, какъ тогда, ничего не подозрѣвая, тотъ сидѣлъ среди вожаковъ союза, и ему было понятно великодушіе Волконскаго, скрывшаго отъ Пушкина роковое порученіе.

Мишель также зналъ, что въ «союзѣ благоденствія», будто бы распущенномъ въ Москвѣ, указанія всему давала Тульчинская или коренная дума. Предсѣдатель этой думы и всего южнаго союза не любилъ нерѣшительныхъ и малодѣятельныхъ. Мишель былъ дѣятеленъ и смѣлъ, но, по молодости лѣтъ, попадался въ необдуманныхъ выходкахъ и болтовнѣ, а недавно еще къ тому сильно влюбился.

Случилось это такъ. Ѣздивши въ Кіевъ по дѣламъ союза, Мишель на какой-то станціи перемѣнилъ лошадей и, едва миновалъ чей-то лѣсъ, услышалъ въ древесной чащѣ топотъ всадниковъ. На поляну изъ просѣки выскочили, повидимому, догоняя его, двѣ наѣздницы.

— Arretez vous, Paul!—кричали онѣ, махая платками:—что за глупости, воротитесь!

Мишель остановился. Въ разсѣявшемся облакѣ пыли ему предстали двѣ незнакомки: одна молоденькая, красивая, въ синей амазонкѣ, блондинка, другая—въ зеленой, постарше, очевидно ея гувернантка. Обѣ, разглядѣвъ остановленнаго, сильно смѣшались.

— Извините,—сказала гувернантка:—обѣ мы очень близоруки; здѣсь почтовая дорога, и мы васъ приняли за только-что уѣхавшаго кузена этой дѣвицы... Не я ли, Зина, тебя предостерегала?

Мишель, вставъ съ телѣги, вѣжливо поклонился.

— Съ кѣмъ имѣю честь?—спросилъ онъ.

— Зинаида Львовна Витвицкая,—отвѣтила гувернантка, указывая на сопутницу:—я Элиза Шонъ...

Мишель назвалъ себя.

— Извините и меня, — сказалъ онъ, обращаясь къ гувернанткѣ: — какъ любитель верховой ѣзды, не могу утерпѣть... вашъ мундштукъ сильно затянутъ, лошадь деретъ голову, можетъ опрокинуться...

— Ахъ! — расхохоталась Зина, давно насилу сдерживавшая смѣхъ:—вотъ любезно!.. а безъ этого вы, Элизъ,—вы... упали бы!.. ха-ха!

Раскатистый, звонкій смѣхъ дѣвушки увлекъ и гувернантку, и Мишеля. Всѣ засмѣялись. Гувернантка встала съ лошади. Солнце свѣтило весело. Жаворонки рѣяли въ безоблачной синевѣ. Отъ лѣса несло душистою прохладой.

Пока Мишель возился съ мундштукомъ, изъ-за деревъ показался шарабанъ, въ немъ трое мужчинъ и между ними одинъ военный.

— Вотъ вы гдѣ.., въ чемъ дѣло?—спросили подъѣхавшіе.

— Мишель, ты какими судьбами?—вскрикнулъ военный.

Въ послѣднемъ Мишель узналъ бывшаго товарища по семеновскому полку, Трепанина. Они дружески обнялись.

— Вотъ и кавалеръ! будетъ кадриль, — сказалъ Трепанинъ, представляя Мишеля прочему обществу.

— Отлично, милости просимъ къ намъ!—заговорили мужчины:—отдохнете, повеселитесь...

— Нельзя, спѣшныя дѣла, очень благодаренъ!—твердилъ Мишель.

— Полно тебѣ,—возразилъ Трепанинъ:—такъ давно не

видѣлись — а это у моего дяди... уѣхалъ подъ арестъ просрочившій мой братъ... нѣтъ кавалера: будь любезенъ... до Ракитнаго рукой подать. И тетушка будетъ такъ рада...

Новыхъ отговорокъ Мишель не приняли. Онъ отпустилъ почтовыхъ. Его вещи сложили въ шарабанъ. Дамскихъ лошадей взяли на поводъ и все общество направилось въ Ракитное, черезъ лѣсъ, пѣшкомъ.

Въ тотъ же вечеръ Мишель танцовалъ въ домѣ Витвицкихъ, гдѣ было нѣсколько сосѣднихъ барышень. На другой день была прогулка верхомъ и въ экипажахъ, на пасѣку, въ какое-то лѣсистое займище, завтракъ на травѣ подъ стогами и рыбная ловля въ озерѣ. А вечеромъ опять гремѣлъ домашній оркестръ и снова танцовали. Мишель не отходилъ отъ Зины. Онъ забылъ и неотложныя порученія управы, и поѣздку въ Кіевъ, и весь союзъ. Такъ онъ здѣсь прогостилъ тогда съ недѣлю. Съѣздивъ въ Кіевъ, онъ на обратномъ пути вновь свернулъ въ Ракитное.—«Неужели?—твердилъ онъ себѣ,—и что это значитъ? ни покоя, ни сна... все Зина, все она и ея свѣтлые, добрые, смѣющіеся глаза!»—Еще черезъ недѣлю Мишель сдѣлалъ предложеніе Витвицкой и сталъ ея женихомъ.

Свадьба была назначена въ январѣ слѣдующаго года. Въ наступающемъ декабрѣ Витвицкіе собирались, съ дочерью, въ Москву,—дѣлать приданое и познакомиться съ матерью жениха. Мишелю, какъ штрафному, бывшему семеновцу, въѣздъ въ столицы былъ воспрещенъ, и онъ все обдумывалъ, какъ бы исхлопотать отпускъ и побывать въ Москвѣ, вмѣстѣ съ невѣстой.

Въ коренной думѣ косились на молодого собрата, слали за него Васильковской управѣ замѣчанія и даже выговоры.—«Это безтолковый, невозможный мальчикъ,—говорилъ о немъ вожакъ южныхъ членовъ,—онъ рѣшителенъ до безумія, это правда; но у него голова не въ порядкѣ». Муравьевъ, умѣряя Мишеля, отстаивалъ его, ссылаясь на его искреннее служеніе общему дѣлу, и даже, по поводу его сватовства, указывалъ, что онъ болѣе посвящаетъ времени дѣламъ союза, чѣмъ своей невѣстѣ.

Мишель торжествовалъ: любовь и тайный союзъ!.. Романтическихъ клятвъ на кинжалѣ и ядѣ въ союзѣ онъ уже не засталъ. При вступленіи давалась простая, собственноручная росписка. Мишель помнилъ то сильное и страшное

волненіе, которымъ онъ былъ охваченъ при подписаніи подобной росписки. И хотя онъ зналъ, что, по уставу прочтенной имъ «зеленой книги», эта его росписка была, вслѣдъ за ея подписью, сожжена, но съ того мгновенія уже не считалъ себя жильцомъ этого міра, а самоотверженнымъ и вѣрнымъ слугой того, скрытаго для остальныхъ и сильнаго человѣка, который тогда руководилъ почти всѣмъ союзомъ. Онъ о немъ не говорилъ даже невѣстѣ, хотя, вздыхая, намекалъ, что жизнь—бурная волна, не всегда щадящая пловцовъ.

Наконецъ, Мишель увидѣлъ и этого вожака, два года назадъ, на съѣздѣ, въ Тульчинѣ, въ имѣніи Мечислава Потоцкаго. Члены съѣзда собрались въ квартирѣ генералъ-интенданта второй арміи, Юшневскаго, и всѣ были какъ бы не по себѣ. Говорили разсѣянно, вяло, посматривая то на дверь, то на часы. Мишель, впрочемъ, былъ въ духѣ. Онъ уже не боялся, что его, какъ случалось прежде, не знаютъ, и что о немъ могутъ обидно спросить сосѣда: «Qu'est ce que c'est que cet homme, qu'on ne voit nul part?» Онъ былъ всѣмъ извѣстенъ, и хотя казался все еще восторженнымъ мальчикомъ, его уже называли не просто Мишель, а Михаилъ Павловичъ.

Кромѣ предсѣдателя, ждали еще двухъ-трехъ запоздавшихъ товарищей. Въ назначенный часъ дверь отворилась.

Вошелъ невысокаго, даже нѣсколько ниже средняго, роста, плотный и на крѣпкихъ ногахъ, смуглый и съ пріятнымъ, строгимъ лицомъ, темноволосый, коротко-остриженный и черноглазый, тридцатидвухъ-лѣтній человѣкъ. Сдержанный и вмѣстѣ привѣтливый на видъ, онъ сразу приковалъ къ себѣ вниманіе.

— Здравствуйте, господа, не опоздалъ? — спросилъ онъ, пожимая руки направо и налѣво.

Мишель при этомъ голосѣ, съ внутреннею дрожью, сказалъ себѣ: это Пестель.

Сынъ бывшаго сибирскаго губернатора, воспитанникъ лучшихъ дрезденскихъ профессоровъ, потомъ пажескаго корпуса, Пестель въ двѣнадцатомъ году былъ раненъ въ ногу, двадцати лѣтъ уже имѣлъ шпагу за храбрость, былъ любимымъ адъютантомъ князя Витгенштейна, затѣмъ служилъ въ маріупольскихъ гусарахъ, во время греческаго возстанія былъ отряженъ для развѣдокъ въ Бессарабію и

оттуда прислалъ государю Александру замѣчательную записку, смыслъ которой выразился въ новыхъ и тогда смѣлыхъ словахъ: «нынѣшняя борьба грековъ противъ ига угнетателей то же, что̀ нѣкогда была борьба русскихъ противъ ига татаръ». Теперь Пестель былъ командиромъ вятскаго пѣхотнаго полка, состояніемъ котораго, на послѣднемъ смотру, государь былъ такъ доволенъ, что сказалъ: «Superbe; c'est comme la garde!» и командиру вятцевъ подарилъ три тысячи душъ крестьянъ.

Пестель вошелъ, съ толстою портфелью подъ мышкой, выслушалъ привѣтствія сочленовъ, сказалъ «къ дѣлу, mes chers camarades» и разложилъ бумаги на столѣ.

— Это опытъ кодекса будущихъ законовъ, — произнесъ онъ самоувѣренно и просто: — я позволилъ себѣ назвать это... въ память другой попытки, при Ярославлѣ... Русской Правдой.

И онъ сталъ читать почти конченный трудъ, о которомъ въ союзѣ было столько говору и ожиданій. Введеніе, распредѣленіе страны на области, округи, волости, на русскихъ и подвластныя племена, статьи о правахъ гражданства и о свободѣ крестьянъ текли плавно и легко. Мишель слушалъ съ напряженіемъ, хотя вскорѣ былъ нѣсколько утомленъ. — «Однообразное и длинное чтеніе, — подумалъ онъ, — но предметъ первой важности, глубокій, хотя поневолѣ сухой». Онъ не безъ удивленія и съ нѣкоторымъ ужасомъ замѣтилъ, что кое-кто изъ слушателей морщился, какъ бы заглушая зѣвокъ, а иные даже усиленно мигали, стараясь отогнать непрошенную дремоту. «Такое дѣло — цѣлый подвигъ,— мыслилъ Мишель,— а мы относимся такъ легко...»

Чтеніе обширнаго, политико-юридическаго трактата было кончено. Его составитель попросилъ высказаться о своемъ многолѣтнемъ трудѣ, и на два-три замѣчанія, перебивъ другихъ, заговорилъ самъ.

— Я никому въ жизни не желалъ зла,—сказалъ, между прочимъ, Пестель:—ни къ кому не питалъ ненависти и ни съ кѣмъ не былъ жестокъ... Я бы желалъ, чтобы и эти мысли привились мирно къ каждому, чтобъ онѣ были приняты добровольно и безъ потрясеній. Вы, добрые товарищи, помогите мнѣ въ томъ...

«И какъ это ясно и просто!» — разсуждалъ Мишель, по-

нявъ то неотразимое и сильное вліяніе, какимъ Пестель пользовался въ средѣ союза. Умно и дѣльно, по его мнѣнію, говорили относительно прочитаннаго Юшневскій и Муравьевъ, Волконскій, Барятинскій и Басаргинъ. Но даръ слова блюстителя южнаго союза былъ выше всѣхъ. Пестель перешелъ къ обсужденію тогдашняго положенія Россіи.

— Мы не ищемъ потрясеній,—говорилъ тогда Пестель:— наше стремленіе исподволь подготовить, воспитать, своимъ примѣромъ пересоздать общество... Становясь на разныя поприща, будемъ лучшими, надежными людьми и вызовемъ къ дѣлу такихъ же другихъ...

Любуясь его голосомъ, смѣлымъ и яснымъ изложеніемъ задушевныхъ мыслей, Мишель невольно тогда вспоминалъ отзывы товарищей о суровомъ, почти отшельническомъ образѣ жизни Пестеля, о его богатой, классической библіотекѣ, о заваленномъ бумагами и книгами рабочемъ столѣ и о его упорномъ безпрерывномъ трудѣ. И ему становилось понятно, почему сухой, положительный и степенный Пестель вѣрилъ въ свои, казалось, неосуществимые выводы и мечты, какъ въ строго-доказанную, математическую истину.

— Мы воздухъ, нервы народа! — выразился, между прочимъ, Пестель.

— Свѣточи! — съ жаромъ прибавилъ Юшневскій: — насъ оцѣнятъ, особенно, Павелъ Ивановичъ, васъ...

Одно поражало Мишеля. Нѣкоторые изъ сочленовъ въ глаза Пестелю говорили одно пріятное, согласное съ его мнѣніями и рѣдко ему противорѣчили, а въ его отсутствіи не только оспаривали его философскіе, казалось, неопровержимые доводы, но говорили о немъ съ нерасположеніемъ, порочили его мѣры и тайкомъ издѣвались надъ нимъ. Отъ него, какъ, напримѣръ, на московскомъ съѣздѣ, даже просто хотѣли избавиться. По слухамъ, и Пушкинъ отзывался о Пестелѣ неладно.—«Не нравится мнѣ этотъ сухой, философскій умъ,—будто бы онъ сказалъ про него,—и я бы съ нимъ не сошелся никогда; умомъ я тоже матеріалистъ, но сердце противъ него...»

Самый проектъ уравненія крестьянъ съ прочими гражданами, составленный Пестелемъ, многіе изъ членовъ общества, особенно титулованные богачи, находили разорительнымъ для страны и невозможнымъ.

— Такъ быстро! это нелѣпость! по крайней мѣрѣ, десять

или двѣнадцать лѣтъ переходной барщины! — говорили нѣкоторые, забывъ, что по этому предмету повторяли мнѣніе динабургскихъ дворянъ, одобрявшееся, по слухамъ, тѣмъ же, ненавистнымъ имъ Аракчеевымъ.

Даже силу вліянія Пестеля на нѣкоторыхъ изъ членовъ союза, въ томъ числѣ на близкаго ему Сергѣя Муравьева-Апостола, въ средѣ союза объясняли постороннею причиной, а именно месмеризмомъ. Какъ многіе тогда, волтерьянецъ и энциклопедистъ, Муравьевъ былъ, по словамъ нѣкоторыхъ, не чуждъ мистическихъ увлеченій. Онъ, между прочимъ, вѣрилъ въ какую-то модную гадальщицу, близкую кругу Татариновой, которая ему предсказала «высокую будущность». Поклонникъ Канта и Руссо, Пестель въ глубинѣ души былъ также мистикомъ и, несмотря на свой матеріализмъ, не въ шутку считалъ себя одареннымъ силой месмеризма. Онъ допускалъ сродство душъ и ясновидѣніе и, подъ глубокой тайной, въ домашнемъ кругу, занимался магнетизированіемъ двухъ-трехъ изъ близкихъ друзей, въ томъ числѣ Муравьева. На этихъ усыпленіяхъ, по слухамъ, онъ провѣрялъ важнѣйшія изъ предположенныхъ мѣръ и будто бы узнавалъ чрезвычайныя указанія о будущемъ.

Мишель, наконецъ, услышалъ о своемъ предсѣдателѣ и такое выраженіе одного сочлена: «Нашъ вождь—невозможный самолюбецъ и деспотъ... онъ ищетъ покорныхъ сеидовъ, слугъ, а не преданныхъ друзей»...

«Зависть, соперничество,—мыслилъ Мишель, разбирая въ умѣ мнѣнія товарищей,—увы! недоброжелательство вкрадывается и въ нашу возвышенную среду... Что за причина? Павелъ Ивановичъ первый ясно и твердо опредѣлилъ нашу сокровенную, высокую цѣль и, кажется, неуклонно къ ней ведетъ. Все должно объясниться. Въ Каменкѣ назначены съѣзды южныхъ управъ. Тамъ все узнаю...»

Мишель посѣтилъ Каменку.

Это было въ августѣ 1825 года. Незадолго передъ тѣмъ, навѣстивъ свою невѣсту, Мишель побывалъ въ Кіевѣ и отъ тамошнихъ членовъ узналъ, что ихъ союзъ открылъ существованіе двухъ другихъ тайныхъ обществъ: — «Соединенныхъ славянъ» и «Варшавскаго патріотическаго». Славяне тотчасъ слились съ союзомъ. Польское общество колебалось. Здѣсь были громкія имена: князь Яблонскій, графъ Сол-

тыкъ, писатель Лелевель и членъ другого, виленскаго общества «Филаретовъ»—Мицкевичъ.

Патріоты-поляки, на первыхъ же совѣщаніяхъ съ русскими, основой общаго согласія выставили возвратъ Польшѣ границъ второго раздѣла, и самую подчиненность польскихъ земель Россіи желали отдать на свободное рѣшеніе своихъ губерній. Въ этихъ переговорахъ участвовалъ и Мишель.

— Никогда!—вскрикнулъ, услышавъ о польскихъ требованіяхъ, Пестель:—Россія должна быть нераздѣльна и сильна.

Мишель также съ этой поры сталъ за нераздѣльность Россіи.

Всѣ знали, что Пестель, изъ-за этого вопроса, недавно ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ, между прочимъ, долженъ былъ провѣдать о дѣятельности сѣверныхъ членовъ, и что теперь онъ былъ подъ Кіевомъ, на личномъ и окончательномъ свиданіи съ польскимъ уполномоченнымъ, Яблоновскимъ. Въ Каменкѣ нетерпѣливо ждали его съ отчетомъ объ этомъ свиданіи.

— Да не махнулъ ли нашъ президентъ опять на сѣверъ?—сказалъ гостямъ Василій Львовичъ:—а то, пожалуй, заѣхалъ опять на отдыхъ въ свое поэтическое Mon Bassy...

Такъ самъ Пестель называлъ въ шутку и въ память «Méditations poëtiques» Ламартина,—Васильево, небогатую и глухую смоленскую деревушку своей матери, гдѣ старикъ Пестель, нѣкогда грозный и неподкупный генералъ-губернаторъ Сибири, проживалъ теперь въ отставкѣ, въ долгахъ, и всѣми забытый. Между членами союза ходила молва, что въ Васильевѣ есть озеро, а на озерѣ укромный, зеленый островокъ, и будто Павелъ Иванычъ, этотъ новый русскій Вашингтонъ, какъ называли тогда Пестеля, навѣщая родителей, любилъ уединяться на этомъ островкѣ, мечтая о будущемъ пересозданіи Россіи, и даже, какъ увѣряли, писалъ французскіе стихи.

— Этакъ онъ своего соперника, Рылѣева, заткнетъ за поясъ!—говорили злые языки.

— Неронъ тоже служилъ музамъ,—прибавляли завистники.

Всѣ эти толки сильно смущали и бѣсили Мишеля, и онъ, съ неописанною радостью, узналъ, что въ «одну изъ субботъ» Пестель, наконецъ, явится на съѣздъ въ Каменку, съ послѣднимъ, рѣшительнымъ словомъ поляковъ.

Пестель пріѣхалъ.

Члены тульчинской, васильковской и каменской управъ были въ сборѣ. Субботнія засѣданія, по обычаю, происходили въ кабинетѣ Василія Львовича Давыдова. Александръ Львовичъ уже нѣсколько недѣль отсутствовалъ по дѣламъ другого имѣнія. Женская часть общества Каменки не подозрѣвала причины этихъ съѣздовъ. Гости Василія Львовича являлись, какъ бы на отдыхъ, въ концѣ недѣли, присутствовали при общемъ чаѣ и ужинѣ, бесѣдовали въ кабинетѣ хозяина или наверху, и на другой день, послѣ завтрака или обѣда, разъѣзжались.

Мишелю отводили наверху ту комнату, гдѣ, четыре года назадъ, гостилъ Пушкинъ, нынѣ находившійся въ ссылкѣ, въ псковской деревнѣ родителей. Изъ оконъ этой комнаты, обращенной въ тѣнистый, теперь роскошно зеленѣющій садъ, Мишель, въ безсонныя ночи, мечтая о Ракитномъ и о своей невѣстѣ, прислушивался къ шуму мельничныхъ колесъ, на Тясминѣ, но они молчали.

— Что съ вашей мельницей?—спросилъ онъ какъ-то Василія Львовича.

— Старый мельникъ умеръ,—отвѣтилъ тотъ:—колеса и весь ходъ разстроились; теперь ее починяетъ англичанинъ-механикъ.

— Откуда взяли?

— Гревсъ прислалъ изъ Новомиргорода... умѣлый и способный—изъ вольноопредѣляющихся солдатъ.

Въ одинъ изъ пріѣздовъ, гуляя по саду, Мишель увидѣлъ этого воина-механика и сперва не обратилъ на него особаго вниманія: солдатъ, какъ солдатъ, вѣжливый, приличный, въ бѣломъ кителѣ, съ унтеръ-офицерскими погонами, и въ бѣлой же, безъ козырька, на-бекрень, фуражкѣ. Встрѣтясь съ офицеромъ, солдатъ снялъ фуражку и, вытянувшись во-фронтъ, прижался къ дереву, пока тотъ, кивнувъ ему, прошелъ мимо. Въ другой разъ Мишель замѣтилъ этого механика во дворѣ, черезъ который тотъ несъ въ кузницу какую-то желѣзную, мельничную вещь. Теперь онъ его разглядѣлъ лучше. Механикъ былъ, въ полномъ смыслѣ, красавецъ,—англійскаго образца: бѣлолицый, сильный и статный, съ рыжеватымъ отливомъ густыхъ, коротко-остриженныхъ волосъ, въ бакенбардахъ, веснушкахъ, съ нѣсколько длинными передними зубами и вздернутою верхнею губой. Его красивый, мясистый ротъ гордо улыбался, а большіе, свѣтло-сѣрые глаза смотрѣли смѣло, даже нагло.

Женской части общества Каменки этотъ механикъ, оказавшійся образованнымъ человѣкомъ и даже любящимъ музыку, былъ знакомъ. Онъ починялъ хозяйкамъ замочки къ ридикюлямъ, выпиливалъ тамбурныя иголки и вязальные крючки, склеивалъ дѣтямъ игрушки и вообще оказывалъ разныя услуги, за что бывалъ приглашаемъ на женскую половину къ чаю и кофе.

Мужчины, толкуя въ своихъ совѣщаніяхъ о міровыхъ задачахъ, о пересозданіи человѣчества вообще и родины въ особенности, кромѣ озабоченнаго дѣлами хозяина и случайно Мишеля, даже не подозрѣвали о существованіи этого лица въ Каменкѣ. А между тѣмъ, въ крошечномъ флигелькѣ, скрытомъ подъ тѣнистыми грабами, на заднемъ черномъ дворѣ, переживались, какъ и въ сокровенныхъ бесѣдахъ большого дома Каменки, такія острыя, жгучія думы...

Мишель, въ послѣднее время, невольно задумываясь о своемъ положеніи, старался быть съ виду покойнымъ, не мыслить ни о чемъ мрачномъ. Онъ понималъ, какая страшная опасность грозила ему; видѣлъ, что все, чѣмъ отнынѣ его манила жизнь, можетъ нежданно, какъ и самъ онъ, погибнуть, и отгонялъ эти сужденія. Въ собраніяхъ онъ особенно выдѣлялся, сыпалъ смѣлыми до крайности словами, предлагалъ дерзкія, безумныя мѣры. Его разсѣянно слушали. Всѣ ждали иного, болѣе призваннаго голоса.

У невѣсты Мишеля въ Петербургѣ жила пріятельница, ея бывшая гувернантка, француженка Жюстина Гёбль. Дочь убитаго испанскими гверильясами полковника, Жюстина теперь содержала въ столицѣ швейный магазинъ, и также собиралась выйти замужъ за члена союза, знакомаго Мишелю, кавалергардскаго поручика Анненкова. Пріятельницы дружно и весело переписывались, вовсе не думая ни о чемъ печальномъ, тяжеломъ и грозномъ.

— Какъ зовутъ вашего механика? — спросилъ однажды Мишель Василія Львовича.

— На что вамъ?

— Вещь одна распаялась... онъ сумѣетъ починить.

— Иванъ Иванычъ Шервудъ.

IV.

Джонъ Шервудъ, или какъ его называли въ Россіи, Иванъ Иванычъ Шервудъ, былъ сыномъ извѣстнаго англичанина-механика, вызваннаго въ Россію при Павлѣ, для устрой-

ства обширныхъ суконныхъ фабрикъ въ селѣ Старой Купавнѣ, въ богородицкомъ уѣздѣ, близъ Москвы. Управляя купавинскими фабриками, отецъ Шервуда обогатился, нажилъ нѣсколько домовъ въ Москвѣ и далъ отличное, съ техническою практикой, воспитаніе своимъ сыновьямъ. Счастье Шервудамъ измѣнило. Ссора съ властями повела къ возбужденію слѣдствія, потомъ суда. Старикъ Шервудъ потерялъ мѣсто. Его дома были описаны, забракованный суконный товаръ опечатанъ, испортился въ фабричныхъ складахъ и проданъ потомъ за ничто. Шервуды обѣднѣли, впали въ нищету. Старшіе сыновья фабриканта кое-какъ пристроились на чужихъ заводахъ. Младшій — Джонъ сперва работалъ у мелкихъ ремесленниковъ, потомъ попытался поступить въ военную службу, но безъ связей ничего не добился, и, чуть не побираясь милостыней, шатался безъ дѣла по Москвѣ.

Однажды, въ то голодное, тяжелое время, онъ зашелъ къ земляку, московскому шорному торговцу. Къ лавкѣ, шестерней, въ богатой каретѣ, подъѣхалъ пожилой помѣщикъ. Купивъ два женскихъ сѣдла, онъ, при выходѣ, какъ бы что-то вспомнивъ, потеръ лобъ и спросилъ купца: нѣтъ ли, между его земляками, образованнаго и способнаго человѣка, который могъ бы давать его дѣтямъ уроки англійскаго языка? Шервудъ не вытерпѣлъ. Видя, что его землякъ молчитъ, онъ самъ предложилъ незнакомцу свои услуги. Помѣщикъ взглянулъ на купца. Этотъ поддержалъ Шервуда, сказавъ, что молодой человѣкъ, кромѣ природнаго англійскаго и французскаго языковъ, хорошо знаетъ также и нѣмецкій и нѣсколько музыку. Помѣщикъ сдѣлалъ по-англійски нѣсколько вопросовъ молодому человѣку, объявилъ свои условія и далъ визитную карточку. Шервудъ, узнавъ отъ купца, что это былъ извѣстный богачъ Ушаковъ, на другой день простился съ родителями, уложилъ свой убогій чемоданчикъ и, явясь къ Ушакову, уѣхалъ съ нимъ въ его смоленское помѣстье.

Шервудъ впослѣдствіи, и теперь въ Каменкѣ, часто вспоминалъ эту дорогу, пріѣздъ въ большой и роскошный барскій домъ, толпу слугъ и двухъ красивыхъ, взрослыхъ дочерей помѣщика, которыя съ любовью бросились навстрѣчу отцу. Баринъ отрекомендовалъ сиротамъ-дочерямъ и ихъ надзирательницѣ, пожилой экономкѣ-француженкѣ, новаго преподавателя. Дворецкій указалъ Шервуду помѣщеніе недавно уволеннаго французскаго учителя. Уроки англійскаго

языка начались успѣшно. Ретивый наставникъ былъ обворожительно услужливъ. За англійскимъ, начались упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ, а по временамъ игра въ четыре руки на фортепьяно. Учитель, попавъ въ теплый уголъ, на сытый, даже роскошный столъ, обзавелся изъ перваго жалованья приличнымъ, моднымъ платьемъ. Дѣвицы были очень любезны и внимательны, особенно младшая, живая и рѣзвая, почти ребенокъ.

Надзирательница-экономка, страдавшая то нервами, то флюсомъ, болѣе сидѣла въ своей комнатѣ. Ученицы во время уроковъ говорили съ преподавателемъ на языкѣ, непонятномъ для нея и прочей прислуги. Отецъ былъ занятъ хозяйствомъ, выѣздами въ гости и охотой.

Прошелъ годъ. Шервудъ влюбился въ младшую ученицу. Послѣдняя страстно увлеклась красивымъ и угодливымъ наставникомъ.

Деревенская скука и глушь, отсутствіе надзора рано умершей матери и довѣрчивость наемной приставницы сдѣлали свое дѣло. Сперва робкія, письменныя признанія, вздохи, полуслова; потомъ прогулки въ полѣ, встрѣчи въ саду...

«Увлеклись и забылись», — сказалъ себѣ однажды, въ оправданіе, Шервудъ, когда уже было поздно. Что́ предпринять? Какъ и чѣмъ спастись? Медлить было нельзя. Ни отецъ, ни старшая сестра и никто въ домѣ пока еще не подозрѣвали ничего. «Ужасъ! Что́, если догадаются? — мыслилъ онъ,—ей ли быть за мною, за ничтожнымъ, наемнымъ учителемъ, почти слугой? Никогда... Отецъ не вытерпитъ, не снесетъ позора. Изъ своихъ рукъ убьетъ меня и ее... Пока есть время, надо найти средство, скрыться куда-нибудь, бѣжать»...

Шервудъ обдумалъ рѣшеніе. Бракъ былъ возможенъ только съ ровней. Онъ рѣшилъ поступить въ военную службу, поскорѣе добиться офицерскаго званія и тогда искать руки дѣвушки. Строя радужныя грезы, полныя надеждъ, они простились. Шервудъ сослался на домашнія обстоятельства, сказалъ отцу дѣвушки, что перемѣняетъ родъ занятій, попросилъ у него разсчета и уѣхалъ.

Какъ иностранецъ и сынъ разночинца, Шервудъ могъ опредѣлиться въ армію только простымъ рядовымъ. Онъ придумалъ другое средство: поступилъ опять учителемъ къ дѣтямъ извѣстнаго, со связями, генерала Стаала, и записалъ

его расположеніе. Воспользовавшись поѣздкой генерала по дѣламъ въ Одессу, онъ въ Елисаветградѣ обратился къ нему съ просьбой, помочь ему для поступленія вольноопредѣляющимся въ новомиргородскій уланскій полкъ. Командиръ полка Гревсъ былъ друженъ съ Стаалемъ, и Шервуда вскорѣ приняли, на тогдашнихъ правахъ — двѣнадцати-лѣтней выслуги на офицерскій чинъ.

Двѣнадцать лѣтъ солдатской, жесткой лямки!—да это цѣлая вѣчность для самолюбиваго и избалованнаго въ дѣтствѣ человѣка, который еще недавно вкушалъ спокойную и такъ хорошо обставленную жизнь иностранца-учителя въ богатыхъ, барскихъ домахъ. Шервудъ подумалъ:

«Ну, для меня будетъ исключеніе; очевидно, примутъ во вниманіе мою недюжинную образованность, знаніе приличій и внѣшній лоскъ. Двѣнадцать лѣтъ выслуги писаны для другихъ; меня скоро замѣтятъ, оцѣнятъ и отличатъ».

Но тянулись недѣли, мѣсяцы; прошелъ годъ, другой и третій. Шервуда не замѣчали. Онъ съ трудомъ, въ концѣ долгихъ усилій, добился одного: — изъ фронта, узнавъ его грамотность и хорошій почеркъ, его взяли писаремъ въ канцелярію полкового комитета. Вѣсти изъ смоленской губерніи приходили рѣдко, а вскорѣ и вовсе прекратились. Переписка шла черезъ экономку, которую теперь, очевидно, разсчитали. Изъ Москвы отъ родителей шли нерадостныя извѣстія: та же безпомощность, тѣ же горе и нищета. А тутъ еще строгое и требовательное начальство, вѣчное корпѣніе въ душной комнатѣ, съ перомъ, и ни проблеска лучшихъ надеждъ.

Шервудъ не вынесъ служебныхъ невзгодъ. При всей своей смѣтливости, пронырливомъ и вкрадчивомъ нравѣ, онъ потерялъ обычное спокойствіе духа, сталъ пренебрегать занятіями въ канцеляріи и, наконецъ, безобразно запилъ.

Небритый и нечесаный писарь, съ протертыми локтями и въ дырявыхъ, съ голыми пальцами, сапогахъ, случайно привлекъ къ себѣ вниманіе маіора, начальника канцеляріи... Арестъ и всякіе штрафы не помогли. Маіоръ, узнавъ о происхожденіи писаря, призвалъ его къ себѣ и сталъ усовѣщивать, стыдить.

— Да что съ тобой?—спросилъ онъ, послѣ долгихъ распеканій, вглядываясь въ заспанное и опухшее лицо писаря:—не знаешь развѣ? да я рапортомъ... да ты у меня...

Слезы брызнули изъ глазъ Шервуда. Вытянувшись передъ начальникомъ, онъ судорожно мялъ въ рукахъ фуражку и молчалъ.

— Ты, батенька, отличныхъ способностей, — произнесъ маіоръ, желая нѣсколько его ободрить: — шутка ли! знаешь ариѳметику, языки... ну, разныя тамъ ремесла... прежде велъ себя прилично, барышней... а теперь! откуда такая блажь?

Губы писаря дрогнули.

— Ваше высокоблагородіе!—проговорилъ онъ:—вы обратили на меня милостивый взоръ...

— Ну, да, да!

— Хотите знать причину... вотъ она...

И Шервудъ безъ утайки разсказалъ маіору все свое прошлое, въ томъ числѣ и роковой смоленскій случай.

Маіоръ развелъ руками.

— Пять лѣтъ я бился,—заключилъ Шервудъ:— извольте узнать, на смотрахъ обходили; что было — издержался, а производства все не видать... Хотѣлъ я и руки на себя наложить, вотъ какъ передъ Богомъ! и дезертировать за границу, въ Грецію, гдѣ люди бьются за свою свободу... Горе сломило, не стерпѣлъ...

Шервудъ говорилъ съ чувствомъ, толково и умно. Маіоръ сперва было вспылилъ: «вотъ вы, головорѣзы! а! куда дернулъ! у меня, братецъ, тоже семья, дѣти»... Онъ не щадилъ доводовъ, укорялъ.

— Черезъ головы другихъ затѣялъ, вертунъ, перескочить! —горячился маіоръ, пыхтя и расхаживая по комнатѣ:— назначено двѣнадцать лѣтъ, ну, и терпи. Гдѣ твои такія заслуги, права? Теперь, батенька, не военное время. И родовые дворяне, вонъ, не тебѣ, иностранцу, чета, ждутъ, переносятъ! Я самъ, братецъ ты мой, не изъ богатыхъ, сколько тянулъ.

Мысль объ оставленной, страдающей дѣвушкѣ смягчила маіора.

— Изволь, помогу, — проговорилъ онъ, наконецъ, подумавъ:— но прежде самъ исправься, приведи себя въ должный видъ. О рюмкѣ болѣе ни-ни...

— Явите божескую милость.

— Попытаюсь, говорю; есть аудиторскія дѣла, кое-что, можетъ, найду и по механикѣ... А пока вотъ тебѣ приглашеніе,—заключилъ маіоръ: — приходи каждый день ко мнѣ обѣдать. Отличишься, то ли тебя, по способностямъ, ждетъ?

Слова маіора подѣйствовали. Шервудъ остепенился, сталъ исполнять казенныя и неурочныя частныя порученія, обзавелся инструментомъ, ободрился и принялъ прежній, приличный видъ. Ему дали унтеръ-офицерскіе погоны, и онъ ужъ запросто бывалъ у маіора.

Лѣтомъ 1825 года, въ Новомиргородѣ, къ полковнику Гревсу заѣхалъ его пріятель, Александръ Львовичъ Давыдовъ. За обѣдомъ разговорились о хозяйствѣ. У полковника въ это время сидѣлъ и маіоръ. Гревсъ подсмѣивался надъ помѣщичьими доходами. Ѣли устрицы.

— Полковые командиры, sher ami, хе-хе, не знаютъ неурожаевъ,—сказалъ онъ, попивая шабли:—сравни хоть бы меня... вѣдь я живу, какъ-бы владѣлъ восемнадцатью тысячами душъ.

— Хорошо тебѣ! — возразилъ Александръ Львовичъ:—у насъ съ братомъ въ Каменкѣ иное... Третье лѣто засуха, недородъ. Была отличная, доходная мельница и та теперь безъ дѣла.

— Почему?

— Мало у насъ ученыхъ механиковъ; купишь хорошую заграничную машину, испортилась и валяется, хоть брось. Мельницу намъ наладилъ нѣмецкій мастеръ; пока онъ жилъ, не было отбоя отъ помола, на весь околотокъ работала, а умеръ, некому поправить, стоитъ.

Маіоръ вспомнилъ о Шервудѣ. Онъ сказалъ о немъ полковнику.

— Какой это? — спросилъ Гревсъ: — бѣлолицый такой, смѣлые, красивые глаза?

— Онъ самый... отличный, могу сказать, знающій и способный механикъ... у меня по аудиторской, въ канцеляріи... вашу коляску намедни какъ починилъ...

— Ну, да, именно! — съ удовольствіемъ произнесъ полковой командиръ: — возьми его, Александръ Львовичъ; что ему тутъ мотаться... пусть этотъ годдемъ заработаетъ у тебя. Пришлю съ нимъ и устрицъ.

Шервудъ былъ отпущенъ въ Каменку. Тамъ ему дали помѣщеніе во флигелѣ дворецкаго, мастерскую, и вскорѣ онъ занялся исправленіемъ мельницы.—«Угожу Давыдовымъ, заслужу и у полковника!—разсуждалъ онъ,—маіоръ поддержитъ; скоро высочайшій смотръ. Авось, вывезетъ судьба».

Въ Каменкѣ смѣтливый и ловкій Шервудъ, ставъ опять на путь частныхъ отношеній и услугъ, ко всему внимательно прислушивался и все замѣчалъ. Возвращаясь съ мельницы на рабочій дворъ, гдѣ стоялъ флигель дворецкаго, онъ толковалъ съ барскими и пріѣзжими слугами: что дѣлаютъ господа и куда ѣздятъ, кто барскіе гости, богаты ли, знатны ли и гдѣ живутъ? Угождая господамъ, Шервудъ не забывалъ и прислуги: тому оправлялъ женины серьги, этому лудилъ чайникъ для сбитня, паялъ колечко или починялъ сундучокъ. Пожилъ онъ такъ недѣли три. Ѣлъ опять сыто, спалъ вдоволь, въ работѣ на мельницѣ ничѣмъ не былъ стѣсненъ. Скучно бывало подъ-часъ и не предвидѣлось впереди ничего особеннаго, чѣмъ онъ могъ-бы сразу и неожиданно выбиться изъ тѣсной, обыденной колеи. Лучшее общество было недоступно. Въ барскій домъ хотя изрѣдка его пускали, но какъ рабочаго и съ чернаго крыльца. Сажали его и въ столовой, но особо въ углу, за перегородкой.

Былъ на исходѣ іюнь. Шервуду дали починить сѣдло старшей барышни. Онъ выпилилъ новый лѣнчикъ, поправилъ и щегольски, заново отдѣлалъ все сѣдло. Черноглазая, семнадцатилѣтняя красавица Адель, на глазахъ снявшаго фуражку механика, сѣла въ соломенной шляпкѣ съ алыми лентами, на сѣраго, съ куцымъ хвостомъ, скакуна и, въ сопровожденіи стараго берейтора, поскакала за Каменку, въ лѣсъ, на зеленѣющіе холмы. Шервудъ только вздохнулъ, вспоминая улетѣвшіе, былые годы, иную деревню, лѣса и холмы, и иную, теперь также недосягаемую красавицу. Онъ ушелъ на мельницу блѣдный, едва помнившій себя, и тамъ чуть не плакалъ, грызъ съ бѣшенства ногти и мысленно проклиналъ всѣхъ и все.

Шервуда уже давно поразило одно обстоятельство: онъ сталъ замѣчать, что въ Каменку, гдѣ, за отсутствіемъ старшаго брата, хозяйничалъ Василій Львовичъ Давыдовъ, въ опредѣленные дни, и именно по вечерамъ, каждую субботу, съѣзжались одни и тѣ же гости, почти исключительно военные. Онъ сталъ узнавать отъ прислуги ихъ имена. Тутъ были: генеральнаго штаба поручикъ Лихаревъ, штабъ-докторъ второй арміи Яфимовичъ, подпоручикъ полтавскаго пѣхотнаго полка Бестужевъ-Рюминъ, подполковникъ, командиръ конно-артиллерійской роты Ентальцевъ, нынѣ батальонный командиръ черниговскаго полка—подполковникъ Му-

равьевъ-Апостолъ, отставной штабсъ-капитанъ гвардіи Поджіо и другіе. Шли толки, что ждутъ и другихъ гостей, въ томъ числѣ командира вятскаго пѣхотнаго полка, полковника Пестеля.

— «Что бы это значило?»—началъ разсуждать Шервудъ, прислушиваясь къ толкамъ семьи дворецкаго о посѣтителяхъ Каменки:—«въ карты они не играютъ, не кутятъ, не пьютъ... съ дамами видятся только за чаемъ, за ужиномъ, сидятъ въ пристройкѣ Василія Львовича, либо наверху, и на другой день разъѣзжаются... Военные! ужъ не затѣвается ли куда походъ? Что-то, по слухамъ, неладно въ Польшѣ и какъ-бы опять на австрійской границѣ... Что, если и впрямь, война, походъ? Очевидно, держатъ въ тайнѣ, готовятся... Узнать бы и заранѣе попроситься въ дѣйствующій отрядъ».

Однажды, въ субботу, Шервудъ послѣ ужина ходилъ по двору. Его мучили сомнѣнія, неизвѣстность. Таинственныя бесѣды пріѣзжихъ дразнили его любопытство. Онъ прошелъ въ садъ, миновалъ нѣсколько дорожекъ, возвратился къ калиткѣ и поднялъ голову. Часть верхняго этажа была освѣщена. Одно изъ оконъ было не совсѣмъ прикрыто занавѣской. Ночь была звѣздная, но безъ мѣсяца. Часть неба застилалась облаками.

Шервудъ оглянулся, примѣтилъ вблизи лѣстницу, служившую для закрытія ставень, прислонилъ ее къ стѣнѣ и полѣзъ къ верхнему окну. Онъ уже былъ невдали отъ подоконника, видѣлъ тѣни, колыхавшіяся по рамѣ, и готовился, изъ-подъ занавѣски, разглядѣть, что происходитъ въ комнатѣ. На дворѣ, за калиткой, послышались шаги. Шервудъ быстро спустился на землю.

— «Нѣтъ», — сказалъ онъ себѣ: — «хоть отъ деревьевъ здѣсь и темно, на бѣлой стѣнѣ легко могутъ разглядѣть...» Онъ опять прошелъ въ садъ. Походивъ по ближней полянѣ, онъ долго приглядывался къ свѣту въ верхнихъ окнахъ. Его руки и ноги дрожали, любопытство было до крайности возбуждено.

Обычная вечерняя возня во дворѣ понемногу затихла. Перестали скрипѣть и хлопать двери въ домѣ, на кухнѣ и въ людскихъ. Прислуга, мало-по-малу, разбрелась по своимъ угламъ. У амбара перестали постукивать въ доску сторожъ. На деревнѣ все также смолкло. Наступила полная тишина.

Шервудъ вышелъ изъ сада, поднялся на переднее крыльцо

и, подождавъ съ минуту, бережно отперъ дверь въ сѣни. Осмотрѣвшись въ полу-тьмѣ, онъ нащупалъ крутую, каменную лѣстницу, подумалъ: «это наверхъ... если наткнусь на кого-нибудь, скажу, что по дѣлу къ хозяину!» и, чуть касаясь ступеней, сталъ медленно подниматься. Нѣсколько разъ онъ останавливался, прислушиваясь. Его тревожилъ скрипъ собственныхъ сапогъ. Въ верхней передней не было никого.—«Прислуга, очевидно, съ расчетомъ услана внизъ!»—мелькнуло въ умѣ Шервуда. Изъ смежной комнаты въ дверную щель передней пробивалась полоска свѣта; изъ-за двери ясно слышались оживленные голоса.

— «Такъ и есть,—подумалъ Шервудъ,—обсужденіе похода... готовится война... Но какъ бы не попасться, получше разслышать?»—Онъ осмотрѣлся, снялъ сапоги, чтобы не скрипѣли, взялъ ихъ подъ мышку, подошелъ на цыпочкахъ къ заманчивой двери и, замирая, приложилъ къ замочной скважинѣ сперва глазъ, потомъ ухо. Онъ наблюдалъ нѣсколько мгновеній, отрывался отъ двери и опять жадно къ ней припадалъ. Кровь бросилась ему въ голову. Сердце билось такъ сильно, что онъ схватился за грудь и едва устоялъ на ногахъ.

V.

Вокругъ большого, заваленнаго бумагами стола, какъ разглядѣлъ Шервудъ, помѣщались всѣ обычные посѣтители Каменки. Ближе другихъ, у лѣвой стѣны, сидѣлъ хозяинъ, Василій Львовичъ Давыдовъ. Вправо и бокомъ также у двери располагался пріѣхавшій въ тотъ день, коренастый и строгій лицомъ, полковникъ Пестель. За нимъ, съ перомъ въ рукѣ, надъ бумагой, сидѣлъ, въ свитскомъ мундирѣ, длинноволосый и худощавый, съ выразительными глазами, поручикъ Лихаревъ. Пестель, съ рѣшительно протянутою рукой, что-то кончилъ объяснять. Лихаревъ, взглядывая на говорившаго, наклонялся, быстро записывая.

Шервудъ затаилъ дыханіе и сталъ слушать. Первыя слова Пестеля бросили его въ холодъ и жаръ. «Онъ предсѣдатель, отбираетъ голоса... что за диво?»—подумалъ Шервудъ. Пестель кончилъ. Началось общее разсужденіе. Французскій, съ примѣсью русскихъ выраженій, говоръ то затихалъ, то обновлялся съ новою силой. Шервуду становилось понятно и ясно нѣчто совершенно неожиданное, изумительное, повергшее его въ нервную дрожь. До него долетали слова:

«да вѣдь такъ рѣшено»—«въ Польшу отвѣтить отъ имени союза»—«наше общее дѣло»—«Васильковская и Тульчинская управы»—«Мордвиновъ что? аристократъ!»—«Петербургу дать новый совѣтъ! къ чорту Аракчеева!»—«на голоса!»—Говорили рѣчи Поджіо, Бестужевъ-Рюминъ и Муравьевъ. Лихаревъ записывалъ рѣшенія.

— Цензъ избирателей,—произнесъ Юшневскій:—до пятисотъ фунтовъ серебра, избираемыхъ—до трехъ тысячъ фунтовъ... это дико! гдѣ у насъ серебро?

— Крестьянъ освободить съ землей,—кричалъ Яфимовичъ.

— Не всѣ согласятся! безъ земли, съ одними дворами!—возражали Поджіо и Ентальцевъ:—еще назовутъ грабежомъ.

— Къ чорту тупое меньшинство! вѣче! вспомните Новгородъ, Псковъ!—кричалъ, покрывая голоса прочихъ, Мишель.

Сомнѣнія не было. Передъ Шервудомъ происходило засѣданіе тайнаго, политическаго общества.

Онъ перевелъ дыханіе, хотѣлъ еще слушать. Но Василій Львовичъ всталъ и, со словами: «итакъ, воля крестьянъ, въ общемъ, рѣшена!» взялся за шнурокъ звонка. Остальные также, отодвигая кресла, встали. Шервудъ отпрянулъ отъ двери и опрометью, чуть помня себя, сбѣжалъ по лѣстницѣ. Въ сѣняхъ онъ въ ужасѣ прижался къ углу. Мимо его, зѣвая и охая, снизу прошелъ разбуженный звонкомъ Емельянъ.

Пропустивъ слугу, Шервудъ дрожащими руками надѣлъ сапоги, еще прислушался, выскользнулъ на крыльцо и стремглавъ бросился въ свой флигель. Не зажигая свѣчи, онъ быстро раздѣлся, легъ въ постель и старался заснуть. Сонъ отъ него бѣжалъ. — «Тайное общество! заговоръ противъ правительства!»—думалъ онъ, задыхаясь. Дрожа и не попадая зубомъ на зубъ, онъ разбиралъ свое невѣроятное открытіе.—«Такъ вотъ что — мыслилъ онъ, — не походъ, не война... вотъ цѣль этихъ собраній... и кто же? высшее офицерство, батальонные, полковые командиры. Недовольны, возмущены; строятъ тайные ковы. А я, затерянный въ этой глуши, безъ ихъ богатства и правъ, всѣми обходимый чужеземецъ... И мнѣ терпѣть еще семь долгихъ, унизительныхъ лѣтъ?..»

Тяжелыя, несбыточныя мысли вертѣлись въ головѣ Шервуда. Онъ неподвижно глядѣлъ съ кровати въ окно. Мухи жужжали и бились въ тѣсной, душной комнаткѣ. А за окномъ стояла тихая, звѣздная ночь. — «Бѣжать отъ этого

ужаса!—вдругъ подумалъ Шервудъ:—убить соблазнительный, дерзкій призракъ... А тамъ, вдали? тамъ вѣдь еще надѣются, ждутъ... Можно отличиться, возвратить потерянное счастье. Нѣтъ выслуги выше; почести, богатство... но вѣдь это предательство!»

Шервудъ вскочилъ, сталъ ощупью одѣваться. — «Тьфу, чортъ! да какъ же дрожатъ руки!—мыслилъ онъ съ отвращеніемъ, — точно укралъ что-нибудь»... — «Кончено, рѣшено!»—сказалъ онъ себѣ, выйдя на воздухъ и безсознательно вновь направляясь въ садъ,—о! подлая ловушка, выдача головой, за гостепріимство пріютившаго меня человѣка... И ужели я буду этимъ предателемъ, злодѣемъ, убійцей изъ-за угла?»

Долго Шервудъ бродилъ по темнымъ уступамъ и дорожкамъ сада, подходилъ къ рѣкѣ, ложился въ кусты, на полянахъ. Верхи деревъ посвѣтлѣли. Стали видны холмы и ближній лѣсъ за Тясминомъ. Чирикнула и съ куста на кустъ перелетѣла, разбуженная какимъ-то шорохомъ, птичка. Спящій, съ пристройками и крыльцами, бѣлый домъ отчетливѣе вырѣзался среди пирамидальныхъ тополей и развѣсистыхъ, старыхъ липъ.

«Сытые бѣсятся, что имъ! изъ моды, отъ жиру!»—злобно стиснувъ зубы, подумалъ Шервудъ. Онъ даже плюнулъ запекшимися губами.—«Чужое вѣдь, не мое»... — прибавилъ онъ, съ блѣдной усмѣшкой, вставая и возвращаясь домой:— «отличія... награды засыпятъ... это вѣрно, ни колебанія, ни шагу назадъ!»

— Что, ваши ѣдутъ сегодня? — спросилъ онъ чьего-то кучера, ведшаго утромъ къ рѣкѣ лошадей.

— Ѣдемъ, будемъ въ ту субботу.

Въ слѣдующую субботу Шервудъ рѣшилъ получше и толкомъ все сдѣлать, смазать сапоги, выждать, когда все угомонится, вновь пробраться къ заманчивой двери, все терпѣливо выслушать, запомнить и записать въ особую тетрадь.—«Смѣльчаки!—на Аракчеева строятъ подкопы!»—разсуждалъ онъ,—«въ лагерѣ подъ Лещиномъ собираются все рѣшить... волю крестьянамъ хотятъ объявить!»

Въ ожиданіи этого дня, чтобъ не дать подозрѣній, Шервудъ притворился разсѣяннымъ, безпечнымъ; никого, какъ прежде, болѣе не разспрашивалъ и въ свободные часы хо-

дилъ, съ ружьемъ дворецкаго, по окрестностямъ и приносилъ хозяйкамъ дичь. А чтобы продлить свое пребываніе въ Каменкѣ, онъ даже нарочно нѣсколько испортилъ уже конченный мельничный ходъ.

Вторая суббота пришла. Шервудъ узналъ еще болѣе. Въ свою тетрадь онъ занесъ имена и адресы многихъ членовъ союза, ихъ тайныя намѣренія и цѣли, и даже вскользь кѣмъ-либо сказанныя, необдуманно-смѣлыя слова, въ родѣ ребяческой, безумной похвалы Мишеля, съ пѣной у рта: «убивать! рѣзать всѣхъ... нечего щадить враговъ!»

Собраніе на этотъ разъ окончательно обсуждало вопросъ о нѣкоторыхъ мѣрахъ, въ томъ числѣ чье-то предложеніе— не откладывать свободы крестьянъ. Шервудъ жадно слушалъ.

— Отдѣльныя, единичныя попытки каждаго изъ насъ не приведутъ ни къ чему,—сказалъ чей-то голосъ за дверью:— вонъ, Якушкинъ давно написалъ общую и безусловную вольную своимъ. Онъ даже возилъ ее въ Петербургъ, министру. И что же вышло? Послѣ всякихъ отсрочекъ и мытарствъ, ему удалось добиться свиданія съ Кочубеемъ. Удивленный министръ его выслушалъ и отвѣтилъ: разсмотримъ, обсудимъ. И обсуждаютъ до сихъ поръ, скоро пять лѣтъ...

— Моего предположенія,—произнесъ Пестель:—о подаренныхъ мнѣ деревняхъ я ужъ никуда и не посылалъ.

— Да и не для чего!—отозвался Бестужевъ-Рюминъ:—еще сочтутъ нарушителемъ общаго спокойствія... вѣдь у насъ какъ!

— И будутъ правы! — сказалъ Поджіо: — строго говоря, какъ члены тайнаго общества, даже для такихъ возвышенныхъ цѣлей, мы все же заговорщики, преступники. Надо говорить правду... Какъ ни перебирай, а всѣ наши работы, подтвержденныя даже собственнымъ, доблестнымъ починомъ,—однѣ слабыя попытки непрошеннаго меньшинства... отвлеченные философскіе тезисы... отмѣна цензуры, шутка ли, сокращеніе воинской службы...

— Что же предпринять?—спросилъ Яфимовичъ:—діагнозъ сдѣланъ, гдѣ лѣкарства? и какъ узнать мнѣніе большинства, если наши стремленія и здѣсь называютъ идеальными, идущими не изъ опыта, а изъ головы?

— Я такъ не говорилъ,—возразилъ Поджіо.

— Нѣтъ, вы это сказали...

— Совѣтуютъ,— произнесъ Пестель: — подать общее прошеніе отъ дворянъ.

— Съ сотнями, тысячами подписей, — вскрикнулъ Мишель:—можно все въ тайнѣ, не узнаетъ никто!

— Но не всѣ подпишутся,— возразилъ Поджіо: — многіе противъ дарового освобожденія: изъ нашихъ даже—Волконскій, Нарышкинъ, Трубецкой, да и другіе, — Александръ Барятинскій, стояли за выкупъ крестьянъ отъ казны.

— И вѣрно, если хотите,—произнесъ Яфимовичъ:—даже Мордвиновъ, помните, совѣтовалъ платить, смотря по возрасту, отъ пятидесяти до двухъ-сотъ рублей за душу.

— Алтынники!—вскрикнулъ Мишель.

— Но съ ними могутъ согласиться, и рядомъ съ нашимъ прошеніемъ пошлются другія, въ обратномъ смыслѣ. Да и какъ собирать подписи?

— Выбрать смѣлую когорту!—проговорилъ Мишель: —я и другіе возьмемся, въ мѣсяцъ, въ полгода объѣздимъ полъ-Россіи и привеземъ сто тысячъ подписей.

— Увлечемъ, заставимъ и Аракчеева,—сказалъ Ентальцевъ:— вѣдь онъ самъ предлагалъ особую комиссію и пять милліоновъ въ годъ дворянству на выкупъ крѣпостныхъ.

— Но онъ стоялъ за двѣ десятины надѣла всякой душѣ, и его мысль отвергли. Онъ противъ общиннаго управленія деревень...

— Къ чорту его! обойдемся и безъ него!—произнесъ кто-то.

— Нѣтъ, нельзя пренебрегать услугами и врага,—возразилъ Давыдовъ.

— Долой враговъ!—крикнулъ Поджіо:— имъ будетъ особый разсчетъ.

— Кинжалъ,—произнесъ Мишель.

— Позвольте,— опять вмѣшался Яфимовичъ:— не подготовимъ исподволь общаго мнѣнія, Кочубей введетъ ни то, ни сё... полумѣры восемьсотъ пятаго года...

— На голоса!

— Что же рѣшать?—спросилъ Пастель.

— Все рѣшать... нечего откладывать!

— Отложить, — сказалъ Ентальцевъ: — надо списаться, узнать.

— А публикація въ газетахъ о продажѣ людей?—проговорилъ Давыдовъ:—вѣдь это Африка, торгъ неграми!

— Отложить, не соберемъ подписей!

— Нечего откладывать, на голоса!

Обсуждались и другія мѣры, диктовались разныя бумаги.

«Какія открытія!»—разсуждалъ Шервудъ, пробираясь, въ эту вторую ночь, обратно во флигель:—«стремятся къ образованію простого народа, къ уменьшенію сроковъ военной службы, къ устройству общиннаго управленія, отмѣнѣ цензуры и къ освобожденію крестьянъ... — Прямо письмо къ государю—сказалъ онъ себѣ:—меня, разумѣется, вызовутъ, и я все объясню... Но спросятъ, гдѣ доказательства? и что, если эти люди отопрутся, спутаютъ, собьютъ? Все вѣдь такіе умники, тузы... Завтра воскресенье — всѣ разъѣдутся. Не ѣхать ли и мнѣ? Осталось только исправить шестерню и испытать ходъ колеса...»

Шервудъ то рѣшался исполнить задуманное, то падалъ духомъ и отступалъ. Рано утромъ онъ пошелъ на мельницу. Погода стояла знойная. Пользуясь утренней прохладой, къ рѣкѣ на мельницу пришли купаться каменскіе гости. Степенный говоръ прерывался изрѣдка шутками. Слуга разостлалъ коверъ, положилъ мыло и простыни, поставилъ тазы съ водой и ушелъ. Шервудъ, припиливая стержень шестерни, сидѣлъ въ мельницѣ у окна. Ему было видно, какъ пришли гости, какъ они разсѣлись на коврѣ и по травѣ и стали раздѣваться. Кто-то пріятнымъ голосомъ запѣлъ французскую пѣсню. — «Марсельеза!» — съ дрожью подумалъ Шервудъ, услыша знакомый по Москвѣ напѣвъ. Онъ слѣдилъ за купающимися. Мишель съ размаха бросился въ рѣку. За нимъ медленно сошелъ къ водѣ плечистый, съ полосой загара вокругъ шеи, Пестель. Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ сидѣлъ на обрывѣ берега, щуря противъ солнца усталые, добрые глаза. Его красивое, полное лицо, съ прямымъ носомъ, улыбалось.

— Tiens, cher ami,—сказалъ Муравьевъ Пестелю:—какъ загорѣла твоя шея...

— Точно ожерелье!—проговорилъ, плеская себѣ водой на грудь и бока, Поджіо.

— Типунъ вамъ на языкъ, — добродушно усмѣхнулся всегда чопорно-сдержанный Пестель.

«Петля!» — пронеслось въ головѣ Шервуда. Онъ видѣлъ какъ довольный теплой погодой и купаньемъ, Пестель съ удовольствіемъ ступилъ въ воду.

— Странно,—сказалъ Пестель, собираясь погрузиться въ рѣку съ головой: — я всегда думалъ одно, какъ бы не утонуть... не плаваю...

— Наше не тонетъ и не горитъ—произнесъ Поджіо, оттолкнувшись отъ берега и плывя на спинѣ:—мужество и стойкость, не правда ли, нашъ девизъ?..

— А слышали о новомъ женскомъ подвигѣ! — отозвался Лихаревъ, покачиваясь на мельничномъ шлюзѣ и оттуда собираясь внизъ головой броситься въ рѣку.

— Нѣтъ, не слыхали.

— Дѣвица Куракина, увлекшись въ Москвѣ католицизмомъ, въ доказательство преданности къ новой вѣрѣ, сожгла себѣ палецъ въ каминѣ...

— Мишель, это по твоей части! любовь... женихъ! — крикнулъ, ныряя, веселый Поджіо. Всѣ засмѣялись.

— Какъ это у Шеридана о женщинахъ?—спросилъ Муравьевъ Давыдовъ:—твой отецъ перевелъ его «Облака»...

— И... «Школу злословія»,—тонко прибавилъ, въ защиту друга, Муравьевъ.

«Шутите, шутите!» думалъ у окна мельницы Шервудъ.

Къ рѣкѣ, въ это время, подошелъ только-что подъѣхавшій изъ другого имѣнія старшій Давыдовъ.

— Вотъ они, республиканцы! здравствуйте!—сказалъ онъ, дружески кланяясь и присаживаясь на берегу.

Часть купающихся уже одѣвалась.

— Что новаго?—спросилъ Поджіо.

— Это у васъ спрашивать, вы перестроители судебъ.

— Какое! мы военные!

— Хороши воины... ну, да не вмѣшиваюсь,—пробурчалъ Александръ Львовичъ:—а не умолчу, побьютъ васъ за прожекты ваши же Фильки да Ваньки.

— Что же, однако, новаго? — спросилъ брата младшій Давыдовъ:—ты писалъ, что думаешь быть въ Кіевѣ?

— Ну, былъ... скука, жара и отвратительно кормятъ.

— Не по кулинарной части... былъ же у кого-нибудь?

— А вотъ что,— вспомнилъ Александръ Львовичъ: — это касается васъ: ожидаемые смотры на югѣ отмѣнены.

— Почему? какая причина?—заговорили слушатели.

— Государыня нездорова; ей предписано ѣхать въ Таганрогъ. Государь располагаетъ ее провожать.

— А правда ли,—спросилъ Мишель:—что столицу, изъ-за прошлогодняго наводненія въ Петербургѣ, думаютъ обратно перенести въ Москву?

— Давно бы пора,—замѣтилъ Лихаревъ.

— И это говорите вы? — обратился къ нему Александръ Львовичъ:—да Москва глушь, спячка, орда! ни дышать, ни ѣсть, ни жить... Охъ, вы, простите, Сенъ-Жюсты, да Демулены,— крехтя прибавилъ онъ, вставая и идя за первыми одѣвшимися:—вы дѣти, не практики... Ну, хоть бы эти толки объ émancipation... все это, говорю откровенно, вздоръ! Вы подзадориваете изъ моды другъ друга и преждевременными задираніями только мѣшаете жить остальнымъ. Служи я, да поставь меня начальство съ полкомъ противъ васъ, я бы вамъ показалъ...

Часть купающихся ушла. Шервудъ опять услышалъ голоса. У шлюза замедлились Пестель и Муравьевъ.

— Да! я все думаю,—сказалъ Пестель:—такая разноголосица... ужъ не открыть ли всего государю?.. Право, онъ одинъ въ силѣ... Ему бы все наше передать...

«Такъ вотъ что!»—сказалъ съ дрожью себѣ Шервудъ,— «нѣтъ, опоздали... Я васъ предупрежу!»

Купанье кончилось. Рѣка опустѣла. «Завтра сдамъ работу и уѣду!» рѣшилъ Шервудъ.

Онъ обѣдалъ въ тотъ день въ своемъ флигелѣ, медленно доѣдая ломоть бараньей грудинки, принесенной изъ кухни дворецкаго, когда къ нему вошелъ офицеръ. То былъ Мишель.

— Извините, — сказалъ вошедшій: — вы опытный механикъ: не можете ли починить это?

Онъ подалъ Шервуду золотой, тѣльный крестикъ.

— У насъ, видите ли, въ штабѣ нѣтъ мастеровъ... жалкое мѣстечко... а это для меня дорого, отпаялось ушко.

Шервудъ отеръ влажныя, жирныя губы и поднялъ глаза на офицера.

— Крестъ,—проговорилъ онъ, въ раздумьѣ поворачивая поданную вещь.

— Да, память, благословеніе... моей maman, — несмѣло пояснилъ офицеръ.

— Помилуйте, ваше благородіе,—злобно нахмурился Шервудъ:—развѣ я золотыхъ дѣлъ мастеръ? у меня ни припая, ни инструментовъ для того...

— Но вы Самойлычу исправляли кольцо, мамзель Адель серьги.

— У васъ... матушка?—спросилъ Шервудъ.

— Да... и я ее такъ люблю,— съ счастливой улыбкой и искренно произнесъ Мишель.

Шервудъ задумался. Въ его мысляхъ мелькнуло его открытіе и все, что онъ такъ ловко подслушалъ и записалъ, въ томъ числѣ и объ этомъ юношѣ, смѣло поджимавшемъ палецъ за пальцемъ, при счетѣ намѣчаемыхъ жертвъ. Ему вспомнилось и утреннее купанье у мельницы, статныя, спокойныя и красивыя тѣла, марсельеза и шутка о загорѣлой шеѣ. Онъ безсознательно продолжалъ разсматривать крестикъ. Что ожидало стоявшаго передъ нимъ юношу и всѣхъ этихъ, повидимому, безпечныхъ и смѣлыхъ, сильныхъ духомъ и вѣрившихъ въ свою звѣзду? — «У него мать — подумалъ Шервудъ,—а у меня невѣста... да и онъ, кажется, женихъ... отъ одного шага, слова...»

Злобный огонь сверкнулъ въ глазахъ Шервуда.

— Извините, ваше благородіе, — сказалъ онъ нехотя, какъ бы еще пережевывая недоѣденный, вкусный кусокъ:— я не ювелиръ, но для васъ, какъ могу, смастерю... принесу вечеромъ...

— О, я вамъ буду очень благодаренъ!—сказалъ Мишель:— вы истинный джентльменъ... по-русски, это гражданинъ... вашу руку, гражданинъ Шервудъ.

И онъ горячо пожалъ мозолистую руку Шервуда, счастливый всѣмъ, и утреннимъ купаньемъ, и тѣмъ, какъ онъ смѣло «по-робеспьеровски» говорилъ въ ту ночь на засѣданіи, до того смѣло, что Поджіо ему сказалъ: вы—Маратъ!—и тѣмъ, наконецъ, что онъ скоро будетъ въ Ракитномъ, гдѣ жила его невѣста, Зина, и гдѣ въ концѣ августа, въ день рожденія ея матери, былъ назначенъ балъ, съ охотой на волковъ и дикихъ козъ.

Гости изъ Каменки вечеромъ разъѣхались. Утромъ слѣдующаго дня уѣхалъ и Шервудъ, щедро награжденный за исправленіе мельницы.

Полковникъ Гревсъ, получа благодарность Давыдова за Шервуда, далъ послѣднему порученіе къ своему брату, въ Вознесенскъ, откуда ловкій на всѣ руки техникъ былъ приглашенъ, для осмотра овечьихъ заводовъ и стадъ, къ сосѣднему помѣщику, Булгари. Шервудъ взглянулъ въ свой списокъ: Булгари былъ туда занесенъ въ числѣ членовъ союза.

Изъ Вознесенска Шервуду, въ концѣ іюля, было предложено съѣздить по дѣлу въ харьковскую губернію, въ ахтырское помѣстье родныхъ жены Гревса. Въ Ахтыркѣ онъ, по

порученію Булгари, отыскалъ офицера Вадковскаго. Взглянувъ въ свой списокъ, онъ убѣдился, что и Вадковскій также былъ членомъ тайнаго общества. Онъ его нашелъ у кого-то на крестинахъ.

Булгари, въ свиданіяхъ съ Шервудомъ, не проговорился ни въ чемъ. Намёки на Каменку, на общее дѣло и на общихъ будто бы товарищей, даже заставили осторожнаго Булгари, въ письмѣ къ Вадковскому, черезъ Шервуда, прибавить оговорку: «Берегись этого человѣка,—подозрителенъ; выдаетъ себя за нашего члена, но кѣмъ и гдѣ принятъ, не знаю». Шервудъ въ дорогѣ вскрылъ это письмо, прочелъ его и опять ловко подпечаталъ.

Подвижной и нервный, какъ женщина, Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вадковскій воспитывался въ пансіонѣ при московскомъ университетѣ, служилъ въ кавалергардахъ и теперь былъ сосланъ, за какую-то вольную пѣсню, въ нѣжинскій полкъ, стоявшій въ Ахтыркѣ. Прочтя письмо, привезенное Шервудомъ, онъ сдѣлалъ доставителю нѣсколько быстрыхъ, веселыхъ вопросовъ, предложилъ запросто позавтракать къ себѣ и, разговорившись за угощеніемъ, улыбнулся.

«Экіе трусы!—подумалъ онъ,—своей тѣни боятся... А это такой милый, дѣльный человѣкъ...»

— Оставимъ другъ друга обманывать, — сказалъ онъ вдругъ, протянувъ гостю отъ всего сердца руку:—вижу, мы союзники. Будемъ братьями общаго дѣла.

Вадковскій и Шервудъ чокнулись рюмками.

— Что новаго въ Каменкѣ?—спросилъ Вадковскій:—что предпринимаютъ дорогіе товарищи и нашъ новый, смѣлый Вашингтонъ?

— Вашингтонъ?— проговорилъ гость: — ошибаетесь. Пестель мѣтитъ въ Кромвели, въ Наполеоны.

— Ой ли?

Гость засыпалъ анекдотами. Чего онъ только по этой части не зналъ, а еще болѣе не придумалъ. Чувствительный, смѣшливый и простодушный Вадковскій, встрѣтивъ, въ богомольной и скучной, ахтырской глуши, собрата по общему дѣлу, былъ внѣ себя отъ радости. Выпили шампанскаго. Говорили долго, нѣсколько часовъ, и еще выпили. Съ анекдотовъ перешли къ важной сторонѣ дѣла. Перебирали послѣднія тревожныя вѣсти, общее недовольство, слухи о предстоящихъ перемѣнахъ къ худшему.

— И все Аракчеевъ! все онъ! — твердилъ, охмелѣвъ, въ искреннемъ негодованіи, быстроглазый, миловидный и съ чернымъ, распомаженнымъ и завитымъ въ колечко хохолкомъ, Вадковскій.

— И нѣтъ кары на этого злого, жаднаго и ядовитаго паука! — поддакнулъ, съ англійскимъ ругательствомъ, Шервудъ.

— Найдется! и скоро! — многозначительно качнувъ головой, проговорилъ Вадковскій: — здѣсь въ Ахтыркѣ, скажу вамъ, намъ не сочувствуютъ; все спитъ и даже враждебно смотрятъ на насъ... но мы имъ предпишемъ, ихъ вразумимъ!

Еще перекинулись словами.

— Я вижу, дорогой товарищъ, — сказалъ, пошатываясь, Вадковскій: — вы не знаете всѣхъ нашихъ членовъ... я васъ удивлю... таковъ мой нравъ... Я васъ принимаю въ бояре, и, въ знакъ моего къ вамъ довѣрія, извольте... готовъ вамъ сообщить даже списокъ всего нашего союза...

— Очень благодаренъ... позволите списать? я возвращу его черезъ часъ.

— Сдѣлайте одолженіе, — отвѣтилъ Вадковскій, окончательно забывъ предостереженіе Булгари: — долго ли пробудете въ Ахтыркѣ?

— Надо покончить порученное дѣло; ѣду сегодня.

Списокъ былъ въ тотъ же день возвращенъ Вадковскому.

На обратномъ пути въ полкъ, Шервудъ остановился ночевать въ Богодуховѣ, заперся на постояломъ дворѣ и сталъ что-то писать. Онъ писалъ всю ночь, разрывая въ клочки бумагу, ходя по комнатѣ и опять садясь къ столу. На другой день отсюда отходила почта въ Харьковъ и далѣе на сѣверъ. Шервудъ утромъ написанное запечаталъ въ большой, форменный пакетъ, сунулъ его на грудь подъ мундиръ, застегнулся, сжегъ черновые наброски и пошелъ на почту.

Это было въ половинѣ августа.

День стоялъ сухой, съ знойнымъ вѣтромъ. Пыль носилась клубами по улицамъ бѣднаго, соломой крытаго, городка, разбросаннаго по песчанымъ болотамъ и буграмъ. Истомленный тряской на перекладной и безсонной ночью, проголодавшійся и мучимый сомнѣніями, Шервудъ сумрачно шагалъ вдоль пустынныхъ заборовъ. Усталыя ноги, въ нобурѣвшихъ, жавшихъ сапогахъ, вязли въ пескѣ. Улицы были пусты. Свиньи хрюкали изъ грязныхъ лужъ, пересѣ-

кавшихъ дворы и улицы. Полунагіе и грязные ребятишки валялись подъ воротами, швыряя въ прохожаго комками навоза. Шервудъ остановился, прикрикнулъ, даже погнался было за оборваннымъ шершавымъ мальчуганомъ. У кабака онъ встрѣтилъ пьянаго, сѣдого мѣщанина, шедшаго подъ руку съ пьяною бабой и оравшаго пѣсню на всю улицу.— «И этимъ гражданамъ они затѣяли свободу, права!»—трясясь отъ злости, подумалъ Шервудъ, отирая потное лицо. Онъ добрелъ до почтовой конторы, у которой уже стояла телѣга, запряженная тройкой исхудалыхъ клячъ. Толстый и заспанный почтмейстеръ принялъ поданный ему пакетъ. Прочтя на немъ надпись, онъ удивленно поднялъ глаза на Шервуда.

— Это ваше?—спросилъ онъ, вертя въ рукахъ пакетъ.

— Такъ точно... прошеніе о пособіи, заболѣлъ дорогою...

Почтмейстеръ вынулъ табакерку, опять взглянулъ на подателя, понюхалъ табаку, со вздохомъ приложилъ къ пакету печать и бросилъ его въ почтовую сумку.

Шервудъ вышелъ и сталъ на сосѣднемъ перекресткѣ. Изъ-за забора онъ видѣлъ, какъ вынесли сумку, какъ подтянутый ремнемъ почтальонъ сѣлъ, и тройка помчалась, поднимая клубы пыли. За спинку телѣги ухватился и повисъ, въ изорванной рубашонкѣ, мальчикъ; на толчкѣ его бросило лицомъ въ грязь. «Не удержишь! по дѣломъ!»— усмѣхнулся искривленною улыбкою Шервудъ: — тѣ также думали остановить то грозное и имъ ненавистное чудовище».

На пакетѣ была надпись: «Новгородской губерніи, въ село Грузино, графу Алексѣю Андреевичу Аракчееву, въ собственныя руки».

Вадковскій, по отъѣздѣ Шервуда, опомнился, что погорячился и былъ черезчуръ откровененъ съ гостемъ. Онъ старался оправдаться въ собственныхъ мысляхъ: одиночество, скука, завтраки съ возліяніями...—«Экіе мы ребята, браво!.. понравился и я принялъ его въ общество, — разсуждалъ онъ:—меня увлекъ его характеръ, вообще англійскій,—непоколебимый и полный чести (imbu d'honneur,— досказалъ онъ себѣ по-французски). Онъ съ виду холоденъ, но исполненъ горячей преданности и способенъ оказать важныя услуги нашему семейству. Если я преступилъ свои права, пусть ихъ отнимутъ у меня, такъ имъ и напишу, но пусть ихъ отдадутъ, для пользы дѣла, Шервуду».

Въ то время, когда изъ Богодухова было послано письмо Шервуда Аракчееву, Пестель съ Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ возвращался съ послѣдняго, въ то лѣто, съѣзда изъ Каменки. Оба они были скучны. Легкая вѣнская коляска Пестеля мягко катилась по зеленымъ полямъ. Сытая четверня полковыхъ саврасокъ бѣжала бодро. Бубенчики пріятно позванивали.

— Какъ твои стихи? — задумчиво спросилъ товарища Пестель:—ну тѣ, что ты, помнишь, написалъ въ Каменкѣ? Скажи еще разъ; я такъ ихъ люблю...

Неразговорчивый и робкій, нѣжный нравомъ, Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ помедлилъ, слегка покраснѣлъ и негромко, съ чувствомъ прочелъ желаемое шестистишіе:

«Je passerai sur cette terre,
Toujours rêveur et solitaire,
Sans que personne m'ait connu
Ce n'est qu'à la fin de ma carrière
Que par un grand trait de lumière
On verra ce qu'on a perdu...»

— Превосходно и вѣрно!—сказалъ Пестель:—это напоминаетъ Ламартина... Ты въ душѣ поэтъ... Вѣрно выразился... всѣ мы одинокіе, неизвѣстные міру мечтатели, и только потомство намъ произнесетъ вѣрный судъ...

Путники нѣкоторое время проѣхали молча. Солнце клонилось къ закату. Душистая, вечерняя мгла понемногу застилала желтѣющія украинскія степи. Безчисленные кузнечики стрекотали въ травѣ, заглушая бубенчики лошадей.

Пестель сообщилъ, что, въ бытность въ Петербургѣ, онъ навѣстилъ сочлена по союзу, Анненкова, который собирается жениться на красавицѣ Жюстинѣ.

— Ты не повѣришь, какъ счастливы эти голубки!—сказалъ Пестель:—глядя на нихъ, я мыслилъ,—когда же кончатся наши бури?

Муравьевъ, слушая товарища, задумался о сватовствѣ Мишеля. Его сердце невольно сжималось при мысли: «угадываетъ ли возлюбленная этого горячаго и безразсудно-смѣлаго мальчика, принятаго имъ въ члены и, наконецъ, въ бояре, какая судьба можетъ его ждать и ему грозить?»

— Знаешь ли, я думаю, — вдругъ сказалъ, какъ всегда, по-французски, Пестель: — пожалуй, хорошо, что рѣшили оставить эти безумныя попытки въ лагеряхъ, подъ Бѣлой-

Церковью и Бобруйскомъ... Эти военныя заявленія... преторіанство! Охъ, не нравится все это мнѣ... какъ бы не напортили нетерпѣливые, особенно въ Петербургѣ...

Муравьевъ съ удивленіемъ взглянулъ на спутника.

— Слушай, — продолжалъ болѣе оживленно Пестель, высовываясь изъ коляски и какъ бы ища свѣжаго воздуха, простора:—я страстно любилъ и люблю отечество и всегда горячо желалъ ему счастія. Если бы мирно удались наши предположенія, если бы мирно... о! клянусь, я хоть не православный, удалился бы въ Кіевскую лавру и кончилъ бы жизнь, съ благодарностью Богу, монахомъ. Меня подозрѣваютъ въ честолюбивыхъ, суровыхъ замыслахъ. Говорятъ, что я противъ демократа Сперанскаго и за олигарха Мордвинова! Партіи!.. Дайте намъ только свободу мнѣній и рѣчи, — не будетъ ни Аракчеева, ни другихъ своекорыстныхъ, темныхъ силъ, — будетъ одна неподкупная и всѣмъ ясная истина. Ты, мой другъ, лучше другихъ знаешь, что во всѣхъ моихъ увлеченіяхъ и, подчасъ, не въ мѣру горячихъ словахъ, всему виной наша горькая, тяжкая доля. Клянусь, мое сердце не участвовало въ томъ, что̀ порою творила голова.

Муравьевъ горячо пожалъ руку товарища.

— Я всегда былъ противъ твоихъ враговъ, — сказалъ онъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы:—ты не изъ тѣхъ слабосердыхъ, оставившихъ насъ, что̀, между тѣмъ, предлагали устройство тайныхъ типографій и выпускъ фальшивыхъ денегъ. Ты всегда ясно опредѣлялъ цѣль и шелъ къ ней прямо.

— Отъ меня, какъ слышу,—произнесъ Пестель:—нѣкоторые наши хотѣли избавиться... знаешь ли? тебѣ одному откроюсь, какъ другу... Я давно уже колеблюсь... и тебѣ о томъ намекалъ... Наши силы—обоюдоострый мечъ. Выскочатъ, прорвутся нетерпѣливые, и наши мирныя цѣли погибли... Во мнѣ зрѣетъ иное, высшее убѣжденіе... Правъ Николай Тургеневъ. Онъ пишетъ мнѣ: — ничто всѣ наши усилія передъ вопросомъ освобожденія крестьянъ; съ него надо начать, въ немъ спасеніе...

— Въ чемъ же ты колеблешься! — спросилъ Муравьевъ, удивленный необычайною откровенностью и волненіемъ товарища.

— Не поѣхать ли прямо къ государю? — проговорилъ и

замолчалъ Пестель: — не сознаться ли ему во всемъ, объявивъ, что мы покидаемъ свои замыслы и отдаемъ наши труды и цѣли на его судъ? Кто сильнѣе его? Онъ одинъ въ силахъ, никто болѣе его... А его умъ и доброта... Ты не вѣришь, думаешь, что я боюсь измѣны, гибели? Смерть приму съ радостью, съ наслажденіемъ. Меня пугаетъ иное: не дерзко ли, выходя изъ прямыхъ, положительныхъ правъ, такъ искушать Провидѣніе?

Муравьевъ не отвѣчалъ. Слова предсѣдателя союза подавили его, потрясли.

— Надо подумать,—сказалъ онъ:—часъ добрый! вопросъ очень важный... Только, ты слышалъ, государь ѣдетъ въ Таганрогъ и смотровъ не приметъ. Гдѣ его увидишь?

— Не удадутся наши стремленія,—насъ обвинитъ, предастъ и проклянетъ тотъ же общественный судъ, будутъ возмездія — скажутъ, вы отбросили общество въ глубь, во времена Анны, а то и далѣе... Отпрошусь въ Таганрогъ, поѣду туда и все передамъ государю; онъ спасетъ наши труды.

Коляска мчалась также плавно. Трещали кузнечики, гремѣли бубенцы. Вечеръ надвигался на темнѣвшія окрестности. На одномъ поворотѣ выглянула и опять скрылась Каменка.

Отвѣтъ Аракчеева послѣдовалъ скоро. Въ Богодуховъ прискакалъ фельдъегерь, нашелъ въ указанномъ мѣстѣ Шервуда и въ нѣсколько дней домчалъ его въ Грузино.

(1881 г.).

II.

ШЕРВУДЪ У АРАКЧЕЕВА.

Доносъ Шервуда объ открытіи тайнаго Союза благоденствія — будущихъ декабристовъ — сильно взволновалъ графа Аракчеева.

Посланный за доносчикомъ фельдъегерскій поручикъ Лангъ, безъ отдыха, на курьерскихъ, домчалъ его изъ Богодухова въ Грузино на третій день.

Аракчеевъ съ нетерпѣніемъ поглядывалъ въ окна, ожидая смѣльчака—уланскаго унтеръ-офицера, написавшаго графу, что имъ открытъ и выслѣженъ важный и несомнѣнный противъ правительства заговоръ.

Молчавшій и пившій всю дорогу, огромнаго роста, мрач-

ный, съ деревяннымъ, бѣлобрысымъ лицомъ, фельдъегерь, завидѣвъ Грузино, оживился. Толкнувъ локтемъ Шервуда, онъ къ нему нагнулся и что-то ему сказалъ вполголоса.

— Не слышу,—сердито отозвался Шервудъ.

— Шкапчикъ-капканчикъ, шкатулочка съ секретомъ,— проговорилъ еще тише Лангъ, указывая съ холма на открывшіеся верхи графской усадьбы.

— Какой шкапчикъ?.. что врете?

— Поселенскій Моголъ, — продолжалъ поручикъ, самодовольно осклабляя курносое, въ веснушкахъ, лицо: — силища! готовься, братецъ, пропишетъ...

— Дуракъ! — презрительно фыркнулъ Шервудъ, нестѣснявшійся съ пьянымъ, нечистымъ на руку, провожатымъ:— выпытываетъ!.. самъ берегись...

Фельдъегерь крякнулъ, подтянулся и сталъ глядѣть вдаль.

Тройка мчалась широкою, лѣсною просѣкой. Прогремѣлъ длинный, высокій мостъ. Далеко раскидывались луга, за ними — рѣка Волховъ. Длиннымъ, правильнымъ фронтомъ потянулись конченныя и начатыя разнообразныя постройки.

Вездѣ копошились землекопы, каменщики, кровельщики; стучали топоры. Всюду были замѣтны непомѣрный порядокъ и чистота. Надъ каждымъ зданіемъ, надъ казармой, амбаромъ, даже ничтожнымъ хлѣвушкомъ, красовались надписи и нумера. Все лоснилось новою, въ большинствѣ желтою, либо сѣрою краскою. Березы и липы вдоль дороги были подстрижены; онѣ, какъ и строенія, стояли также на вытяжку, въ ранжиръ.

Завидѣвъ дворъ и церковь, фельдъегерь опять нагнулся къ Шервуду. Онъ ему указалъ на небольшой флигель, о-бокъ съ главнымъ домомъ.

— Графская душенька, Настасья Ѳедоровна,—проговорилъ онъ:—прими къ свѣдѣнію, если обратитъ око, съ дороги-то..: какія наливки, пироги... Баба здоровенная, всему командиръ.

«Экая дрянь, болтунъ! — подумалъ Шервудъ, нервно содрогаясь отъ нечеловѣческой усталости и всякихъ дорожныхъ дрязгъ: — проклятая деревяшка! когда разговорился... мелетъ вздоръ...»

Было раннее утро. На улицѣ, кое-гдѣ, на звонъ колокольчика и громъ телѣги, выглядывали сонныя, испуганныя лица. За рѣшеткой, по двору шагалъ обходный рундъ. У главнаго подъѣзда шла смѣна часовыхъ.

Телѣга подскочила къ крыльцу, на фронтонѣ котораго красовалась бронзовая надпись: «Безъ лести преданъ».

— Прощай, Иванъ Иванычъ, не поминай лихомъ,—сказалъ дружески-тепло фельдъегерь, ссаживая Шервуда и подавая ему чемоданчикъ его и шинель.

Онъ ввелъ привезеннаго въ домъ и сдалъ дежурному адъютанту. Въ ту же минуту изъ графскаго кабинета послышался звонокъ.

— Ждалъ, увидѣлъ въ окно, — прошепталъ, робко озираясь, фельдъегерь.

— За мной!—сказалъ Шервуду адъютантъ:—не робѣй... прибылъ въ срокъ...

«Не робѣй! да нечего и трусить! — подумалъ Шервудъ, осиливая подступавшую дрожь: — еще посмотримъ, кому кланяться и кого просить...»

Ощупавъ боковой карманъ кителя, онъ по пути глянулъ въ зеркало, обтянулъ измятыя, запачканныя грязью фалды, оправилъ волосы и смѣло шагнулъ изъ коридора въ полуотворенную, невысокую дверь, у которой на лавочкѣ, съ чулкомъ въ рукахъ, сидѣла какая-то немолодая, но еще красивая женщина.

За дверью стояла ширма, за ширмой столъ. У стола сидѣлъ сгорбленный, коротко остриженный человѣкъ.

Шервудъ стоялъ у порога, на вытяжку, руки по швамъ. Предъ нимъ былъ графъ Аракчеевъ...

Сутуловатый, средняго роста, въ солдатской, нараспашку, сѣрой курткѣ поверхъ артиллерійскаго мундира, графъ сидѣлъ надъ кучей бумагъ, не удостоивъ взглядомъ вошедшаго. На его груди висѣлъ осыпанный брильянтами портретъ государя Александра I-го. Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

Шервудъ успѣлъ разглядѣть густую щетку темныхъ волосъ Аракчеева, жирными толстыми змѣйками падавшихъ на его виски, и низкій, тупой лобъ, разглядѣлъ его длинный, красноватый, въ видѣ груши, носъ, твердый, точно каменный, подбородокъ и плотно сжатыя, крупныя, до глянца выбритыя, губы. На столѣ лежали фуражка и трость. Графъ, очевидно, только-что возвратился съ прогулки.

Медленно сложивъ прочтенную бумагу, онъ поднялъ на Шервуда небольшіе, холодные и странно-мутные глаза.

«Вылитый старый писарь-кантонистъ!»—шевельнулось въ умѣ Шервуда.

— Ты донесъ объ открытіи какого-то тайнаго общества?— послышался негромкій, гнусливый голосъ:—заговоръ противъ правительства? такъ-ли?

— Точно такъ, ваше сіятельство! — отчетливо и громко отвѣтилъ Шервудъ.

— Понимаешь ли, на какое важное дѣло ты отважился?— еще тише и болѣе въ носъ спросилъ графъ:—и знаешь ли, чему подвергаются за лживый извѣтъ?

— Понимаю и знаю...

— Вѣдь доносчику, слышишь ли, первый кнутъ... Коли не докажешь, не пощадятъ... сообразилъ?

Графъ поднялъ тонкій, костлявый палецъ.

— По долгу присяги, ваше сіятельство, все взвѣшено напередъ.

— То-то... всѣ вы по долгу... легко и врать... А можешь ли доказать свои слова? подойди ближе... что стоишь, какъ пень?

Шервудъ, вытягиваясь въ струну и подбираясь, молодецки ступилъ отъ ширмы и, какъ вкопанный, сталъ у стола, глаза на графа, руки по швамъ.

— Ну, теперь говори,—произнесъ Аракчеевъ:—есть доказательства, свидѣтели, улики?

— Есть,—отвѣтилъ Шервудъ.

Аракчеевъ молча на него посмотрѣлъ.

— Гдѣ и какъ ты узналъ?

— Въ арміи графа Витта, въ кіевской губерніи, — проговорилъ Шервудъ:—открытое мною общество распространено по всей Россіи... въ Кіевѣ, Москвѣ, въ Петербургѣ, вездѣ, смѣю доложить, есть важныя сильныя лица.

— Ой-ли?—насупился графъ.

— Такъ точно... Все открыто случайно, по божеской милости... и я могу не токмо словесно, письменно подтвердить...

— Давай доказательства,—произнесъ Аракчеевъ, похлопывая пальцами одной руки по пальцамъ другой:—увидимъ, изъ кого состоятъ эти важныя лица... ну, называй...

— Не могу, ваше сіятельство, — почтительно отвѣтилъ Шервудъ, глядя на графа.

— Какъ не можешь?—даже привскочилъ Аракчеевъ.

— Не въ правѣ... Могу все доложить токмо одному государю, и то лично.

Аракчееву показалось, что онъ ослышался.

— Какъ ты сказалъ? государю?.. повтори...

— Точно такъ.

— Да ты, да мнѣ...—началъ Аракчеевъ.

Недосказанныя слова замерли въ его горлѣ, щеки дрогнули, глаза изумленно и растерянно забѣгали по сторонамъ.

— Только его величеству, ему одному! — рѣшительно и твердо проговорилъ Шервудъ.

— Но развѣ ты, скотина, не знаешь, кто я?—заревѣлъ, вскакивая, трясясь и грозя кулаками, Аракчеевъ: — какъ, негодяй? ты не знаешь, что я въ особомъ, отмѣнномъ довѣріи монарха? что нѣтъ другого... слышишь ли? нѣтъ и быть не можетъ... и что мнѣ открыты всѣ тайны государства, весь ходъ!

— Знаю, ваше графское сіятельство,—не понижая голоса и еще болѣе вытягиваясь, отвѣтилъ Шервудъ: — всѣмъ вѣдомо... какъ не знать!

— Такъ говори же, дубинище, болванъ, говори!—кричалъ графъ, комкая въ рукѣ какую-то схваченную бумагу и стуча кулакомъ по столу.

— Убейте, не могу...

Аракчеевъ вырвался изъ-за стола, подскочилъ къ носу Шервуда и съ трясущимся, искривленнымъ ртомъ уставился на него мутными, точно мертвыми глазами.

Шервудъ молчалъ.

— Не скажешь?—прохрипѣлъ графъ, хватая его за горло:— арестантъ! арестантомъ будешь... въ кандалы, въ тюрьму... въ Сибирь...

«Шалишь, — подумалъ Шервудъ, сжимаемый твердыми пальцами взбѣшеннаго старика, — не поддамся... ты арестантъ, и видъ у тебя арестантскій! не я, вы у меня накланяетесь... вся судьба на картѣ... чего захотѣлъ!..»

Злоба кипѣла въ душѣ Шервуда; но онъ не произнесъ ни слова, смѣло и нагло глядя на изуродованное гнѣвомъ, покрывшееся багровыми пятнами, лицо графа.

Аракчеевъ его выпустилъ, отошелъ пыхтя въ глубь комнаты и, будто пристально глядя куда-то, молча припалъ лицомъ къ окну.

— Изъ вольноопредѣляющихся? — спросилъ графъ, не оборачиваясь и раздумывая. — Вотъ отчаянный, чѣмъ его осилить?

— Такъ точно,—отвѣтилъ Шервудъ.

— Что же сразу не сказалъ... а?.. хотѣлъ подвести?

— Никакъ нѣтъ... не изволили спрашивать.

Аракчеевъ обернулся, ткнулъ ногой стулъ и сѣлъ у окна.— «У Витта всѣ они таковы!» пронеслось у него въ мысляхъ.

— Садись! — произнесъ онъ, указывая противъ себя на другой стулъ.

Шервудъ медлилъ.

— Садись!—повелительно крикнулъ графъ.

Шервудъ размѣреннымъ, фронтовымъ шагомъ приблизился, вѣжливо постоялъ на мѣстѣ и сѣлъ.

— Извините, сударь! — заговорилъ графъ, съ своей стороны усиливаясь быть не только вѣжливымъ, но и ласковымъ:—не предусмотрѣлъ, ваша милость... прозѣвалъ...

Грозное выраженіе лица Аракчеева исчезло, а его голосъ напоминалъ виноватое ворчаніе загнаннаго въ конуру, напроказившаго, злого цѣпного пса.

— Родители? прошлое? — спросилъ онъ: — удостойте доложить.

Шервудъ отвѣтилъ.

— Такъ-съ... дворянинъ... захотѣлось отлички... впрочемъ, уважаю! — проговорилъ графъ, медвѣжьи-неуклюже раскланиваясь со стула: — лямка пріѣлась, понятно... ремешокъ мозоли натеръ...

Сердито сопя носомъ, онъ опять похлопалъ пальцами по пальцамъ.

Шервудъ молчалъ.

— Такъ осчастливьте, что̀ знаете, для доклада государю!—проговорилъ еще ласковѣе графъ.

— Не могу, ваше сіятельство, казните—не могу!—отвѣтилъ, вставая, Шервудъ.

— Какъ ты смѣлъ безъ приказа встать? — закричалъ Аракчеевъ:—ослушаніе нижняго чина? бунтъ?

— Нижній чинъ, сидя, не смѣетъ отвѣтствовать начальнику.

— Да садись же, скотина... садись, коль приказываютъ.

Глаза Шервуда сверкнули. Поборая приливъ злобы, кипѣвшей въ его груди, онъ, со сжатыми кулаками, опять присѣлъ на кончикъ стула.

«Звѣрь, лютый звѣрь,—пробѣгало въ его мысляхъ:—прихлопнуть, мокренько бы стало. Не то, сотретъ, проглотитъ какъ муху... Нѣтъ, чортъ, терпѣлъ, еще подожду! сдамся,

все выпытаютъ, дороются, и я останусь въ томъ же ничтожествѣ, въ тѣни».

Аракчеевъ прокашлялся.

— Такъ вы, сударь, затрудняетесь, — спросилъ онъ: — иному повѣдать государеву тайну?

— Такъ точно-съ...

— Резонъ, сознаюсь... Гдѣ подначальному, хоть и преданному рабу ревновать царёвымъ правамъ?

Аракчеевъ помолчалъ.

— Постой, однако, какой нынче у насъ день? — произнесъ онъ:—да, тринадцатое число... чортова дюжина... Экъ въ какой день изволилъ пожаловать, нехорошо. Ну, да, впрочемъ, ладно... Ступай, пообѣдай, чай, проголодался, и будь готовъ. Можешь теперь встать.

Шервудъ поднялся.

— Ужъ такъ и быть, предоставлю тебѣ случай видѣть государя,—объявилъ Аракчеевъ:—только, молодецъ, берегись: при мнѣ будетъ свиданіе... посмотрю, что ты тамъ станешь говорить.

Кивкомъ головы онъ указалъ гостю, что тотъ можетъ удалиться.

Шервудъ сдѣлалъ налѣво кругомъ и тѣмъ же пѣтушьимъ, размѣреннымъ шагомъ, вывертывая колѣни и вытягивая носки, двинулся къ ширмѣ.

За дверью его принялъ и провелъ въ особую комнату дежурный лакей. Здѣсь уже былъ накрытъ столъ.

Шервудъ принялся за миску съ борщемъ, жареную рыбу и подовые пироги. Голодъ, возбужденный трехсуточною ѣздой и объясненіемъ съ графомъ, былъ утоленъ. Потъ валилъ съ раскраснѣвшагося лица Ивана Ивановича.

Запивая явства холоднымъ мятнымъ квасомъ, онъ услышалъ стукъ подъѣхавшаго рессорнаго экипажа.

За окнами шла какая-то суета. Мелькнула казацкая пика, послышался барабанный бой, прискакалъ, въ высокомъ уланскомъ киверѣ, ординарецъ. Кто-то крикнулъ— «трогай». Карета, шестерней коренастыхъ воронопѣгихъ, съ кучеромъ въ солдатской шинели, быстро пронеслась у оконъ къ воротамъ.

Шервудъ услышалъ скрипъ двери въ сосѣднюю комнату. Онъ оглянулся. На порогѣ стояла видѣнная имъ въ коридорѣ, лѣтъ подъ сорокъ, статная женщина, въ бѣломъ чепцѣ

и въ такомъ же передникѣ. Ея большіе, черные, строгіе глаза заботливо оглядывали столъ, непринятыя кушанья и гостя.

«Графская фаворитка, Настасья Шумская! — подумалъ Шервудъ:—вотъ она грозная поселенская Бобелина».

— Покушалъ ли, батюшка, вдоволь?—спросила Настасья Ѳедоровна, переставляя посуду.

— Покорнѣйше благодарствую, — отвѣтилъ, кланяясь, Шервудъ.

Шумская присѣла у стола.

— Что это на тебя онъ такъ-то кричалъ? чѣмъ его прогнѣвилъ?—спросила она, оглядываясь.

— На то ихъ графская воля,—смиренно отвѣтилъ, утираясь, Шервудъ:—вѣникъ въ банѣ—всему господинъ.

— Такъ, такъ,—проговорила Шумская, недовѣрчиво поглядывая на гостя:—молодъ, а знаешь пословицы... на уздѣ и лошадь умна; съ горки, милый, виднѣе... А что, скажи, за дѣло ты открылъ?.. мнѣ можно, не выдамъ...

«Чортъ баба, все знаетъ — подумалъ Шервудъ, — допытала и такую тайну...»

— Худое, сударыня, дѣло,—сказалъ онъ.

— Бунтъ, заговоръ?

Шервудъ кивнулъ головой.

— Есть и большіе господа, генералы?—спросила, понижая голосъ, Шумская.

— Первые, можно сказать, люди.

— И графу грозятъ? опасно ему?

— Не могу, матушка... избавьте, далъ зарокъ...

— Да вѣдь все же открыто.

— То-то, что не все.

Шумская задвигалась на стулѣ. Ея щеки покрылись румянцемъ, носъ странно побѣлѣлъ. Въ рукахъ она мяла платокъ.

— Скажи, голубчикъ, вѣкъ не забуду,—проговорила она, всхлипывая:—опасно графу? не таи...

Шервудъ, пошевеливая носкомъ сапога, злорадно молчалъ.

— Да что же это? вѣдь живодёрамъ завидна наша доля,—растерянно шептала Настасья:—роются изверги, готовы разорвать, живыхъ въ гробъ уложить... Не сдается онъ, смѣлъ—да къ добру ли? Объясни, родной; спрячу, увезу графа въ вѣрное мѣсто, а тебя озолотимъ...

Она схватила Шервуда за руку, повторяя: «Скажи, милый, скажи...»

За дверью послышалось бряцанье сабли и звонъ шпоръ. Шумская торопливо встала.

— Подумай, батюшка, уважь!—прошептала она, уходя:— не токма кому, графу не скажу...

«Кланяются, чуютъ свой конецъ, — подумалъ онъ ей во слѣдъ:—а тѣ силы, ихъ жизнь и смерть... въ моей волѣ».

Вошелъ новый, черномазый, съ бакенбардами и еще болѣе рослый фельдъегерь.

— Графъ изволилъ отправиться въ Петербургъ,—пробасилъ онъ, неся подъ мышкой киверъ и натягивая перчатки:—лошади, пожалуйте, готовы и для васъ...

— Могу ли умыться, перемѣнить бѣлье? — спросилъ Шервудъ.

Фельдъегерь удивленно глянулъ на него черезъ губу, покрутилъ плечомъ и крикнулъ.

— Не велѣно!—сказалъ онъ:—нѣтъ приказа.

— Да чемоданчикъ тутъ, мигомъ перемѣню.

— Ни секунды...

Шервудъ двинулся. Въ концѣ коридора отворилась дверь.

— Нѣтъ ужъ, батюшка, извини, дозволь ему хоть глаза промыть! — сказала фельдъегерю Шумская, останавливая Шервуда:—грязищи на немъ съ пудъ.

— Иди, иди,—толкала она гостя въ какую-то боковушку:— не убудетъ его, подождетъ. Танька, Пашка, кто тутъ?

Вбѣжала испуганная дѣвушка Паша, безъ косы.

— Умываться, подлая, живо!—крикнула Шумская.

Паша принесла рукомойникъ и полотенце.

— Слей ему, да что хнычешь, идолъ! — шепнула, уходя, Настасья.

Шервудъ скинулъ китель, подставилъ руки.

— Что плачете?—спросилъ онъ, взглянувъ на миловидное, въ синякахъ, личико дѣвушку.

Та молчала, только ея плечи подергивало.

— Обижаютъ?—спросилъ Шервудъ.

— Нашенское житье что-съ?—произнесла дѣвушка:—лещу на сковородѣ легче; либо себѣ, либо иному кому ножъ...

Опять вошла Шумская.

— Это тебѣ на дорогу,—сказала она, тыкая Шервуду узелокъ съ съѣстнымъ: — а ужъ насчетъ того... отецъ родной, спаси, помоги...

Настасья низко кланялась.

У крыльца стояла запряженная телѣга. Чемоданъ и шинель Шервуда уже лежали на ней. Онъ и фельдъегерь сѣли. Тройка съ мѣста понеслась вскачь.

Ѣдучи опять фронтомъ раскрашенныхъ, съ надписями и нумерами, зданій, Шервудъ невольно вспомнилъ только-что видѣнную, плачущую, въ синякахъ, съ остриженной косой дѣвушку. Онъ вспомнилъ о ней и впослѣдствіи, когда разнеслась страшная вѣсть о насильственной смерти Шумской.

Къ вечеру того же дня, ругаясь, грозя и бѣшено гоня ямщиковъ, фельдъегерь довезъ Шервуда въ Петербургъ, прямо на Литейную, къ дому Аракчеева. Здѣсь привезеннаго заперли въ большой освѣщенной залѣ. Его даже не спросили, хочетъ ли онъ ѣсть, да ему было не до того; узелокъ Настасьи онъ бросилъ въ передней.

Прислушиваясь къ гулу и грохоту затихавшей столичной ѣзды и къ дребезжанію хрустальныхъ подвѣсокъ въ висящей зальной люстрѣ, Шервудъ мрачно шагалъ изъ угла въ уголъ по зеркальному паркету. Жаръ и холодъ пробѣгали по его тѣлу. Жгучія до боли, себялюбивыя, гордыя мысли о близкомъ счастьѣ, о достиженіи намѣченной цѣли роились, путались въ его воспаленной головѣ, смѣняясь раздумьемъ о возможности потерпѣть пораженіе, неуспѣхъ.

«Члены тайнаго, громкаго Союза благоденствія, столпы затѣяннаго переустройства страны,—разсуждалъ онъ:—и я, ничтожный, никому невѣдомый, жалкій унтеръ-офицеръ... Они упорно, во мракѣ трудились, созидали, надѣялись, вѣрили, клали въ дѣло всю душу... А я подошелъ... тронулъ—и все рухнетъ, пойдетъ ко дну... Вмѣсто Пестелей, Бестужевыхъ, Волконскихъ, Трубецкихъ и иныхъ, останется тотъ же батюшка Аракщей, да пожиже влей»...

Шервудъ не выдержалъ и въ полутемной, казарменно-пустынной залѣ, точно сорвавшись, злобно вполголоса захохоталъ.

Онъ примѣтилъ неуклюжій изразцовый каминъ, съ протянутой головатой трубой, въ концѣ залы.—«Тотъ же арестантъ—писарь, тотъ же Аракчей!—подумалъ онъ,—и распахнутыя дверцы... точно его куртка».—Фронтомъ разставленные жиденькіе стулья и ломберные столики напоминали длинную грузинскую улицу; клѣтка съ какою-то птицей—плачущую Пашу.

«Э, чортъ! лѣсъ рубятъ, щепки летятъ... — сказалъ онъ

себѣ, сердито отплевывая изъ пересохшаго горла липкую, досадную слюну:—хорошъ выборъ—острогъ или воля, плеть или отличія... Разумѣется, воля, счастіе... и... богатая, давно ожидающая тамъ, вдали, невѣста»...

Шервуду вспомнилось смоленское помѣстье Ушаковыхъ, его тамошнее учительство, кавалькады въ полѣ, прогулки въ паркѣ, объятія, клятвы.

Гдѣ-то послышался мѣрный, пріятно-протяжный, ласкающій бой Нортоновскихъ часовъ.

Шервудъ вспомнилъ такіе же часы въ другой, кіевской деревнѣ Давыдовыхъ, Каменкѣ. Эта Каменка теперь живо ему представилась, съ ея домомъ, роскошнымъ южнымъ садомъ, мельницей на рѣкѣ Тясминѣ, въ которой онъ работалъ, и таинственными давыдовскими субботами, въ одну изъ которыхъ онъ подслушалъ совѣщанія членовъ Союза благоденствія.

Было за полночь. Шервудъ ходилъ по залѣ.

«И черезъ часъ, можетъ-быть, ближе, черезъ минуту, — мыслилъ онъ: — я, никому неизвѣстный, съ своимъ открытіемъ, послѣдній нижній чинъ, предстану передъ лицомъ могущественнаго въ мірѣ монарха... Ужели это сбудется, не сонъ?..»

Замокъ въ двери тихо щелкнулъ. Дверь отворилась. Вошелъ щеголеватый, молодой, перетянутый рюмочкой генералъ, съ тоненькими и бѣлокурыми отъ ушей ко рту, въ видѣ ленточекъ, бакенбардами. То былъ безсмѣнный адъютантъ графа, начальникъ его штаба, Петръ Андреевичъ Клейнмихель.

Ступая мягко, съ особымъ гвардейскимъ перевальцемъ, и распространяя вокругъ себя запахъ модныхъ духовъ, Петръ Андреичъ остановился среди залы.

— Шервудъ?—спросилъ онъ въ носъ, подражая своему принципалу.

— Такъ точно, ваше превосходительство.

Клейнмихель смѣрилъ глазами диковиннаго человѣка, который такъ понадобился графу.

— За мной... во дворецъ!—объявилъ Клейнмихель.

Шервудъ безсознательно двинулся впередъ.

Въ передней кто-то ему накинулъ на плечи шинель и подалъ его солдатскую фуражку. Клейнмихель усадилъ его съ собою въ карету.

Стекла задребезжали... Карета понеслась, по набережной Невы, въ Зимній, кое-гдѣ еще освѣщенный, дворецъ.

— Но развѣ, ваше превосходительство, государь не на дачѣ?—по пути спросилъ Шервудъ.

— Изволилъ нарочно прибыть изъ Царскаго, — сокровенничалъ Клейнмихель, ожидая, что увозимый имъ проговорится о чемъ-либо, что не было ему извѣстно.

Шервудъ молчалъ.

Дверь салтыковскаго подъѣзда растворилась. Дворцовый лакей принялъ шинель съ Клейнмихеля. Шервудъ самъ снялъ и повѣсилъ свою.

Въ то время, когда они стали подниматься по лѣстницѣ, съ нея спускался пожилой, съ большой лысиной, сановникъ, въ синемъ фракѣ, съ золотыми пуговицами, въ звѣздѣ и лентѣ, и рядомъ съ нимъ красивый, съ моложавымъ, задумчиво-строгимъ лицомъ, гвардейскій полковникъ.

Клейнмихель, пропуская ихъ, вѣжливо остановился. Они, продолжая разговоръ, разсѣянно и сухо ему поклонились.

То были Сперанскій и членъ открытаго Шервудомъ тайнаго общества, князь Сергѣй Трубецкой.

(1881 г.).

III.

ВЪ ЗИМНЕМЪ ДВОРЦѢ.

Графъ Аракчеевъ предупредилъ императора Александра Павловича о тайномъ обществѣ «Союзѣ благоденствія», открытомъ Шервудомъ, на югѣ Россіи, и доставилъ послѣдняго въ Петербургъ.

Шервуду было велѣно явиться въ Зимній дворецъ. Онъ и его вожатый, генералъ Клейнмихель, прошли рядъ полуосвѣщенныхъ залъ дворца.

Они остановились въ небольшой пріемной залѣ, украшенной картинами изъ войны двѣнадцатаго года.

Заставленная цвѣтами, дверь налѣво вела во внутренніе государевы покои. Ее охранялъ, одѣтый въ расшитую золотомъ, красную куртку и въ тюрбанъ, съ страусовыми перьями, дежурный арапъ. На диванѣ дремалъ добродушный, гладковыбритый, въ чулкахъ на толстыхъ икрахъ и въ башмакахъ, нѣмецъ камеръ-лакей.

— Доложи, — вѣжливо шепнулъ по-нѣмецки послѣднему Клейнмихель.

Лакей молча исчезъ за дверью. Едва былъ слышенъ шорохъ его удаляющихся, беззвучныхъ шаговъ. Клейнмихель, сдвинувъ брови и тревожно подтянувъ поясной шарфъ, не шелохнувшись, вглядывался черезъ цвѣтущіе фукціи и геліотропы въ притворенную дверь.

Въ мысляхъ Шервуда пролетало недавнее прошлое: его учительство, невѣста, мамзель Ушакова, стремленіе выбиться изъ неизвѣстности, отличиться. Вспомнилось ему и его подслушиваніе заговорщиковъ въ Каменкѣ, ихъ купанье у мельницы, слова Пестеля и Бестужева, его доносъ въ Грузино и трехсуточная гоньба на фельдъегерскихъ.

Въ комнатѣ была полная тишина. На столѣ у зеркала лежала государева треуголка съ плюмажемъ и его смятыя замшевыя перчатки. — «Гдѣ же я, наконецъ? — подумалъ Шервудъ,—неужели это—вещи государя, его собственные, жилые покои? неужели я, послѣ столькихъ усилій, испытаній, въ Зимнемъ дворцѣ?»

Дверная ручка, въ видѣ спящаго льва, повернулась. Дверь тихо отворилась.

— Пожалуйте, — вполголоса сказалъ лакей, изъ-за цвѣточной заставки, указывая Шервуду дверь и пропуская его впередъ себя.

Клейнмихель хотѣлъ слѣдовать за нимъ; лакей отрицательно качнулъ ему головой. Клейнмихель, поднявшись на цыпочки, замеръ, въ почтительномъ смиреніи.

Шервудъ вошелъ за лакеемъ въ смежную комнату, уставленную книжными шкапами, со стеклами, задернутыми зеленою тафтой. Среди комнаты стоялъ бильярдъ. Миновавъ послѣдній, лакей остановился, помедлилъ, какъ бы къ чему-то прислушиваясь, взялся за ручку новой двери и, оглянувшись на Шервуда, сказалъ еще тише:

— Прямо ступайте... налѣво у камина.

Шервудъ вошелъ въ государевъ кабинетъ.

Восковыя свѣчи на рабочемъ столѣ и въ высокихъ канделябрахъ, у зеркала, не вполнѣ освѣщали высокую, увѣшанную портретами и оружіемъ, комнату.

Императоръ Александръ Павловичъ, въ разстегнутомъ мундирѣ, изъ-подъ котораго виднѣлся бѣлый пикейный жилетъ, стоялъ въ полоборота у темнаго, мраморнаго, погасавшаго камина, облокотясь лѣвой рукой о выступъ его карниза. Вправо, съ другой стороны камина, брезгливо сгор-

бившись и слушая государя, стояла мрачная, въ наглухо-застегнутомъ узкомъ мундирѣ, съ большими мясистыми ушами, торчавшими надъ коротко-остриженной головой, высокая и сутуловатая фигура Аракчеева. «Обезьяна въ мундирѣ!» — невольно подумалъ Шервудъ, увидя большую голову графа, съ длинной шеей, впалыми щеками и тусклыми, впалыми глазами, которыми графъ вяло всматривался въ вошедшаго.

Шервудъ не сразу разглядѣлъ государя. Его вниманіе привлекло ярко-освѣщенное канделябромъ, улыбающееся, съ вздернутымъ носикомъ и полными щечками, изображеніе надъ каминомъ миловидной молодой женщины.—«Кто она?»—подумалъ Шервудъ. Ему вспомнилось прощаніе съ невѣстой, клятвы, надежды. — «Любовь толкаетъ на злодѣянія, на убійства,—пронеслось въ его умѣ:—а здѣсь подвигъ, отличіе, безсмертная услуга Россіи, царю»...

На шорохъ шаговъ, государь повернулъ голову въ направленіи къ порогу.

— Подойди,—раздался ласковый, грудной, какъ бы женскій голосъ.

Шервудъ понялъ, что его зоветъ государь, тотъ государь, котораго такъ привѣтствовала когда-то освобожденная Европа. Онъ, вытянувшись, медленнымъ фронтовымъ шагомъ, осторожно минуя дремавшую собаку, прошелъ по ковру къ камину.

— Ты открылъ тайный заговоръ противъ правительства?—спросилъ государь, поднося къ носу флаконъ со спиртомъ и брызгая имъ себѣ на чуть прикрытую волосами, широкую, блѣдную лысину. Видъ государя былъ усталый, встревоженный.

— Точно такъ, ваше величество,—отвѣтилъ Шервудъ.

— Доказательства? ты знаешь, такъ нельзя, — сказалъ Александръ:—дѣло такой важности... и я говорилъ графу... Голословныя указанія въ подобномъ случаѣ опасны... ты касаешься такихъ вещей, арміи, долга присяги... быть не можетъ! не вѣрится...

Шервудъ задыхался и медлилъ, чувствуя, какъ кровь подступала къ его горлу, давила его, билась въ вискахъ. Изъ-за камина въ него впивались два круглые, тусклые глаза, точно двѣ свинцовыя пули. Шервудъ невольно оглянулся на Аракчеева, разглядѣвъ, какъ на длинной шеѣ

графа вздулись жилы и какъ судорожно морщился его гладковыбритый, точно отшлифованный, каменный подбородокъ.

«Не докажу—все кончено! не удастся сразу убѣдить, пропалъ! — проносилось въ мысляхъ Шервуда: — выхода нѣтъ; о! будь что̀ будетъ, пусть другимъ плаха, висѣлица... мнѣ надо счастья, жизни!»

Стоя на вытяжку передъ государемъ, въ перепачканной отъ дороги мундирной курткѣ, онъ какъ-то вдругъ передернулся, точно сломило его; дрожащими пальцами торопливо отстегнулъ пуговку на груди, съ искаженнымъ, испуганнымъ лицомъ вынулъ изъ бокового кармана сплюснутый листъ бумаги и протянулъ его государю.

— Что̀ это?—нерѣшительно спросилъ Александръ, оглядываясь на Аракчеева.

— Списокъ заговорщиковъ... всѣ имена, вотъ... по губерніямъ и полкамъ,—прошептали бѣлыя губы Шервуда.

— Откуда ты получилъ?

— Изъ рукъ соучастника.

— Кто-нибудь раскаялся, выдалъ?

— Добылъ хитростью,—отвѣтилъ Шервудъ:—одинъ изъ заговорщиковъ, Вадковскій, довѣрилъ бумагу... я ее тайно списалъ.

Александръ развернулъ поданную бумагу, прочелъ первыя ея строки и невольно отвелъ отъ нихъ глаза; въ спискѣ мелькали имена крупныхъ чиновъ: генералъ-интендантъ, начальникъ штаба арміи, командиры эскадроновъ, дивизіоновъ, полковъ, оберъ-прокуроръ сената, Муравьевы, Пестель, князь Волконскій, князь Трубецкой.

— Богъ мой! какія открытія! — произнесъ съ содроганіемъ Александръ, обращая къ Аракчееву покрывшееся багровыми пятнами, встревоженное лицо:—Алексѣй Андреичъ, читай! ты и не ожидаешь, что̀ здѣсь написано, кто названъ... думали ли мы дожить до такого позора, измѣны—и гдѣ же? среди первыхъ, ближнихъ защитниковъ.

Аракчеевъ, поднеся бумагу ближе къ камину, сталъ ее медленно читать. Жилы на его шеѣ вздулись еще болѣе. Тѣнь отъ его головы колыхалась на стѣнѣ,

— Какъ ты узналъ эту страшную тайну?—обратился Александръ къ Шервуду: — сообщи подробнѣе... говори смѣло, не таи ничего...

Шервудъ, оправясь и стараясь не проронить ни одной

важной подробности, началъ разсказъ. Онъ изложилъ до мелочи, какъ былъ посланъ изъ полка въ кіевское имѣніе Давыдовыхъ, Каменку, какъ тамъ исправлялъ водяную мельницу, случайно узналъ о субботнихъ съѣздахъ тайнаго общества, по ночамъ, подслушалъ ихъ совѣщанія; какъ, выслѣдивъ ихъ преступную, раскинутую по всей южной арміи, сѣть, рѣшилъ самъ проникнуть въ ихъ составъ, и какъ его замыселъ удался...

— Съ рискомъ жизни все это исполнено, — прибавилъ, переводя дыханіе, Шервудъ:—и все лишь съ одною мыслію— угодить вамъ, государь, въ надеждѣ на милостивое монаршее вниманіе.

Александръ давно уже какъ бы пересталъ слушать разсказчика. Въ его затуманенныхъ глазахъ виднѣлись слезы. Онъ смотрѣлъ въ погасшій каминъ; его мысли были далеко.

— Монаршая милость—лучшая награда вѣрныхъ слугъ,— произнесъ Шервудъ:—до послѣдняго издыханія, до послѣдней капли крови...

Государь очнулся, велѣлъ Шервуду выйти, подождать въ ближайшей комнатѣ.

— И за что? за что? — едва Шервудъ сталъ за дверью, проговорилъ Александръ Аракчееву, какъ бы въ отвѣтъ на волновавшіе его вопросы: — я ли не стремился къ благу отечества? я ли не отдавалъ всего себя?.. Забыто все, что сдѣлано послѣ суровыхъ годовъ отца... сколько вольностей, льготъ! И развѣ Россія теперь та, чѣмъ была, когда оплакивали бабку Екатерину? Ты, Алексѣй Андреичъ, свидѣтель — новыхъ законовъ, процвѣтанія промысловъ, литературы, наукъ... а двѣнадцатый, тяжкій годъ...

— Имъ, кровопійцамъ, всего мало,—прохрипѣлъ, прокашливаясь, Аракчеевъ:—тутъ, государь-батюшка, одно врачеванье—кнутъ и веревка, веревка и кнутъ.

Говоря это, Аракчеевъ думалъ: — «Вотъ онъ — ученикъ Лагарпа, изъ русскаго царя ставшій повелителемъ освобожденной имъ Европы... Къ чему привели эти идеальныя стремленія, эта филантропія?»

Государь прошелся по комнатѣ, опять остановился у камина и сказалъ графу: — зови его. — Аракчеевъ, отворивъ дверь, кликнулъ Шервуда.

— Что имъ нужно? скажи ты мнѣ... ты спрашивалъ ихъ?—обратился Александръ къ Шервуду: — говорили они тебѣ, въ чемъ ихъ главныя домогательства?

— Воля... освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ.

— Но воля, Богъ мой, безъ образованія... развѣ это воля? — возразилъ, опять покраснѣвъ, государь: — нужно прежде подготовить, смягчить нравы, просвѣтить умы. Иначе сегодняшніе рабы завтра бросятъ работу, перестанутъ платить подати, слушаться властей. Примѣръ Франціи, Германіи... что же? они хотятъ крестьянскихъ бунтовъ, внутреннихъ войнъ?

Государь смолкъ и задумался. Въ его смущенныхъ, опечаленныхъ мысляхъ проносилось недавнее, свѣтлое прошлое — картины общей къ нему любви и преданности, торжество надъ врагами Россіи, міровая слава.

Онъ обратилъ глаза къ портретамъ отца и бабки. Одинъ на него смотрѣлъ изъ глубины комнаты холодно, точно съ укоромъ и недовѣріемъ; взглядъ второй былъ мягокъ и свѣтелъ. Александръ вертѣлъ въ рукахъ поданный ему графомъ списокъ заговорщикамъ и видимо колебался.

Вспомнился ему политическій погромъ Франціи, разсказы о немъ свидѣтелей и въ томъ числѣ его учителя Лагарпа.— «Тамъ это все кончилось военной диктатурой, — мыслилъ онъ,—Маратъ, Сенъ-Жюстъ и Робеспьеръ смѣнились Бонапартомъ. Но и самъ Наполеонъ чѣмъ кончилъ... Что же имъ, безумцамъ, надо?..»

— Благодарю за преданность мнѣ и престолу, — сказалъ Александръ Шервуду: — по чести, ты сдѣлалъ важныя открытія... И если сказанное тобою правда, ты будешь награжденъ.

Шервудъ упалъ на колѣни, цѣлуя руки государя.

— Твоей услуги не забуду, — продолжалъ Александръ, ласково поднимая его:—но я не ожидалъ, мнѣ и теперь не вѣрится, пойми—да... не хочется вѣрить...

Шервудъ взглянулъ на Аракчеева. Тотъ молча стоялъ съ опущеннымъ, сердитымъ, какъ бы почернѣлымъ лицомъ.

— Ваше величество, — проговорилъ Шервудъ: — я стремился, ночей не спалъ... имѣю неоцѣненное счастіе лично... Клянусь, все мною сказанное вѣрно... Отдайте приказъ, повелите—все откроется, повелите... вся ихъ адская измѣна... На смотру, подъ Бѣлою Церковью, заговорщики условились, поклялись нанести роковой ударъ... Они смѣлы, все ими задуманное разсчитано, распредѣлено...

Шервудъ произнесъ послѣднія слова громко, безъ за-

пинки, горячо. Аракчеевъ, слушая непривычно-возвышенный и, какъ онъ рѣшилъ въ умѣ, дерзкій голосъ смѣльчака унтеръ-офицера, судорожно сжималъ пальцы рукъ. Государь снова не слышалъ произнесеннаго Шервудомъ. Его мысли были не здѣсь, не въ этой его рабочей комнатѣ, гдѣ столько пережилось встрѣчъ, докладовъ и бесѣдъ. Передъ Александромъ проносились его дѣтскіе и юношескіе годы, воспитаніе у бабки, великой Екатерины, ея ласки, заботы — «бабушкина азбука» и «бабушкины» то трудовые у письменнаго стола, то пышно-торжественные дни, пріемы, выходы, пудренные, въ бархатѣ и позументахъ министры, острословы, докладчики, цисатели, послы. Вспомнилась Александру его женитьба, путешествіе, знакомство съ Европой, смерть бабки, потомъ отца, первые годы его царствованія и первые молодые, пылкіе и свободолюбивые его сподвижники—Новосильцевъ, Чарторыжскій, Сперанскій и Кочубей, учрежденіе министерствъ, комиссіи составленія законовъ, появленіе басень Крылова и первыхъ томовъ исторіи Карамзина. Память подсказала ему въ этотъ мигъ и стихи Державина на его рожденіе:

«Геніи къ нему слетѣли—
Тотъ принесъ ему тѣлесну,
Тотъ душевну красоту»...

Вспомнилась императору Александру и смутная година нашествія Наполеона, паденіе Сперанскаго, парижскій миръ, сеймъ въ Варшавѣ, конгрессы въ Трошау, Лайбахѣ, и Веронѣ, бунтъ въ семеновскомъ полку и закрытіе масонскихъ ложъ.

— Еще слово, ваше величество,—раздался передъ нимъ отчаянный, какъ бы о чемъ-то молившій, голосъ.

Александръ очнулся.

— Говори, — произнесъ онъ, опять разглядѣвъ передъ собою Шервуда.

— У южныхъ заговорщиковъ немало пособниковъ и въ Петербургѣ,—сказалъ Шервудъ:—здѣсь многое можно узнать, открыть.. нить въ этомъ спискѣ... повелите, государь! все откроется, все въ вашей волѣ...

— Но не вѣрится мнѣ, слушай ты, чтобъ въ Россіи нашлись измѣнники!—сказалъ, выпрямляясь, Александръ, и въ его голосѣ дрожали слезы острой скорби и обиды: — чѣмъ я, по-правдѣ, и кому вредилъ? Кого обидѣлъ, кѣмъ

пренебрегъ? Тяжелый страшный, невѣроятный сонъ... Графъ! ты видѣлъ, ты видишь мою душу...

Аракчеевъ, неуклюже-подобострастно склонивъ верхнюю часть своего туловища, что-то пробормоталъ, чего не разслышалъ Шервудъ.

— Ну, чему быть, того не миновать! — продолжалъ государь, тряхнувъ головой:—отпусти его, Алексѣй Андреичъ, къ мѣсту; дай ему на дорогу и всѣ средства къ дальнѣйшему раскрытію злодѣевъ, если только они дѣйствительно существуютъ не въ одномъ воображеніи этого преданнаго молодого человѣка... А ты, Шервудъ, дѣйствуй, какъ тебѣ укажетъ твоя совѣсть, и относись во всемъ прямо... къ графу, — заключилъ, помедливъ и какъ бы заикнувшись, государь.

Легкій поклонъ головы Александра показалъ Шервуду, что его аудіенція кончилась. Но слова, тысячи словъ еще рвались изъ его груди. Горло сжималось; губы и руки тряслись. Ему хотѣлось такъ много еще высказать, посовѣтовать государю, убѣдить его. Дѣлать нечего, надо было удалиться.

Съ стѣсненнымъ сердцемъ, Шервудъ по правиламъ сдѣлалъ налѣво кругомъ, двинулся отъ камина къ выходу, взялся за ручку двери и на мгновеніе оглянулся. Государь безпомощно, прикрывъ рукой лицо, въ изнеможеніи упалъ въ кресло и, очевидно, плакалъ: его голова тряслась. Аракчеевъ, склонясь, что-то говорилъ ему въ утѣшеніе. — «Ахъ, забылъ, надо еще сказать важное, неотложное! — подумалъ вдругъ Шервудъ, остановясь въ полуосвѣщенной бильярдной,—но, что сказать, не вспомню!» Онъ простоялъ съ минуту.

«Кончено безповоротно! ужели все потеряно или побѣда?» — мыслилъ Шервудъ, подходя къ цвѣточной перегородкѣ, у которой его поджидалъ дежурный лакей. Раздраженный долгою аудіенціей низшему чину, Клейнмихель встрѣтилъ его еще суше и надменнѣе и молча опять отвезъ его въ домъ Аракчеева, на Литейную. «Побѣда! обращено вниманіе!» — мелькнуло въ умѣ Шервуда, когда онъ, не раздѣваясь, упалъ на жесткую, въ родѣ больничной койки, желѣзную, пахнувшую новою краской, постель на антресоляхъ Аракчеева.

Рано утромъ Шервуда разбудили и снова позвали къ графу. Онъ снова увидѣлъ обширный, суровый и пустынный, рабочій кабинетъ грознаго временщика. У оконъ и кое-гдѣ вдоль стѣнъ стояла плетеная, неуклюжая мебель; большой письменный столъ, среди кабинета, былъ заваленъ грудами бумагъ. У стола сидѣлъ тотъ же холодно-каменный старикъ, съ каменнымъ лицомъ на длинной шеѣ и вялыми, арестантскими глазами.

— Насвистался соловей! доволенъ ли? — проговорилъ въ носъ, стараясь, впрочемъ, говорить мягко и даже ласково, Аракчеевъ: — ну, вотъ, батенька, не хотѣлъ мнѣ, малому, открывать, захотѣлось самому царю... анъ и удалось, что-жъ! да-ба! вотъ опять-таки все было при мнѣ, и ко мнѣ же пришло.

Шервудъ ждалъ, что̀ будетъ далѣе. Аракчеевъ зѣвнулъ и потянулся, потирая руки. Въ комнатѣ было прохладно. Шервудъ съ просонковъ и голода, также чувствовалъ позывъ къ дремотѣ и дрожь.

— Ну-съ, ты все открылъ, это похвально... вотъ и твой документъ! — продолжалъ графъ, похлопавъ костлявыми пальцами по грудѣ бумагъ, сверху которыхъ лежалъ доставленный Шервудомъ списокъ заговорщиковъ: — это уже называется не устный, а письменный доносъ. Теперь еще болѣе помни: не докажешь — кнутъ, а не то висѣлица. Понимаешь?

Шервуда начиналъ бѣсить этотъ грубый и насмѣшливый голосъ. «Скотина! солдафонъ!»—шевелилось на его поблѣднѣвшихъ, злобно сжатыхъ губахъ. Онъ чуть повелъ плечами и молча переступилъ съ ноги на ногу.

— Начнемъ по пунктамъ,—продолжалъ Аракчеевъ, расправляя передъ собою согнутый пополамъ листъ чистой бумаги: — у тебя тутъ стоитъ, во-первыхъ, командиръ вятскаго полка Пѣстель и далѣе генералъ-маіоръ князь Волконскій. Говори, что̀ вообще и въ приватномъ отношеніи ты дознался о нихъ?

Шервудъ началъ разсказывать. Аракчеевъ взялъ перо и принялся записывать показанія, задавая новые вопросы. При одномъ изъ именъ графъ искоса взглянулъ на допрашиваемаго.

— Анненковъ, говоришь ты? — сказалъ онъ: — какой Анненковъ? какъ звать?

— Иванъ Александровичъ, поручикъ.
— Гдѣ служитъ?
— Въ кавалергардахъ...
— Кто тебѣ о немъ сказалъ?
— Прапорщикъ Вадковскій.
— И ты это въ точности помнишь? получше сообрази.
— Помню вѣрно. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, тотъ самый Вадковскій, передавая мнѣ въ Ахтыркѣ списокъ, сказалъ: премилая бабёнка у Анненкова въ Петербургѣ, то-есть бабёнка, или дѣвица, въ точности не припомню... — Жюстинъ или Полинъ, выскочило изъ памяти, но вѣрно, что француженка... и у нея въ Петербургѣ модный магазинъ.
— Да, да,—произнесъ задумчиво Аракчеевъ:—тутъ что-то есть... есть...

Шервудъ силился еще нѣчто вспомнить. Въ его лицѣ выражалась тревога. Со лба катился потъ.

— Не вспомнишь? ну-ка, сообрази, нѣтъ ли тутъ еще какихъ зацѣпъ? — ободрялъ его Аракчеевъ, поскребывая концомъ пера по небритой еще щекѣ.
— Вспомнилъ!—произнесъ, отирая лицо, Шервудъ.
— Говори, сударь, слушаю.
— Ближайшій соучастникъ Пестеля—Бестужевъ-Рюминъ, я его видѣлъ въ Каменкѣ; горячая, отчаянная голова... онъ на все вызывался, на образъ клялся...
— Это ты о немъ уже говорилъ... далѣе!

«Вотъ анаѳемская память, какъ все примѣтилъ, затвердилъ!»—злобно подумалъ Шервудъ.

— Такъ что же этотъ Бестужевъ?
— У него въ Ракитномъ, у помѣщиковъ Витвицкихъ, невѣста.
— Невѣста?—прогнусилъ Аракчеевъ.
— Да,—продолжалъ, оживляясь, Шервудъ:—когда прапорщикъ Вадковскій въ Ахтыркѣ, вы знаете, принялъ меня въ члены тайнаго союза, онъ сообщилъ мнѣ и объ этомъ сватовствѣ. Позвольте, ваше сіятельство, я вспомнилъ и имя невѣсты Бестужева.

Аракчеевъ, не глядя на говорившаго, что-то писалъ.

— Ее звать Зинаида,—сказалъ Шервудъ.
— Ну?
— Зинаида Львовна Витвицкая...
— Такъ что же?

— Въ концѣ этого августа у Витвицкихъ въ деревнѣ былъ назначенъ балъ, съѣздъ всей губерніи, охота на волковъ и дикихъ козъ... Ѳедоръ Ѳедоровичъ еще жалѣлъ, что ему, какъ высланному на житье въ Ахтырку, трудно попасть на всѣ эти веселости... А у невѣсты Бестужева въ деревнѣ гувернантка, тоже француженка, и она дружна и въ сокровенной, частной перепискѣ съ этой самой, здѣшней пріятельницей гвардейца Анненкова.

Аракчеевъ, презрительно зѣвнувъ, продолжалъ писать.

— Ну, вотъ, — процѣдилъ онъ: — не только рапортъ по формѣ, а и цѣлый, съ амурными придатками, романъ.

Онъ, тщательно выводя слова, что-то набросалъ на обрывкѣ бумаги, позвонилъ и отдалъ написанное ординарцу.

— Петру Андреичу!—сказалъ онъ, облокачиваясь о высокую и жесткую спинку кресла: — вотъ для тебя и зацѣпка,— обратился онъ къ Шервуду:— аріаднина въ этомъ лабиринтѣ нить.

Глаза Аракчеева сузились, точно растаяли отъ удовольствія. Шервудъ примѣтилъ, что на тонкой шеѣ графа еще болѣе вздулись жилы, какъ бы отъ смѣха, подпиравшаго его горло.

Шервудъ вздрогнулъ.

Онъ вдругъ сообразилъ, какъ далеко зашелъ съ своими признаніями: ни съ того, ни съ сего припуталъ къ доносу семью Витвицкихъ, указалъ на сношенія и переписку двухъ очевидно неповинныхъ ни въ чемъ француженокъ, наконецъ, назвалъ даже имя невѣсты Бестужева. А у него, доносчика, у самого была невѣста, и онъ такъ къ ней рвался, раздѣленный съ нею цѣпью роковыхъ, непреоборимыхъ событій.—«Другіе могутъ сказать, какая подлость, гадость! — подумалъ онъ, соображая, какъ другой на его мѣстѣ при этомъ плевалъ бы на себя: — экъ зарвался — и кой чортъ просилъ? а впрочемъ, нехудо...» Потъ, какъ вчера, прошибъ его и выступилъ на его лицѣ. Истомленный досаднымъ допросомъ, онъ съ усиліемъ переводилъ дыханіе и едва стоялъ на ногахъ.

Ординарецъ подалъ графу записку Клейнмихеля и вышелъ.

— Такъ и есть, — сказалъ Аракчеевъ, пробѣжавъ записку: — она самая... Полина Гёбель! бѣлошвейный магазинъ, на углу Демидова переулка и Мойки...

— Кто такой? — спросилъ, теряя нить соображеній, Шервудъ.

— Пріятельница поручика Анненкова. Вотъ тебѣ и предлогъ... Уѣдешь, во всякомъ случаѣ, не сразу: будутъ нужны еще необходимыя показанія... вотъ ты могъ бы воспользоваться.

— Чѣмъ?

— А ты думаешь, донесъ и кончено?—сказалъ Аракчеевъ:—нѣтъ, братъ: нужны справки, подтвержденія. Вотъ ты выложилъ цѣлый ворохъ именъ, все немалые военные чины; почитай, вся южная армія. А есть въ подозрѣніи и штатскіе. Подобаетъ добраться и до нихъ; а все ли ты вѣрно сказалъ?

— Клянусь, по долгу присяги.

— То-то, любезный, всѣ вы и тѣ вонъ тоже присягнули, а играете на присягѣ, какъ на балалайкѣ. Поживи здѣсь, отдохни, получишь прогоны, подъёмныя. Подумай, можетъ, подвернется случай узнать и объ этомъ Анненковѣ... Онъ давно въ подозрѣніи за мысли и невоздержанность въ словахъ. Дружонъ съ здѣшнимъ стихоплетомъ Рылѣевымъ. Слыхалъ про послѣдняго? Не слыхалъ? Рылѣевъ Кондратій... Вольныя вирши пишетъ и на меня дерзостный пасквиль сочинилъ, да я на псиный лай плюю... Такъ посуди объ Анненковѣ: онъ въ домахъ сенатора Мордвинова и у бывшаго министра Сперанскаго бываетъ. Все это разбери на досугѣ... Не откроешь ли чего по части и этой негоціи?

Получивъ обѣщанное на подъемъ, Шервудъ переѣхалъ на постоялый дворъ, заказалъ себѣ новую форменную пару, купилъ бѣлья, пріодѣлся и, въ ожиданіи командировки обратно на югъ и прогоновъ, сталъ прогуливаться по столицѣ. Между прочимъ, онъ обошелъ Зимній дворецъ, разглядывая его съ любопытствомъ и соображая съ улицы, гдѣ та комната, въ которой онъ удостоился говорить съ государемъ. У салтыковскаго подъѣзда онъ узналъ вахтера, снимавшаго въ дворцовыхъ сѣняхъ съ Клейнмихеля шинель. Вахтеръ выбивалъ въ это время на панели коврикъ. Онъ съ нимъ поздоровался.

— Узналъ, землячекъ?—спросилъ Шервудъ.

Вахтеръ на него покосился.

— Какъ не узнать, съ генераломъ въ каретѣ... еще кучера едва добудились...

— А кого, землякъ, тогда встрѣтили мы на лѣстницѣ, помнишь? полковникъ и штатскій со звѣздой сходили, когда мы поднимались вверхъ?

Вахтеръ молча выколачивалъ коверъ.

— Такъ, вспомнилъ!—проговорилъ онъ, подумавъ:—эка память, точно рѣшето... полковникъ былъ князь Трубецкой, а штатскій — постой, должно, сенаторъ Сперанскій... онъ и есть... въ сѣняхъ тутъ долго еще лопотали не по нашему... Сенаторы, сенатъ... а что дѣется кругомъ?

— Что же дѣется?

— Нешто не знаешь? Кто смѣлъ—грабитъ, не смѣлъ—крадетъ. Ворамъ только и житье...

Зайдя какъ-то въ трактиръ, на Литейной, закусить и послушать органъ, Шервудъ изрядно выпилъ, сыгралъ съ кѣмъ-то на бильярдѣ и опять хотѣлъ выпить, но одумался. Его недавній, съ отчаянья, почти годичный, запой въ Новомиргородѣ, послѣ бѣгства изъ имѣнія Ушаковыхъ, вспомнился ему во всемъ ужасающемъ безобразіи. Онъ бросился изъ трактира, прошелъ нѣсколько смежныхъ улицъ и очутился у Аничкова моста.

Былъ вечеръ.

Свѣжій осенній воздухъ съ Фонтанки, запруженной барками и лодками, освѣжилъ Шервуда. Онъ постоялъ на мосту, облокотясь о его каменную ограду и безсознательно поглядывая на веселыя и пестрыя кучи рабочихъ, выгружавшихъ дрова, доски и кирпичъ, оправилъ на себѣ мундиръ, отеръ лицо и направился обратно къ Лѣтнему саду.

Въ тотъ день онъ отъ кого-то допытался въ трактирѣ о стихахъ Рылѣева на Аракчеева и изумился смѣлой сатирѣ поэта, возбуждавшей въ обществѣ неслыханное сочувствіе и ужасъ за судьбу обличителя.

Вдругъ Шервудъ замѣтилъ, что встрѣчные прохожіе на набережной Фонтанки снимали почему-то шляпы, а рабочіе, глядя съ барокъ на мостъ, низко кому-то кланялись. Шервудъ обернулся по направленію этихъ поклоновъ.

По окраинѣ Аничкова моста, вдоль каменной ограды, у которой онъ стоялъ нѣсколько мгновеній тому назадъ, медленной рысью ѣхала высокая, открытая, запряженная четвернёй сѣрыхъ орловскихъ рысаковъ, коляска. Въ коляскѣ сидѣлъ рослый военный, въ шинели и треуголкѣ, съ бѣлымъ плюмажемъ: ѣхавшій добродушно глядѣлъ на рѣку, залитую заходящимъ солнцемъ, на барки и лодки, ласково кланяясь на привѣтствіе судорабочихъ, прохожихъ и проѣзжихъ.

Шервудъ узналъ императора Александра Павловича, снялъ фуражку, вытянулся и замеръ, усиливаясь выправленіемъ плечъ и глазами обратить на себя вниманіе государя. Но было далеко, болѣе ста шаговъ; между мостомъ и частью тротуара, гдѣ остановился Шервудъ, появились новые прохожіе, заслонившіе его. — «Нѣтъ, онъ меня и отсюда примѣтитъ, узнаетъ и подзоветъ, — пробѣгало въ мысляхъ у Шервуда:—не можетъ быть... онъ спроситъ и я ему скажу, что за него, за любимаго монарха, готовъ жизнь положить, умереть... О, пусть прикажетъ, брошусь на эту толпу съ моста, брошусь подъ его колеса. Онъ повелитъ не тянуть отсылки; дороги, дни, часы...»

Коляска, плавно колыхаясь на высокихъ рессорахъ, съѣхала съ моста; кони прибавили рыси и понеслись по Невскому. Шервудъ, злобно толкая и чуть не сбивая съ ногъ удивленныхъ прохожихъ, бросился слѣдомъ за коляской, выскочилъ на мостъ, пробѣжалъ нѣсколько десятковъ шаговъ по улицѣ и, запыхавшись, путая несвязныя слова, сталъ нанимать извозчика.

— Куда, баринъ? — отозвался ванька на одиночной гитарѣ-дрожкахъ.

Шервудъ указывалъ путь, гдѣ чуть виднѣлся мелькавшій между другими проѣзжими бѣлый плюмажъ императора.

— Четвертачокъ, ваше сіятельство.

Шервудъ остановился.

«Тьфу ты, чортъ, глупости, безуміе!—сказалъ онъ себѣ, опомнившись, — развѣ можно? и кто рѣшился бы обгонять государя? Еще замѣтятъ, арестуютъ, потащатъ къ тому же Аракчееву...»—Онъ оглянулся: два другіе извозчика, подойдя съ развальцемъ, косились на него, перемигиваясь. Отъ ближней будки, важно опершись на рыцарскую алебарду и позѣвывая, щурился на него сонный, въ веснушкахъ и рыжій, чухонецъ-городовой.

Шервудъ бросился на другую сторону улицы, вмѣшался въ толпу, прошелъ мимо театра на набережную, добрался до Гороховой и снова безъ цѣли пустился по смежнымъ улицамъ и переулкамъ.

«Такой былъ счастливый, рѣдкій случай, — разсуждалъ онъ съ бѣшенствомъ:—и проналъ, пропалъ безъ слѣда. Вотъ проклятая судьба! И изъ-за чего медлитъ этотъ Аракчеевъ? какіе еще нужны ему справки, допросы? и хоть бы звалъ;

нѣтъ, молчитъ. Или государь охладѣлъ къ моему важному открытію, раздумалъ, все по добротѣ забылъ? Вотъ она, невѣроятная, сонная страна, — все сноситъ... Въ другомъ мѣстѣ почтили бы, озолотили-бъ!»

Миновавъ Сѣнную и Мѣщанскую, Шервудъ направился къ Синему мосту, отсюда повернулъ опять вправо, по набережной Мойки. Темнѣло, зажигались фонари.

Сквозь рѣшетку небольшого двора онъ увидѣлъ уютный садикъ, красную черепичную кровлю одноярусного дома и подъ крыльцомъ вывѣску: «Магазинъ модъ мадамъ Полинъ». Онъ остановился у калитки и долго смотрѣлъ во дворъ и на растворенныя окна дома, изъ которыхъ глядѣли горшки съ цвѣтами и неслось щебетаніе канареекъ. Шервудъ разсуждалъ, войти или не войти? Но подъ какимъ предлогомъ и съ какою цѣлью? Причину выдумать не трудно; мало ли что можно сказать? «Явился, молъ, для передачи поклона отъ соотечественницы». Ему вспомнилась даже фамилія гувернантки Витвицкихъ, мамзель Шонъ. Но онъ не видѣлъ этой семьи, ничего о нихъ не знаетъ.—«Пустяки... Все такъ ловко можно сплести, представиться подъ чужимъ именемъ, наговорить любезностей и, между тѣмъ, много разнюхать и узнать. Нѣтъ,—сказалъ себѣ, раздумавъ, Шервудъ:—много опасностей, да и дѣло такое; у другихъ и впрямь не повернулся бы языкъ... предательство противъ чуждыхъ заговору, постороннихъ женщинъ. Прочь, прочь отъ проклятаго новаго соблазна!—прибавилъ онъ, уходя:—вонъ изъ этого мертваго Петербурга, отъ этихъ каменныхъ, могильныхъ громадъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше».

Шервудъ ускорилъ шаги, дошелъ до Литейной, заперся у себя въ комнатѣ на постояломъ и старался заснуть. Сонъ бѣжалъ отъ него. Его мысли дразнилъ намекъ Аракчеева—еще что-либо провѣдать и разузнать въ Петербургѣ... «Вѣдь можно бы, отчего не попробовать?»

«И въ самомъ дѣлѣ,—разсуждалъ онъ,—не оттого ли замедлялось и мое отправленіе обратно на югъ? Почему, разбирая все поистинѣ, меня такъ долго не звали ни къ графу, ни въ штабъ? почему не снабжали прогонами и послѣдними инструкціями по открытому мною дѣлу? Неужели и по-правдѣ могли меня окончательно забыть, мною пренебрегли?»—Данныя ему подъемныя деньги были давно на исходѣ. Онъ немало потратился на обмундировку, еще болѣе разсорилъ

безъ толку, проигралъ на бильярдѣ. Надо, однако, терпѣть, надо ждать.

И опять начались шатанія по Петербургу.

Шелъ однажды Шервудъ поздно вечеромъ, послѣ долгаго сидѣнія въ какомъ-то трактирѣ, гдѣ спустилъ, за вкуснымъ обѣдомъ, съ приправой изрядной вышивки, немало изъ послѣднихъ денегъ. Онъ шелъ нехотя, тяжело. Въ головѣ былъ досадный туманъ. Пыльный воздухъ душныхъ улицъ тѣснилъ его дыханіе.

— Иванъ Иванычъ! отецъ родной! васъ ли имѣю удовольствіе видѣть?—послышался сзади его знакомый голосъ.

Шервудъ оглянулся. У его ногъ былъ спускъ въ винный подвалъ. На нижней ступенькѣ спуска стоялъ, съ шапкой въ рукѣ, сѣдой, сгорбленный старикашка, въ синемъ фракѣ, съ потертыми бронзовыми пуговицами. Въ другой рукѣ старика была связка копченой рыбы и еще какихъ-то припасовъ.

Шервуду вспомнилось что-то отдаленное, щемившее его сердце, и онъ вздрогнулъ отъ радости: передъ нимъ былъ, столько благоволившій къ нему, дворецкій Ушаковыхъ, Антипычъ.

— Какими судьбами?—спросилъ Шервудъ:—вотъ неожиданно... здѣсь?..

Маленькое, гладко выбритое лицо Антипыча, въ длинныхъ пушистыхъ, бѣлыхъ бакенахъ, блаженно улыбалось.

— Вотъ, сударь, Иванъ Ивапычъ,—отвѣтилъ дворецкій, указывая шляпой на навьюченную бричку, стоявшую невдали у перекрестка двухъ улицъ: — на своихъ, батюшка, доморослыхъ прибылъ... баринъ съ порученіями и за покупками изволилъ прислать изъ деревни. Ну, справившись, запасся въ дорогу харчишками... выпилъ бутылочку пивца, да и еще захотѣлось вотъ на дорогу прихватить; анъ, гляжу, вы и шествуете... батюшка, отецъ родной!

— Очень радъ, Антипычъ, позволь мнѣ тебя на радости угостить!—сказалъ, спускаясь по стоптаннымъ ступенькамъ подвала, Шервудъ: — вотъ сюда, сюда... иди, поговоримъ, угощу!.. радъ...

Онъ ввелъ Антипыча въ особую заднюю горенку погреба, ощупалъ въ карманѣ нѣсколько уцѣлѣвшей мелочи, усадилъ ликующаго старика у столика и потребовалъ польскаго пива. Пиво со стойки подали теплое, пѣна брызнула на столъ и на платье Шервуда.

— Не вѣрится!—сказалъ онъ, вглядываясь въ знакомаго Ушаковскаго пріятеля.

Столько дорогихъ, сладкихъ воспоминаній зароилось въ его мысляхъ.

— И я, сударь, Иванъ Иванычъ,—произнесъ Антипычъ, осушивая стаканъ и утираясь клѣтчатымъ, бережно-сложеннымъ платкомъ:—смотрю—анъ и правда, вы же; какъ здѣсь? Чай, въ гвардіи, скоро въ офицеры?

— Нѣтъ, еще не въ гвардіи, но есть, понимаешь, вѣрная надежда перейти... А ты, старина, ну-ка разскажи о вашихъ... что барышня? охъ, наболѣло сердце... ты вѣдь знаешь.

— Какъ, сударь, не знать! Изошли горемъ и мы всѣ по васъ съ нею... было барышнѣ отъ тятеньки такого, что Боже помилуй и упаси... натерпѣлась, сердечная!

Шервудъ молча и мрачно слушалъ. Онъ кое-что уже зналъ о роковой развязкѣ съ соблазненной имъ дѣвушкой, о гоненіяхъ, перенесенныхъ ею, о ея мукахъ и отчаяніи. Слова Антипыча били по немъ, какъ раскаленное желѣзо.

— Проклятая судьба,—вскрикнулъ онъ, стукнувъ рукой по столу:—чѣмъ поправить дѣло, какъ его повернуть? скажи, гдѣ она теперь?

— Дома-съ... гдѣ же барышнѣ и быть? Въ ту пору увозили ихъ къ тетушкѣ въ Москву, теперь на зиму собираются сюда, въ Питеръ. Я и квартиру барину нанялъ, въ Коломнѣ, если знаете, у Сухарнаго моста. Дяденька ихъ тутъ по близости на службѣ, въ морякахъ генераломъ. Думаютъ барышню вывозить, замужъ выдать; есть и женихъ,—прибавилъ Антипычъ хмелѣя.

Лицо Шервуда покрылось багровыми пятнами.

— Пей, голубчикъ, пей,—шепталъ онъ, слушая и подливая Антипычу.

Тотъ не отказывался и безъ умолку говорилъ. За бутылкой подали еще пару, и еще. Когда знакомцы вышли изъ погреба, было уже совсѣмъ темно. Нагруженная бричка Антипыча чуть виднѣлась въ глубинѣ улицы, со спавшимъ на козлахъ конюхомъ.

— Кланяйся барышнѣ, скажи ей,—проговорилъ Шервудъ и смолкъ,—скажи: нерадостно, плохо пока и мнѣ...

Злоба и бѣшенство душили его.

— Съ нашимъ удовольствіемъ... благодаримъ за угощеніе,—раскланивался Антипычъ, сѣвъ въ бричку и оттуда

помахивая шляпой:—оченно по васъ скучаютъ... и все ждутъ... скоро ли будете?

— Скоро, — крикнулъ Шервудъ, вслѣдъ за бричкой, загремѣвшей по опустѣлой улицѣ:—теперь ужъ скоро... такъ и скажи.

Антипычъ что-то отвѣтилъ, высунувшись изъ-подъ низкаго кузова и даже стукнувшись о него головой, но его голоса уже не было слышно.

«Такъ вотъ оно что!—сказалъ себѣ Шервудъ, оставшись на тротуарѣ: — сюда переѣзжаютъ, дядя сулитъ жениховъ... А я съ моими ожиданіями, замыслами, борьбой? Неужели же все кончено, и я, какъ глупый камень, иду ко дну? Нѣтъ, не поддамся, не быть ей за другимъ. Помѣряемся еще съ судьбой...»

Иванъ Иванычъ помедлилъ, какъ бы что-то соображая, разглядѣлъ мѣсто, гдѣ стоялъ, освѣдомился у прохожаго, озабоченнаго чиновника, который часъ, и повернулъ прямо къ недальней Мойкѣ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ снова стоялъ у двора, съ садомъ и рѣшетчатой оградой, и взошелъ на крыльцо магазина модъ. Шервудъ позвонилъ, вышла горничная.

— Вамъ кого?—спросила она.

— Мадамъ Полинъ.

— Отъ кого вы?

— Изъ Малороссіи; скажите, съ поклономъ отъ знакомой пріятельницы вашей хозяйки.

Горничная скрылась. Въ окнѣ, ближнемъ къ крыльцу, поднялась занавѣска; окно отворилось. Изъ него, со свѣчей въ рукѣ, выглянула красивая, высокая и смуглая особа, съ живыми плутовскими черными глазами и съ черными усиками, лѣтъ двадцати пяти, въ нарядномъ чепчикѣ и модномъ бѣломъ капотѣ.

— Отъ кого?—спросила она по-русски, съ иностраннымъ выговоромъ.

— Отъ вашего друга, мамзель Шонъ, — отвѣтилъ, тоже раскланиваясь и старательно отчеканивая слова, Шервудъ:— я случайно въ Петербургѣ, мнѣ поручено передать вамъ поклонъ... и я съ особымъ удовольствіемъ...

— Прошу, войдите,—сказала хозяйка.

Шервудъ, не задумываясь, вошелъ. Мадамъ Полинъ передъ тѣмъ хлопотала у чайнаго стола.

— Какъ и гдѣ вы видѣли Элизъ Шонъ?—спросила она, поглядывая на гостя.

Шервудъ въ общихъ словахъ легко и весело передалъ ей цѣлую легенду о томъ, какъ онъ будто бы ѣхалъ по службѣ изъ Кіева въ Петербургъ, какъ у его телѣжки сломалась ось и какъ онъ, совершенно случайно попавъ въ деревню Витвицкихъ, засталъ у нихъ своего сослуживца Бестужева-Рюмина и прогостилъ тамъ цѣлыя сутки, причемъ познакомился съ невѣстой Бестужева и съ ея гувернанткой, мамзель Шонъ. — «Боже, какъ вру!» думалъ онъ, сыпля этими увѣреніями.

— Да, Витвицкая сговорена и скоро ихъ свадьба,—сказала Полинъ, наливая гостю чай: — вы отъ Элизъ вѣрно знаете—и я выхожу замужъ.

— Слышалъ и отъ души поздравляю, — произнесъ, вѣжливо кланяясь, гость.

— Вы сейчасъ, вѣроятно, увидите и моего жениха,—съ съ гордою радостью объявила хозяйка.

Шервудъ помертвѣлъ. Онъ не ожидалъ возможности встрѣтить здѣсь самого Анненкова, притомъ, съ ужасомъ, онъ сталъ замѣчать, что пиво, распитое съ Антипычемъ, начинало сильно въ немъ отзываться. Его голова кружилась, въ глазахъ прыгали огоньки. Веселая уютная комната колыхалась передъ нимъ и голосъ милой, болтливой хозяйки звучалъ гдѣ-то не здѣсь, далеко. Онъ увидѣлъ себя въ зеркалѣ, близъ котораго сидѣлъ: его лицо было блѣдно, волосы въ безпорядкѣ. Онъ съ улыбкой сталъ разглаживать себѣ виски, стараясь сидѣть прямо и не потерять сознанія.

— Что же тамъ, на югѣ, лучше, чѣмъ здѣсь? не правда ли, тамъ теплѣе?—спросила Полинъ.—Элизъ пишетъ мнѣ, что тамошнія мѣста напоминаютъ нашу Францію... Я, мосьё, изъ Нанси, — лепетала разговорчивая француженка, мой отецъ былъ полковникъ старой гвардіи, убитъ въ Испаніи, въ войнѣ съ герильясами, когда мнѣ пошелъ четвертый годъ... онъ былъ храбрый, красивый офицеръ... И я помню моего отца... Такихъ храбрецовъ мало на свѣтѣ. Послѣ него мы обѣднѣли, я стала учиться шить, попала въ Россію, и въ Москвѣ поступила первою мастерицей въ магазинъ модъ Дюмонси, на Кузнецкомъ мосту.

Шервудъ, вглядываясь въ черные, сверкавшіе передъ нимъ глаза и красивые усики Полинъ, дѣлалъ невѣроятныя усилія,

чтобы слушать ее и не задремать.—«Кузнецкій мостъ, гвсрильясы... усики!»—вертѣлось въ его умѣ.

— О, я все это знаю! — вдругъ сказалъ онъ, странно улыбаясь: — знаменитая гвардія, великій императоръ, храбрые патріоты... Вамъ, вѣроятно, скучно здѣсь? такая дикая, холодная страна... ледъ, даже пиво здѣсь... теплое... право...

Гдѣ-то ему послышался звонкій, раскатистый хохотъ. Шервудъ въ удивленіи очнулся и раскрылъ глаза. Передъ нимъ, откинувшись на стулъ, заливалась смѣхомъ Полинъ.

— О, мой Богъ! — хохотала она: — вы устали, у васъ вѣрно было много хлопотъ?

— Нѣтъ, ничего... напротивъ... Но позвольте, гдѣ вы познакомились съ Иваномъ Александровичемъ Анненковымъ?

— Онъ былъ въ Москвѣ, за ремонтомъ... не хотите ли чаю? я бы послала за извозчикомъ, — произнесла Полинъ, подавляя смѣхъ и стараясь ободрить растерявшагося гостя:— о, какая я несносная, смѣшливая...

Шервудъ всталъ. — «Скорѣе отсюда, скорѣе! — думалъ онъ,—еще придетъ этотъ ея женихъ, догадается, уличитъ».

— Порученій какихъ не будетъ ли?—спросилъ онъ, вѣжливо раскланиваясь.

— Развѣ мосьё скоро ѣдетъ?

— Завтра же... экстренно... на фельдъегерскихъ.

— И вы опять будете тамъ, у Витвицкихъ?

— Сочту, сударыня, священнымъ долгомъ заѣхать.

Отъ природы добрая, Полинъ съ участіемъ смотрѣла на статнаго, утомленнаго и, какъ она угадывала, нѣсколько охмелѣвшаго, молодого воина.

Почему-то ей припомнился ея отецъ, также когда-то, какъ она слышала, особенно въ походахъ, любившій водить компанію и выпить съ друзьями.

— Зайдите завтра,—сказала она, подавъ руку гостю:— я приготовлю къ Элизъ письмо.

Шервудъ ловко шаркнулъ, даже поцѣловалъ протянутую ему руку и вышелъ. Отъ воротъ ему навстрѣчу показались двое, штатскій и офицеръ; они сошлись у угла палисадника. Свѣтъ отъ крылечнаго фонаря далъ имъ возможность нѣсколько разглядѣть другъ друга. Ночной воздухъ быстро освѣжилъ Шервуда. Увидѣвъ офицера, онъ снялъ фуражку и въ полъ-оборота сталъ во-фронтъ.—«Не Анненковъ»—подумалъ онъ, узнавъ въ офицерѣ того преображенскаго пол-

ковника, князя Трубецкого, котораго встрѣтилъ, въ памятный вечеръ, на лѣстницѣ Зимняго дворца и о которомъ ему сказалъ дворцовый сторожъ.

— Иванъ Александровичъ здѣсь? — спросилъ, отдавая честь, Трубецкой, видѣвшій, что стоявшій передъ нимъ унтеръ-офицеръ вышелъ съ крыльца Полинъ.

— Никакъ нѣтъ-съ... ихъ ожидаютъ.

— Et vous, cher, vous attendrez? — проходя къ двери, спросилъ спутника князь Трубецкой.

— Могу, если недолго, — отвѣтилъ тотъ также по-французски: — впрочемъ, вѣдь здѣсь я сосѣдъ...

«Кто этотъ второй?—продолжалъ разсуждать о штатскомъ Шервудъ:—ужли оба они, какъ и Анненковъ, члены тайнаго общества, заговорщики? И этого преображенца допускаютъ во дворецъ! Какая неосторожность! но штатскій? Трубецкой тогда во дворецъ тоже шелъ съ штатскимъ... этотъ моложе, чернявый; то былъ лысый и въ звѣздѣ... Есть ли ихъ имена въ моемъ спискѣ? какъ узнать, кого спросить?»

Шервудъ перешелъ на другую сторону Мойки и сталъ бродить по набережной, отъ Синяго моста до Гороховой, поглядывая на оставленный домъ. Прошелъ часъ, другой. Мѣсяцъ взошелъ давно, но былъ въ облакахъ. Улицы болѣе и болѣе стихали; ни пѣшихъ, ни проѣзжихъ. Изрѣдка доносился грохотъ колесъ съ Невскаго проспекта.

Вдругъ стукнула калитка. Изъ наблюдаемаго двора вышли три фигуры. Шервуду черезъ рѣку было видно, что двое изъ вышедшихъ были въ военныхъ шинеляхъ, третій въ гражданской бекешѣ; одинъ изъ военныхъ направился вправо къ Гороховой, другой военный, въ сопровожденіи штатскаго, пошелъ влѣво, къ Синему мосту. — «Теперь узнаю» — рѣшилъ Шервудъ.

Онъ, съ забившимся сердцемъ, направился за послѣдними путниками и въ одномъ изъ нихъ опять разглядѣлъ Трубецкого. Они миновали, за Синимъ мостомъ, первый домъ отъ угла по набережной и у подъѣзда второго дома остановились. Военный пошелъ далѣе, а штатскій вошелъ въ дверь подъѣзда, надъ которымъ была вывѣска: «Россійско-американская компанія».

До слуха Шервуда донеслись лишь нѣкоторыя выраженія изъ разговора этихъ двухъ лицъ. — «Такъ онъ ѣдетъ?» — спросилъ штатскій.—«Уже уѣхалъ»—отвѣтилъ военный. «И

Діонисіево ухо?»—«И онъ... уже вторыя сутки въ деревнѣ! но, вѣроятно, увидятся; тотъ заѣдетъ по пути».—«Надо разузнать фамилію штатскаго?»—рѣшилъ Шервудъ, увидя дворника, подметавшаго у крыльца набережную.

— Скажи, любезный, какъ отсюда пройти въ Коломну?— спросилъ онъ.

Дворникъ объяснилъ. Шервудъ вынулъ изъ кармана и далъ ему мѣдный пятакъ.

— Благодарствую... не здѣшніе? — спросилъ, кланяясь, дворникъ.

— На побывку, изъ лагеря, — отвѣтилъ Шервудъ: — дяденька тутъ у Сухарнаго моста... а кто этотъ баринъ?

— Какой?

— Что вошелъ сейчасъ на подъѣздъ.

— Вамъ на что?

Шервудъ смѣшался, но, принявъ добродушный видъ, даже поднялъ съ мостовой какую-то соринку и сталъ ее разсматривать.

— Такъ,—отвѣтилъ онъ:—его тоже хотѣлъ спросить про дорогу, да не посмѣлъ.

— Чего не смѣть?.. да-а-брѣющая душа! секлетарь нашъ... Рылѣевъ баринъ — проговорилъ дворникъ, подбрасывая на ладони пятакъ.

Шервудъ при этомъ имени чуть не вскрикнулъ отъ радости. Онъ вспомнилъ слова Аракчеева. Точно пукъ яркихъ лучей вдругъ вспыхнулъ передъ нимъ. Радужные горизонты, одинъ другого ярче и заманчивѣе, мгновенно встали, заволновались передъ его воображеніемъ.—«Наконецъ-то еще, и какое открытіе, какое!» — сказалъ онъ себѣ: «связь ясна... вотъ мѣсто ихъ сходокъ,—всѣ, и сатирикъ, и будущій диктаторъ. Теперь окончательно меня выслушаютъ и рѣшатъ!»

— Ты говоришь, Рылѣевъ? — спросилъ онъ дворника.

— Такъ точно.

— А имя?

— Кондратій Ѳедоровичъ... тутошный, питербургскій, изъ деревни Батово, что возлѣ Рожествина. Матушка у него тамъ, а онъ тутъ служитъ.

— Женатъ?

— Съ женою и махонькою дочкою.

— И баринъ хорошій? можно, коли надо, просить?

— Приди, увидишь... всякому помогаетъ, нищему, по дѣлу и такъ... Да-а-брѣющая душа...

Шервудъ далъ дворнику еще пятакъ и сперва тихо, потомъ шибче пошелъ къ Поцѣлуеву мосту, обогнулъ уголъ, пустился бѣгомъ, добрался до Офицерской, крикнулъ встрѣченному извозчику: «на Литейную, будетъ на водку!»—сѣлъ и помчался, полный радостныхъ надеждъ.

Сунувъ извозчику полтинникъ,—послѣдній и окончательно послѣдній, какъ онъ разсчиталъ въ умѣ, — Шервудъ вбѣжалъ въ свой нумеръ, не зажигая свѣчи, наскоро раздѣлся и легъ на жесткій продавленный диванъ, служившій ему постелью. Его мучила жажда. Онъ всталъ, ища воды, замѣтилъ какую-то бутылку и жадно изъ нея потянулъ. Ему обожгло горло. Въ бутылкѣ былъ остатокъ рома отъ пунша, которымъ онъ изрѣдка себя угощалъ.—«А, чортъ!»—подумалъ онъ и, еще вдоволь потянувъ изъ бутылки, опять легъ. Комната весь день не освѣжалась и воздухъ въ ней, отъ недалекой кухни и смежнаго коридора, полнаго заѣзжей прислуги, былъ спертый, душный. Шервудъ этого не замѣтилъ. Хмель туманилъ его отяжелѣвшую голову; въ рукахъ и ногахъ онъ чувствовалъ жаръ, а стиснутые зубы постукивали въ нервномъ ознобѣ, несмотря на давящее комнатное тепло.

Мѣсяцъ вышелъ изъ облаковъ. За тусклымъ, испачканнымъ мухами, окномъ виднѣлся трактирный дворъ, запруженный телѣгами, лошадьми у коновязей и всякимъ хламомъ.

Подъ окномъ торчала старая, съ обломанными вѣтвями, береза. Сквозь ея тощую, покрытую слоемъ пыли, листву, въ комнату наискось свѣтили блѣдные лунные лучи.

Шервудъ лежалъ съ закрытыми глазами. Онъ съ злобной досадой слѣдилъ, какъ билась кровь въ его вискахъ и какъ тяжелое, мучительное содроганіе леденящимъ гнетомъ пробѣгало по немъ съ головы до пятъ.

«Все кончено, все открылъ! провѣрилъ, уличилъ! — радостно думалъ онъ, съ трудомъ сдерживая трясущійся подбородокъ, — и, вѣдь, какъ успѣшно, безъ запинокъ, на чистоту! Имъ хотѣлось Сперанскаго, вотъ онъ; Трубецкой, съ этимъ Сперанскимъ, удостоился въ тотъ вечеръ быть во дворцѣ, а сегодня этотъ же Трубецкой у Полины, то-есть у Анненкова... Графъ золъ на Рылѣева за пасквиль... и этотъ попался здѣсь же... все свои... Ха, ха! вожаки, будущіе республиканскіе министры, Мараты, Робеспьеры... ха, ха!»

Шервудъ отрывисто и громко разсмѣялся, но вдругъ поднялся на диванѣ и сѣлъ. — «Вспомнилъ, вотъ когда вспомнилъ, о чемъ надо было тогда сообщить государю!» — сказалъ онъ себѣ съ досадой: — «этого самаго Трубецкого, да! именно его прочили въ Каменкѣ, на случай бунта войскъ, въ диктаторы... Пестель такъ именно и говорилъ. И его-то я тогда встрѣтилъ на лѣстницѣ! Завтра же, пораньше, чуть свѣтъ, все запишу и къ графу... Вотъ открытіе, вотъ сцѣпленіе счастливыхъ, рѣдкихъ обстоятельствъ... Только нѣтъ, кажется, и бумаги, и чернилъ, всѣ вышли... Придется будить этихъ олуховъ; пойдутъ въ контору, поднимутъ изъ-за такой мелочи хозяина, а я ему задолжалъ за комнату и харчи... Чернильница, впрочемъ, есть, но окончательно высохла; ткнешь перо, а оно сухое, только муха окаянная вылетитъ и жужжитъ, проклятая, такъ противно... Тьфу, сколько мухъ!» — мыслилъ Шервудъ, плюя и гадливо прислушиваясь къ шороху и неугомонной вознѣ мухъ, по обычаю толкавшихся въ духотѣ, у окна и подъ потолкомъ.

На секунду ему показалось, что онъ успокоился и заснулъ. Настала такая отрадная, ласкающая тишина. Мухи и собственныя назойливыя мысли исчезли.

Озаренная мѣсяцемъ комната, съ огромною изразцовою печью, комодъ, гдѣ торчало зеркальце, и допитая бутылка съ ромомъ, расшатанный стулъ, у двери, съ брошенною на него солдатскою шинелью, все это также будто застлалось туманомъ и куда-то скрылось. Шервудъ почувствовалъ, какъ выступалъ на его лицѣ потъ, медленно скатываясь крупными каплями по носу и щекамъ. Онъ думалъ: «Такъ капаетъ теплая, свѣжая кровь».

Ему вдругъ представилось страшное зрѣлище казни, видѣнной имъ весною, въ бытность въ Новомиргородѣ.

Военный полевой судъ осудилъ тогда пойманнаго дезертира—поляка. Это былъ еще молодой, бѣлокурый и простодушный съ виду рекрутокъ. Его схватили гдѣ-то на границѣ съ Австріей и возвратили, для суда и наказанія, въ полкъ. Приговоръ аудиторіата къ разстрѣлянію былъ замѣненъ прогнаніемъ сквозь двѣ тысячи человѣкъ. Съ хмурыми, строго понуренными лицами, солдаты молча взмахивали рукой. Свѣжіе, съ зелеными почками, прутья лозы, нарѣзанной въ ближнихъ плавняхъ, притонахъ голосистыхъ иволгъ и соловьевъ, страшно взвизгивали въ тепломъ, пахучемъ

воздухѣ. Рекрутъ уже не шелъ. Его полумертваго, съ блѣднымъ, кротко-покорнымъ лицомъ и слипшимися, отросшими въ тюрьмѣ волосами, везли между рядовъ на какой-то двухколесной дыбѣ. Удары падали.

«Стой! — вдругъ раздался чей-то властный, громкій голосъ:—не такъ бьете! артиллерію, пушки сюда, картечь!»— Толпа разступилась. Шервудъ понялъ, что это скомандовалъ онъ самъ, и увидѣлъ на себѣ офицерскій мундиръ и красивые, торчавшіе крыльями, эполеты. Выдвинулись откуда-то двѣ полевыя пушчонки. Испуганные артиллеристы стали съ зажженными фитилями. Рекрута болѣе не было видно. На его мѣстѣ была кучка офицеровъ разнаго оружія, капитаны, полковники, интенданты, генералы. Они въ разстегнутыхъ мундирахъ, безъ шпагъ, шлянъ обнимались, что-то говорили другъ другу и что-то кричали удивленнымъ солдатамъ. Шервудъ узналъ между ними Муравьевыхъ, Вадковскаго, Пестеля и Бестужева.—«Предатель! вонъ онъ, измѣнникъ!— закричалъ изъ толпы, указывая на него товарищамъ, Вадковскій:—чрезъ него мы гибнемъ!» Шервудъ оглянулся на пушки и махнулъ рукой. Раздался визгъ картечи. Въ толпѣ офицеровъ упало нѣсколько человѣкъ. Чѣмъ-то теплымъ брызнуло въ глаза и на щеки Шервуда...

Онъ очнулся, хотѣлъ встать, раскрыть глаза и не могъ пошевелиться.—«Боже, хоть бы каплю воды!»—мучительно подумалъ онъ, томимый жаждой, будучи не въ силахъ отереть мокраго, потнаго лица. Съ усиліемъ онъ оглянулся по комнатѣ и не узналъ ея. Что-то странное, новое на мгновеніе обрисовалось передъ нимъ и опять исчезло.

Та же ночь. Но гдѣ это?.. Шервудъ увидѣлъ, что онъ лежитъ въ пріятно-сырой, росистой травѣ, между деревьевъ. Сквозь нависшія вѣтви чуть свѣтилъ мѣсяцъ. Пахло болотомъ, слышалось журчаніе студенаго лѣсного ключа. Шервуду и пить страшно хотѣлось, и онъ кого-то, съ замираніемъ сердца, какъ бы ожидалъ. Сюда въ лѣсную глушь должна была къ нему придти Зина Ушакова.—«Еще успѣю,— мыслилъ онъ, съ страстнымъ содроганіемъ:—а теперь хоть бы глоточекъ...» Онъ бросился сквозь чащу деревъ и очутился на круглой, чуть освѣщенной полянкѣ. Сверкала свинцовою зыбью одна поверхность ключа, обросшаго сочными, длинными травами и камышомъ. Онъ присѣлъ на корточки,

ухватился за траву, жадно припалъ ртомъ къ водѣ и увидѣлъ нѣчто ужасное, необъяснимое.

По зыбкой глади воды суетливо бѣгали какіе-то, съ мохнатыми лапами и брюхами, сѣрые проворные пауки. Они шныряли въ одну сторону; имъ навстрѣчу и наискось, шевелясь, сколвзили другіе. Шервудъ вспомнилъ, какъ солдаты на постоѣ у крестьянъ пьютъ квасъ съ тараканами. Онъ, усмѣхнувшись, подулъ на пауковъ; тѣ разбѣжались. Онъ еще ниже склонился къ ручью и въ ужасѣ замеръ.

То, что онъ принималъ за воду, оказалось не водой, а сплошнымъ комомъ гадовъ, которыхъ онъ отъ рожденія, такъ всегда боялся. Клубни сѣрыхъ, большихъ и малыхъ змѣй шевелились круглыми, лоснящимися спинами. Нѣкоторыя змѣи высовывались плоскими головками изъ кучи другихъ и шипѣли. Шервуду въ то же время послышался за деревьями голосъ Зины: «сюда, сюда! да гдѣ же ты?» Онъ рванулся, выпутался изъ травы и, въ дикомъ страхѣ, бросился бѣжать, но попалъ, очевидно, не туда. Деревья преграждали ему путь. Онъ пробирался сквозь ихъ цѣпкія вѣтви, явственно слыша настигавшій его противный шелестъ гадовъ. Плоскія головки мелькали въ листьяхъ, хрустѣли подъ ногами Шервуда; онъ съ бѣшенствомъ ихъ давилъ. Сдѣлавъ послѣднее усиліе, онъ вырвался на опушку темнаго лѣса.

Разсвѣтъ еще не начинался. Надъ болотистымъ полемъ кое-гдѣ висѣлъ туманъ. Шервудъ побѣжалъ — трусливымъ зайцемъ, какъ онъ самъ подумалъ въ это мгновеніе. Вода шлепала и брызгала изъ-подъ его ногъ. Ступни вязли въ тинѣ. Онъ завидѣлъ домъ Ушаковыхъ, домчался до лѣстницы, вскочилъ въ комнату, но негдѣ дѣться. Весь полъ укрытъ змѣями, по стѣнамъ ползаютъ пауки. Онъ взобрался на диванъ, поджалъ подъ себя мокрыя, испачканныя грязью, ноги и накрылся съ головой шинелью, даже для удобства прихватилъ край шинели зубами. Шелестъ гадинъ не прерывался.

«Въ коридоръ, на чердакъ!—подумалъ онъ,—тамъ у кухни лѣстница; заберусь на самый верхъ». Онъ бѣгалъ впотьмахъ по чердаку, ощупью забился въ уголъ, подъ печную трубу, и въ трепетѣ притаился. На чердакѣ была тьма. И вдругъ онъ почувствовалъ, что подъ его рубашку вползаетъ что-то холодное, скользкое и, расправляясь, шевелится по его спинѣ. На плечи ему упала какая-то безобразная, мертвящая тяжесть.

Шервудъ отчаянно, дико вскрикнулъ и проснулся. Нач-

налось утро. Передъ диваномъ стоялъ съ разносной книгой будочникъ, теребя Шервуда за плечо.

— Пакетъ вамъ, — произнесъ босой, въ одномъ бѣльѣ, заспанный половой, стоя возлѣ будочника.

Шервудъ опомнился, всталъ, протеръ глаза и поднесъ пакетъ къ окну. То была повѣстка изъ штаба явиться въ тотъ же день за полученіемъ подорожной и «экстраординарной суммы» на немедленный отъѣздъ.

Росписавшись въ книгѣ, Шервудъ отпустилъ будочника, прошелся по комнатѣ, надѣлъ шинель и взглянулъ на полового. Усталость и хмельный бредъ мигомъ бросили его.

— Видишь, братъ? будутъ деньги, и большія! — сказалъ онъ, тормоша озадаченнаго полового и смѣясь торжествующею, гордою улыбкой:—самоваръ, пуншику... бриться, мыться... мигомъ!

Въ чистомъ бѣльѣ и въ новой парѣ, Шервудъ, щеголемъ, къ началу присутствія, явился въ штабъ, получилъ заготовленныя бумаги, пересчиталъ пачку врученныхъ ему ассигнацій, росписался въ ихъ полученіи и съ легкимъ сердцемъ вышелъ въ переднюю, наполненную просителями и сторожами.

«Нѣтъ, шутишь, сразу не выѣду!—думалъ онъ, тыча деньги въ карманъ,—теперь прежде всего закусочка; ловится лососина; соляночку съ перцемъ и огурцами, изъ селедки форшмакъ... На углу Караванной вкусно дѣлаютъ, да рюмочку-другую полынной, да бальзамцу... а тамъ и къ графу съ новымъ, дорогимъ для него открытіемъ».

Въ кучкѣ сторожей-инвалидовъ въ передней штаба шелъ разговоръ.

— Позавчера онъ, сердечный, былъ — именинникъ, а нынче уже и въ путь.

— Кто именинникъ? — надѣвая перчатки и рисуясь въ перетянутомъ мундирчикѣ, шутливо и весело спросилъ Шервудъ:—можетъ, и я именинникъ, угощу.

Инвалиды молча и недовѣрчиво на него поглядѣли.

— Да кто же, братцы, именинникъ? — повторилъ Шервудъ, чувствуя, что ему особенно весело, и желая, чтобы такъ же весело было и другимъ.

— Тезоименитство его величества было третьяго дня,— отвѣтилъ старшій, въ сѣдыхъ бакенахъ, инвалидъ, вставая передъ молодцоватымъ унтеромъ: — да вотъ ребята маракуютъ, ѣдетъ уже нынче его величество.

— Куда?—удивился Шервудъ.

— Въ Таганрогъ.

— И это вѣрно?

— Второй день подстава готова до самаго Новгорода; сказывали намедни фельдъегеря, что къ графу заѣдетъ.

— Развѣ графъ не въ городѣ?

— Въ Грузинѣ. Со вчерашняго дня ему туда всѣ бумаги шлютъ.

— А его величество?

— Должно быть, въ Царскомъ.

Шервудъ вышелъ. Забывъ о закускѣ, онъ бросился на постоялый дворъ, расплатился съ хозяиномъ, уложилъ свои вещи, послалъ за тройкой, сѣлъ въ телѣгу и помчался, кратчайшимъ проселкомъ, въ Царское-Село.

«Безпосредственный корреспондентъ его величества, такъ имъ и скажу!—разсуждалъ онъ, подпрыгивая на телѣгѣ:— самъ государь соизволилъ,—должны допустить»...

Въ концѣ августа, въ Петербургѣ знали, что государь Александръ Павловичъ уѣзжаетъ съ больною императрицей на осень, въ Таганрогъ.

Подъ вліяніемъ вѣсти о болѣзни государыни, по городу ходило немало тревожныхъ толковъ. Многихъ смутилъ недавній пожаръ, истребившій церковь Спаса-Преображенія. На небѣ явились, одна вслѣдъ за другой, двигаясь съ сѣвера на югъ, двѣ кометы. Первая вскорѣ угасла. Въ этомъ увидѣли дурное предзнаменованіе.

Послѣдніе дни августа стояли, между тѣмъ, ясные, теплые. Въ Царскомъ-Селѣ все было давно готово къ отъѣзду, но государь почему-то медлилъ. Ему какъ-то не хотѣлось разставаться съ любимымъ царскосельскимъ дворцомъ, съ свѣтлыми прудами, тѣнистыми садами и рощами. Онъ кончалъ неотложныя дѣла, принималъ прощальные доклады министровъ и, переписываясь съ родными въ чужихъ краяхъ, былъ особенно пасмуренъ и неразговорчивъ.

Тридцать перваго августа, наканунѣ отъѣзда, государь всталъ рано, прошелся по ближнимъ аллеямъ, постоялъ у озера, подъ дубомъ, гдѣ любила отдыхать и читать его бабка Екатерина, бросилъ корму рыбамъ, полюбовался лебедями, сказалъ нѣсколько словъ старому садовнику, Ники-

тичу, и на докладъ камердинера Ѳедора: «кофій готовъ, пожалуйте»,—нехотя и медленно возвратился во дворецъ.

Послѣ кофе, государь, по обычаю, заперся въ кабинетъ, сѣлъ за письменный столъ и вынулъ изъ особой обложки пачку бумагъ. Онъ надъ ними задумался.

Изъ оконъ былъ виденъ край синяго неба, часть озера и развѣсистый старый дубъ, гдѣ государь только-что стоялъ; были видны одѣтыя красками осени, хотя еще въ листьяхъ, но уже кое-гдѣ тронутыя золотомъ и пурпуромъ, деревья сада.

Государь не смотрѣлъ ни на небо, ни на деревья и озеро. Онъ сталъ просматривать верхнюю изъ лежавшей передъ нимъ пачки бумагъ. То былъ роковой списокъ заговорщиковъ, привезенный Шервудомъ. Прочтя списокъ и дополнительныя замѣтки Аракчеева, государь взялъ перо и листъ бумаги и началъ писать.

Неразлучная съ нимъ датская собака, Лордъ, дремала у его ногъ. Исписавъ страницу, Александръ вздохнулъ и остановился. Перо падало изъ его рукъ. Вдругъ онъ почувствовалъ, что почему-то видитъ плохо: слова, которыя онъ набрасывалъ, сливались передъ нимъ и путались. Онъ поднялъ голову.

Внезапно нашедшія тучи закрывали весь небосклонъ. Государь позвонилъ.

— Огня,—сказалъ онъ вошедшему слугѣ, снова принимаясь писать.

Слуга ушелъ, но медлилъ возвращеніемъ. Александръ нетерпѣливо позвонилъ опять. Были принесены двѣ зажженныя восковыя свѣчи.

«Вотъ она, сѣверная природа и сѣверные порядки!— подумалъ Александръ, съ досадой продолжая писать и мысленно уносясь къ югу: — осень въ началѣ, завтра только первое сентября, а здѣсь уже темно, какъ зимой. И ѣхать за тепломъ, за свѣтомъ въ такую даль! Великая ошибка Петра... Отчего не быть столицѣ въ Одессѣ, въ Таганрогѣ, въ Крыму?»

Облака, между тѣмъ, разсѣялись. Солнце снова явилось и весело глядѣло въ окна. Александръ не видѣлъ солнца. Его рука скользила по листу.

Лежавшій у стола Лордъ сердито, какъ бы сквозь сонъ, зарычалъ. Государь оглянулся и увидѣлъ, что вошедшій въ кабинетъ слуга осторожно изъ-за него убиралъ свѣчи со стола.

— Что̀ это ты дѣлаешь, Ѳедоръ?—спросилъ Александръ.

— Такъ слѣдуетъ, ваше величество.

— Но ты, по крайней мѣрѣ, хоть бы подождалъ, пока кончу писать... мѣшаешь, опять могутъ найти тучи...

— Негодится днемъ, ваше величество, зажигать свѣчей.

— Право? а я и не зналъ. Почему?

— Днемъ зажигаютъ свѣчи только надъ покойниками.

Слуга ушелъ. Александръ сидѣлъ неподвижно. Очнувшись, онъ изорвалъ написанное, вложилъ заботившія его бумаги, безъ всякой резолюціи, въ пакетъ, сунулъ его въ портфель, приготовленный для пути въ Таганрогъ, и снова вышелъ къ озеру, къ развѣсистому дубу. Ни въ Грузинѣ, ни въ Таганрогѣ Александръ болѣе не касался рокового пакета. Онъ былъ найденъ, въ числѣ прочихъ бумагъ, безъ его помѣты, уже послѣ его кончины...

Часу въ третьемъ пополудни, перваго сентября, Шервудъ подъѣхалъ къ Царскому-Селу. Оставивъ извозчика съ чемоданомъ, онъ направился ко дворцу. У воротъ его остановили.

— Куда?—спросилъ часовой.

— Къ самому государю... дѣло важное...

— Нельзя.

— Почему?

— Спроси начальство.

Шервудъ увидѣлъ толстаго гусарскаго поручика, сидѣвшаго на крылечкѣ гауптвахты. Поручикъ удивилъ Шервуда: онъ былъ въ полотняномъ, нараспашку, кителѣ, курилъ изъ витого, въ бисерномъ чахлѣ, чубука и беззаботно забавлялся съ стоявшею передъ нимъ на заднихъ лапахъ, рыжею, лохматою и безхвостою собачонкой.

— Ваше благородіе,— громко сказалъ, подойдя къ поручику и снимая фуражку, Шервудъ: — важное дѣло — безпосредственный его величества корреспондентъ.

— Что-о?—разсмѣялся офицеръ, выпустивъ изо рта клубъ дыма и весело закашливаясь.

Шервудъ повторилъ свои слова.

— Ну, соколикъ, опоздалъ,— произнесъ поручикъ, принимаясь опять посасывать изъ чубука: — государь еще съ вечера уѣхалъ въ Петербургъ, а теперь ужъ чай и подъ Новгородомъ... А чтобъ безпо... тьфу!.. не выговоришь... безпо... средственному тебѣ, или какъ ты тамъ себя называешь, не наплести съ-пьяну еще какой чепухи, — ну-ка,

Кузьковъ, на покой его прохладиться!—крикнулъ поручикъ, полуобернувшись жирною, бѣлою шеей въ сѣни кордегардіи, откуда уже выглядывалъ усатый и черный, въ сажень ростомъ, гусарскій фельдфебель.

— Да я, ваше благородіе... тутъ вещи, важныя бумаги, помилуйте...

— Ну, тамъ уже рѣшатъ, — заключилъ поручикъ, опять подзывая рыжую, лохматую собачонку, которая тѣмъ временемъ вѣжливо усѣлась-было въ сторонѣ.

Къ ночи, осмотрѣвъ бумаги Шервуда, дѣло разобрали, подумали и отпустили его. Онъ уже не возвращался въ Петербургъ, а выѣхалъ на югъ прямо изъ Царскаго. Государь, на пути изъ Петербурга, заѣхалъ въ Невскую Лавру. Отслуживъ здѣсь панихиду, онъ навѣстилъ лаврскаго схимника, постелью для котораго служилъ обитый чернымъ, съ аттрибутами смерти, гробъ.

«Послушались бы меня, было бы иначе!—мыслилъ Шервудъ, ближе и ближе подвигаясь къ югу.—Успѣютъ ли прослѣдить, выловить виновныхъ?»

Пошли степи. Вотъ рѣка Сеймъ, города Харьковъ, Богодуховъ, Новомиргородъ. Вездѣ было тихо, жизнь катилась, повидимому, мирно, безъ заботъ.—«Эхъ, землица, страна!—злобно сказалъ себѣ Шервудъ, завидя длинные, знакомые заборы, пустынныя улицы и крышу полкового двора: — и этакой услуги, такого открытія не оцѣнить!»

Осенью, 1825 г., изъ Таганрога разнеслась печальная вѣсть о тяжкой болѣзни императора Александра Павловича. Девятнадцатаго ноября того же года онъ скончался. О доносѣ Шервуда заговорили уже послѣ четырнадцатаго декабря.

ЗНАКОМСТВО СЪ ГОГОЛЕМЪ.

(ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.)

Впервые въ жизни я увидѣлъ Гоголя за четыре мѣсяца до его кончины.

Это случилось осенью, въ 1851 году. Находясь тогда, въ концѣ октября, въ Москвѣ, съ служебнымъ порученіемъ бывшаго въ то время товарищемъ министра народнаго просвѣщенія А. С. Норова, я получилъ отъ стараго своего знакомаго, покойнаго московскаго профессора, О. М. Бодянскаго, записку, въ которой онъ извѣщалъ меня, что одинъ изъ нашихъ земляковъ-украинцевъ, г. А—й, котораго передъ тѣмъ я у него видѣлъ, предполагалъ пѣть малорусскія пѣсни у Гоголя и что Гоголь, узнавъ, что и у меня собрана коллекція украинскихъ народныхъ пѣсенъ, съ нотами, просилъ Бодянскаго пригласить къ себѣ и меня.

Нежданная возможность выпавшаго мнѣ на долю свиданія съ великимъ писателемъ сильно меня обрадовала. Авторъ «Мертвыхъ душъ» находился въ то время на верху своей славы, и мы, тогдашняя молодежь (мнѣ въ то время было двадцать-два года), питали къ нему безграничную любовь и преданность. У меня съ дѣтства не выходило изъ головы добродушное обращеніе къ читателямъ пàсѣчника Рудàго-Панькà.—«Когда кто изъ васъ будетъ въ нашихъ краяхъ,—писалъ въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» веселый пáсѣчникъ:—то заверните ко мнѣ; я васъ напою удивительнымъ грушевымъ квасомъ».

Это забавное приглашеніе, какъ я помню, необыкновенно заняло меня въ деревнѣ моей бабки, гдѣ ея слуга Абрамъ,

учившійся передъ тѣмъ въ Харьковѣ переплетному мастерству и потому знавшій грамотѣ, впервые прочелъ мнѣ, шестилѣтнему мальчику, украинскія повѣсти Гоголя; но я не могъ принять приглашенія Рудáго-Панькà. Въ 1835 году у меня былъ одинъ только конь — липовая вѣтка, верхомъ на которой я гарцовалъ по саду, и въ то время я отлучался изъ родного дома не далѣе старой мельницы, скрипъ тяжелыхъ крыльевъ которой слышался, съ выгона, въ моей дѣтской комнатѣ.

Я тогда былъ въ полной и искренней увѣренности, что на свѣтѣ, дѣйствительно, гдѣ-то, въ сельской, таинственной глуши, существуетъ старый пасѣчникъ, рудый, т.-е. рыжій Панькò, и что онъ, въ длинные зимніе вечера, сидитъ у печи и разсказываетъ свои увлекательныя сказки. Передъ моимъ воображеніемъ живо развертывалась дивная исторія «Красной свитки», проходила блѣдная утопленница «Майской ночи» и на высотахъ Карпатскихъ горъ вставалъ грозный мертвый всадникъ «Страшной мести».

А теперь, въ 1851 году, мнѣ предстояло увидѣть и автора не только «Вечеровъ на хуторѣ», но и «Мертвыхъ душъ», и «Ревизора».

Въ назначенный часъ я отправился къ О. М. Бодянскому, чтобы ѣхать съ нимъ къ Гоголю. Бодянскій тогда жилъ у Стараго Вознесенія, на Арбатѣ, на углу Мерзляковскаго переýлка, въ домѣ нынѣ Е. С. Мещерской, № 243. Онъ встрѣтилъ меня словами: «Ну, земляче, ѣдемъ; вкусимъ отъ благоуханныхъ, сладкихъ сóтовъ родной украинской музыки».—Мы сѣли на извозчичьи дрожки и поѣхали по сосѣдству на Никитскій бульваръ, къ дому Талызина, гдѣ, въ квартирѣ графа А. П. Толстого, въ то время жилъ Гоголь. Теперь этотъ домъ, № 314, принадлежитъ Н. А. Шереметевой. Онъ не перестроенъ, имѣетъ, какъ и тогда, 16 оконъ во дворъ и 5 на улицу, въ два этажа, съ каменнымъ балкономъ, на колоннахъ, во дворъ.

Было около полудня. Радость предстоявшей встрѣчи нѣсколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые въ то время ходили о Гоголѣ, по поводу изданной, незадолго передъ тѣмъ, его извѣстной книги «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Я невольно припоминалъ злыя и ядовитыя нападки, которыми тогдашняя руководящая кри-

тика преслѣдовала эту книгу. Бѣлинскій въ ту пору былъ нашимъ кумиромъ, а онъ первый бросилъ камнемъ въ Гоголя за его «Переписку съ друзьями». По рукамъ въ Петербургѣ ходило въ спискахъ его неизданное письмо къ Гоголю, гдѣ знаменитый критикъ горячо и безпощадно бичевалъ автора «Мертвыхъ душъ», укоряя его въ измѣнѣ долгу писателя и гражданина.

Хотя обвиненія Бѣлинскаго для меня смягчались въ кружкѣ тогдашняго ректора петербургскаго университета, П. А. Плетнева, друга Пушкина и Жуковскаго, отзывами иного рода, тѣмъ не менѣе я и мои товарищи-студенты, навѣщавшіе Плетнева, не могли вполнѣ отрѣшиться отъ страстной и подкупающей своимъ краснорѣчіемъ критики Бѣлинскаго. Плетневъ, защищая Гоголя, дѣлалъ, что могъ. Онъ читалъ намъ, студентамъ, письма о Гоголѣ жившихъ въ то время въ чужихъ краяхъ Жуковскаго и князя Вяземскаго, объяснялъ эти письма и совѣтовалъ намъ, не поддаваясь нападкамъ враговъ Гоголя, самостоятельно рѣшить вопросъ—правъ ли былъ Гоголь, издавая то, о чемъ онъ счелъ долгомъ открыто высказаться передъ родиной?—«Его зовутъ фарисеемъ и ренегатомъ,—говорилъ намъ Плетневъ:—клянутъ его, какъ нѣкоего служителя мрака и лжи; оглашаютъ его, наконецъ, чуть не сумасшедшимъ... И за что же? За то, что одаренный геніемъ творчества, родной писатель-сатирикъ дерзнулъ глубже взглянуть въ собственную свою душу, провѣрить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о томъ повѣдать другимъ... Какъ смѣлъ онъ, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дорогѣ, заговорить о духовныхъ вопросахъ, о церкви, о вѣрѣ? Въ сумасшедшій домъ его! онъ—помѣшанный!»—такъ говорилъ намъ Плетневъ.

Молва о помѣшательствѣ Гоголя, дѣйствительно, въ то время была распространена въ обществѣ. Говорили странныя вещи: будто Гоголь окончательно отрекся отъ своего писательскаго призванія, будто онъ постится по цѣлымъ недѣлямъ, живетъ, какъ монахъ, читаетъ только ветхій и новый завѣтъ и житія святыхъ и, душевно болѣя и сильно опустившись, относится съ отвращеніемъ не только къ изящной литературѣ, но и къ искусству вообще.

Всѣ эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились

въ моей головѣ въ то время, когда извозчичьи дрожки, по Никитскому бульвару, везли Бодянскаго и меня къ дому Талызина. Одно меня нѣсколько успокоивало: Гоголь пригласилъ къ себѣ пѣвца-малоросса; этотъ пѣвецъ долженъ былъ у него пѣть народныя украинскія пѣсни, — слѣдовательно, думалъ я, авторъ «Мертвыхъ душъ» не вполнѣ еще сталъ монахомъ-аскетомъ, и его душѣ еще доступны произведенія художественнаго творчества.

Въѣхавъ въ каменныя ворота высокой ограды, направо, къ балконной галлереѣ дома Талызина, мы вошли въ переднюю нижняго этажа. Старикъ—слуга графа Толстого—привѣтливо указалъ намъ дверь изъ передней направо.

— Не опоздали?—спросилъ Бодянскій, обычною своею, ковыляющею походкой проходя въ эту дверь.

— Пожалуйте, ждутъ-съ!—отвѣтилъ слуга.

Бодянскій прошелъ пріемную и остановился передъ слѣдующею, затворенною дверью въ угольную комнату, два окна которой выходили во дворъ и два на бульваръ. Я догадывался, что это былъ рабочій кабинетъ Гоголя. Бодянскій постучался въ дверь этой комнаты.

— Чи дома, брате Миколо?—спросилъ онъ по-малорусски.

— А дома-жъ, дома!—негромко отвѣтилъ кто-то оттуда.

Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У ея порога стоялъ Гоголь.

Мы вошли въ кабинетъ. Бодянскій представилъ меня Гоголю, сказавъ ему, что я служу при Норовѣ и что съ нимъ, Бодянскимъ, давно знакомъ черезъ Срезневскаго и Плетнева.

— А гдѣ же нашъ пѣвецъ?—спросилъ, оглядываясь, Бодянскій.

— Надулъ, къ Щепкину поѣхалъ на варѣники! — отвѣтилъ съ видимымъ неудовольствіемъ Гоголь: — только-что прислалъ извинительную записку, будто забылъ, что раньше насъ далъ слово туда.

— А, можетъ-быть, и такъ,—сказалъ Бодянскій:—варѣники не свой братъ.

Что еще, при этомъ, нѣкоторое время говорили Гоголь и Бодянскій, я тогда, кажется, не слышалъ и почти не сознавалъ. Ясно помню одно, что я не спускалъ глазъ съ Гоголя.

Мои опасенія разсѣялись. Передо мной былъ не только

не душевно-больной или вообще свихнувшійся человѣкъ, а тотъ же самый Гоголь, тотъ же могучій и привлекательный художникъ, какимъ я привыкъ себѣ воображать его съ юности.

Разговаривая съ Бодянскимъ, Гоголь то плавно прохаживался по комнатѣ, то садился въ кресло къ столу, за которымъ Бодянскій и я сидѣли на диванѣ, и изрѣдка посматривалъ на меня. Средняго роста, плотный и съ совершенно здоровымъ цвѣтомъ лица, онъ былъ одѣтъ въ темно-коричневое, длинное пальто и въ темно-зеленый, бархатный жилетъ, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверхъ атласнаго, чернаго галстука, виднѣлись бѣлые, мягкіе воротнички рубахи. Его длинные, каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь надъ ними. Тонкіе, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полныя, красивыя губы, подъ которыми была крохотная эспаньолка. Небольшіе, каріе глаза глядѣли ласково, но осторожно и не улыбаясь, даже тогда, когда онъ говорилъ что-либо веселое и смѣшное. Длинный, сухой носъ придавалъ этому лицу и этимъ, сидѣвшимъ по его сторонамъ, осторожнымъ глазамъ что-то птичье, наблюдающее и вмѣстѣ добродушно-горделивое. Такъ смотрятъ съ кровель украинскихъ хуторовъ, стоя на одной ногѣ, внимательно-задумчивые аисты.

Гоголь въ то время, какъ я отлично помню, былъ очень похожъ на свой портретъ, писанный съ него въ Римѣ, въ 1841 году, знаменитымъ Ивановымъ. Этому портрету онъ, какъ извѣстно, отдавалъ предпочтеніе передъ другими.

Успокоясь отъ невольнаго, охватившаго меня смущенія, я сталъ понемногу вслушиваться въ разговоръ Гоголя съ Бодянскимъ.

— Надо, однакоже, все-таки, вызвать нашего Рубини,— сказалъ Гоголь, присаживаясь къ столу:—не я одинъ, и Аксаковы хотѣли бы его послушать... особенно Надежда Сергѣевна.

— Устрою, берусь,—отвѣтилъ Бодянскій: — если только тутъ не другая причина и если нашъ землякъ, отъ здѣшнихъ угощеній, не спалъ съ голоса... А что́ это у васъ за рукописи?—спросилъ Бодянскій, указывая на рабочую, краснаго дерева, конторку, стоявшую налѣво отъ входныхъ дверей, за которою Гоголь, передъ нашимъ приходомъ, очевидно, работалъ стоя.

— Такъ себѣ, мараю по временамъ!—небрежно отвѣтилъ Гоголь.

На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ея покатой доскѣ, обитой зеленымъ сукномъ, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.

— Не второй ли томъ «Мертвыхъ душъ?» — спросилъ, подмигивая, Бодянскій.

— Да... иногда берусь, — нехотя проговорилъ Гоголь:— но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.

— Что же мѣшаетъ? у васъ тутъ такъ удобно, тихо.

— Погода, убійственный климатъ! Невольно вспоминаешь Италію, Римъ, гдѣ писалось лучше и такъ легко. Хотѣлъ было на зиму уѣхать въ Крымъ, къ Княжевичу, тамъ писать; думалъ завернуть и на родину, къ своимъ,—туда звали на свадьбу сестры, Елисаветы Васильевны...

Ел. В. Гоголь тогда вышла замужъ за сапернаго офицера Быкова.

— Зачѣмъ же дѣло стало?—спросилъ Бодянскій.

— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможныя, простудился, да и времени пришлось бы столько потратить на одни переѣзды. А тутъ еще затѣялъ новое, полное изданіе своихъ сочиненій.

— Скоро ли оно выйдетъ?

— Въ трехъ типографіяхъ началъ печатать, — отвѣтилъ Гоголь:—будетъ четыре большихъ тома. Сюда войдутъ всѣ повѣсти, драматическія вещи и обѣ части «Мертвыхъ душъ». Пятый томъ я напечатаю позже, подъ заглавіемъ «Юношескіе опыты». Сюда войдутъ нѣкоторыя журнальныя статьи, статьи изъ «Арабесокъ» и прочее.

— А «Переписка?»—спросилъ Бодянскій.

— Она войдетъ въ шестой томъ; тамъ будутъ помѣщены письма къ близкимъ и роднымъ, изданныя и неизданныя... Но это уже, разумѣется, явится... послѣ моей смерти.

Слово «смерть» Гоголь произнесъ совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничѣмъ особеннымъ, въ виду полныхъ его силъ и здоровья.

Бодянскій заговорилъ о типографіяхъ и сталъ хвалить какую-то изъ нихъ. Рѣчь коснулась и Петербурга.

— Что новаго и хорошаго у васъ, въ петербургской литературѣ?—спросилъ Гоголь, обращаясь ко мнѣ.

Я ему сообщилъ о двухъ новыхъ поэмахъ тогда еще

молодого, но уже извѣстнаго поэта Ап. Ник. Майкова: «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросилъ разсказать ихъ содержаніе. Исполняя его желаніе, я наизусть прочелъ выдержки изъ этихъ произведеній, ходившихъ тогда въ спискахъ.

— Да это прелесть, совсѣмъ хорошо!—произнесъ, выслушавъ мою неумѣлую декламацію, Гоголь:—еще, еще...

Онъ совершенно оживился, всталъ и опять началъ ходить по комнатѣ. Видъ осторожно-задумчиваго аиста исчезъ. Передо мною былъ счастливый, вдохновенный художникъ. Я еще прочелъ отрывки изъ Майкова.

— Это такъ же законченно и сильно, какъ терцеты Пушкина,—во вкусѣ Данта,—сказалъ Гоголь:—Осипъ Максимовичъ, а?—обратился онъ къ Бодянскому:—вѣдь это праздникъ! Поэзія не умерла. Не оскудѣлъ князь отъ Іуды и вождь отъ чреслъ его... А выборъ сюжета, а краски, колоритъ? Плетневъ присылалъ кое-что, и я самъ помню нѣкоторые стихи Майкова.

Онъ прочелъ, съ оригинальною интонаціей, двѣ начальныя строки извѣстнаго стихотворенія изъ «Римскихъ очерковъ» Майкова:

«Ахъ, чудное небо, ей-Богу, надъ этимъ классическимъ Римомъ!
«Подъ этакимъ небомъ невольно художникомъ станешь!»

— Не правда ли, какъ хорошо?—спросилъ Гоголь.

Бодянскій съ нимъ согласился.

— Но *то*, что вы прочли,—обратился ко мнѣ Гоголь:—это уже иной шагъ. Беру съ васъ слово—прислать мнѣ изъ Петербурга списокъ этихъ поэмъ.

Я обѣщалъ исполнить желаніе Гоголя.

— Да,—продолжалъ онъ, прохаживаясь:—я засталъ богатые всходы...

— А Шевченко?—спросилъ Бодянскій.

Гоголь на этотъ вопросъ съ секунду промолчалъ и нахохлился. На насъ изъ-за конторки снова посмотрѣлъ осторожный аистъ.

— Какъ вы его находите?—повторилъ Бодянскій.

— Хорошо, что и говорить,—отвѣтилъ Гоголь: — только не обидьтесь, другъ мой... вы—его поклонникъ, а его личная судьба достойна всякаго участія и сожалѣнія...

— Но зачѣмъ вы примѣшиваете сюда личную судьбу?—съ неудовольствіемъ возразилъ Бодянскій:—это постороннее... Скажите о талантѣ, о его поэзіи...

— Дегтю много, — негромко, но прямо проговорилъ Гоголь:—и даже прибавлю, дегтю больше, чѣмъ самой поэзіи. Намъ-то съ вами, какъ малороссамъ, это, пожалуй, и пріятно, но не у всѣхъ носы, какъ наши. Да и языкъ...

Бодянскій не выдержалъ, сталъ возражать и разгорячился. Гоголь отвѣчалъ ему спокойно.

— Намъ, Осипъ Максимовичъ, надо писать по-русски,— сказалъ онъ:—надо стремиться къ поддержкѣ и упроченію одного, владычнаго языка для всѣхъ родныхъ намъ племенъ. Доминантой для русскихъ, чеховъ, украинцевъ и сербовъ должна быть единая святыня — языкъ Пушкина, какою является евангеліе для всѣхъ христіанъ, католиковъ, лютеранъ и гернгуттеровъ. А вы хотите провансальскаго поэта Жасмена поставить въ уровень съ Мольеромъ и Шатобріаномъ!

— Да какой же это Жасменъ? — крикнулъ Бодянскій:— развѣ ихъ можно равнять? Что вы? Вы же сами—малороссъ.

— Намъ, малороссамъ и русскимъ, нужна одна поэзія, спокойная и сильная, — продолжалъ Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной: — нетлѣнная поэзія правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающій личными намеками и счетами, рыночный памфлетъ. Поэзія — голосъ пророка... Ея стихъ долженъ врачевать наши сомнѣнія, возвышать насъ, поучая вѣчнымъ истинамъ любви къ ближнимъ и прощенія врагамъ. Это — труба пречистаго архангела... Я знаю и люблю Шевченка, какъ земляка и даровитаго художника; мнѣ удалось и самому кое-чѣмъ помочь въ первомъ устройствѣ его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнувъ его на произведенія, чуждыя истинному таланту. Они все еще дожевываютъ европейскія, давно выкинутыя жваки. Русскій и малороссъ—это души близнецовъ, пополняющія одна другую, родныя и одинаково сильныя. Отдавать предпочтеніе одной, въ ущербъ другой, невозможно. Нѣтъ, Осипъ Максимовичъ, не то намъ нужно, не то. Всякій, пишущій теперь, долженъ думать не о розни; онъ долженъ прежде всего поставить себя передъ лицо Того, Кто далъ намъ вѣчное человѣческое слово...

Долго еще Гоголь говорилъ въ этомъ духѣ. Бодянскій молчалъ, но, очевидно, далеко не соглашался съ нимъ. — «Ну, мы вамъ мѣшаемъ, пора намъ и по домамъ!» — сказалъ, наконецъ, Бодянскій, вставая.

Мы раскланялись и вышли.

— Странный человѣкъ,—произнесъ Бодянскій, когда мы снова очутились на бульварѣ:—на него какъ найдетъ! Отрицать значеніе Шевченка! вотъ ужъ, видно, не съ той ноги сегодня всталъ.

Вышеприведенный разговоръ Гоголя я тогда же сообщилъ на родину близкому мнѣ лицу, въ письмѣ, по которому впослѣдствіи и внесъ его въ мои начатыя воспоминанія. Мнѣніе Гоголя о Шевченкѣ я не разъ, при случаѣ, передавалъ нашимъ землякамъ. Они пожимали плечами и съ досадой объясняли его посторонними, политическими соображеніями, какъ и вообще все тогдашнее настроеніе Гоголя.

Вторично я увидѣлъ Гоголя вскорѣ послѣ перваго съ нимъ свиданія, а именно—31-го октября. Поводъ къ этому подала новая моя встрѣча у Бодянскаго съ украинскимъ пѣвцомъ и полученное мною, вслѣдъ затѣмъ, отъ Бодянскаго нижеслѣдующее письмо, сохраненное у меня въ цѣлости, какъ и другія, нижеприводимыя письма.

«*30 октября, 1851 года, вторникъ.*

«Извѣщаю васъ, что землякъ, съ которымъ вы на-дняхъ видѣлись у меня, поетъ и теперь, и охотно споетъ намъ у Гоголя. Я писалъ этому послѣднему; только пѣніе онъ назначилъ не у себя, а у Аксаковыхъ, которые, узнавъ объ этомъ, упросили его на такую уступку. Если вамъ угодно, пожалуйте ко мнѣ завтра, часовъ въ 6 вечера; мы отправимся вмѣстѣ. Вашъ—О. Б.»

Въ назначенный вечеръ, 31 октября, Бодянскій, получивъ приглашеніе Аксаковыхъ, привезъ меня въ ихъ семейство, на Поварскую. Здѣсь онъ представилъ меня сѣдому, плотному господину, съ бородой и въ черномъ, на крючкахъ, зипунѣ, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергѣю Тимоѳеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой женѣ, Ольгѣ Семеновнѣ; ихъ молодой и красивой, съ привлекательными глазами, дочери, дѣвицѣ Надеждѣ Сергѣевнѣ, и обоимъ ихъ сыновьямъ, въ то время уже извѣстнымъ писателямъ-славянофиламъ, Константину и Ивану Сергѣевичамъ. О моемъ дальнѣйшемъ знакомствѣ съ этою замѣчательною литературною семьей я разскажу когда-нибудь въ другое время. Здѣсь же ограничусь разсказомъ только о томъ, что̀ касается моихъ встрѣчъ съ Гоголемъ.

Гоголь въ назначенный вечеръ пріѣхалъ къ Аксаковымъ значительно позже Бодянскаго и меня. До его пріѣзда, С. Т. Аксаковъ и его сыновья, разговорясь со мною о Петербургѣ, разспрашивали о Норовѣ, Плетневѣ, Срезневскомъ и другихъ знакомыхъ имъ писателяхъ. Всѣ посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашеннаго пѣвца. Ни тотъ, ни другой еще не являлись. Пока Бодянскій говорилъ со стариками, ко мнѣ подсѣлъ Иванъ Сергѣевичъ. Сообщивъ ему о моемъ заѣздѣ съ Бодянскимъ къ Гоголю, я спросилъ его, что̀ слышно о второмъ томѣ «Мертвыхъ душъ», который всѣхъ тогда занималъ. И. С. Аксаковъ отвѣтилъ мнѣ, что въ началѣ октября Гоголь былъ у нихъ въ деревнѣ, Абрамцовѣ, подъ Сергіевской лаврой, гдѣ читалъ отрывки изъ этого тома ихъ отцу и потомъ Шевырёву, но взялъ съ нихъ обоихъ слово — не только никому не говорить о прочитанномъ, но даже не сообщать предмета картинъ и именъ выведенныхъ имъ героевъ.

— Батюшка намъ передавалъ одно, — прибавилъ И. С. Аксаковъ:—что эта часть поэмы Гоголя, по содержанію, по обработкѣ языка и выпуклости характеровъ, показалась ему выше всего, что̀ донынѣ написано Гоголемъ. Надо думать, что Чичиковъ, въ концѣ этой части, вѣроятно, попадетъ за новыя продѣлки въ ссылку въ Сибирь, такъ какъ Гоголь у насъ и у Шевырёва взялъ много книгъ съ атласами и чертежами Сибири. Съ весны онъ затѣваетъ большое путешествіе по Россіи,—хочетъ на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою рѣчью, и затѣмъ уже снова выступить на литературной сценѣ, съ своими новыми о̀бразами. Все твердитъ: «жизнь коротка, не успѣю»; встаетъ рано, съ утра берется за перо и весь день работаетъ; ночью, въ одиннадцать часовъ—уже въ постели.

— Мы видѣли у него груду исписанныхъ бумагъ, — сказалъ я.

— Онъ маракетъ цѣлыя дести,—сказалъ И. С. Аксаковъ:— передѣлываетъ, пишетъ и опять обрабатываетъ; какъ живописецъ съ кистью, то подойдетъ и смотритъ вблизи, то отходитъ и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишкомъ рѣзко въ глаза? Его только смущаютъ несправедливыя нападки.

— За «Переписку съ друзьями»?—спросилъ я.

— Да, эти злобныя клеветы, будто онъ возгнушался искусствомъ, считаетъ его низкимъ и безполезнымъ! Вы его видѣли — это ли не истинный, преданный долгу художникъ? А его чуть не въ глаза называли, за его душевную исповѣдь, измѣнникомъ, обманщикомъ; приписывали ему низкія и подлыя цѣли. Жалкая, оторванная отъ родной почвы кучка западниковъ-либераловъ! имъ чужда Россія, чуждъ ея своеобразный, вѣрящій народъ.

Подошелъ старикъ Аксаковъ. Онъ передалъ, что Гоголь все ждетъ отъ него живыхъ «птицъ», говоря, что и свои «души» онъ постарается сдѣлать столь же живыми. Подъѣхалъ, наконецъ, Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутивъ насчетъ новаго запозданія пѣвца, онъ, послѣ перваго стакана чаю, сказалъ Над. С. Аксаковой: «Не будемъ терять дорогого времени», и просилъ ее спѣть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Всѣ подошли къ роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь малорусскихъ пѣсенъ, изъ которыхъ нѣкоторыя были ею положены на ноты, съ голоса самого Гоголя.

— Что спѣть?—спросила она.

— «Чоботы»—отвѣтилъ Гоголь.

Н. С. Аксакова спѣла «Чоботы», потомъ «Могилу», «Солнце низенько» и другія пѣсни.

Гоголь остался очень доволенъ пѣніемъ молодой хозяйки, просилъ повторять почти каждую пѣсню и былъ вообще въ отличномъ расположеніи духа. Заговорили о малорусской народной музыкѣ, вообще сравнивая ее съ великорусскою, польскою и чешскою. Бодянскій все посматривалъ на дверь, ожидая появленія приглашеннаго имъ пѣвца.

Помню, что спѣли какую-то украинскую пѣсню даже общимъ хоромъ. Кто-то въ разговорѣ, которымъ прерывалось пѣніе, сказалъ, что кучеръ Чичикова, Селифанъ, участвующій, по слухамъ, во второмъ томѣ «Мертвыхъ душъ», въ сельскомъ хороводѣ, вѣроятно, пѣлъ и только-что исполненную пѣсню. Гоголь, взглянувъ на Н. С. Аксакову, отвѣтилъ съ улыбкой, что несомнѣнно Селифанъ пѣлъ и «Чоботы», и даже при этомъ лично показалъ, какъ Селифанъ высоко-деликатными кучерскими движеніями, вывертомъ плеча и головы, долженъ былъ дополнять среди сельскихъ красавицъ свое «заливисто-фистульное» пѣніе. Всѣ улыбались, отъ души радуясь, что знаменитый гость былъ въ духѣ.

Но не прошло послѣ того и десяти минутъ, Гоголь вдругъ замолкъ, насупился, и его хорошее настроеніе безслѣдно исчезло. Усѣвшись въ сторонѣ отъ чайнаго стола, онъ какъ-то весь вошелъ въ себя и почти уже не принималъ участія въ общей длившейся бесѣдѣ. Это меня поразило. Зная его обычай, Аксаковы не тревожили его обращеніями къ нему и хотя, видимо, были смущены, покорно ждали, что онъ снова оживится.

Что вызвало въ Гоголѣ эту нежданную перемѣну въ его настроеніи, новая ли, непростительная небрежность приглашеннаго пѣвца, который и въ этотъ вечеръ такъ и не явился, или случайное напоминаніе, въ дорогой ему семьѣ, о неоконченной и мучившей его второй части «Мертвыхъ душъ»,— не знаю. Только Гоголь пробылъ здѣсь еще съ небольшимъ полчаса, посидѣлъ молча, какъ бы сквозь дремоту прислушиваясь къ тому, о чемъ говорили возлѣ него, всталъ и взялъ шляпу.

— Въ Америкѣ обыкновенно посидятъ, посидятъ,— сказалъ онъ, черезъ силу улыбаясь:—да и откланиваются.

— Куда же вы, Николай Васильевичъ, куда?—всполошились хозяева.

— Насладившись столь щедрымъ пѣніемъ обязательнаго земляка,— отвѣтилъ онъ: — надо и восвояси. Нездоровится что-то. Голова—какъ въ тискахъ.

Его не удерживали.

— А вы долго ли еще здѣсь пробудете?— спросилъ Гоголь, обратившись, на пути къ двери, ко мнѣ.

— Еще съ недѣлю,— отвѣтилъ я, провожая его, съ Бодянскимъ и И. С. Аксаковымъ.

— Вы, по словамъ Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелинъ». Кто вамъ указалъ на эту вещь?

— Плетневъ.

— Узнаю его... «Цимбелинъ» былъ любимою драмой Пушкина; онъ ставилъ его выше «Ромео и Юліи».

Гоголь уѣхалъ.

— Вотъ и вашъ пѣвецъ! это онъ причиной!—напустились дамы на Бодянскаго:—второй разъ не сдержалъ слова.

Бодянскій не оправдывалъ земляка.

— Дѣйствительно, изъ рукъ вонъ, даже вовсе грубо и неприлично!—сказалъ онъ съ сердцемъ:—то я винилъ Щепкина и его вареники; а тутъ, вижу, нѣчто иное,—затесался,

вѣроятно, въ какую-нибудь невозможную компанію... Я же ему задамъ!

Былъ уже десятый часъ вечера. Подъѣхали еще нѣкоторые знакомые Аксаковыхъ, очевидно, также разсчитывавшіе услышать малорусское пѣніе и повидать здѣсь кстати лишній разъ Гоголя, который всѣхъ тогда занималъ. Въ числѣ послѣднихъ я впервые въ тотъ же вечеръ здѣсь увидѣлъ состоявшаго въ званіи адъюнкта философіи въ московскомъ университетѣ, бѣлокураго, съ небрежною прической и оживленными глазами, скромнаго, моложаваго человѣка, въ синемъ университетскомъ вицмундирѣ, съ серебряными пуговицами. Онъ сюда пріѣхалъ съ какого-то засѣданія. То былъ близкій знакомый Аксаковыхъ, будущій знаменитый редакторъ-издатель «Русскаго Вѣстника», М. Н. Катковъ.

На другой день послѣ этого вечера, тогдашній сотрудникъ «Москвитянина», Н. В. Бергъ, пригласилъ меня, отъ имени С. П. Шевырёва, на вечеръ къ послѣднему. Здѣсь зашла опять рѣчь о Гоголѣ, и Шевырёвъ сообщилъ, что Гоголь, оставшись на-дняхъ недоволенъ игрою нѣкоторыхъ московскихъ актеровъ въ «Ревизорѣ», предложилъ, по совѣту Щепкина, лично прочесть главныя сцены этой комедіи Шумскому, Самарину и другимъ артистамъ.

Прошло еще два дня. Я уже со всѣми простился и собирался уѣхать изъ Москвы, когда получилъ отъ Бодянскаго слѣдующее письмо.

«*4-го ноября, 1851 года, воскресенье.* Мнѣ поручили просить васъ завернуть къ Аксаковымъ. Они имѣютъ къ вамъ просьбу о доставкѣ одного письма къ кому-то въ Малороссію. Вашъ весь—О. Б.»—Къ этому письму, доставленному мнѣ слугою Аксаковыхъ, была приложена слѣдующая записка, писанная, въ третьемъ лицѣ, Н. С. Аксаковою, отъ имени ея матери: «Ольга Семеновна Аксакова, узнавъ, что г. Данилевскій еще въ Москвѣ, проситъ его очень заѣхать къ ней, если только у него есть свободная минута». Я отвѣтилъ Бодянскому, что уѣзжаю 6-го ноября и что завтра постараюсь быть въ назначенное время у О. С. Аксаковой.

Вечеромъ 5-го ноября, въ понедѣльникъ, я подъѣхалъ на Поварской къ квартирѣ Аксаковыхъ. Вышедшій на мой звонокъ слуга объявилъ, что О. С. Аксакова очень извиняется, такъ какъ, по нездоровью, не можетъ меня принять,

а проситъ, отъ имени Сергѣя Тимоѳеевича и Ивана Сергѣевича, пожаловать къ Гоголю, куда они оба только-что уѣхали и куда, по желанію Гоголя, они приглашаютъ и меня. — «Что-же тамъ? — спросилъ я слугу.—Чтеніе какое-то».— Я вспомнилъ слова Шевырёва о предположенномъ чтеніи «Ревизора» и, отъ души обрадовавшись случаю—не только снова увидѣть Гоголя, но и услышать его чтеніе, поспѣшилъ на Никитскій бульваръ.

Это чтеніе описано И. С. Тургеневымъ, въ отрывкахъ изъ его литературныхъ воспоминаній. Въ описаніе И. С. Тургенева вкрались нѣкоторыя невѣрности, особенно въ изображеніи Гоголя, на котораго онъ въ то время глядѣлъ, очевидно, глазами тогдашней, враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Онъ не только въ лицѣ Гоголя усмотрѣлъ нѣчто хитрое, даже лисье, а подъ его «остриженными» усами рядъ «нехорошихъ зубовъ», чего въ дѣйствительности не было, но даже увѣряетъ, будто въ ту пору Гоголь «въ своихъ произведеніяхъ рекомендовалъ хитрость и лукавство раба». Вечеръ чтенія онъ, также ошибочно, отнесъ къ 22 октября; оно, какъ удостовѣряютъ сохраненныя у меня письма, было 5 ноября.

Чтеніе «Ревизора» происходило во второй комнатѣ квартиры гр. А. П. Толстого, влѣво отъ прихожей, которая отдѣляла эту квартиру отъ помѣщенія самого Гоголя.

Столъ, вокругъ котораго, на креслахъ и стульяхъ, усѣлись слушатели, стоялъ направо отъ двери, у дивана противъ оконъ во дворъ. Гоголь читалъ, сидя на диванѣ. Въ числѣ слушателей были: С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырёвъ, И. С. Тургеневъ, Н. В. Бергъ и другіе писатели, а также актеры М. С. Щепкинъ, П. М. Садовскій и Шумскій. Никогда не забуду чтенія Гоголя. Особенно онъ неподражаемо прочелъ монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинскимъ и Добчинскимъ.—«У васъ зубъ со свистомъ»,—произнесъ серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришепетывая при этомъ, будто и у него свистѣлъ зубъ. Неудержимый смѣхъ слушателей изрѣдка невольно прерывалъ его. Высоко-художественное и оживленное чтеніе подъ конецъ очень утомило Гоголя. Его силъ какъ-то вообще хватало не надолго. Когда онъ дочиталъ заключительную сцену комедіи, съ письмомъ, и поднялся съ дивана, очарованные слушатели долго стояли

группами, вполголоса передавая другъ другу свои впечатлѣнія. Щепкинъ, отирая слезы, обнялъ чтеца и сталъ объяснять Шумскому, въ чемъ главныя силы роли Хлестакова. Я подошелъ къ С. Т. Аксакову и спросилъ его, какое письмо онъ или его жена, по словамъ Бодянскаго, предполагали доставить черезъ меня въ Малороссію?

— Не мы, а вотъ Николай Васильевичъ имѣетъ къ вамъ просьбу, — отвѣтилъ С. Т. Аксаковъ, указывая мнѣ на Гоголя: — Бодянскій не понялъ словъ моей жены, ошибся. Намъ поручили васъ предупредить, если вы еще не уѣхали.

— Да,—произнесъ, обращаясь ко мнѣ, Гоголь:—повремените минуту; у меня есть маленькая посылка въ Петербургъ, къ Плетневу. Я не зналъ вашего адреса. Это васъ не стѣснитъ?

Я отвѣтилъ, что готовъ исполнить его желаніе, и остался. Когда всѣ разъѣхались, Гоголь велѣлъ слугѣ взять свѣчи со стола изъ комнаты, гдѣ было чтеніе, и провелъ меня на свою половину. Здѣсь, въ знакомомъ мнѣ кабинетѣ, онъ предложилъ мнѣ сѣсть, отперъ конторку и вынулъ изъ нея небольшой свертокъ бумагъ и запечатанный сюргучомъ пакетъ.

— Вы когда окончательно ѣдете изъ Москвы? — спросилъ онъ меня.

— Завтра; уже взято мѣсто въ мальпостѣ.

— Отлично; это какъ разъ устраиваетъ мое дѣло. Не откажите, — сказалъ Гоголь, подавая мнѣ пакетъ: — если только васъ не затруднитъ, вручить это лично, при свиданіи, Петру Александровичу Плетневу.

Увидѣвъ надпись на пакетѣ «со вложеніемъ», я спросилъ, не деньги ли здѣсь?

— Да, — отвѣтилъ Гоголь, запирая ключомъ конторку:— небольшой должокъ Петру Александровичу. Мнѣ бы не хотѣлось черезъ почту.

Видя усталость Гоголя, я всталъ и поклонился, съ цѣлью уйти.

— Вы мнѣ читали чужіе стихи, — сказалъ Гоголь, привѣтливо взглянувъ на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталыхъ, покраснѣвшихъ отъ чтенія глазъ:— а ваши украинскія сказки въ стихахъ? Мнѣ о нихъ говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь изъ нихъ.

Я, смутясь, отвѣтилъ, что ничего своего не помню. Го-

голь, очевидно, желая, во что бы то ни стало, сдѣлать мнѣ что-либо пріятное, опять посадилъ меня возлѣ себя и сказалъ: «Кто пишетъ стихи, навѣрное ихъ помнитъ. Въ ваши годы, они у меня торчали изъ всѣхъ кармановъ».—И онъ, какъ мнѣ показалось, даже посмотрѣлъ на боковой карманъ моего сюртука. Я снова отвѣтилъ, что положительно ничего не помню наизусть изъ своихъ стиховъ.

— Такъ разскажите своими словами.

Я передалъ содержаніе написанной мною передъ тѣмъ сказки «Снѣгурка».

— Слышалъ эту сказку и я; желаю успѣха, пишите!— сказалъ Гоголь: — въ природѣ и ея правдѣ черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева... Нынѣшніе не цѣнятъ его и не любятъ... а на немъ, не забывайте, почіетъ рукоположеніе нашего первоапостола, Пушкина...

Я простился съ Гоголемъ и болѣе въ жизни уже не видѣлъ его. Возвратясь въ Петербургъ, я въ тотъ же день вечеромъ отвезъ врученные мнѣ свертокъ и пакетъ къ Плетневу. О сверткѣ онъ сказалъ: «знаю», и положилъ его на столъ. Распечатавъ пакетъ и увидѣвъ въ немъ пачку депозитокъ, Плетневъ спросилъ меня: «а письма нѣтъ?»— Я отвѣтилъ, что Гоголь, передавая мнѣ пакетъ, сказалъ только: «должокъ Плетневу». Плетневъ заперъ деньги въ столъ, помолчалъ и съ обычною своею добродушною важностью сказалъ: «Какъ видите, онъ и здѣсь вѣренъ себѣ; это—его обычное, съ оказіями, пособіе черезъ меня нашимъ бѣднѣйшимъ студентамъ. Фицтумъ раздаетъ и не знаетъ, откуда эти пособія». — А. И. Фицтумъ былъ, въ тѣ годы, инспекторомъ студентовъ петербургскаго университета.

При отъѣздѣ изъ Москвы, мнѣ и въ голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Онъ на глаза мои и всѣхъ, видѣвшихъ его тогда и говорившихъ со мною о немъ, былъ на видъ совершенно здоровъ и только изрѣдка впадалъ въ недовольство собою и въ хандру и легко уставалъ.

Помня обѣщаніе, данное мною Гоголю при Бодянскомъ, а именно — о присылкѣ ему новыхъ произведеній А. Н. Майкова, я обратился къ послѣднему съ просьбою — дать мнѣ, для снятія вѣрной копіи, рукопись его поэмъ. А. Н. Майковъ, по совѣту общаго нашего ментора, профессора

А. В. Никитенко, рѣшилъ дать мнѣ эти вещи, для доставленія въ Москву, не прежде, какъ онъ ознакомитъ съ ними тогдашняго нашего общаго начальника, А. С. Норова. Онъ прибавилъ, что кстати въ это время займется и окончательною отдѣлкой поэмъ. Въ концѣ января 1852 года, я получилъ обѣщанное и извѣстилъ Бодянскаго, что на-дняхъ высылаю Гоголю обѣ поэмы А. Н. Майкова, которыя передъ новымъ годомъ, какъ я писалъ Бодянскому, были посылаемы отъ Плетнева Жуковскому и заслужили большія похвалы послѣдняго. Бодянскій на это отвѣтилъ мнѣ нижеслѣдующимъ письмомъ, которое лучше всего можетъ показать, какъ мало въ то время московскіе друзья Гоголя помышляли о близкой утратѣ послѣдняго. Это письмо писано за 19 дней до смерти Гоголя, и, упоминая о немъ «вскользь», — какъ объ «источникѣ сладостей», — тѣмъ самымъ какъ бы говорило, что въ обиходѣ этого источника все пока обстояло благополучно.

«*Москва, 1852 года, февраля 2.* — Да, почтеннѣйшій землякъ, время летитъ, а съ нимъ и мы летимъ и улетучиваемся. Славные часы были по осени у насъ, рѣдкіе часы! Хотя и тутъ же, у источника этихъ сладостей, а все съ тѣхъ поръ ни разу не привелось отвѣдать отъ него. Причина простая — семейство пѣвуньи (Н. С. Аксаковой) живетъ бо́льшею частью въ подмосковной.—Что́ до Гоголя, то онъ, какъ вы знаете, живетъ на Никитскомъ бульварѣ, въ домѣ Талызина. Посылая ему произведенія Майкова, не обойдите и меня. Я такъ мало имѣю случаевъ отвѣдывать подобнаго плода. Вкусъ Жуковскаго хорошъ; стало-быть, вдвойнѣ наслажденіе—познакомиться съ хвалимымъ и провѣрить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Б—й».

Недѣли черезъ двѣ съ половиной, по полученіи мною этого письма, въ Петербургѣ нежданно, съ особымъ упорствомъ, заговорили о болѣзни Гоголя. Хотя этой болѣзни въ то время не придавали особаго значенія, 18-го февраля я обратился съ письмомъ къ И. С. Аксакову, прося его сообщить, чѣмъ именно заболѣлъ Гоголь и что́ сталось съ его дальнѣйшею работой надъ «Мертвыми душами»? Отвѣтъ отъ Аксакова не приходилъ. И вдругъ, 24-го февраля, разнеслась потрясающая вѣсть, что Гоголь 21-го февраля скончался. Пораженный этимъ, я тогда же написалъ къ Бодянскому, прося его скорѣе сообщить хотя нѣкоторыя свѣ-

дѣнія, объ этой нежданной великой утратѣ. Вотъ отвѣтъ Бодянскаго:

«*28-го февраля 1852 года, Москва.*—Вы желаете, чтобы я написалъ вамъ о послѣднихъ минутахъ Гоголя, о моихъ послѣднихъ свиданіяхъ съ нимъ, о его смерти и бумагахъ на Москвѣ, потерявшей его. Не скажу, добрòдію, не скажу! И теперь я хожу, какъ угорѣлый, и на лекціи по сю пору не соберусь никоимъ путемъ. Все онъ, одинъ онъ—въ умѣ и въ глазахъ! Когда-нибудь, можетъ-быть, соберусь съ духомъ—поразсказать вамъ. Нынче же замѣчу только: недѣли за двѣ до смерти, покойникъ видимо чахъ; онъ предчувствовалъ недоброе и потому на масляной говѣлъ и пріобщился. Въ половинѣ первой недѣли поста соборовался, а 21-го, въ четвергъ, въ 8 часовъ утра, его не стало. Болѣзнь—несваренiе желудка, отъ которой онъ не хотѣлъ вовсе лѣчиться. Послѣдовало воспаленiе, за коимъ онъ впалъ въ безпамятство. Всѣмъ намъ едино — умрети. Но вотъ бѣда: онъ въ ночь, часу во 2—3-мъ, сжегъ всѣ свои бумаги до тла. Премного провинились окружавшiе его, изъ коихъ одному онъ отдавалъ весь свой портфель, туго набитый; а тотъ, разумѣется, поцеремонился, какъ самъ потомъ имѣлъ еще духъ разсказывать. Нема нашего Рудáго-Панькà больше, да и не буде, пòки свитъ стоять буде. Не забывайте вашего щираго земляка, О. Бодянскаго». — Послѣ я узналъ, что Гоголь свои бумаги отдавалъ-было хозяину своей квартиры, гр. А. П. Толстому, но тотъ, не желая показать виду, что считаетъ положенiе своего гостя опаснымъ, отказался ихъ принять.

И. С. Аксаковъ, на мои вопросы о болѣзни Гоголя, отвѣтилъ мнѣ въ томъ же февралѣ, но послалъ свой отвѣтъ уже въ началѣ марта. Вотъ этотъ отвѣтъ: «Ваше письмо, любезнѣйшiй Г. П., было получено мною 21-го февраля, въ самый день смерти Гоголя. И какъ странно было мнѣ читать это письмо, въ которомъ вы безпрестанно о немъ говорите, въ которомъ вы просите матушку помолиться за Гоголя и за «Мертвыя души». Ни того, ни другого больше не существуетъ. «Мертвыя души» сожжены, самая жизнь Гоголя сгорѣла отъ постоянной душевной муки, отъ безпрерывныхъ духовныхъ подвиговъ, отъ тщетныхъ усилiй—отыскать обѣщанную имъ свѣтлую сторону, отъ необъятности творческой дѣятельности, вѣчно происходившей

въ немъ и вмѣщавшейся въ такомъ скудельномъ сосудѣ. Сосудъ не выдержалъ. Гоголь умеръ безъ особенной болѣзни. Современемъ вы узнаете всѣ подробности его жизни, мученичества и кончины. Въ настоящее время едва ли прилично будетъ разсказывать о немъ печатно нашему языческому обществу. Гоголь былъ истинный мученикъ искусства и мученикъ христіанства. Художественная дѣятельность этого монаха-художника была истинно-подвижническая. Теперь намъ надо начинать новый строй *жизни — безъ Гоголя*.—Весь вашъ душою—*Ив. Аксаковъ*».

Началась жизнь—«безъ Гоголя»... Отлично помню тогдашнее наше настроеніе. Мы, искренніе поклонники великаго писателя, были въ неописанномъ горѣ — еще потому, что онъ умеръ, осыпаемый безсердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успѣвъ довести до конца своей главной, завѣтной работы. Вышла литографія съ изображеніемъ Гоголя въ гробу. Ее раскупили на-расхватъ. Вслѣдъ за похоронами Гоголя, произошелъ извѣстный арестъ при полиціи И. С. Тургенева и его высылка въ деревню, за напечатаніе имъ въ Москвѣ замѣтки объ умершемъ Гоголѣ, непропущенной цензурою въ Петербургѣ. Нѣкоторые придавали этому объясненіе, будто бы Тургеневъ поплатился за то, что въ своей невинной замѣткѣ назвалъ «великимъ» Гоголя, котораго, какъ сатирика, не долюбливало тогда высшее начальство. Дѣло было нѣсколько иначе. Авторъ замѣтки поплатился не за ея содержаніе, а за несоблюденіе формальностей цензурнаго устава. Когда статью И. С. Тургенева цензура не пропустила въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», я получилъ отъ тогдашняго издателя послѣднихъ, А. А. Краевскаго, слѣдующее письмо: «Мнѣ бы очень нужно было сказать вамъ два слова, Г. П. Не можете ли вы завернуть ко мнѣ сегодня между 6 и 7 часами вечера? Пятница, 29-го февраля. Вашъ А. Краевскій». Навѣстивъ г. Краевскаго, я узналъ отъ него, что статью Тургенева, послѣ задержанія ея цензоромъ, не одобрилъ и М. Н. Мусинъ-Пушкинъ, тогдашній попечитель с.-петербургскаго учебнаго округа и предсѣдатель с.-петербургскаго цензурнаго комитета. Мусинъ-Пушкинъ, къ сожалѣнію, какъ и нѣкоторые другіе его сверстники, смотрѣлъ тогда на Гоголя глазами враждебной послѣднему «Сѣверной Пчелы» и потому не особенно высоко цѣнилъ произведенія автора «Мертвыхъ душъ»

и «Ревизора». А. А. Краевскій горячо возсталъ въ защиту какъ Гоголя, такъ и И. С. Тургенева, автора поминальной замѣтки о немъ. Онъ, вручивъ мнѣ оттискъ задержанной статьи Тургенева, обратился ко мнѣ съ просьбою—сообщить о ея задержаніи высшей инстанціи, а именно товарищу министра просвѣщенія А. С. Норову, при коемъ я тогда состоялъ на службѣ, и просить о его ходатайствѣ за пропускъ этой вполнѣ невинной статьи передъ министромъ просвѣщенія, княземъ П. А. Ширинскимъ-Шахматовымъ, которому въ то время былъ предоставленъ высшій надзоръ за цензурою. Норовъ, совершенно раздѣляя взглядъ г. Краевскаго, охотно взялся исполнить желаніе послѣдняго и, при первомъ же своемъ докладѣ, сообщилъ это дѣло министру, ходатайствуя о пропускѣ остановленной статьи. Князь Ширинскій-Шахматовъ не согласился на отмѣну распоряженія Мусина-Пушкина. Издатель «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» А. А. Краевскій и ихъ редакторъ А. Н. Очкинъ покорились этому рѣшенію. Но задержанная статья, однако, мимо ихъ, 13-го марта, явилась въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», гдѣ ее пропустилъ къ печатанію попечитель московскаго учебнаго округа В. И. Назимовъ. Послали запросъ въ Москву. Назимовъ отвѣтилъ, что ему не было извѣстно о задержаніи статьи попечителемъ с.-петербургскаго учебнаго округа и самимъ министромъ просвѣщенія. Начальство сочло себя обиженнымъ. Статья, остановленная въ одномъ цензурномъ округѣ, не могла явиться въ другомъ. Нашли, что авторъ замѣтки сознательно нарушилъ это цензурное правило, и ему, послѣ его ареста, въ половинѣ апрѣля, предложили даже выѣхать изъ Петербурга въ его орловское помѣстье. Я былъ тогда уже внѣ Петербурга. Эта высылка всѣхъ поразила. Толковали не о простомъ нарушеніи цензурныхъ формальностей, а о томъ, будто авторъ «Записокъ охотника» написалъ, по поводу кончины Гоголя, нѣчто невозможно рѣзкое. Его статья недавно помѣщена въ его «Воспоминаніяхъ». Въ ней, кромѣ нѣсколькихъ сердечныхъ, теплыхъ словъ о Гоголѣ, ничего болѣе нѣтъ.

Проѣздомъ въ отпускъ черезъ Москву, я навѣстилъ Бодянскаго и съѣздилъ съ нимъ въ Даниловъ монастырь, на могилу Гоголя.

— Вы ѣдете въ харьковскую губернію?—спросилъ меня при этомъ Бодянскій.

— Да, въ окрестности Чугуева.

— Что бы вамъ съ вашего Донца проѣхать въ Полтаву? Побывали бы въ деревнѣ Гоголя. Тамъ теперь его мать и сестры. Имъ будетъ пріятно услышать о немъ, вы лично видѣли его осенью.

— А и въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ я. — Рудый Панько не одного меня, съ нашего дѣтства, звалъ къ себѣ на хуторъ. Но какъ туда проѣхать?

Бодянскій вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моемъ заѣздѣ его мать и сестеръ и прислать мнѣ къ нимъ письмо, а также подробный туда маршрутъ, по почтовой дорогѣ и просёлкамъ. Онъ сдержалъ слово. Недѣли черезъ двѣ по прибытіи на родину, я получилъ отъ него обѣщанное письмо и маршрутъ и рѣшилъ навѣстить съ дѣтства меня манившій «хуторъ близъ Диканьки».

II.

Это было черезъ два съ половиною мѣсяца по кончинѣ Гоголя, въ маѣ 1852 года.

Изъ-подъ Чугуева, гдѣ я гостилъ у своей матери, я отправился на почтовой перекладной, черезъ Харьковъ, въ Миргородъ, а оттуда на Колонтай, Оплошно и Воронянщину, въ село Яновщину (Васильевка—тожъ), на родину Гоголя, близъ Диканьки. Дорога, отъ рѣки Ворсклы, шла Кочубеевскими степями. Поля въ ту весну еще не видѣли косы и пышно зеленѣли. Цвѣты пестрѣли роскошными коврами. Голова кружилась отъ ихъ благоуханія.

Былъ полдень. Лошади лѣниво тащились, срывая на ходу головки махровыхъ султанчиковъ. Изъ телѣжки, слегка нагибаясь, я нарвалъ цѣлый ихъ букетъ. Невольно вспоминались картины изъ «Тараса Бульбы». Тѣ же пышные кусты репейника, будто косари въ алыхъ шапкахъ, торчали надъ травой, съ своими колючими косами, тотъ же длинный, желтый дрокъ и бѣлая кашка. Огромная дрофа, какъ страусъ, поднявъ голову, осторожно пробиралась по зеленѣющей пшеницѣ, невдали отъ телѣги. Стаи кузнечиковъ, поднимаясь съ дороги, передъ лошадьми, летѣли и падали въ траву голубыми и розовыми, крылатыми ракетами.

— Гдѣ хуторъ Гоголя? — спрашивалъ я изрѣдка встрѣчавшихся путниковъ.

— Гоголя? не знаемъ! — отвѣчали они.

Я догадался объяснить, что хуторъ называется Васильевка или Яндвщина.

— Яндвщина? Знаемъ, пане, знаемъ!—Вотъ туда дорога.

И мнѣ указали просёлокъ къ Гоголю-Яновскому, въ село Васильевку «Рудаго-Панька».

Отъ Опошни до с. Воронянщины я ѣхалъ, вслѣдствіе нестерпимаго жара, почти шагомъ. Всю дорогу за мною, сидя на возу съ корзинами спѣлой шелковицы, ѣхалъ на волахъ толстый поселянинъ-казакъ, свѣсивъ ноги съ воза, лѣниво сгорбясь, напѣвая и покачиваясь отъ одолѣвавшей его дремоты. Встрѣчавшіеся на пути толчки будили его; онъ просыпался и снова пѣлъ одно и то же.

Стало прохладнѣе. Я поѣхалъ рысью.

До села Яндвщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогоромъ.

Я остановился въ сосѣднемъ хуторѣ Воронянщина, вслѣдствіе соскочившей колёсной гайки, которую ямщикъ пошелъ отыскивать. Я присѣлъ въ тѣни, на призбѣ ближайшей хаты. Ея хозяйка, съ грудным ребенкомъ на рукахъ, привѣтливо разговорилась со мною изъ сѣней, гдѣ въ прохладѣ сидѣли еще другія дѣти. Зашла рѣчь о ихъ сосѣдѣ, Гоголѣ-Яновскомъ.

— То не правда, что толкуютъ, будто онъ умеръ,—сказала она: — похороненъ не онъ, а одинъ убогій старецъ; самъ онъ, слышно, поѣхалъ молиться за насъ въ святой Іерусалимъ. Уѣхалъ и скоро опять вернется сюда.

Странная вещь. Сосѣдніе хуторяне, какъ я удостовѣрился въ то время, дѣйствительно, можетъ-быть, въ виду частаго и продолжительнаго пребыванія Гоголя за границей, долго были убѣждены, что онъ не умеръ, а находится въ чужихъ краяхъ. Нѣкоторые изъ нихъ, обязанные ему чѣмъ-нибудь въ жизни, даже гадали по немъ, ставя на ночь пустой поливянный горшокъ и сажая въ него паука. Объ этомъ мнѣ передала мать Гоголя, которую всѣ сосѣди близко знали и любили. По мѣстному повѣрью, если паукъ вылѣзетъ ночью изъ горшка съ выпуклыми, скользкими стѣнками, то человѣкъ, по которомъ гадаютъ, живъ и возвратится. Паукъ, на котораго хуторянами было возложено рѣшить, живъ ли Рудый-Панько, ночью заткалъ паутиною бокъ горшка и по ней вылѣзъ; но Гоголь, къ огорченію гадавшихъ, не возвратился.

Хуторъ Яновщина выглянулъ, наконецъ, между двухъ зеленыхъ, отлогихъ холмовъ. Съ дороги стала видна на широкой полянѣ каменная церковь съ зеленою крышей. За церковью, спадая въ долину, виднѣлись бѣлыя избы хутора, вперемежку съ садами; слѣва отъ церкви — левада, родъ огромнаго огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви — сквозная, въ видѣ рѣшетки, изъ окрашенныхъ желтою и бѣлою краской кирпичей. На пути къ церкви, примыкая къ избамъ хутора, виднѣлась другая ограда. За нею показался господскій деревянный домъ, съ красною деревянною крышей, въ одинъ этажъ; направо отъ него — флигель, налѣво — хозяйскія постройки, кухня, амбаръ и конюшня. За домомъ, спускаясь къ болотистому логу, зеленѣлъ старый, тѣнистый садъ; за садомъ виднѣлись вырытые въ долинѣ пруды,—за ними — неоглядныя, зеленыя равнины украинской степи. Пруды вырылъ отецъ Гоголя, бывшій усерднымъ хозяиномъ.

Я въѣхалъ во дворъ. По его травѣ бѣгали дворовые ребятишки. Телѣга остановилась у крыльца. Я всталъ, отряхая съ себя густую дорожную пыль. Никто не слышалъ стука телѣги, и я тщетно посматривалъ, къ кому обратиться съ вопросомъ о хозяевахъ. Все было тихо. Чуть шелестѣли листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка въ деревьяхъ за церковью. Я вошелъ въ домъ. Меня встрѣтили въ траурѣ мать и двѣ дѣвицы — сестры покойнаго Гоголя, Анна Васильевна и Ольга Васильевна. Его третья сестра, Елисавета Васильевна, при его жизни, минувшею осенью, вышла замужъ за г. Быкова и тогда находилась въ Кіевѣ. Я вручилъ матери Гоголя письмо Бодянскаго. Послѣ первыхъ привѣтствій, мнѣ дали умыться, переодѣться, закусить. Въ гостиной, за чаемъ, меня осыпали вопросами о моихъ осеннихъ встрѣчахъ съ Николаемъ Васильевичемъ. Оказалось, что Шевырёвъ, видѣвшійся съ Бодянскимъ послѣ моего проѣзда черезъ Москву, предупредилъ мать Гоголя о моемъ заѣздѣ, и меня здѣсь уже ожидали. Эти черныя, шерстяныя платья, эт" полныя горькой скорби лица и эти слезы близкихъ великаг писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна мать Гоголя, говорила о сынѣ съ глубокимъ, почти суевѣр нымъ благоговѣніемъ.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы: — зналъ

самъ государь и, за его писательство, велѣлъ считать его на службѣ и отпускать ему жалованье. Не пожилъ покойный, не послужилъ родинѣ!

— Вашъ сынъ долго отсутствовалъ за границей?

— Почти восемнадцать лѣтъ; но онъ и тамъ служилъ перомъ своей родинѣ.

Мы прошли въ садъ. Но прежде опишу домъ. Гоголь, въ послѣдніе четыре года, въ свои пріѣзды къ матери, обыкновенно помѣщался во флигелѣ, направо отъ большого дома. Здѣсь онъ, по словамъ его близкихъ, работалъ и надъ вторымъ томомъ «Мертвыхъ душъ», съ 20-го апрѣля по 22-е мая 1851 года, въ послѣднее свое пребываніе въ Яновщинѣ.

Флигель — низенькое, продолговатое строеніе, съ крытою галлереей, выходящею во дворъ. Ветхія ступени вели на крыльцо; изъ небольшихъ сѣней былъ входъ въ просторную комнату, родъ залы, а отсюда въ гостиную.

Въ этой гостиной и въ кабинетѣ поочередно работалъ и отдыхалъ Гоголь. Постоянно тревожное его настроеніе, по словамъ его матери, въ послѣдній его заѣздъ сюда, заставляло его нерѣдко мѣнять свои рабочія комнаты. Также точно онъ, по ея словамъ, не могъ нѣсколько ночей сряду и спать въ одной и той же комнатѣ. Трудно это приписать, какъ это объяснили впослѣдствіи, мухамъ, которыхъ на югѣ весною почти не бываетъ, или безпокойству отъ солнечныхъ лучей; во всѣхъ комнатахъ флигеля я засталъ въ мой заѣздъ на окнахъ занавѣски. Окна гостиной выходили въ особый палисадникъ у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними былъ видъ на избы хутора и на степь.

Кабинетъ во флигелѣ былъ расположенъ въ другомъ концѣ зданія и имѣлъ особый выходъ въ садъ. Здѣсь болѣе всего оставался Гоголь. Въ послѣднее свое пребываніе въ Васильевкѣ, онъ отсюда не выходилъ иногда по цѣлымъ днямъ, являясь въ домъ только къ обѣду и вечернему чаю. Это — комната въ десять шаговъ длины и въ четыре шага ширины. Два небольшихъ ея окна выходятъ во дворъ, между ними зеркало. На окнахъ бѣлыя кисейныя занавѣски. Влѣво отъ двери—печь; вправо—дубовый шкапъ для книгъ. Этотъ шкапъ былъ заказанъ Гоголемъ лѣтомъ 1851 года и оконченъ уже безъ него. Влѣво отъ печи стояла деревянная,

простая кровать, покрытая ковромъ. Кромѣ писанія, во флигелѣ Гоголь усердно занимался въ послѣднее время улучшеніемъ фабрикаціи домашнихъ ковровъ, — самъ рисовалъ для нихъ узоры, — и это занятіе, съ разведеніемъ деревьевъ въ саду, составляло его главное удовольствіе въ немногіе часы его отдыха. Надъ кроватью въ углу висѣлъ образъ св. угодника Митрофанія. Рабочій столъ Гоголя помѣщался между печью и кроватью, у забитой, лишней двери. Это — на высокихъ ножкахъ конторка, изъ грушеваго дерева, съ косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки съ двухъ сторонъ вдѣланы чернильница и песочница. На стѣнѣ, надъ конторкою, висѣлъ привезенный Гоголемъ изъ Италіи Нерукотворенный образъ Спасителя, писанный масляными красками.

Домъ, гдѣ помѣщались мать и сестра Гоголя, выстроенъ удобно. По стѣнамъ были развѣшаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и англійскія гравюры, изображающія рыночныя и рыбачьи сцены въ Англіи. Въ залѣ стоялъ рояль, за которымъ Гоголь, по словамъ его матери, иногда любилъ наигрывать и пѣть свои любимыя украинскія пѣсни, особенно—веселыя и плясовыя.

— Онъ иногда смѣшилъ насъ до упаду, — сказала мнѣ М. И. Гоголь: — самъ казался веселъ, хотя въ душѣ оставался постоянно задумчивымъ и печальнымъ.

Кстати о матери Гоголя. Она—урожденная Косяровская. дочь чиновника. Когда я впервые увидѣлъ ее, по пріѣздѣ въ Яновщину, меня поразило ея близкое сходство съ ея покойнымъ сыномъ: тѣ же красиво очерченныя, крупныя губы, съ чуть замѣтными усиками, и тѣ же каріе, нѣжновнимательные глаза. Она была въ бѣломъ чепцѣ и безъ малѣйшей сѣдины. Ея полныя, румяныя, безъ морщинъ, щеки говорили, какъ была въ молодости красива эта еще и въ то время замѣчательно красивая женщина.

— Покойный братъ, — сказала мнѣ старшая сестра Гоголя, когда мы вышли въ садъ: — все затѣвалъ исправить, перестроить домъ — передѣлать въ немъ печи, перемѣнить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимою у васъ холодно, писалъ онъ, надо иначе устроить сѣни. Оштукатурили мы домъ особымъ составомъ, по присланному изъ-за границы рецепту. Самъ онъ не выносилъ зимы и любилъ лѣто,—ненатопленное тепло.

Старый, дѣдовскій садъ, гдѣ такъ любилъ гулять Гоголь, расположенъ во вкусѣ всѣхъ украинскихъ сельскихъ садовъ. Его деревья высоки и вѣтвисты. По сторонамъ тѣнистой дорожки, идущей вправо отъ садоваго балкона, Гоголь, въ послѣднее здѣсь пребываніе, посадилъ съ десятокъ молодыхъ деревцовъ клена и березы. Далѣе, на луговой полянѣ, онъ посадилъ нѣсколько желудей, давшихъ съ новою весной свѣжіе и сильные побѣги. Влѣво отъ балкона, другая, менѣе тѣнистая дорожка идетъ надъ прудомъ и упирается во второй, смежный съ нимъ прудъ. По этой дорожкѣ особенно любилъ гулять Гоголь. Возлѣ нея, на пригоркѣ, стояла деревянная бесѣдка, разрушенная бурею, вскорѣ за послѣднимъ отъѣздомъ Гоголя изъ Яновщины. Тутъ же, недалеко, въ тѣни нависшихъ липъ и акацій, былъ устроенъ небольшой гротъ, съ огромнымъ дикимъ камнемъ у входа. На этомъ камнѣ Гоголь, по словамъ его матери, игралъ, будучи еще ребенкомъ по третьему году. Черезъ сорокъ лѣтъ послѣ этой поры, онъ любилъ садиться на этотъ камень, любуясь съ него видомъ прудовъ и окрестныхъ полей.

На дальнемъ прудѣ, за садомъ, стояла купальня. Къ ней ѣздили на небольшомъ, двухъ-весельномъ плотѣ. Купальню Гоголь устроилъ для себя, но пользовался ею не болѣе трехъ разъ. За прудомъ—широкая поляна, обсаженная надъ берегомъ вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживалъ съ особымъ участіемъ.

— Вонъ туда, за церковь, — замѣтила Марья Ивановна, указывая за садъ: — сынъ любилъ по вечерамъ одинъ ходить въ поле.

Это былъ просёлокъ въ деревни Яворщину и Толстое, куда нерѣдко, въ прежнее время, бывая здѣсь, Гоголь хаживалъ пѣшкомъ въ гости, своеобразно разсказывая друзьямъ, какъ онъ совершалъ возвратный путь, пополамъ «съ подсѣдомъ на чужія телѣги», а потомъ опять «съ напускомъ пѣхондачка». За послѣдніе годы онъ почти никого не посѣщалъ изъ сосѣдей.

Гоголь въ деревнѣ вставалъ рано; въ воскресные дни посѣщалъ церковь; въ будни тотчасъ принимался за работу, не отрываясь отъ нея иногда по пяти часовъ сряду. Напившись кофе, онъ до обѣда гулялъ. За обѣдомъ старался быть веселымъ, шутилъ, разсказывалъ импровизованные анекдоты и все передвечернее время оставался въ кругу

семьи, хотя иногда среди близкихъ, какъ и среди знакомыхъ, любилъ и просто помолчать, слушая разговоры другихъ. Вечеромъ онъ опять гулялъ, катался на плоту по прудамъ или работалъ въ саду, говоря, что тѣлесное утомленіе, «рукопашная работа» на вольномъ воздухѣ — освѣжаютъ его и даютъ силу писательскимъ его занятіямъ. Гоголь въ деревнѣ ложился спать рано, не позже десяти часовъ вечера. Оставаясь среди семьи, онъ въ особенности любилъ приниматься за разныя домашнія работы; кромѣ рисованія узоровъ для любимаго его матерью тканья ковровъ, онъ кроилъ сестрамъ платья и принималъ участіе въ обивкѣ мебели и въ окраскѣ оштукатуренныхъ при его пособіи стѣнъ. Я засталъ гостиную въ домѣ его матери—раскрашенную его рукой, въ видѣ широкихъ голубыхъ полосъ по бѣлому полю, залъ—съ бѣлыми и желтыми полосами.

Изъ сосѣдей Гоголя немногіе посѣщали его. Иные боялись обезпокоить его среди литературныхъ занятій; другіе, изъ старыхъ друзей, въ то время не жили въ своихъ помѣстьяхъ; а третьи, по странному мнѣнію о характерѣ сатирическихъ писателей, просто боялись его. Вообще, соотечественники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно послѣ изданной имъ «Переписки съ друзьями», упорно избѣгалъ свиданія съ сосѣдями, говоря въ шутку сестрамъ, что прежде, чѣмъ явится кто-либо изъ окрестныхъ знакомыхъ, того и гляди уже выскочитъ «длинноязыкая бестія—чортъ», распускающій сплетни. Посторонними собесѣдниками Гоголя изъ его сосѣдей изрѣдка были, большею частью, простолюдины-хуторяне, убогіе и несчастные, которымъ онъ часто помогалъ. Оба священника села Васильевки, въ послѣдніе заѣзды сюда Гоголя, были отъявленные пьяницы. Поневолѣ онъ переписывался съ отдаленнымъ священникомъ города Ржева.

Къ украшеніямъ дома въ Яновщинѣ, въ послѣднее здѣсь пребываніе Гоголя, прибавились: его чрезвычайно схожій портретъ, писанный въ 1840 году масляными красками Моллеромъ (этотъ портретъ былъ привезенъ Гоголемъ въ подарокъ матери изъ Петербурга), и трость изъ пальмовой вѣтви, съ которою Гоголь путешествовалъ по Святой Землѣ.

— Мы его съ прошлой осени ждали на всю зиму въ деревню, — сказала мнѣ мать Гоголя: — онъ сперва думалъ ѣхать въ Крымъ, хотя говорилъ, что Крымъ прелесть, но

безъ людей тамъ—тоска. Зимою онъ почти никогда не жилъ въ деревнѣ.

— Почему?

— Онъ это объяснялъ тѣмъ, что въ деревнѣ въ ненастную погоду онъ болѣе хвораетъ, чѣмъ въ городѣ. Ему каждый день были нужны прогулки, и онъ предпочиталъ Москву, гдѣ всѣ дома просторнѣе и теплѣе и гдѣ для прогулокъ пѣшкомъ устроены хорошіе тротуары.

— Онъ и при мнѣ выражалъ сожалѣніе Бодянскому, — сказалъ я: — что не попалъ на свадьбу сестры — по нездоровью и изъ-за осенней погоды.

— А ужъ какъ онъ этого хотѣлъ, — замѣтила мать Гоголя:—мечталъ въ подарокъ новобрачной купить небольшую коляску и въ ней пріѣхать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, не хватило денегъ.

Гоголь, пославшій черезъ меня Плетнёву пособіе бѣднымъ студентамъ, дѣйствительно, самъ нуждался въ средствахъ къ жизни. Надо вспомнить, что въ то же время книгопродавцы, скупившіе остатки послѣдняго изданія его сочиненій, распускали слухъ, что новаго изданія почему-то не будетъ, и продавали каждый его экземпляръ по сто рублей.

Гоголь, по словамъ его матери, родился 19-го марта 1809 года, въ селѣ Сорочинцахъ, въ двадцати верстахъ отъ Яновщины. Черезъ три года исполнится восемьдесятъ лѣтъ со дня его рожденія. Марья Ивановна Гоголь имѣла до него другихъ дѣтей, изъ которыхъ ни одинъ не жилъ болѣе недѣли, вслѣдствіе чего появленія на свѣтъ новаго дитяти она ожидала съ грустнымъ и тяжелымъ раздумьемъ, будетъ ли ему суждено остаться въ живыхъ? Родился мальчикъ, котораго назвали Николаемъ. Новорожденный былъ необыкновенно слабъ и худъ. Долго опасались за его жизнь. Черезъ шесть недѣль онъ былъ перевезенъ въ родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организмъ, онъ, однако, скоро показалъ, что не въ тѣлѣ сила человѣка. Трехъ лѣтъ отъ роду, онъ уже сносно разбиралъ и писалъ слова мѣломъ, запомнивъ алфавитъ по рисованнымъ, игрушечнымъ буквамъ.

Пяти лѣтъ отъ роду Гоголь, по словамъ его матери, вздумалъ писать стихи. Никто не понималъ, какого рода стихи онъ писалъ. У его домашнихъ осталось воспоминаніе, что извѣстный украинскій литераторъ Капнистъ, заѣхавъ од-

нажды къ отцу Гоголя, засталъ его пятилѣтняго сына за перомъ. Малютка Гоголь сидѣлъ у стола, глубокомысленно задумавшись надъ какимъ-то писаніемъ. Капнисту удалось просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведеніе. Гоголь отвелъ Капниста въ другую комнату и тамъ прочелъ ему свои стихи. Капнистъ никому не сообщилъ о содержаніи выслушаннаго имъ. Возвратившись къ домашнимъ Гоголя, онъ, лаская и обнимая маленькаго сочинителя, сказалъ: «Изъ него будетъ большой талантъ, дай ему только судьба въ руководители учителя-христіанина!» Склонность Гоголя къ стихамъ проявлялась въ немъ впослѣдствіи еще не одинъ разъ. По словамъ его матери, онъ въ Нѣжинскомъ лицеѣ написалъ стихотвореніе «Россія подъ игомъ татаръ». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписалъ въ изящную книжечку, украсилъ ее собственными рисунками и переслалъ матери изъ Нѣжина по почтѣ. Изъ всего содержанія этой поэмы, увезенной имъ впослѣдствіи изъ Яновщины и, вѣроятно, истребленной, мать покойнаго вспомнила мнѣ только окончаніе, а именно, слѣдующіе два стиха:

«Раздвинувъ тучки среброрунны,
«Явилась трепетно луна».

Гоголь, начавъ впослѣдствіи писать исключительно прозою, обыкновенно молчалъ о своихъ первыхъ стихотворныхъ попыткахъ. О сожженіи имъ изданной своей поэмы «Гансъ-Кюхельгартенъ» мнѣ разсказалъ свидѣтель этого аутодафе, его бывшій камердинеръ и поваръ, Якимъ, состоявшій во время моего пріѣзда въ Яновщину дворецкимъ и ключникомъ. Застѣнчивый и робкій Якимъ передалъ мнѣ, что его покойный баринъ однажды, въ Петербургѣ, пришелъ домой сильно не въ духѣ и послалъ его скупать и отбирать по книжнымъ лавкамъ отданныя на комиссію книгопродавцамъ синенькія книжки, на которыхъ было заглавіе: «Гансъ-Кюхельгартенъ». Были собраны, привезены и безъ всякаго сожалѣнія сожжены около шести сотъ этихъ книжекъ. Кстати объ этомъ Якимѣ. Узнавъ, въ 1837 году, о смерти Пушкина, онъ неутѣшно плакалъ въ передней Гоголя.

— О чемъ ты плачешь, Якимъ? — спросилъ его кто-то изъ знакомыхъ.

— Какъ же мнѣ не плакать... Пушкинъ умеръ.

— Да тебѣ-то что? развѣ ты его зналъ?

— Какъ что? и зналъ, и жалко. Помилуйте, они такъ любили барина. Бывало, снѣгъ, дождь и слякоть въ Петербургѣ, а они въ своей шинелькѣ бѣгутъ съ Мойки, отъ Полицейскаго моста, сюда, въ Мѣщанскую. По цѣлымъ ночамъ у барина просиживали, слушая, какъ нашъ-то читалъ имъ свои сочиненія, либо читая ему свои стихи.

Зная объ этомъ слугѣ Гоголя отъ Плетнева, я сталъ разспрашивать Якима о времени знакомства Гоголя съ Пушкинымъ. По словамъ Якима, Пушкинъ, заходя къ Гоголю и не заставая его, съ досадою рылся въ его бумагахъ, желая знать, что онъ написалъ новаго. Онъ съ любовью слѣдилъ за развитіемъ Гоголя и все твердилъ ему: «пишите, пишите», а отъ его повѣстей хохоталъ, и уходилъ отъ Гоголя всегда веселый и въ духѣ. Наканунѣ отъѣзда Гоголя, въ 1836 году, за границу, Пушкинъ, по словамъ Якима, просидѣлъ у него въ квартирѣ, въ домѣ каретника Іохима, на Мѣщанской, всю ночь на пролетъ. Онъ читалъ начатыя имъ сочиненія. Это было послѣднее свиданіе великихъ писателей. Въ 1837 году Пушкинъ скончался. Гоголь, по возвращеніи изъ чужихъ краевъ, уже не засталъ его въ живыхъ.

Мать Гоголя мнѣ передавала, что первые годы отрочества онъ провелъ со своимъ младшимъ, рано умершимъ братомъ Иваномъ. Отецъ Гоголя, ѣздя въ поле съ сыновьями, иногда задавалъ имъ дорогою темы для стихотворныхъ импровизацій: «солнце», «степь», «небеса». Старшій сынъ отличался находчивостью въ отвѣтахъ на такія задачи. Гоголь-отецъ самъ сочинялъ театральныя, комическія пьесы для домашней сцены въ семействѣ Трощинскихъ, которые оказывали особое вниманіе ему и его старшему сыну. Комедіи своего покойнаго отца Гоголь взялъ съ собою отъ матери при отъѣздѣ въ Петербургъ, для того, чтобы ихъ напечатать. Неизвѣстно, какой участи онѣ подверглись, такъ какъ впослѣдствіи никто ихъ не видѣлъ, за исключеніемъ выписокъ изъ нихъ, послужившихъ эпиграфами къ нѣкоторымъ изъ повѣстей Гоголя.

Смерть младшаго брата до того поразила отрока-Гоголя, что были принуждены отвезти его въ Нѣжинскій лицей, чтобы отвлечь мысли его отъ могилы брата. Здѣсь Гоголь вскорѣ оправился и изъ хилаго, болѣзненнаго ребенка сталъ сильнымъ, веселымъ и падкимъ до разныхъ потѣхъ и шалостей юношей. Страстный поклонникъ всего высокаго и

изящнаго, онъ на школьной скамейкѣ тщательно переписывалъ для себя на самой лучшей бумагѣ, съ рисунками собственнаго изобрѣтенія, выходившія въ то время въ свѣтъ поэмы «Цыгане», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгенія Онѣгина». По окончаніи курса въ Нѣжинскомъ лицеѣ, Гоголь у матери отпросился въ Петербургъ, гдѣ нѣкоторое время усердно занимался живописью и иностранными языками.

Въ 1829 году Гоголь неожиданно уѣхалъ за границу. Добравшись до Любека, онъ написалъ матери покаянное письмо (она мнѣ давала его читать), изложилъ въ немъ свои разочарованія въ мѣстахъ, къ которымъ онъ такъ жадно стремился, приложилъ къ письму очеркъ улицы, въ которой остановился, и, увидѣвъ близкій конецъ своихъ скудныхъ денежныхъ средствъ, съ грустью возвратился въ Петербургъ.

Мать Гоголя, на разставаньѣ со мной, узнавъ, что я ѣду въ Кіевъ, просила меня доставить туда письмо и небольшую посылку ея замужней дочери, Ел. В. Быковой, отъ которой она давно въ то время не получала извѣстій. Мѣстожительства г-жи Быковой въ Кіевѣ мнѣ помогъ найти тамошній, тогда уже извѣстный, профессоръ медицины, докторъ Ѳ. С. Цыцуринъ, знавшій и не однажды лѣчившій Гоголя, отъ котораго у него бережно хранился экземпляръ «Мертвыхъ душъ» съ дружескою на немъ надписью автора. У доктора Цыцурина, кстати сказать, я засталъ при этомъ молодого тогдашняго ученаго, впослѣдствіи кіевскаго профессора и нынѣшняго министра финансовъ, Н. Х. Бунге.

Прошло болѣе тридцати-четырехъ лѣтъ. Съ тѣхъ поръ изъ семейства Гоголя я никого не видѣлъ. Мнѣ, въ годъ смерти Гоголя, привелось набросать и напечатать въ одной изъ газетъ очеркъ его родной усадьбы. Другихъ, болѣе подробныхъ о ней свѣдѣній я послѣ того не встрѣчалъ въ печати. Часто думалось мнѣ съ тѣхъ поръ: «Что нынѣ сталось съ Яновщиною-Васильевкою? Цѣлы ли въ ней домъ и флигель, гдѣ въ послѣднее время жилъ великій писатель, сохраняются ли тамошніе садъ и пруды, и благополучно ли растутъ посаженныя руками Гоголя деревья?»

Набросавъ давно эти воспоминанія, я не рѣшался ихъ печатать, не собравъ свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ семей-

ства Гоголя. Меня также занималъ вопросъ, почему ни въ одномъ изъ нашихъ иллюстрированныхъ изданій донынѣ не помѣщено изображеній усадьбы знаменитаго автора «Тараса Бульбы» и «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки»? Въ Полтавѣ и въ Кіевѣ, съ его смерти, перебывали многіе наши даровитые художники; фотографія въ этихъ городахъ развилась съ тѣхъ поръ и процвѣтаетъ. Неужели же никому изъ мѣстныхъ фотографовъ,—разсуждалъ я,—не пришло въ голову снять, для печати, виды Васильевки? Время не ждетъ и легко можетъ снести послѣдніе слѣды деревенскаго жилища дорогого писателя, которому, между тѣмъ, мы собираемся ставить памятникъ.

Лѣтомъ 1886 г. я узналъ, что въ полтавской губерніи благополучно здравствуютъ двѣ сестры Гоголя, которыхъ я, тридцать-четыре года назадъ, видѣлъ въ Яновщинѣ, а именно: Анна Васильевна Гоголь—въ городѣ Полтавѣ и Ольга Васильевна Головня—въ родномъ ихъ селѣ Васильевкѣ.

На мои обращенія съ вопросами въ Полтаву, я получилъ отъ почтенной Анны Васильевны Гоголь отвѣтъ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки изъ ея писемъ ко мнѣ, давшихъ мнѣ возможность значительно дополнить мою статью. Анна Васильевна Гоголь мнѣ сообщила, между прочимъ, слѣдующее:

«Какъ я вамъ благодарна, что вы прислали мнѣ прочесть ваши воспоминанія! Отвѣчаю по пунктамъ на ваши вопросы.

«Наша мать умерла, 76-ти лѣтъ, въ 1868 году, въ деревнѣ Васильевкѣ, скоропостижно, на первый день Свѣтлаго праздника; вѣроятно, не побереглась послѣ семинедѣльнаго поста. Она до смерти была очень моложава и бодра; у нея не было морщинъ и сѣдины. Съ нею тогда жила меньшая наша сестра Ольга, съ мужемъ, отставнымъ маіоромъ Головня, который держалъ наше имѣніе въ арендѣ. Сестра Ольга съ тѣхъ поръ овдовѣла и имѣетъ трехъ дѣтей, замужнюю дочь и двухъ сыновей, Николая и Василія Яковлевичей, служащихъ въ Ахтырскомъ драгунскомъ полку, въ Бѣлой Церкви. Наша деревня Васильевка раздѣлилась на двѣ части—сестрѣ Ольгѣ и старшему сыну покойной сестры Елисаветы Васильевны Быковой, Ник. Влад. Быкову, который женатъ на Марьѣ Александровнѣ Пушкиной, внучкѣ поэта.

«По жребію, старая усадьба (дворъ, садъ и пр.) досталась сестрѣ Ольгѣ, а племянникъ, Николай Быковъ, построилъ себѣ новую усадьбу, за прудомъ, въ другомъ саду, гдѣ теперь и живетъ, имѣя двухъ малолѣтнихъ дѣтей, сына Александра и дочь Елисавету. Онъ служилъ въ нарвскомъ гусарскомъ полку, во время командованія имъ А. А. Пушкинымъ (сыномъ поэта), гдѣ женился на его дочери.

«Старая наша усадьба въ запустѣніи, особенно флигель для гостей, въ которомъ братъ останавливался въ послѣднее время. Садъ запущенъ, заглохъ; гротикъ завалился. Старый поваръ Якимъ умеръ въ прошломъ 1885 году, въ деревнѣ, у женатаго своего сына, а его дочь Наталья, съ десятилѣтняго возраста, у меня въ услуженіи. Она была нѣкоторое время замужемъ, но, овдовѣвъ, опять поступила ко мнѣ.

«Портретъ брата масляными красками (работы Моллера) у меня; онъ попорченъ, и потому я никому его не даю. У меня же его шкапъ для книгъ и конторка. Изъ прочихъ вещей брата почти ничего не сохранилось. Имѣніе (Васильевка) не было во владѣніи брата. Мать владѣла имъ пожизненно, по завѣщанію свекрови. Крестьяне-сосѣди звали ее «барыня изъ Яндвщины». Это имѣніе нѣкогда было заложено, но выкуплено уже давно. Въ немъ, за надѣломъ крестьянъ, осталось на двѣ части около 700 десятинъ. Я удовольствовалась частью выкупной ссуды и живу въ Полтавѣ, близъ племянницы М. В. Рахубовской. Ея меньшой братъ, Ю. В. Быковъ, въ Петербургѣ служитъ въ лейбъ-казакахъ (въ лейбъ-атаманскомъ Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича полку).

«Н. П. Трушковскій, сынъ старшей нашей сестры, Маріи Васильевны, умершей въ 1844 году, остался круглымъ сиротой съ одиннадцати лѣтъ; учился въ гимназіи, потомъ въ казанскомъ университетѣ, по факультету восточныхъ языковъ; кончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ университетѣ кандидатомъ. Онъ занимался изданіемъ сочиненій покойнаго брата, но заболѣлъ и умеръ въ помѣшательствѣ. Я съ моею матерью ѣздила за нимъ въ Москву. Это была славная личность! Я его очень любила.

«Изъ сосѣдей, знакомыхъ брата, никого уже нѣтъ въ живыхъ. Въ деревнѣ Толстое, въ шести верстахъ отъ насъ, жили Черныши, которыхъ братъ любилъ. Особенно же былъ

друженъ съ дѣтства съ А. С. Данилевскимъ *). Не знаю, живъ ли послѣдній. Онъ ослѣпъ и жилъ въ сумскомъ уѣздѣ, у родныхъ жены; у нихъ было трое дѣтей. Пріѣзжая въ деревню лѣтомъ, въ послѣдніе четыре года, братъ прежнихъ знакомыхъ уже не нашелъ, а новыхъ знакомствъ не любилъ, радъ былъ, что наша деревня въ глуши, не на большой дорогѣ.

«Сестра Елизавета Васильевна вышла замужъ, какъ вы знаете, при братѣ; она овдовѣла, послѣ его смерти, черезъ десять лѣтъ; прожила вдовою еще четыре года и умерла, оставивъ пятерыхъ дѣтей. Теперь самому меньшему изъ нихъ, Ю. В. Быкову, 25 лѣтъ.

«Братъ никогда не любилъ говорить о своихъ сочиненіяхъ: даже намека о нихъ не допускалъ. Если, бывало, кто-нибудь заговоритъ о нихъ, онъ хмурился, перемѣнялъ разговоръ или уходилъ. Въ послѣднее время его письма были всегда грустныя и строгія, а прежде въ институтъ онъ намъ писалъ веселыя письма и часто шутилъ, особенно съ сестрою Ел. В. Быковой. Письма брата къ намъ, потомъ въ деревню, были наполнены наставленіями. Онъ боялся, чтобы мы не скучали,—весь день были бы въ занятіяхъ и болѣе дѣлали бы моціона; боялся, чтобы насъ не занимали наряды, и внушалъ намъ, что очень стыдно при комъ-нибудь говорить о нарядахъ.

«Сестра Ел. Вас. Быкова, въ 1862 году, была у насъ съ дѣтьми въ деревнѣ, когда ея мужъ, подполковникъ, командовавшій саперным баталіономъ въ Тифлисѣ, былъ назначенъ на такую же должность въ Гури-Кальварію, близъ Варшавы, куда и уѣхалъ заготовлять квартиру, чтобы взять свою семью. Вдругъ получаемъ извѣстіе, что онъ умеръ... Бѣдная сестра чуть не потеряла разсудка! Я съ нею переѣхала въ Полтаву. Ея старшая десятилѣтняя дочь Марья Влад. (впослѣдствіи Рахубовская) поступила въ полтавскій институтъ. Черезъ четыре года, сестра Елис. Васильевна умерла. По ея смерти, я съ ея дѣтьми жила въ Полтавѣ.

«Еще о старой усадьбѣ. На мѣстѣ теперешняго нашего деревенскаго дома былъ другой; тамъ братъ провелъ дѣтство.

*) Имя жены А. С. Данилевскаго, Юліи, Улиньки, дало Гоголю, какъ слышно, мысль назвать героиню второй части «Мертвыхъ душъ»— Улинькою. *Г. Д.*

Его рисунокъ, работы брата, хранится у меня. Теперешній домъ, гдѣ вы когда-то были, я помню, долго стоялъ недостроенный. На немъ былъ мезонинъ, который потомъ сняли. На этомъ мезонинѣ одна комната была наскоро отдѣлана, для пріѣзда брата изъ Нѣжина, и я помню, что мы, сестры, дѣтьми ходили къ нему туда, по узенькой лѣсенкѣ.

«Изъ посаженныхъ братомъ деревьевъ въ обоихъ садахъ сохранилось нѣсколько клёновъ. Это было его любимое дерево. Дубки онъ садилъ желудями; они почти всѣ пропали. Я рѣдко ѣзжу въ деревню. Грустно видѣть разрушеніе. Новая усадьба племянника Николая иногда интересуетъ; но я ѣзжу туда только съ кѣмъ-нибудь; одной скучно и сорокъ верстъ отъ Полтавы.

«Братъ считалъ насъ двухъ сестеръ (Елизавету и Анну) своими воспитанницами, потому что самъ помѣстилъ насъ въ институтъ въ Петербургѣ. Онъ заставлялъ насъ переводить. Далъ мнѣ разъ нѣмецкую статью, гдѣ сравнивали брата съ Погодинымъ. И когда я затруднилась перевести фразу: «Pogodin ist ein umgekehrter Gogol», онъ посовѣтовалъ мнѣ перевести такъ: «Погодинъ—вывороченный Гоголь». При этомъ онъ старался насъ увѣрить, что наши переводы «очень нужны», самъ ихъ поправлялъ и давалъ намъ награды за нихъ. Бумаги брата, бывшія въ его чемоданѣ, пропали; цѣлъ одинъ чемоданъ».

Желательно было бы видѣть въ печати тѣ «веселыя» письма Гоголя къ его сестрамъ, о которыхъ упоминаетъ почтенная Анна Васильевна. То была лучшая, свѣтлая пора Гоголя, когда онъ писалъ С. Т. Аксакову: «О себѣ скажу вамъ, что моя природа совсѣмъ не мистическая». Живя лѣтомъ близъ Петербурга, на Поклонной горѣ, на дачѣ Гюнтера, и избѣгая журнальной среды, онъ писалъ друзьямъ, что журнальныя занятія «вывѣтриваютъ душу», и стремился къ родному югу, къ южной веснѣ. «Что это такое весна?—писалъ онъ тогда:—я ее не знаю, не помню! позабылъ совершенно, видѣлъ ли ее когда-нибудь?» Въ свѣтлые часы Гоголь любилъ шутить не только съ сестрами, но и съ друзьями, утѣшая ихъ, по-своему, въ ихъ жизненныхъ неудачахъ: «Это все дѣло нашего общаго пріятеля—чорта,—писалъ онъ друзьямъ: — бейте эту длиннохвостую скотину по мордѣ. Дайте грусти киселя, да еще съ пйдлеснемъ...»

(т.-е. съ пришлёпкой). Невольно вспоминается чернильница, пущенная Лютеромъ въ бѣса. Пріятелямъ-сверстникамъ Гоголь щедро раздавалъ шутливые совѣты и прозвища, оставшіяся необъясненными въ изданныхъ его письмахъ: Барончикъ, Доримончикъ, Фонъ-Фонтикъ, Купидончикъ, Хопцики и пр. «О, моя юность! о, моя свѣжесть!»—восклицалъ впослѣдствіи великій писатель объ этой своей веселой и свѣтлой порѣ.

Анна Васильевна Гоголь обязательно прислала мнѣ также фотографію дома и части усадьбы села Васильевки, исполненную В. А. Волковымъ, имѣвшимъ недавно собственную фотографическую мастерскую въ Полтавѣ. При этой фотографіи она доставила мнѣ, по моей просьбѣ, и исполненный Н. В. Гоголемъ акварельный рисунокъ «стараго дома» Васильевки, гдѣ Гоголь провелъ свое дѣтство. Оба эти рисунка переданы мною редакціи «Историческаго Вѣстника».

Русскіе читатели, безъ сомнѣнія, съ особымъ удовольствіемъ узнаютъ изъ вышеприведенныхъ мною писемъ Анны Васильевны Гоголь, что внучка великаго нашего поэта, Пушкина, сочеталась бракомъ съ племянникомъ Гоголя, бывшаго нѣкогда въ искренней дружбѣ съ Пушкинымъ. Послѣдній, какъ извѣстно, еще при жизни, уже духовно сроднился съ Гоголемъ: онъ далъ ему сюжеты лучшихъ его произведеній— «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора».

1886 г.

СТОРІЯ О ГОСПОДѢ И О ЗЕМЛѢ.

(къ воспоминаніямъ о гоголѣ.)

Осенью 1851 года Гоголь въ разговорѣ со мной въ Москвѣ о собираніи народныхъ малорусскихъ пѣсенъ, преданій и былинъ, спросилъ меня, слышалъ ли я когда-нибудь любопытную украинскую легенду о томъ, какъ Господь создалъ землю? На мой отвѣтъ, что этого мнѣ не удавалось слышать, онъ сказалъ: «Интересно было бы найти и записать эту легенду. Въ моей памяти осталось о ней кое-что, совершенно отрывочное и смутное; а надо думать, что у народа объ этомъ сохранилась цѣлая, своеобразная космическая поэма. И если теперь, когда забывается многое, слышанное отъ дѣдовъ, трудно найти эту легенду цѣликомъ, то хорошо было бы записать ее хотя бы по частямъ». — На мой вопросъ, что же именно осталось у него въ памяти изъ этой легенды, Гоголь отвѣтилъ: «Не спрашивайте; такъ, какіе-то осколки, труха, безъ связи, начала и конца... Что-то тутъ, помню, продѣлывалъ сатана, былъ уличенъ, и только...»

Послѣ смерти Гоголя, я не разъ вспоминалъ о своемъ разговорѣ съ нимъ и, въ разъѣздахъ по Новороссіи и Малороссіи, тщетно допытывался о занимавшей его легендѣ. Тѣ, кого я о ней спрашивалъ, отзывались невѣдѣніемъ. И вотъ, однажды, совершенно случайно, мнѣ удалось услышать простодушный народный разсказъ не только о томъ, какъ Господь сотворилъ землю, но и какъ онъ потомъ, въ видѣ нищаго, ходилъ по ней, — спасать грѣшныхъ людей. Я тогда же записалъ и переслалъ слышанное М. А. Максимовичу, извѣстному собирателю украинскихъ преданій, вскорѣ потомъ, къ сожалѣнію, умершему. Что сдѣлалъ послѣдній съ

моимъ разсказомъ и куда попали его бумаги,—между которыми могъ сохраниться и записанный мною разсказъ,—мнѣ неизвѣстно.

Перебирая недавно свои старые письменные матеріалы, я среди нихъ нашелъ черновой набросокъ слышанной мною легенды. Привожу его здѣсь въ томъ видѣ, какъ я тогда его записалъ.

...Это случилось въ половинѣ апрѣля, во время половодья, у Екатеринослава. Мнѣ пришлось долго ожидать переправы черезъ Днѣпръ. Былъ канунъ Пасхи, — вечеръ страстной субботы. Стояла бурная, студеная погода. Вздувшаяся рѣка несла бѣлогривыя, пѣнистыя волны. По небу стремительно бѣжали сѣрыя, разорванныя клочками, облака. Изрѣдка срывался дождь, косыми полосами застилая окрестности. Смеркалось.

Кучка перезябшаго народа, съ котомками и топорами, пробиравшагося на другой, едва видный въ туманѣ берегъ, сидѣла у лоцманскаго куреня. Иные, грѣясь у костра, толковали и спорили, будетъ ли еще къ ночи, съ той стороны, паровой баркасъ или на веслахъ парóмъ; другіе молча и сумрачно глядѣли на рѣку, въ неоглядномъ разливѣ катившую опустѣлыя, хмурыя воды.

Высокій, сѣдой и загорѣлый, коротко-остриженный лоцманъ, съ длинными бѣлыми усами, въ высокихъ сапогахъ и въ накинутой на плечи короткой сермягѣ, расхаживалъ по берегу, то подкладывая щепокъ и хвороста въ костеръ, то ворча на волны, хлеставшія въ бока его сторожевой лодки, привязанной, у песчанаго берега, къ вербѣ.

— А что, панóче, не погрѣлись бы въ куренѣ?—сказалъ, подойдя ко мнѣ, съ иззябшимъ и намокшимъ лицомъ, лоцманъ:—переправы сегодня уже не будетъ.

Я вошелъ въ курень, гдѣ сохранялась моя ручная поклажа, улегся на соломѣ и, отъ сильной усталости, скоро заснулъ...

Долго ли я спалъ, не помню. Меня разбудили какіе-то голоса. Я прислушался. Подъ куренемъ снаружи разговаривали двое. Кто-то спрашивалъ; ему отвѣчалъ другой. Въ послѣднемъ я узналъ густой и басистый голосъ лоцмана. Приподнявшись на локтѣ, я взглянулъ въ отверстіе куреня. Буря смолкла; вѣтеръ затихъ. Ночь была на исходѣ. Про-

яснившееся небо сверкало тысячами звѣздъ. Съ вечера, — когда я заснулъ, — очевидно, изъ города приплывало что-нибудь сюда, такъ какъ ожидавшихъ переправы здѣсь уже не было видно. Берегъ опустѣлъ. Съ лоцманомъ, пустившимъ меня въ курень, разговаривалъ кто-то изъ подошедшихъ позже.

— Боже милостивый, Боже правый, — слышалось изъ-за куреня: — шестой десятокъ живу... день-денской маешься, всѣ ноженьки отобьешь; а пришелъ, вотъ и домъ, рукой, кажется, подать, въ церквахъ божіе служеніе, всякъ разговѣться поспѣшаетъ, а самъ когда попадешь? Ты говоришь— конь; былъ, да покрали. Ну, и ходи... И все вода, вода! гдѣ ея нужно людямъ, въ степи, тамъ нѣту, а тутъ—сущій потопъ.

— Изъ воды, дружe, Господь и землю сотворилъ,—возразилъ голосъ лоцмана:—не будь воды, не было бы и земли!

— Ну?! — удивился путникъ: — какъ же такъ изъ воды? то вонъ что, жидкое, а то земля...

— А также... Про то люди старые знаютъ; есть такая стòрія.

— Какая же она такая стòрія?

— Про Господа и про землю.

— Разскажи, Андрій Петровичъ.

Лоцманъ помолчалъ.

— Прежде, споконъ вѣку, — сказалъ онъ: — вездѣ была одна, какъ есть, вода. Богъ леталъ надъ тою водою, а за нимъ его главный, вѣрный ангелъ. И сказалъ Господь ангелу: нырни на дно, захвати въ горсть илу; пора быть землѣ. Ангелъ нырнулъ, долго былъ подъ водою, а какъ выплылъ, едва переводитъ духъ; говоритъ: «не досталъ, Господи, дна; очень глубоко!»—«Нырни еще разъ!»—Опять нырнулъ ангелъ, былъ подъ водою еще долѣе, и досталъ илу. Началъ Богъ сѣять землю. Куда, на восходъ солнца, ни кинетъ,—тамъ становятся горы, долины, поля. Такъ онъ леталъ и сѣялъ; а на тѣхъ поляхъ, горахъ и долинахъ выростали травы, деревья и зацвѣли цвѣты. Богъ оглянулся и видитъ, у ангела распухла губа. — «Что это у тебя?»— спрашиваетъ Богъ.—«Ошкрябнулся, Господи, какъ нырялъ».— Стало благословиться на свѣтъ: взошло и покатилось по небу солнце. Былъ первый на свѣтѣ день. Оглянулся Богъ, передъ вечеромъ, и видитъ, ангелъ изъ-за губы тоже выни-

маетъ что-то, кидаетъ на западъ солнца, и изъ того киданья также становятся долины, горы и поля, только безъ травы, безъ цвѣтовъ и деревьевъ, голыя, какъ въ позднюю осень, пустыя и точно проклятыя.—«Что это ты дѣлаешь, позади меня?» — спросилъ Господь ангела. Тотъ молчитъ. — «Признайся, ты укралъ илу, утаилъ отъ меня?» — Ангелъ клянется, что не кралъ и не утаилъ.—«Ну, будь же ты,—сказалъ Господь:—не моимъ первымъ и вѣрнымъ ангеломъ, а сатанаиломъ, и чтобъ тебѣ, отъ сего часу, опочину не было, до конца вѣка и земли!» — Богъ полетѣлъ выше и дальше, на восходъ солнца, а сатана низомъ, на западъ. Отъ божьяго сѣянья стали добрые люди и земли, а отъ дьяволова—злые и всякая неправда и грѣхи. Съ тѣхъ поръ сатана, съ своими подпомощниками, больше и держится надъ водою, въ омутахъ, у мельницъ и у переправъ; водяные—то все его дѣти.

— А кто ихъ видѣлъ?—усомнился собесѣдникъ:—можетъ, оно и не такъ...

— Были такіе... Вотъ хоть бы мой батько,—царство ему небесное,—видѣлъ, да не одного, а двухъ водяныхъ, молодшаго и старшаго.

— Гдѣ онъ ихъ видѣлъ?

— То было давно. Батько тоже держалъ перевозъ, только не тутъ, а въ Никополѣ. Погода,—разсказываетъ, бывало,—стояла тогда еще хуже,— дождь и буря, да такая, что онъ черпалъ, черпалъ воду изъ челна, да и руки опустилъ. И вдругъ видитъ, передъ нимъ выросъ незнакомый, черномазый такой человѣкъ, не то мѣщанинъ изъ города, не то приказный фертикъ. Дождь сыпалъ, какъ изъ рѣшета, а тотъ черномазый подошелъ чистый и сухой, точно съ иголки снятый. — «Добрый вечеръ, старче,— говоритъ: — перевези, будь ласковъ, на ту сторону».—«Да какъ же везти,—отвѣтилъ батько: — въ такую темень, не то, что я, самъ чортъ тебя не переправитъ, не намочивъ хвоста».—Черный усмѣхнулся.—«Не бойся,—говоритъ,—со мною не замочишься!»— Батько видитъ, буря, дождь еще сильнѣе, а черный стоитъ сухой, какъ порохъ, сапоги такъ и блестятъ, и еще пыль съ нихъ палочкой онъ сбиваетъ. Перекрестился батько и сталъ развязывать лодку; возился, копался, никакъ не раскрутитъ узла. Оглянулся, а возлѣ него уже не одинъ, а двое; откуда-то взялся еще сивенькій дѣдокъ, весь въ тинѣ, съ зеленою бородою и кнутикомъ.—«О чемъ, спрашиваетъ, тол-

куешь, рыбàче?»—«Да вотъ, человѣкъ просится на тотъ бокъ; только боюсь, не скупаться бы въ такую бурю и тьму». — Дѣдòкъ посмотрѣлъ на фертика, да какъ крикнетъ: «А? такъ это ты? шебардà — бардà! а на свое мѣсто, — пьяницъ въ шинки таскать,—не знаешь?»—и ну его чесать кнутомъ по бокамъ... Черный въ воду, дѣдъ за нимъ, и побѣжали оба, въ перегонку, по Днѣпру, точно по полю... То и были водяные!.. Шебардà!.. Съ тѣхъ поръ и батьку такъ всѣ и прозвали шебардòй.

— Такъ, выходитъ, — отозвался голосъ за куренемъ: — гдѣ сѣялъ сатана, тамъ уже только грѣшные люди и земли?

— Такъ оно было и долго, пока милосердый Господь опять спустился съ неба и сталъ нищимъ ходить по землѣ.

— Для чего нищимъ?

— Узнать, кто праведный, кто грѣшный, какъ люди живутъ и кому что̀ воздать по дѣламъ.

— Разскажи на милость... Сколько живу, немало внукамъ разсказывалъ, а про такое, о, Господи, не доводилось слышать.

Лоцманъ всталъ, подложилъ щепокъ въ костеръ и опять сѣлъ.

— Ходилъ это Богъ, съ апостоломъ Петромъ, — сказалъ онъ: — оба пѣшіе, съ котомками и клюками, какъ старцы-нищуны̀. И пришли они разъ, противъ ночи, въ большое село. Видятъ, стоитъ новая, богатая хата. Петръ и говоритъ: — «Господи! мы въ конецъ изморились, — попросимся тутъ ночевать». — Богъ отвѣтилъ: «Богачъ даромъ не пуститъ, еще заставитъ утромъ молотить снопы». — «Такъ пойдемъ на постоялый».—«И туда не слѣдъ, — сказалъ Господь: — тамъ навѣрное много всякаго народа; кто-нибудь хмельной еще чòботомъ подъ лавку подопхнетъ». — Не послушался Петръ, пошелъ въ хату къ бо̀гатому. Тотъ говоритъ:—«Пока жены нѣту дома, заходите, ложитесь за печкой, въ углу; жена у меня бѣдовая, гуляетъ въ гостяхъ; а можетъ, какъ вернется, и не замѣтитъ». — Господь улегся за печкой, подальше къ стѣнѣ, а Петръ съ краю, кнаружи. Середь ночи возвратилась жена, да хмельная. Напустилась, съ пьяну, на мужа:—«Такой—сякой, пускаешь всякихъ бродягъ!»—Ухватила метлу и давай ею стегать по спинѣ праведнаго Петра. Умаялась, заснула. Лежитъ, охаетъ Петръ:—«Господи, когда бы уже скорѣе разсвѣло!» — Рано утромъ старцы встали, поблагодарили хозяина и ушли. Имъ на-

встрѣчу мужикъ изъ шинка, а изъ церкви попъ. — «Боже правый, — говоритъ мужикъ: — еле бреду, упился, хоть вались!» —А попъ говоритъ: — «Вотъ до бѣса было дѣтей въ церкви! руки отбилъ, ихъ причащаючи» — И сказалъ Богу Петръ: — «Такая-то правда на свѣтѣ; мужикъ пьянъ и поминаетъ Господа, а попъ, только-что причащалъ, поминаетъ бѣса!»—«Молчи,—сказалъ Господь:—не то еще услышишь и увидишь». — Ходили они цѣлый день, къ ночи зашли на хуторъ. Тамъ жила бѣдная вдова. Хатенка у нея такая, что ни стать, ни сѣсть; сама хозяйка хворая лежитъ, а дѣтей куча, да все маленькія, — ползаютъ, пищатъ вокругъ нея. Обрадовалась вдова гостямъ; встала черезъ силу, затопила печку, достала въ торбочкѣ послѣдней муки, наварила варениковъ, накормила гостей, чѣмъ Богъ послалъ, и уложила ихъ спать на палатяхъ, а сама съ дѣтьми легла на земь, подъ лавку. Отдохнули старцы, поблагодарили утромъ хозяйку и ушли. Идутъ полемъ. Смотритъ Петръ, надъ Богомъ летитъ бѣлое кудрявое облако,—то былъ съ крыльями серафимъ. И говоритъ Богъ серафиму:—«Лети вонъ на тотъ хуторъ, гдѣ мы ночевали,—тамъ живетъ праведная, убогая вдова; вынь изъ нея и принеси мнѣ ея душу!»—Серафимъ полетѣлъ и воротился одинъ.—«Не могу,—говоритъ, — Господи! рука не поднялась! жалко бѣдной вдовы; дѣти такъ пищатъ и ползаютъ вокругъ нея, что приступу нѣтъ! что будетъ съ малыми дѣтьми, какъ возьмемъ у нея душу?» — «И правда, Господи,—сказалъ Петръ: — какъ ее не пожалѣть! Она такъ ласково насъ приняла и накормила; дай ей, милостивый, пожить, хоть нѣсколько годковъ, пока дѣти подрастутъ!»—Господь отвѣтилъ:—«Слушай, Пѣтре! ты еще не все знаешь, не все видишь! Узнаешь и увидишь послѣ. А теперь иди вонъ въ тотъ лѣсъ; тамъ стоитъ хата — еще хуже, чѣмъ у той вдовы, — дырявая и нетопленная,—и въ ней живетъ такая старая старица, что отъ старости совсѣмъ поцвѣла и мохомъ поросла. Коли она согласится теперь же помереть, дамъ той вдовѣ жизни, — она еще поживетъ на землѣ для своихъ дѣтей!» — Отправился Петръ, нашелъ непокрытую дырявую хату и въ ней старуху. — «Здорово, — говоритъ,—бабуся!»—«Здоровъ будь и ты!»—«Тяжко тебѣ, бабуся, жить тутъ одной?»—«Охъ, тяжко!»—«Такъ ты бы, бабуся, лучше померла!»—«Э-ге,—говоритъ старая: — умирай лучше ты самъ; только еще лѣто подошло, солнышко

пригрѣло, цвѣтики зацвѣли, а ты о смерти!» — Доложилъ Господу Петръ.—«Ну, теперь видишь?» — сказалъ Господь и велѣлъ серафиму летѣть ко вдовѣ. Тотъ махнулъ крыльями, зашумѣлъ, понесся, вынулъ и принесъ Богу душу вдовы.—«Пусти ее въ рай,—сказалъ Господь: — она лучшее мѣсто заслужила!» — И полетѣла праведная душа въ рай; малыя дѣти осиротѣли. Удивился Петръ и осмѣлился укорить Бога: — «Не по правдѣ, Господи, ты рѣшилъ!» — «Не по правдѣ?—спросилъ Господь:—хорошо же; пойдемъ на судъ къ тому, кто не покривитъ душой, къ праведному Семіону!»— А тотъ Семіонъ долго былъ судьей, состарился и сказалъ людямъ:—«Ни сильному, ни богатому я не угождалъ; а вы все думали, что я потакалъ зажиточнымъ, да своимъ. Хотите, чтобъ я васъ еще судилъ, выжгите мнѣ глаза!»—Люди подумали, потолковали и согласились. Ослѣпъ Семіонъ. Петръ взялъ серебряный дукатъ, а Богъ хлѣбъ, и пошли къ Семіону. Сидитъ слѣпецъ за столомъ и спрашиваетъ: — «Что вамъ, добрые люди, надо?»—«Мы пришли къ тебѣ, — говоритъ Петръ: — разсуди наше дѣло!»—и подсунулъ слѣпому дукатъ. Семіонъ ощупалъ его и отодвинулъ по столу прочь. Богъ положилъ на столъ хлѣбъ; Семіонъ ощупалъ хлѣбъ, поцѣловалъ его, но тоже отодвинулъ. Поклонился Петръ и сталъ говорить, какъ неправедно божій серафимъ вынулъ у бѣдной вдовы душу и какъ осиротилъ неповинныхъ передъ Богомъ ея малыхъ дѣтей. Семіонъ выслушалъ, задумался и отвѣтилъ:—«Вы пришли ко мнѣ судиться?» — «Такъ, честный отче!» — «Вы заспорили?» — «Заспорили». — «Ну, слушайте же, добрые люди; не нужно мнѣ ни вашего сребра, ни злата, ни всякаго явства; а скажу вамъ, по чистой, по правдѣ; у отца — матери, а особливо еще съ достаткомъ, дѣти выходятъ иной разъ—куда хуже злыхъ, ненасытныхъ псовъ,—лѣнтяи, негодники и моты, — а какъ сами станутъ трудиться, въ потѣ лица добывать божій хлѣбъ,—куда скудное сиротство бываетъ лучше богатаго родства!» — Богъ отвѣтилъ: «Праведно разсудилъ ты, Семіоне! и какъ судъ твой свѣтелъ, чтобъ и ты такъ же увидѣлъ свѣтъ!» — Семіонъ тѣмъ же часомъ прозрѣлъ. А когда, спустя сколько лѣтъ, Богъ и Петръ опять шли по землѣ и завернули въ большое село, на ярмарку, смотрятъ, имъ навстрѣчу ѣдетъ судія, съ нимъ полковникъ и богатый купецъ. Передъ церковью они снимаютъ шапки, Богу молятся, нищимъ мило-

стыню подаютъ.—«Угадай,—сказалъ Господь Петру: — что это за люди ѣдутъ?»—«Важные, видно, господа.» — «Важные? то дѣти-сироты убогой той вдовы,—сказалъ Господь:— тебѣ думалось, я ихъ за добро матери покаралъ, а видишь, стали на свои ноги, трудились и въ люди вышли... могъ ли я помиловать ихъ лучше?»

Лоцманъ замолчалъ. Не отзывался нѣкоторое время и его собесѣдникъ.

— Сторія опять-таки важная,—проговорилъ онъ:—только какъ же это? Милосердный Господь сотворилъ землю, небо и весь великій міръ... Зачѣмъ же ему было о людяхъ узнавать отъ другихъ? развѣ и такъ онъ не знаетъ всего?

Лоцманъ не отвѣтилъ. Съ рѣки, въ это мгновеніе, донесся странный звукъ, точно вдали, въ темнотѣ, кто звалъ на помощь и тихо стоналъ. У берега, какъ бы отъ проплывшей гдѣ-то лодки, плеснула волна.

— Чайки уже проснулись!—сказалъ, вслушавшись, лоцманъ:—завтра будетъ тихо и тепло... Ты говоришь, зачѣмъ? и я такъ бы думалъ, — а знающіе толкуютъ не то... На что батько былъ разумный, а разъ тоже, какъ и мы теперь, передъ самою свѣтлою заутреней,—сидитъ это на берегу и думаетъ, — люди по божьимъ храмамъ, скоро «Христосъ воскресе» запоютъ, понесутъ кресты и свѣчи вкругъ церквей,—а онъ одинъ, какъ перстъ... и вдругъ видитъ... Одначе, стой! что-то, и въ самомъ дѣлѣ, плыветъ... такъ и есть... почта!

Лоцманъ направился къ берегу. Въ тишинѣ ясно слышался мѣрный плескъ веселъ. Что-то темное близилось и надвигалось отъ рѣки. У песчаной отмели обрисовался бортъ казеннаго баркаса. На берегъ стали выгружать почтовые тюки.

— А кому ѣхать? садись!—послышался окликъ отъ рѣки.

Я взялъ свою поклажу, вышелъ изъ куреня, поблагодарилъ лоцмана за ночлегъ и, въ передразсвѣтныхъ сумеркахъ, поплылъ черезъ стихшую, плавно-колыхавшуюся рѣку.

Баркасъ чуть переваливался. На палубѣ стоялъ низенькій, бородатый дѣдъ, очевидно, собесѣдникъ лоцмана. Опершись на посохъ, онъ пристально вглядывался за рѣку и крестился. На противоположномъ, еще невидномъ въ туманѣ, берегу, вправо и влѣво по взгорью, двигались огоньки церковныхъ крестныхъ ходовъ. Благовѣстъ воскресной заутрени торжественно гудѣлъ и далеко разносился надъ городомъ и по рѣкѣ.

1883 г.

ПОѢЗДКА ВЪ ЯСНУЮ ПОЛЯНУ.

(Помѣстье графа Л. Н. Толстого.)

Изъ письма къ редактору: «Вы мнѣ предложили разсказъ для читателей «Историческаго Вѣстника» о моемъ недавнемъ посѣщеніи Ясной Поляны, помѣстья графа Л. Н. Толстого. Охотно беру изъ моей записной книжки, относительно этой поѣздки, то, что въ правѣ былъ бы, не нарушая чужой скромности, разсказать всякій, посѣтившій жилище знаменитаго отечественнаго писателя».

Это было минувшею осенью. Стояла теплая, тихая погода. Легкія бѣлыя облачка рѣдѣли и таяли надъ зелеными холмами, долинами и желтѣющими лѣсами крапивенскаго уѣзда, тульской губерніи. Солнце готовилось выглянуть. Былъ полдень 22 сентября.

Скорый поѣздъ курской дороги, не доѣзжая Тулы, остановился на двѣ минуты у станціи Ясеньки. Я вышелъ изъ вагона и пересѣлъ въ тарантасъ.

Каждый, кому дорого имя любимѣйшаго изъ русскихъ писателей, творца «Войны и мира» и «Анны Карениной», пойметъ, съ какимъ чувствомъ, получивъ на пути пригласительную телеграмму, я ѣхалъ навѣстить хозяина Ясной Поляны.

Иностранцы, въ особенности англичане, съ особенною любовью встрѣчаютъ въ печати описанія жилищъ и домашней обстановки своихъ писателей, художниковъ, общественныхъ и государственныхъ дѣятелей. Въ «Graphic», «Illustrated London News» и другихъ изданіяхъ давно помѣщены пре-

восходныя фотогравюры и описанія деревенскихъ жилищъ Теннисона, Диккенса, Гладстона, Вальтеръ-Скотта, Коллинза и друг. Здѣсь изображены не только «рабочіе кабинеты», «пріемныя» и «столовыя» лучшихъ слугъ Англіи, но и мѣста ихъ обычныхъ сельскихъ прогулокъ, скамьи подъ любимыми деревьями, виды на поля и пруды и проч. Нельзя не пожалѣть, что наши художники еще не ознакомили русскаго общества съ видами помѣстьевъ Гоголя, Аксаковыхъ, кн. П. А. Вяземскаго, Островскаго, Хомякова, Григоровича, Фета, Л. Н. Толстого и другихъ. Это въ особенности приходитъ въ голову при посѣщеніи Ясной Поляны.

Ѣдучи въ это помѣстье, я невольно вспомнилъ и другое обстоятельство, а именно, тѣ странные и противорѣчивые толки и слухи, которые въ послѣднее время возникли о гр. Л. Н. Толстомъ, не только въ обществѣ, но и въ печати. Еще недавно, въ изданной весною 1884 г., въ пользу литературнаго фонда, перепискѣ Тургенева, всѣ съ недоумѣніемъ прочли трогательное, предсмертное письмо карандашемъ автора «Дворянскаго гнѣзда» къ графу Л. Н. Толстому. Умирающій Тургеневъ обращался къ послѣднему (въ іюнѣ 1883 года, изъ Буживаля) съ такими загадочными, послѣдними словами: «Милый и дорогой Левъ Николаевичъ! другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности!.. Другъ мой, великій писатель Русской земли, внемлите моей просьбѣ...» Разнообразные толки и пересуды о графѣ Л. Н. Толстомъ, какъ извѣстно, выросли, наконецъ, въ цѣлыя легенды. Иностранная печать подхватила эти толки и пошла еще далѣе. Въ одномъ изъ выпусковъ извѣстнаго парижскаго журнала «Le Livre» (№ 70, 1885 г., стр. 549) подъ заглавіемъ «Россія» явилось даже такое чудовищное извѣстіе: «Увѣряютъ, что графъ Левъ Николаевичъ Толстой постигнутъ умопомѣшательствомъ и что его должны подвергнуть заключенію». Въ этомъ извѣстіи удостовѣряется, между прочимъ, будто Л. Н. Толстой «бросилъ перо писателя, чтобы лично заняться усовершенствованіемъ обуви и одежды», и проч., и проч.

Намъ, русскимъ, не въ диковину подобныя разглашенія о людяхъ съ самостоятельнымъ, сильнымъ умомъ, переживающихъ душевную борьбу. «Милліонъ терзаній» Чацкаго кончился извѣстною сценою:

«Съ ума сошелъ?—А, знаю, помню, слышалъ!
Какъ мнѣ не знать? примѣрный случай вышелъ...

Схватили, въ желтый домъ и на цѣпь посадили!
— Помилуй! онъ сейчасъ здѣсь въ комнатѣ былъ, тутъ...
— Такъ съ цѣпи, стало быть, спустили!»

Помню, что подъ впечатлѣніемъ подобныхъ же ложныхъ толковъ я ѣхалъ когда-то съ покойнымъ О. М. Бодянскимъ впервые къ Гоголю. Объ этомъ свиданіи я разскажу въ другое время. Надо надѣяться, что извѣстный, острый эпизодъ съ отношеніями русской критики пятидесятыхъ годовъ къ Гоголю, по поводу его «Переписки съ друзьями», будетъ когда-нибудь за-ново пересмотрѣнъ и рѣшенъ другимъ, болѣе спокойнымъ и безпристрастнымъ составомъ «присяжныхъ» цѣнителей. Былыя разглашенія о Гоголѣ, какъ и о Чаадаевѣ, въ сущности та же трагикомедія Чацкаго. Неудивительно, что злые пересуды коснулись и современнаго намъ, своеобразнаго русскаго писателя.

Рѣзвыя, сытыя лошадки, погромыхивая бубенцами, весело неслись съ холма на холмъ, между жнивьевъ и свѣжихъ озимей, по которымъ паслись овцы и скотъ.

— Что это за поселокъ? — спросилъ я на пути возницу.
— Кочаки.
— Помѣщичій?
— Купцы.
— А та, вонъ, вдали деревня, на взгорьѣ? чей домъ за лѣсомъ, съ зеленой крышей?
— Ясная Поляна... домъ графа Льва Николаевича.

Тарантасъ свернулъ съ шоссе, понесся большою дорогой.

Скажу нѣсколько словъ о моей первой встрѣчѣ съ графомъ Л. Н. Толстымъ. Я съ нимъ познакомился въ Петербургѣ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, въ семействѣ одного извѣстнаго скульптора-художника. Тогда авторъ «Севастопольскихъ разсказовъ» только-что пріѣхалъ въ Петербургъ и былъ молодымъ и статнымъ артиллерійскимъ офицеромъ. Его очень схожій портретъ того времени помѣщенъ въ извѣстной фотографической группѣ Левицкаго, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ изображены Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Островскій и Дружининъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ теперь помню, вошелъ тогда въ гостиную хозяйки дома, во время чтенія вслухъ новаго произведенія Герцена. Тихо ставъ за кресломъ чтеца и дождавшись конца чтенія, онъ

сперва мягко и сдержанно, а потомъ съ такою горячностью и смѣлостью напалъ на Герцена и на общее тогдашнее увлеченіе его сочиненіями и говорилъ съ такою искренностью и доказательностью, что въ этомъ семействѣ впослѣдствіи я уже не встрѣчалъ изданій Герцена. Надо вспомнить, что это сужденіе было сказано задолго до поры, когда русское общество, а подъ конецъ и самъ Герценъ— разочаровались во многомъ, чему тогда такъ отъ души поклонялись.

Припоминается мнѣ и другой случай разногласія графа Л. Н. Толстого съ признанными авторитетами былого времени, гдѣ онъ опять явился побѣдителемъ. Это было лѣтъ десять спустя.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, сперва въ отрывкахъ,— въ «Русскомъ Вѣстникѣ», — потомъ отдѣльнымъ полнымъ изданіемъ, вышелъ въ свѣтъ знаменитый романъ графа Л. Н. Толстого «Война и миръ». Вскорѣ затѣмъ въ «Военномъ Сборникѣ» явился разборъ этого произведенія А. С. Норова, подъ заглавіемъ: «Война и миръ, 1805—1812 гг., съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника». Пріѣхавъ съ юга въ Петербургъ, я осенью 1868 года навѣстилъ въ Павловскѣ А. С. Норова, при которомъ, незадолго передъ тѣмъ, я служилъ въ качествѣ его секретаря. Онъ прочелъ мнѣ свой отзывъ о романѣ графа Л. Н Толстого.

Увлеченный достоинствами романа, я съ досадою слушалъ разборъ А. С. Норова и спорилъ съ нимъ чуть не за каждое его замѣчаніе. На мои возраженія Норовъ отвѣчалъ одно: — «Я самъ былъ участникомъ Бородинской битвы и близкимъ очевидцемъ картинъ, такъ невѣрно изображенныхъ графомъ Толстымъ, и переубѣдить меня въ томъ, что я доказываю, никто не въ силахъ. Оставшійся въ живыхъ, свидѣтель Отечественной войны, я безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства не могъ дочитать этого романа, имѣющаго быть историческимъ». На это я отвѣтилъ Норову, что не всегда отдѣльные участники и очевидцы крупныхъ историческихъ событій передаютъ ихъ вѣрнѣе позднѣйшихъ изслѣдователей, хотя бы и романистовъ, получающихъ доступъ къ болѣе всестороннимъ и разнообразнымъ источникамъ, и что, между прочимъ, художественная правда произведенія графа Толстого вовсе не зависитъ только отъ

того, стояла ли именно такая-то колонна, во время описаннаго имъ боя, направо или налѣво отъ полководца, и проч., и проч.

Болѣе всего Норовъ нападалъ на одно мѣсто въ романѣ.

— Графъ Толстой,—говорилъ онъ мнѣ:— разсказываетъ, какъ князь Кутузовъ, принимая въ Царевѣ-Займищѣ армію, болѣе былъ занятъ чтеніемъ романа Жанли́съ—«Les chevaliers du Cygne», чѣмъ докладомъ дежурнаго генерала. И есть ли какое вѣроятіе, чтобы Кутузовъ, видя передъ собою всѣ арміи Наполеона и готовясь принять рѣшительный, ужасный съ нимъ бой, имѣлъ время не только читать романъ Жанли́съ, но и думать о немъ?

— Но что же тутъ невозможнаго? — возразилъ я критику: — быть-можетъ, это былъ расчетъ со стороны Кутузова, чтобы видимымъ своимъ спокойствіемъ ободрить окружающихъ. Да, притомъ, такъ свойственно всякому человѣку стремленіе, подчасъ, чѣмъ-либо совершенно постороннимъ, чтеніемъ книги или неидущимъ къ дѣлу разговоромъ, успокоить потрясенныя свои чувства и, черезъ это внѣшнее отвлеченіе, хотя бы на мигъ оторваться отъ тяжелой и роковой дѣйствительности.

Я приводилъ Норову примѣры изъ жизни великихъ людей: Цезаря, Петра I, Александра Македонскаго и друг. При этомъ я ему напомнилъ, что Александръ Македонскій въ персидскомъ походѣ не разставался съ Гомеромъ и, среди столкновеній съ азіатскими кочевниками, переписывался съ своими друзьями въ Греціи, прося ихъ о высылкѣ ему произведеній греческихъ драматурговъ. Наконецъ, указывая Норову на описанія послѣднихъ дней приговоренныхъ къ смертной казни, я просилъ его вспомнить, что иные изъ нихъ, за нѣсколько часовъ до неминуемой смерти, искали бесѣды съ тюремщиками о театрѣ и другихъ новостяхъ дня или съ увлеченіемъ читали своихъ любимыхъ поэтовъ.

— Все это такъ, мой милый, все это могло случиться, но съ другими людьми и въ иныя времена!—возражалъ мнѣ Норовъ:—мы же въ двѣнадцатомъ году не были искателями приключеній, въ родѣ Цезаря или македонскаго героя, а тѣмъ паче производителями пышныхъ, шарлатанскихъ эффектовъ, на подобіе гильотинированныхъ во время французской революціи клубистовъ. До Бородина, подъ Бородиномъ и послѣ него, мы всѣ, отъ Кутузова до послѣдняго

подпоручика артиллеріи, какимъ былъ я, горѣли однимъ высокимъ и священнымъ огнемъ любви къ отечеству и, вопреки графу Льву Толстому, смотрѣли на свое призваніе, какъ на нѣкое священнодѣйствіе. И я не знаю, какъ посмотрѣли бы товарищи на того изъ насъ, кто бы въ числѣ своихъ вещей дерзнулъ тогда имѣть книгу для легкаго чтенія, да еще французскую, въ родѣ романовъ Жанлиса.

А. С. Норовъ, черезъ два мѣсяца послѣ напечатанія своего отзыва о романѣ гр. Толстого, скончался. Въ январѣ 1869 года, послѣ его похоронъ, мнѣ было поручено составить для одной газеты его некрологъ. Каково же было мое удивленіе, когда, собирая источники для некролога, я въ семействѣ В. П. Поливанова, родного племянника покойнаго, случайно увидѣлъ крошечную книжку изъ библіотеки Норова «Похожденія Родерика Рандома» («Aventures de Roderik Random, 1784») и на ея внутренней оберткѣ прочелъ слѣдующую, собственноручную надпись А. С. Норова: «Читалъ въ Москвѣ, раненый и взятый въ плѣнъ французами, въ сентябрѣ 1812 г.» («Lu à Moskou, blessé et fait prisonnier de guerre chez les français, au mois de septembre, 1812»).

То, что было съ подпоручикомъ артиллеріи въ сентябрѣ 1812 года, забылось черезъ сорокъ-шесть лѣтъ престарѣлымъ сановникомъ, въ сентябрѣ 1868 года, такъ какъ не подходило подъ понятіе, невольно составленное имъ, съ теченіемъ времени, о временахъ двѣнадцатаго года. Нельзя, разумѣется, утверждать, что романъ о Родерикѣ-Рандомѣ Норовъ держалъ подъ подушкой у Царёва-Займища, гдѣ Кутузовъ читалъ романъ Жанлиса. Но нельзя отвергать и предположенія, что Норовъ могъ читать романъ о Рандомѣ даже подъ самымъ Бородинымъ, какъ впослѣдствіи раненый онъ дочиталъ его, во время занятія Москвы французами, въ голицынской больницѣ, изъ оконъ которой онъ, по его же словамъ, съ такимъ искреннимъ презрѣніемъ смотрѣлъ потомъ вслѣдъ уходившаго изъ Москвы Наполеона.

Это обстоятельство я тогда же подробно записалъ и сообщилъ графу Л. Н. Толстому.

Тарантасъ, миновавъ поселокъ Ясной Поляны, повернулъ между двухъ кирпичныхъ сторожевыхъ башенокъ влѣво и въѣхалъ въ широкую аллею изъ красивыхъ развѣсистыхъ

березъ. На взгорьѣ, въ концѣ аллеи, обрисовалась графская усадьба.

Каменный въ два этажа яснополянскій домъ, въ которомъ теперь графъ Л. Н. Толстой живетъ почти безвыѣздно уже около двадцати-пяти лѣтъ (съ 1861 г.), передѣланъ имъ изъ отцовскаго флигеля. Большой же отцовскій домъ, въ которомъ родился авторъ «Войны и мира» (въ 1828 г.), былъ имъ сломанъ. Мѣсто, гдѣ стоялъ этотъ старый домъ, лѣвѣе и невдали отъ новаго. Оно заросло липами, обозначаясь въ ихъ гущинѣ остаткомъ нѣсколькихъ камней былого фундамента. Здѣсь подъ липами стоятъ простыя скамьи и столъ, за которыми въ лѣтнее время семья графа собирается къ обѣду и чаю. Колоколъ, прицѣпленный къ стволу стараго вяза, созываетъ сюда, подъ липы, изъ дома и сада, членовъ графской семьи.

У этого вяза обыкновенно, между прочимъ, собираются яснополянскіе и другіе окрестные жители, имѣющіе надобность переговорить съ графомъ о своихъ деревенскихъ нуждахъ. Онъ выходитъ сюда и охотно бесѣдуетъ съ ними, помогая имъ словомъ и дѣломъ. Не всѣ, однако, сосѣди умѣютъ, какъ слышно, цѣнить вниманіе и щедрость графа. Онъ вдали отъ своего двора, лѣтъ пятнадцать назадъ, посадилъ цѣлую рощицу молодыхъ елокъ. Елки поднялись почти въ два человѣческихъ роста и немало утѣшали своего насадителя. Недавно графъ вздумалъ пройти въ полѣ, полюбоваться елками, и возвратился оттуда сильно огорченный: болѣе десятка его любимыхъ, красивыхъ елокъ оказались безжалостно вырубленными подъ корень и увезенными изъ рощи. Онъ досадовалъ и на происшествіе, и на свое неудовольствіе. — «Опять вернулось мое былое, старое чувство, досада за такую потерю!» — говорилъ онъ и, узнавъ, что, по домашнимъ развѣдкамъ, виновникомъ дѣла оказался домашній воръ, тайно свезшій елки, подъ праздникъ, въ городъ,—просилъ объ одномъ, чтобы этотъ случай не былъ доведенъ до свѣдѣнія графини—его жены.

Тарантасъ, обогнувъ лѣвый уголъ дома, остановился у небольшого крыльца, ведущаго въ сѣни нижняго этажа. Не успѣлъ я здѣсь, внизу, войти въ переднюю, въ нее отворилась дверь изъ смежнаго графскаго кабинета, и на ея порогѣ показался графъ Левъ Николаевичъ. Послѣ первыхъ привѣтствій, онъ ввелъ меня въ свой кабинетъ.

Давно не видя графа, я, тѣмъ не менѣе, сразу узналъ его—по живымъ, ласково-задумчивымъ глазамъ и по всей его сильной и своеобразной фигурѣ, такъ художественно-схоже изображенной на извѣстномъ портретѣ Ив. Н. Крамского. Помню, какъ на парижской всемірной выставкѣ, восемь лѣтъ назадъ, въ отдѣлѣ русской живописи, всѣ любовались этимъ портретомъ, гдѣ графъ Л. Н. Толстой написанъ съ длинною темнорусою бородой и въ темной, суконной рабочей блузѣ. Съ такою же бородой и въ такой же точно блузѣ я увидѣлъ графа и теперь. Ему въ настоящее время пятьдесятъ-семь лѣтъ, но никто, несмотря на сѣдину, проступившую въ его окладистой, красивой бородѣ, не далъ бы ему этихъ годовъ. Лицо графа свѣжо; его движенія и походка живы, голосъ и рѣчь звучатъ юношескимъ жаромъ.

При входѣ въ яснополянскій домъ, невольно вспоминаются всѣмъ извѣстныя картины «Дѣтства» и «Отрочества» его владѣльца: его покойная мать, въ голубой косыночкѣ; жившій здѣсь когда-то его учитель Карлъ Ивановичъ, съ хлопушкой на мухъ; дворецкій Ѳока, ключница Наталья Савишна и ея сундуки, съ картинками внутри крышекъ; дядька Николай, съ сапожною колодкой; учительница музыки Мими́, и юродивый Гриша, за ночною трогательною молитвой котораго дѣти, съ испугомъ и умиленіемъ, однажды наблюдали изъ темнаго чулана.

Графъ провелъ меня, черезъ переднюю часть своего кабинета, за перегородку изъ книжныхъ шкаповъ. Мы сѣли у его рабочаго стола,—онъ на своемъ обычномъ рабочемъ креслѣ, я—на другомъ креслѣ, противъ него, за столомъ, оба закурили папиросы и стали бесѣдовать.

Опишу вкратцѣ кабинетъ графа.

Это—свѣтлая, высокая и скромно убранная комната, аршинъ 12 длины и около 6-ти аршинъ ширины. Два большихъ книжныхъ шкапа, изъ лакированной, бѣлой березы, раздѣляютъ эту комнату пополамъ—на нѣчто въ родѣ пріемной и уборной графа и на его рабочій кабинетъ. Окна и стеклянная дверь этой комнаты выходятъ на невысокое садовое, покрытое каменными плитами, крыльцо. Мебель въ обѣихъ половинахъ—старинная и, очевидно, не только отцовская, но и дѣдовская.

Въ пріемной—мягкій, широкій и длинный диванъ, покры-

тый зеленою клеенкой, съ зеленою сафьянною подушкой. Передъ диваномъ—круглый столъ, съ грудою разбросанныхъ на немъ англійскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ книгъ. У стола и возлѣ стѣнъ—съ полдюжины креселъ. На этажеркѣ—опять книги. Между дверью въ садъ и окномъ—умывальный столъ. Вправо отъ окна, въ углу, березовый комодъ, съ зеркаломъ. Надъ нимъ—оленьи рога, съ брошеннымъ на нихъ полотенцемъ. На заднихъ стѣнахъ книжныхъ шкаповъ висятъ разныя вещи—верхнее платье, коса для кошенія травы и круглая мягкая шляпа графа. Въ углу, за этажеркой, нѣсколько простыхъ, необдѣланныхъ, съ суковатыми ручками, палокъ для прогулки. Стѣна надъ диваномъ увѣшана коллекціей гравированныхъ, фотографическихъ и акварельныхъ портретовъ родныхъ и знакомыхъ графа,—его жены, отца, братьевъ, старшей дочери и друзей. Между послѣдними—фотографическая группа Левицкаго, съ портретами Григоровича, Островскаго и др., и отдѣльные портреты Шопенгауэра, А. А. Фета, Н. Н. Страхова и другихъ. Въ стѣнной нишѣ—гипсовый бюстъ покойнаго старшаго брата графа, Николая. На окнѣ разбросаны сапожные инструменты; подъ окномъ—простой, деревянный ящикъ, съ принадлежностями сапожнаго мастерства,—колодками, обрѣзками кожи и проч.

Въ рабочемъ кабинетѣ, за перегородкою, направо—у другого окна въ садъ, письменный столъ графа, налѣво — желѣзная кровать съ постелью для гостей. Полки березовыхъ шкаповъ, съ стеклянными дверцами, обращенныя въ эту часть комнаты, снизу до верху уставлены старыми и новѣйшими, иностранными и русскими, изданіями. За рабочимъ кресломъ графа, въ большой стѣнной нишѣ — открытыя полки, съ подручными книгами, справочниками, словарями, указателями и проч. Остальныя свободныя стѣны этой части комнаты также заняты полками съ книгами. Здѣсь, какъ и въ шкапахъ и въ нишѣ, виднѣются, — въ старинныхъ и новыхъ переплетахъ и безъ переплетовъ,— изданія сочиненій Спинозы, Вольтера, Гёте, Шлегеля, Руссо, почти всѣхъ русскихъ писателей, затѣмъ — Ауэрбаха, Шекспира, Бенжамена-Констана, Де-Сисмонди, Іоанна Златоуста и другихъ, иностранныхъ и русскихъ, духовныхъ и свѣтскихъ мыслителей. Житія святыхъ, «Четьи-Минеи», «Пролога»,— переводъ на русскій языкъ «Пятикнижія» Мандельштама, еврейскіе подлинники «Ветхаго Завѣта» и греческіе тексты

«Евангелія»,—«Мировоззрѣніе талмудистовъ» съ нѣмецкими, французскими и англійскими комментаріями,—уставлены на полкахъ, рядомъ съ извѣстными русскими проповѣдниками и русскими и иностранными, духовно-нравственными, дешевыми изданіями для народа *).

Простой письменный столъ графа, аршина въ два длины и въ аршинъ ширины, покрытый зеленымъ сукномъ и обведенный съ трехъ сторонъ небольшою рѣшеткой, извѣстенъ обществу по новѣйшему, прекрасному портрету графа, работы профессора Н. Н. Ге. На этомъ портретѣ, бывшемъ на передвижной выставкѣ, графъ изображенъ пишущимъ за этимъ именно столомъ. Справа и слѣва чернильницы разбросаны рукописи, книги и брошюры. Здѣсь лежатъ — «Новый Завѣтъ» въ греческомъ переводѣ Тишендорфа и новѣйшее изданіе еврейскаго подлинника библіи. На окнѣ—нѣсколько портфелей, съ рукописями, и опять книги.

Верхъ окна прикрытъ зеленою шерстяною занавѣской. Передъ окномъ—лужайка, съ клумбами еще свѣжихъ, нетронутыхъ морозомъ цвѣтовъ. За цвѣтникомъ — столбъ, съ веревками, для такъ называемой игры «гигантскіе шаги». Кучка яснополянскихъ ребятишекъ, свободно проникая въ садъ, бѣгаетъ въ эту минуту у названнаго столба.

Изъ окна—видъ на садъ, спускающійся къ пруду, и на живописныя окрестности. Вправо изъ окна виднѣются вершины густой березовой аллеи, по которой дорога поднимается къ дому. Влѣво — аллея изъ старыхъ, громадныхъ липъ. Прямо—просторный, гладкій скатъ къ пруду, у котораго красиво зеленѣетъ нѣсколько высокихъ, живописно-разбросанныхъ елей. Между липовою и березовою аллеями, за низиной, въ которой прячется прудъ, видъ на шоссе, на дальнія поля, холмы и голубоватые лѣса, а между холмами и лѣсами — на полосу желѣзной дороги, по которой время отъ времени извивается дымъ и проносятся московско-курскіе поѣзда.

У этого окна, въ дѣдовскомъ креслѣ, работы XVIII-го вѣка, съ узенькими, ничѣмъ не обитыми подлокотниками и

*) Въ числѣ послѣднихъ виднѣются на полкахъ: «Progress and poverty, by Henry George» (1884); „God and the Bible, by Matthew Arnold» (1885 г.), „Israel Sack» (1885 г.); «A discourse of matters, partaining to religion, by Theodore Parker» (1875 г.); „The twenty essays of Ralph W. Emersen» (1877 г.); «Litterature and Dorma, an essay towards a better apprehension of the Bible, by M. Arnold» (1877 г.) и др.

съ потертою, зеленою, клеенчатою подушкой, графъ Л. Н. Толстой писалъ свои знаменитыя произведенія. Здѣсь, на этомъ простомъ столѣ, днемъ, поглядывая на синѣющую даль, а вечеромъ и ночью — при свѣчахъ, въ старинныхъ, бронзовыхъ подсвѣчникахъ, — онъ писалъ исторію Наташи Ростовой, Андрея Болконскаго и Пьера Безухаго. Здѣсь же онъ разсказывалъ поэму любви Китти Щербацкой и Левина, рисовалъ образы Вронскаго и Стивы Облонскаго, набрасывалъ очерки лошади Фру-фру и собаки Ласки и съ такою глубиною разсказалъ полную трагизма судьбу Анны Карениной.

Бесѣду съ графомъ о прошломъ и настоящемъ прерываетъ, вбѣгая, красивая, рыжая, лягавая собака. Она ложится у ногъ хозяина.

— Это не Ласка?—спрашиваю я, вспоминая Анну Каренину.

— Нѣтъ, та пропала; эта охотится съ моимъ старшимъ сыномъ.

— А вы сами охотитесь?

— Давно бросилъ, хотя хожу по окрестнымъ полямъ и лѣсамъ каждый день... Какое наслажденіе отдыхать отъ умственныхъ занятій за простымъ физическимъ трудомъ! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косою, рубанкомъ или инымъ инструментомъ.

Я вспомнилъ о ящикѣ съ сапожными колодками, подъ окномъ пріемной графа.

— А работа съ сохой!—продолжалъ графъ:—вы не повѣрите, что за удовольствіе пахать! Не тяжкій искусъ, какъ многимъ кажется,—чистое наслажденіе! Идешь, поднимая и направляя соху, и не замѣтишь, какъ ушелъ часъ, другой и третій. Кровь весело переливается въ жилахъ, голова свѣтла, ногъ подъ собой не чуешь; а аппетитъ потомъ, а сонъ? — Если вы не устали, не хотите ли пока, до обѣда, прогуляться, поискать грибовъ? Недавно здѣсь перепали дожди: должны быть хорошіе бѣлые грибы.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ я.

Графъ надѣлъ свою круглую мягкую шляпу и взялъ лукошко; я тоже надѣлъ шляпу и выбралъ одну изъ палокъ за этажеркой. Мы, безъ пальто, вышли съ передняго крыльца, невдали отъ котораго, у воротъ на черный дворъ, стоялъ станокъ для гимнастики.

— Это также для васъ? — спросилъ я графа, указывая на станокъ.

— Нѣтъ, это для младшихъ моихъ дѣтей; у меня здѣсь другія упражненія, — отвѣтилъ онъ, поглядывая за ворота, гдѣ виднѣлась груда свѣже-нарубленныхъ дровъ.

Не удивительно, что, при постоянномъ физическомъ трудѣ, графъ такъ сохранилъ свое здоровье. Этому, въ значительной степени, помогло и то обстоятельство, что бо́льшую часть своей жизни Л. Н. Толстой провелъ въ деревнѣ. Лишившись въ ранніе годы матери, урожденной княжны Волконской, онъ 9 лѣтъ отъ роду, въ 1837 году, былъ увезенъ въ Москву, въ домъ бабки, потомъ опять жилъ въ деревнѣ, въ 1840 году поступилъ въ казанскій университетъ, гдѣ былъ по восточному, затѣмъ по юридическому факультету, съ 1851 по 1855 годъ провелъ въ военной службѣ на Кавказѣ, на Дунаѣ и въ Севастополѣ, и съ 1861 года почти безвыѣздно живетъ въ Ясной Полянѣ. Изъ 57 лѣтъ онъ, слѣдовательно, болѣе 35 лѣтъ провелъ въ деревнѣ.

Пройдя черезъ смежный съ усадьбой, молодой плодовый садъ, насаженный графомъ, мы вышли въ поле и направились въ ближній лѣсъ. Отъ этого лѣса, за небольшимъ ручьемъ, виднѣлись другіе лѣски и поляны. Отъ одной лѣсной чащи, то взгорьемъ, то долинкой, мы переходили къ другой, останавливаясь и разговаривая. Солнце выглянуло и опять спряталось за легкія, пушистыя облачка. Свѣжій воздухъ былъ напоенъ лиственнымъ, влажнымъ запахомъ. Золотившійся листъ медленно сыпался съ деревьевъ. Ни одна вѣтка не шелохнулась въ безвѣтренной тишинѣ.

Я шелъ рядомъ съ графомъ, любуясь его легкою походкой, живостью его рѣчи и простотою и прелестью всей его такъ сохранившейся, могучей природы. — «Боже мой, — думалъ я, глядя на него и слушая его, — его прославили потерянным для искусства, мрачнымъ, сухимъ отшельникомъ и мистикомъ... Посмотрѣли бы на этого мистика!»

Графъ съ сочувствіемъ говорилъ объ искусствѣ, о родной литературѣ и ея лучшихъ представителяхъ. Онъ горячо соболѣзновалъ о смерти Тургенева, Мельникова-Печерскаго и Достоевскаго. Говоря о чуткой, любящей душѣ Тургенева, онъ сердечно сожалѣлъ, что этому, преданному Россіи, высоко-художественному писателю пришлось лучшіе годы зрѣлаго творчества прожить внѣ отечества, вдали отъ искреннихъ друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.

— Это былъ независимый, до конца жизни, пытливый

умъ,— выразился графъ Л. Н. Толстой о Тургеневѣ:—и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтилъ его и горячо любилъ. Это былъ истинный, самостоятельный художникъ, не унижавшійся до сознательнаго служенія мимолетнымъ потребамъ минуты. Онъ могъ заблуждаться, но и самыя его заблужденія были искренни.

Наиболѣе сочувственно графъ отозвался о Достоевскомъ, признавая въ немъ, какъ въ художникѣ-писателѣ, неподражаемаго психолога сердцевѣда и вполнѣ независимаго писателя, самостоятельныхъ убѣжденій которому долго не прощали въ нѣкоторыхъ слояхъ литературы, подобно тому, какъ одинъ нѣмецъ, по словамъ Карлейля, не могъ простить солнцу того обстоятельства, что отъ него, въ любой моментъ, нельзя закурить сигару.

Коснувшись Гоголя, котораго Л. Н. въ своей жизни никогда не видѣлъ, и нынѣ живущихъ писателей, Гончарова, Григоровича и болѣе молодыхъ, графъ заговорилъ о литературѣ для народа.

— Болѣе тридцати лѣтъ назадъ,—сказалъ Л. Н.:—когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать,— въ стомилліонномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь, послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ, они, по всей вѣроятности, считаются милліонами. И эти милліоны русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчата, съ раскрытыми ртами, и говорятъ намъ: господа, родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи; пишите для насъ, жаждущихъ живого, литературнаго слова; избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Еруслановъ Лазаревичей, Милордовъ Георговъ и прочей рыночной пищи. Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился, по мѣрѣ силъ, попытаться на этомъ поприщѣ.

. . . . . .

Мы стали возвращаться изъ лѣса, гдѣ графъ разсчитывалъ найти много хорошихъ бѣлыхъ грибовъ и гдѣ они уже отошли.

— Какъ тепло и какъ пахнетъ листвой — сказалъ онъ, подходя къ ветхому, полуразрушенному мостику черезъ узкій ручей:—удивительная сила непосредственныхъ впечатлѣній отъ природы. И какъ я люблю и цѣню художниковъ, чер-

пающихъ все свое вдохновеніе изъ этого могучаго и вѣчнаго источника! Въ немъ единая сила и правда.

При этихъ словахъ графа, я вспомнилъ его разсказъ «Севастополь въ маѣ 1855 г.» — «Герой моей повѣсти, — сказалъ въ заключеніе этого разсказа Л. Н., — котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекраснъ—*правда*».

Мы разговорились о различныхъ художественныхъ пріемахъ въ литературѣ, живописи и музыкѣ.

— Недавно мнѣ привелось прочесть одну книгу,—сказалъ, между прочимъ, графъ Л. Н., останавливаясь передъ бревнышками, перекинутыми черезъ ручей:—это были стихотворенія одного умершаго, молодого испанскаго поэта. Кромѣ замѣчательнаго дарованія этого писателя, меня заняло его жизнеописаніе. Его біографъ приводитъ разсказъ о немъ старухи, его няни. Она, между прочимъ, съ тревогой замѣтила, что ея питомецъ нерѣдко проводилъ ночи безъ сна, вздыхалъ, произносилъ вслухъ какія-то слова, уходилъ при мѣсяцѣ въ поле, къ деревьямъ, и тамъ оставался по цѣлымъ часамъ. Однажды, ночью, ей даже показалось, что онъ сошелъ съ ума. Молодой человѣкъ всталъ, пріодѣлся впотьмахъ и пошелъ къ ближнему колодцу. Няня за нимъ. Видитъ, что онъ вытащилъ ведромъ воды и сталъ ее понемногу выливать на землю, вылилъ, снова зачерпнулъ и опять сталъ выливать. Няня въ слезы: «спятилъ, малый, съ ума». А молодой человѣкъ это продѣлывалъ, съ цѣлью — ближе видѣть и слышать, какъ въ тихую ночь, при лунномъ сіяніи, льются и плещутся струйки воды. Это ему было нужно для его новаго стихотворенія. Онъ въ этомъ случаѣ провѣрялъ свою память и заронившіяся въ нее поэтическія впечатлѣнія — тою же природой, какъ живописцы, въ извѣстныхъ случаяхъ, прибѣгаютъ къ пособію натурщиковъ, которыхъ они ставятъ въ нужныя положенія и одѣваютъ въ необходимыя одежды. Читая своихъ и чужихъ писателей, я невольно чувствую, кто изъ нихъ вѣренъ природѣ и взятой имъ задачѣ, и кто фальшивитъ. Иного моднаго и расхваленнаго, особенно изъ иностранныхъ, не одолѣешь, съ первой страницы, какъ ни усиливаешься. Даже угроза тѣлеснымъ наказаніемъ, кажется, не могла бы заставить меня прочесть иного автора...

Въ одной изъ критическихъ статей Н. Н. Страхова о «Войнѣ и мирѣ» говорится, что если Достоевскій былъ психологъ-идеалистъ, то графа Л. Толстого слѣдуетъ назвать психологомъ-реалистомъ. «Война и миръ», по выраженію почтеннаго критика, «подымается до высочайшихъ вершинъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, до вершинъ обыкновенно недоступныхъ людямъ. Графъ Л. Толстой — поэтъ, въ старинномъ и наилучшемъ смыслѣ слова. Онъ прозрѣваетъ и открываетъ намъ сокровеннѣйшія тайны жизни и смерти. Его идеалъ—въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Онъ самъ говоритъ: нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды. — Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго—вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ «Войны и мира». — Кто умѣетъ цѣнить высокія и строгія радости духа, кто благоговѣетъ передъ геніальностью и любитъ освѣжать и укрѣплять свою душу созерцаніемъ ея произведеній, тотъ пусть порадуется, что живетъ въ настоящее время».

Бесѣдующій съ графомъ Л. Н. Толстымъ объ искусствѣ невольно вспоминаетъ эти выраженія его лучшаго истолкователя.

Мы приблизились обратно къ усадьбѣ, мимо молодыхъ, собственноручныхъ насажденій графа. Красивыя, свѣжія деревца яблонь и грушъ, съ круглыми, сильными кронами вѣтвей, стояли въ шахматномъ порядкѣ на обширной плантаціи, невдали отъ усадьбы. Крестьянскія дѣвочки, съ серпами въ рукахъ, копались надъ чѣмъ-то въ бурьянѣ, у сосѣднихъ хлѣбныхъ скирдъ. Графъ разговорился съ ними, называя каждую по имени.

— Знаете ли, что́ онѣ дѣлаютъ?—спросилъ онъ:—жнутъ крапиву, для обставки на зиму стволовъ плодовыхъ деревьевъ; это лучшее средство противъ зайцевъ и мышей, которые не любятъ крапивы и бѣгутъ даже отъ ея запаха.

Вотъ и домъ. Я взглянулъ на часы. Мы провели въ прогулкѣ около трехъ съ половиною часовъ и прошли пѣшкомъ не менѣе шести-семи верстъ. Графъ, послѣ такого движенія, смотрѣлъ еще болѣе молодцомъ и, казалось, былъ готовъ идти далѣе. Но былъ уже шестой часъ: жена графа, Софья Андреевна, возвратилась изъ Тулы, куда возила на почту просмотрѣнныя графомъ и ею корректуры новаго полнаго собранія его сочиненій, и насъ ждали обѣдать.

— Вы не устали?—спросилъ Л. Н., весело посматривая

на меня и бодро всходя, по внутренней лѣстницѣ, въ верхній этажъ своего дома: — для меня ежедневное движеніе и тѣлесныя работы необходимы, какъ воздухъ. Лѣтомъ въ деревнѣ, на этотъ счетъ, приволье; я пашу землю, кошу траву; осенью, въ дождливое время, — бѣда. Въ деревняхъ нѣтъ троттуаровъ и мостовыхъ, — въ непогоду я крою и тачаю сапоги. Въ городѣ тоже одно гулянье надоѣдаетъ; — пахать и косить тамъ негдѣ,—я пилю и рублю дрова. При усидчивой, умственной работѣ, безъ движенія и тѣлеснаго труда, сущее горе. Не походи я, не поработай я ногами и руками, въ теченіе хоть одного дня, вечеромъ я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать другихъ; голова кружится, а въ глазахъ — звѣзды какія-то, и ночь проводится безъ сна.

Въ московскомъ, недавно купленномъ, своемъ домѣ (въ Долгохамовническомъ переулкѣ), Л. Н. обыкновенно съ утра самъ рубитъ для печей дрова и, вытащивъ воды изъ колодца, подвозитъ ее въ кадкѣ на саняхъ къ дому и къ кухнѣ.

— «А досужіе-то вѣстовщики, свои и чужіе, въ особенности свои? — подумалъ я, слушая эти простыя откровенія знаменитаго писателя, — чего они не наплели? и литературу-то онъ оставилъ, для шитья платьевъ и сапоговъ, и якшается съ чернью, подъ видомъ рубки дровъ на Воробьевыхъ горахъ!»

Верхній этажъ яснополянскаго дома занятъ семейнымъ помѣщеніемъ и столовою графа. По деревянной лѣстницѣ, на средней площадкѣ которой стоятъ старинные, въ деревянномъ футлярѣ, англійскіе часы, мы поднялись направо въ залъ. Здѣсь у двери стоитъ рояль, на пюпитрѣ котораго лежатъ раскрытыя ноты «Русланъ и Людмила». Между оконъ—старинныя, высокія зеркала, съ отдѣланными бронзой подзеркальниками. Посреди залы—длинный обѣденный столъ. Стѣны увѣшаны портретами предковъ графа. Изъ потемнѣлыхъ рамъ глядятъ, какъ живые, представители восемнадцатаго и семнадцатаго вѣковъ: мужчины—въ мундирахъ, лентахъ и звѣздахъ; женщины—въ робронахъ, кружевахъ и пудрѣ. Одинъ портретъ особенно привлекаетъ вниманіе посѣтителя. Это—портретъ, почти въ ростъ, красивой и молодой монахини, въ схимѣ, стоящей въ молитвенной задумчивости передъ иконой. На мой вопросъ, графъ

Л. Н. отвѣтилъ, что это — изображеніе замѣчательной по достоинствамъ особы, жены одного изъ его предковъ, принявшей постриженіе, вслѣдствіе даннаго ею обѣта Богу. Въ комнатѣ графини, смежной съ гостиною, мнѣ показали превосходный портретъ Л. Н—ча, также работы И. Н. Крамского. Этимъ портретомъ семья Л. Н. особенно дорожитъ.

Вошла жена графа; возвратился съ охоты его старшій сынъ, Сергѣй, кончившій въ это лѣто курсъ въ московскомъ университетѣ и нѣсколько дней назадъ пріѣхавшій изъ самарскаго имѣнія отца; собралась и остальная, наличная семья графа: взрослая, старшая дочь Татьяна, вторая дочь Марія и младшіе сыновья. Всѣ, въ томъ числѣ и маленькія дѣти, сѣли за обѣдъ. Всѣхъ дѣтей у графа нынѣ восемь человѣкъ (второй и третій его сыновья, въ мой заѣздъ въ Ясную Поляну, находились въ ученіи въ Москвѣ; младшій ребенокъ, сынъ, скончался въ минувшемъ январѣ). Нѣжный, любящій мужъ и отецъ, графъ Л. Н., среди своихъ взрослыхъ и маленькихъ, весело болтавшихъ дѣтей, невольно напоминалъ симпатичнаго героя его превосходнаго романа «Семейное счастье». Скромный въ личныхъ привычкахъ, Л. Н—чъ ни въ чемъ не отказываетъ своей семьѣ, окружая ее полною, нѣжною заботливостью. Занятія по домашнему хозяйству раздѣляютъ, между прочимъ, съ графиней и старшія дѣти графа.

Когда-то наша критика назвала великаго юмориста-сатирика Гоголя русскимъ Гомеромъ. Если кого изъ русскихъ писателей можно дѣйствительно назвать Гомеромъ, такъ это, какъ справедливо замѣтилъ А. П. Милюковъ, графа Л. Н. Толстого. Въ «Иліадѣ» воспѣтъ воинственный образъ древней Греціи, въ «Одиссеѣ» — ея мирная, домашняя жизнь. Графъ Л. Н. Толстой въ поэмѣ «Война и миръ» одновременно изобразилъ бурную и тихую стороны русской жизни. Но главная сила графа Л. Н. Толстого — въ изображеніи мирныхъ, семейныхъ картинъ. Въ отдѣльныхъ главахъ «Войны и мира» и «Анны Карениной» и въ цѣломъ романѣ «Семейное счастіе» онъ является истиннымъ и могучимъ поэтомъ тихаго семейнаго очага.

Начало вечера было проведено въ общей бесѣдѣ. Подвезли со станціи продолженіе корректуръ новаго изданія графа. Его жена занялась ихъ просмотромъ. Мы же съ Л. Н. спустились внизъ, въ его пріемную. На мой вопросъ онъ

съ увлеченіемъ разсказалъ о своихъ занятіяхъ греческимъ и еврейскимъ языками,—благодаря чему онъ въ подлинникѣ могъ прочесть Ветхій и Новый Завѣтъ,—о новѣйшихъ изслѣдованіяхъ въ области христіанства и пр. Зашла рѣчь объ «истинной вѣрѣ, фанатизмѣ и суевѣріи». Сужденія объ этомъ Л. Н—ча не новость: они проходятъ и отражаются по всѣмъ его сочиненіямъ, еще съ его «Юности» и «Исповѣди Коли Иртеньева». Коснувшись современныхъ событій, графъ говорилъ о послѣдней восточной войнѣ, о крестьянскомъ банкѣ, податномъ, питейномъ и иныхъ вопросахъ, и снова—о литературѣ. Мы проговорили за полночь...

Я затруднился бы, на ряду съ доступными для каждаго внѣшними чертами Ясной Поляны, передать подробно, а главное—вѣрно, внутреннюю сторону любопытныхъ и своеобразныхъ сужденій графа Л. Н. Толстого по затронутымъ въ нашей бесѣдѣ вопросамъ.

Ясно и вѣрно вспоминаю одно, что я слушалъ рѣчь правдиваго, скромнаго, добраго и глубоко убѣжденнаго человѣка.

Онъ, между прочимъ, удивлялся одному явленію въ нашей общественной жизни. Привожу его мысли по этому поводу, не ручаясь за точность ихъ изложенія...

...Вслѣдъ за видимымъ и кореннымъ погромомъ старинаго, дворянско-помѣстнаго землевладѣнія, въ нѣкоторой части общества особенно горячо и искренно усиливаются поощрять и навязывать крестьянамъ покупку дворянскихъ и иныхъ земель. Но для чего? для того ли, чтобы вовсе не было на свѣтѣ помѣщиковъ? Оказывается, что отнюдь не въ тѣхъ видахъ, а чтобы сейчасъ же выдумать, искусственно сдѣлать новыхъ помѣщиковъ-крестьянъ. И мало того,—сюда втянули, кромѣ бывшихъ крѣпостныхъ, и не думавшихъ о томъ государственныхъ крестьянъ, обративъ ихъ изъ вольныхъ пользователей, оброчниковъ свободныхъ казенныхъ земель—въ подневольныхъ земельныхъ собственниковъ, т.-е. опять-таки въ помѣщиковъ. Но кто поручится, что новымъ помѣщикамъ-крестьянамъ все это, съ теченіемъ времени, не покажется недостаточнымъ, и что они, за свой суровый сельскій трудъ и за свои деревенскія лишенія и тяготы, не станутъ справедливо добиваться былыхъ привилегій и, между прочимъ, стать дворянами?.. Забываютъ примѣръ Китая, Турціи и бо́льшей части древняго Востока. Тамъ вся земля казенная, государственная, и ею, за извѣстный оброкъ пра-

вительству, казнѣ, пользуются изъ всѣхъ сословій только тѣ, кто дѣйствительно, тѣмъ или другимъ способомъ, личнымъ трудомъ или капиталомъ, ее обработываетъ. Для такой цѣли выкупъ въ казну и при посредствѣ казны частныхъ земель имѣлъ бы скорѣе и свое оправданіе, и полезный для государства исходъ. На этотъ способъ пользованія землею давно обращено вниманіе западныхъ и въ особенности американскихъ ученыхъ, напримѣръ, Джорджа и другихъ. Это, безъ сомнѣнія, предметъ далекаго будущаго; но не слѣдуетъ, среди современныхъ европейскихъ доктринъ, забывать и того, чѣмъ живетъ и рядъ тысячелѣтій зиждется великій, древній Востокъ.

Я ночевалъ въ кабинетѣ графа, на кровати, за перегородкой изъ книжныхъ шкаповъ. Послѣ новой, утренней бесѣды, прогулки съ Л. Н. по парку и завтрака въ его семьѣ, я уѣхалъ въ его экипажѣ въ Тулу и далѣе по чугункѣ въ Москву.

Оставивъ Ясную Поляну, я съ отрадой разбиралъ и провѣрялъ свои впечатлѣнія. Графъ Л. Н. Толстой, послѣ этой новой нашей встрѣчи, остался въ моихъ мысляхъ тѣмъ же великимъ и мощнымъ художникомъ, какимъ его узнала и знаетъ Россія. Онъ вполнѣ здоровъ, бодръ, владѣетъ всѣми своими художественными силами и, внѣ всякаго сомнѣнія, можетъ еще подарить свою родину не однимъ произведеніемъ, подобнымъ «Войнѣ и миру» и «Аннѣ Карениной». Скажу болѣе. Какъ затишье и перерывъ, послѣ «Дѣтства», «Отрочества» и «Севастопольскихъ разсказовъ» (когда онъ занялся вопросами педагогіи и издавалъ «Яснополянскій журналъ»), были не апатіей и не ослабленіемъ его художественныхъ силъ, а только невольнымъ отдыхомъ, въ теченіе котораго въ его душѣ зрѣли образы «Войны и мира»,— такъ и теперь, когда графъ Л. Н. Толстой, изучивъ въ подлинникѣ Ветхій и Новый Завѣтъ и Житія святыхъ, посвящаетъ свои досуги разсказамъ для народа, — онъ, очевидно, лишь готовится къ новымъ, крупнымъ художественнымъ созданіямъ, и его теперешнее настроеніе—только новая ступень, только приближеніе къ инымъ, еще болѣе высокимъ образамъ его творчества.

1886 г.

ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

Н. Ѳ. Щербина.

(Его письма и неизданныя стихотворенія.)

Осенью 1850 года, кончивъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ, я поѣхалъ въ Одессу и въ Крымъ. Было 6-е сентября. Близился вечеръ.

Послѣ долгаго, пыльнаго и душнаго пути на перекладныхъ, я завидѣлъ, наконецъ, съ обгорѣлой, возвышенной степи, Одессу и скоро спустился къ ней. Чистенькій, бѣлокаменный городъ, среди садиковъ изъ акацій, надъ розово-фіолетовымъ морскимъ заливомъ, произвелъ на меня чарующее впечатлѣніе.

Покрытый съ головы до ногъ сѣрою пылью, я въѣхалъ въ ворота длинной, съ закрытыми зелеными жалюзи, гостинницы Мазараки, наскоро умылся, переодѣлся, пообѣдалъ въ Палероялѣ, у описаннаго Пушкинымъ Оттона (ресторанъ «Au petit gourmand»), гдѣ на картѣ кушаньевъ пестрѣли незнакомыя имена мѣстныхъ морскихъ рыбъ, — скумбрія, кефаль, камбала, баламутъ, калканы, бычки и проч., — зашелъ въ погребъ, подъ вывѣской «Текущая рѣка», гдѣ выпилъ за шесть копеекъ, какъ теперь помню, стаканъ превосходнаго, безпошлиннаго хіосскаго вина (Одесса тогда еще была porto-franco) и пустился пѣшкомъ осматривать городъ. Мнѣ тогда пошелъ двадцать второй годъ и я былъ способенъ, безъ устали и съ наслажденіемъ, проходить огромныя пространства.

Улицы Одессы, сорокъ лѣтъ назадъ, мало походили на русскій городъ. Надъ магазинами вездѣ кросовались итальи-

янскія, греческія и французскія вывѣски. Молдаване, валахи, армяне, греки и татары, въ живописныхъ національныхъ одеждахъ, торговали въ палаткахъ, на площадяхъ и перекресткахъ улицъ. Мелькали фески турецкихъ матросовъ; какой-то алжирецъ, въ бѣлой чалмѣ, носилъ и продавалъ ручную, ученую обезьяну. Тысячи возовъ, телѣгъ и нѣмецкихъ гарбъ тянулись отъ взморья къ громаднымъ каменнымъ, пшеничнымъ амбарамъ и обратно. На площадяхъ, передъ амбарами, высыпали, лопатили, вѣяли и снова насыпали пшеницу. Вездѣ слышался иноплеменный говоръ. Извозчики, на оклики иностранцевъ, отвѣчали, подавая дрожки: «си, синьоръ!»—«прѐсто» и «тутсюйтъ». Нарядныя, съ восточными лицами, красавицы, подъ широчайшими бѣлыми, съ бахромой зонтиками, проносились по улицамъ на рысакахъ, въ богатыхъ коляскахъ и ландо. Гдѣ-то подкрѣпившись за три копѣйки рюмкой малаги съ бисквитомъ, конецъ вечера я провелъ въ театрѣ.

Давали оперу «Сомнамбула», съ знаменитой пѣвицей Брамбилла и съ нѣкіимъ замѣчательно-нѣжнымъ и сладко-пѣвучимъ теноромъ. Мастерски спѣвшіеся, оживленные и подвижные хоры, красивый дирижеръ,—худой и блѣдный еврей Буффе́, съ длинными черными волосами, живописно падавшими на его большіе, отложные воротнички, необычайно шумный, съ перекликаньями черезъ сосѣдей, говоръ публики въ антрактахъ и масса хорошенькихъ женщинъ въ яркоосвѣщенныхъ ложахъ, отдѣланныхъ бронзой и инкрустаціей изъ зеркалъ,—все это на скромнаго путника, прибывшаго съ сѣвера, производило сильный эффектъ.

Въ антрактѣ, послѣ одного изъ дѣйствій, со мной заговорилъ сосѣдъ по креслу партера. Не помню, съ чего онъ началъ,—кажется, съ оперы,—въ родѣ того: «ну, какова опера и исполненіе? а за то слушатели?» Это былъ ниже средняго роста человѣкъ, смуглый, съ большими, черными, выразительными глазами и въ черныхъ, длинныхъ, тщательно-причесанныхъ кудряхъ. Ему было лѣтъ подъ тридцать, онъ нѣсколько заикался. На его шеѣ, на шнуркѣ, висѣла золотая лорнетка. Зло подсмѣиваясь надъ одесскою публикой, которая вся, по его словамъ, въ глубинѣ души, была меркантильно-невѣжественна и, не имѣя понятія объ искусствѣ, ѣздила въ театръ только изъ моды, — онъ указалъ на одну изъ ложъ въ бель-этажѣ.

— Вонъ сидитъ старый Крезъ,—сказалъ онъ:—какъ важенъ и съ какимъ достоинствомъ аплодируетъ! — а въ молодости былъ морскимъ разбойникомъ, звался капитаномъ Барбуни и разбогатѣлъ на контрабандѣ... Теперь называется иначе... И что значатъ деньги! всѣ знаютъ его прошлое и никто его не трогаетъ.

Мы заговорили о Петербургѣ. Узнавъ, что я недавно былъ въ Москвѣ, сосѣдъ сказалъ мнѣ, что особенно любитъ этотъ городъ, и спросилъ меня, кого я тамъ видѣлъ. Я назвалъ нѣсколько именъ и, между прочимъ, Загоскина.

— Автора «Юрія Милославскаго»?—спросилъ оживленно сосѣдъ.

— Да.

— И вы знакомы съ нимъ?

— Давно, со школьной скамьи, — хаживалъ къ нему по праздникамъ.

— Что же онъ? пишетъ что-нибудь новое?

— Комедію въ стихахъ,—«Женатый женихъ».

— Въ стихахъ? — улыбнулся сосѣдъ: — и онъ вамъ ее читалъ?

— Познакомилъ изъ отрывковъ.

— Ну, и что же, хорошо?

— Мнѣ понравилось.

— Каковъ онъ, скажите? какъ вы его нашли, когда заѣхали, что именно онъ въ то время дѣлалъ? очень старъ?

— Бодрый, какъ всегда, толстенькій, круглолицый, румяный и голубоглазый. А что онъ дѣлалъ, — когда я вошелъ, — разсматривалъ на столѣ, въ витринѣ, любопытную коллекцію лукутинскихъ табакерокъ съ картинками; взялъ бильбокѣ и, ловя его шарикъ, разговорился о риѳмахъ.

— Въ какомъ родѣ?

— Онъ сказалъ, — есть русскія слова, на которыя вовсе нѣтъ риѳмъ.

— Что за пустяки! Любопытно, однако, знать, какія это слова?—заикаясь и какъ бы сердясь, проговорилъ сосѣдъ.

— Между прочимъ, онъ назвалъ «зеркало»—«жалоба»—«память» и еще, не помню, что.

Сосѣдъ нервно двинулся, хотѣлъ отвѣчать, но въ это время оркестръ кончилъ играть, взвился занавѣсъ, въ публикѣ послышалось шиканье говорунамъ, и онъ затихъ. Все дѣйствіе онъ сидѣлъ неспокойно, лорнируя ложи, при-

нужденно зѣвая и почти не глядя на сцену. Когда, послѣ новаго дѣйствія оперы, опять спустился занавѣсъ, онъ быстро обратился ко мнѣ.

— Риѳма на зе... зе... «зеркало» есть!—сильно заикаясь и сердито пуча глаза, громко проговорилъ онъ: — какъ не быть! мудрости тутъ нѣтъ никакой... «зеркало»—«исковеркало»... И на «жалоба» есть, въ другомъ хотя падежѣ—«жалобъ»—«узнало бъ»—или «жалобѣ»—«жало бы».

— А память?—спросилъ я.

— На это, положимъ, труднѣе, хотя тоже вздоръ, и, безъ сомнѣнія, есть, если подумать.

Сосѣдъ замолкъ. На нашъ разговоръ, изъ слѣдующаго ряда креселъ къ намъ обернулся высокій, съ темнорусыми волосами, господинъ, сидѣвшій прямо противъ насъ.

— На «память», разумѣется, также есть риѳмы, — сказалъ онъ: — одна не вполнѣ созвучная — «замѣть», другая не цензурная—«попа—мять»...

— И третья не бла-бла-говонная! «клопа—мять!»—еще сильнѣе заикаясь, точно выстрѣлилъ первый мой сосѣдъ:— вотъ и открытія! передайте ихъ Загоскину...

Музыка снова прервала нашъ разговоръ. Опера кончилась бурными овaціями Брамбиллѣ. Съ улицы слышались виваты и крики «ура». Пѣвицѣ не дали ѣхать. Ея поклонники отпрягли лошадей и, осыпая артистку цвѣтами, потащили ее въ коляскѣ на рукахъ. Свѣтила яркая луна. Публика, расходясь, наполняла оживленными группами бульваръ.

Прощаясь съ сосѣдями по театру, я сказалъ тому изъ нихъ, который заикался:

— Если Загоскинъ спроситъ, отъ кого я слышалъ риѳмы, какъ мнѣ васъ назвать?

— Щербина.

— Авторъ греческихъ стихотвореній?

— Онъ самый...

— А ваше, извините, имя?—обратился я къ другому.

— Полонскій.

— Авторъ «Гаммъ»?

— Къ вашимъ услугамъ.

Такъ случайно, въ одинъ день и часъ, произошло мое знакомство съ двумя высокодаровитыми поэтами, произведеніями которыхъ, уже въ то время, зачитывалась вся обра-

зованная Россія. Оставшись еще нѣсколько дней въ Одессѣ, я уѣхалъ на пароходѣ «Тамань» въ Крымъ, одновременно съ Я. П. Полонскимъ, который возвращался на Кавказъ, гдѣ онъ въ то время редактировалъ «Закавказскій Вѣстникъ». На пути мы вынесли сильный шквалъ; половину путешественниковъ укачало.

Въ Ялтѣ, Я. П. Полонскій, остановившись со мной въ одной гостиницѣ, прочелъ мнѣ и вписалъ карандашомъ въ мою памятную книжку новое свое стихотвореніе «Качка въ бурю», очевидно написанное имъ подъ впечатлѣніемъ перенесеннаго нами шквала, обозначивъ подъ нимъ: «Пароходъ «Тамань». Сентябрь 1850 г.».

Знакомство мое съ Щербиной, вскорѣ съ его переѣздомъ въ Москву и потомъ въ Петербургъ, перешло въ дружескія, близкія отношенія, которыя не прерывались до дня его кончины.

Въ бытность студентомъ харьковскаго университета, Щербина жилъ въ крайней бѣдности, изъ заработка грошей писалъ проекты проповѣдей семинаристамъ, искавшимъ мѣста священниковъ, и спалъ подъ такимъ изорваннымъ одѣяломъ, что его ноги просовывались въ прорѣхи. Слуга одного изъ моихъ знакомыхъ, А. Ѳ. Т., жившаго въ то время въ Харьковѣ, видя Щербину, приходившаго къ его господину, въ невѣроятномъ тепломъ костюмѣ, обернутаго шарфами, докладывалъ о немъ: «Щербина пришла», очевидно принимая его за женщину.

Мало оцѣненный критикой при жизни, частью, вѣроятно, вслѣдствіе черезчуръ злыхъ и подчасъ слишкомъ отзывавшихся личнымъ раздраженіемъ, стихотворныхъ и прозаическихъ его сатиръ и памфлетовъ на современныхъ дѣятелей, — Щербина и послѣ своей смерти не дождался еще вполнѣ вѣрной и безпристрастной оцѣнки своей поэтической дѣятельности. Въ родной литературѣ, какъ поэтъ антологическихъ стихотвореній, онъ несомнѣнно будетъ поставленъ рядомъ съ лучшими изъ своихъ современниковъ, съ Майковымъ, Фетомъ, Полонскимъ и Меемъ. Въ области сатиры онъ далъ также замѣчательные образцы, не потерявшіе своей соли и донынѣ, черезъ двадцать лѣтъ послѣ его смерти.

Наслѣдникамъ Н. Ѳ. Щербины, его брату и сестрѣ, давно слѣдовало бы издать болѣе полное и провѣренное собраніе его произведеній, предпославъ ему обстоятельное его жизне-

описаніе. Съ цѣлью содѣйствовать тому и другому, привожу здѣсь, съ примѣчаніями, нѣкоторыя изъ сохранившихся въ моемъ литературномъ архивѣ его писемъ ко мнѣ и писемъ о немъ другихъ писателей, отрывки изъ неизданныхъ его стихотвореній и описаніе его кончины.

Щербина вѣрно опредѣлилъ свою жизнь слѣдующими стихами:

«Я въ жизни боролся не съ бурей великой,
«Не съ мощнымъ, разумнымъ врагомъ,
«Но съ мелочью горя, но съ глупостью дикой,
«Въ упорствѣ ея мелочномъ».

Н. Ѳ. Щербина родился 2-го декабря 1821 г.; умеръ на 48 году, 10-го апрѣля, въ 1869 году, въ 10 съ половиною часовъ вечера. По моей просьбѣ, онъ написалъ мнѣ за три дня до своей смерти (7-го апрѣля 1869 года) слѣдующія свѣдѣнія о своей жизни:

«*Записка о Николаѣ Щербинѣ.* — Онъ происходитъ съ отцовой стороны изъ дворянъ харьковской губерніи, а съ материнской изъ дворянъ Войска Донского. Родился въ концѣ 1821 года, въ степномъ помѣстьѣ матери своей, въ землѣ Войска Донского, находившемся близъ города Таганрога.

«Съ 8-ми-лѣтняго возраста началъ постоянно жить съ родителями въ Таганрогѣ и обучался въ тамошнемъ училищѣ и гимназіи. Будучи еще гимназистомъ, онъ напечаталъ первое свое стихотвореніе въ журналѣ «Сынъ Отечества» 1838 года, № 10.

«Въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ поѣхалъ учиться частнымъ образомъ въ Москву, а оттоль въ Харьковъ, гдѣ чрезъ извѣстное время и поступилъ въ университетъ. По тяжелымъ житейскимъ обстоятельствамъ, въ которыя впали его родители, онъ вынужденъ былъ выдержать экзаменъ на учителя и преподавать въ деревняхъ у помѣщиковъ. По временамъ возвращался въ Харьковъ и занимался преподаваніемъ въ женскихъ пансіонахъ.

«Въ это время онъ печаталъ свои стихотворенія въ мѣстныхъ литературныхъ сборникахъ и въ нѣкоторыхъ столичныхъ журналахъ, а также и статьи въ прозѣ.

«Переѣхавъ изъ Харькова въ Одессу, онъ издалъ тамъ

собраніе своихъ стиховъ, подъ названіемъ: «*Грѣческія стихотворенія*». Эта книга была принята благосклонно и публикою, и критикою, и доставила автору извѣстность.

«Въ Одессѣ онъ былъ представленъ Л. С. Пушкинымъ, братомъ поэта, князю П. А. Вяземскому.

«Изъ Одессы онъ отправился въ Москву, въ 1850 году, гдѣ опредѣлился на государственную службу въ московское губернское правленіе, въ должность помощника редактора «Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». Въ Москвѣ же онъ занимался преподаваніемъ уроковъ дѣвицамъ изъ высшаго тамошняго общества. Участвовалъ въ журналѣ «Москвитянинъ» и печаталъ стихи въ разныхъ петербургскихъ журналахъ. Собиралъ и записывалъ изъ устъ простонародья русскія народныя пѣсни въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Переѣхавъ изъ Москвы въ Петербургъ, онъ поступилъ вновь на службу по министерству народнаго просвѣщенія — чиновникомъ по особымъ порученіямъ при товарищѣ министра, князѣ П. А. Вяземскомъ, и дѣлопроизводителемъ одного еврейскаго ученаго комитета.

«Въ это время онъ издалъ: 1) Полное собраніе своихъ стихотвореній въ 2-хъ томахъ; 2) «Сборникъ лучшихъ произведеній русской поэзіи», и 3) «Пчела», сборникъ для народнаго чтенія и для употребленія при народномъ обученіи. Этой книги напечатано уже 3-е изданіе. Кромѣ того, печаталъ статьи въ журналахъ и отдѣльными брошюрами по части простонароднаго образованія. Во французскомъ журналѣ «Le Nord» помѣстилъ статью о медали въ память 19 февраля 1862 г., исполненной графомъ Ѳ. П. Толстымъ.

«Путешествовалъ по Европѣ и помѣщалъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» свои путевыя письма и стихотворенія, а также и въ «Днѣ». Въ настоящее время находится у него не напечатаннымъ довольно большое собраніе сатирическихъ стихотвореній.

«Пожертвовалъ 2 тысячи экземпляровъ своей народной книги «Пчела» на бѣдныя сельскія школы, учрежденныя при церковныхъ приходахъ, на сумму 2,225 рублей. Пожертвовалъ эту же книгу во всѣ воскресныя простонародныя школы при духовныхъ семинаріяхъ. Тоже пожертвовалъ и на славянъ.

«При новомъ преобразованіи министерства народнаго просвѣщенія, остался за штатомъ и былъ годъ безъ мѣста.

Потомъ былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ и вскорѣ прикомандированъ къ главному управленію по дѣламъ печати для составленія «Обозрѣнія русскихъ газетъ и журналовъ», представляемаго ежедневно его величеству государю императору. Во время этой послѣдней службы, Щербина заболѣлъ тяжкою хроническою болѣзнію: но должность свою, однако, отправлялъ неукоснительно, какъ бы былъ совершенно здоровымъ. Болѣзнь же продолжается около 4-хъ лѣтъ. Состоитъ въ штабъ-офицерскомъ чинѣ».

«*Прибавленіе къ запискѣ о Щербинѣ*». Еще онъ писалъ, по порученію Академіи Наукъ, критическіе разборы сочиненій, поступающихъ на уваровскія преміи, и былъ награжденъ за это Академіею, которая присудила ему золотую медаль.

«Кромѣ того, онъ писалъ критическія статьи и рецензіи въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ».

Онъ же за два дня до своей смерти написалъ лично и вручилъ мнѣ, для представленія князю П. А. Вяземскому, слѣдующее заявленіе:

«*Замѣтка относительно редакціи статей въ «Пчелѣ»**). Что касается словъ, выраженій и образовъ, которые принято отстранять отъ дѣтскихъ и женскихъ сферъ, то составитель «Пчелы» въ редакціи статей своего сборника обратилъ на этотъ предметъ особенное вниманіе.

«На 640 страницахъ книги, не болѣе какъ въ двухъ мѣстахъ находится подобное слово, да и то, въ статьяхъ, изложенныхъ только на церковно-славянскомъ языкѣ. Такъ, напримѣръ, въ «Сказаніи келаря Авраамія Палицына» (стр. 116) слово «блудъ» и другія еще болѣе рельефныя выраженія и картины *выпущены* составителемъ изъ статьи, и только одинъ разъ было необходимо по редактивнымъ соображеніямъ удержать это слово.

«Въ другой разъ это слово упоминается въ «Словѣ святого Василія Великаго» (стр. 603), въ которомъ приводится текстъ изъ «Апостола Павла»: «не упивайтеся виномъ въ немже есть блудъ».

«Такъ какъ въ «Пчелѣ» болѣе 600 страницъ, то тѣ двѣ страницы, гдѣ по разу написано это слово, теряются «какъ капля въ морѣ опущенна».

*) Объ этомъ сборникѣ Щербина говоритъ весьма подробно ниже, въ письмѣ XIII.

«И во всѣхъ другихъ хрестоматіяхъ для учебныхъ заведеній никакъ невозможно было избѣжать совершенно подобныхъ словъ.

«Въ катихизисѣ и священной исторіи ихъ болѣе всего. При богослуженіи они тоже слышатся и находятся также въ повседневныхъ молитвахъ.

«Къ этому вообще не излишне присовокупить, что редакція статей въ «Пчелѣ» до щепетильности обращала вниманіе на цѣломудренность выраженій, образовъ и ситуацій, а въ нравственномъ, духовномъ и политическомъ отношеніяхъ относилась къ статьямъ своимъ съ дипломатическою осторожностью, имѣя въ виду свойства читателей книги. Коллежскій асессоръ Николай Ѳедоровъ сынъ Щербина.— 8-го апрѣля 1869 года».

Друзья Н. Ѳ. Щербины и врачи совѣтовали ему оставить Петербургъ, столь вредно дѣйствовавшій на его здоровье и переселиться, хотя временно, на югъ Россіи; но покойный медлилъ и все собирался приступить къ этому переселенію. Въ мартѣ 1869 года онъ просилъ меня похлопотать о зачисленіи его въ распоряженіе новороссійскаго генералъ-губернатора въ Одессу. Князь П. А. Вяземскій принялъ въ этомъ случаѣ снова самое живое участіе для осуществленія желанія Н. Ѳ. Щербины, силы котораго съ каждою недѣлею падали. Министръ внутреннихъ дѣлъ, А. Е. Тимашевъ, въ вѣдомствѣ котораго Н. Ѳ. Щербина въ это время служилъ, изъявилъ полную готовность помочь въ осуществленіи его просьбы. Письмо о согласіи министра внутреннихъ дѣлъ перевести Н. Ѳ. Щербину въ Одессу, устроить его положеніе при генералъ-губернаторѣ Коцебу и испросить для переѣзда въ Одессу денежное пособіе, было мною доставлено Н. Ѳ. Щербинѣ, утромъ, въ день его смерти. Обрадованный этимъ письмомъ, онъ поручилъ мнѣ принять мѣры къ ускоренію этого дѣла, предполагая немедленно выѣхать изъ Петербурга, и назначилъ мнѣ свиданіе 11-го апрѣля, для окончательныхъ переговоровъ о способахъ выѣзда своего на югъ, а 10-го апрѣля вечеромъ уже его не стало. Утромъ, 10-го апрѣля, онъ былъ осмотрѣнъ лучшими хирургами, изъ которыхъ покойный Е. И. Богдановскій, профессоръ медико-хирургической академіи, предложилъ ему тутъ же (дѣло было въ два часа пополудни) сдѣлать операцію, т. е. вставить ему въ разрѣзъ горла дыхатель-

ную трубку и, затѣмъ, вырѣзать полипъ, начинавшій его душить. Н. Ѳ. Щербина на это не согласился, подшучивая надъ страстью хирурговъ къ ножу. Весь день онъ провелъ въ обычныхъ занятіяхъ, читалъ, занимался служебною работой и передалъ своему слугѣ Ивану, на всякій случай, адресы трехъ докторовъ, бывшихъ у него на консультаціи (Е. И. Богдановскій даже оставилъ у него свой инструментъ) и сказалъ, что слѣдовало дѣлать съ нимъ, если бъ у него паче чаянія начался приступъ удушенія, а именно: мочить горло теплою губкой, растирать грудь и проч. Въ девять часовъ вечера онъ напился чаю, — потомъ пилъ зельтерскую воду, и еще въ десять часовъ вечера говорилъ со слугой. Въ $10^1/_2$ часовъ онъ вбѣжалъ въ кухню, разводя руками и показывая знаками, что съ нимъ началось удушье. Вслѣдъ затѣмъ, онъ молча бросился въ спальню, упалъ на кровать и черезъ нѣсколько минутъ умеръ. Слуга поѣхалъ за докторами; тѣ немедленно явились, употребляли всѣ средства къ его оживленію, искусственно возбуждая его дыханіе, и даже произвели сѣченіе его горла,—но жизнь покойнаго уже угасла. Онъ умеръ въ домѣ Карачарова, на углу Поварского переулка и Колокольной улицы, въ крошечной квартиркѣ четвертаго этажа, гдѣ лучшимъ его утѣшеніемъ были нѣсколько шкаповъ съ книгами и съ гипсовыми изображеніями греческихъ героевъ и героинь. Тѣло покойнаго погребено 13-го апрѣля 1869 г. на старомъ кладбищѣ Александро-Невской лавры, невдали отъ могилъ Даргомыжскаго и Сѣрова.

Письма Н. Ѳ. Щербины.

I.

«1850. Ноября 29. Москва. Милый Григорій Петровичъ. Съ чувствомъ особеннаго удовольствія читалъ я ваше письмо. Благодарю васъ за вниманіе и память обо мнѣ. Извините, что я никакъ не могъ увидѣться съ вами въ Москвѣ, не смотря на все мое искреннее желаніе: причиною тому было то, что разлилась рѣка въ селѣ Павловскомъ, гдѣ я былъ, и снесла мостъ, оттого мнѣ и нельзя было переѣхать, для свиданія съ вами въ Москвѣ. Не лишнимъ считаю сообщить вамъ, что я въ Москвѣ поступилъ на казенную службу, въ здѣшнее губернское правленіе, помощникомъ редактора «Мо-

сковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». Это мѣсто штатное и классное. Я очень доволенъ, что наконецъ-таки добился до исполненія своего желанія — вступить въ казенную службу, которая одна только даетъ человѣку постоянное и вѣрное обезпеченіе въ жизни [1]); а частныя занятія такъ непостоянны и непрочны. Это я испыталъ на себѣ... Постараюсь же строго и законно исполнять свои служебныя обязанности, и благо мнѣ будетъ.

«Съ А. Н. Островскимъ я познакомился, былъ у А. О. Вельтмана раза два.

«Вы хотите знать: какія новости въ московской литературѣ? Я въ ней человѣкъ совершенно посторонній, и считаю—навѣдываться о такой литературѣ для себя нисколько не интереснымъ и безполезнымъ. «Греческія стихотворенія» всѣ у меня раскуплены книгопродавцами, я не имѣю ихъ ни одного экземпляра. Требуется второе изданіе. Мнѣ предлагалъ это одинъ здѣшній книгопродавецъ, изъявившій желаніе быть постоянно моимъ издателемъ.

«Въ «Сынѣ Отечества» было напечатано безъ вѣдома моего и согласія нѣсколько моихъ пьесъ: однѣ изъ нихъ въ исковерканномъ видѣ, другія двѣ изъ дѣтскихъ моихъ опытовъ, которыя я неохотно и очень неохотно вижу въ печати. Не знаю кѣмъ и какъ онѣ доставлены въ этотъ журналъ. Подобныя вещи могутъ меня компрометировать.

«Я имѣю цѣлую тетрадь, состоящую изъ 42 стихотвореній, готовыхъ къ напечатанію. Изъ рукописи этой если я и думаю печатать въ какомъ-нибудь порядочномъ, любимомъ публикою журналѣ, то не иначе, какъ за плату, разсчитывая на печатный листъ, или хоть поштучно. Впрочемъ, я охотнѣе готовъ отдать въ одинъ журналъ, за приличную плату, ужъ всю эту рукопись (42 пьесы), которая могла бы печататься въ продолженіи цѣлаго года въ журналѣ. Въ противномъ же случаѣ гораздо съ большимъ удовольствіемъ могу оставить ее не напечатанною въ своемъ портфелѣ, или издать особою книжкою, когда и какъ мнѣ заблагоразсудится [1]). Впрочемъ, это все vanitas vanitatum. Въ Одессѣ уже вышелъ въ свѣтъ литературный сборникъ «Литературные Вечера». Постарайтесь не медлить рецензіей на него въ пе-

[1]) Такъ думали русскіе люди 40 лѣтъ назадъ.

[1]) Эту тетрадь впослѣдствіи Щербина подарилъ мнѣ и изъ нея мною ниже приводятся отрывки.

тербургскихъ журналахъ: это будетъ полезно для этого сборника. Вы, я думаю, скоро получите его въ Петербургѣ. Содержаніе его вы знаете. Адресъ мой: Въ Москву. За Пресненскими прудами, въ Грузинской ул., въ домѣ Никулина, гдѣ контора Павловской казенной суконной фабрики. Пріймите увѣреніе въ душевномъ къ вамъ расположеніи. Весь вашъ Н. Щербина».

Н. Ѳ. Щербина пріѣхалъ въ Петербургъ 22-го января 1851 г., и въ тотъ же день навѣстилъ меня. Утромъ слѣдующаго дня я повезъ его къ О. И. Сенковскому, а вечеромъ къ А. А. Краевскому. Съ этого началось его знакомство съ петербургскими литераторами.

II.

«3-го апрѣля 1853 года. Москва. Вы я думаю, любезнѣйшій Григорій Петровичъ, никакъ не ожидали получить отъ моей лѣности это посланіе... Но на меня, какъ найдетъ, подъ какую минуту что прійдется: заснувшая, повидимому, дѣятельность возобновляется и даже дѣлается ровною и постоянною, смотря по внѣшнимъ обстоятельствамъ, меня окружающимъ. Зная вашу любезную обязательность и расположенность лично ко мнѣ, я рѣшился обезпокоить васъ моею покорнѣйшею просьбою. У насъ въ Москвѣ предполагается издать одинъ «*Альманахъ*», для чего собрана уже часть матеріаловъ, между которыми есть вещи очень порядочныя, и людей, имѣющихъ имя въ современной литературѣ. Онъ будетъ изданъ одною изъ особъ «Дамскаго попечительства о бѣдныхъ въ Москвѣ». За редакціею относительно литературнаго comme il faut поручено присмотрѣть мнѣ. Можно ручаться, нѣкоторымъ образомъ, что онъ совершенно не будетъ похожимъ, по литературному достоинству, на такъ-называемый «Раутъ»—и это уже не малое, можно надѣяться, его достоинство. Нужно набрать побольше матеріаловъ для этого изданія, чтобъ было изъ чего выбрать «не борзяся, но со вниманіемъ». Я предполагаю получить статьи для этого изъ Одессы, Харькова, и другихъ пунктовъ нашей литературной дѣятельности, при статьяхъ Московскихъ и Петербургскихъ, почему и дано будетъ этому сборнику соотвѣтствующее названіе и физіономія. И такъ покорнѣйше прошу васъ, Григорій Петровичъ, попросите отъ моего имени стихотвореній у А. Н. Майкова, Я. П. Полонскаго и пришлите своихъ при этомъ. Не достанете ли хоть небольшихъ

статеекъ въ *прозѣ* у вашихъ или нашихъ общихъ знакомыхъ, словомъ, старайтесь пріобрѣсти побольше матеріаловъ для этого «Альманаха» отъ разныхъ лицъ. Да и вы, кромѣ стиховъ, еще такъ мило пишете въ прозѣ; расщедритесь-ка для насъ. Мы надѣемся на вашу любезность. Я многимъ обязанъ лично той дамѣ, которая издаетъ этотъ сборникъ, и не могу чѣмъ другимъ вознаградить ее за вниманіе ко мнѣ, какъ только стараніемъ собрать чрезъ своихъ добрыхъ знакомыхъ матеріалы для ея изданія, и лично присмотрѣть за изданіемъ. Надѣюсь, вы будете мнѣ въ этомъ содѣйствовать. Собирайте и пишите мнѣ. Жду отъ васъ письма. Вашъ уважающій и преданный вамъ Н. Щербина».

«P. S. Вы, кажется, изъявили желаніе имѣть мой портретъ, по личной вашей расположенности ко мнѣ, наказывали объ этомъ чрезъ актера Домбровскаго и еще писали объ этомъ, въ числѣ другихъ вашихъ московскихъ литературныхъ знакомыхъ. Исполняю теперь желаніе ваше: посылаю вамъ при этомъ письмѣ *свой портретъ* (тотъ, который размѣромъ *побольше*) и книжечку послѣднихъ своихъ стихотвореній.

«Въ этой же посылкѣ находится *мой портретъ и семинарскіе аттестаты* [1]) съ иллюстраціями. Эти двѣ бездѣлки передайте отъ меня Виктору Павловичу Гаевскому. Онъ, вѣрно, *позабылъ меня*, что такъ давно не пишетъ мнѣ, не отвѣчая на письмо мое, и пусть хоть дагеротипная физіономія моя напоминаетъ ему обо мнѣ и когда-нибудь внушитъ ему мысль написать ко мнѣ. Я его очень люблю и посылаю ему портретъ, какъ упрекъ, какъ вещь *для напоминанія* ему обо мнѣ, надѣясь, что хоть это когда-нибудь заставитъ его написать и возродить прежнее его вниманіе.

«Живя прошлое лѣто въ деревнѣ, на досугѣ, я прибавилъ еще нѣсколько новыхъ пунктовъ къ «аттестатамъ»: это— изданіе дополненное, исправленное и умноженное».

III.

«10-го апрѣля 1854 г. Москва. Адресъ: Въ Москву. Н. Ѳ. Щ. На большой Дмитровкѣ, у Дворянскаго клуба, въ Салтыковскомъ переулкѣ, въ домѣ Талызина.

«Я опять рѣшаюсь обратиться къ вамъ съ моею докучною просьбою, обязательный, любезный Григорій Петровичъ, и

[1]) Собственноручный списокъ этихъ аттестатовъ Щербина подарилъ также и мнѣ. Они изданы въ собраніи его сочиненій.

надѣюсь, что вы, по чувству расположенія ко мнѣ, не оставите ее исполнить. Вы уже не разъ обязывали меня вашимъ содѣйствіемъ. Дѣло вотъ въ чемъ.

«Такъ какъ статьи сборника оказываются съ достоинствами и интересомъ, и сборникъ «Желѣзная Дорога», какъ можно надѣяться, выйдетъ comme il faut, то я имѣю предлогъ покорнѣйше просить васъ: будьте такъ обязательны, вышлите для этого сборника какую-нибудь беллетристическую статью вашу — разсказъ или повѣсть. Только поспѣшите это сдѣлать не мало не медля и, если можно, съ первою почтою, чтобы не задерживать изданія, и безъ того, по милости моей, долго задерживаемаго въ видахъ собранія хорошихъ статей и статей болѣе или менѣе извѣстныхъ писателей, такъ же и имѣющихъ интересъ *историческихъ матеріаловъ*, по преимуществу, для современныхъ вопросовъ. Если есть у васъ и стихи, то и стихи вышлите вмѣстѣ съ вашею прозаическою статьею, и, если можно будетъ, то достаньте еще стихотворенія другихъ авторовъ; особенно намъ нужна ваша статья въ прозѣ повѣствовательнаго рода, чтобы беллетристическій отдѣлъ былъ пополнѣе и получше. Не достанете ли чего-нибудь еще изъ повѣстей и разсказовъ у кого-либо другого? Пишите мнѣ побольше и подробнѣе обо всемъ, что взбредетъ на умъ, и новости, если есть какія, сообщите; я, какъ провинціальная барыня, отъ бездѣлья и скуки не прочь желать новостей и читать предлинныя письма съ любопытствомъ. Жду отъ васъ письма и статьи. Весь вашъ Н. Щербина».

IV.

«Москва. 1855 года, февраля 22. Вторникъ. Благодарю васъ, добрый Григорій Петровичъ, за пріятное письмо ваше: вы какъ-то умѣете сообщить всегда что-нибудь пріятное и въ пору, тѣмъ болѣе это теперь мнѣ было нужно при извѣстномъ моемъ расположеніи духа, когда предстоитъ мнѣ и перемѣна жизни, и перемѣна моихъ занятій: я даже всѣ свои, до этихъ поръ бывшія у меня, книги отослалъ къ себѣ домой въ Таганрогъ, и нѣтъ у меня ни одной книжонки изъ прежнихъ, которыя служили мнѣ этюдами для моихъ занятій: въ Петербургѣ ужъ буду собирать новыя книги, книги новаго рода, по части русской исторіи, русской старины, русской археологіи, народности и русской филологіи, хоть и буду еще заниматься преимущественно юридическими

предметами, думая держать экзаменъ на кандидата правъ, для улучшенія своей житейской участи и гражданской карьеры, но за всѣмъ тѣмъ мнѣ необходимо тотчасъ поступить на службу, и я постараюсь воспользоваться мѣстомъ службы, о которомъ говорилъ Л. А. Мей. Большое спасибо за доброе его стараніе обо мнѣ и память даже обо мнѣ отсутствующемъ. Я это такъ тепло и искренно цѣню въ сердцѣ своемъ. Благодарите и В. М. Лазаревскаго за его дружеское предложеніе и передайте ему всю полноту моей признательности за его ко мнѣ расположеніе. А. Н. Майкова благодарите за добрую память и доброе слово обо мнѣ кому слѣдуетъ: я въ свою очередь тоже не въ долгу передъ нимъ и плачу за чувство чувствомъ, за слово словомъ. Не забудьте передать мой поклонъ и прямое чувство искренняго уваженія Александру Васильевичу Никитенкѣ. Его всѣ полюбили и уважаютъ здѣсь въ Москвѣ. Да то же самое отъ меня передайте моимъ незабвеннымъ графу и графинѣ Толстымъ и Штакеншнейдерамъ и всѣмъ тѣмъ хорошимъ людямъ, которые такъ радушно меня принимали: я все это помню и глубоко признателенъ. За особенную честь почту поближе быть знакомымъ съ супругою А. С. Норова, и надѣюсь имѣть эту честь по пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ. Въ Петербургъ я пріѣду или къ празднику или же на Ѳоминой недѣлѣ непремѣнно. Въ Москвѣ мнѣ рѣшительно нечего дѣлать. Я даже давно не посѣщаю своихъ знакомствъ, такъ что отсталъ здѣсь отъ всѣхъ и отъ всего, и живу въ квартирномъ своемъ уединеніи, да и друзья мои уѣхали отсюда. Это какой-то годъ для всѣхъ грустный и тяжелый. Я еще коекакъ живу мыслью о Петербургѣ: о будущей моей дѣятельности, о службѣ, объ другихъ занятіяхъ, хоть впрочемъ безъ всякихъ надеждъ, которыя я ужъ давно причислилъ къ самообольстительнымъ иллюзіямъ дѣтства, не имѣя на это никакихъ положительныхъ данныхъ, и мнѣ отъ этого куда какъ тяжело и постоянно носишь въ душѣ какую-то томительную тяжесть и никуда не убѣжишь отъ нея. Назадъ тому недѣли три я писалъ къ А. А. Краевскому объ статьѣ вашей «Основьяненко» и отнесся объ ней съ похвалою, что сдѣлано было мною по убѣжденію и положа руку на сердце, ибо я ее просматривалъ, да и вы читали мнѣ лично мѣста изъ нея. Притомъ же предметъ ея мнѣ извѣстенъ. Я въ Харьковѣ жилъ 7 лѣтъ и знаю о немъ

кое-что. И такъ я самъ, не спросясь васъ, написалъ о статьѣ вашей къ редактору «Отечественныхъ Записокъ», и написалъ все, что можно было лучшее. О «сказкахъ» же я не писалъ, по причинамъ, которыя я объясню вамъ при свиданіи, и которыя вы, надѣюсь, найдете достаточными.

«Одинъ изъ друзей моихъ, кажется, меня выдаетъ, и мнѣ это больно, какъ разубѣжденіе. Чѣмъ больше кто чувствовалъ пріязни, тѣмъ горше разубѣдиться ему въ предметѣ своего чувства. У меня въ квартирѣ только и былъ одинъ человѣкъ, бывающій въ обществѣ Панашки [1]), и больше никого, кто бы, кромѣ его, могъ передать о «персидскомъ халатѣ» изъ тарамаламы и тому подобныхъ вещахъ, относящихся къ литературѣ. Вы поймете это, прочитавъ фельетонъ № 2 «Современника». Теперь я рѣшительный поводъ имѣю убѣдиться откуда и изъ какого источника являлись сплетни и намеки на мой счетъ въ извѣстномъ фельетонѣ, фразы изъ писемъ и тому подобное, такъ что я долженъ ожидать, что скоро явятся въ печати и всѣ мои интимные разговоры съ нимъ tête-à-tête въ низко извращенномъ видѣ, которые своею извращенною кистью могутъ скомпрометировать меня передъ нѣкоторыми лицами. Каково теперь литературное времячко! Самъ извѣстный Ѳаддюха (Булгаринъ) предъ этими безнравственными господами покажется греческимъ Аристидомъ честности.

«Поклонитесь Николаю Осиповичу Осипову: я чувствую къ нему много пріязни и за многое ему благодаренъ, также Ѳ. А. Бурдину. Старцу Якову [2]) мой поклонъ. «Аспазія» его всѣмъ мыслящимъ и чувствующимъ дамамъ, понимающимъ поэзію, *чрезвычайно нравится*. Когда въ одномъ обществѣ прочитали эту «Аспазію», я воскликнулъ: «Умри, Яковъ!» и дамы повторили: «Умри, Яковъ!»

«Многія изъ женской половины знаютъ эту пьеску наизусть.

«Вспомните — «Умри, Денисъ», и вы невольно скажите тоже: «умри, Яковъ!»

«Благодушному старцу Якову я лично доставлю книжку, у него мною занятую.

«Передайте мой поклонъ Н. А. Степанову (карикатуристъ) и супругѣ его. Сережу ихъ (сынъ) за меня разцѣ-

[1]) И. И. Панаевъ.
[2]) Я. П. Полонскій.

луйте.—Письмо отъ Николая Александровича Степанова я получилъ, равно и отъ Николая Осиповича Осипова. Пишите мнѣ, Григорій Петровичъ, поскорѣе и поподробнѣе, тѣмъ болѣе, что мнѣ ужъ недолго быть въ Москвѣ, и старайтесь тамъ въ пользу мою, ибо для меня настаетъ не совсѣмъ-то легкая минута перемѣнъ, перелома и тому подобныхъ вещей. Будьте на этотъ разъ моимъ корреспондентомъ! Вы человѣкъ необыкновенно дѣятельный на этотъ счетъ, — и первые написали мнѣ изъ Питера, за что васъ искренно благодарю,—кланяйтесь В. Р. Зотову.—Жду вашего письма съ нетерпѣніемъ. Вашъ Н. Щербина».

V.

«1856 г. Посылаю вамъ вашу корректуру. Насъ звалъ нынче Л. А. Мей, вечеромъ. Зайдите за мной, и отправимся. Жду васъ и такъ идемъ! «Подай костыль, Григорій!»—Щербина».

VI.

«Милый Григорій. Я вчера былъ у А. С. Норова, былъ принятъ имъ благосклонно и обѣдалъ вчера у него. И потому, бывши только лишь вчера, такъ недавно, не знаю: ловко ли будетъ мнѣ быть нынче на вечерѣ? Во всякомъ случаѣ, заѣзжайте къ 10 часамъ, ибо я буду въ 8 часовъ у цензора Фрейганга.—Вашъ Щербина».

VII.

«1856 г. Сентября 25-го *). — Страшно лежать въ казенной больницѣ, Григорій. Я думаю, что я сойду съ ума... а для этого есть всѣ благопріятствующія данныя. Голодъ свирѣпствуетъ въ этой юдоли плача и вздоховъ, и стоновъ. Я ночь всю не спалъ и такія страшныя мысли и фантазіи объ убитомъ мальчикѣ-братѣ, пилили мое сердце и зажигали мозгъ **). О, Григорій! Когда кончится подобное положеніе! а вопіющій голосъ попранныхъ правъ человѣческихъ. Неужели мозгъ мой снесетъ все это...

---

*) *Объясненіемъ этого письма служитъ сохранившаяся у меня слѣдующая бумага.*

1856 г. 22-го сентября, № 7929. Въ контору Петропавловской больницы. — Служащій въ Департаментѣ Народнаго Просвѣщенія Николай Щербина, будучи одержимъ болѣзнію, не имѣетъ, по совершенно недостаточному состоянію, средствъ къ пользованію себя на квартирѣ, по уваженіи сего Департаментъ Народнаго Просвѣщенія проситъ покорнѣйше о принятіи г. Щербины въ оную больницу.

**) См. далѣе письмо А. А. Солнцева объ этомъ убитомъ братѣ Щербины.

«Адресъ мой: Н. Ѳ. Щ. На Петербургской сторонѣ, въ Петропавловской больницѣ, въ операціонномъ отдѣленіи. Видѣть лично меня можно по вторникамъ, пятницамъ и воскресеньямъ отъ 1 часу до 4-хъ часовъ. — Извѣстите объ этомъ Зотова, Солнцева и Шилля, и поспѣшите извѣстить. — Напишите мнѣ по городской почтѣ побольше. Страшно мнѣ, Григорій. — Вашъ Щербина. — Петропавловская больница».

VIII.

«1856 г. 4-го ноября. Представляю при семъ вамъ, Григорій, широкое поле одолжать меня: предъ вами рукопись моихъ стихотвореній для представленія въ цензуру. Поступите въ этомъ случаѣ тако: 1) Поспѣшите этимъ дѣломъ. 2) Спросите у князя П. А. Вяземскаго позволеніе отдать эту рукопись прямо цензору Бекетову, чтобъ вы могли сказать ему, что его просилъ князь прочитать эту рукопись, не отлагая ее въ долгій ящикъ, ибо мнѣ скорость и въ этомъ случаѣ очень нужна. 3) Спросивъ у князя, поѣзжайте къ цензору сказать это; потомъ отъ цензора поѣзжайте въ Цензурный Комитетъ, гдѣ записавъ эту рукопись у секретаря и выставивъ на ней №, съ обозначеніемъ, гдѣ слѣдуетъ, что она поступила къ цензору Бекетову и оставьте ее у него для цензурнаго прочтенія, но въ Цензурномъ Комитетѣ не оставляйте. 4) Между прочимъ, слегка объясните ему, что почти всѣ пьесы въ рукописи были напечатаны уже въ журналахъ, и притомъ въ самое строгое цензурное время—особливо первый отдѣлъ весь. Попросите его поспѣшить прочитать ее. На рукописи я написалъ свой адресъ, въ случаѣ, если бы цензору нужно было въ чемъ-либо объясниться со мною. Все это дѣло не оставьте окончательно исполнить въ понедѣльникъ, т.-е. завтра. Вашъ Щербина.

«P. S. У князя я самъ лично, скажите, потому не былъ съ просьбой объ этой рукописи, что не выхожу изъ дому по болѣзни».

IX.

«Петербургъ. 27-го мая 1858 г. Благодарю васъ, добрѣйшій Григорій Петровичъ, что вы меня не забываете, и за то, что вы посѣтили мой убогій домишко въ Таганрогѣ. Несмотря на небольшое письмо ваше, вы мнѣ высказали больше о Таганрогѣ, чѣмъ братъ мой въ десяти письмахъ.

Письмо ваше я читалъ съ большимъ любопытствомъ, и много вамъ за него благодаренъ: братъ мой пишетъ всегда лаконически. Впрочемъ и я ему пишу также, да и никогда не имѣлъ ничего писать ему поподробнѣе, потому, что считалъ это неумѣстнымъ и чуждымъ интересовъ его круга дѣйствій и отношеній. Получивши письмо ваше, и руководимый чувствомъ благодарности къ вамъ, за разныя прежнія обязательныя содѣйствія мнѣ, я тотчасъ отправился къ Зотову и показалъ ваше письмо; — вотъ что я могу послѣ этого сказать вамъ!—послѣ вашего отъѣзда, вслѣдствіе переворота мнѣній свыше, въ высшихъ кругахъ администраціи, цензура стала гораздо строже, и потому вашъ разсказъ не можетъ быть напечатанъ въ настоящее время, а нужно выжидать для него времени. Даже вашъ разсказъ уже напечатанный въ «Иллюстраціи» не былъ дозволенъ къ напечатанію цензоромъ и пропущенъ только съ разрѣшенія попечителя университета и предсѣдателя Цензурнаго Комитета князя Щербатова.

«За біографію и портретъ Радищева, Зотовъ будетъ вамъ несказанно благодаренъ. Онъ старику Радищеву за біографію отца его (вмѣсто подписки въ пользу его, что неудобно) дастъ самую большую цѣну, какую только можетъ платить «Иллюстрація». Пришлите статью-біографію (или автобіографію) Радищева въ «Иллюстрацію»; и если ее дозволятъ напечатать, то можете получить деньги въ пользу бѣдняка Радищева, что будетъ служить ему вспомоществованіемъ, вмѣсто подписки въ пользу его.

«Дружининъ врядъ ли скоро можетъ напечатать вашъ разсказъ, ибо всѣ редакціи завалены статьями, да при томъ и цензура...

«К** назадъ тому годъ продалъ повѣсть въ «Библіотеку для чтенія», получилъ впередъ деньги сполна за нее по 60 или, кажется, по 70 рублей сер. за листъ, и повѣсть до этихъ поръ никакъ не попадаетъ въ печать. Между тѣмъ, какъ «Современникъ» съ жадностію за дорогую цѣну покупаетъ его повѣсти. Такъ все завалено въ редакціяхъ статьишками; жди, когда-то дойдетъ очередь. Пишите въ редакцію «Иллюстраціи« и присылайте все, что есть у васъ и у другихъ; а главное Радищева присылайте.

«Сборничишко мой, я скажу Давыдову, чтобъ вамъ отправилъ; а стихи мои я для васъ оставилъ было, но вы

ихъ не взяли, и теперь у меня нѣтъ ни одного экземпляра. Я ѣду послѣ-завтра въ отпускъ, въ деревню, до сентября, и вы мнѣ туда пишите побольше и поподробнѣе, какъ можно поподробнѣе, о Таганрогѣ, о Корсунѣ, о которомъ я ровно никакихъ свѣдѣній не имѣю, о братѣ моемъ, о Харьковѣ и о прочемъ.

«Адресъ мой: Въ Юрьевъ Польскóй, Владимірской губерніи, Н. Ѳ. Щербинѣ.—Въ Есиплевѣ, имѣніи г-жи Акинѳовой (оставить на почтѣ).

«Видите ли, все ѣзжу изучать Великую Русь на мѣстѣ, въ сердцѣ ея народности. Жилъ въ Костромской, Тверской и Московской губерніяхъ, а теперь ѣду во Владимірскую губернію.—Кланяйтесь вашей женѣ.—Вашъ Щербина.

«Новое начальство мое доброе, я имъ доволенъ. Хандра у меня прежняя, Божій свѣтъ не милъ, тоска отъ долготянущейся жизни. — Но, вѣрьте, все наше теперешнее vanitas vanitatum».

X.

«18-го сентября 1858 года. Петербургъ.—Милый Григорій Петровичъ. Письмо ваше я имѣлъ удовольствіе получить и отвѣчаю вамъ на всѣ его пункты.

«Я видѣлся съ соредакторомъ «Библіотеки для чтенія» А. Ѳ. Писемскимъ, говорилъ съ нимъ о статьѣ вашей и онъ сказалъ мнѣ положительно, что статья ваша о пребываніи Екатерины Второй на Днѣпрѣ будетъ напечатана въ октябрьской книжкѣ «Библіотеки для чтенія» этого года. Она будетъ напечатана съ нѣкоторыми измѣненіями въ тонѣ, который редакція нашла «нѣсколько сладкимъ», какъ сказалъ Алексѣй Ѳеофилактовичъ. Для васъ редакція тоже приготовитъ извѣстное число оттисковъ.

«В. Р. Зотовъ сказалъ, что онъ не можетъ опредѣлить времени напечатанія вашего очерка «Крестьянка ученица» равно какъ и видовъ Полтавы, по причинѣ множества накопившихся матеріаловъ, но при первомъ представившемся удобствѣ они будутъ напечатаны.

«Я. П. Полонскій возвратился изъ Парижа, гдѣ женился на премилой дѣвицѣ изъ русскихъ. Онъ живетъ теперь пока въ квартирѣ Штакеншнейдера.

«Мей Л. А. недавно переѣхалъ жить въ концѣ августа на дачу.

«Я недѣлю тому назадъ возвратился изъ Москвы сюда

въ Питеръ. Въ Москвѣ жилъ около мѣсяца, и въ восторгѣ отъ милой, доброй, благородной, разумной и мыслящей Москвы, предъ которой Петербургъ кажется мнѣ городомъ нравственно-ограниченнымъ, алтынно-практичнымъ, словомъ «скорбнымъ главою», выключая, разумѣется, дѣлъ, относящихся къ узкой практичности, къ обыденнымъ цѣлямъ и тому подобному, внѣшне, хоть и необходимо-житейскому... Но, вѣдь, Москва, за то, столица всего народа. Не даромъ всякая крестьянская дѣвушка поетъ, въ самомъ отдаленномъ захолустьѣ Великороссіи, и поетъ о «матушкѣ каменной Москвѣ».

«Но я боюсь не пристрастенъ ли я къ Москвѣ, потому что люблю и любилъ ее всею полнотою сердца и патріотическаго чувства, да при томъ и провелъ въ ней два года первой юности — 1839 и 1840-й... А это много значитъ... А потомъ опять жилъ въ ней постоянно отъ 1850 по 1855-й годъ.

«Сухомлиновъ на годъ или, кажется, на два уѣхалъ за границу.

«У Штакеншнейдеровъ я не бываю и потому вашего поклона передать не могу, у М—ъ тоже не бываю по причинѣ ихъ козней противъ меня и множества эпиграммъ, мною на нихъ написанныхъ.

«Что дѣлается въ литературѣ — я почти не знаю, ибо избѣгаю всячески столкновенія съ литературщиками.

«Я былъ во Владимірской губерніи, ѣздилъ по деревнямъ, жилъ съ народомъ, изучалъ великорусскую народность, собиралъ народныя пѣсни, изучалъ русскую исторію и древности, потомъ былъ въ деревняхъ Московской губерніи, потомъ жилъ въ Москвѣ. Теперь я пріѣхалъ сюда на службу, которою пока весьма доволенъ, да и денегъ есть довольно. Адресъ мой: на Литейной, близъ Невскаго проспекта, въ домѣ Ниротморцевой, въ квартирѣ Харламова.— Весь вашъ Н. Щербина.

«Поклонитесь вашей женѣ. Семейству гр. Ѳ. П. Толстого я передамъ вашъ поклонъ.

«P. S. Вотъ къ вамъ моя особенная и покорнѣйшая просьба. — У васъ есть подлинная рукопись моего «Сонника», писанная моей рукою. Заклинаю васъ всѣмъ святымъ, успокойте меня тѣмъ, что вырвите изъ этой рукописи мѣсто о «Русскомъ Вѣстникѣ». Я написалъ его въ

сильной ипохондріи, въ болѣзненномъ припадкѣ самаго чернаго взгляда на все. — М. Н. Катковъ — самый лучшій человѣкъ въ настоящее время въ Россіи и полезный гражданинъ для нашего отечества и здороваго его развитія. — Семейство его и кругъ его общества — прекрасные люди. — Я у него въ семействѣ оставилъ собраніе моихъ сатирическихъ сочиненій, эпиграммъ и сонникъ въ новой редакціи, сдѣланной по моемъ выздоровленіи.

«Итакъ, я надѣюсь на васъ, что вы вырвете выше означенное мѣсто изъ «Сонника» и сожжете это мѣсто.

«Порука въ этомъ ваша честь:
Я смѣло ей себя ввѣряю»...

«*Уничтожьте непремѣнно*».

XI.

«1859 года, января 1-го дня. Поздравляю васъ, Григорій Петровичъ, и жену вашу съ новымъ годомъ и благодарю васъ за память обо мнѣ, выраженную письмомъ вашимъ. Сохраняя постоянно благодарныя чувства къ вамъ въ душѣ моей за всѣ ваши старанія и содѣйствія личнымъ интересамъ моимъ, я все-таки долженъ рѣшиться просить васъ не дѣлать мнѣ никакихъ собственно литературныхъ порученій, ибо я стараюсь избѣгать всякихъ литературныхъ сношеній. Это въ послѣдній разъ, что я рѣшился удовлетворить васъ по этому предмету и только исключительно для васъ.

«Вчера я видѣлъ Полонскаго въ домѣ графа Ѳ. П. Толстого и говорилъ ему насчетъ напечатанія статьи вашей. Онъ сказалъ, что рѣшительно не знаетъ, когда можетъ напечатать ее, равно какъ и никакой редакторъ не можетъ знать времени и обстоятельствъ, когда именно придется напечатать какую-либо статью. У него сотни статей, присланныхъ изъ провинціи, какъ и во всякой другой редакціи, — и много, много нужно времени и лицъ редактивныхъ, чтобы прочитать всю эту массу, и потому редакціи печатаютъ большею частію статьи петербургскихъ и извѣстныхъ писателей, которыхъ статьи читать не нужно, ибо за достоинство ихъ отвѣчаетъ не журналъ, а имя самого автора. Это послѣднее относится къ г. Турбину, о которомъ Полонскій ничего не знаетъ и въ первый разъ отъ меня услышалъ его фамилію. Я также спрашивалъ о немъ одного изъ сотрудниковъ «Современника» — самыхъ близкихъ къ

редакціи, онъ тоже сказалъ, что не помнитъ этой фамиліи и статей подъ этой фамиліей, и что въ редакціи лежитъ многое множество, присланныхъ изъ разныхъ мѣстъ, статей и ихъ не прочтешь и въ два года. Полонскій сказалъ, что у него многія сотни статей лежатъ грудами въ редакціи, и потому онъ не беретъ статьи г. Турбина изъ «Современника», а пусть, коли угодно, онъ распорядится такъ, чтобы статья доставлена была ему изъ «Современника» прямо въ редакцію «Русскаго Слова» безъ всякихъ хлопотъ съ его стороны.

«О скорости же напечатанія статей отъ неизвѣстныхъ авторовъ и думать нечего, это чисто зависитъ отъ случая, а иногда нужно, чтобъ статья возвышалась надъ уровнемъ обыкновенныхъ журнальныхъ повѣстей, чтобъ ее напечатали... Кѣмъ журналисты изъ провинціальныхъ авторовъ нуждаются, они тому тотчасъ высылаютъ деньги и просятъ отъ него статей, которыя вскорѣ и печатаютъ, — и наоборотъ. Ихъ приводятъ въ негодованіе тысячи писемъ, которыми спрашиваютъ ихъ о *времени* напечатанія; они ихъ рѣдко читаютъ, а еще рѣже отвѣчаютъ на нихъ, ибо въ статьяхъ нисколько не нуждаются и сами не просятъ, чтобъ ихъ имъ присылали. Вольно же. Зотовъ сказалъ, что, когда выпадетъ удобный случай, онъ напечатаетъ вашу «Полтаву». Но статья ваша — повѣсть, что ли, врядъ ли удобна къ напечатанію. Вотъ все, что я могъ отъ него добиться. Итакъ, этимъ надѣюсь, что навсегда отстраняю себя отъ литературныхъ порученій.

«О «Русскомъ Словѣ» и журналахъ вообще не могу вамъ сообщить ничего новаго, ибо никогда о нихъ и не спрашиваю, не интересуюсь ими.

«Полонскій будетъ самъ писать къ вамъ. Онъ квартируетъ у Штакеншнейдеровъ.

«Пишите ко мнѣ почаще и подробнѣе,—только безъ литературныхъ порученій.—Вашъ Щербина».

XII.

«С.-Петербуръ, 2-го октября 1862 года. Внемли, о «старче Григоріе!» Письмо ваше я получилъ, и очень благодаренъ вамъ за память обо мнѣ. Я вотъ уже полтора мѣсяца, какъ нездоровъ, не выходя изъ дома и не видался ни съ кѣмъ, за то же и адски работаю, просиживаю за работою иногда до 4-хъ часовъ ночи... Да и сколько за этимъ трудомъ нужно

сообразить, ворочать мозгами, корпѣть!.. Но нынче моя работа ужъ окончена совершенно. Этотъ трудъ мой по «Читальнику» или книгѣ для народа, назначаемой какъ для народнаго чтенія вообще, такъ и для всякаго рода простонародныхъ школъ, въ смыслѣ настольной книги для чтенія всесторонняго, объяснительнаго, развивающаго и сообщающаго разнообразныя, нужныя въ извѣстномъ быту, свѣдѣнія... «Читальникъ»—это народно-русская энциклопедія въ хрестоматической формѣ, гдѣ все въ связи и болѣе или менѣе въ системѣ. Чего не было въ данныхъ нашей литературы, мнѣ нужно было написать самому,—и я написалъ это. «Читальникъ» составленъ изъ произведеній русской словесности, начиная отъ 12-го вѣка по сей день, и содержитъ въ себѣ отдѣлы: 1) богословскій, 2) историческій, 3) по естествознанію и по практическому быту, 4) изящную словесность и 5) лѣчебникъ, календарь и т. п. Все это собрано, расположено, редижировано, переправляемо, сокращаемо, видоизмѣняемо, въ соображеніи съ основами и характеромъ русской народности, ея духа, пошиба внѣшняго, историческаго и практическаго быта и настоящихъ потребностей. Писанныхъ листовъ этого сборника вышло у меня 400, если не болѣе. «Московское общество распространенія полезныхъ книгъ» берется его издать и меня требуетъ въ Москву лично. Я отдаю трудъ свой безвозмездно, только чтобъ заплатили мои денежныя издержки по составленію «Читальника»,—я тянулся на него изъ своего жалованья, стѣснялъ себя во всемъ, единственно имѣя въ виду пользу страстнолюбимаго и изучаемаго мною великорусскаго простонародья... Я тоже и даже дважды проѣхалъ Волгою отъ Твери до Астрахани.

«Платилъ я деньги и за нѣкоторыя спеціальныя статьи, которыхъ неоткуда взять, или по совершенно чуждому мнѣ отдѣлу знаній... Словомъ, много издерживался и терпѣлъ поэтому много скрытой, глухой, незнаемой никѣмъ нужды, прикрывая все это приличною comme-il-faut-ною внѣшностью.

«Все дѣлаю самъ, — никто мнѣ не помогаетъ и не обращаетъ вниманія на настоятельную, вопіющую потребность подобной книги въ настоящее время... Да и чего же можно ожидать отъ современнаго, политическаго и общественнаго хлыщовства, отъ петербургскаго пустозвонства и невѣже-

ства тѣхъ, кому вѣдать надлежитъ... Все тупицы, мелкіе эгоистическіе плутишки, рутинно-модные (но отсталые вмѣстѣ съ тѣмъ) фразеры, безъ знанія своей страны и народа, общія мѣста, вычитанныя (или выслышанныя) европейскихъ идей и науки, или, лучше сказать, кое-какихъ взглядишекъ... Но sapienti sat.

«Мнѣ давно предстоитъ, по службѣ, поѣздка въ Москву, но я все оттягиваю ее по болѣзни. Кромѣ того, назначается командировка въ разное время въ 7 великорусскихъ губерній.

«Въ половинѣ этого октября я буду въ Москвѣ, если особенно что не помѣшаетъ. Квартира моя въ Москвѣ—въ Кудринѣ, въ приходѣ Покрова, въ домѣ княгини Несвитской, въ квартирѣ А. В. Кирѣевой.

«Повѣсть вашу я читалъ; мѣстами она мнѣ очень понравилась. При личномъ свиданіи поговорю съ вами о ней подробнѣе.

«Мой петербургскій адресъ слѣдующій: въ Троицкомъ переулкѣ, въ домѣ Гассе.

«Никому не могу передать вашихъ поклоновъ, ибо по обыкновенію да и по болѣзни ни съ кѣмъ не видаюсь. Я въ Петербургѣ живу какъ въ деревнѣ,—нигдѣ не показываясь, нигдѣ не бывая... Да и что съ дураками водить компанію.

«Эхъ, поѣхать бы въ любимую мною Москву, все-таки легче бы было!.. Вотъ ужъ полтора мѣсяца, какъ сижу въ своей квартирѣ, не видя людей—ко мнѣ никто не ходитъ, я словно въ казематѣ... Впрочемъ, все работаю, хоть себѣ и не въ корысть, зато для удовлетворенія души своей и сердца, которыя бьютъ въ набатъ, прося общеполезнаго труда, труда только по строгому убѣжденію, а не своекорыстно-хлыщовскаго, въ петербургскомъ вкусѣ, и въ томъ, что въ модѣ...

«Шутовства немудрый бѣсъ
«Намъ разставилъ сѣти;
«Въ свистѣ слышимъ мы прогрессъ,—
«Мы сурки и дѣти...
«Какъ сурковъ, насъ тѣшитъ свистъ,
«Какъ молокососовъ,
«Чернышевскій-публицистъ
«И Лавровъ-философъ!..»

«Прощайте, Григорій. Ждите меня въ Москвѣ... Вы мнѣ будете нужны. Вашъ Н. Щербина».

XIII.

1869 года 8-го марта, за мѣсяцъ до своей кончины, Н. Ѳ. Щербина писалъ мнѣ слѣдующее.

«Добрѣйшій Григорій Петровичъ. Гряди и дерзай! Прилагаю при семъ письмо къ князю П. А. Вяземскому по моему дѣлу. Оно написано, по возможности, кратко и опредѣлительно. Вновь передѣлывать его не-по-что. Кажется, все въ немъ, какъ должно. Еще прилагаю къ письму два изящно и роскошно отпечатанныхъ и переплетенныхъ экземпляра «*Пчелы*»: пусть поступитъ съ ними князь Петръ Андреевичъ по своему благоусмотрѣнію, да вы еще скажите коечто отъ себя. Вы уже знаете, «многоопытный и хитроумный Одиссей», что сказать по части практической.

«Я вѣрю, Григорій, когда вы въ Петербургъ пріѣзжаете, то мои житейскія дѣла улучшаются. А это тѣмъ болѣе нужно мнѣ теперь, такъ какъ болѣзнь сдѣлала меня калѣкой: ни выйти, ни выѣхать, ни о себѣ похлопотать, словомъ, ни оказать себѣ самопомощи...

«Гряди же въ міръ, и дерзай, Григоріе! Весь вашъ Щербина».

«P. S. Да, мнѣ нужно было повидаться съ вами. Что стоитъ вамъ зайти ко мнѣ хоть на 1/4 часа».

По поводу переданнаго черезъ меня письма Н. Ѳ. Щербины, князь П. А. Вяземскій писалъ мнѣ 9-го марта 1869 года слѣдующее:

«Письмо ко мнѣ Щербины передалъ я министру Тимашеву, подкрѣпляя усерднѣйшимъ ходатайствомъ и убѣдительнѣйшею просьбою. Отвѣта еще не имѣю. Секретарь императрицы боленъ, и тутъ еще нѣтъ отвѣта. Надняхъ посылалъ я Щербинѣ, съ порученіемъ все это ему передать. Побывайте у меня завтра, или въ другой день, въ два часа. Совершенно вамъ преданный кн. Вяземскій. — Вторникъ, вечеромъ».

Письма Н. Ѳ. Щербины къ его брату Ив. Ѳ. Щербинѣ.

«21-го мая 1862 г. Спб. Мѣсто тебѣ по питейно-акцизному сбору я отыскалъ у пріятеля моего, управляющаго питейно-акцизными сборами въ Подольской губерніи и Бессарабской.

«Малѣйшее взяточничество, за выдачу, напримѣръ, свидѣтельства какого-либо, влечетъ за собою неизбѣжное выключеніе изъ службы и опубликованіе во всѣхъ газетахъ, даже за шкаликъ водки, взятый въ благодарность. Слѣдить будутъ зорко и явятся сотни доносчиковъ, желая получить мѣсто выгнаннаго.

«Разсуди хорошенько и обстоятельно, — можешь ли жить однимъ только содержаніемъ по этой должности, совершенно безъ всякихъ постороннихъ доходовъ по должности, и тогда опредѣлись, а не иначе. Подумай хорошо.

«По службѣ могутъ впереди быть повышенія, если будешь безкорыстно правдивъ, строгъ и честенъ—при открывшихся вакансіяхъ.

«Да не пиши провинціально-холопскихъ чиновническихъ писемъ съ разными хамскими титулами и величаньями невѣжественно-чиновничьяго быта и униженіями лестью.

«Чрезъ три недѣли я ѣду до осени въ Москву.

«Напиши о А. С. Сиротининѣ, полкомъ ли онъ командуетъ, или нѣтъ. Н. Щ.»

II.

«14-го декабря 1862 г. С.-Петербургъ. Любезный братъ! Письмо твое я получилъ. Строго и аккуратно исполняя обязанности новой твоей службы, придерживаясь во всемъ законности и вниканіемъ и изученіемъ пріобрѣтая надлежащую опытность въ новой службѣ, можно имѣть постоянно въ виду повышеніе по должности: ибо эта малая должность удовлетворить житейскимъ потребностямъ не совсѣмъ можетъ. Эта должность нужна будетъ покуда какъ начало, какъ вступленіе, а по временамъ могутъ впереди открываться высшія вакансіи по этой части, чѣмъ нужно будетъ, по возможности, пользоваться, пріобрѣвши усердною и честною службою доброе о себѣ мнѣніе. Лучше было бы перейти въ Подольскую губернію: ибо Аккерманскій уѣздъ, пограничный съ Турціею, наполненъ разными бродягами, бѣглыми и разбойниками, такъ что жизнь часто можетъ быть въ опасности, ѣздя по этимъ дикимъ и пустыннымъ степямъ. Есть ли съ тобою солдатъ по службѣ?.. Бродяги и разбойники могутъ нападать по преимуществу на акцизныхъ надзирателей, предполагая у нихъ собранныя деньги акциза. Нужно быть всегда и во всемъ осторожнымъ и предусмотрительнымъ, а тѣмъ болѣе въ такомъ краю, наполненномъ

бродягами, при пограничности съ Турціею. Съ тобою, я думаю, долженъ ѣздить всегда служащій при акцизѣ солдатъ. Есть ли это у васъ положеніе? а тѣмъ болѣе въ такомъ дикомъ и опасномъ краю. Тутъ даже въ самомъ городѣ нужно быть чрезвычайно осторожнымъ и на все предусмотрительнымъ и оберегательнымъ.

«Адресъ мой: въ Троицкомъ переулкѣ, въ домѣ Гассе.

«Пиши мнѣ подробно о своемъ житьѣ-бытьѣ на новомъ мѣстѣ и объ отношеніяхъ своихъ по новой службѣ и т. п. Твой Н. Щербина».

III.

Предсмертное письмо Н. Ѳ. Щербины (дрожащимъ слабымъ почеркомъ) къ его брату Ив. Ѳ. Щербинѣ и его сестрѣ.

«22-го марта 1869 г. Петербургъ. Любезный братъ и сестра. Послѣднее письмо ваше я получилъ сегодня и спѣшу отвѣчать на него, несмотря на то, что дней 5-ть тому назадъ отправилъ къ вамъ письмо. Дѣло въ томъ, что вы обо мнѣ не безпокойтесь. Надняхъ я обратился къ медику, спеціалисту горловыхъ болѣзней, профессору медицинской академіи. Онъ осмотрѣлъ меня подробно, постукивалъ и выслушивалъ, и нашелъ, что легкія у меня цѣлы и невредимы; но что сильное ослизненіе всѣхъ слизистыхъ оболочекъ, а въ дыхательномъ горлѣ опухоль, неровности, затвердѣнія горловыхъ связокъ. Отъ этихъ причинъ постоянный кашель и мокрота. Легкія мои цѣлы, потому что грудь необыкновенно развита природою; впрочемъ, чего добраго, со временемъ болѣзнь можетъ добраться и до легкихъ. Теперь мнѣ трудно спать: сопѣнье, свистъ и храпѣнье въ горлѣ и въ носу, да я еще ночью и задыхаюсь. Теперь я занимаюсь устройствомъ своихъ служебныхъ и денежныхъ дѣлъ,—ибо думаю года на два переселиться въ Одессу: меня только и лѣчитъ теплый климатъ; но я отнюдь не хочу жить въ Таганрогѣ; но это время въ августѣ, можетъ-быть, буду съ недѣлю въ Таганрогѣ, ибо поѣду изъ Нижняго-Новгорода Волгой пароходомъ въ Самару, гдѣ буду мѣсяца 2 пить кумысъ, а тамъ отправлюсь Дономъ и желѣзной дорогой въ Таганрогъ, а оттуда въ Одессу на жительство. Такъ по крайней мѣрѣ я теперь предполагаю, а можетъ и перемѣню намѣреніе. Я весной навѣрное окрѣпну: меня только и лѣ-

читъ, что воздухъ, а потому жильцамъ въ своемъ большомъ домѣ ты не отказывай и за мной не пріѣзжай, а сиди себѣ въ Таганрогѣ: ибо это стоитъ большихъ денегъ. Я здѣсь въ Питерѣ имѣю особую свою квартиру, со всѣмъ хозяйствомъ и удобствами. За мной ухаживаютъ въ квартирѣ три человѣка,—и ухаживаютъ какъ нельзя лучше. Въ Одессѣ у меня близкіе люди—Н. А. Новосельскій и тамошній градоначальникъ. Вашъ Н. Щербина».

Кромѣ того, небезынтересны по отношенію къ Щербинѣ слѣдующія два письма:

I.

Письмо кн. П. А. Вяземскаго къ П. В. Зиновьеву.

«1855 г. 15-го декабря. Милостивый государь, Павелъ Васильевичъ! Даровитый писатель нашъ, Н. Ѳ. Щербина, съ лучшей стороны извѣстный свѣту, по разстроенному здоровью долженъ оставить Петербургъ и поселиться въ Москвѣ. Не имѣя никакихъ средствъ для обезпеченія своей жизни, онъ желаетъ получить въ Москвѣ мѣсто, которое обезпечило бы хотя первыя потребности и въ свободные часы дало бы ему возможность посвятить свои силы продолженію литературныхъ трудовъ.

«Обращаюсь къ вамъ, милостивый государь, съ покорнѣйшею просьбою, не изволите ли найти возможность исполнить желаніе г. Щербины? Онъ указалъ два мѣста, гдѣ бы совершенно сродно съ его занятіями онъ счастливъ былъ бы найти службу».

«1855 г. Домашній учитель русскаго языка и словесности, состоящій при дирекціи училищъ Московской губерніи, служившій передъ симъ въ гражданской службѣ помощникомъ начальника газетнаго стола въ Московскомъ Губернскомъ Правленіи, т. е. помощникомъ редактора «Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», Николай Щербина, желаетъ имѣть мѣсто при редакціи «Московскихъ (Университетскихъ) Вѣдомостей». Именно при библіотекѣ университета, или по преимуществу при редакціи «Московскихъ Вѣдомостей», въ званіи младшаго чиновника, тѣмъ болѣе, что въ послѣдней имѣется въ виду, съ новаго года, перемѣна издателя, и при успѣхѣ «Вѣдомостей» въ настоящее время могло бы имѣться

въ виду увеличеніе числа при нихъ чиновниковъ. Г. Щербина имѣетъ званіе домашняго учителя русскаго языка и словесности при дирекціи училищъ Московской губерніи и служилъ передъ этимъ помощникомъ начальника газетнаго стола въ Московскомъ Губернскомъ Правленіи по изданію «Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». Надѣясь на благосклонное участіе ваше къ службѣ г. Щербины, прошу васъ покорнѣйше принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности. 15-го декабря 1855 года. Его Высокородію П. Вас. Зиновьеву».

II.

Письмо ко мнѣ А. А. Сонцева *).

«Письмо твое глубоко поразило мою душу, я до полученія его не зналъ о смерти Щербины, а ты знаешь, какъ я его любилъ, какъ родного; мнѣ кажется, никто не зналъ его лучше меня; его напускная мизантропія и желчные сарказмы не закрывали отъ меня его прекрасныхъ и благородныхъ качествъ души. Онъ со мною часто говорилъ почеловѣчески и далъ мнѣ себя близко узнать. Въ жизни онъ долго былъ ребенкомъ, за которымъ надо было смотрѣть и ухаживать, и я пять лѣтъ былъ его нянькой. Когда на Кавказѣ былъ убитъ его братъ, котораго онъ уговорилъ отправиться туда, онъ чуть съ ума не сошелъ, ему казалось, что окровавленная тѣнь его стоитъ надъ нимъ, и много ночей я сидѣлъ около него и тайно отъ него давалъ лѣкарство, укрѣпляющее нервы, конечно, по совѣту медика; явно онъ ни за что не сталъ бы лѣчиться. Я долго не привыкну къ мысли, что его нѣтъ на свѣтѣ, что я его больше не увижу и не обниму. Когда онъ былъ боленъ завалами печени и ему приказано было дѣлать моціонъ, а онъ не вставалъ по цѣлымъ днямъ съ кровати, я съ человѣкомъ насильно подымалъ его, несмотря, что онъ дрался и ругался, или плакалъ, какъ дитя, его выносили на улицу и за руку я уводилъ его и по два часа заставлялъ ходить, и это продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ; только съ другомъ можно было такъ возиться, какъ я съ нимъ, и онъ мнѣ дѣйствительно былъ другомъ, его теплыя и искреннія письма ко мнѣ это доказываютъ. Разъ мы были на дачѣ у Штакеншнейдера;

*) Бывшаго впослѣдствіи вице-губернаторомъ въ таврической губерніи.

въ общемъ спорѣ онъ сказалъ мнѣ желчно дерзость, я тогда промолчалъ, но когда мы сѣли въ экипажъ и выѣхали на дорогу, я спросилъ его, всѣмъ ли онъ такъ платитъ за сердечную привязанность, какъ сегодня заплатилъ мнѣ; Щербина разрыдался, сталъ обнимать меня и цѣловать, а я едва могъ утѣшить его. Меня съ нимъ познакомилъ Сошальскій, тогда онъ жилъ въ какомъ-то чуланчикѣ; познакомившись ближе, я уговорилъ его переѣхать къ намъ, даромъ онъ не хотѣлъ это сдѣлать, и мы приняли его въ часть; онъ такъ былъ щекотливъ, что если обѣдъ готовился сколько-нибудь лучше вседневнаго, онъ ограничивался двумя блюдами, и эта церемонія долго продолжалась, пока съ нами жилъ Сошальскій, котораго онъ не любилъ за хвастливый и покровительственный характеръ. Онъ всю жизнь былъ горемычный труженикъ, только послѣдніе годы судьба ему улыбнулась для того, чтобы такъ безжалостно задушить его».

У меня хранится собственноручная тетрадь юношескихъ стихотвореній Н. Ѳ. Щербины, куда онъ внесъ и нѣсколько позднѣйшихъ пьесъ. Приготовивъ эту тетрадь для печати, онъ потомъ раздумалъ и выступилъ съ болѣе зрѣлыми произведеніями, озаглавивъ первую свою книгу: «Греческія стихотворенія». Привожу изъ упомянутой тетради слѣдующія восемь пьесъ:

I.

Деревня.

На пыльный небосклонъ лишь тучка набѣжитъ
И городъ влажною прохладой освѣжитъ,
И ближній садъ повѣетъ ароматомъ,
А нивы дальнія заблещутъ лѣтнимъ златомъ,
Люблю я вспоминать, за чашею вина,
Пріютъ спокойствія и тихой нѣги сна—
Деревню добрую, съ роскошными полями,
Съ рѣкою голубой, съ зелеными садами,
Съ малиной спѣлою, со сливой золотой,
И локонъ барышни, природой завитой,
Ея воздушныя, плѣнительныя ножки,
Обутыя — увы! — въ полусапожки...

* * *

Сливаются вдали напѣвы соловья
Съ журчаньемъ трепетнымъ кристальнаго ручья;

Склонились сводами плакучія березы:
Съ нихъ падаютъ въ рѣку росы вечерней слёзы.
Со стадомъ молодымъ идетъ пастухъ къ рѣкѣ,
Играя весело на дѣдовскомъ рожкѣ.
Помѣщикъ пожилой, въ своемъ халатѣ давнемъ,
Отъ мошекъ затворять приказываетъ ставни.
Онъ говоритъ теперь о дочери своей,
Что старый бригадиръ въ мужья назначенъ ей,
Что будетъ онъ въ сей жизни ей попутчикъ,
А дочери все снится подпоручикъ!..

* * *

Люблю я отъ души тебя, уютный край,—
Деревня добрая, лѣнивца свѣтлый рай!..
Тамъ барыня свой станъ снуровкой не сжимаетъ,
Тамъ, удалясь она отъ тщетной суеты,
Свои наивныя до глупости черты
Подъ маской жалкою бѣлилъ не сокрываетъ;
И барышня твоя прелестна и стройна,
Хоть въ платьѣ ситцевомъ красуется она.
Люблю въ деревнѣ я житье-бытье простое,
И щечки полныя, и молоко густое.

II.

Фонтенебло.

Уныло и глухо подъ сводами залы:
Не слышно тяжелыхъ шаговъ,
Не слышно ни звона заздравныхъ бокаловъ,
Ни пѣсенъ веселыхъ боецовъ.
Нѣтъ признака жизни; вокругъ запустѣнье,
Какой-то печалью глядитъ...
Въ дворцѣ позабытомъ, какъ даръ сокровенный,
Походная шляпа лежитъ.
Въ глубокую полночь тамъ носятся тѣни
Угасшихъ давно королей,
И поступью важной идутъ привидѣнья
Въ тотъ залъ изъ парадныхъ дверей...
На голову шляпу себѣ примѣряютъ:—
И всѣмъ не-по-мѣркѣ она!..
И тѣни одна за другой исчезаютъ,
Какъ въ утреннемъ блескѣ — луна...
Потомъ императоръ является въ залу...

Державныя руки скрестилъ...
Тревожная дума въ очахъ заблистала:
На шляпу онъ взоръ устремилъ.
Видна на той шляпѣ ничтожность земная,
Почило величье на ней,
И тѣнь, съ укоризной на шляпу взирая,
Груститъ о судьбинѣ своей...
Сирійское солнце ту шляпу палило,
Песокъ африканскій пылилъ,
Метели Россіи ее убѣлили,
И валъ океана кропилъ!..
Смотрѣлъ императоръ и грозно, и дико:
Унесть свою шляпу хотѣлъ.
Но вдругъ раздалися разсвѣтные клики,
И съ ночью онъ въ высь улетѣлъ...

III.

Пиръ въ Хіосѣ.

Напѣнимъ нàксосомъ мастѝковыя чаши,
Алоэ Индіи въ курильницахъ зажжемъ!..
Какъ этотъ дымъ, разсѣются печали наши,
И нектаръ радости смѣшается съ виномъ.
Сквозь тонкій паръ душистаго наксòса,
Сквозь ароматъ прозрачныхъ облаковъ,
Увидимъ васъ, красавицы Хіоса,
Въ вѣнкахъ изъ гроздій и цвѣтовъ.
Увидимъ мы, какъ по цвѣтамъ катится
Струя душистая кудрей,
Какъ виноградъ, колеблясь, золотится
На мраморѣ трепещущихъ грудей...

IV

Янинская темница.

Небо Аттики прекрасной
Надо мною не блеститъ,
И съ Олимпа мѣсяцъ ясный
Сквозь рѣшетку не глядитъ.

* * *

Знать, подъ сѣнью Парѳенона
Я лобзалъ тебя въ уста,

Свѣтлоокая кукона,
Чтобъ проститься навсегда...

* * *

Но зачѣмъ съ тобой такъ мало
На прощаньи говорилъ,
И вокругъ якѣты алой
Страстно рукъ я не обвилъ!

* * *

Освѣти же мракъ темницы
Взоромъ пламенныхъ очей:
Мнѣ давно не шлетъ денница
Свѣтлорадужныхъ лучей!..

* * *

Смерти жаждешь ты, Янина:
Слышу я, за мной идутъ...
Но альбанцы Тебелина
Крови грека не прольютъ!..

* * *

Палъ, рыдая, на колѣни;
Онъ молитву сотворилъ
И о каменную стѣну
Буйну голову разбилъ.

V.

Русская колыбельная пѣсня.

Спи, мое дитятко,
Спи мое милое,
Спи, когда спится!..

* * *

Скоро ты выростешь,
Съ теплаго гнѣздышка
Скоро слетишь...
Съ русой бородкою,
Дитятко милое,
Горе прійдетъ.
Съ первой красавицей,
Съ первой зазнобушкой
Сонъ пропадетъ,
Съ женкой румяною,
Съ малыми дѣтками
Много заботъ!..

Теща сварливая
Съ тестемъ затѣйливымъ
Съ толку собьютъ.
Пѣсня-ль старинная
Вспомнится радостно—
Хочешь запѣть...
Въ двери широкія
Явятся хлопоты,—
Пѣсня уйдетъ...
Сонъ ли украдкою
На изголовьецо
Ляжетъ порой, —
Дума житейская,
Злая кручинушка
Сгонятъ его...

* * *

Спи, мое дитятко,
Спи мое милое...

VI.

* * *

...И взвился тихій Донъ
Серебристой змѣей,
По зеленымъ лугамъ
Покатился рѣкой;
Далеко полетѣлъ
Сизокрылымъ орломъ
И на землю упалъ
Безконечнымъ лучомъ.
Донъ живою водой
Хитрыхъ грековъ поилъ,
И хозаровъ лихихъ
Онъ на битвы носилъ;
Подъ ладьями славянъ
Онъ привѣтно шумѣлъ;
Громки пѣсни свои
Имъ съ гуслярами пѣлъ.

VII.

Кручина добраго молодца.

Разъ приглянулся яснымъ звѣздочкамъ
Свѣтелъ мѣсяцъ—добрый молодецъ

И пришли онѣ съ челобитьицемъ
Къ свѣтлу мѣсяцу—добру молодцу.

— «У тебя-ль, у мѣсяца, высокъ теремъ,
Изукрашенъ онъ лучше боярскаго,
Не изъ простого камня бѣлаго,
Изъ самоцвѣтной бирюзы состроенный,
Въ ширину, въ длину, не семи саженъ,
А надъ цѣлой землей онъ красуется.
Ты одинъ господинъ въ своемъ теремѣ,
Какъ Адамъ въ раю, похаживаешь,
Ясными очами посматриваешь,
Русую бородку поглаживаешь,
По плечамъ кудри разбрасываешь;
А постель у тебя—золоты облака:
Она мягче, пышнѣй невѣстиной.
Ты со сна встаешь—умываешься,
Съ твоихъ рукъ идетъ вода чистая
На поля росой серебристою;
Ты, умывшись, утираешься
Не ширинкой простой, а радугой,
Изукрашенной, разноцвѣтною,
Златомъ шитою, краснымъ солнышкомъ.
Много есть у тебя, добрый молодецъ,
Добра всякаго и угодьицевъ,
Только нѣтъ у тебя красной дѣвицы,
Нѣтъ подруженьки—ясной звѣздочки...
Выбирай себѣ изъ звѣздочекъ
Подруженьку, разлапушку,
Своему терему хозяюшку!..»

VIII.

Моя жизнь.

Какъ много надъ юной моей головою
Промчалось житейскихъ тревогъ
Въ тяжелой борьбѣ съ непокорной судьбою!..
Но пасть я духовно не могъ.

Я въ жизни боролся не съ бурей великой,
Не съ мощнымъ, разумнымъ врагомъ,
Но съ мелочью горя, но съ глупостью дикой
Въ упорствѣ ея мелочномъ.

Я брошенъ былъ рокомъ съ младенчества въ тину,
Не знаемъ никѣмъ изъ людей,
Но я въ ней нашелся, и въ ней не покину
Я мысли высокой моей.

И слышу отрадно я голосъ призывный
Въ житейской моей пустотѣ:
«Вся жизнь твоя будетъ одинъ непрерывный
И пламенный гимнъ красотѣ».

1850 г., октября 25.
Село Павловское.

Отрывки изъ неизданныхъ сатиръ и эпиграммъ Н. Ѳ. Щербины:

1.

Некрасовъ.

Отъ генерала Муравьева
Онъ въ клубѣ кару вызывалъ
На тѣхъ, кому онъ самъ внушалъ
Дичь направленія гнилого,
Кого плодилъ его журналъ...
Ну, словомъ: «нашъ» онъ «либералъ»,
Не говоря худого слова.

23 апрѣля.

2.

Лавровъ *).

Онъ Пиладъ студентской дружбы,
Онъ младенецъ въ цвѣтѣ лѣтъ;
Онъ полковникъ русской службы,
Русской мысли онъ кадетъ.

3.

Сѣверо-западный политикъ.

Квартальныхъ Зевсъ, Маккіавель пажей,
Теперь попалъ въ администраторы:
Такъ повелось на родинѣ моей,
Гдѣ мѣтитъ всякъ кадетъ въ новаторы...

*) Извѣстный въ свое время артиллерійскій полковникъ, авторъ философскихъ писемъ, либералъ, а затѣмъ эмигрантъ.

4.

Безъ названія.

Я на исторію сошлюся:
Отъ Рюрика и Синеуса
Тупѣй тѣхъ не было людей,
Что въ наши дни вертятъ дѣлами
И въ пропасть мчатся вмѣстѣ съ нами,
Во имя западныхъ идей.

10 декабря 1867 г.

5.

Р*** *).

Жалки намъ твои творенья,
Какъ германскій жалокъ Сеймъ.
Тредьяковскій обличенья,
Стихоборзый ***!

6.

Зараза.

Легче мнѣ бѣжать со свѣту
И въ глуши окончить вѣкъ,
Чѣмъ Коршá читать газету;
Вѣдь, читая тупость эту,
Окоршúтся человѣкъ!

24 октября 1867 г.

7.

Еще о Валентинѣ **).

Я изъ міра сего многошумнаго
Помирился съ могильною сѣнью,
Занé Корша тамъ нѣтъ скудоумнаго,
Съ либеральной его дребеденью...
Еще Коршъ вѣдь пока не преставился
(Ему жъ годы прожить за годами);
Мнѣ тотъ свѣтъ за одно бъ ужъ понравился,
Что съ такими не жить дураками.

30 марта.

---

*) Поэтъ М. П. Розенгеймъ.
**) Валентинъ Ѳедоровичъ Коршъ.

8.

Паки о ***.

Россійской пустотѣ, фразерству Петрограда
Всѣ города, смѣясь, даютъ свой контингентъ:
На что ужъ Чухлома,—и та куда какъ рада,
Пославъ *_* въ нашъ Питерскій конвентъ!

16 января.

9.

Marquis de W***.

Рескриптъ тринадцатаго мая
Я, буква въ букву исполняя,
Тиблену разрѣшилъ журналъ:
Да поражаетъ онъ Каткова
Всей монтаньярской силой слова,
Чтобъ врагъ мой палъ и не возсталъ.

2 декабря 1867 г.

10.

Дополненіе къ „Русскому Толковому Словарю".

«Камо поиду отъ духа твоего и отъ взора твоего камо бѣжу?» Псаломъ 130-й.

Когда въ Россіи многопьющей
Вамъ скажутъ слово «вездѣсущій»,—
Не разумѣйте Бога въ немъ:
Такъ начали, во время ***
(Сего грядущаго банкрота)
Именовать «питейный домъ».

14 ноября.

11.

Литія по усопшемъ рабѣ Божіемъ Г***.

Мы въ гербѣ орла уничтожаемъ,
Гербъ мѣняемъ, Г***, черезъ тебя!
Кабакомъ орла мы замѣщаемъ...
Чтобъ точнѣе выразить себя...

12.

1869 годъ.

Трущобнымъ зоиламъ.

Я говорю, когда меня ругаютъ
Какой-то «Зетъ» и «Искра» и «Недѣля»:—

То на меня изъ подворотни лаютъ,
То расходился пьяный пустомеля.

2 января.

13.

XIX вѣкъ.

Вѣкъ девятнадцатый вѣкомъ бездарности
Долженъ въ Россіи прослыть,
Хоть за реформы его благодарности
И невозможно лишить.

Нижеслѣдующія три сатиры Н. Ѳ. Щербины, записанныя имъ для меня, хотя при жизни его ходили въ рукописныхъ копіяхъ, но не были включены въ печатное собраніе его сочиненій, а если были гдѣ-либо напечатаны, — въ спискѣ его сочиненій не значились:

14.

Наше время.

Когда былъ въ модѣ трубочистъ,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназистъ
Преобразовывать Россію;
Когда, чуть выскочивъ изъ школъ,
Въ судахъ мальчишки засѣдали,
Когда фразистый произволъ
Либерализмомъ величали;
Когда могъ О . . хинъ быть судьей,
Черняевъ же отъ дѣлъ отставленъ,
Катковъ преслѣдуемъ судьбой,
А Писаревъ зѣло прославленъ;
Когда сталъ чиномъ генералъ
Служебный якобинецъ С***
И Муравьева воспѣвалъ
Нашъ красный филантропъ Некрасовъ;
Когда бездарность и прогрессъ
Въ Россіи стали синонимомъ,
И здравый смыслъ совсѣмъ исчезъ,
Тургеневскимъ разсѣясь «Дымомъ»:—
Тогда въ бездѣйствіи влачилъ
Я жизни незамѣтной бремя.

И счастливъ, что незнаемъ былъ,
Въ сіе комическое время!..

20 ноября 1867 г.

15.

Французскій терроръ въ русскомъ духѣ.

Доморощеннымъ гигантамъ
Должный путь мы указали;
Сообразно ихъ талантамъ,
На мѣста ихъ разсажали.

Робеспьеровъ по акцизу,
А Маратовъ по контролю,
Пусть все рушатъ сверху, снизу—
Либеральничаютъ вволю!

Надѣлить крестьянъ землею
Мы Бабефовъ разослали,
А Барбесовъ всей душою
Въ мировые судьи взяли!

Терруань-де-Мирекýры
Школы женскія открыли,
Чтобъ оттуда наши дуры
Въ нигилистки выходили!

Клòцы нашимъ гимназистамъ
Проповѣдуютъ науку...
Словомъ, крайнимъ прогрессистамъ
Все теперь поплыло въ руку!

Но средь этой благостыни
Есть безъ жениха невѣста:
Только Разума богинѣ
Не нашлось въ Россіи мѣста!

1863 г.

16.

1861 годъ.

Вы зачѣмъ ихъ заключили
Въ стѣны крѣпости гранитной

И допросы имъ чинили,
Съ важной строгостью и скрытно?

Ихъ значенье такъ ничтожно,
Иль опасно такъ для трона,
Что допрашивать бы можно
Ихъ въ кондитерской Рабона...

Дать бы имъ конфектъ по фунту,
Воротить имъ ихъ воззванья—
Пусть идутъ, взывая къ бунту,
По Руси, безъ задержанья!

1861 г.

Привожу также изъ подлинной рукописи Н. Ѳ. Щербины, имъ подаренной мнѣ, слѣдующія: «*Дополненія къ Сонникуу современной русской литературы* (1856 г.)», — въ виду того, что въ печатномъ изданіи «Сонника» эти мѣста, касавшіяся еще живыхъ въ то время лицъ, издателемъ были опущены:

Б., *Бенедиктова* во снѣ видѣть предвѣщаетъ увидѣть наяву фигуру индѣйскаго пѣтуха.

Г., *Глинку Ѳеодора* во снѣ видѣть предвѣщаетъ побывать въ звѣринцѣ и смотрѣть тамъ на кривлянья обезьянки.

Д., *Дружинина* во снѣ видѣть предвѣщаетъ столкнуться въ Средней Мѣщанской съ Мефистофелемъ XIV класса, съ денди Выборгской стороны.

К., *Кукольника* во снѣ видѣть предвѣщаетъ изъ романтическаго трубадура превратиться въ черезчуръ классическаго чиновника и запивоху.

Л., *Л—ва Михайла* во снѣ видѣть предвѣщаетъ для мужчинъ припадки сатиріазиса, а для дамъ припадки нимфоманіи; иногда же предвѣщаетъ непріятно столкнуться съ грязной литературной тлей съ претензіями на лакейское остроуміе и циническій юморъ, отъ котораго, впрочемъ, всѣ невзыскательные цирюльники, сидѣльцы и холопы способны надорвать животики.

М., *М—а* во снѣ видѣть предвѣщаетъ проглотить аршинъ или оскопиться духомъ и тѣломъ; иногда предвѣщаетъ быть одержимымъ глистомъ-солитеромъ.

Н., *Некрасова* во снѣ видѣть предвѣщаетъ изъ житей-

ской необходимости войти въ связи съ пустымъ и пошлымъ человѣкомъ (въ родѣ Ивана Панаева).

С., *Ст—го А.*—во снѣ видѣть предвѣщаетъ: отца и мать въ грязь втоптать, лишь бы только плохую повѣстушку написать, или же увидѣть, какъ комически русская холопка корчитъ изъ себя эманципированную Жоржъ-Сандъ.

— *Соловьева*, московскаго профессора, и *Макарія епископа Винницкаго* во снѣ видѣть предвѣщаетъ увидѣть наяву первую занимающуюся зарю самобытной русской науки.

— *Соллогуба* графа во снѣ видѣть предвѣщаетъ взять и не отдать; иногда же предвѣщаетъ съ изумленіемъ увидѣть на мраморномъ пьедесталѣ роскошную севрскую вазу, наполненную болотной тиной и смраднымъ навозомъ и прикрытую сверху букетами камелій.

— *С**** академика во снѣ видѣть предвѣщаетъ все знать и ничего не знать, прикрыть недостатокъ всякаго содержанія эгидою сухого черствaго педантизма, безплоднаго буквоѣдства и шарлатанства, съ примѣсью хитрой злости, чѣмъ довольно выгодно для себя провести и облопошить дряхлый и выжившій изъ ума ареопагъ русской науки.

Х., *Хотинскаго* видѣть во снѣ . . . . . сонъ нецензурный.

Ш., *Шестакова* (московскаго профессора во снѣ видѣть предвѣщаетъ — въ слѣдующую ночь увидѣть тоже во снѣ Василія Кирилловича Третьяковскаго, стоящаго на котурнахъ Софокла, закутаннаго въ софокловскій гиматій и добродушно выдающаго почтеннѣйшей публикѣ свою «Демдамію» за софоклова «Царя-Эдипа».

МОСКОВСКІЙ ДВОРЯНСКІЙ ИНСТИТУТЪ.

(изъ школьныхъ воспоминаній)

Въ январѣ 1841 года меня, одиннадцатилѣтняго мальчика, отвезли изъ харьковскаго имѣнія покойнаго моего отца въ Москву, гдѣ опредѣлили въ дворянскій институтъ, бывшій университетскій благородный пансіонъ.

Въ институтъ принимались, по экзамену, только дѣти потомственныхъ дворянъ, уже достаточно подготовленныя домашнимъ воспитаніемъ, на которое въ дворянскихъ семьяхъ и тогда обращалось особенное вниманіе. Сужу по своимъ товарищамъ-одноклассникамъ и по себѣ.

До поступленія въ институтъ я учился у частныхъ наставниковъ. Русскую азбуку, по странной случайности, впервые объяснилъ мнѣ, по какому-то замасленному букварю съ картинками, семидесяти-лѣтній старикъ-еврей, Бѣрко Семеновичъ, какъ его звали у насъ, наѣзжавшій въ имѣнія моего отца и дѣда, для починки часовъ и другихъ вещей, изъ сосѣдней, военно-поселенской слободки Андреевки, гдѣ теперь пересыльно-каторжная тюрьма. Это былъ маленькій, худенькій, съ длинною бѣлою бородой и бѣлыми нѣжными руками, въ черной шелковой ермолкѣ, самоучка-ремесленникъ, сперва винокуръ, потомъ часовыхъ и золотыхъ дѣлъ мастеръ. Какъ теперь вижу его въ большомъ, пустынномъ послѣ смерти дѣда, деревенскомъ залѣ, съ бѣлыми позолоченными столами и стульями и съ чучелами птицъ на круглыхъ, въ видѣ фигурчатыхъ колоннъ, печахъ. Разобравъ и разложивъ на столѣ, у окна, части большихъ столовыхъ, англійскихъ, или карманныхъ часовъ, добродушный Бѣрко, съ оловянными очками на носу, просиживалъ передъ этимъ

столомъ цѣлые дни, напѣвая унылые и пріятные синагогальные канты. Мнѣ было тогда пять лѣтъ. Обѣгавъ съ утра садъ, конюшни и огороды и врываясь въ залъ, гдѣ работалъ Бѣрко, я любилъ подсаживаться къ нему. Здѣсь онъ, работая и поглядывая на меня черезъ очки добрыми, ласковыми глазами, разсказывалъ мнѣ библейскія легенды, бо́льшею частью примѣняя ихъ къ себѣ и къ своему зятю, еврею Розенбергу, который былъ моложе Бѣрки, но тоже съ сѣдою бородой, и въ то время жилъ въ сосѣднемъ хуторѣ дѣда, Курба́товѣ, при винокурнѣ. Отъ Бѣрки я впервые узналъ объ Авраамѣ, Ноѣ и Давидѣ. Самсонъ и Авессаломъ въ особенности тогда заняли меня. И я помню, что, сочтя себя тутъ же Самсономъ, я долго не позволялъ нянѣ своей Аграфенѣ стричь себѣ волосъ, чтобы не потерять тѣлесной силы, и уступилъ ей, послѣ долгихъ споровъ и слезъ, только потому, что вспомнилъ о другомъ героѣ, Авессаломѣ, повисшемъ въ бѣгствѣ подъ деревомъ на длинныхъ волосахъ. Бе́рко, сколько помню, очень полюбилъ меня. Отдыхая среди работы, онъ вынималъ изъ кармана своего длиннополаго лапсердака разныя книжки, и медленно, тихо читалъ мнѣ изъ нихъ. Узнавъ, что я еще не знаю грамотѣ, онъ шутя сталъ объяснять мнѣ буквы и скоро научилъ меня разбирать по складамъ. Это сильно обрадовало моихъ родителей, рѣшившихъ, что пора, видно, браться за мою грамоту.

По шестому году ко мнѣ, для болѣе правильнаго обученія, моею матерью была приглашена Евгенія Ивановна Пчёлкина, воспитанница перваго выпуска харьковскаго института, гдѣ кончила курсъ и моя мать. Это была необыкновенно кроткая, милая, религіозная особа, большая мастерица шить бисеромъ и гарусомъ по шелку и канвѣ. Невысокаго роста и слабаго здоровья, она, проснувшись съ зарей и поливъ на окнахъ любимые матушкины жасмины и левкои, становилась передъ образомъ въ своей комнаткѣ, смежной съ моею, изрѣдка крестилась и, медленно покачивалсь изъ стороны въ сторону, простаивала на молитвѣ по часу и болѣе. Она объяснила мнѣ первыя понятія о вѣрѣ, обучила молитвамъ, бѣглому чтенію, писанію съ прописей и таблицѣ умноженія; притомъ я выучился у нея шить гарусомъ и шелкомъ и вязать на рогулькахъ какіе-то шнурки. Въ послѣднемъ искусствѣ, сколько помню, я сдѣлалъ у нея болѣе успѣховъ, чѣмъ въ обученіи чтенію и письму. Ев-

генія Ивановна Пчёлкина скончалась недавно въ тульской губерніи.

Отецъ на воспитаніе мое не имѣлъ особаго вліянія, такъ какъ умеръ, когда мнѣ было восемь лѣтъ. По отзывамъ всѣхъ, знавшихъ его, это былъ въ высшей степени добрый, мягкаго и робко-застѣнчиваго нрава человѣкъ. Любя хозяйство и уединенную, простую, трудовую жизнь, онъ не имѣлъ склонности ни къ выѣздамъ, ни къ чтенію, и, сколько лично помню, заглядывалъ только въ изрѣдка доходившіе къ намъ отъ сосѣдей крошечные листы тогдашнихъ «Московскихъ Вѣдомостей». Проходя ученіе въ Петербургѣ, въ Дворянскомъ полку, онъ, какъ потомъ самъ любилъ разсказывать, по праздникамъ навѣщалъ знакомаго своему родителю, по Чугуеву, грознаго временщика Аракчеева, который, освѣдомясь о музыкальныхъ способностяхъ своего гостя (отецъ игралъ на фортепіано и скрипкѣ), заставлялъ его, въ такія посѣщенія, строить свои клавикорды, но не помогъ ему, по окончаніи курса, пристроиться, согласно его желанію, въ Петербургѣ, а, напротивъ, настоялъ на переводѣ его въ глушь херсонскаго военнаго поселенія, въ бугскіе уланы. Отецъ не вынесъ этой службы. Выйдя вскорѣ въ отставку, онъ женился и нѣкоторое время служилъ депутатомъ, по выборамъ харьковскаго дворянства, между прочимъ, засѣдателемъ харьковской уголовной палаты. Крайне запутанное долгами состояніе дѣда принудило отца разстаться и съ этою службой. Поселясь въ деревнѣ, онъ до конца жизни занимался хозяйствомъ у себя и у родной сестры, всячески стараясь спасти разстроенное и едва не проданное съ молотка наслѣдственное свое имѣніе. Онъ вспоминается мнѣ не иначе, какъ съ постоянно озабоченнымъ, усталымъ, смугло-красивымъ лицомъ. Съ весны и до глубокой осени, онъ, буквально, не покидалъ верхового коня и бѣговыхъ дрожекъ, уѣзжая въ поля съ разсвѣтомъ и возвращаясь домой только къ вечеру. Въ ожиданіи поздняго обѣда, онъ, наскоро умывшись, бралъ иногда въ руки скрипку. И я помню, въ подобныя минуты, его статную, черноволосую, плечистую фигуру, въ одномъ жилетѣ, поверхъ рубахи, безъ сюртука, съ сильно загорѣвшимъ отъ солнца и вѣтра лицомъ, прижатымъ къ скрипкѣ, и съ темно-карими глазами, задумчиво устремленными въ садъ, пока его смычокъ выводилъ по струнамъ какую-либо грустную и, какъ онъ самъ, робко-мечтательную мелодію.

Въ одну изъ такихъ поѣздокъ, на бѣговыхъ дрожкахъ, въ полѣ, во время спѣшной уборки хлѣба въ имѣніи сестры, отецъ внезапно заболѣлъ (какъ говорили потомъ, отъ солнечнаго удара). Погода стояла знойная. Степь замерла подъ палящими лучами полудня. Рабочіе, пообѣдавъ, спрятались подъ тѣнью копёнъ. Чувствуя необыкновенный упадокъ силъ, отецъ рѣшилъ скорѣе возвратиться домой. Среди опустѣлаго поля некому было ему помочь. Онъ снялъ съ лошади вожжи и, чтобы не свалиться на пути, кое-какъ привязалъ себя ими къ сидѣнью дрожекъ, и затѣмъ впалъ въ обморокъ. Вѣрный пѣгій конь — я помню его, онъ потомъ долго еще жилъ на свободѣ въ нашемъ имѣніи, дойдя до такой старости, что, барахтаясь на травѣ, не могъ уже перевернуться съ боку на бокъ—привезъ его въ безсознательномъ положеніи во дворъ моей тетки. Съ тѣхъ поръ отецъ уже не поправлялся. Явилось воспаленіе печени. Больного, въ сопровожденіи домашняго врача и друга нашей семьи, Ѳ. С. Цыцурина, повезли - было въ Харьковъ, для удобства лѣченія и совѣта съ другими врачами, но ему на дорогѣ подъ Чугуевомъ стало хуже. Привезенный обратно въ наше имѣніе, онъ почувствовалъ себя какъ бы лучше, но снова здѣсь заболѣлъ и вскорѣ, на тридцать шестомъ году жизни, скончался.

Моя мать (по второму мужу Иванчинъ-Писарева) была совершенною противоположностью отцу. Оставшись по второму году круглою сиротой, она кончила воспитаніе, подъ опекой своего дяди, въ харьковскомъ институтѣ для благородныхъ дѣвицъ, гдѣ, по преданію, была одною изъ лучшихъ ученицъ извѣстнаго піаниста и композитора Борсйцкаго. Хорошо знакомая съ русскою и французскою литературами, всегда оживленная, веселая, подвижная и впечатлительная, она любила общество, выѣзды, театры, балы, и, гдѣ ни появлялась, всюду вносила особый, свойственный ея даровитой природѣ, отпечатокъ радушной, свѣтской общительности и тонкаго, недюжиннаго ума. Въ стѣсненныхъ домашнихъ обстоятельствахъ, рядомъ съ вѣчно озабоченнымъ мужемъ, она въ семейной жизни находила отраду только въ чтеніи и въ музыкѣ. Въ моихъ ушахъ донынѣ раздаются звуки тѣхъ пьесъ, которыя она въ совершенствѣ исполняла, на приданомъ своемъ роялѣ, въ длинные, зимніе, деревенскіе вечера, какъ, напримѣръ, отрывки изъ «Фенеллы» и

«Цампы», аріи Беллини и концертныя пьесы Калькбрѐннера и Листа. Сохранивъ до кончины своей бодрость духа, симпатичный, живой нравъ и превосходную память, и обладая замѣчательнымъ для женщины красивымъ и четкимъ почеркомъ, она охотно вела съ родными и близкими оживленную переписку. По моей неотступной просьбѣ, за годъ до своей смерти, она начала писать мемуары и оставила мнѣ на память большую тетрадь своихъ воспоминаній, подъ именемъ «Моимъ внукамъ», хотя довела .ихъ, къ сожалѣнію, только до первыхъ двухъ-трехъ лѣтъ послѣ своего замужества.

По кончинѣ моего отца и отъѣздѣ отъ насъ заболѣвшей, первой моей наставницы, Пчёлкиной, ко мнѣ была приглашена другая учительница, также харьковская институтка, Вѣра Як. Будакòва, здравствующая понынѣ. У нея я выучился первымъ правиламъ ариѳметики, прошелъ съ нею часть русской грамматики Греча и кое-что изъ русской географіи Арсеньева и сталъ учиться французскому и нѣмецкому языкамъ. Первому одновременно меня обучалъ еще нѣкій, необыкновенно̀ много курившій, харьковскій французъ А. Я. Пешъ, а второму — добродушная и толстая, чувствительная старушка-нѣмка, родственница сосѣдняго аптекаря Б. Б. Бодекъ, постоянно вязавшая шерстяные носки и горько плакавшая надъ чувствительными повѣстями, которыя она мнѣ читала вслухъ и которыхъ я тогда еще не понималъ, почему во время классовъ либо чертилъ карандашемъ домики и звѣрей, либо вырѣзывалъ изъ бумаги солдатъ, разсѣянно слѣдя за чтицей, какъ она—то плакала, вздыхая и повторяя: «Ахъ, герръ Готтъ! шре́клихъ, унвершéйнлихъ!», то истерически хохотала надъ веселыми разсказами, изъ которыхъ одинъ, помню, назывался «Путешествіе изъ Штòльпе въ Данцигъ». Благодаря совѣтамъ умной и дѣльной В. Я. Будакòвой, когда мнѣ исполнилось десять лѣтъ, меня рѣшили отдать въ какое-либо хорошее учебное заведеніе и, послѣ долгихъ сборовъ и соображеній, остановились на Москвѣ.

Въ институтъ я поступилъ въ одинъ день и часъ съ другимъ однолѣткомъ-новичкомъ, землякомъ по Малороссіи, И. И. Соколовымъ, впослѣдствіи извѣстнымъ профессоромъ живописи Императорской академіи художествъ, авторомъ жанровыхъ картинъ изъ малорусскаго быта: «Гаданіе на

вѣнкахъ», «Ночь на Ивана Купала» и проч. Послѣ подписанія институтскимъ врачемъ, И. В. Георгіевскимъ, обычныхъ пріемныхъ свидѣтельствъ, насъ, изъ опустѣвшей, тихой учительской комнаты ввели въ наполненный бѣгавшими и кричавшими въ увлеченіи игрой учениками рекреаціонный залъ.

Шумъ и гамъ веселой толпы невольно ошеломилъ робкихъ новичковъ. Оба бѣлокурые, робкіе, съ загорѣвшими отъ степного воздуха лицами, мы сперва сильно терялись. Надъ нами, какъ и надъ прочими новичками, старшіе и болѣе сильные товарищи, въ первые дни, произвели всѣ установленные на такой случай опыты. Одни до одурѣнія, не переставая, махали кулакомъ передъ нашими носами, не давая сторониться и говоря: «не смѣй мѣшать, воздухъ казенный!» Другіе, будто обнимая насъ, брали наши головы подъ мышки, тиская ихъ и спрашивая: «А что, заплачешь? пожалуешься?» Третьи, при ходьбѣ, давали намъ «подъножку», боролись съ нами и пр. Скоро, однако, послѣ невольной и поучительной сдачи съ нашей стороны, всѣ подобные опыты стали рѣже и вовсе прекратились. Нѣсколько уроковъ въ классахъ, репетиціи и шумныя рекреаціи окончательно ознакомили насъ съ своеобразною, внутреннею жизнью школы. Она намъ понравилась, и мы незамѣтно и быстро къ ней привязались.

Одно угнетало меня въ первое время—это сонъ въ огромной дортуарной палатѣ, наполненной рядами бѣлыхъ, чистенькихъ кроватей. Всѣ улеглись, подъ оклики надзирателей: «still, Kinder!»—«silence!»; всѣ приткнулись къ подушкамъ, поболтали вполголоса, посмѣялись и заснули. Полуосвѣщенный ночными лампочками дортуаръ окончательно затихъ. Слышится только переступаніе ногами дежурящихъ въ коридорѣ ночныхъ надзирателей и дядекъ, отставныхъ солдатъ, да писк мышей гдѣ-нибудь въ углу, у нагрѣтой съ вечера печки. Дортуаръ исчезаетъ передъ глазами. Въ мысляхъ иная, недавняя картина: деревенскій родной домъ, посеребренныя инеемъ дорожки сада, игра съ сельскими мальчиками въ снѣжки, ѣзда по степи съ приказчикомъ къ овчарнымъ сараямъ, охота съ дядей въ лѣсу, лай гончихъ, ружейные выстрѣлы. И едва, кажется, заснулъ, въ окнахъ еще темно, но уже звучитъ звонокъ урядника Кочурина. Шесть часовъ утра, и надзиратели — нѣмецъ Гаусманнъ,

или французъ Венсанъ — идутъ вдоль кроватей, стуча по ихъ желѣзнымъ прутьямъ и выкрикивая: «Stehen sie auf, Kinder!» — «Levez-vous, messieurs! levez-vous!» — Мы въ классѣ, на репетиціи. Аккуратный Гаусманнъ, съ коленкоровыми чехлами на рукавахъ форменнаго вицмундира, для ихъ сбереженія, сидитъ на каѳедрѣ, передъ огромною кружкой душистаго кофе со сливками; мы слышимъ запахъ кофе, переводимъ Корнелія Нѣпота и думаемъ: «вотъ бы намъ, вмѣсто латыни, этого угощенія!»

Московскій дворянскій институтъ въ то время помѣщался на Тверской, въ приходѣ Успенія-на-врагѣ. Его зданія, сооруженныя въ царствованіе Императрицы Екатерины II, были расположены въ видѣ печатной буквы Е, главнымъ фасадомъ—съ куполами по краямъ—на Тверскую, а боковыми флигелями—въ переулки Газетный и Долгоруковскій. Эти обширныя, до-нынѣ сохранившіяся зданія въ половинѣ XVIII вѣка принадлежали фельдмаршалу князю Трубецкому, потомъ межевой канцеляріи; въ восьмидесятыхъ же годахъ прошлаго столѣтія въ нихъ помѣщалась типографія знаменитаго мартиниста Новикова и печатались подъ его редакціей «Московскія Вѣдомости», почему и переулокъ, куда выходила его типографія, въ народѣ прозвали Газетнымъ.

Дворянскій институтъ былъ основанъ сто десять лѣтъ тому назадъ. Учрежденный въ 1779 году, подъ именемъ «Вольнаго университетскаго благороднаго пансіона», онъ, спустя 54 года, въ 1833 г., былъ названъ дворянскимъ институтомъ, черезъ десять лѣтъ послѣ того переведенъ съ Тверской на Моховую, въ купленный для него извѣстный домъ Пашкова, гдѣ нынѣ помѣщается Румянцевскій музей, и еще черезъ шесть лѣтъ, въ 1849 году (въ семидесятую годовщину своего существованія) окончательно закрытъ и преобразованъ въ IV-ю московскую гимназію. Послѣднюю потомъ съ Моховой перевели на Покровку, въ приходъ Воскресенія въ Барашахъ, въ домъ, нѣкогда принадлежавшій графу А. К. Разумовскому, гдѣ она помѣщается и теперь.

Изъ шестилѣтняго институтскаго курса мнѣ пришлось первые три класса пробыть еще въ старомъ зданіи, на Тверской; остальные три класса я провелъ въ домѣ Пашкова, на Моховой. Директоромъ института, при мнѣ и до его закрытія, былъ извѣстный профессоръ московскаго университета по каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

товарищъ Грановскаго и Кудрявцева, Александръ Ивановичъ Чивилёвъ. Призванный впослѣдствіи въ Петербургъ, въ воспитатели покойнаго цесаревича Николая Александровича, онъ кончилъ жизнь трагически—задохнулся во время внезапнаго пожара въ своей казенной квартирѣ, въ Запасномъ дворцѣ, въ Царскомъ Селѣ. Нашимъ инспекторомъ былъ І. М. Ронцéвичъ; надзирателями — для практики въ новыхъ языкахъ—иностранцы: Дисленъ, Гаусманнъ, Пейшèсъ, Шпангенбергъ, Вàрнекъ, Безеръ, С-нъ Маркъ, Венсàнъ, Губò, Жоньò и др.

Институтъ былъ закрытымъ заведеніемъ, интернатомъ. Число воспитанниковъ, какъ въ старомъ, такъ и въ новомъ его зданіи, колебалось отъ 150 до 200 человѣкъ. За обученіе и содержаніе каждаго воспитанника взималось по 300 рублей серебр. въ годъ. Классы, залы для отдыха и столовыя были внизу, дортуары вверху. Домашняя церковь, на Тверской помѣщалась подъ правымъ куполомъ главнаго фасада, съ улицы; на Моховой—въ особомъ церковномъ зданіи, во второмъ правомъ дворѣ. Будничная одежда воспитанниковъ состояла изъ темнозеленой куртки съ краснымъ воротникомъ и бронзовыми пуговицами, съ московскимъ гербомъ; праздничная — изъ мундира такого же цвѣта съ такими же пуговицами и съ золотыми петлицами по красному воротнику. Кормили насъ хорошо. Бѣлье, посуда, отопленіе, освѣщеніе и воздухъ въ комнатахъ, особенно въ огромномъ домѣ Пашкова, на Моховой, были прекрасные.

Будили насъ, по звонку урядниковъ Кочурина и Медвѣдева, въ 6 ч. утра. Послѣ туалета и общей молитвы, была утренняя репетиція уроковъ, отъ $6^1/_2$ до $8^1/_4$ ч. утра; съ $8^1/_4$ до 9 часовъ — чай и утренняя рекреація; отъ 9 до 12 ч. классы—два урока; ровно въ полдень (отъ 12 ч. до $12^3/_4$ ч.)—обѣдъ. Послѣобѣденная большая рекреація—отъ $12^3/_4$ до $2^1/_2$ ч.; съ $2^1/_2$ до 3 ч. — послѣобѣденная репетиція; съ 3 до 6 ч. — вечерніе классы (два урока); съ 6 до $6^1/_2$ ч. — вечерній чай, съ $6^1/_2$ до 7 ч. — вечерняя рекреація; съ 7 до $8^1/_4$ ч.—вечерняя репетиція, съ $8^1/_4$ до 9 ч.—ужинъ; съ 9 до $9^1/_2$ ч. рекреація послѣ ужина, и съ десяти часовъ вечера—сонъ. Такимъ образомъ, на слушаніе и объясненіе уроковъ употреблялось въ день 6 часовъ; на ихъ приготовленіе и повтореніе—$3^1/_2$ часа, на рекреаціи (отдыхъ)—около 3 ч. и на сонъ—8 часовъ. Рекреаціи вес-

пой и осенью, и въ хорошую погоду зимой, проводились обыкновенно на воздухѣ, на институтскомъ дворѣ. Здѣсь, а въ дурную погоду въ залахъ, воспитанники веселою, шумною гурьбой играли въ барьı (пятна́шки), въ лапту́ (мячъ), въ чехарду и другія игры.

Зимой, во дворѣ, для насъ, кромѣ приспособленій для гимнастики, постоянно устраивались ледяныя горы съ санками и ледяныя площадки для катанія на конькахъ. Все это—какъ и уроки танцевъ у знаменитаго Іогеля, — фехтованія у Трѣля и Иванова, а лѣтомъ уроки плаванія у Гэка и прогулки въ праздникъ, пѣшкомъ за городъ, въ Марьину рощу, на Воробьевы горы, въ Шелепи́ху или Нескучное, на берега Москвы-рѣки, гдѣ надзиратели, какъ французъ Губэ, учили насъ ботанизировать и собирать окаменѣлости—поддерживало въ насъ отличное расположеніе духа и бодрость. Всѣ мы были, сколько помню, всегда здоровы и веселы. Особенно нравились намъ ледяныя горы и катанье на конькахъ. Бывало, вырвется шумная толпа изъ класса математики или латыни во дворъ, въ однѣхъ курткахъ и легкихъ фуражкахъ. Снѣгъ хруститъ подъ ногами, морозъ щиплетъ за уши. Крикъ, смѣхъ, бѣготня. Крошечныя санки на звонкихъ полозьяхъ летятъ вереницей съ горы. Конькобѣжцы попарно и вразсыпную мчатся по ледяной площадкѣ, обгоняя другъ друга и выписывая на-лету хитрые вензеля. Нѣкоторые умудрялись спускаться съ горы даже на конькахъ. Одного изъ такихъ искусниковъ я и теперь точно вижу передъ собою. Здоровый, румяный мальчикъ до того изловчился въ этомъ искусствѣ, что съ разбѣга, на полугорѣ, мгновенно оборачивался лицомъ къ вышкѣ горы и остальное пространство, по ледяному полотну, мчался спиной къ низу, на одной ногѣ. Это былъ нынѣшній предсѣдатель ученаго комитета министерства народна́го просвѣщенія—А. И. Георгіевскій.

Дворянскій институтъ былъ такою же строго-классическою школой, какъ и его тогдашнія (уваровскія) гимназіи; но его воспитанники не были изнуряемы чрезмѣрнымъ зубреніемъ грамматическихъ тонкостей латинскаго и греческаго языковъ, въ ущербъ изученію русскаго языка и русской исторіи, а главное—въ ущербъ ихъ здоровью. Воспитанники этого института, въ шесть лѣтъ, съ успѣхомъ, безъ репетиторовъ и приготовительныхъ классовъ, проходили тотъ же

курсъ классическихъ гимназій, для котораго потомъ крайніе поборники классицизма прибавили въ гимназіяхъ, къ семилѣтнему курсу, еще «восьмой» классъ и подавали мнѣнія о необходимости введенія даже «девятаго»... Девять лѣтъ гимназическаго курса, а съ приготовительнымъ классомъ десять лѣтъ! Прибавьте четыре года университетскаго курса, а считая, что наилучшій питомецъ классицизма, въ гимназіи или въ университетѣ, можетъ, въ силу нездоровья или случайно-неудовлетворительной отмѣтки, остаться лишній годъ, и окажется, что для полученія университетскаго диплома надо пробыть въ ученіи пятнадцать лѣтъ—половину лучшей части жизни!

Воспитанники института не знали ни «переутомленія», ни вытекающихъ изъ него «нервныхъ» и другихъ страданій. Особенно выгодно отражались на нашемъ здоровьѣ гимнастика, катанье съ горъ и на конькахъ и уроки фехтованія.

Въ праздники, зимой, у насъ устраивались домашніе спектакли. Сверхъ того, насъ, на складчину, а иногда и на казенный счетъ, возили въ театръ смотрѣть Мочалова, Щепкина и Живокини. Остававшіеся, подобно мнѣ, на лѣтнихъ вакансіяхъ, у родныхъ и знакомыхъ, близъ Москвы, увлекались ружейною охотой и рыбною ловлей. Весну встрѣчали у насъ особенными стихотворными возгласами:

«Вотъ она,
Вотъ весна!
Птички радостно запѣли,
Книги къ чорту полетѣли!»

Гостя въ вакантные мѣсяцы въ бронницкомъ уѣздѣ, въ имѣніи родныхъ моего отчима (с. Чеплыгинѣ, на рязанскомъ шоссе), за недостаткомъ ружья, какъ помню, я цѣлые дни проводилъ въ охотѣ, съ сѣткой, на перепеловъ. Старый поваръ, Егоръ, ходившій со мной на эту охоту, зналъ и передалъ мнѣ множество сказокъ и старыхъ преданій, въ томъ числѣ о нашествіи Наполеона, котораго онъ когда-то лично видѣлъ, случайно оставшись въ сожженной Москвѣ.

Наши учителя въ классахъ не играли роли только экзаменаторовъ, не ограничивались однимъ лишь спрашиваніемъ и задаваніемъ уроковъ. Классы проходили въ ближайшемъ и подробномъ объясненіи, со стороны учителей, изучаемыхъ предметовъ, причемъ преподаватели постоянно старались о томъ, чтобы и слабѣйшіе изъ учениковъ могли

понять и усвоить проходимое. Учебниковъ, издаваемыхъ самими преподавателями, намъ, по протекціи ихъ авторамъ, не навязывали и, по чьему-либо капризу, безъ толку ихъ не мѣняли. При изученіи географіи не обременяли нашей памяти непомѣрнымъ грузомъ статистическихъ цифръ и сухимъ перечнемъ городовъ, мѣстностей и народовъ, а болѣе знакомили, въ общедоступной формѣ (учитель Соколовъ), съ общими картинами этихъ мѣстностей, городовъ и народовъ. Часть географіи, для практики въ нѣмецкомъ языкѣ, намъ преподавалась по-нѣмецки, какъ и для французскаго языка— естественная исторія—по-французски. Послѣдствіемъ такого порядка было то, что репетиціи представляли дѣйствительно только повтореніе, освѣженіе въ памяти преподаваемаго въ классахъ, и самостоятельно на нихъ обработывались лишь сочиненія на заданныя темы, переводы съ древнихъ и новыхъ языковъ, да провѣрялись, при помощи способнѣйшихъ учениковъ, рѣшенія наиболѣе трудныхъ математическихъ задачъ. Ненужными переводами съ русскаго на древніе, мертвые, языки насъ также не томили, а если это изрѣдка и требовалось, то лишь какъ исключеніе и только относительно способнѣйшихъ учениковъ. Вечерними репетиціями кончались всѣ наши занятія и, уходя послѣ ужина въ дортуары, никто болѣе не сидѣлъ надъ книгами, — подобнаго несвоевременнаго занятія не допускали и дежурные надзиратели. Къ 10-ти часамъ вечера въ институтѣ мирно засыпали всѣ 150—200 его питомцевъ.

Изъ этого правила допускалось единственное исключеніе, а именно — въ весенніе дни, во время нѣкоторыхъ, болѣе трудныхъ экзаменовъ въ старшихъ классахъ. Воспитанники и тогда не имѣли права проводить надъ книгами ночного времени; только во время экзаменовъ имъ дозволялось вставать и заниматься, при дневномъ свѣтѣ, ранѣе обыкновеннаго часа. Болѣзненныхъ, изнуренныхъ непосильными занятіями товарищей я не помню за все шестилѣтнее мое пребываніе въ институтѣ, какъ не помню, чтобы кто-либо изъ насъ, тайкомъ ли въ институтѣ, или въ праздники дома, просиживалъ, какъ это дѣлаютъ теперь, до 2—3 часовъ ночи надъ упражненіями въ экстемпораліяхъ изъ древнихъ языковъ. Изъ питомцевъ института вышли, между тѣмъ, такіе поборники классицизма, какъ старшій меня по выпуску, П. М. Леонтьевъ, и кончившій курсъ всего годомъ ра-

нѣе меня, А. И. Георгіевскій. Нельзя при этомъ сказать, чтобы ученіе у насъ было легкое. Несмотря на всю его осмысленность и отличныхъ преподавателей, изъ числа учениковъ, поступавшихъ въ институтъ, кончали курсъ обыкновенно не болѣе одной трети. Часть отставала съ третьяго и четвертаго классовъ, переходя въ другія учебныя заведенія (лицей, школу правовѣдѣнія и гимназіи), иные же поступали въ военную службу, черезъ годъ, черезъ два потомъ навѣщая институтъ и плѣняя своихъ былыхъ товарищей блестящею мундирною формой. Были между нами, какъ вездѣ, и большіе, дерзкіе шалуны. Ихъ, какъ это водилось тогда во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, подвергали и тѣлеснымъ наказаніямъ. Помню грозный взоръ и голосъ исполнителя послѣднихъ, толстаго, невысокаго и со скривленнымъ лѣвымъ плечомъ, нашего инспектора Ронцѣвича и его помощника въ этомъ дѣлѣ, красноносаго урядника Кочурина. Живо вспоминаю тотъ ропотъ и то негодованіе, съ которыми мы всякій разъ встрѣчали эти наказанія, когда испытавшій ихъ мальчуганъ, а иногда и болѣе взрослый юноша, возвращаясь въ классъ «сверху» — со слезами, а то и съ похвальбой—разсказывали о томъ, что съ ними произошло и какъ они *это* вынесли. Намъ было жаль пострадавшихъ товарищей, но зато наказанія тѣмъ въ то время и ограничивались, и никто изъ моихъ сочениковъ не получилъ «волчьяго паспорта», не былъ исключенъ съ тѣмъ, чтобы впредь никуда, въ другія заведенія, его не принимали.

Насколько успѣшно проходили годы моего ученія въ институтѣ — теперь съ трудомъ помню. Одно могу сказать: мы, въ большинствѣ, очевидно, учились вообще недурно. Послѣ смерти моей матери, братъ мой и сестра, также покойные уже теперь, вручили мнѣ, по моей просьбѣ, ея бумаги и въ томъ числѣ всѣ мои письма, писанныя къ ней съ 1837 по 1877 годъ. Изъ этой, хранимой мною, сорокалѣтней хроники чуть не еженедѣльныхъ моихъ бесѣдъ съ матерью я особенно дорожу своими институтскими письмами. Послѣднія у нея сохранились съ 1843 года, когда мнѣ исполнилось 14 лѣтъ и я былъ въ 3-мъ классѣ. Перечитывая теперь эти письма и присланныя при нихъ, для прочтенія матери, классныя мои сочиненія на темы по русскому языку, съ отмѣтками учителей (за 1843 г.: «Пловецъ», «Чувства при видѣ Москвы»; за 1844 г.: «Зло-

умышленіе на жизнь Іоанна», «Московскій пожаръ»; за 1845 г.: «Дружба» и проч.), я не вѣрилъ своимъ глазамъ. Мы, четырнадцатилѣтніе и пятнадцатилѣтніе мальчики, писали тогда, по совѣсти надо сказать, правильнѣе, чѣмъ теперь пишутъ нѣкоторые изъ молодыхъ людей, двадцати и болѣе лѣтъ, съ аттестатами зрѣлости, поступающихъ въ университетъ послѣ восьми и девятилѣтняго обученія въ гимназіяхъ. Въ слабыхъ познаніяхъ нынѣшней молодежи по русскому языку, надо думать, убѣдились не въ одной редакціи періодическихъ изданій, куда ищущіе умственнаго труда нерѣдко обращаются съ предложеніемъ своихъ работъ.

Что же было ближайшею причиной тому, что воспитанники былого московскаго дворянскаго института успѣвали такъ скоро достигать желаемаго успѣха въ столь важномъ дѣлѣ, какъ теоретическое и практическое изученіе отечественнаго языка? Находящіеся въ живыхъ, немногіе и большею частью уже убѣленные сѣдиной, питомцы этого заведенія (каждому изъ нихъ теперь, по малой мѣрѣ, не менѣе 55—60 лѣтъ, такъ какъ институтъ закрытъ въ 1849 году, т.-е. ровно сорокъ лѣтъ назадъ) могутъ, положа руку на сердце, отвѣтить на это слѣдующее: во-1-хъ, то, что насъ, въ ущербъ изученію русскаго языка, родной литературы, исторіи и географіи, не забивали сверхъ мѣры обязательнымъ изученіемъ обоихъ древнихъ языковъ, а требовали изученія одного изъ нихъ, латинскаго, предоставляя намъ добровольно учиться или не учиться другому (греческому), и, во-2-хъ, то, что у насъ былъ превосходный директоръ и отличные, стоявшіе на высотѣ своего призванія, подобранные имъ учителя, какъ, напримѣръ, по русскому языку — извѣстный въ педагогической литературѣ авторъ «Грамматики старославянскихъ языковъ», «Практической русской грамматики», «Русскаго стихосложенія» и другихъ сочиненій, Петръ Мироновичъ Перевлѣсскій († 1867 г.), по исторіи—Николай Васильевичъ Смирновъ, по римскимъ и греческимъ древностямъ—А. К. Фабриціусъ, П. И. Пѣвницкій, Громанъ и Ю. К. Фелькель, авторъ перевода «Записокъ Цезаря» (съ объясненіями), по математикѣ — Саханскій и Оглоблинъ, по физикѣ — Мохтинъ, по нѣмецкому языку— К. Зейдлицъ, по французскому — Пелànъ-д'Анжѐ и по закону Божію—отецъ Іоаннъ Рождественскій. Здѣсь же былъ ранѣе преподавателемъ греческаго языка знаменитый впо-

слѣдствіи профессоръ древностей московскаго университета Д. Л. Крюковъ.

Надъ дворянскимъ институтомъ въ Москвѣ, какъ и надъ родственнымъ ему во многихъ отношеніяхъ, хотя и болѣе молодымъ по времени открытія, Александровскимъ лицеемъ въ Петербургѣ, незримо какъ бы вѣяло знамя русской литературы, свѣдѣнія о которой, впрочемъ, у меня, при отъѣздѣ изъ деревни, были самыя ограниченныя. Наслушавшись въ дѣтствѣ народныхъ украинскихъ сказокъ отъ моей няни, старушки Аграфены, и ея мужа, Анисима, я отъ комнатнаго слуги бабки, Абрама, учившагося въ Харьковѣ переплетному мастерству и потому кое-что читавшаго, впервые, по пятому году, услышалъ о Гоголѣ. Добывъ изъ шкапа бабки «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», Абрамъ прочелъ мнѣ и нянѣ въ саду нѣсколько изъ повѣстей Рудаго-Панька, восхитивъ насъ этимъ до безконечности. Онъ же потомъ познакомилъ меня и съ фантастическими разсказами барона Брамбеуса. Помню свой неудержимый смѣхъ, при чтеніи Абрамомъ разсказа «Большой выходъ у Сатаны», когда царь чертей проглатываетъ, въ видѣ сухаря, романъ «Петръ Выжигинъ», запивая его, вмѣсто вина, дегтемъ. Впослѣдствіи, хотя мнѣ и удавалось раза два пробираться въ комнату матери, во время чтенія у нея вслухъ модныхъ тогдашнихъ романовъ «Рославлевъ» — Загоскина и «Мусташъ»— Поль-де-Кока, моя мать, замѣтивъ непрошенное мое присутствіе при этомъ чтеніи, меня тотчасъ же удаляла.

Вступавшимъ подъ кровлю института ученикамъ товарищи прежде всего указывали на золотую доску въ его рекреаціонномъ залѣ, гдѣ были написаны имена Жуковскаго, Грибоѣдова, кн. Шаховского и другихъ знаменитыхъ русскихъ писателей, кончившихъ здѣсь курсъ ученія. Подобно тому, какъ лицеисты въ Петербургѣ съ гордостью называютъ имена Пушкина, кн. А. С. Горчакова, гр. Д. А. Толстого, В. П. Безобразова, М. Е. Салтыкова, Я. К. Грота, Н. К. Гирса и другихъ писателей, ученыхъ и государственныхъ дѣятелей, вышедшихъ изъ Александровскаго лицея, воспитанники московскаго дворянскаго института называли и называютъ рядъ именъ, прославившихъ это дорогое для нихъ училище. Здѣсь прошли курсъ ученія, кромѣ Жуковскаго, Грибоѣдова и князя Шаховского, слѣдующіе, между прочимъ, русскіе писатели и ученые: А. Ѳ. Воейковъ, Д. Дашковъ,

П. В. Свиньинъ, С. П. Жихаревъ, А. С. Норовъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій, С. П. Шевыревъ, Ѳ. И. Тютчевъ, Н. В. Каллачовъ, А. Ѳ. Вельтманъ, — П. М. Леонтьевъ и С. А. Усовъ (профессора), А. А. Майковъ, А. В. Вышеславцевъ, В. И. Родиславскій (основатель общества драматическихъ писателей), С. Н. Шубинскій (редакторъ «Историческаго Вѣстника») и другіе; государственные дѣятели: А. П. Ермоловъ (извѣстный кавказскій герой), графъ Д. А. Милютинъ (бывшій министръ), В. П. Титовъ,—А. И. Георгіевскій, Е. А. Кожуховъ и Н. И. Рыжовъ (предсѣдатели высшихъ государственныхъ учрежденій въ Петербургѣ и Варшавѣ), Д. Н. Батюшковъ (нынѣшній екатеринославскій губернаторъ), В. А. Татариновъ (бывшій государственный контролеръ), А. Е. Тимашевъ (бывшій министръ), бар. А. П. Моренгеймъ (нынѣшній посолъ во Франціи), В. Х. Книперъ (нынѣшній директоръ Императорскаго стекляннаго завода), многіе губернскіе и уѣздные предводители дворянства, предсѣдатели земскихъ управъ (Л. В. Вышеславцевъ), присяжные повѣренные (А. А. Кожуховъ, Тетера), мировые посредники и судьи, и пр. Здѣсь же въ началѣ также учились: М. Ю. Лермонтовъ, С. А. Юрьевъ и — переведенные потомъ въ Александровскій лицей—гр. Д. А. Толстой (бывшій министръ), М. Е. Салтыковъ (Щедринъ), В. П. Безобразовъ, А. М. Унковскій и др. Между институтцами въ мое время шло преданіе, что здѣсь же учился и даже былъ записанъ на золотую доску и несчастно-погибшій впослѣдствіи поэтъ К. Ѳ. Рылѣевъ, и что эту доску, послѣ арестовъ по дѣлу четырнадцатаго декабря, сожгли и замѣнили другою, гдѣ его имя было пропущено.

Жуковскій, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ... Какимъ восторгомъ бились наши сердца при упоминаніи только этихъ трехъ былыхъ воспитанниковъ института, въ которомъ хранились и повторялись преданія о нихъ! Учителя русскаго языка Архидіаконскій, Билевичъ и Перевлѣсскій, задавая намъ учить Жуковскаго, указывали тѣ первыя стихотворенія, которыя дебютантомъ-поэтомъ были написаны въ стѣнахъ института: «Ода на благоденствіе Россіи», «Майское утро», «Добродѣтель» и др. Встрѣчая весну, мы твердили изъ Жуковскаго:

«Бѣло-румяна
Восходитъ заря;

Фебъ златозарный
Все оживилъ;
Вся ужъ природа
Свѣтомъ одѣлась
И процвѣла...»

Бессмертную комедію Грибоѣдова, какъ и всего почти Лермонтова, мы знали наизусть. Перевлѣсскій познакомилъ насъ и съ первыми стихотвореніями Аполлона Ник. Майкова, незадолго передъ тѣмъ появившимися въ печати и ходившими въ спискахъ. Особенно нравились намъ антологическія пьесы: «Искусство», «Барельефъ» и «Вертоградъ», и мы повторяли:

«Срѣзалъ себѣ я тростникъ у прибрежія шумнаго моря;
Нѣмъ онъ, забытый, лежалъ въ моей хижинѣ бѣдной...»

Или:

«Посмотри свой вертоградъ,
Въ немъ нарцисъ ужъ распустился;
Зеленъ кедръ, вокругъ обвился
Ранній, цѣпкій виноградъ....
Яблонь въ цвѣтѣ благовонномъ,
Будто въ снѣжномъ серебрѣ;
Рѣзвой змѣйкой по горѣ
Ключъ бѣжитъ къ долинамъ сонным...»

Въ 1844 году, когда мы были въ четвертомъ классѣ, Перевлѣсскій принесъ намъ однажды красиво-изданную книжку, на которой стояла надпись «Гаммы,—стихотворенія Я. Полонскаго». «Съ новымъ талантливымъ поэтомъ, господа!» сказалъ онъ, съ обычною своею шутливостью, мягкимъ развальцемъ всходя, съ книгой подъ мышкой, на классную каѳедру. И мнѣ помнится до нынѣ этотъ классъ, ярко освѣщенная весеннимъ солнцемъ комната, свѣжій румянецъ щекъ тогда еще молодого, любимаго нашего учителя, его густые, черные, какъ вороново крыло, волосы, красивыми скобками спадавшіе на синій бархатный воротникъ его всегда изящнаго, безъ пылинки, вицмундира, разогнутая въ рукахъ книга «Гаммъ» и темно-каріе, радостно съ каѳедры улыбавшіеся намъ его глаза. Онъ читалъ намъ «Въ дорогѣ», «Мѣсяцъ» и другія пьесы изъ принесенной книги,—о томъ, какъ «Ночью въ колыбель младенца мѣсяцъ лучъ свой заронилъ», о томъ, какъ «Священный благовѣстъ торжественно звучитъ,—во храмахъ ѳиміамъ, во храмахъ пѣснопѣнье», и о чудесахъ моря, подъ таинственною, водною пучиной:

«Тамъ, гдѣ груды перламутра,
При мерцающей лунѣ,
При лучахъ пурпурныхъ утра
Тускло свѣтятся на днѣ...»

Мы, замирая отъ восторга, радовались, что если безжалостный поединокъ унесъ Лермонтова, какъ недавно передъ тѣмъ онъ унесъ Пушкина, то на мѣсто погибшихъ любимцевъ нашихъ нарождались новые поэты. Сѣмя падало на подготовленную почву. Между институтцами стали появляться свои домашніе поэты. Прошла молва, что стихи пишутъ И. П. Макаровъ, А. В. Вышеславцевъ и А. И. Рыжовъ; по рукамъ ходила цѣлая поэма Миклашевскаго. Она называлась «Баронъ Іоко» и, составляя сатиру на главнаго нашего педагога, начиналась такъ:

«Пою Іоко, онъ славный малый,
Философъ, риторъ и поэтъ,
Ловласъ и шутъ, какихъ немало,
И франтъ пятидесяти лѣтъ...»

Увы! всѣхъ этихъ поэтовъ давно нѣтъ на свѣтѣ; съ ними безъ слѣда исчезли и ихъ юношескія произведенія. Одного унесла чахотка, другой умеръ, не кончивъ труда объ искусствѣ въ Италіи, третьяго предательски убили... Но не исчезли изъ памяти живущихъ институтцевъ преданія о ихъ дорогой, вскорѣ затѣмъ закрытой и преобразованной подъ заурядный строй всѣхъ гимназій, родной школѣ.

Учитель русской и всеобщей исторіи въ институтѣ, Н. В. Смирновъ, скончавшійся вскорѣ по закрытіи этого заведенія, былъ небольшого роста, подвижной и худенькій человѣкъ, съ темнорусыми волосами. Обладая замѣчательнымъ даромъ слова, онъ умѣлъ, съ появленіемъ на классной каѳедрѣ, совершенно овладѣвать обыкновенно непосѣдливыми и разсѣянными слушателями. Негромкій, мягкій его голосъ, ясно отчеканивавшій слова, такъ и впивался въ душу. Порывисто нюхая зажатую въ пальцахъ, иногда въ теченіе цѣлаго класса, взятую у кого-либо изъ коллегъ въ учительской комнатѣ, щепотку табаку, онъ мастерски излагалъ преподаваемый предметъ. Не вдаваясь въ мелочи, въ педантическій перечень разныхъ войнъ и междоусобій и въ хронологію мелкихъ, давно исчезнувшихъ и забытыхъ народовъ, онъ болѣе старался объяснять и освѣщать главнѣйшія изъ историческихъ событій, въ связи ихъ съ общимъ теченіемъ вѣка. Обрисованныя имъ событія и лица изъ римской исторіи,

какъ Августъ и Калигула, крестовые походы, Лютеръ, тридцатилѣтняя война, кровавыя насилія французской революціи и нашествіе Наполеона на Россію—до нынѣ стоятъ въ моей памяти, какъ живыя. Излагая какое-либо крупное историческое событіе, Н. В. Смирновъ читалъ намъ, въ его поясненіе, отрывки изъ великихъ писателей, касавшихся той же эпохи,—Вальтеръ-Скотта, Шекспира, Шатобріана, Шиллера и родныхъ авторовъ. Объясняя однажды способъ рисовки типовъ у иностранныхъ писателей, онъ указалъ намъ на своеобразные въ этомъ отношеніи пріемы Гоголя, и тутъ же на лекціи прочелъ намъ изъ появившихся незадолго передъ тѣмъ и еще не всѣмъ намъ знакомыхъ «Мертвыхъ душъ», характеристики Манилова, Собакевича и Ноздрева.

Преподавателемъ Закона Божія въ институтѣ былъ о. Іоаннъ Рождественскій, донынѣ благополучно здравствующій (состоитъ священникомъ при церкви Черниговскихъ чудотворцевъ, за Москвой-рѣкой). Также невысокаго роста, съ сѣдою уже и тогда, пушистою и длинною бородой, Иванъ Николаевичъ Рождественскій неслышною, слабою походкой входилъ въ классъ, расправлялъ рукава темнокоричневой шелковой своей рясы, съ золотымъ наперснымъ крестомъ на лентѣ, медленно опускался въ кресло на каѳедрѣ и внимательно-ласково большими карими глазами окидывалъ стихавшій при его появленіи классъ. Отъ всей его благодушной и кроткой фигуры вѣяло чѣмъ-то неизъяснимо-привѣтливымъ и въ то же время строго вразумляющимъ и ободряющимъ. На своихъ питомцевъ онъ имѣлъ большое вліяніе, нравственно-поддерживая неособенно даровитыхъ, возбуждая къ труду лѣнивыхъ и укрощая черезчуръ рѣзвыхъ и шаловливыхъ и кротко-настойчиво дисциплинируя всѣхъ насъ вообще.—«Богохульники! скоморохи!»—останавливалъ онъ съ улыбкой или строго сдвинувъ брови, не въ мѣру иногда расшумѣвшихъ и потѣшавшихъ классъ шалуновъ: «гдѣ вы? въ священной храминѣ наукъ, или въ стойлѣ?»

Къ говѣнью, на третьей или на четвертой недѣлѣ великаго поста, мы готовились обыкновенно съ искреннимъ благочестіемъ. Толковая и разумная исповѣдь и затѣмъ торжественное причащеніе у отца Іоанна всякій разъ оставляли въ душѣ необъяснимое ощущеніе радостнаго покоя и теплоты. Вечерни, обѣдни и длинныя всенощныя выстаивались въ маленькой институтской церкви во имя св. Николая чу-

дотворца, въ домѣ на Моховой, безъ особаго утомленія. Директоръ А. И. Чивилёвъ устроилъ и заботливо поддерживалъ у насъ собственный ученическій хоръ пѣвчихъ. Учителемъ церковнаго хора былъ преподаватель музыки Черновъ, а его помощникомъ регентомъ одинъ изъ учениковъ, нашъ одноклассникъ, Д. И. Георгіевскій. Однимъ изъ пѣвчихъ въ этомъ хорѣ состоялъ и я, начавшій въ то время брать уроки на фортепіано.

Время близилось къ выпуску. Институтъ при мнѣ былъ удостоенъ посѣщеніемъ, во время нашего обѣда, Государя Николая Павловича и вскорѣ потомъ, во время класса, его наслѣдника, Цесаревича Александра. Нашимъ радостямъ отъ этихъ посѣщеній не было границъ. Стали говорить, что институтъ предположено сравнять въ правахъ съ Александровскимъ лицеемъ и школой правовѣдѣнія. Эти слухи, впрочемъ, не подтвердились. Какъ теперь вижу статную и красивую фигуру Государя Николая, при прощаніи съ нами, благодарившаго попечителя графа Строганова и показывавшаго ему, съ улыбкой, на себѣ, что нашъ наружный видъ, особенно поступь, нѣсколько мѣшковаты. Уѣзжая, онъ приказалъ дать нашимъ дядькамъ московскій гербъ на ихъ гладкія, бронзовыя мундирныя пуговицы. Этимъ, впрочемъ, и кончились наши мечты объ увеличеніи правъ института.

По праздникамъ, въ первые годы ученія, меня отпускали къ роднымъ моего отчима, Смирновымъ, на Никитскій бульваръ и ко Вдовьеву дому, а также къ матери моего соученика и друга, И. И. Соколова, въ Барашовскій переулокъ, близъ Покровки. Въ высшихъ классахъ, по праздникамъ, я навѣщалъ знакомцевъ моихъ родныхъ, Наумовыхъ, Толстыхъ, Крёкшиныхъ и др. Но болѣе всего я стремился, какъ видно изъ сохранившихся моихъ писемъ къ матери, бывать у ея чугуевскаго знакомца, свитскаго офицера К. Ф. Саблера, жившаго съ 1844 года въ Фурманномъ переулкѣ, въ приходѣ Харитонія-въ-огородникахъ.

Мнѣ до мелочей памятны мои посѣщенія К. Ф. Саблера, такъ какъ онъ первый указалъ мнѣ на необходимость дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ. Живо представляются мнѣ небольшія, чистенькія, красиво-убранныя комнаты квартиры К. Ф. Саблера, гдѣ съ утра, въ праздники, когда хозяинъ былъ еще въ церкви или съ визитами въ городѣ, я обыкновенно заставалъ въ гостиной, на кругломъ столѣ,

кучу книгъ, газетъ и журналовъ, и жадно принимался ихъ читать. Здѣсь я впервые прочелъ съ восхищеніемъ «Юрія Милославскаго», «Капитанскую дочку» и переводъ въ какомъ-то журналѣ «Монте-Кристо», потомъ сводившій насъ всѣхъ въ институтѣ съ ума. Высокій, темноволосый и стройный, съ чернымъ бархатнымъ воротникомъ и серебрянымъ академическимъ аксельбантомъ, К. Ф. Саблеръ, заставая меня за этимъ занятіемъ и привѣтливо поглядывая на меня, говорилъ о свѣтломъ поприщѣ высшихъ научныхъ познаній и—спрашивая, неужели я, кончивъ курсъ института, закабалю себя тотчасъ на службу или въ деревню, на хозяйство, — объяснялъ мнѣ, что выше умственнаго, свободнаго труда нѣтъ наслажденій на свѣтѣ. Его слова часто потомъ вспоминались мною въ жизни, какъ и его восторженные отзывы о нашемъ директорѣ Чивилёвѣ и попечителѣ московскаго учебнаго округа, гр. С. Г. Строгановѣ, которыхъ, по его мнѣнію, мало цѣнили въ высшемъ правительствѣ, такъ какъ министръ просвѣщенія гр. Уваровъ видѣлъ въ Строгановѣ опаснаго себѣ соперника, а на Чивилёва смотрѣлъ, какъ на его любимца.

Чтобы обрисовать мое настроеніе передъ окончаніемъ курса въ институтѣ, позволяю себѣ здѣсь привести нѣсколько отрывковъ изъ моихъ писемъ того времени къ матери.

Стремясь расположить мать, не обладавшую достаточными средствами, къ разрѣшенію мнѣ продолжать ученіе въ университетѣ и переѣхать для того въ Петербургъ, я ей писалъ, между прочимъ (17-го марта 1846 года), слѣдующее:

«Вообще всѣ наши молодые люди, окончившіе курсъ въ среднемъ учебномъ заведеніи, поступаютъ въ университетъ, откуда дорога на всѣ четыре стороны — свободна и богата. Мало ли что въ будущемъ, если окончишь со славой курсъ? И путешествіе за границу для обширнѣйшихъ познаній, и лавры славной учености. О! кто не пожертвуетъ всѣмъ, чтобы только перейти эти привлекательныя ступени жизни? Вся молодежь тѣснится въ университетъ; но странно — бо́льшая часть просится ѣхать либо въ Дерптъ, либо въ Петербургъ. Я видѣлъ недавно примѣръ, что вышедшій изъ нашего института, Х—въ, изъ любви къ своимъ родителямъ, остался въ харьковскомъ университетѣ, но не прошло и года, онъ возвратился въ Москву, съ больною головою отъ тамошнихъ профессоровъ, которые, какъ слышно, знаютъ не болѣе на-

шихъ институтскихъ учителей. Что касается до разницы между московскимъ и петербургскимъ университетами, то, по слухамъ, здѣсь чуть ли не такая же разница, какъ между Харьковомъ и Москвой. Послушайте, что говорятъ о петербургскихъ студентахъ. Ихъ тамъ всѣ ищутъ; тамошній университетъ любитъ и самъ государь, а что касается до одинокой жизни студента тамъ и здѣсь, то она почти та же. Притомъ-же Петербургъ—новый совершенно городъ, заграничный уже почти свѣтъ; тамъ все лучшее общество даже изъ Москвы, всѣ наши литераторы. И Богъ знаетъ, куда заводитъ меня мечта въ эти минуты! О, если бы вы нашли это возможнымъ? Взгляните, вѣрно ли я мечталъ, и справедливо ли будетъ мое разочарованіе. Свѣтъ идетъ впередъ, свѣтъ живетъ—не остается на мѣстѣ... а я? Иначе, къ чему эти свѣтлыя познанія, эти труды образованія, эти игривыя надежды, если будетъ нужно ихъ схоронить—подъ киверомъ солдата, во фронтѣ, подъ халатомъ украинскаго, мелкопомѣстнаго дворянина, или, наконецъ, подъ зеленымъ фракомъ писца... Нѣтъ, разочарованіе будетъ слишкомъ убійственно! Въ первый разъ я еще объ этомъ думаю, и, какъ свинецъ, эти думы тѣснятъ мою душу. Иные говорятъ, что пылъ юности проходитъ лѣтами; я же, напротивъ, себя чувствую, въ томъ, что касается до сердца и души, такимъ же, какъ чувствовалъ себя за два года и болѣе. Свою юность я поддержу на многіе годы. Мой духъ устарѣетъ тогда, когда я превращусь въ пыль, которую какой-нибудь франтъ, съ досадой, будетъ отчищать отъ сапоговъ своихъ».

Поступленіе мое въ петербургскій университетъ состоялось. Семнадцати лѣтъ, осенью 1846 года, я съ институтскимъ аттестатомъ уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и былъ принятъ въ тамошній университетъ, безъ экзамена, на юридическій факультетъ.

Въ началѣ 1847 года (15-го февраля), вспоминая недавнее свое прошлое—дѣтскіе годы и курсъ ученія въ институтѣ—я писалъ слѣдующее объ этомъ прошломъ своей матери, которая всею душой сочувствовала моимъ стремленіямъ къ дальнѣйшему ученію и поддерживала меня въ этомъ всѣмъ, чѣмъ могла, особенно своими разумными совѣтами:

«Съ 10-ти лѣтъ у меня первою задушевною мыслью было—быть чѣмъ-нибудь, не какъ подобные мнѣ изъ окружающихъ. Я «все» хотѣлъ,—не то, чтобы выучить,—а разомъ выпить, въ одинъ глотокъ. Жить въ покоѣ, жить въ

глухой тишинѣ, но въ счастьи—это мнѣ не было по душѣ. Нѣтъ, меня что-то тревожило безпрестанно; я чувствовалъ въ душѣ что-то странное, и это все было у меня тогда смѣшано безотчетно, а романовъ я тогда еще не читалъ, и некому было мнѣ объ этомъ натолковать, кромѣ учителя Пе́ша (который все курилъ трубку) да брата ***, который все мечталъ объ усахъ и эполетахъ. Шалунъ я былъ страшный, пока не отвезли меня въ Москву.

«Въ институтѣ я учился, школьничалъ. Набравшись наукъ, я просвѣтлѣлъ головой и иначе посмотрѣлъ на жизнь. Правый взглядъ на вещи заставилъ меня рано подумать о будущности. Я рано — еще за два года — составилъ себѣ (въ мысляхъ) карьеру, особенно послѣ вакацій, послѣ вашихъ совѣтовъ. Я созналъ въ себѣ много силъ къ осуществленію мысли: быть другимъ, чѣмъ близкіе къ моей жизни, быть выше ихъ—это облагородило мои увлеченія. Я не связался съ молодежью Москвы; я рвался оттуда... Я до безумія влюбился въ поэзію. Когда я увѣрился въ себѣ, я написалъ къ вамъ первое письмо, въ которомъ просилъ васъ дать мнѣ возможность ѣхать учиться въ Петербургъ. Зачѣмъ именно въ Петербургъ? Москву слишкомъ хорошо я разглядѣлъ—эту беззаботную жизнь, это равнодушіе къ ученью, эту грязную мелочность молодежи—все я разглядѣлъ, вмѣстѣ съ чудною Москвой-матушкой, ея бѣлокаменнымъ Кремлемъ, который часъ отъ часу грустнѣе смотритъ на перемѣнчивое поколѣніе и ворчитъ, сверкая крестами. Харькова я не зналъ, но я его понималъ. Я боялся заразиться Москвой и Харьковомъ. Я боялся сдѣлаться такимъ человѣкомъ, который, вышедши изъ университета, поступитъ на службу, огрубѣетъ, пройдетъ для міра, какъ канетъ въ воду, и только послѣ него у иного почешется за ухомъ и тотъ скажетъ: «да, добрякъ былъ, чурбанъ лѣнивый! славная наливка у него бывала!» Вотъ чѣмъ я боялся тамъ заразиться... а это такъ искусительно для многихъ! Вѣрно много я ждалъ впереди, вѣрно чувствовалъ себя сильнымъ, когда рѣшился оставить это легкое и пустился одинъ, безъ совѣтника, за полторы тысячи верстъ. Я не ошибся въ своихъ ожиданіяхъ; я не разрушилъ ни одного и изъ ожиданій вашихъ. Больно рвалась душа при разставаньи съ вами; я точно умеръ, когда повозка скрылась изъ виду вашего — я даже было рѣшился вернуться... За эти жертвы Богъ меня не оставитъ!»

И тогда же, вспоминая свой проѣздъ изъ Чугуева, черезъ Москву, въ Петербургъ, я писалъ матери:

«Директоръ (Чивилёвъ) просто меня восхитилъ. Онъ велѣлъ придти за его письмомъ къ профессору петербургскаго университета, знаменитому Порошину, его близкому другу, и велѣлъ мнѣ самому ему сказать только слова: «мой директоръ, такой-то, прислалъ меня учиться въ этотъ университетъ» — и этого будетъ довольно съ его письмомъ. При выходѣ отъ директора встрѣтилъ я нашего учителя литературы (Перевлѣсскаго), который велѣлъ къ нему зайти тоже, по дорогѣ, за письмами рекомендательными къ Гребёнкѣ и Кукольнику...»

Юношески-восторженныя, хотя черезчуръ, быть-можетъ, поэтому, напыщенныя мои письма того времени къ матери показываютъ, однако, насколько благотворно для насъ, учениковъ института, было гуманитарное и возвышающее вліяніе послѣдняго. Большинство изъ насъ, несмотря на преподаваніе намъ, изгнанной потомъ изъ гимназій, естественной исторіи и на упражненія всякаго рода спортомъ (фехтованіе, плаваніе, гимнастика, катаніе на конькахъ и пр.)—были искреннѣйшіе идеалисты. Одни серьезно изучали иностранныхъ историковъ, другіе переводили стихами «Фауста»—Гёте (А. Рыжовъ), «Турандота»—Шиллера (Губчицъ), оды Горація (С. Анненковъ), я—Гёльти и Вольтера; третьи успѣшно рисовали (И. И. Соколовъ, Кардо-Сысоевъ), неподражаемо декламировали Гоголя и Грибоѣдова (Усовъ, Лашкевичъ), занимались скульптурною лѣпкой (А. и Е. Протасьевы) и музыкой (Н. Малово, Лопатинъ и Ладыженскій). Гуманитарное вліяніе школы, кромѣ занятій изящными искусствами, отражалось на насъ и въ другихъ отношеніяхъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ міровой политикѣ было полное затишье. Россія не воевала ни съ одною изъ европейскихъ державъ, а потому, вѣроятно, горячихъ военныхъ головъ между нами тогда и не было. Военный патріотизмъ институтцевъ моего времени проявился позднѣе, въ восточную войну, когда многіе изъ моихъ товарищей поспѣшили въ военную службу (Н. Рыжовъ, С. Анненковъ, А. Маловъ, кн. Оболенскій, братья Араповы и др.). Въ сороковыхъ годахъ у Россіи, однако, шла кровавая пограничная борьба съ Кавказомъ. Горныя экспедиціи противъ Шамиля ежегодно поглощали множество жертвъ.

Проходя по Моховой, мимо сосѣдняго съ институтомъ военнаго экзерциргауза, мы, съ болью въ сердцѣ, видѣли здѣсь все новые и новые пѣхотные батальоны, которые отсюда, послѣ смотровъ, отправлялись въ то время на Кавказъ.

«На убой миленькихъ ведутъ! на погибель, свѣтиковъ родныхъ!» голосили, причитывая передъ нами, съ плачемъ, матери и жены, провожавшія уводимыхъ солдатъ. — «Какъ помочь ихъ бѣдѣ? и какъ облегчить родинѣ покореніе Шамиля, а съ нимъ и Кавказа?» мыслили мы тогда и толковали между собой. Разрѣшить эту загадку нацлась горячая голова, въ тайнѣ отъ всѣхъ задумавшая и рѣшившая привести въ исполненіе фантастическій замыселъ «безкровнаго замиренія и покоренія Кавказа». Это случилось въ 1843 году, когда я перешелъ въ четвертый классъ.

Между моими одноклассниками былъ пятнадцатилѣтній, чернокудрявый и черноглазый, худощавый юноша, И. П. Скюдери, сынъ извѣстнаго, всѣми уважаемаго московскаго врача. Однажды, осенью, уходя утромъ въ воскресенье къ знакомымъ своего отца, бывшаго въ то время въ богатомъ рязанскомъ своемъ помѣстьѣ, с. Ромодановѣ, Скюдери сказалъ мнѣ и другому своему однокласснику и другу, С. П. Анненкову: «Ну, товарищи, прощайте! не говорите никому— не скоро теперь увидимся... услышите обо мнѣ!» Болѣе онъ намъ ничего не объяснилъ, какъ мы ни допытывали его, и, пожавъ намъ, съ привѣтливою улыбкой, руки, ушелъ изъ института. До сихъ поръ вижу его красивую, кудрявую голову, всегда нѣсколько блѣдное лицо и оживленные, быстрые глаза, какъ бы говорившіе: «да! увидите и услышите обо мнѣ нѣчто замѣчательное!» Надо прибавить, однако, что слова Скюдери не особенно насъ удивили. Мы кое-что знали о его душевномъ настроеніи. Незадолго передъ тѣмъ онъ случайно увидѣлъ въ католической церкви, куда ходилъ съ знакомыми отца, нѣкую, неописанной красоты, княжну грузинскую и, какъ сообщилъ намъ по секрету, влюбился въ нее по уши. Вспомнивъ это, мы съ Анненковымъ рѣшили, что нашему другу, очевидно, посчастливилось вызвать въ его возлюбленной взаимное расположеніе къ себѣ, что они, по всей вѣроятности, положили болѣе не разставаться и для того, разумѣется, задумали бѣжать куда-либо изъ Москвы, за тридевять земель. Строя воздушные замки о будущемъ

блаженствѣ влюбленной пары, мы положили обо всемъ до времени молчать.

Былъ конецъ августа. Стояла превосходная, теплая и сухая погода. Желѣзныхъ дорогъ тогда не было. «Если Скюдери съ его возлюбленною—думали мы,—рѣшилъ уѣхать въ чужіе края, то письменное извѣстіе отъ него должно придти къ намъ изъ перваго пограничнаго города, никакъ не далѣе недѣли или десяти дней». Но прошло болѣе двухъ недѣль. Свѣдѣній о бѣглецахъ къ намъ не доходило. Невозвращеніе Скюдери изъ отпуска къ вечеру воскресенья и въ первую недѣлю послѣ того никого особенно не озаботило.—«Очевидно, заболѣлъ», рѣшило начальство: «выздоровѣетъ, явится». Но прошло еще одно воскресенье—Скюдери въ институтъ не возвращался. Начальство произвело дознаніе; оказалось, что Скюдери не было и у тѣхъ знакомыхъ, къ которымъ его отпускали по просьбѣ отца. Прошелъ еще день, другой, и дѣло стало объясняться. Заговорили, что Скюдери еще въ то воскресенье, когда былъ отпущенъ къ знакомымъ, пробылъ у нихъ до вечера, взялъ съ собою кое-какія вещи, какъ бы для отвоза ихъ въ институтъ, сѣлъ со слугой отца, Семеномъ, на извозчика, уѣхалъ куда-то и съ тѣхъ поръ безъ вѣсти пропалъ. Въ то время, какъ начальство предполагало, что онъ находится у знакомыхъ, послѣдніе были убѣждены, что онъ пребываетъ въ институтѣ; невозвращеніе же къ нимъ жившаго у нихъ Семена объясняли тѣмъ, что тотъ давно выказывалъ недовольство службой у нихъ, все просился обратно въ деревню и, очевидно, просто сбѣжалъ къ своему господину, въ Ромоданово, куда они и не замедлили написать. Отвѣтъ отца Скюдери, что Семенъ не появлялся и въ деревнѣ, совпалъ съ первыми справками институтскаго начальства. Поднялась общая тревога. Московскимъ генералъ-губернаторомъ были разосланы эстафеты объ исчезнувшемъ безъ вѣсти ученикѣ института во всѣ концы Россіи. Негласные и гласные розыски не привели, однако, ни къ чему.

Подъ напоромъ разспросовъ товарищей и убѣжденій начальства, знавшаго близость и дружбу Скюдери со мной и съ Анненковымъ, и, въ виду слуховъ о скорби и отчаяніи старика-отца Скюдери, немедленно поспѣшившаго изъ деревни въ Москву, мы съ Анненковымъ рѣшили слегка приподнять завѣсу надъ случаемъ съ товарищемъ.

Соображая, что бѣглецы, безъ сомнѣнія, уже въ недосягаемой дали, гдѣ-нибудь въ заоблачныхъ горахъ Швейцаріи, или на островахъ Атлантическаго океана, — когда директоръ сообщилъ намъ разсказъ знакомыхъ отца Скюдери о встрѣчѣ его сына, въ церкви, съ грузинскою княжной, и спросилъ насъ, не увлеченіе ли ею было причиной рокового и, быть-можетъ, гибельнаго исчезновенія нашего совоспитанника,—мы великодушно отвѣтили: «да, здѣсь несомнѣнно романъ! но успокойте отца Скюдери, бѣглецы несомнѣнно внѣ всякой опасности и вскорѣ, вѣроятно, пришлютъ о себѣ вѣсть». — «Но куда же они направились?» допрашивалъ директоръ. На это мы ничего не могли сказать вѣрнаго. Княжна была уроженкой Кавказа, куда, вскорѣ послѣ встрѣчи съ Скюдери, какъ говорили въ городѣ, и уѣхала съ теткой. Въ исходѣ сентября, въ институтѣ пронесся слухъ, что Скюдери, наконецъ, найденъ, но не въ горахъ Швейцаріи и не на островахъ Атлантическаго океана, какъ мы думали, а на пути къ Кавказу, въ городѣ Екатеринославѣ, причемъ объяснилось, что фантастическій свой побѣгъ онъ предпринялъ далеко не изъ одного увлеченія грузинскою княжной. Нашимъ товарищемъ двигала другая, болѣе возвышенная причина, о которой онъ, рѣшаясь на побѣгъ, не намекнулъ ни словомъ даже ближайшимъ изъ своихъ сотоварищей.

Дѣло было такъ. Житель Екатеринослава, какой-то еврей-торговецъ, встрѣтивъ на городскомъ базарѣ двухъ истомленныхъ, въ поношенной одеждѣ, необычнаго вида путниковъ, изъ которыхъ одному было пятнадцать, другому около двадцати лѣтъ, заподозрилъ въ нихъ опасныхъ бродягъ (тогда сильно преслѣдовали бѣглыхъ крестьянъ, стремившихся селиться на вольныхъ южныхъ, приморскихъ степяхъ) и донесъ на нихъ полиціи. На допросѣ у екатеринославскаго полицеймейстера Скюдери откровенно и безъ утайки изложилъ причину и способъ неудавшагося своего побѣга. Полицеймейстеръ подробно записалъ и прислалъ въ Москву его показанія.—Видя съ прискорбіемъ,—говорилъ въ этихъ показаніяхъ Скюдери, — что война съ Шамилемъ, обрекая на гибель столько жертвъ, такъ долго не приводитъ къ желаемому успѣху, онъ, Скюдери, рѣшился положить этому конецъ, для чего задумалъ тайно проникнуть на Кавказъ, при посредствѣ знакомой ему грузинской княжны, добро-

вольно передаться Шамилю, заслужить его расположеніе, войти въ полное его довѣріе, и такъ какъ онъ, Шамиль, очевидно, не знаетъ всего величія души и нрава царя Николая, то объяснить ему это величіе и склонить его къ мирной передачѣ Кавказа во власть Россіи, за что Государь несомнѣнно возвелъ бы его, Шамиля, въ санъ русскаго фельдмаршала и назначилъ бы его самого, съ потомствомъ, правителемъ Кавказа. Для этой цѣли онъ, Скюдери, уговоривъ слугу своего отца, Семена, слѣпо слушаться и помогать ему въ пути, выѣхать съ нимъ за Серпуховскія ворота, разсчиталъ тамъ извозчика и съ пятью рублями въ узелкѣ платка пустился съ Семеномъ пѣшкомъ по большой почтовой дорогѣ, черезъ Тулу, Орелъ, Харьковъ и Екатеринославъ, на Кавказъ. Сухая и теплая августовская погода благопріятствовала путникамъ. Днемъ они шли, ночью спали на поляхъ, вблизи дороги, или у опушки сосѣднихъ съ дорогой лѣсовъ. До курской губерніи питались, покупая съѣстные припасы; за Курскомъ послѣднія деньги были истрачены. Странники, однако, въ дальнѣйшемъ пути не голодали. Войдя вскорѣ въ малорусскіе предѣлы, они встрѣтили такое гостепріимство и такое вниманіе къ себѣ, что, угощаясь вездѣ вдоволь и даромъ, не замѣтили, какъ изъ двухтысячеверстнаго пути отъ Москвы миновали почти половину и бодрые, и веселые, обносившись сильно только обувью, вошли въ улицы Екатеринослава. Великодушный и смѣлый замыселъ безкровнаго пріобрѣтенія Кавказа рушился на 945-й верстѣ отъ Москвы. У его исполнителя, въ екатеринославской полицейской части, потребовали видъ о его личности. Скюдери спокойно вынулъ изъ кармана казенной куртки печатный отпускной институтскій билетикъ съ своимъ именемъ и тотчасъ же былъ арестованъ. Послѣ должной переписки мѣстныхъ властей съ Москвой, онъ былъ съ подобающимъ вниманіемъ благополучно препровожденъ на почтовыхъ къ его обрадованному, хотя и долго еще потомъ ворчавшему на него, родителю. Въ институтъ онъ уже болѣе, къ нашему огорченію, не возвращался. Поступивъ, черезъ два года, въ петербургскій университетъ, я узналъ, что Скюдери также въ Петербургѣ, въ медико-хирургической академіи, и когда я снова нашелъ его, въ его студенческой квартирѣ на Кронверкскомъ проспектѣ, моей радости и разспросамъ о его странствованіи на Кавказъ не было конца.

О своемъ неудавшемся подвигѣ онъ, однако, говорилъ неохотно, объясняя и свое поступленіе въ медики однимъ желаніемъ принести въ будущемъ посильную пользу бѣднымъ раненымъ и искалѣченнымъ въ сраженіяхъ страдальцамъ. Служа потомъ во флотѣ и еще недавно въ арміи, въ войну за Болгарію, онъ вполнѣ достигъ исполненія своихъ юношескихъ мечтаній. Его заботливость о раненыхъ была такъ сильна, что онъ, въ качествѣ старшаго врача одного изъ пѣхотныхъ полковъ, умудрялся возить на передкѣ своихъ докторскихъ дрожекъ клѣтку съ живыми курами, чтобы, въ случаѣ нужды, опасно раненому всегда было возможно приготовить бульонъ, и велъ неутомимую борьбу съ интендантскими поставщиками, бракуя у нихъ безъ сожалѣнія партіи испорченныхъ сухарей.

Еще помню два случая съ моими товарищами-одноклассниками. Одинъ изъ нихъ, П. П. Макаровъ, подъ вліяніемъ чтенія житій св. отцовъ и мучениковъ за вѣру, сперва устроилъ изъ образковъ въ классномъ своемъ ящикѣ нѣчто въ родѣ кропечнаго иконостаса и усердно молился передъ нимъ, а потомъ, незадолго до окончанія курса, поступилъ въ монахи и долго жилъ у Троицы-Сергія въ особой кельѣ, собственноручно вырытой имъ въ лѣсу, у откоса холма, гдѣ я лично его навѣщалъ. Другой мой товарищъ, Н. Ѳ. Маловъ, увлекшись чарующими голосами заѣзжихъ итальянскихъ пѣвцовъ, Сальви и Ассандри, и втайнѣ стремясь вслѣдъ за ними въ Италію, сталъ прилежно брать уроки пѣнія, достигъ въ немъ замѣчательнаго искусства и позднѣе, подъ иностранною фамиліей, успѣшно дебютировалъ и пѣлъ на театрахъ въ Италіи.

Такими-то были питомцы нашего института. Много потомъ всѣми нами переживалось странныхъ и тяжелыхъ событій, которымъ, по возможности, подыскивались подходящія объясненія. Одного никто изъ насъ не могъ вполнѣ понять: въ силу какихъ обстоятельствъ и для чего, сорокъ лѣтъ назадъ (въ 1849 году), былъ закрытъ и преобразованъ въ одну изъ гимназій нашъ былой московскій дворянскій институтъ? На вопросъ объ этомъ мнѣ не дали тогда отвѣта и перешедшіе на другую службу въ Петербургъ—нашъ незабвенный директоръ Чивилёвъ и учитель нашъ Перевлѣсскій, который уѣхалъ изъ Москвы, подаривъ на память бывшимъ своимъ сослуживцамъ по институту литографированный свой

портретъ съ загадочнымъ собственноручнымъ надписаніемъ на этомъ портретѣ народной поговорки: «Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ». Закрыть же институтъ, въ виду какихъ-либо особыхъ правъ и привилегій, которыя онъ, будто бы, давалъ, никому не могло придти въ голову: кончавшіе въ немъ курсъ получали тѣ же права, что и питомцы всѣхъ тогдашнихъ гимназій. Закулисною причиной здѣсь, вѣроятно, было нѣчто, схожее съ тѣмъ, на что мнѣ намекалъ покойный К. Ф. Саблеръ, а именно, какіе-либо личные счеты между высшими дѣятелями въ тогдашнемъ вѣдомствѣ народнаго просвѣщенія.

Что же касается оффиціальныхъ данныхъ относительно закрытія московскаго дворянскаго института, то извѣстно лишь, что дальнѣйшее его существованіе, съ учрежденіемъ въ Москвѣ, въ іюнѣ 1849 г., втораго кадетскаго корпуса, было признано «безполезнымъ», и вслѣдствіе того сперва послѣдовало распоряженіе о его полномъ закрытіи, съ передачей воспитанниковъ меньшихъ его классовъ въ кадетскій корпусъ и съ оставленіемъ въ немъ высшихъ классовъ только до окончанія курса того года. При этомъ на волю родителей предоставлялось, если они не согласятся на переводъ своихъ дѣтей въ кадеты, взять ихъ къ себѣ обратно. Но къ исполненію этого перваго распоряженія встрѣтились неожиданныя препятствія. Въ институтѣ, въ томъ году, сказалось 167 воспитанниковъ, изъ которыхъ правомъ для замѣщенія 58 дворянскихъ вакансій въ корпусѣ могли, по возрасту (отъ $9^1/_2$ до $11^1/_2$ лѣтъ), воспользоваться всего только «трое» учениковъ, но и то лишь въ случаѣ полученія ожидавшагося на это согласія ихъ родителей. Въ окончательномъ же 6-мъ классѣ института тогда было 16 учениковъ. Слѣдовательно, около 150 питомцевъ института подлежали возвращенію родителямъ, изъ которыхъ бо́льшая часть постоянно жила внѣ Москвы и преимущественно въ отдаленныхъ губерніяхъ. Встрѣтилось и еще одно немаловажное затрудненіе: изъ 45 преподавателей и чиновниковъ института 28 не имѣли иной службы, а во всѣхъ гимназіяхъ московскаго учебнаго округа, для размѣщенія ихъ, въ то время было всего «двѣ» соотвѣтствующихъ свободныхъ вакансіи. Самая, наконецъ, покупка, перестройка и должное обзаведеніе зданія, въ которое, всего за шесть лѣтъ передъ тѣмъ, былъ переведенъ институтъ, обошлись послѣд-

нему болѣе чѣмъ въ 250,000 руб. сер., и изъ этой суммы институтъ, въ 1849 году, былъ еще долженъ московскому университету 75,000 р., а въ число ежегодной штатной суммы въ 53,000 руб. сер. на содержаніе института отъ государственнаго казначейства отпускалось только 8,000 р., причемъ остальные 45,000 р. пополнялись изъ платы за пансіонеровъ. Эти важныя справки заставили измѣнить первоначальное распоряженіе о полномъ закрытіи института, и послѣдній былъ упраздненъ, съ преобразованіемъ его въ четвертую московскую гимназію, которую въ 1850 году открыли въ томъ же зданіи, до сдачи послѣдняго подъ переведенный изъ Петербурга Румянцевскій музей.

1890 г.
30 января.

Оглавленіе

XIV ТОМА.

Восемьсотъ двадцать пятый годъ. (1821—1825).

(Отрывки изъ неоконченнаго романа М. И. Анненковой)...

стр.

I. Каменка. 3

II. Шервудъ у Аракчеева. 50

III. Въ зимнемъ дворцѣ. 61

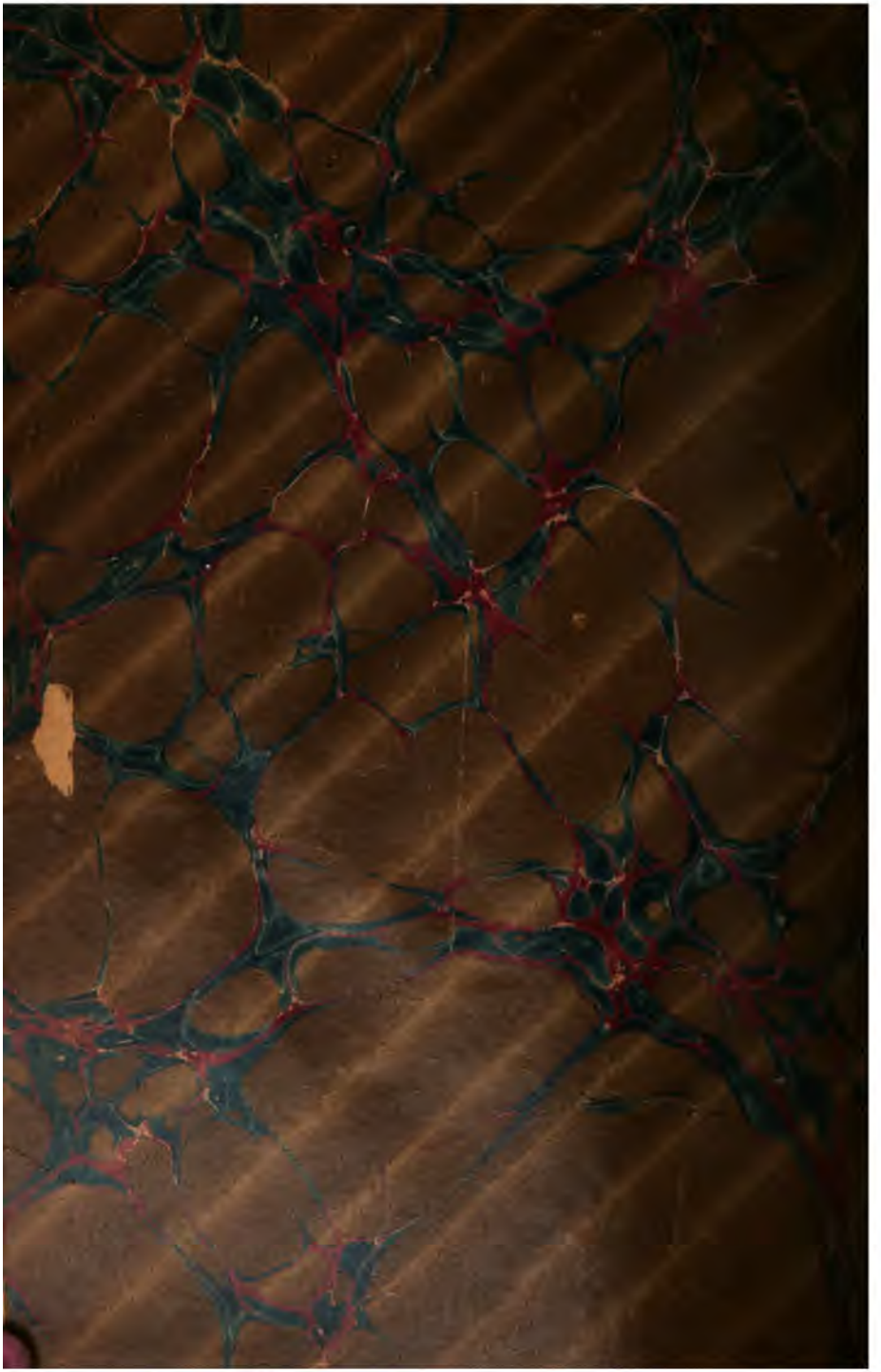
Знакомство съ Гоголемъ. (Изъ литературныхъ воспоминаній). . 92

Сторія о Господѣ и землѣ. (Къ воспоминаніямъ о Гоголѣ). . . 128

Поѣздка въ Ясную поляну. (Помѣстье графа Л. Н. Толстого). . 136

Изъ литературныхъ воспоминаній. Н. Ѳ. Щербина. (Его письма и неизданныя стихотворенія). 153

Московскій дворянскій институтъ (Изъ школьныхъ воспоминаній). 198



The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does ***not*** *exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.